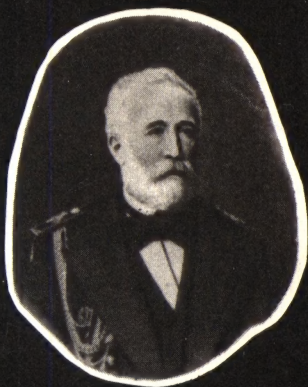


ПРОМЕТЕЙ 14



Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a poem, written in white ink on a dark background. The text is partially obscured by the other elements of the collage.



Редакционная коллегия:

В. Н. Ганичев
А. В. Гулыга
Л. М. Леонов
А. Л. Афанасьев (зав. редакцией)
А. Г. Кузьмин
И. В. Петрянов-Соколов

П. В. Палиевский
Б. А. Рыбаков
А. А. Тяпкин
А. Н. Сахаров
В. С. Хелемендик
В. В. Федоров
Макет и оформление
Р. Ф. Тагировой

ОЧЕРКИ,
СТАТЬИ,
ПОРТРЕТЫ.

Алла Харитонова.	Лениниана старого книжника	4
А. Садовский.	Борьба и творчество. Рассказ о жизни большевика-ленинца П. Н. Лепешинского	13
Ю. Бондаренко.	Имя на карте Отчизны	27
Борис Рябухин.	«Душа, не воспылав, свой пламень угасила...»	43
Л. Журавлева.	«Далось мне это не без борьбы»	65
В. Степанов.	Этот марш не смолкал на перронах	80
И. Алебастров,		
Н. Черкашин.	Флагман русских подводников	90
В. Уланов.	Гвардии народная артистка	102

НЕИЗВЕСТНОЕ
О ВЕЛИКИХ.

Н. Эйдельман.	Сказать все...	115
Константин Ковалев.	«Посреди людской молвы...» Эпизоды из жизни композитора Д. С. Бортнянского в Павловске	138
Тамара Грум-Гржимайло.	«День музыкальной эры...»	158
Валентин Лавров.	«Кличут и меня мои воспоминанья...» Новое об И. А. Бунине	173
Георгий Коршунов.	Шалыпин за рубежом	198
Максим Иванов.	Автор неизвестен, но...	217

ДНЕВНИКИ,
ВОСПОМИНАНИЯ.

Николай Романов.	Проторение путей. Воспоминания об академике И. П. Павлове. Послесловие и публикация Виктора Кузнецова	222
Н. Надёжина.	Дворец, Фонтанкой отраженный	232

Историко-
биографический
альманах серии
«Жизнь
замечательных
людей»



Москва
«Молодая гвардия»
1987

Том четырнадцатый

ПОИСКИ,
НАХОДКИ.

Александр Никитин.	«И встретил нас Куницын»	238
Вадим Вацуро.	Александр Крюков и его стихи	252
Ирина Чистова.	Страница московской биографии М. Ю. Лермонтова	262
Анатолий Марков.	Хранящие тепло рук	273
С. Дурылин.	Великий рассказчик. Публикация А. Виноградовой	284
Мурад Аджиев.	Пионер Арктики Борис Вилькицкий	297
Михаил Зоценко.	Конец рыцаря Печального Образа. Предисловие и публикация Ю. Томашевского	305
Станислав Куняев, Сергей Куняев.	Товарищи по чувствам, по перу...	312

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СМЕСЬ.

Николай Шахмагонов.	Павший на поле чести	328
Евгений Симонов.	Эльбрус начинается...	339
А. Иванов.	Оком благодарного наследника	353
Юрий Шапошников.	Богатыри России	359
Александр Лонгинов.	Земля великана	375
Валерий Родиков.	В последнем был полете	382

Алла Харитонова

Лениниана старого книжника

Об уникальном собрании прижизненных книг В. И. Ленина

ПЕРВАЯ БИОГРАФИЯ

В один из московских букинистических магазинов пришла пожилая женщина.

— После мужа осталась большая библиотека, — обратилась она к директору. — Может, что-нибудь подойдет для вашего магазина? Правда, у меня уже были из двух крупных государственных хранилищ, многое забрали себе...

Действительно, когда товаровед Владимир Никифорович Алексеев прибыл по адресу, который оставила женщина, он почти ничего интересного для своего магазина не нашел.

Уже прощаясь с хозяйкой, он обратил внимание на разные ненужные бумаги, сложенные в коридоре. Чутье опытного букиниста подсказало: этот завал надо внимательно просмотреть.

— Позволите? — обратился он к хозяйке, кивнув на бумаги.

— Бога ради! Только тут вряд ли найдете что нужное, — улыбнулась та.

Владимир Никифорович не спеша просматривал старые газеты, квитанции, книги с разлетевшимися страницами...

Уже несколько десятилетий Алексеев отдал книге. Ему удалось за свою жизнь отыскать и порой спасти немало редкостей. Это были книги, вышедшие еще при жизни А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, экземпляры, на которых оставили дарственные надписи видные деятели русской культуры.

Сотрудники государственных хранилищ, библиофилы с благодарностью вспоминают Владимира Никифоровича, который помог им приобрести необходимые книги и рукописи.

Его путь к книге был труден и необычен. В 14 лет он стал разнорабочим. Уставал так, что еле доходил до дома. На учебу не было уже ни сил, ни времени.

Избавление явилось в лице соседа. С его помощью в августе 1933 года Алексеев оказался на Тверской — так называлась улица Горь-

кого, у дома под номером четыре. Здесь красовалась вывеска — «Книжная лавка писателей». На первых порах он стал исполнять обязанности «мальчика» — бегал по поручениям, отправлял бандероли, убирал помещения.

Именно здесь у него произошла настоящая и серьезная встреча с книгами. Их обилие, многообразие ошеломили. Вначале Володя принялся за чтение детских книг — то, что упустил в свое время. Затем увлекся литературой о героях и революционерах.

Вскоре Алексеев стал продавцом. Из букинистического отдела ему однажды передали для продажи стопку книг. Внимательно просматривая их, он обратил внимание на одну из них. Заголовок выглядел интригующе: «Алфавитный указатель книгам и брошюрам, а также номерам повременных изданий, арест на которые утвержден судебными установлениями по 1-е января 1913 года. Типография Министерства внутренних дел. 1914».

С интересом вчитывался в названия книг, на которые царская цензура наложила лапу.

— А знаешь ли, о чьей книге речь идет вот здесь? — спросила подошедшая к Алексееву заведующая отделом Вера Ивановна Горчакова, с материнской нежностью опекавшая «сироту», как полушутя-полусерьезно она называла Володю.

Алексеев прочитал на 52-й странице: «За 12 лет. Собрание статей. Т. I. Два направления в русском марксизме и русской социал-демократии. Спб., 1908. Типография В. Безобразов и К°».

— Автор этой книги, — пояснила Горчакова, — сам Владимир Ильич Ленин. Книгу запретили. Опасной, стало быть, была!

Алексеев недоверчиво покачал головой:

— Вы говорите — Ленин, а здесь указан другой автор — Вл. Ильин!

— Это и есть Владимир Ильич! Это один из его псевдонимов.

Стал листать книгу дальше: на страницах 80-й и 81-й обнаружил одиннадцать (!) изданий вождя, запрещенных «судебными установлениями». Имя автора было — Н. Ленин, но по знакомым заголовкам Алексеев правильно установил авторство Владимира Ильича.

Алексеев напряженно вчитывался в названия книг: «Две тактики социал-демократии в демократической революции. Москва. 1905», «К деревенской бедноте», «Доклад об объединительном съезде Российской социал-демократической рабочей партии» (Москва, 1906 год, типография товарищества «Дело» в Спб.), «Как



В. И. Ленин в своем кабинете в Кремле.
Москва, 4 октября, 1922 г.

рассуждает г. Плеханов о тактике социал-демократии» (книгоиздательство «Вперст», Спб., 1906), «Нужды деревни...» (Книгоиздательство «Молот»), «Пересмотр аграрной программы рабочей партии. № 1» (типография не указана), «Роспуск думы и задача пролетариата...» (Москва, 1906) и другие издания, автором которых был В. И. Ленин.

При каких условиях создавались рукописи этих книг? Какому количеству экземпляров удалось избежать ареста? Можно ли отыскать некоторые из этих раритетов, прикоснуться к ним и другим книгам, увидавшим свет при жизни Ильича?

Все эти вопросы волновали Алексеева. Вот тогда и определилась «генеральная линия» поисков — он стал собирать прижизненные издания вождя и редкие книги о Ленине. Цель благороднейшая!

...Итак, Владимир Никифорович в старинном доме возле сада «Эрмитаж» просматривал бумаги. Вдруг текст одной странички привлёк его внимание. Он прочитал: «Имя тов. Ленина стало известно решительно во всех странах мира. Одни произносят это имя с бешеной злобой, другие с величайшей любовью и доверием, и почти нет равнодушных к нему».

Вполне понятно поэтому желание многих товарищей ознакомиться с жизнью и деятельностью товарища Ленина, вождя величайшей в истории народов революции».

Алексеев испытал страшное волнение. Что

это, неужели текст первой, вышедшей отдельным изданием, биографии вождя, которую много лет тщетно он ищет? И он не ошибся! Вскоре на столе лежали остальные странички биографии. Хозяйка, разумеется, подарила счастливому собирателю бесценную реликвию. Сотрудники Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС помогли ее отреставрировать. Кстати, о них Владимир Никифорович всегда говорил с благодарностью, они много консультировали его, помогали советами.

АРЕСТОВАННЫЙ СБОРНИК

Читатель помнит, как взволновался юный Алексеев, когда прочитал об арестованном сборнике «За 12 лет». Он задался целью отыскать его непременно. Впрочем, компасом в безбрежном книжном море на первых порах служил именно «Алфавитный указатель». Для начала это было неплохо.

Букинист просил всех своих знакомых коллег-товароведов сообщать, если книги Владимира Ильича поступят к ним в магазины. Затем опросил знакомых, встречался со старыми большевиками, знавшими Владимира Ильича лично, изучавшими его труды еще по первым изданиям. И каждому он задавал вопрос:

— А у вас нет сборника «За 12 лет» издания 1908 года?..

Увы! Ответ он получал почти всегда одинаковый:

— Даже ни разу в руках не держал...

Владимир Ильич.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ И СТАТЬИ

К характеристике экономического романтизма. — Периская кустария переплет. — Перлы народного экономического проектирования. — От какого наследства мы отказываемся? — К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литография А. Леффера. Бол. Морская, 65.
1899.

Книга В. И. Ленина «Экономические этюды и статьи».

Более того, Владимир Никифорович написал в другие города, в том числе в город на Неве, где книга печаталась: может, там книголюбы экземпляр помогут отыскать? Ответы были безутешными.

И вот, спустя несколько лет после начала поисков, когда у Алексева уже была неплохая подборка ленинских изданий, случилось долгожданное событие. Какая-то старушка принесла для сдачи в магазин книги. Алексеев уже стал к тому времени товароведом. Он просматривал поступившие издания и среди других, принесенных этой старой женщиной, увидел долгожданный сборник — «За 12 лет». Радости собирателя не было конца!

Автору этих строк довелось много раз встречаться с Владимиром Никифоровичем, слушать его интересные рассказы о ленинских книгах. Во время одного из выступлений Алексева ему был задан вопрос:

— Чем все-таки замечательна судьба сборника «За 12 лет»?

И Алексеев рассказал следующую историю...

Май 1906 года, Петербург. В. И. Ленин поддерживает инициативу создания здесь нового крупного издательства. Оно получает название «Вперед». Руководит им В. Д. Бонч-Бруевич.

Ленин часто посещал это издательство, сле-

дил за его работой, помогал ему. Он читал рукописи, правил их, вносил существенные изменения и дополнения. «Вперед» опубликовало немало произведений Владимира Ильича. Десятки тысяч экземпляров их распространили на заводах и фабриках. (Многие эти издания Алексеев сумел отыскать.)

Следует заметить, что брошюры снабжались фиктивными марками: «Новая волна», «Наш голос» и другие. Это делалось с конспиративной целью.

И все же охранное отделение разгромило большевистское издательство. Случилось это в 1907 году. Но еще до этого драматического события Бонч-Бруевич предлагал В. И. Ленину издать целиком его книги, статьи и другие работы, то есть выпустить Полное собрание его сочинений.

«Зачем же полное? — возразил Ильич. — Можно напечатать хотя бы избранное, только то, что сейчас имело бы значение для теоретического освещения целого ряда наших партийных вопросов»...!

Разгром издательства «Вперед» помешал осуществить это издание. Но в том же 1907 году вместо уничтоженного возникает по инициативе Бонч-Бруевича новое издательство — «Зерно». Один из главных сотрудников издательства, Н. С. Ангаров (Клестов), предложил Ленину издать сборник статей «За двенадцать лет» в ответ на появившуюся под таким же заголовком книгу Г. В. Плеханова.

Ленин дал согласие на издание сборника сочинений «За 12 лет». Началась работа по его созданию. Предполагалось, что он выйдет в двух томах. Договорились с Владимиром Ильичем, что тираж составит три тысячи экземпляров.

В первый том включили работы Ильича — «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики...». Казалось, предприятию гарантирован успех!

И вдруг последовала конфискация этой книги, издатель был привлечен к ответственности.

Тогда были приняты меры к спасению от конфискации второго тома. С этой целью его разбили на две части. В первую вошли все легальные статьи, во вторую — нелегальные и написанные после 1905 года. Первая часть второго тома вышла в январе 1908 года. Она называлась: Вл. Ильин. «Аграрный вопрос, часть I».

Вторая часть состояла из статьи «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 гг.», а также из других статей по аграрному вопросу.

Но... охранка не дремала. Книгу конфисковали, весь тираж уничтожили. И все же этот труд для истории не пропал. Ленин, любивший во всем порядок, сохранил, к счастью, черновики основной статьи. Это позволило издать ее в 1917 году.

Второе издание давно стало раритетом. Честь и хвала Алексеву, который сумел его отыскать и сохранить для потомства, как и первую часть сборника «За 12 лет».

«ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И СМЕЛОСТЬ МЫСЛИ»

— Какая книга В. И. Ленина первой была издана легально?

Этот вопрос Алексеев часто слышал от аудитории, собравшейся послушать рассказы старого книжника. Он с удовольствием демонстрировал присутствующим объемистый труд в изящном переплете.

— Это «Экономические этюды и статьи»! — объяснял Владимир Никифорович. — Книга увидела свет в 1898 году, между 9 и 15 октября. Ее тираж — 1 тысяча 200 экземпляров. Подписана псевдонимом — Владимир Ильин.

Впрочем, — замечал Алексеев, — на обложке указан иной год выхода — 1899-й. Но пусть это вас не вводит в заблуждение. Книга действительно вышла годом раньше.

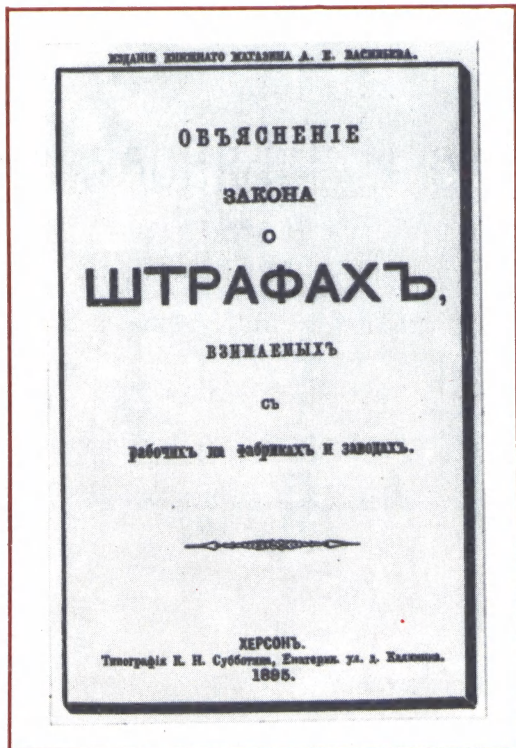
Казалось, что Владимир Никифорович про ленинские издания знает абсолютно все. Его память держала верно и надежно десятки и сотни названий, дат, имен. Это был настоящий библиофил, вдохновенно и трепетно прикоснувшийся к святой теме для каждого советского человека — к истории книг В. И. Ленина.

Судьба ленинских книг действительно очень интересна. Так, Владимиру Ильичу в «Экономических этюдах» пришлось прибегнуть к эзопову языку. Цензурный гнет вынудил писать вместо «Карл Маркс» — «известный немецкий экономист», «трактат» — вместо «Капитал» и так далее.

Просвещенный революционный читатель великолепно оценил этот выдающийся труд. Вот, к примеру, что писал находившийся в ссылке в Минусинске известный революционер М. А. Сильвин: «Давно не приходилось нам испытывать такого наслаждения при чтении научной книги, какое доставили нам «Экономические этюды» г. Ильина оригинальностью и смелостью мысли, широтой точки зрения, любовью к истине, страстной жаждой к ее открытиям, презрением к иллюзиям и самообману. «Конец народничества» — вот заглавие, которое мы охотно дали бы этой книге. Мы впервые в русской литературе встречаем в книге г. Вл. Ильина беспощадную критику мещанских утопий современного народничества, основанную на тщательном изучении и умелой группировке данных русской экономической действительности...» Справедливая и прозорливая оценка труда молодого В. И. Ленина!

Эта статья участника петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» Сильвина (подписана псевдонимом Бер) опубликована в красноярской газете «Енисей» 9 декабря 1898 года.

После революции стали известны многие документы, извлеченные из недр охранки. Журнал «Красный архив» поместил в одном из своих номеров (1934, № 1, с. 124—125) донесение агенты в департамент полиции: «Вышло в свет и продается в книжном магазине «Знание»... новое произведение легальной со-

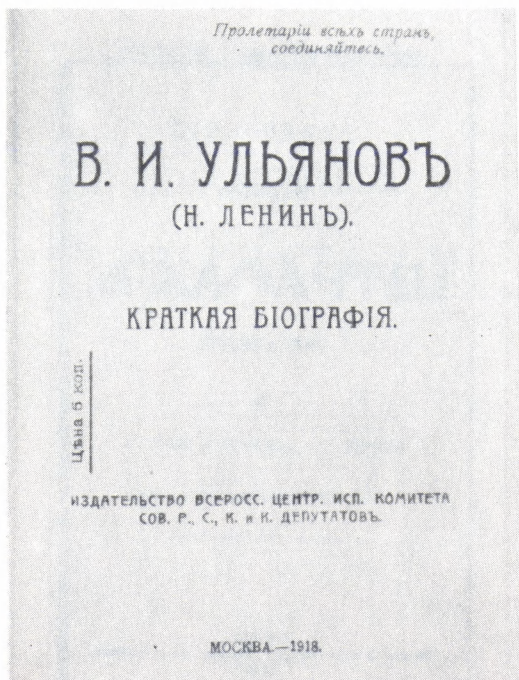


В. И. Ленин. «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». Херсон, 1895.

циал-демократической литературы под заглавием «Экономические этюды и статьи Владимира Ильина», С.-Петербург, типография Лейферта, 1899 г. Названный автор более известен под другим своим псевдонимом — «Тулин»... Настоящую его фамилию знают немногие, так как социал-демократы держат ее в большом секрете, оберегая в этом авторе одного из своих вожakov. В действительности это политический ссыльный Владимир Ильич Ульянов, родной брат террориста Александра Ульянова, казненного в 1887 году. О чем имею честь доложить вашему превосходительству».

Алексеев уже знал, что псевдонимом «Тулин» Владимир Ильич широко пользовался. Подпись «К. Тулин» стояла под трудом «Экономическое содержание народничества и критики его в книге г. Струве». Эта статья появилась в 1895 году в сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития».

Этот сборник, к глубокому огорчению Алексеева, у него отсутствовал. (Он был конфискован и уничтожен из-за работы В. И. Ленина.) Зато Владимир Никифорович с гордостью демонстрировал журнал «Просвещение» за 1911 год, номер первый. В нем была помещена статья Ленина «Принципиальные вопросы избирательной комиссии». Под ней стояла подпись — К. Тулин.



Обложка биографической книги о В. И. Ленине.
Москва, 1918.

Сам Алексеев происхождение этого псевдонима объяснял от слова «тула» — «скрытный, недоступный».

«ИЗДАНА ПРЕКРАСНО»

Как мы уже сказали, В. Н. Алексеев не держал книги под спудом. С ленинскими изданиями он выступал перед аудиториями, часто устраивал выставки. На этих экспозициях всегда украшением был фундаментальный труд Владимира Ильича, вышедший в самом конце прошлого века — в 1899 году: «Владимир Ильин. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности. С.-Петербург. Типо-литография А. Лейферта, Бол. Морская, 65». Это было издание известной прогрессивной деятельницы М. И. Водовозовой.

— Эта книга имела громадное значение для воспитания первых поколений рабочих-марксистов, — объяснял Алексеев. — Создавалась она в необычных условиях.

...Итак, декабрь 1895 года. Полиция арестовывает Владимира Ильича. Оказавшись в тюрьме, он не теряет присутствия духа. Именно в эти тяжелые дни Ильич разрабатывает план обширного труда. Опираясь фактами и цифрами, автор готов доказать: капитал в России ведет к обнищанию крестьян, создает все больший слой бедноты. Но кулаки все более крепнут. Вывод: избавление от тяжелого состоя-

ния принесет лишь пролетарская революция.

В первом же письме из тюрьмы 2 января 1896 года Владимир Ильич сообщает о своих планах: «Бросить эту работу очень бы не хотелось, а теперь, по-видимому, предстоит альтернатива: либо написать ее здесь, либо отказаться вовсе»².

А. И. Ульянова-Елизарова вспоминала, что Владимир Ильич работал в тюрьме над этим трудом очень интенсивно. «Ворохами таскала я ему книги из библиотеки Вольно-экономического общества, Академии Наук и других научных хранилищ»³, — утверждала она.

В конце января 1897 года состоялся приговор по делу В. И. Ленина. Он был суров — в конце марта того же года согласно постановлению суда Владимир Ильич отправился в ссылку. После долгого и изнурительного пути он прибыл в село Шушенское Енисейской губернии. Ленин показывает блистательный пример железной воли и трудолюбия: даже в этом нелегком пути он находит в себе силы и желание работать над книгой.

Прибыв в Красноярск, Владимир Ильич не упустил возможности поработать в знаменитой частной библиотеке купца Г. В. Юдина. В ней был великолепно представлен раздел, посвященный истории и экономике России. Без сомнения, Ленин нашел в ее фондах много необходимого материала для своей книги. Он писал М. И. Ульяновой: «Вчера попал-таки в здешнюю знаменитую библиотеку Юдина, который радушно меня встретил и показывал свои книгохранилища. Он разрешил мне и заниматься в ней, и я думаю, что это мне удастся». Затем Владимир Ильич замечает: «Ознакомился я с его библиотекой далеко не вполне, но это во всяком случае замечательное собрание книг»⁴.

Скажем, что в этом «замечательном собрании» находилось около ста тысяч книг, среди которых было много редких и редчайших, и громадное количество рукописей.

Так или иначе, но Ленин сумел изучить и критически проработать всю имевшуюся тогда литературу по экономике России. Достаточно сказать, что в «Развитии капитализма в России» упоминается и цитируется свыше 500 различных работ.

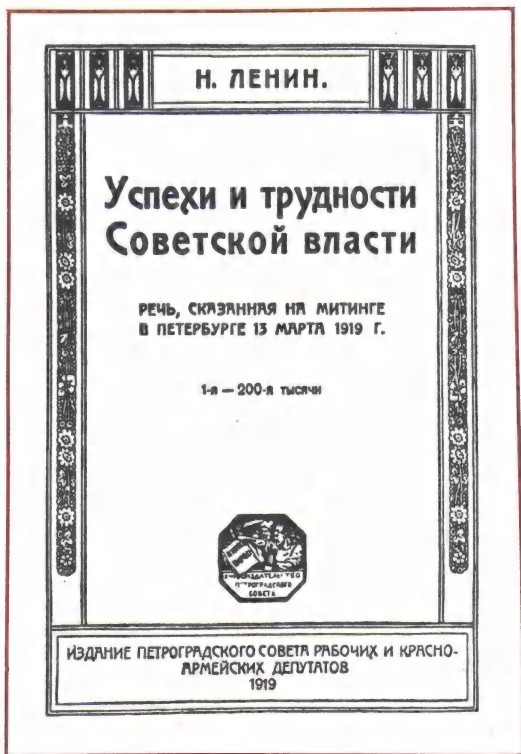
В конце марта 1899 года книга вышла в свет. Ее тираж был 2400 экземпляров — весьма солидный для того времени.

«Русские Ведомости» 15 апреля опубликовали объявление о ее выходе. В начале мая из далекого Петербурга наконец прибыла новая книга к Ленину.

Книга была издана весьма удачно: тонкая, но плотная бумага, удачные шрифты, широкие поля. В книге было много приложений и диаграмм, в том числе в две краски. Владимир Ильич писал: «Внешним видом книги я очень доволен. Издана прекрасно...»⁵

Книга распространилась быстро, главным образом в рабочих кружках, среди социал-демократической интеллигенции и студентов. Уже в 1908 году потребовалось ее второе издание.





Обложка издания речи В. И. Ленина «Успехи и трудности Советской власти». Петроград, 1919.

Отыскать первое издание оказалось для В. Н. Алексеева делом не очень простым. Книга пользовалась таким успехом, что ее зачитывали чуть ли не до дыр, передавая из рук в руки. Вот почему до наших дней дошло мало ее экземпляров.

Тот, который разыскал Владимир Никифорович, отличался великолепным полукожаным переплетом и отличной сохранностью. Так что показать его на выставке было делом вдвойне приятным.

«ПРИ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖЕНО...»

«Конфискована», «уничтожена», «сохранилась в нескольких экземплярах» — это обычная приписка в рассказах о ленинских книгах. Полиция и охранка очень хорошо понимали силу революционного слова и поэтому со всей серьезностью относились к розыску большевистских издательств и их продукции.

Как иллюстрацию к этому, В. Н. Алексеев демонстрировал работу Владимира Ильича «Доклад об объединительном съезде социал-демократической рабочей партии (Письмо к петербургским рабочим)». Год выхода — 1906, место выхода — Москва...

Впрочем, стоп! Это тот случай, когда можно сказать: не верь глазам своим! Брошюра уви-

дала свет не «в первопрестольной», а в Петербурге. Чтобы сбить с толку полицию, большевики применяли хитрости. Откроем брошюру и заметим, что отсутствует имя автора на титульном листе. Почему? Все просто: придут полицейские в типографию с обыском, начнут рыскать в горе отпечатанной продукции, приглядываясь к именам авторов. Вот среди этой неразберихи, которую создаст обыск, листки книги, несброшюрованные и безымянные, пожалуй, могут и не попасть в поле зрения «ока государева» — полиции.

Пачки готовых оттисков извозчик отвозил на Московский вокзал. Здесь их грузили в вагон, и они благополучно катили «по железке». В Москве их приводили в окончательный вид: печатали для них обложку, переплетали и отправляли в партийную экспедицию для рассылки. Хитрость удавалась!

Увы, в жизни не всегда так было гладко... Свидетельством тому нижеследующий «секретный архивный документ».

Четвертого июня 1906 года полковник Петербургского охранного отделения Герасимов доносил департаменту полиции: «№ 10596. 3-го июня, вечером, ввиду имевшихся указаний, что в типографии товарищества «Дело», арендуемой социал-демократической газетой «Вперед», печатается брошюра Н. Ленина «Доклад об объединительном съезде РСДРП», сделано было распоряжение о производстве осмотра типографии (д. № 96 по Фонтанке). При осмотре обнаружено около 40 пудов заключительной части брошюры с 81-й страницы, матрицы для печатания этой части брошюры и обложки, на которой местом издания помечена Москва, а также разные наборы этой брошюры, почему на место для производства обыска был вызван офицер губернского жандармского управления и товарищ прокурора»⁶.

Санкт-петербургский комитет по делам печати на книгу «бунтовщического характера» наложил арест, виновных в ее выходе в свет постановили привлечь к ответственности. Пока выясняли «имя, отчество, звание и место жительства» автора брошюры Н. Ленина, пока российская бюрократическая машина тяжело скрипела, переваривая это «политическое преступление», большую часть тиража удалось спасти от уничтожения. Ее тайно переправили в Москву и уже оттуда распределили по партийным ячейкам. Так, рабочие кружки получили возможность ознакомиться с книгой В. И. Ленина и иметь ясное представление о событиях на IV съезде РСДРП.

ДОМИК ЗА ЗАБОРОМ

У Владимира Никифоровича в особом почете были книги В. И. Ленина на иностранных языках — английском, немецком и других. Была у него книжечка «К деревенской бедноте», отпечатанная на грузинском языке. Сколько увлекательного и поучительного было связано с этим изданием!

Начнем с того, что Ленин много раз обращался в своих трудах к аграрным вопросам. В первой половине марта 1903 года он работает над брошюрой «К деревенской бедноте». Высоко ценя мнение Г. В. Плеханова, Владимир Ильич писал ему 2 (15) марта 1903 года: «Я засел теперь за популярную брошюру для крестьян о нашей аграрной программе. Мне очень хочется разъяснить нашу идею о классовой борьбе в деревне на *конкретных* данных о четырех слоях деревенского населения... Что Вы думаете о таком плане?»⁷

Вышла в свет брошюра в Женеве в мае 1903 года. Затем последовало несколько переизданий за границей и в самой России.

И одно из них — на грузинском языке. История последнего следующая. В конце 1903 года по указанию Кавказского союзного комитета РСДРП была создана знаменитая впоследствии Авлабарская подпольная типография. Рабочий главных мастерских Закавказских железных дорог Михо Бочаридзе был ее главным организатором и руководителем. Помогал ему рабочий-революционер слесарь Давид Ростомашвили.

Все было продумано до мелочей. Между Тифлисом и местечком Навтлуг (Авлабар) был специально построен одноэтажный дом. Вокруг особняка соорудили большой и непроницаемый для любопытного взгляда забор. Под домом оборудовали обширный и удобный подвал. Здесь же устроили что-то вроде кухни.

Недалеко от дома находился небольшой сарай. В нем вырыли глубокий колодец — аршин в двадцать.

В колодце имелся боковой проход. По нему требовалось пробраться в другой колодец. Уже отсюда можно было проникнуть в типографию, которая располагалась под кухней. В типографию спускались по веревке с ведром.

Сложно? Зато надежно. Следует добавить, что подвал с домом был соединен электрическим звонком. Пример великолепной конспирации! Именно эта осторожность и продуманность позволила долго и успешно работать Авлабарской типографии.

Здесь наладили печатание важнейших периодических изданий Кавказского союзного комитета: «Листок борьбы пролетариата» и «Борьба пролетариата». Они печатались на грузинском, русском и армянском языках.

Типография выполняла большой объем работ. В ней печатались основные партийные документы той поры: «Программа РСДРП», принятая на II съезде партии, принятый на III съезде «Устав РСДРП», листовки и брошюры Тифлисского, Елизаветпольского, Батумского и других комитетов.

Здесь увидели свет и работы В. И. Ленина: «Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» — на грузинском, русском и армянском языках, а также на грузинском языке — «К деревенской бедноте».

Отпечатанная литература укладывалась в мешок. Затем этот мешок через колодец достав-

лялся в полуподвал, откуда литература доставлялась по назначению. Заметим, что печатную продукцию в конспиративных целях складывали в тачку, прикрывали зеленью и в таком виде вывозили. Только с 20 ноября по 16 декабря 1904 года эта типография отпечатала — трудно представить — тридцать тысяч различных изданий.

Жандармы лишь «любовались» продукцией революционной типографии, но никак не могли отыскать саму типографию. Эти поиски и слежка продолжались более двух лет. За это время типографские рабочие выпустили массу столь необходимой для революции печатной продукции.

Но 15 апреля 1906 года охранка нагрянула на «домик за забором». Добыча жандармам досталась богатая: печатная машина, 18 наборных касс, 20 пудов чистой бумаги, около 80 пудов шрифта и громадное количество готовой продукции — прокламаций и брошюр. Мужественные люди — типографские работники были осуждены и посланы.

С самой же типографией поступили беспримерно жестоко — по указанию властей она была взорвана. Уже в советское время, в 1937 году, на том месте, где работала эта славная типография, был открыт музей. Трогательная и прекрасная история! И напомнила о ней тонкая брошюра Владимира Ильича на грузинском языке.



Книга В. И. Ленина «О продовольственном налоге», изданная в 1921 г.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Первое, 19-томное Собрание сочинений В. И. Ленина включало 1500 ленинских документов. Последнее же, пятое Полное собрание сочинений насчитывает более девяти тысяч документов. Прodelана громадная работа! А сколько за это время поступило в государственные хранилища и музеи бесценных ленинских печатных трудов!

Среди тех, кто, не жалея времени и сил, отыскивал эти раритеты, был и букинист из Москвы Владимир Никифорович Алексеев. Он передал книги из своего собрания в дар многим музеям: Центральному музею В. И. Ленина в Москве, библиотеке Института марксизма-ленинизма Германской Демократической Республики, Музею В. И. Ленина в столице Каракалпакской АССР в городе Нукусе и другим.

Благородный венец прекрасного дела!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Бонч-Бруевич В. Д. Избр. соч., М., 1961. Т. 2, с. 410.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3, с. 639.

³ Там же, с. 640.

⁴ Там же. Т. 55, с. 24.

⁵ Там же. Т. 3, с. 641.

⁶ Цит. по: Метлицкий Б. Электронпечатня товарищества «Дело». — Нева, 1970, № 3, с. 141—142.

⁷ Ленин В. И. Указ. соч. Т. 7, с. 476.

А. Садовский

Борьба и творчество

Среди немногих имен старейших деятелей партии, ближайших соратников В. И. Ленина, которым довелось на протяжении многих лет вести революционную борьбу под его руководством, заслуженным уважением пользуется имя Пантелеймона Николаевича Лепешинского.

К сожалению, многое из того, что мы могли бы узнать, уже утрачено. Мало сохранилось документов о жизни и деятельности П. Н. Лепешинского. В дореволюционные годы он сознательно старался вытравить всякий свой след, уничтожить каждый клочок бумаги, сжечь все, что могло бы навести на его след, след революционера, органы царского сыска. Поэтому для нас особенно дорого то, что сохранилось, — уцелевший чудом обрывок записки, написанные на ходу воспоминания, письма из тюрьмы и ссылки, очерки, газетные статьи, художественные зарисовки и картины.

Ольга Пантелеймоновна Лепешинская вспоминает, как однажды, прочитав биографию Карла Маркса, Пантелеймон Николаевич заметил, что в его представлении счастье не только борьба, но и творчество. Действительно, под знаком борьбы и творчества прошла вся замечательная жизнь П. Н. Лепешинского. Его подпись стоит под такими важными документами, ставшими поворотными вехами в истории нашей партии, как «Протест российских социал-демократов» и обращение «К партии», принятое на совещании 22 большевиков. П. Н. Лепешинский — руководитель псковской исковской группы, член Организационного комитета по созыву II съезда РСДРП. В женевской эмиграции он активно боролся с оппортунизмом меньшевиков, по его инициативе были созданы библиотека и архив РСДРП.

П. Н. Лепешинский — участник трех русских революций. Его незаурядный талант пропагандиста ярко проявился в дни подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции, когда ему удалось задержать в Орше около 50 тысяч контрреволюционно настроенных солдат, брошенных на красный Петроград для подавления восстания.

Большую общественно-политическую деятельность вел П. Н. Лепешинский в советский период. По его инициативе созданы Центральный музей Революции СССР, Международная организация помощи борцам революции и Общество старых большевиков. Значительный вклад он внес в теоретическую разработку историко-партийной науки и создание Истпарта. Лепешинский настойчиво проводил в жизнь политику партий в области народного образования, многое сделал для развития пролетарского интернационализма. Эти направления его деятельности особенно интересны, так как время работы П. Н. Лепешинского в Наркомпросе РСФСР и Туркестанского края, в Истпарте и МОПРе приходится на первое историческое десятилетие жизни Советского государства. Именно в этот период наиболее ярко проявился огромный организаторский талант Лепешинского как видного государственного деятеля, публициста и историка.

П. Н. Лепешинский был делегатом XIV—XVIII партийных съездов и XV—XVII конференций ВКП(б). Лепешинский внес большой личный вклад в становление историко-партийной науки, советской педагогики, публицистики. Он теоретик и практик пролетарского интернационализма, автор интересных работ в области литературы, философии и экономики. Особенно много места в литературном и публицистическом творчестве П. Н. Лепешинского уделено В. И. Ленину.

В июне 1935 года П. Н. Лепешинский вышел на пенсию. Находясь на заслуженном отдыхе, продолжал активно участвовать в общественно-политической жизни страны, публиковал свои научные труды, успешно работал над романом «Борьба и творчество». В день своего 75-летия Пантелеймон Николаевич был удостоен высокой правительственной награды — ордена Трудового Красного Знамени. Много внимания уделял он коммунистическому воспитанию молодежи.

* * *

В семье Лепешинских было восемнадцать детей. Семеро умерли в маленьком возрасте. Пантюша был старшим из оставшихся в живых братьев и сестер.

Лепешинские жили очень скромно. Климовичский уезд был одним из самых бедных в Могилевской губернии. Ежедневно мальчик видел голодных, оборванных и обездоленных людей, собиравшихся у церкви. Эти безрадостные картины отложились в детской памяти на долгие годы. На рисунках Лепешинского, выполненных в студенческие годы, запечатлены убогая белорусская деревня, похороны бедняка, порка помещиком крестьянина и т. д. Вспоминая детство, Пантелеймон Николаевич писал: «Когда моя мысль залетает в далекое прошлое и парит над годами моей жизни, я испытываю такое ощущение, как будто опускаюсь в сырой подвал, куда не могут заглянуть весеннего солнца лучи и где шарахаются из стороны в сторону



П. Н. Лепешинский — студент.

встревоженные летучие мыши. Мне становится душно»¹.

Большое влияние на духовное развитие П. Н. Лепешинского в годы учения в Могилевской гимназии оказал преподаватель истории и русского языка С. И. Синявский, который привил ему любовь к гуманитарным наукам и литературному творчеству. Занятия он проводил интересно, учил гимназистов самостоятельно мыслить. Увлекательные занятия пробудили в Пантелеймоне Николаевиче не только желание учиться, но и самому взяться за перо. «Захватывает литературное творчество», — вспоминал Лепешинский. Позже, в студенческие годы, он нарисовал портрет дорогого для него человека, подписав его: «Мой любимый учитель, оказавший на мое развитие большое влияние». (Один из портретов С. И. Синявского, выполненных Лепешинским, экспонируется в Кричевском районном краеведческом музее Могилевской области.) У Синявского учился также Г. П. Исаев — член исполкома «Народной воли», участвовавший вместе с Н. Кибальчицем в создании бомбы, которой был убит Александр II. Исаев умер в тюрьме в 1883 году.

Уже в юношеские годы Лепешинский задумывался о судьбах трудового народа, о его страданиях и бедах. Тогда очень часто он ставил вопрос себе и товарищам: «Как помочь народу? Можно ли поднять его на борьбу?» Найти многие ответы на эти «волнующие его политическую совесть» вопросы он мог в книгах. Он чи-

тал без устали, ночью, иногда до утра. Знал не только современную русскую, зарубежную, но и древнюю литературу, был знаком с историей педагогики и искусства.

В пору учебы в университете у П. Н. Лепешинского сложилось собственное представление об истинно образованном человеке как «внутренне содержательном и одухотворенном». Он полагал, что можно развить в себе способность стать таким человеком с помощью знакомства с историей в целом и с определенными деятелями всех времен — от «Одиссеи» до книг М. А. Бакунина, П. Л. Лаврова, А. Д. Михайлова, П. Н. Ткачева, трудов видных педагогов Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, Р. Оуэна и других. В студенческих спорах он часто доказывал, что надо снять перегородки, существующие между наукой, литературой и искусством. Он видел все это в живом переплетении, как пути становления духовно развитой личности. Но знания чисто академические, не пополнявшие сокровищницу жизни, оставляли его равнодушным и раздражали: зубрежка мертвых языков была ему тягостна, он занимался этим через силу. Отсюда неудержимая тяга к чтению.

Осенью 1887 года студент Петербургского университета Лепешинский знакомится с народником Н. А. Орловым, который исповедовал унаследованный им от старого народолюбия символ веры. Он и стал пророком для Пантелеймона Николаевича в студенческие годы, познакомил его с революционной беллетристикой, приобщил к работе в народническом кружке. Пытаясь глубоко разобраться в новых для него идеях, Лепешинский опять обращается к книгам. Любимейшим автором становится Салтыков-Щедрин с его эзоповским языком, внешне раскрывающим свои полунамеки. Особенно полюбили образ «вяленой воibly», у которой вычистили внутренности и повесили ее на веревочке на солнце. Когда кожа на брюхе сморщилась, голова подсохла, а мозг, какой в ней был, выветрился, она с удовлетворением сказала: «Как это хорошо! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни чувств, ни лишней совести...» Запомнились образы «самоотверженного зайца», смиренно ожидавшего, пока волк изволит его слопать, «премудрого пескаря», «карася-идеалиста». Их и использовал студент Лепешинский для критики существующих порядков.

Одновременно с революционной работой в нелегальных кружках Лепешинский пробует рисовать. На первых порах он просто хочет научиться владеть карандашом. И длительное время влюбленный в цвет (особенно в голубой), воздерживается от красок — только рисует.

Вначале Лепешинский рассматривал свои рисунки как учебные, не больше: «Бабу Ягу», «Барщину» и другие. Показывая рисунки Орлову, не спрашивал, находит ли он их хорошими, талантливыми, выразительными, а говорил только: не замечает ли он в них некоторого прогресса? Не улучшились ли они по сравнению с предыдущими? Не продвинулся ли он еще на шаг? Лепешинский чувствовал себя тем бедня-

ком с сохой, которого нарисовал однажды: крестьянин упрямо тащил тяжелую соху по сохшимся комьям земли, каждый шаг давался с трудом, но, оборачиваясь назад, видел с удовлетворением — уже большой участок распахан и остался позади.

Среди рисунков Лепешинского вдруг появились вещи неожиданной силы и экспрессии, как, например, маленький рисунок «Спасение брата». Однажды, в трех-четырёхлетнем возрасте, он, наблюдая рыбок в пруду, упал в воду и чуть не утонул. Наполовину вытащив из воды, пятилетняя сестричка Катя держала его на руках до прихода взрослых. Ольга Пантелеймоновна рассказывала, что отец всю свою жизнь не мог забыть дрожание от напряжения ручонки сестры. Этот случай молодой Лепешинский и запечатлел на картине, нарисованной в память о Кате, трагически погибшей в 1883 году.

Интересны рисунки, выполненные одаренным юношей для иллюстрации курсистских лекций по истории искусств. Здесь были иллюстрации на мотивы русских народных сказок, к роману Сервантеса «Дон-Кихот», а также портреты Н. А. Добролюбова, Л. Н. Толстого, Д. И. Писарева и других писателей, оказавших влияние на формирование мировоззрения П. Н. Лепешинского. Плата за эти работы была для бедствующего студента и средством к существованию, давала возможность продолжать учебу в университете. За один печатный лист рисунков Лепешинский получал в издательстве около десяти рублей.

Точен и выразителен рисунок этой серии «Похороны бедняка». В 1863 году вышла в свет поэма Некрасова «Мороз, Красный нос», быстро нашедшая путь к сердцам многих читателей. Нельзя утверждать, что Лепешинский задумал свое произведение как иллюстрацию эпизода этой поэмы, но при взгляде на его картину невольно встают в памяти скорбные строки:

Савраска увяз в половине сугроба —
Две пары промерзлых лаптей
Да угол рогожей прикрытого гроба
Торчат из убогих саней.

Глубоким горем веет от этого небольшого рисунка. Медленным шагом, понутив голову, тяжело ступает по скользкой дороге, ведущей к далекому кладбищу, тощая лошада. Горестны, печальны лица живых среди снежного пейзажа под неприветливым свинцовым небом.

Когда-то в душу впечатлительного мальчика глубоко запали легенды и притчи, рассказанные односельчанином, старым солдатом-калейкой, участником Крымской войны, прослужившим в царской армии более 25 лет. Одна из них особенно запомнилась Лепешинскому. В сумерках странник с посохом бредет по дороге в гору, где виден город, озаренный лучами заходящего солнца. Странник спрашивает встречную женщину в черном: «Все ли время дорога идет в гору?» Она отвечает: «Да, до самого конца». — «А долго ли идти по ней?» — «С утра и до

позднего вечера», — отвечает женщина. Путник отправляется далее со вздохом, но и с надеждой достичь к концу пути сияющего града. Он вспоминает напущение женщины: «Вода дойдет до губ твоих, но выше не поднимется». Можно предположить, что запоминающиеся своей лиричностью, сюжетом серии картин Пантелеймона Николаевича «Рассказы старого солдата» и «В пути» — память о его босоногом детстве.

Все это интересно не только для выяснения художественных вкусов молодого Лепешинского. Важен сам выбор темы дороги — дороги, идущей в гору, дороги-надежды. Много приходится встречать в литературном и художественном наследии П. Н. Лепешинского вариаций этого образа: как видно, он вынашивался в сознании еще до того, как начался его собственный тернистый путь творца, путь революционера.

Знакомясь с рисунками Лепешинского, выполненными в 1887—1890 годах, нельзя не заметить самобытности художника. Темы и сюжеты рисунков разные, но есть одно общее, одни истоки — навеянная воспоминаниями нищенская жизнь белорусской деревни пореформенного периода. Бывая дома в Литвиновичах, Пантелеймон Николаевич оказывался в среде, глубоко поражающей его впечатлительную натуру. Зрительные образы деревни в отличие от детских и гимназических лет были сильны и мрачны. Бедность, уныние, голод. Среди застланных дымкой равнин — крошечные хижинки крестьян, безмолвные, курные, словно неживые — искривленные, закопченные до черноты. Черные колючие живые изгороди на фоне снега напоминают Лепешинскому письма на белой бумаге: «Выглядит, как страница библии». Чудилось нечто старинное, средневековое. И поневоле вспомнилось любимое им стихотворение К. Б. Богдановского «Белорусская деревня»:

Вот видны соломой
Крытые избышки
Мне знакомой с детства
Бедной деревушки...
Все они снаружи
Мрачны и убоги:
Не могу на них я
Глянуть без тревоги.
А внутри их вечно —
Летом и зимою —
Грусть царит и горе
С тяжкою нуждою...

Больше всего поражали воображение П. Н. Лепешинского усталые крестьяне, среди которых было много изможденных женщин и подростков, бредущих вечерами домой после тяжелой работы.

На крестьянских лицах
Виден след кручины
И тоски тяжелой...
Грустные картины.

Возвращение крестьян с панцини стало для него неотъемлемым образом. Его он много раз и в

различных вариантах воплотил в иллюстрациях к русским народным сказкам.

Глубокие знания психологии белорусского крестьянина позволили Лепешинскому уже в годы Советской власти по поручению В. И. Ленина организовать у себя на родине сельскохозяйственную коммуну «Новый путь» и создать опытную показательную школу-коммуну.

В севастопольский период жизни (1892—1894 гг.) основной темой творчества Лепешинского становится тема моря — моря человеческой души. Человеческую жизнь он сравнивал с путешествием по морю на утлой лодке (рисунок «Парус»). «Моя лодка мала, а жизненное море велико». Сердце человека уподобляется морю, где свои бури и бездны, но есть и свои жемчуга. Подобный лиризм и символика не случайны. После долгих преследований полиции и мытарств в столице — относительно спокойная атмосфера провинциального южного города, и, пожалуй, главной причиной этой темы — сильная первая любовь к образованной и привлекательной девушке Евдокии — дочери видного городского сановника. Однако в теме проявляется и недовольство «сонным» состоянием: сердце должно искать правду, стремиться к правде, оно больше других подвержено бурям (рисунок «Ураган»).

В Севастополе П. Н. Лепешинский по-прежнему не порывает с народничеством, однако особых симпатий к «идеальному царству всеобщей правды» уже не питает. Его манит живая революционная работа. Он пробует свои силы в организации забастовки служащих управления Лозово-Севастопольской дороги, выдвигая требования о сокращении рабочего дня. Забастовка прошла весьма успешно. Опасаясь опять попасть в поле зрения полиции (в 1892 году Лепешинский был исключен из-под негласного надзора), он уезжает в столицу.

Там он устраивается на работу в Государственную комиссию погашения долгов. В этом учреждении, как во всех ему подобных, зачистую царил произвол и бездушие высших чинов, попиравшие элементарных прав человека...

Лепешинский пытается убедить своих коллег по работе в необходимости выступления против несправедливого распределения денежных вознаграждений, но многие чиновники были далеки даже от такого невинного протеста. Убедившись в бесплодности пропагандистской работы по месту службы, Пантелеймон Николаевич разыскивает Н. А. Орлова, возглавлявшего народнический кружок, организационно принадлежавший народольческой группе А. А. Ергина. Сам пишет листовки, например, «Императорского дома наше приращение», в которой с помощью статистики показывает, каким бременем на плечи трудового народа ложится рождение всего лишь одного члена царской семьи. В качестве эпиграфа к тексту листовки шло стихотворение Лепешинского, которое заканчивалось такими строками:

Эх, скоро ли рукою твердою

Ты (т. е. народ) с корнем вырвешь это зло
(т. е. царизм)

И скажешь лишь с усмешкой гордою:
«Быльем бывшее поросло».

Пантелеймон Николаевич изготавливает мимеограф, на котором размножает нелегальную литературу. По поручению нелегальной народольческой группы ведет марксистскую пропаганду в рабочем кружке. Доверенный ему кружок состоял из шести человек. Не желая попасть в поле зрения полиции, Пантелеймон Николаевич проводил сходки конспиративно, постоянно меняя место занятий. Сходки проводились на квартирах, в лесу за Волковым кладбищем, на прогулочных пароходах и т. п. В материалах департамента полиции работа кружка не зафиксирована. Спустя четверть века, вспоминая своих учеников, Лепешинский в мемуарах много пишет о Василии Яковиче Антушевском, который пользовался особым авторитетом в группе, был знаком с идеями марксизма. На него были возложены организационные вопросы учебы: выбор места и времени собраний, посещаемость рабочими сходок. Однако Лепешинский и не предполагал, что Василий Якович был в то же время членом центрального рабочего кружка, в котором проводили занятия В. И. Ульянов, П. К. Запорожец и В. В. Старков.

По поручению социал-демократов В. Я. Антушевский осуществлял контроль за пропагандистской деятельностью в рабочем кружке. Такой контроль проводился на всех сходках с участием пропагандистов «Народной воли».

Лепешинский становится также членом кружка агитаторов, состоящего из Е. К. Агринской, В. В. Сибилевой, Н. Н. Плакшина и других интеллигентов, работавших в вечерне-воскресных рабочих школах. Используя свои связи, они подбирают передовых рабочих и создают новые кружки, передавая их ленинской группе, которая располагала более подготовленными кадрами пропагандистов. Это были годы учебы, учебы марксизму.

Деятельность «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», в который организационно входил кружок Лепешинского, не могла оставаться незамеченной. В ночь с 8 на 9 декабря 1895 года В. И. Ленин, П. Н. Лепешинский и другие члены «Союза борьбы» были арестованы полицией. Следствие по делу петербургского «Союза борьбы» определяет П. Н. Лепешинского принадлежащим к социал-демократическому движению. Последовали долгие месяцы тюремного заключения и высылка в Сибирь.

В ссылке (1898—1900 гг.) П. Н. Лепешинский на некоторое время возвращается опять к портретному жанру, одному из наиболее своеобразных и трудных жанров изобразительного искусства. Его жена, Ольга Борисовна, вспоминает, что Пантелеймон Николаевич подарил ей в ссылке написанные им четыре портрета: К. Маркса, В. И. Ленина, Н. Г. Чернышевского и Софьи Перовской. Портрет К. Маркса (и это в 1898 году!) был помещен на стене комнаты, в которой проживали Лепешинские. По окончании срока ссылки портрет остался в селе Ерма-

ковском и затерялся, но его фотография сохранилась.

Искусство Лепешинского-портретиста отличается не только своей психологической сложностью, но и повышенной социальностью. Люди, изображенные на портретах Пантелеймона Николаевича, тысячами нитей связаны с обществом, живут в нем и для него, несут моральные принципы и навыки, стремления и мечты своего времени.



Дом, в котором прошли детские годы П. Н. Лепешинского.

Большое внимание и любовь к изображаемому человеку — одна из основных особенностей портретов Лепешинского. В этом плане удался художнику светлый образ Софьи Перовской, участвовавшей в убийстве Александра II. Пантелеймон Николаевич восхищался героизмом этой русской революционерки.

Порвав с народничеством, прекрасно понимая, что все покушения — следствие отчаяния, Пантелеймон Николаевич не мог отказать народолюбцам в человеческом участии. Их решимость принести себя в жертву интересам человечества всегда волновала его. Надолго запомнилось тургеневское стихотворение в прозе «Порог», посвященное Софье Перовской. Перовская — молодая, обаятельная русская девушка, стоит перед открытой настежь дверью, за которой угрюмая, леденящая мгла. Она намеревается переступить через высокий порог. Слышится обращенный к ней из темноты медлительный и глухой голос: «Готова ли оставить своих товарищей, переносить холод, голод, тюрьму и болезни?» — «Да», — отвечает она. «Готова ли ты оставить семью, ожидающее тебя впереди счастье любви и материнства?» Она отвечает: «Да». — «Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить! Хочешь ли ты пойти на безымянную жертву?» Она отвечает: «Да!» Переступает роковой порог, и тяжелая дверь закрылась. «Безумная!» — проскрежетал кто-то зади. «Героиня, святая!» — приснеслось откуда-то сверху в ответ.

Еще направляясь в ссылку, П. Н. Лепешин-

ский вынашивал большие планы публицистической, литературной, теоретической и практической революционной работы. Он был одним из тех, кто, по словам А. В. Луначарского, создал вокруг В. И. Ленина «штаб большевистской журналистики». Обладая незаурядными способностями публициста, он до последних дней своей жизни умело использовал оружие слова в борьбе за интересы пролетариата. Очувшившись после тюрьмы в сибирской ссылке, он пустил в ход «всю свою творческую силу» — писал корреспонденции, статьи, литературные обзоры, которые печатал в газетах «Сибирская жизнь» и «Енисей». Это были интересные публицистические выступления молодого журналиста. Несмотря на цензуру, П. Н. Лепешинский поднимал в статьях острые вопросы тогдашней общественной жизни, умело разоблачал самодержавие.

Творчество П. Н. Лепешинского не ограничивалось только работой корреспондента. Он вел революционную пропагандистскую работу среди местной молодежи, умело маскируя ее, очень часто под «вечерки» с танцами и пением. Местный полицейский чиновник, так называемый заседатель, под наблюдением которого находились ссыльные, написал донос. Это могло привести к продлению срока ссылки и переводу в более отдаленные места. Зная, что полицейский чин нечист на руку, Лепешинский опубликовал ряд корреспонденций под заголовком «Из с. Казачинского» в газете «Сибирская жизнь». В их числе была басня, начало которой приводится ниже:

В лесах сибирских вековых
Жил волк с большущей пастью,
Который одарен был властью,
Ну, скажем, вроде наших становых...
(Известных с давних пор под кличкой
«куроцапы»).

Но если «куроцапа» лапы
Привыкли к дани в форме кур,
То наш таежный самодур
Слыл за любителя собольих шкур...

Эта басня явилась той последней каплей, которая привела к увольнению со службы казачинского держиморды.

Обобщая и анализируя свой революционный опыт, П. Н. Лепешинский написал серию очерков, начатую еще в Петербургской тюрьме, — о стачечной борьбе рабочих Севастопольской железной дороги. В ссылке окончив эту работу, хотел опубликовать ее в издании группы «Освобождение труда». К сожалению, эти труды были утеряны во время аварии парохода при переезде Лепешинского из с. Казачинского в с. Курагинское.

Влияние В. И. Ленина на формирование мировоззрения Лепешинского в годы сибирской ссылки не могло не сказаться на его художественном творчестве. Он выполнил рисунок «Обыск и арест», на котором изобразил свой арест по делу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Этот рисунок говорит о несомненном воздействии искусства

русских художников-передвижников на Лепешинского. Сюжет его несложен. Произведенный, по-видимому, недавно в офицерский чин, в новом вицмундире, жандарм с важностью проводит обыск. Сколько он ждал этого счастливого часа! Но художник иронически подмечает, что уже незначительная ступенька чиновничьей иерархии придает новоиспеченному благородию заносчивую спесивость, он уже готов властвовать, готов покрикивать, желает как должное принимать заботы о нем окружающих. Невольно вспоминаются строки



П. Н. Лепешинский с женой.
1897 г.

«Колыбельной» Некрасова: «Будешь ты чиновник с виду и подлец душой». По традиции сохраняет Лепешинский небольшой формат картины, тонкую, ювелирную отделку деталей, выразительное обыгрывание предметного окружения и, главное, сатирический тон.

Под впечатлением совещания, осудившего декларацию «экономистов» и принявшего исторический документ «Протест 17-и», Лепешинский выполнил ряд замечательных зарисовок, на которых изобразил своих товарищей во время работы этого «съезда».

Революционному творчеству Лепешинский учился у В. И. Ленина, активно участвуя в борьбе, познавая ее тактику. В архиве дочери — Ольги Пантелеймоновны — сохранилось письмо от 20 декабря 1898 года О. Б. Лепешинской, адресованное мужу, на оборотной стороне которого находится список двадцати политических ссыльных с указанием против большинства из них места и срока ссылки. Установлено, что эти пометки собственноручно сделал В. И. Ленин. В этом списке перечислены фамилии вновь прибывших политических ссыльных. Следить за судьбой прибывающих товарищей, оказание им поддержки и помощи было важнейшим неписаным законом русской политической ссылки. Это нелегкое поручение было возложено на Пантелеймона Николаевича. Он поддерживал переписку с ссыльными социал-демократами, рассылал им необходимые партийные документы

и литературу. Такая работа требовала большой смекалки, умения конспирации и творчества, так как просто массовая рассылка из Ермаковского обратила бы на себя внимание полиции, что могло вызвать нежелательные последствия для Лепешинского и его товарищей: перевод на новое место, увеличение сроков ссылки и другие репрессивные меры.

В. И. Ленин привлекал своего товарища по борьбе и к совместной литературной работе. В. К. Курнатовский в письме Е. И. Окуловой от 17 марта 1899 года сообщает о том, что книга «Развитие капитализма в России» уже печатается, и Владимир Ильич предложил ему и «...Лепешинскому быть счетчиками в предполагаемой им новой работе (переработке фабрично-заводской статистики России), если только найдется издатель. Придется составить и считать около 30 000 карточек»². В этот период В. И. Ленин под псевдонимом «Владимир Ильин» издал свой первый сборник «Экономические этюды и статьи». В нем была опубликована статья Ильича «К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике (новые статистические подвиги проф. Карышева)». О какой работе пишет Курнатовский — пока неизвестно. Возможно, речь идет о неразысканной работе В. И. Ленина.

Впервые в ссылке П. Н. Лепешинский проявил талант карикатуриста. А. С. Шаповалов вспоминает о его карикатуре из казачьей жизни, рисованную карандашом со стихотворным текстом. На ней он очень удачно изобразил В. К. Курнатовского в виде Дон-Кихота Ламанчского, споткнувшегося о свою собаку Дианку во время общего катания на коньках. Кроме Курнатовского, здесь были изображены К. И. Окулова, А. С. Шаповалов и другие.

Некоторые эскизы картин, выполненные П. Н. Лепешинским, дают сведения о большой дружбе соратников В. И. Ленина, их работе, досуге и отдыхе. Известно, что В. И. Ленин очень любил шахматы. Так как равных ему в ссылке не было, он играл одновременно с тремя: П. Н. Лепешинским, Г. М. Кржижановским и В. В. Старковым. Одна из таких «шахматных баталий» отображена на знакомой картине И. Тютикова, которая написана по наброску Пантелеймона Николаевича.

Псковские годы жизни (1900—1902 гг.) П. Н. Лепешинского — это необычайно тяжелая и суровая жизнь профессионала-искровца. Постоянно рискуя попасть в лапы царской охраны, он вел напряженную нелегальную работу в социал-демократических организациях Северо-Запада России и Петербурга, устанавливал и расширял связи «Искры» с передовыми рабочими, изучал положение крестьян в деревне. Об агентах «Искры» В. И. Ленин писал как о людях, которые вынесли на своих плечах основную тяжесть борьбы за создание партии.

Корреспонденции и письма Лепешинского шли непрерывным потоком. Многие из них из-за трудности в доставке терялись или перехва-

тывались полицией. В настоящее время известны лишь двадцать его корреспонденций и писем, которые хранятся в различных архивах.

Многим истинным профессиональным революционерам был необходим литературный талант. И не только для написания статей и листовок. Лепешинский вспоминает, как в легальных письмах сообщались новости для «Искры», но таким языком, чтобы жандармское внимание в случае вскрытия письма было усыплено «ультраблагонамеренным» тоном. Вот характерная выдержка из такого письма: «У нас новостей из жизни общественной пока что никаких. Здесь одна из девиц выпущена на свободу, и перед ней, говорят, извинялись — «недоразумение», мол, вышло. Ходит слух, что в Вильне праздновалось 1-е мая, и всех буянов перепороли, причем потеха такая! — у каждого казнимого спрашивали: «Сколько тебе лет?» — «25», — отвечает. Ему всыпают 25 розог. Городовые и дворники садятся ему на голову и на ноги (говорят еще, что при этой операции играла роль какая-то доска, которую клали на ноги, но как это, я не представляю себе) и дерут. И отлично, по-моему, делают, потому не бунтуй. Какого в самом деле черта им надо!.. Спасибо фон Вальо — энергичный человек. Были еще демонстрации в Сморгони и Ковне. В этом последнем прохвосты успели поднадуть полицию: она ожидала демонстрацию 18 апреля и была наготове, а они учинили скандал позже. Благодаря этому им удалось с полчаса продемонстрировать, причем перед домом губернаторским шельмецы пели революционные песни и пр. В Питере же, слава богу, все тихо...» Одно письмо продолжало другое — и таким образом складывалась хроника общественной жизни России.

Несмотря на большую загруженность партийной конспиративной работой, П. Н. Лепешинский выезжал в уезды для статистических обследований. В 1901—1902 годах он во главе одной из партий обследовал Псковский уезд, а именно собирал сведения о территории, населении и земледелии уезда. Результаты его труда были напечатаны лишь в 1912 году в специальном сборнике. Новым в нем был раздел о погодных условиях года и влиянии их на урожай. Лепешинский предложил для сбора нужного материала специальные дневники погоды, ведение которых оказалось бы доступным каждому грамотному сельскому жителю. В итоге обследования Опочецкого уезда им была написана глава «Население», которая была опубликована в статистическом сборнике 1901 года. Лепешинский остановился не только на численности и плотности населения в разных районах уезда, но и постарался выяснить факторы, определяющие плотность населения в районах крестьянского надельного земледелия, как велики в каждой волости доли крестьянских семей, ушедших со своих наделов на промыслы или иные земли, и другие важные вопросы.

Материалы, полученные в ходе обследования деревень, помогали Пантелеймону Николаевичу глубже изучать социальные процессы, происходящие в жизни крестьянства, подроб-



П. Н. и О. Б. Лепешинские среди ссыльных с Казачинского. 1898 г.

нее информировать о них редакцию газеты «Искра» и лично В. И. Ленина, который выражал ему в письмах благодарность за ценные корреспонденции. Эти материалы были использованы Владимиром Ильичем при разработке аграрной программы партии. Творческая и активная деятельность по сбору и доставке материалов псковской группы, руководимой Лепешинским, отмечалась и в докладе II съезду РСДРП.

Среди немногих важнейших путей транспорта «Искры» в Россию был северный, через Архангельск, который наладил Пантелеймон Николаевич. В апрельском письме 1902 года в «Искру» он сообщает, что ему удалось в Архангельске отыскать на кораблях «Николай II» и «Святой Трифон» Мурманского пароходства надежных людей, которые согласились оказывать содействие в транспортировке необходимых посылок из России в Варде (Норвегия) и обратно. Далее он указывает пароли. Редакция газеты приняла это предложение, и путь начал действовать в июле 1902 года, когда прошел первый транспорт.

В Пскове П. Н. Лепешинский подобрал несколько постоянно действующих адресов, по которым поступала корреспонденция из-за границы. Успешно также действовал склад для временного хранения нелегальной литературы. Работая в Пскове, Пантелеймон Николаевич поддерживал тесную связь с социал-демократиче-

скими кружками в Минске, Витебске и Могилеве. В распространении «Искры» в Белоруссии ему оказывали помощь родные сестры Зинаида и Юлия, а также брат Петр.

Незаурядное революционное мастерство проявил Лепешинский в деле перехода Петербургского комитета от «экономизма» на искровские позиции. В. И. Ленин предложил даже создать «русский комитет для подготовки съезда». В выполнении этой задачи Пантелеймон Николаевич принял активное и творческое участие. 2—3 ноября 1902 года в Пскове, в Петровском посаде, в доме Лепешинского состоялось совещание представителей «Искры» и социал-демократических комитетов. В ходе этого совещания был составлен и утвержден текст «Извещения об образовании Организационного комитета» (в него вошел и П. Н. Лепешинский), ставивший своей главной задачей подготовку условий для созыва II съезда РСДРП.

Однако созидательная деятельность Пантелеймона Николаевича была прервана. По обвинению в революционной деятельности он был арестован и выслан в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции сроком на шесть лет.

В сентябре 1903 года П. Н. Лепешинскому удалось бежать из ссылки и эмигрировать в Женеву, где он пробыл до 1905 года.

Лепешинский тяжело переживал происшедший после II съезда РСДРП раскол в партии и переход Г. В. Плеханова, своего первого учите-

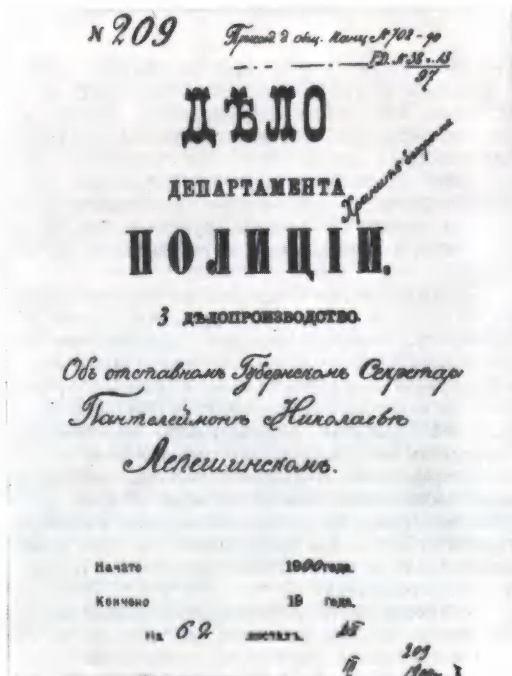
ля-марксиста, на позиции меньшевиков. Тяжелая атмосфера заседаний Совета партии (Лепешинский был его секретарем) глубоко волновала его. Пантелеймон Николаевич вспоминает, что В. И. Ленин всегда шел в Совет, как на пытку. Под впечатлением одного из таких заседаний Совета партии П. Н. Лепешинский нарисовал эскизы картины, на которых изобразил всех участвующих в ходе дискуссии.

Интересны по сюжету и выполнены с высоким художественным мастерством его политические карикатуры: «Как мыши ката хоронили», «В участке», «Сизифова работа», «Вперед, за мной», «Сюртук», «Мальчик в штанах», «В калоше» и другие, высокую оценку которым дал В. И. Ленин. Карикатуры интересны не только политической направленностью, но и исполнением. Изображенным персонажам Пантелеймон Николаевич придавал портретное сходство с видными меньшевистскими деятелями. Вспоминая время эмиграции, Л. А. Фотиева об известной работе Лепешинского «Как мыши ката хоронили» писала: «Карикатура была широко распространена в Женеве. Отдельные фразы ее текста передавались из уст в уста, вызывая смех среди большевиков и бурное негодование меньшевиков».

В создании портретных шаржей П. Н. Лепешинский имел те особые качества, которые должны быть присущи художнику-карикатуристу. Он вовремя и верно откликался на важные события в жизни партии, обладал глубоким и проницательным умом, воспитанным в духе большевистской партийности, широким кругозором и запасом знаний, умел быстро и правильно ориентироваться в подчас очень сложном лабиринте политической обстановки, найти и выделить в ней основное, ведущее явление.

Наконец, Лепешинский обладал даром наглядного образного мышления, даром воплощения идей и фактов в рисунке, чаще всего сатирическом. У него было богато развито ассоциативное мышление, способность сразу увидеть в людях и событиях черты парадоксального и смешного. Оценивая карикатуры Пантелеймона Николаевича, А. М. Горький отмечал: «...Здорово они (т. е. карикатуры) получают — с солью и перцем»³.

Очень много сделал П. Н. Лепешинский в деле организации «Библиотеки и архива при ЦК РСДРП». Понимая, что недавно сложившаяся Российская социал-демократическая рабочая партия нуждается в своей документальной и научной базе по истории и теории революционной борьбы пролетариата, он в частной беседе с В. Д. Бонч-Бруевичем предложил создать библиотеку и архив. Его идея нашла практическое воплощение. Она была поддержана на одном из собраний женевской группы большевиков, состоявшемся в январе 1904 года. Присутствовавшие на этом собрании В. Д. Бонч-Бруевич, В. В. Воровский, М. С. Ольминский, М. Н. Лядов и др. предложили делегировать Бонч-Бруевича к В. И. Ленину, чтобы оповестить его о принятом собранием решении и зару-



Дело департамента полиции об отставном губернском секретаре П. Н. Лепешинском.

читься его поддержкой. Владимир Ильич поддержал эту идею и до окончательного решения этого вопроса в ЦК партии доверил организацию библиотеки и архива «Группе инициаторов» и вместе с тем сам принял в этом деле непосредственное участие.

Особенно творческие способности Лепешинского проявились в годы Советской власти. Он большое внимание уделял творческой интеллигенции. Работая в 1919—1920 годах в Туркестане, пытался поднять культурный уровень коренного населения края.

Главную задачу в работе театрального отдела Наркомпроса он видел в создании и всестороннем развитии национального театрального искусства. Искусство для Лепешинского — это в первую очередь могучее специфическое средство усовершенствования уклада человеческой жизни. Его цель — не создание шедевров, а создание совершенного общества, эстетически воспитанных народных масс. Эти мысли в определенной степени сходны с идеей Л. Шиллера об эстетическом воспитании человечества и его же формулой о том, что высшим созданием искусства является построение здания истинной политической свободы. Но у Лепешинского в отличие от Шиллера эстетическое воспитание дополняет, а не заменяет социальную революцию. Действительность несовершенна, но она должна быть совершенной. Для этого человеческое общество нуждается в корректирующем влиянии искусства. П. Н. Лепешинского в первую очередь интересует непосредственное воздействие искусства на зрителя, читателя, слушателя, степень участия художника и его творений в революционном преобразовании мира. Театр Пантелеймона Николаевича называл и трибуной, и школой нравственности, и университетом жизни.

Что же слышал с этой трибуны местный житель? Кем утверждались на сцене высокие идеалы? Ответы на эти вопросы мы находим в архивных документах Наркомпроса, театральных афишах тех лет, в воспоминаниях участников и в других источниках. В них, как в зеркале, отражены проблемы, волнующие театр того времени, пути, которые он нашел к уму и сердцу своего зрителя.

Ольга Пантелеймоновна Лепешинская вспоминает, как в сентябре отец пригласил ее на премьеру музыкальной драмы «Халима», написанной Гулямом Зафари, которая ставилась по инициативе Наркомпроса. Представление состоялось в помещении сада отдыха старого города, в той части Ташкента, где проживало в основном узбекское население. Премьера прошла с огромным успехом, вызвала необычайный интерес у зрителей. Спустя некоторое время в Наркомпросе, в рабочем кабинете отца Ольга Пантелеймоновна встретилась с одним из участников постановки, Музафаром Мухамедовым, и услышала от него такие слова: «Если бы театр ставил «Халиму» каждый день, то и тогда зал бы был всегда переполнен».

В чем же причина такой популярности спектакля? Она — в современности пьесы, затронувшей социальные вопросы, которые глубоко

волновали тогда людей, поднимала острую тогда тему о насильственных браках, широко распространенных в Туркестане даже в первые годы Советской власти. Конфликт строился на типичном в ту пору столкновении чувств, естественных для молодых людей, и социальных условий, не дававших людям возможности вступить в брак по влечению сердца.

Большой успех постановки «Халимы» еще раз воочию показал общественно-политическое



П. Н. Лепешинский, дочь Оля и жена Ольга Борисовна. Орша. 1907—1910 гг.

значение искусства. Кто же ее подготовил? Что предприняли руководимый в то время П. Н. Лепешинским Наркомпрос, театральный отдел, вновь созданные творческие коллективы, чтобы сбылись надежды зрителей, чтобы пламенное слово, звучащее со сцены, поднимало людей, помогало им жить и трудиться, строить новое социалистическое завтра? С участием Пантелеймона Николаевича была реорганизована громоздкая и негибкая структура театрального отдела, рассмотрены его ближайшие задачи⁴. Учреждена репертуарная комиссия, в состав которой вошли работники Наркомпроса и артисты ташкентских театров. Она разрабатывала репертуар не только для центра, но и для периферии⁵. Лепешинский считал, главное в театре — те дополняющие нынешний мир элементы, которые должны сделать его прекрасным. Пантелеймон Николаевич предполагал не праздное мечтательство, а переделку существующего мира в смысле приближения его к новой революционной эстетической норме.

Лепешинский распустил ненужную театральную коллегию, распределяющую роли и партии и сковывающую инициативу режиссеров⁶. Он подчеркивал, что улучшение режиссуры — это веление времени, что режиссерское начало должно быть в театре ведущим. По мнению Пантелеймона Николаевича, такое начало выдвигает на первый план гармонию всех частей спектакля, подчиненности сценического творчества, когда важно все — от сценария до реквизита, от автора до рабочего сцены, режиссер становится руководителем, которому предстоит сплотить сложное театральное хозяй-

ство, придать ему четкое направление, является идеологом театра и воспитателем актеров. Отсюда понятно, почему П. Н. Лепешинский уделял большое внимание подбору актеров. Он содействовал их подбору, участливо относился к талантливым бедствующим артистам, оказывал им материальную помощь, оберегал время опытных актеров для творческой работы⁷. Лепешинский проявил большую заботу о финансировании театрального дела, материальном обеспечении его, отдавал много сил налаживанию работы оперного и драматического театров, самодеятельных ташкентских групп.

Пантелеймон Николаевич считал, что советское театральное искусство должно развиваться в неразрывной связи с борьбой трудящихся за упрочение советского строя. По его рекомендации большинство участников театральных групп вело большую агитационно-пропагандистскую работу. Их выступления, проникнутые пафосом веры в победу новой жизни, понимали боевой дух красноармейцев, повышали классовое самознание местного населения, вдохновляли его на борьбу с врагами социалистической революции.

Оценивая роль П. Н. Лепешинского в развитии театрального искусства Туркестана, нельзя не сказать и о драматическом театре имени Карла Маркса. Он был организован с участием Пантелеймона Николаевича, костяк его составили наиболее талантливые актеры распавшегося театра «Турон». При содействии Лепешинского театр был полностью обеспечен музыкальными инструментами, а в июле 1920 года в его состав вошел певец и музыкант Мухитдин Кари-Якубов, которому суждено было стать основоположником самостоятельного узбекского музыкального театра. Одно время театр имени Карла Маркса обслуживал части Оренбургского фронта.

В декабре 1920 года по постановлению Наркомпроса его коллектив слился с несколькими более мелкими труппами, после чего образовался новый театр, названный «Образцовой узбекской труппой». По предложению Лепешинского ей предоставили постоянное театральное помещение в старом городе. Некоторое время спустя ядро возникшей труппы вошло в состав ныне существующего Узбекского драматического театра, который стал носить позже имя Хамзы. Он сыграл огромную роль в развитии не только драматического, но и музыкального искусства Туркестана, так как на всем протяжении 1920-х годов наряду с драматическими спектаклями в нем также ставились и музыкальные комедии. Начало им положила «Халима», десятилетия не сходящая со сцены.

После опубликования подписанного В. И. Лениным декрета Совета Народных Комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг», и создания проектов памятников Великому Октябрю первые монументы появились и в Туркестане. Как руководитель Наркомпроса, Лепешинский уделял особое внимание этому виду революционной пропаганды — скульптура была в крае самым слабым звеном

в изобразительном искусстве, она в те годы не имела здесь ни одного произведения, выполненного из дерева, мрамора или бронзы. Для превращения ленинского декрета в жизнь Наркомпрос мобилизовал все имеющиеся художественные силы, выделил необходимые средства.

В скульптуре, как и в других видах искусства, Пантелеймон Николаевич видел могучее средство отображения действительности в художественных образах, обладающее большой силой общественно-воспитательного и эмоционального воздействия. Он выделял монументальную скульптуру, считая, что она наиболее пригодна для пропаганды значительных общественных идей, обращена к широким массам зрителей и имеет высокую степень обобщения. Скульпторы эпохи социальных революций, по мнению Лепешинского, в первую очередь должны были воплощать в своих произведениях характерный для этого времени идеал человека, раскрывать идейно-психологическое содержание героя с помощью художественно-выразительного изображения человеческого лица, фигуры, передачи ее движений, позы, жеста и т. д.

В 1920 году в Ташкенте по инициативе Лепешинского⁸ воздвигнут памятник Т. Г. Шевченко⁹. Такой выбор не случаен. В Туркестанском крае в результате проведенной Столыпинным аграрной реформы проживало значительное число украинцев. Кроме того, Т. Г. Шевченко занимает почетное место не только в украинской, но и в мировой литературе.

Памятник поэту был установлен в маленьком сквере перед институтом народного просвещения — бывшим реальным училищем при пересечении улиц Т. Г. Шевченко и Узбекской. До последнего времени не было известно имя скульптора, создавшего памятник (некоторые исследователи считали автором художника П. Головина).

В Центральном государственном архиве Узбекской ССР удалось отыскать документы, свидетельствующие о том, что автор памятника — бывший военнопленный, интернационалист, венгерский скульптор Э. Руш⁹. В отличие от большинства современных ему мастеров, создававших обычно идеализированные народные образы, Руш стремился к правдивому воплощению своих героев и их глубокой социально-психологической характеристике, исключающей ложную напыщенность. Скульптор своеобразно понимает и выражает величие Шевченко. Изображая Кобзаря немолодым, он правдиво запечатлевает его изможденное, усталое, испещренное морщинами лицо. Но вместе с тем Э. Руш с огромной силой раскрывает характер Шевченко, показывает его неистощимую энергию, смелый и пронзительный ум, острый интерес к жизни, перед которым отступают усталость и преждевременная старость. Скрывая от зрителя художавшую фигуру Шевченко под складками просторной одежды Кобзаря, Руш концентрирует внимание на лице и руках поэта, создавая тем самым впечатление внут-

ренной силы и темперамента. Великий украинский поэт показан в окружении героев своих поэм. Жадно всматриваются в лицо Кобзаря девушка и мальчик в украинской национальной одежде.

По предложению Лепешинского открытие памятника Т. Г. Шевченко происходило в торжественной обстановке, превратившись в кампанию пропаганды творчества великого Кобзаря — непримиримого врага самодержавия и крепостничества. В субботу 20 ноября было показано два спектакля по пьесе Шевченко «Назар Стодоля». Утром следующего дня в помещении театра имени Я. М. Свердлова состоялось торжественное заседание, посвященное великому Кобзарю, с участием делегатов со всех уголков Туркестана, членов правительства и представителей многих общественных организаций. Заседание приняло обращение к украинскому населению края. После спектакля по поэме Шевченко «Наймичка» было организовано шествие к памятнику. Празднество закончилось вечером торжественным концертом.

К сожалению, выполненный из недолговечного материала, памятник простоял короткий срок.

При поддержке Наркомпроса края в те же годы в Самарканде по проекту Руша был установлен монумент «Ворцам революции». Прекрасная юная женщина символически разрывает кандалы угнетения, на барельефах постаменты изображены трудящиеся Советского Востока, освободившиеся от цепей капитала, четыре полубогаженные фигуры рабов, установленные вокруг памятника, символизируют еще угнетенный Восток.

Почти все периоды подвижнической жизни П. Н. Лепешинского нашли отражение в мемуарах и публицистике. Книгу воспоминаний «На повороте» Лепешинский подарил В. И. Ленину с надписью: «Дорогому Ильичу от старого товарища. П. Лепешинский 9.V.22 г.». В настоящее время она хранится в библиотеке В. И. Ленина в Кремле за № 900. Книга выдержала четыре издания в нашей стране, опубликована в Болгарии и Китае. В ней рассказывается о революционной и публицистической деятельности П. Н. Лепешинского с конца 80-х годов XIX века до первой русской революции.

Мемуары П. Н. Лепешинского представляют не только социальную ценность. Бывший секретарь ЦК КПБ Г. Б. Эйдинов отмечал, что в годы Великой Отечественной войны на Гомельских курсах, готовивших кадры для ведения партизанской борьбы, книгой «На повороте» пользовались как учебным пособием. В частности, изучался опыт подпольной работы профессиональных революционеров, техника печати, размножения листовок¹⁰.

Немало публицистических статей, очерков и рассказов Лепешинский посвятил В. И. Ленину. Видное место в его Лениниане занимают воспоминания «Вокруг Ильича». В них он особо подчеркивал, что современникам и соратникам Ильича в воспоминаниях о нем необходимо избегать «иконографической» характеристики

его и что по всем своим «личным особенностям» он не нуждается в каком бы то ни было приукрашении. Гениальность В. И. Ленина не мешала ему быть «простым, как сама правда».

Содержательные научные работы П. Н. Лепешинского по литературоведению. Большую ценность представляют его публикации, посвященные творчеству А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также современных ему писателей. Янка Купала, прочитав обзор Лепешинского, посвященный своему творчеству, отметил: «Я редко встречался с таким глубоким проникновением в мой внутренний мир»¹¹.

Важное место в творчестве П. Н. Лепешинского занимает историческая проза. Его рассказы, повести, романы обращены к переломным моментам нашей истории.

С большим интересом читается увлекательная повесть «Зеленый шум». Автором повести указана О. П. Лепешинская — дочь Пантелеймона Николаевича. Следует отметить, что рукопись написана ее отцом, о чем она сама пишет во введении к книге. Повесть во многом автобиографична, действия и поступки ее главного героя — Бориса Волохина — во многом совпадают с деятельностью Пантелеймона Николаевича. По инициативе Бориса Волохина учащиеся реального училища издавали полулегальный журнал. Под редакцией Лепешинского «реалисты» тоже выпустили семь номеров журнала «Голос учащихся», который вскоре закрыла полиция. Волохин был членом партийной организации, которая располагала своей кассой и вела марксистскую пропаганду. Партийная группа, созданная при Оршанской публичной библиотеке имени А. С. Пушкина и руководимая Пантелеймоном Николаевичем, также занималась распространением нелегальной литературы, вела революционную работу среди рабочих железной дороги.

Большой интерес вызывают у читателей «Зеленого шума» разделы «Педагогическая утопия Волохина» и «Еще раз Педагогическая утопия». В них устами главного героя Лепешинский излагает свои педагогические концепции на школу и воспитание.

Социалистическому преобразованию деревни после окончания гражданской войны посвящен роман «Борьба и творчество». Продолжение судеб героев романа находим в незаконченном романе «Под солнцем», рукопись которого находится в архиве его дочери. Хотя автор не ограничивает повествование хронологическими рамками по отдельным упоминаемым фактам, можно предположить, что действие романа происходит после X съезда РКП(б). Лепешинский начал работу над ним в 20-е годы. На воплощение замысла ушла почти четверть века неустанного, самоотверженного труда. По свидетельству Ольги Пантелеймоновны, Лепешинский закончил роман за несколько дней до смерти.

Пантелеймон Николаевич рассказывает об истории коммуны в одном из сел Белоруссии,



П. Н. Лепешинский (на переднем плане) на уборке урожая.

организованной Иваном Подсолнухом, бывшим сотрудником ЧК. Вернувшись после гражданской войны в родное село Болотино, Подсолнух создает небольшую сельскохозяйственную коммуну, а при ней и школу, хочет на практике доказать преимущества коллективного труда. Лепешинский показывает типичные обстоятельства, в которых происходила «социализация» деревни не только в Белоруссии, но и во всей стране. Но это внешние обстоятельства, лишь очерчивающие событийную канву. Глубина художественного мышления автора проявилась в создании индивидуальных характеров, каждый из которых не только представлял определенный социальный тип, но и обладал той психологической полнотой, за которой — многообразие человеческой личности.

Противопоставление двух лагерей в романе — это не только борьба и столкновение различных социальных сил, представленных, с одной стороны, коммунарами Иваном Подсолнухом, Михайлом Подлужным, Аксиньей и Павлом Комарами, Насткой Пастушкой, Розой Менделевич, сочувствующими Советской власти Загуляевым, Агафоновым, а с другой — теми, кто пытается задержать, приостановить ход истории, — Дроздовым, Митренко, Косолаповым. Это еще и столкновения различных, резко очерченных характеров. Типичность героев романа — следствие глубокого проникновения в жизнь, противоборство социальных сил воплощается в конфликтах, которые имеют не только общественно-политическое звучание, но проявляются и в интимных отношениях.

В то время жизнь действительно поднялась «на дыбы, как норовистая лошадь». Рвутся

привычные связи, создаются новые отношения — ничто не стоит на месте, все приходит в движение. Не случайно еще в самом начале романа ярко показана ночная встреча Ивана Подсолнуха с кулацким сыном, вожак банды Мотькой Митренко. Это позволяет сразу же вовлечь читателя в бурный водоворот развернувшихся вскоре событий.

«По одежде встречают, по исполнению долга ценят» — так можно перефразировать известную народную поговорку применительно к героям романа. В нем не встретишь героев нравственно неопределенных, их характеры выписаны выпукло, достаточно точно, хотя и не обнаженно. Плохой может казаться хорошим до поры до времени, но, как известно, казаться — еще не значит быть. В первых же кризисных ситуациях камуфляж добропорядочности рассеивается, как дым на ветру. Интересен в этом плане образ сельского ловеласа Петьки Дроздова. С большой обличительной силой показан кулак-миродоев Парамон Митренко, в зверином облике которого нет ни одного проблеска. Презрение читателя к нему нарастает от страницы к странице. Им противопоставляются коммунары Настка Пастушка и Михайло Подлужный, мужество которых ярко проявилось во время кулацкого бунта.

Коммунары не всемогущи. «Надо!» — вот тот закон, по которому они живут. Никто из них даже в мыслях не пытался уклониться от опасности, спрятаться за спины товарищей. Например, секретарь волостной партийной ячейки Владимир Сомович, погибший в неравной схватке с кулаками.

Позиция Сомовича совпадает с идейно-нрав-

ственной позицией главного героя романа Дмитрия Фурманова «Мятеж» — уполномоченного реввоенсовета Туркестанского фронта по Семиречью: «Если быть концу — значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно! Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза...»

Размышляя о судьбах своей Родины, Лепешинский поднимает в романе одну из важнейших тем современности — необходимость исторического выбора и связанного с ним поведения. Для Подсолнуха коммуна, а в перспективе колхоз — естественное развитие революции, историческая необходимость, без которой нельзя выйти из нужды. Ради этого он готов на любые испытания.

В романе «Борьба и творчество» определилась одна из самых замечательных черт таланта П. Н. Лепешинского. Для него человек, общество и окружающий мир — равноправные элементы художественного изображения. Человек и общество, природа и люди входят в творческий мир Лепешинского как нечто единое, связанное одно с другим прочными, неразрывными узами.

Лепешинский-писатель и Лепешинский-художник неразделимы. Среди его рисунков есть иллюстрации к художественным произведениям, к лекциям по истории искусств. Работы художника динамичны, многие из них сюжетны. Он пишет повести, романы, стихи, басни. Для Лепешинского художественная литература — источник социальных идей, средство познания, расширения кругозора. Он обладал редкой чуткостью именно к искусству слова. Его любимейшими писателями были Гоголь и особенно Диккенс, который «как никто умел рисовать словами». Пантелеймон Николаевич внимательно присматривался и к иллюстраторам гениального английского писателя, хотя сам и не собирался иллюстрировать его книги. Однако диккенсовская манера видеть, зоркая на характерные детали, юмор и глубокое сочувствие к своим горемычным героям, живописность в описании городских трущоб, уличных сцен — словом, сама атмосфера произведений Диккенса заметно воздействовала на Лепешинского, особенно при иллюстрировании им лекций по истории искусств.

В то же время литературный источник для Пантелеймона Николаевича всегда вторичен, с ним он соизмеряет лишь то, что сам увидел в жизни.

Отголоски различных литературных произведений можно открыть в рисунках, портретах и картинах П. Н. Лепешинского.

Писатель и художник сочетаются в Лепешинском при создании портретов современников. В его зарисовках к картине «Совет партии» изображено заседание с участием В. И. Ленина. Художнику удалось «схватить то характерное, то особенное нечто, что «играет» на живом, подвижном лице» Владимира Ильича¹². Глядя на картину, вспоминаешь его же литературный портрет Ленина: «...для лица Ильича характер-

ным, делающим впечатление является не одно какое-либо выражение, представленное определенной комбинацией линий и контуров, а быстрая смена различных выражений, начиная от гневно-сурового и кончая экспрессией залихватого, непередаваемо веселого смеха. Это лицо — зеркало диалектических противоречий, вечно размещающихся в тех или иных эмоциональных формах»¹³. Тонко и точно переданы на картине остальные участники заседания, сама его атмосфера. А вот как метко Пантелеймон Николаевич сам говорит по этому поводу: «...очень хорошо помню картину заседаний этого «высокого учреждения». Владимир Ильич всегда шел в Совет, как на пытку. Он очень хорошо знал, что его там будут распинать: Мартов власть покуражится, Плеханов непременно изобразит из себя Юпитера-громовержца... И в конце концов вся новоскреская тройка с прорывающей наружу или еле сдерживаемой улыбкой торжествующих победителей станет майоризировать его и Ленгника по всем пунктам»¹⁴.

П. Н. Лепешинский был блестящим мастером литературного портрета. Интересны его зарисовки о А. А. Ванееве, В. В. Воровском, В. К. Курнатовском, А. В. Луначарском, М. С. Ольминском, Г. В. Плеханове и других видных деятелях партии, имена которых встречаются в его воспоминаниях. Надолго запоминается портрет Г. М. Кржижановского: «На его красивом лице с огромным открытым лбом и темно-карими, несколько выпуклыми глазами можно было иной раз на протяжении короткого промежутка времени проследить полную хроматическую гамму настроений — от самых мирных до ультрамажорных и обратно». Не забывается и светлый образ А. А. Ванеева, отдавшего жизнь борьбе за народную правду: «...с тонкими, нежными чертами бледного лица, на котором болезнь, сведшая его через два года в могилу, наложила уже свою мертвенную роковую печать, со своими крохотными, глубоко лежащими в глазах впадинах, василькового цвета очами и с улыбкой ясной и доброй, казался воплощением доброты и нравственной чистоты».

Еще А. П. Чехов писал о том, что превращает словесное описание в картину. «В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закрошь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатила шаром черная тень собаки или волка и т. д.» Упор на частности, зримые детали, о которых говорит Чехов, характерен и для творчества П. Н. Лепешинского. Его пейзажи не нейтральны, они всегда активны, создают настроение, вводят нас, читателей, в светлый и богатый мир.

Вот два таких описания из повести «Зеленый шум»: «Утро было приятное. Снег, выпавший за ночь, ровным слоем покрыл землю. В лесу было тихо. Замерли березки с посеребренными тонкими прутьями. Заснули темные ели,

опушенные мягкими снежными массами. Неуклюжие пни задумчиво глядят из-под мохнатых белых шапок. Безмятежно дремлют красные кривые сосны с седыми буклями, а молодые елочки протягивают друг другу лапки в безукоризненно белых перчатках».

В этой же повести можно прочесть: «Выдался хороший морозный денек. Усталое зимнее солнце стояло низко над горизонтом. Оно скользнуло своими холодными лучами по белым крышам топчанских (Топчанск — название населенного пункта. — А. С.) домишек; по сверкающей алмазами, застывшей Топчанке, где рой веселых ребятишек бороздит коньками гладкую поверхность льда; по спующим взад и вперед вдоль улиц фигурам; по веренице плетущихся друг за другом возов с дровами, около которых попрыгивают заиндевелые мужичонки и подбадривают кнутами своих замухристых клыч. Оно скользнуло по всему, что не успело утаяться от него в синеватой тени, тут же засмотрелось в течение нескольких минут на золоченый крест соборной колокольни, заглянуло мимоходом в окошко Малки, чтобы бросить красивые блики на счастливое, улыбающееся лицо девушки и затем снова лениво поползти на покой».

Лепешинский — мастер художественного противопоставления. В рассказе «В зеленях» после эпизода расправы на берегу реки с коммунистами автор переходит к описанию природы, увязывая его с гражданской войной. «Встреонулось сонное царство. Закружились над мертвелью страной социальные вихри. Всколыхнулась тысячелетняя гуща стоящих вод. И наряду с красными бликами всеочищающей бури со дна этих вод всплыли на поверхность черные чудовища великой злобы и великой ненависти к грядущей весне человечества. И прежде чем эти тихие берега потонут в зелени садов нового земного рая, прежде чем простор этой древнерусской реки оживится тысячами веселых голосов и хорами смеющихся песен счастливых людей новой породы, прежде чем укра-

шенные розами гондолы запестрят по ее улыбающемуся лону, еще пройдут годы страшной и кровавой борьбы».

В своей книге «Мои воспоминания» Ольга Борисовна писала: «Я убеждена, если бы Лепешинский всего себя не посвятил революционной работе, он был бы незаурядным писателем».

Многогранным предстает перед нами Лепешинский и в своем литературном наследии. Теперь мы можем только догадываться, какого масштаба и какого склада писатель в нем таился.

Итак, это прежде всего реалист и романтик в одном лице, поэт прозы, для которого будничное и высокое не существуют порознь. Он видит красоту там, где другой ее не заметит. Писатель, отображающий действительность такой, какая она есть — без косметики, суровой и жестокой, но никогда — не будничной, бытовой. Писатель-мыслитель, склонный к анализу, тонкий мастер изобразительной пластики с большим, неугасающим стремлением к познанию человеческих характеров.

Если наивысшая искренность в искусстве само по себе достоинство, то его все же недостаточно, чтобы стать великим писателем или художником. Главное — что и как выразить, преодолев тяготение собственного «я». У Лепешинского было что сказать людям — о них, а не о себе самом, поэтому притягательная сила его искусства не убывает с годами.

Отдельные имена могут забываться, но эпоха всегда остается, пока существует человечество, пока оно не утратило свою память, благодаря которой оно бессмертно, так как она связывает прошлое с будущим. Есть два вида отсчета — духовный и временной. Первый намного богаче и ответственной второго, он в конце концов определяет эпоху, по характерным чертам которой грядущие поколения судят о жизни уже ушедших. И в этом особом духовном отсчете дней, месяцев, лет достойное место будет занимать творчество Пантелеймона Николаевича Лепешинского.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лепешинский П. Н. Воспоминания. Рукопись. Л. 1.

² Виктор Константинович Курнатовский. Библиографический очерк. М., 1948, с. 86.

³ Булацкий Г. В. Ленинский гвардии солдат. Мн., 1970, с. 353.

⁴ Центральный государственный архив Уз. ССР (ЦГА). Ф. 25, оп. I, д. 360, л. 124.

⁵ Там же. Ф. 34, оп. I, д. 407, л. 68.

⁶ Там же.

⁷ Там же. Д. 567а, л. 17, оп. I, д. 1070, л. 613, 614.

⁸ Там же. Ф. 34, оп. I, д. 407, л. 89.

⁹ Там же. Ф. 17, оп. I, д. 1070, л. 602.

¹⁰ Стенограмма заседания ученого совета Центрального музея Революции СССР, посвященного 100-летию со дня рождения П. Н. Лепешинского (15 марта 1968 г.).

¹¹ Стенограмма... (см. пункт 11).

¹² Лепешинский П. Н. Вокруг Ильича. Харьков, 1926, с. 5.

¹³ Там же, с. 6.

¹⁴ Лепешинский П. Н. На повороте, с. 179—198.

Ю. Бондаренко

Имя на карте Отчизны

26 марта 1881 года возле здания Петербургского окружного суда на Литейном проспекте было многолюдно. Бесперывно подъезжали экипажи, из которых выходили люди в генеральских эполетах и придворных мундирах. Городовые, бесцеремонно отгонявшие любопытных, подобострастно отдавали им честь, но стоящая у входа в суд охрана тщательно проверяла пропуски у каждого: белые — у членов императорского дома, министров, сенаторов и других высших сановников, коричневые с черной печатью — у прочей публики, среди которой было много корреспондентов русских и зарубежных газет. Судили «цареубийц» — участников покушения на Александра II — Андрея Желябова, Софью Перовскую, Николая Кибальчича, Гесю Гельфман, Тимофея Михайлова, Николая Рысакова.

С самого начала суд над народолюбцами был задуман как возмездие «злодеям», покусившимся на жизнь «царя-освободителя». В 11 часов в зал, заполненный мундирами и фраками, ввели обвиняемых. Процесс начался. Для морального подавления «первомартовцев»* на стене висел огромный портрет «убиенного монарха» в траурном обрамлении, верно подданная пресса обливала грязью как самих подсудимых, так и их идеи, прокурор Н. В. Муравьев, представляя их как шайку озверевших заговорщиков, требовал для них самого тяжелого наказания. Но в течение всего процесса подсудимые держались с завидным самообладанием. Андрей Желябов, отказавшийся от защитника, получил возможность выступить с речью. Взыгранно говорил он о задачах и целях партии, о причинах, заставивших народолюбцев прибегнуть к террору. Его не могли заглушить ни реплики первоприсутствующего Фукса, руководившего процессом, ни злобные выкрики из публики.

В зале, кроме официального художника

Беера, делавшего рисунки для журналов, находился известный живописец Константин Егорович Маковский, замысливший написать картину об этом событии. Он не сочувствовал «первомартовцам», убившим человека, с которым он поддерживал дружеские отношения, но правда жизни, правда революционной убежденности оказалась сильнее его настроений. Большой художник, он не смог обнаружить в лицах подсудимых тех низменных черт, кровавой жестокости, ограниченного фанатизма, которые им пытались приписать представители правой прессы. Не случайно портретные наброски из альбома Маковского воспроизведены во всех книгах, посвященных жизни народолюбцев. В них отображена могучая сила Андрея Желябова, хрупкая мужественность Софьи Перовской, отрешенность ученого Николая Кибальчича, убежденность в правоте своих идей молодого рабочего Тимофея Михайлова.

Общие рисунки зала суда, наброски лиц судей и обвиняемых, а затем казни народолюбцев сумел сделать флигель-адъютант А. А. Насветевич — любитель-рисовальщик и фотограф. Хотя изображения людей не имеют полного портретного сходства, но атмосфера, царившая на процессе, передана им очень хорошо.

Однако произошло так, что среди присутствовавших на процессе находился человек, по своему званию и положению относившийся к самым высшим сановникам империи, который хорошо рисовал, хотя и не был профессиональным художником. Это был высокообразованный, наблюдательный человек с аналитическим складом ума. Трудно предположить, что он симпатизировал революционерам, а тем более разделял их убеждения. Видимо, он просто хотел запечатлеть на память лица тех, кто не побоялся восстать против верховной власти и неустрашимо, перед лицом смерти, доказывал правоту своего дела.

Он разложил на коленях лист плотной бумаги, вынул из папки остро отточенный карандаш и начал рисовать...

К сожалению, нельзя сказать, в какой день процесса происходило это, до или после вынесения приговора, — даты на рисунке нет, но несомненно одно: он рисовал их лица, все шесть, с натуры, стараясь быть объективным, и сумел сделать великолепные портреты-характеристики каждого. Время не стерло их черт: вот суровый, с горящими глазами, готовый ежесекундно взорваться огненной речью Желябов; самоотреченная, напряженная, как струна, с плотно сжатым ртом и сведенными бровями Перовская; мягкая, грустно прислушивающаяся к биению новой жизни в своем теле Гельфман; печально задумавшийся Михайлов; спокойный, заинтересованно смотрящий на рисующего умными, мягкими, проникающими в душу даже через сто лет глазами Кибальчич; недалекий, только волею случая оказавшийся возле них, с маленькими, глубоко запавшими глазами, мясистыми губами, скуластый Рысаков.

Придя домой, он вынул из папки лист с ри-

* Покушение на Александра II совершено 1 марта 1881 года.



Адмирал К. Н. Посьет. 1886 г. Фото С. Л. Левинского.
Автограф К. Н. Посьета.

сунком, возле каждого портрета чернилами написал фамилию изображенного, а сверху вывел четким крупным почерком: «Несчастные злодеи 1-го марта». Показывал ли он кому-либо свой рисунок, неизвестно, но, как подчеркивали впоследствии исследователи, «в период свирепой реакции, начавшейся после 1 марта, было опасно не только работать над произведением, героем которого был «цареубийца», но даже хранить альбом с натурными портретами народовольцев». Правда, это писалось в отношении К. Е. Маковского, но остается справедливым и по отношению к любому другому.

Где же находится бесценная реликвия, кто автор этих портретов?

Лист желтоватой плотной бумаги с изображениями народовольцев был обнаружен мною в конце 1984 года в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота СССР среди хранящихся там личных бумаг адмирала Константина Николаевича Посьета. Надписи на рисунке, без сомнения, сделаны его рукой. А вот авторство как художника еще требует доказательств: хотя известно, что он был отменным рисовальщиком и среди записей в дневниках

мелькают зарисовки ландшафтов, архитектурных деталей, фигурки людей и животных, но до сих пор ни одного портрета, сделанного его рукой, обнаружить не удалось. А следовательно, предположение, что именно он сделал выразительнейшие портреты Желябова, Кибальчича, Перовской и их товарищей, является пока только смелой гипотезой.

Что ж, благодарим судьбу хотя бы за то, что она давала нам удивительную возможность через столетие познакомиться с необыкновенно одухотворенными, почти живыми изображениями людей, нашедших свою смерть на эшафоте на Семеновском плацу в Петербурге 3 апреля 1881 года, именами которых названы улицы Ленинграда, о которых написаны книги. Поблагодарим и примемся за дальнейшие поиски...

А пока попытаемся узнать что-нибудь о Посьете. Открываю 2-е издание «Советского энциклопедического словаря» на странице 1042:

«**Посьета залив**, у западного берега залива Петра Великого, в Японском море, у берегов Приморского края. Длина около 50 км, ширина 30 км. Глубина 17—25 м. На побережье — поселок Посьет. Назван в честь русского адмирала К. Н. Посьета (1819—1889) *».

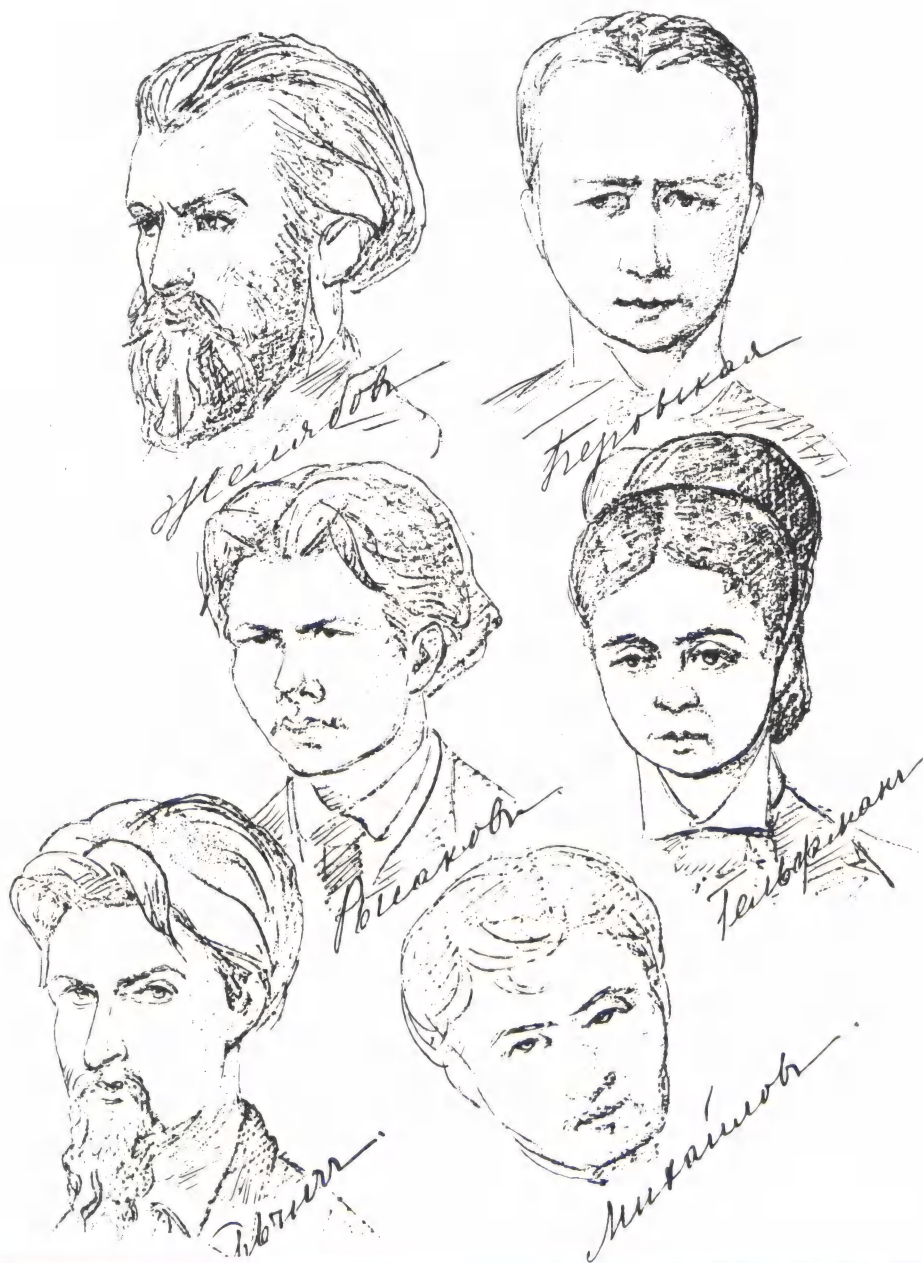
Но о самом адмирале Константине Николаевиче Посьете — кто он такой, чем занимался, почему его именем названы залив и поселок — нет ничего. Никаких сведений о нем нет ни в Военной, ни в Большой Советской Энциклопедиях. В более ранних справочниках приведены данные в сжатом виде: генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета, министр путей сообщения. Учился в Морском кадетском корпусе, в 1852—1854 годах плавал в Японию на фрегате «Паллада»...

Может быть, о нем упоминает Иван Александрович Гончаров в своей книге? Перелистаю страницы «Фрегата «Паллады» и действительно вскоре наталкиваюсь на имя Посьета, затем еще и еще. Постепенно вырисовывается образ обаятельного молодого моряка, разносторонне образованного, интересы которого не ограничиваются узким кругом служебных обязанностей, чей пылкий ум интересуется всем, что он видит вокруг, — людьми, населяющими нашу планету, животным и растительным миром разных стран. Он не только наблюдает это, но и пытается изложить впечатления от виденного на бумаге — путевые заметки К. Н. Посьета о плавании на «Палладе» опубликованы в «Морском сборнике» и «Отечественных записках».

В последующие годы в «Морском сборнике» печатаются его рапорты — отчеты о плаваниях с великим князем Алексеем Александровичем, воспитателем которого он был с 1858 года по 1874 год. В каждом рапорте не просто перечисление посещенных портов, состояния корабля и команды, метеоусловия и выполненные маневры, но и красочное описание мест, в которых

* Ошибка! Константин Николаевич Посьет умер позднее на 10 лет — 26 апреля 1899 года.

Несчастные люди по карте.



Портреты народовольцев, сделанные во время процесса 26—29 марта 1881 г. Обнаружены автором среди личных

документов К. Н. Посета в Центральном государственном архиве ВМФ СССР. Публикуются впервые.



Торжественное открытие Морского канала в Петербурге 15 мая 1885 г. Рис. А. Ф. Беггрова.

они побывали, исторический очерк, политическая и экономическая обстановка в стране, интересные события, которые произошли в период нахождения там судна, размышления о том, что могло бы быть полезным для России.

Очень показательными в этом плане являются рапорта о плавании в июне — сентябре 1870 года от Петербурга до Архангельска по Ладожскому, Онежскому и Белому озерам, по Вытегре, Сухоне и Двине, а затем от Архангельска до Петербурга вокруг Скандинавии, с заходом на Новую Землю. Отмечая, что на северных озерах и реках ничего не сделано для безопасности судоходства, Посьет указывает, что «расход, сделанный для описи и промера, многократно окупится первыми грузами, спасенными изданием точных карт и освещением первых маяков». Он обеспокоен тем, что норвежские зверобои безнаказанно уничтожают и распугивают морских животных на Новой Земле, ловят рыбу в русских территориальных водах, и выходит с предложением: «для охраны звериных и рыбных промыслов наших на Новой Земле и Мурманском берегу необходимо учредить постоянную военную станцию».

Большое впечатление на него произвело то, с каким рвением норвежцы развивают свой северный рыбный промысел. На этом фоне ясно видны наши недостатки: «Если рыбный промысел по берегам Ледовитого океана имеет такое значение для Норвегии, то нет причины, чтобы этот промысел вместе с морским, звериным, ...не имел бы такой же или еще большей важности для севера России. Недостает мер, недостает устройства, недостает знакомства с местными условиями лиц, от которых ближайше зависит это устройство». Ознакомившись «с родом жизни наших поморов, с способом ведения ими рыбного и звериного промыслов, с морской их деятельностью и предприимчивостью», Посьет приходит к выводу о необходимости скорейшего развития морского дела на Севере, «для которого у нас так много задатков, так много готового — более чем в какой-либо части нашего

отечества». Он дает высокую оценку способностям русских поморов, «здоровых, умных и предприимчивых», считая не только мужчин, но и женщин природными мореплавателями, великолепным резервом для развития русского торгового и промыслового флота. «Морская жизнь и морской дух проникли здесь в самую семью», — восклицает он на страницах официального документа.

В качестве конкретных мер по улучшению существующего положения Константин Николаевич предлагает «устройство одного или двух постоянных поселений на Мурманском берегу», а также «прорытие Повенецкого канала, который соединил бы развивающееся морское дело поморов и всего Белого моря с северными нашими озерами, с Петербургом и Балтийским морем, с Волгой и южными морями. Служа этому соединению, Повенецкий канал принес бы пользу не одной Архангельской губернии, он служил бы делу развития купеческого флота, а следовательно, и делу всей России».

Но этот проект так и остался в архивах морского ведомства, не получив никакого развития до Октябрьской революции. Только через 60 лет, в советское время, по маршруту, предложенному Посьетом, был проложен Беломорско-Балтийский канал.

* * *

Вот «Полный послужной список генерал-адъютанта Его Императорского Величества адмирала Посьета», бережно сохраняемый в Центральном государственном историческом архиве. Составлен он в ноябре 1888 года, когда Константин Николаевич уходил в отставку. Перечень полученных орденов занимает двенадцать строчек: кроме высших российских наград, ордена Бразилии, Греции, Дании, Турции, Японии, многих других государств. Сам послужной список — со дня поступления в Морской кадетский корпус 24 февраля 1831 года до выхода в отставку 4 ноября 1888 года — на девяти колонках.

Первое плавание — на фрегате «Амфитрида» — совершил с 26 мая по 25 августа 1837 года. Ежегодные походы на различных кораблях по Финскому заливу и Балтийскому морю, первый заграничный поход вокруг Скандинавии, затем визит в Англию. В деле точно подсчитано, сколько дней продолжалось каждое плавание, сколько стояли на якоре. И вот, наконец, фрегат «Паллада», зачет 467 суток плавания, потом фрегат «Диана», еще 365 дней. Затем неожиданная запись: «С 30 марта 1855 года по случаю крушения фрегата находился в селении Хеда по 21 апреля. С 21 апреля на шхуне «Хеда», построенной командой фрегата во время пребывания в селении Хеда, по 10 мая в Петровлавовск».

А дальше опять следуют перечисления бесконечных плаваний адмирала, гибель еще одного корабля — фрегата «Александр Невский», севшего на мель в проливе Скагеррак во время шторма в ночь с 12 на 13 августа 1868 года... Кругосветное плавание на фрегате «Светлана», продолжавшееся почти три года, порты Европы, Северной и Южной Америки, Азии; путешествия по Соединенным Штатам, Канаде, Японии, поездка в глубь Китая по реке Янцзы, возвращение в Петербург через всю Россию от Владивостока.

За 52 года службы — девять раз в отпуск. Первый раз в 1837 году на две недели перед плаванием, последний — в 1886 году на 10 дней, когда праздновался полувековой юбилей его службы на офицерских должностях. Всего за этот период Посыет отдыхал 27 недель.

Теперь, чтобы не перескакивать с одного на другое, я не стану перечислять те архивы и музеи, в которых имеются материалы на Константина Николаевича Посыета, а просто изложу по порядку все, что мне удалось разыскать.

Предки Константина Николаевича — французские гугеноты — переселились в Россию еще во времена Петра I. Один из них был начальником Астраханского адмиралтейства и строил суда каспийской флотилии, другой — воевал с турками на Азовском море. Отец — Николай Петрович — после окончания Морского корпуса плавал на Балтике в должности командира корабля, а затем формировал 1-й финляндский экипаж в Гельсингфорсе. Там 21 декабря 1819 года и родился Константин Николаевич.

Следуя примеру отца, в 1831 году он поступил в Морской кадетский корпус — первое военно-морское училище России, основанное Петром I еще в 1701 году. Из его стен вышли знаменитые мореплаватели и флотоводцы, подвидами которых мы гордимся до сих пор: адмиралы Григорий Андреевич Спиров, Федор Федорович Ушаков, Дмитрий Николаевич Сенявин, громившие турецкие армады в Черном и Средиземном морях, герои Чесмы, Корфу, Калиакрии; первооткрыватели Антарктиды адмиралы Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев; первый русский путе-

шественник вокруг света, исследователь Океании капитан 1-го ранга Юрий Федорович Лисянский.

В 1827 году директором корпуса был назначен адмирал Иван Федорович Крузенштерн, начальник Первой русской кругосветной экспедиции, исследователь Тихого океана, много сделавший для улучшения состава преподавателей, повышения уровня обучения будущих моряков. При его непосредственном участии был организован офицерский класс (впоследствии преобразованный в Морскую академию), куда направляли 6—8 выпускников ежегодно после окончания корпуса для углубления знаний по физике, математике, химии, астрономии. В число профессоров входили известные ученые: академики математик В. Я. Буняковский, физик Э. Х. Ленц, крупнейший специалист по математической физике, аналитической и небесной механике, баллистике М. В. Остроградский и другие. Константин Николаевич, один из лучших кадет на протяжении всего периода учебы в корпусе, также был направлен в офицерский класс, который окончил в 1840 году.

В это время у него появилась мысль создания журнала для военных моряков, в котором бы отражался опыт морской практики, происходил обмен идеями, сообщались новости из различных областей морской жизни. Своими намерениями Посыет поделился с соучениками по классу Ивашинцовым, Кузнецовым, Соколовым, Веселого, которые с жаром его поддержали. Но высшее морское начальство, к которому они обратились за разрешением, взглянуло на их инициативу неблагоприятно и приказало «не думать о пустяках, а лучше заниматься своим прямым делом». И хотя молодым офицерам пришлось подчиниться, будущее показало, что это желание не было просто юношеской прихотью: впоследствии они все стали известны своими печатными трудами: Н. А. Ивашинцов — описаниями Каспийского моря, В. М. Кузнецов — работами по морской съемке, генерал Ф. Ф. Веселого и капитан 2-го ранга А. П. Соколов — как историки военно-морского флота.

Первый русский журнал для моряков, получивший название «Морской сборник», стал издаваться с 1848 года. Он быстро завоевал популярность среди широкой публики, потому что в нем, кроме специалистов, принимали участие писатели И. А. Гончаров, Г. П. Данилевский, А. Ф. Писемский и другие. Несколько лет его редактором был соученик К. Н. Посыета, сын известного путешественника вице-адмирал П. Ю. Лисянский.

В 1843 году незаурядные способности Константина Николаевича, его несколько педантичная аккуратность, исполнительская четкость, широта знаний и большая работоспособность привлекли внимание контр-адмирала Евфимия Васильевича Путятина, состоявшего по особым поручениям у тогдашнего управляющего Морским министерством князя А. С. Меншикова, бездарного ретрограда, мешавшего развитию

русского военно-морского флота, во многом виновного в нашем поражении в Крымской войне.

Вынужденный заниматься огромным количеством разнообразных дел, поручаемых ему князем, Путятин физически не мог охватить все сразу и нуждался в энергичном помощнике, сведущем во многих областях знаний. Ему рекомендовали 24-летнего braveго лейтенанта Посета, имевшего как обширную теоретическую подготовку, так и практический опыт судовождения — в течение трех лет он руководил морской практикой гардемарinov, выпускников Морского кадетского корпуса, а во время перехода из Архангельска в Кронштадт вокруг Скандинавии, несмотря на молодой возраст, успешно заменил заболевшего командира судна.

Евфимий Васильевич не ошибся в своем выборе: пытливый ум и наблюдательность Посета проявились очень скоро. Уже в следующем году, во время пребывания с адмиралом в Англии на фрегате «Аврора», Константин Николаевич заметил, что артиллерийское учение военных моряков на английских кораблях имеет много преимуществ по сравнению с русским флотом, о чем он не преминул сообщить Путятину. Последний посоветовал ему изложить свои наблюдения в статье, но Посет решил сначала проверить его эффективность на практике. В течение 1845—1846 годов он, плавая на различных кораблях Балтийского и Черноморского флотов, обучал экипажи новым методам меткой стрельбы и, когда убедился в их преимуществе, написал книгу «Артиллерийское учение, составленное по правилам, принятым на английских военных судах». Изложенное живым, легкокопнятым языком, это наставление имело неограниченное практическое значение, помогая артиллеристам обучать судовые команды быстрее готовить орудия к бою, производить более точную наводку, то есть, иными словами, увеличивало боевую мощь каждого корабля. В наставление, кроме английских, были включены все полезные моменты учений, употребляемые в голландском, французском, шведском флотах. Книга была одобрена такими известными флотоводцами, как адмиралы В. А. Корнилов, М. П. Лазарев, П. С. Нахимов.

Проверенное на практике новое артиллерийское учение сыграло заметную роль в ходе Кавказской войны 1829—1864 годов. И хотя сам Посет не принимал личного участия в боевых действиях, его грудь украсил крест, вручавшийся только непосредственным участникам войны, которым он был награжден за то, что «усовершенствованная его трудами морская артиллерия оказала большую помощь при высадках десанта и в битвах у берегов Кавказа».

Ободренный этим успехом, Посет решил заняться вопросом улучшения морского вооружения военных судов, потому что к 1840-м годам русский флот значительно отставал от флотов ведущих европейских государств.

Нужно иметь в виду, что старинный термин «морское вооружение судна» включает в себя

не только размещение артиллерии и абсорбационного оружия, но и постановку мачт, привязку парусов, стоячего и бегучего такелажа, якорей, а также расчет нагрузки судна всеми припасами и балластом, установление навигационных и иных инструментов, окраску судна и многое другое. Как указал Константин Николаевич в предисловии, он задумал «написать книгу, при помощи коей молодой офицер, в первый раз приступающий к вооружению, был бы в состоянии приготовить спущенное со стапеля судно к отправлению в море».

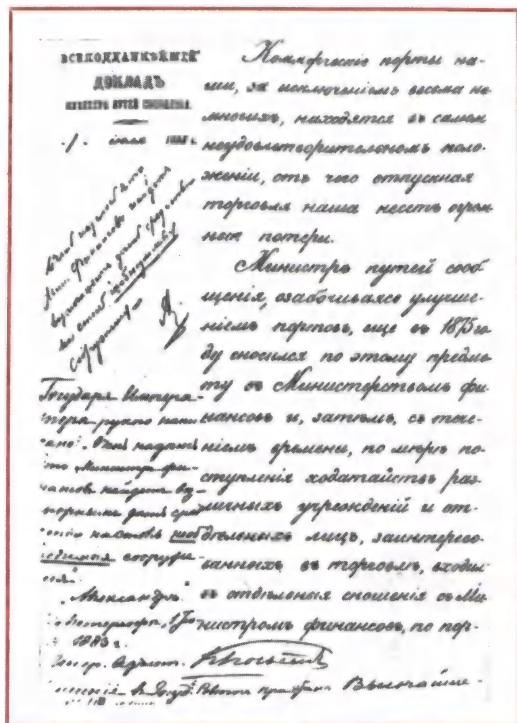
Трехлетняя работа увенчалась изданием в 1849 году монументального труда «Вооружение военных судов» объемом почти в 500 страниц, который служил «точным указателем по всевозможным вопросам вооружения и снабжения корабля». Академия наук отметила автора присуждением Демидовской премии.

И поэтому неудивительно, что Путятин, готовивший экспедицию в Японию, предложил Посету принять в ней участие в качестве своего помощника.

Служивцы любили Константина Николаевича. Как отмечал впоследствии один из них: «При всех своих петербургских особенностях он легко схватывает суть всякого дела и все видит и знает. С ним легко говорить, он прост и отзывчив, он не закатывает «распеканий», никогда не требует наказывать матросов, не придирается к офицерам, не устраивает истерик, не уклоняется и со своими не хитрит. Он человек дела в самом лучшем, столичном смысле слова».

Интерес России к установлению дипломатических и торговых отношений с Японией был не случаен. Русские землепроходцы появились на берегу Тихого океана еще в XVII веке, а к началу XIX столетия россияне уже прочно занимали Сахалин, Камчатку, устье Амура, Курильские острова. Но развитию Сибири мешали отдаленность и отсутствие железнодорожного сообщения с центральными районами России. Доставка припасов на Дальний Восток требовала огромных расходов и времени. Сибирские купцы и промышленники нуждались в рынках сбыта своих товаров, развитии меновой торговли, удобных гаваней для перевалки грузов и укрытия от непогоды. Все это они могли получить в результате установления добрососедских отношений с Японией. Но правители феодальной Японии, в течение двух веков проводившие изоляционистскую политику, не хотели верить в искренность намерений своего северного соседа. В 1804 году русский посланник Николай Петрович Резанов на шлюпе «Надежда», которым командовал И. Ф. Крузенштерн, прибыл в Нагасаки с миссией установить отношения с Японией. Но этому не суждено было сбыться. Как впоследствии писал Крузенштерн, «мы не могли не только съезжать на берег, но не имели даже позволения ездить на гребных судах своих около корабля».

А в 1811 году японцы коварно захватили в плен командира шлюпа «Диана» капитан-лейтенанта Василия Михайловича Головнина и



Первая страница доклада министра путей сообщения К. Н. Посыета о состоянии русских торговых портов с личной резолюцией Александра III от 1 июля 1883 г.

семь членов экипажа, которые занимались гидрографическими работами по описанию Курильских островов. Два года пленники томились в деревянных клетках, пока не были освобождены своими товарищами*. Через три года после возвращения на родину Василий Михайлович опубликовал интереснейшие воспоминания «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812, 1813 гг. с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе», которые получили широкую известность не только в России, но и в Европе, были переведены на многие языки. Государственный строй, общественный уклад жизни, быт и нравы обитателей этой почти неизвестной в те времена страны были подробно описаны живым языком, в увлекательной форме, с большой точностью и объективностью.

Но к середине XIX века Япония стала играть большую роль в дальневосточной политике Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки, которые боролись за господство на Тихом океане и в Азии, намереваясь использовать ее и как

* Об освобождении В. М. Головнина из плена написана книга «Записки флота капитана Рикорда, о плавании его к японским берегам, в 1812 и 1813 годах, и сношениях его с японцами».

плацдарм для захвата континентального Китая, и как постоянную угрозу русским владениям на Востоке. Поэтому американское правительство в 1852 году приняло решение направить к японским берегам эскадру под командованием командора Мэтью Перри с заданием любыми средствами, вплоть до применения вооруженной силы, подписать с японцами торговый договор и открыть порты страны для американских кораблей.

Приблизительно в это же время русское правительство дало разрешение вице-адмиралу Путятину на экспедицию в Японию с целью нормализации отношений между двумя странами. Выбор на Евфимия Васильевича пал не случайно: опытный моряк, ученик адмирала М. П. Лазарева, на протяжении многих лет он внимательно следил за всем, что касалось русских интересов на Дальнем Востоке, выдвигал проекты развития морской торговли с Китаем, отыскания удобных гаваней по берегам Охотского моря для создания новых портов. Кроме этого, он намеревался в ходе плавания исследовать и нанести на карты русскую границу на Востоке.

Однако в отличие от американского русское правительство в инструкции Путятину подчеркивало необходимость мирного убеждения японцев в выгодности заключения торгового договора с Россией, в установлении стабильных добрососедских политических и экономических связей.

Министерство иностранных дел также предписывало «при переговорах с японскими чиновниками держаться самого миролюбивого и дружеского тона».

Единственными европейцами, с которыми японцы поддерживали отношения в то время, были голландцы, поэтому всякие переговоры велись на голландском языке, которого никто из состава русской экспедиции не знал. И хотя до отплытия фрегата «Паллады», на котором уходила миссия Путятина, оставалось немногим более трех месяцев, адмирал потребовал, чтобы Посвет в оставшийся период выучил голландский язык. Освоив за этот срок чтение и письмо, Константин Николаевич взял с собой в плавание настоящего голландца и к приходу судна в Японию мог свободно изъясняться по-голландски. Впоследствии на его плечи легла обязанность вести переговоры с японцами, выработать и редактировать пункты договора, отстаивая интересы своей страны, с чем он блестяще справился.

А пока фрегат «Паллада», покинув Кронштадтский рейд 9 октября 1852 года, плыл в далекую Японию. В состав экспедиции был включен писатель Иван Александрович Гончаров, оставивший великолепное описание этого путешествия, которое вошло в сокровищницу нашей литературы. На страницах книги часто мелькает имя Посыета, которому Гончаров дает лестные характеристики, отмечая его любознательность, живость характера, бескорыстность, готовность прийти на помощь товарищам. Подражая Гончарову, Константин Николаевич пишет «Письма с кругоземного плавания», дополняя

ющие «Фрегат «Палладу» с фактической стороны.

Он не претендовал на литературное бессмертие — его «Письма» довольно лаконичны, конспективны. В них зачастую приводятся один-два эпизода, чем-то поразившие или заинтересовавшие автора. Но иногда там мелькают такие впечатления, мысли, выводы, что сразу же становятся понятным, что написаны они человеком наблюдательным, обращающим внимание не только на то, что находится на поверхности и видно каждому путешественнику. Вкратце сообщив о неприятности, постигшей «Палладу» в первые дни плавания (она села на мель недалеко от Копенгагена), упомянув о шторме в Северном море, он довольно подробно описывает похороны герцога Веллингтона в Англии, а на фоне этого дает отрицательную оценку хваленной британской демократии: «Тут бы вы удостоверились, что счастливая Англия, так называемая по скопленным в ней сокровищам и еще более по ее номинальным капиталам, благоденствует только по наружности, в верхних слоях своего компактного населения; нижние слои и большая часть средних тощи, бледны, желты, нечесаны и грязны. За туманом, который прикрывает берега Британского острова, за шумом всемирных дел, производимых небольшим (относительно) числом ее жителей, нам не слышны стоны овец, которых бесщадно стригут и щиплют голодные корыстолюбцы, — и до нас доходят одни громкие парламентские речи последних».

Далее опять эскизная зарисовка поездки в Голландию, где он посетил домик Петра Первого в Заандаме и выставку индийских, японских и китайских изделий, которая была для него как бы окошечком в тот мир, который ему предстояло увидеть в недалеком будущем.

А затем описание плавания до южной оконечности Африки с заходами на Мадейру и Острова Зеленого Мыса. Но если Константин Николаевич очень скупно пишет о жизни на фрегате, только иногда позволяя себе выразить свои чувства восклицаниями типа: «Не знаю почему, но никогда мне так не нравилось, как сегодня: не могу им налюбоваться!» — то посещение Фуншалы и Сантьяго дает ему возможность написать подробный географо-экономический очерк, дать свою оценку последствиям правления португальских колонизаторов. Указывая, что в 1830—1833 годах на Островах Зеленого Мыса в результате жестокой засухи из 80 тысяч населения от голода погибло 30 тысяч, он восклицает: «Этот ужасный случай доказывает, как мало португальское правительство заботится о своих колониях. Как в продолжение трех лет не найти средств помочь голодавшим! Непостижимое равнодушие! Состояние этих бедных колоний и в настоящее время весьма не цветущее...»

Хотя «Паллада» долго ремонтировалась в сухом доке в Портсмуте, из-за чего пришлось даже переменить первоначальный маршрут по Тихому океану, обгояя мыс Горн, двухмесячное плавание по Атлантике так расшатало корпус

фрегата, что адмиралу Путятину пришлось принять решение заново проконопатить судно снаружи и внутри во время намеченной стоянки в бухте Саймонс-Бей (Южная Африка), чтобы подготовить его к предстоящему тяжелому переходу через Индийский океан. Посет воспользовался этим случаем, чтобы усовершенствовать знания голландского языка, для чего поселился в семье одного из колонистов, который недавно эмигрировал в Южную Африку из Голландии и не успел забыть родного языка. Кроме того, он возглавил экспедицию «с целью ботанико-геологическо-этнологическою» в глубь страны. В ней принял участие и Гончаров, занимавшийся «статистическими» исследованиями, который впоследствии подробно описал эту экскурсию. Без преувеличения можно сказать, что это была первая русская научная экспедиция, побывавшая в Капской колонии.

За восемь дней путешественники на повозках проехали около 300 километров, собрали гербарии, образцы минералов, различные окаменелости, приобрели несколько черепов зверей, населяющих Южную Африку, заспиртовали около двух десятков змей. «Я приобрел, между прочим, — писал К. Н. Посыет, — восемь полуголов из композиции, представляющих попарно... готтентота с готтентоткой, бушмена с бушменкой, малайскую и кафрскую пару: они дадут хорошее понятие об этих племенах». Правда, членам экспедиции удалось увидеть аборигенов и в жизни. Однако уже тогда английские и голландские колонисты изгоняли коренных жителей с их земель, безжалостно истребляли, подавляли все их попытки отстаивать свои права, поэтому русские моряки встречали их только или как рабочую силу на фермах у белых, или в... многочисленных тюрьмах. Они даже пытались сфотографировать типы африканцев в этнографических целях, но, к сожалению, эти снимки по какой-то причине не получились.

Не с этого ли времени началась тяга Константина Николаевича к коллекционированию: ведь до конца жизни он привозил со всех концов земли различные заинтересовавшие его вещицы, занимался фотографированием.

После ремонта «Паллада» продолжила плавание. Переход через Индийский океан прошел более-менее спокойно.

Зато Тихий океан решил испытать русских моряков на крепость духа. Недалеко от Филиппин «Палладу» настиг тайфун такой силы, какой им еще не приходилось испытывать: в клочья были изорваны паруса; качка достигала 45 градусов. Сутки матросы не отходили от помп, откачивая из трюма воду, которая поступала через открывшиеся щели. Наконец стихия отступила...

Еще через месяц — 10 августа 1853 года — «Паллада» и сопровождавшие ее корвет «Оливуца», шхуна «Восток» и транспорт «Меншиков» вошли в японский порт Нагасаки.

Началась долгая, мучительная эпопея бесчисленных, весьма утомительных переговоров с японцами о заключении соглашения между двумя странами. Скоро Путятину и Посыету стало

понятно, что подозрительные японские чиновники применяют тактику запутывания и оттягивания принятия решений, чтобы вообще сорвать заключение договора.

Через полгода бесцельных ожиданий Путятин решил прекратить на какой-то срок пребывание в Нагасаки и в феврале 1854 года приказал взять курс на Корею: пользуясь свободным временем, он хотел употребить его на описание берега южного соседа вновь приобретенных Россией земель, а также побережья Уссурийского края и южной оконечности Сахалина. Офицеры «Паллады» провели съемку и сделали тщательную опись всего восточного берега Кореи к северу от 35-й параллели, убедившись, как сильно отличаются от действительности карты, составленные более ста лет тому назад, хотя и исправленные Крузенштерном во время его кругосветного плавания. Вычерчивая фактически новую карту побережья, они открыли более 50 неизвестных географических пунктов, многим из которых присвоили имена членов экипажа фрегата. Среди них остров Гончарова (нынешнее название Маяндо), залив Лазарева, острова Римского-Корсакова, бухта Унковского (Ионилман), мыс Пещурова (Чанадэдан), залив Посыета.

В мае 1854 года, встретившись в Татарском проливе с другими русскими кораблями, экипаж «Паллады» узнал от них о том, что Англия и Франция объявили войну России. Было решено, что распатанная штормами устаревшая «Паллада», присоединившись к эскадре, двинется к устью Амура для защиты от врага дальневосточных берегов. А Путятин и Посыет с частью команды, пересев на фрегат «Диана», который пришел сюда, обогнув мыс Горн, направляясь к берегам Японии, чтобы завершить нелегкую дипломатическую миссию.

Посетив Хакодате, Осаку, Кадо, в конце ноября «Диана» бросила якорь в бухте Симода, расположенной у подножия Фудзиямы — «священной горы» японцев — где должны были завершиться переговоры.

Но здесь русских моряков ожидало новое суровое испытание: 11 декабря, когда фрегат стоял в гавани, произошло сильное землетрясение, после которого на город двинулись волны цунами. Первый вал затопил дома, разметал многочисленные джонки рыбаков, второй — довершил разрушение и вынес обломки, погибший скот, трупы людей и пытавшихся спастись от гибели жителей в бухту, где образовался огромный водоворот. Три якорных каната «Дианы» перепутались, и ее понесло на камни. Только чудом моряки спаслись от гибели, однако корабль получил серьезные повреждения. Пришлось подвести под днище пластырь, снять пушки, что только ненадолго отсрочило гибель «Дианы»: 7 января 1855 года она затонула при переходе к селению Хеда.

Хеда была выбрана не случайно: находясь в бухте, защищенной от ветров, она была бы удобным местом для ремонта судна.

Потеряв «Диану», русские моряки оказались невольными пленниками, потому что из-за по-

литики самоизоляции японцы не имели собственного морского флота, а их рыбацкие суденышки не могли уходить далеко от берега. Воспользоваться же помощью европейцев не представлялось возможным из-за начала русско-англо-французской войны — вражеские корабли рыскали вдоль дальневосточных берегов России. Однако японские власти отнеслись с сочувствием к потерпевшему крушение экипажу. Адмирал и офицеры «Дианы» были размещены в местном храме, а для матросов устроили легкие домики с кухней и баней. Оставалось или дожидаться окончания войны, или полагаться на какой-нибудь счастливый случай. Но пассивно ожидать избавления не в привычках русских — моряки решили построить новое судно и на нем вернуться на родину. К сожалению, среди всего экипажа не оказалось ни одного кораблестроителя. Тем не менее и здесь выход был найден: в числе спасенных с фрегата книг нашелся томик «Морского сборника» с описанием шхуны «Опыт» — яхты главного командира Кронштадтского порта — со всеми основными размерами судна и рангоута, с приложением чертежа мидель-шпангоута и грузовой ватерлинии, с показанием балласта и провизии. К всеобщему удивлению, японские власти без обычных проволок разрешили рубить корабельный лес со склонов горы, охотно выделили в помощь кузнецов, плотников, подсобных рабочих. Как выяснилось позднее, здесь был тайный расчет: японцы решили использовать счастливую возможность не только воочию увидеть, как строится корабль по европейскому образцу, но и подготовить таким образом собственных кораблестроителей.

Моряки с жаром принялись за дело. Чертежным столом служила перевернутая бочка. Рабочий день начинался в 5.30 утра и длился до темна, и хотя на обед и отдых отводилось всего два часа, никто не роптал. Матросы не только самоотверженно трудились сами, но и учили японцев гнать смолу, прятать пенку, шить паруса. За выполняемыми работами следили два японских чиновника, которые записывали порядок постройки корабля, зарисовывали все изготовленные детали, указывая их русские названия. Записные книжки были также у всех мастеровых. Шхуна, получившая название «Хеда», была построена и спущена на воду за два с половиной месяца.

В это же время продолжались изнурительные дипломатические баталии. Путятин и его помощник Посыет отстаивали каждый пункт договора, убеждая японцев в мирных намерениях России, доказывая справедливость требований русского правительства. Наконец 26 января 1855 года договор в Симодэ был подписан. Были установлены регулярные русско-японские дипломатические отношения, Россия получила право экстерриториальности и наиболее благоприятствуемой нации. Для русского судоходства были открыты три порта — Симода, Хакодате и Нагасаки, в двух первых разрешалась взаимная торговля, в одном — нахождение русского консула. Во владениях обоих госу-

дарств русские и японцы должны были пользоваться покровительством, защитой личной безопасности и неприкосновенностью собственности.

С многими приключениями отважным морякам удалось достичь устья Амура на самодельной шхуне: однажды в темноте шхуна наскочила на спящего на поверхности океана кита, который чуть не перевернул ее. Несколько раз моряки встречали неприятельские корабли, патрулирующие вдоль русских берегов, но благополучно ускользали из-под их носа.

После непродолжительного отдыха Путятин, Посыет и сопровождавшие их лица отправились с донесением в Петербург. Решено было идти вверх по Амуру и Шилке на маленьком паровом катере «Надежда». Поджимала надвигающаяся зима, плавание по неисследованному фарватеру проходило недостаточно быстро. Зачастую офицеры, наравне с матросами рубили лес, чтобы топить котлы. Не хватало продовольствия — ловили рыбу. Когда ее не было, питались червивой олениной, а последние три недели ели просыпанные лепешки без соли, запивая их несладким кипятком. Вспоминая впоследствии это приключение, Константин Николаевич с юмором описывал своим гостям, как Евфимий Васильевич, не желая отставать от остальных, порывался трудиться наравне со всеми, но офицеры, шадя его седины, поручали ему более «почетную» работу: мыть посуду, накрывать на стол, прибирать в кают-компани.

Три месяца длилось это беспрецедентное путешествие, затем еще два месяца через всю заснеженную Россию до столицы. А в мае следующего года, через пять месяцев, капитан 1-го ранга Посыет, за заслуги удостоенный орденом Св. Владимира 4-й степени, вновь направляется с миссией в Японию. Ему поручено отвезти для ратификации первый русско-японский договор, а также передать японцам в дар 52 пушки, снятые с «Дианы», и шхуну «Хеда», которая была для них тем же, чем стал ботик Петра I для русского флота.

Это был не последний его визит в Японию. В 1872 году во время кругосветного плавания на фрегате «Светлана» Посыет побывал в Нагасаки, где видел быстро растущий военно-морской флот японцев, состоявший к тому времени из двух броненосцев и восьми крейсеров. А милая его сердцу «Хеда», забытая всеми, одиноко догнивала в дальней части гавани. «Совестно за японцев, не умеющих чтить старину», — сетовал он участникам традиционных обедов, которые устраивались офицерами «Дианы» 11 декабря — в память симодского цунами 1854 года и 6 января — в день гибели их судна.

В 1874 году последовало высочайшее повеление о назначении Посыета министром путей сообщения. В то время министерство объединяло железнодорожный, шоссе́ный, морской и речной транспорт, причем основной уклон делался в сторону бурно развивающихся железнодорожных сообщений. Попытка его отказать-



Свита, сопровождающая русское посольство вице-адмирала Е. В. Путятина на переговоры с японцами в 1853 г. С картины японского художника.

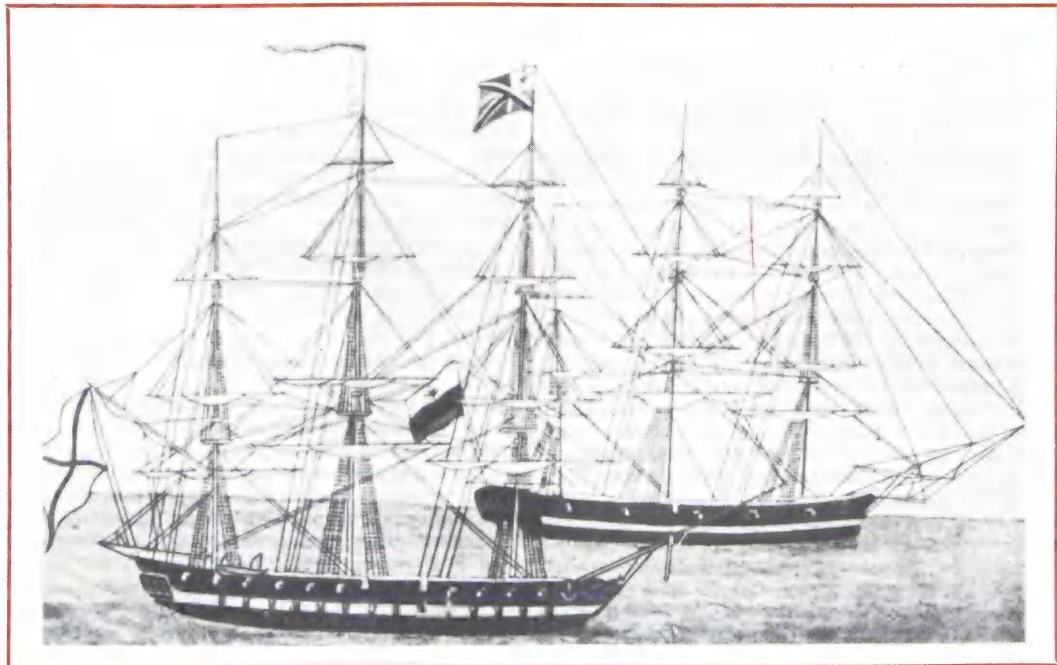
ся и попросить более устраивающую его должность — директора департамента шоссеиных и водяных сообщений в том же министерстве — оказалась безуспешной: видимо, те отчеты с указанием замеченных недостатков в организации морского дела и конкретных путях по их исправлению, которые он направлял в Петербург во время плаваний с великим князем, сыграли решающую роль. То обстоятельство, что он не разбирался в организации железнодорожного дела, во внимание принято не было. Назначение было утверждено, и Константин Николаевич, привыкший по-военному беспрекословно выполнять приказы, со всей ответственностью взялся за исполнение возложенных на него функций.

К середине 70-х годов сеть железных дорог России составляла 15 тысяч километров, многочисленные частные компании и отдельные предприниматели осаждали министерство с предложениями о создании новых дорог. А вот внутреннее водные пути, раскинувшиеся на 80 тысяч километров, и морские порты не отвечали возросшему уровню технических требований: коммерческое судоходство находилось в зачаточном состоянии, отсутствовали навигационные знаки и метеостанции, не было промеров глубин гаваней и подходов к портам, портовой механизации, складских помещений, гидротехнические сооружения приходили в негодность, отсутствовала связь портов с железными дорогами.

Каждый революционер — патриот своей Родины, но не каждый патриот — революционер. Этот силлогизм полностью относится к личности адмирала Посыета. Он был сыном своего класса, не представляя возможным другого политического строя для России, верой и правдой служил трону. Но, как истинный патриот России, он хотел видеть свою Родину более могущественной и процветающей, стремился сделать для этого все, что было в его силах, не боясь при необходимости вступать в конфликты с самими высокопоставленными лицами империи.

Одним из первых дел, которое он поддерживал и довел до благополучного завершения, было превращение Петербурга в современный морской порт. Как ни парадоксально, но созданная волей Петра у моря столица — «Северная Пальмира» — к середине XIX века стала, по сути, не морским, а речным портом. Нелишнее напомнить, что устье Невы перегорожено песчаным баром*, а глубины при входе в реку составляют 2—3 метра. Пока грузы в расположенный на Малой Неве у Стрелки Васильевского острова порт доставлялись мелкосидящими парусниками, это не играло особого значения. Но когда из Европы стали приходить пароходы с большой осадкой, их приходилось разгружать в Кронштадте, затем мелкими партиями доставлять в Петербург на лихтерах и баржах, что очень за-

* Гряда в прибрежной полосе морского дна, образованная наносами.



Корабли русской эскадры вице-адмирала Е. В. Путятина в Японии в 1853 г. С картины японского художника.

медляло судоходство. Моряки горько шутили: путь от Лондона до Кронштадта короче, чем от Кронштадта до Петербурга.

Назрела необходимость переноса порта с Васильевского острова в более удобное место и сооружения подходов к нему по мелководью от Кронштадта. После продолжительных споров между городскими властями, купцами и промышленниками, где каждая сторона преследовала только свои выгоды, было принято решение о создании морского торгового порта на Гутуевском острове. В это же время крупнейшими русскими инженерами-гидротехниками во главе с С. В. Керbedзом был разработан уникальный проект морского канала — искусственного глубокого фарватера — длиной более 30 километров. Строительство канала началось в 1878 году после долгих проволочек. Всеми работами руководило созданное при министерстве путей сообщения особое управление. Константин Николаевич постоянно внимательнейшим образом следил за его деятельностью. На страницах записных книжек, которые он вел в то время, часто мелькают фамилии инженеров Ф. И. Энрольда, В. В. Салова — председателей управления, М. Л. Фуфаевского — инженера-строителя канала и других специалистов. Масштабы работ по тем временам были огромными: «паровой землекоп», девять землечерпательных машин и тысячи рабочих ежедневно вынимали более 11 тысяч кубометров грунта, который отвозился паровой тягой по проложенным вдоль канала временным рельсам. Общее количество вынутого грунта составило около 8 миллионов кубометров. Впоследствии писали: «Решение этой задачи оказалось в высшей степени удачным. Морской канал держится хорошо, заносимость его весьма мала, невский лед уносится по центральным фарватерам и не загромождает входа в канал. Петербургский Морской канал останется навсегда одним из лучших памятников инженерного искусства».

Одновременно не менее грандиозные работы проводились и в так называемом «Гутуевском ковше», где создавалась гавань для приливной * торговли. И здесь Посyet находит возможности для совершенствования главнейшего порта державы: в 1882 году он дает указания выработать общие проекты как отпускной ** части порта, так и угольной гавани, подчеркивая одно из важнейших условий, «дабы морское судно, речная баржа и вагон могли быть поставлены рядом», то есть, иными словами, чтобы избежать дополнительных перегрузок. Менее чем через полгода Михаил Леонидович Фуфаевский представил предварительный проект, состоящий из 3 планов общего расположения порта, 4 листов поперечных профилей, расценочной ведомости общей стоимости работ, 15 смет и исчислений стоимости различных работ и отдельных сооружений, 9 ведомостей количества работ, 5 ведомостей со статистиче-

скими данными и общей по проекту пояснительной записки».

Может быть, и не стоило бы останавливаться так подробно на этих цифрах, но нам нельзя забывать о том, что созданные сто лет тому назад и торжественно открытые 15 мая 1885 года Петербургский морской канал и Гутуевский торговый порт успешно действуют до наших дней.

А как же обстояли дела в остальных портах России? Ведь еще в начале 70-х годов Посyet писал о необходимости приведения речных и морских портов в современное состояние. Совершив поездку по бассейнам европейской части страны, он убедился, что за истекшее время положение не только не улучшилось, но даже стало более безрадостным. С возмущением он писал, что, за исключением пяти портов — Петербургского, Ревельского, Рижского, Либавского и Одесского, «все остальные порты России находятся в *первобытном состоянии*». Не растерявший молодого задора, Константин Николаевич направляет царю объемистую докладную записку, которая начинается словами: «Коммерческие порты наши, за исключением весьма немногих, находятся в самом неудовлетворительном положении, отчего отпускная торговля наша несет огромные потери». Далее, дав подробную характеристику каждому порту Балтики, Черного и Азовского морей, Ледовитого океана, Константин Николаевич вышел с конкретными предложениями по коренному улучшению существующих и устройству новых портов. «Если мы не приложим большей заботы об устройстве наших портов», — писал он, — этих, к сожалению, немногочисленных пунктов соприкосновения с внешнею мировую жизнью, то торговля наша еще на долгое время останется в настоящем неудовлетворительном, отсталом положении». На все эти мероприятия он испрашивал 40 миллионов рублей, проводя сравнение с Францией и Англией, где на модернизацию портов расходовалось в 3—4 раза больше. Однако косное царское правительство сочло нужным выделить только 19 миллионов рублей, сумму, равную стоимости сооружения немногим более 300 верст железнодорожного пути.

Посyet не единожды убеждался, что существующая система стихийной застройки береговых портовых сооружений подрядчиками наносит непоправимый вред отечественному портостроению. В мае 1885 года он вручает Александру III «всеподданнейший доклад», ратуя за сосредоточение проектирования и строительства морских портов в руках государства «во избежание того, чтобы частные предприниматели при проектировании устраиваемых ими бассейнов и сооружений не руководствовались бы исключительно своим личным взглядом и своими личными выгодами, без всякой связи с общою системой портовых устройств». В этих целях предлагал он образовать в составе министерства особую «Временную комиссию по устройству коммерческих портов» для «неотлагательного приступа к портовым работам и

* Импортной.

** Экспортной.

заведования делами по устройству этих портов».

В созданную с 1 июля 1885 года «Комиссию» были введены лучшие проектировщики гидротехники из Управления по устройству Санкт-Петербургского морского канала, получившие богатейшую практику при его сооружении. С этого момента начинается упорядоченное централизованное проектирование объектов морского берегового строительства в России. Созданная по идее Константина Николаевича и его сподвижников первая морская проектная организация явилась настолько удачной, что, не меняя своих основных функций, она просуществовала почти полвека, а затем, в советское время, получив новое, отвечающее современным задачам содержание, превратилась в Ленинградский проектно-изыскательский научно-исследовательский институт морского транспорта с филиалами на всех бассейнах Советского Союза. А имена сотрудников комиссии М. Н. Герсванова, В. Е. Тимонова, А. К. Рождественского, Б. Н. Кандибы, В. Е. Ляхницкого стали известны в современной науке как имена основоположников важных научных направлений и школ в транспортной гидротехнике, гидравлике, теории сооружений.

Но это будет через сто лет, чего Посыет даже не мог предположить...

Пока же приходилось решать множество задач, не терпящих отлагательства: по его указанию проводятся геодезические и гидрографические исследования главнейших рек России и составляются их атласы, улучшаются существующие каналы и создаются новые — Ново-Мариинский, Свирьский, Сясьский, выправляются течения рек, устанавливаются навигационные знаки, создается судоходная инспекция, навигационно-описная комиссия, водомерные посты, метеорологические станции. Углубление устья Волги дало возможность морским судам заходить в Астрахань.

Кто, как не моряки, знает потребности судоходства? И он назначает морских офицеров руководителями описных партий, которые в короткие сроки исследовали реки на протяжении 19 тысяч километров.

Плавание по морям и рекам связано с риском кораблекрушений, гибелью грузов, команды и пассажиров судна — и Константин Николаевич выступает организатором Российского общества спасения на водах. Разрешение дано, но правительство не располагает средствами на создание постоянных постов и приобретение инвентаря. Тогда К. Н. Посыет, ставший председателем общества, обращается за помощью к народу — во всех церквах установлены кружки для пожертвований с изображением лодочки, и русские люди охотно бросают туда свои трудовые копейки, собрав в короткие сроки почти 900 тысяч рублей. Уже через несколько лет в отчете общества сообщается, что благодаря принимаемым мерам спасено свыше пяти с половиной тысяч человек, предотвращена гибель более 500 судов.

Без преувеличения Посыета можно назвать «крестным отцом» Новороссийского порта. Во время Крымской войны, уничтоженный бомбардировками с неприятельских кораблей, город опустел и был упразднен. Когда его вновь учредили в 1866 году, в нем насчитывалось всего несколько сот жителей и 90 домов. Таким он оставался еще в течение 20 лет. Когда возник вопрос о расширении Ростовского и Таганрогского портов, Константин Николаевич решительно высказался за развитие Новороссийска, оценив по достоинству преимущество незамерзающей Цемесской бухты, где с меньшими затратами можно создать прекрасный морской порт. Кроме того, его легко соединить веткой с Владикавказской железной дорогой, что упростило доставку грузов. Константину Николаевичу удалось добиться выделения 3 миллионов рублей на портовое строительство, и через несколько лет Новороссийск превратился в главный пункт по экспорту зерна и цемента на Кавказском побережье Черного моря.

Посыет постоянно проповедовал мысль о неразрывной связи водного и железнодорожного транспорта. Он подчеркивал, что «порт является узловой станцией между рельсовым путем, введенным к порту, и пароходными линиями, идущими из этого порта». По его мнению, сооружение железных дорог и устройство портов должно проводиться одновременно, потому что «предпочтение чему-либо в ущерб другому наносит большой вред экономике страны». В настоящее время эти идеи получили название «единый транспортный узел» и широко применяются в нашей стране.

Им была поддержана идея (впервые в мире!) перевозки нефти наливом, что дало толчок развитию танкерного флота.

Но если Посыету удалось расшевелить застой в морском и речном транспорте, то мог ли он одновременно с этим так же активно участвовать в управлении строительством и эксплуатацией железных дорог, тем более не являясь специалистом в этой области? Оказывается, мог: прежде всего, заручившись поддержкой крупнейших русских инженеров-путейцев, он выступил за прекращение строительства новых дорог концессионным способом, видя в этом ту же попытку частных предпринимателей использовать железные дороги в своих личных интересах, вопреки интересам государственным. По его инициативе в 1876 году учреждается комиссия «для исследования железных дорог в России», результатом работы которой было создание в 1885 году «Общего устава российских железных дорог», положившего конец беспорядкам их эксплуатации частными обществами. Неоднократно выходя в Государственный совет и Комитет министров с глубоко аргументированными докладами, он добился передачи строительства железных дорог в стране непосредственно казне. Так же убежденно он доказал выгоду южного направления проектируемой Транссибирской магистральной железной дороги (Самара — Уфа — Златоуст — Челябинск) вместо северного (Нижний Новгород — Ка-

зань — Екатеринбург — Тюмень — Тобольск), что дало резкий толчок развитию промышленности Урала и Сибири. Не менее важными мероприятиями, которые можно поставить ему в заслугу, были постоянные усилия Посыета использовать при строительстве и эксплуатации железных дорог отечественные материалы, оборудование, подвижной состав. Для поощрения производства рельсов в России он устанавливает премии фабрикантам по 35 копеек за каждый изготовленный на частных русских заводах пуд рельсов. Благодаря этому в России возникли и укрепились заводы по производству всех без исключения металлических принадлежностей для железных дорог, которые ни по своему качеству, ни по стоимости не уступали изделиям подобного рода, изготовленным за границей. Так же, по его указанию, железные рельсы, как менее прочные, стали повсеместно заменяться стальными.

Впоследствии Константин Николаевич говорил, что он гордится тем, что «первое звено Велико-Сибирского рельсового пути построено русскими инженерами» и что «на ней, от костыля до паровоза, все изготовлено в России и из русских материалов».

Стремясь охранить леса от повсеместного уничтожения, Посыет распорядился употреблять в качестве топлива для паровозов каменный уголь, а для сокращения импорта угля и экономии средств приказал создать при министерстве комиссию для определения достоинства русских каменных углей, которая дала им предпочтение перед английским.

Большое внимание уделял Константин Николаевич повышению значения Института инженеров путей сообщения как главного очага подготовки высококвалифицированных специалистов водного и железнодорожного транспорта. При его содействии расширяется деятельность механической и химической лаборатории, увеличиваются фонды музея и библиотеки, растет выпуск печатных научных изданий. В последующем он был избран почетным членом института.

Никакое дело Константин Николаевич не считал чересчур мелким для себя. И когда молодое Болгарское государство обратилось в 1885 году к России с просьбой помочь подготовить кадры железнодорожников для первой в стране Цариброд-Вакарельской железной дороги, он с жаром доказывает царю, что это необходимо сделать для укрепления русско-болгарской дружбы. А когда 15 молодых болгар приехали в Россию, он приказал обучать их в техническом железнодорожном училище бесплатно и в течение двух лет внимательно следил за их успехами.

Кроме всего прочего, на Посыете, как на министре путей сообщения, лежала масса других хлопотных обязанностей, отнимавших не только время, но и силы и здоровье уже немалого человека: он должен был сопровождать членов царской фамилии при их поездках по России и за границу, присутствовать на открытии новых железных дорог. За 14 лет пребывания на своем

посту Посыет лично открыл почти 70 железных дорог и 5 каналов в разных уголках необъятной России, более 30 раз выезжал с царскими поездами на Кавказ, в Крым, Польшу, Германию.

В декабре 1886 года торжественно отмечался 50-летний юбилей службы Константина Николаевича в офицерских чинах, на котором присутствовали многочисленные представители министерств, общественных организаций, научных обществ, сослуживцы и товарищи юбиляра. Петербургские газеты дали подробные отчеты об этом событии. Среди выступивших с приветствиями были известный путешественник П. П. Семенов-Тянь-Шанский, видный военный деятель генерал Н. Н. Обручев, академик Я. К. Грот и многие другие. Со всех концов страны и из-за границы поступило 295 поздравительных телеграмм от различных организаций и частных лиц. Посыет был награжден бриллиантовыми знаками ордена Александра Невского; его именем названа первая речная школа плавания, основанная в Нижнем Новгороде. Общество спасания на водах вручило ему почетный диплом и золотую медаль, многие общества избрали его своим почетным членом. На собранные по подписке среди служащих министерства деньги были учреждены стипендии имени Посыета для студентов Института инженеров путей сообщения и других учебных заведений ведомства и премии инженерам за выдающиеся проекты — «по инженерному искусству».

Выдающийся художник-маринист И. К. Айвазовский преподнес ему свою картину с изображением фрегата «Светлана» в океане. Ему было присвоено звание почетного гражданина Белозерска, Вологды, Новгорода, Перми, Пярну, Старой Руссы, Тюмени.

...Через два года произошла железнодорожная катастрофа, отразившаяся на судьбе Посыета: 17 октября 1888 года на перегоне между станциями Тарановка и Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги царский поезд, в котором Александр III с семьей и свитой возвращался с юга в Петербург, на полном ходу сошел с рельсов. Погибло 19 человек, 14 получили ранения. Царская семья не пострадала.

Расследование происшествия было поручено выдающемуся судебному деятелю Анатолию Федоровичу Кони, обер-прокурору Сената, который после тщательного, кропотливо проведенного следствия пришел к выводу, что основной причиной катастрофы является хищническая эксплуатация железной дороги и подвижного состава частной компанией, «наглое стремление к наживе» членов правления. Открытая раньше срока, дорога была построена с вопиющими нарушениями технических правил — на шпалы шел бракованный лес, уклон насыпи превышал допустимые нормы, ремонт полотна и подвижного состава проводился крайне редко, вследствие чего ежегодно росло количество аварий; условия труда и быта железнодорожников были крайне тяжелыми: дежурных по станции и машинистов паровозов заставляли работать по 16—18 часов без отдыха, нарушались элементарные санитарные правила — и все это для по-

лучения максимальных прибылей. Небезынтересно отметить, что за семь лет, предшествовавших катастрофе, чистые доходы дороги возросли в 17 (!) раз.

Именно об этом, выступая против строительства и эксплуатации железных дорог частными компаниями, предупреждал в свое время Посьет, именно с этим он вел непримиримую борьбу. Но сейчас ответственность ложилась и на него, как на министра, не только за состояние дороги, но и за превышение скорости опаздывающего поезда, и за перегрузку состава многочисленной царской челядью, охраной, фрейлинами, поварами и гардеробмейстерами. Кони требовал привлечения к суду руководителей правления акционерного общества и Посьета за то, что он разрешил двигаться перегруженному поезду с повышенной скоростью. Однако могущественная бюрократия была не заинтересована в том, чтобы выявленные грубейшие нарушения были раскрыты перед общественностью.

Как и следовало ожидать, в итоге никто не понес никакой ответственности, все осталось на своих местах. Только Константин Николаевич, понимая, что на его имя брошена тень, через две недели после крушения, задолго до окончания расследования, подал в отставку, которая была сразу же принята.

По воскресеньям просторная квартира в доме на Адмиралтейской набережной, где поселился отставной адмирал с супругой, наполнялась народом. В огромной гостиной с зеркальными окнами, выходящими на величавую Неву, можно было встретить ученых, литераторов, художников, дипломатов, но, как правило, больше всего здесь бывало моряков — продубленных океанскими ветрами, загоревших до черноты, с зычными, привычными перекрывать грохот штурмов голосами, от которых дрожали хрустальные подвески на люстрах.

Квартиру по праву можно было бы назвать музеем — столько в ней находилось диковин со всех концов света: китайские веера, японские шкатулки, африканские ритуальные маски, шкуры экзотических животных, лапландская резьба по кости, фигурки божков из ароматного сандалового дерева, костюмы американских индейцев, луки, стрелы, чучела тропических рыб и морские раковины причудливых форм и расцветок.

Но гостей сюда больше привлекали не разнообразнейшие экспонаты, а сам Посьет, человек интересной судьбы, увлекательный рассказчик.

Они могли часами слушать о приключениях гостеприимного хозяина на суше и на море. Перед их мысленным взором оживали гейзеры Исландии, оловянные копии Корнуолла, уходящие под дно Атлантического океана, лодочные гонки женщин-тагалок на Филиппинских островах, могучая Янцзы, по которой Посьет проплыл полторы тысячи километров, малайские пираты, грабящие проплывающие купеческие суда. Он рассказывал о путешествии по Соединенным Штатам Америки, которые пересек с запада на восток и с севера на юг, о знакомстве

с великим американским поэтом Лонгфелло, о встрече с бывшим президентом рабовладельческих южных штатов Джефферсоном Дэвисом.

Он любил вспоминать о море, кораблях, нелегкой морской службе. Полные драматизма повествования о гибели «Дианы» и «Александра Невского», о героизме русских моряков сменялись забавными историями, которые в изобилии хранились в его памяти. «Однажды, глубокой осенью, — начинал он припоминать очередной случай, — когда наш корабль шел Северным морем, ночью разразился сильный шторм, сопровождавшийся снегопадом. Издалека раздавались пушечные выстрелы с терпящих бедствие кораблей, но мы не могли оказать им в темноте никакой помощи и только переживали за гибнущих моряков. Утром невдалеке увидели носимый волнами корпус без мачт и решили пойти на помощь, но спущенная лодка вскоре вернулась с известием, что команда покинула корабль и, видимо, погибла. Через некоторое время увидели второе подобное судно — и тоже безрезультатно. Наконец встретили корабль, с палубы которого неслись крики, и увидели людей, размахивающих руками. Срочно подошли поближе и спросили, чем им помочь. В ответ раздалось: «Купите у нас свежую селедку!» Обозленный капитан приказал облить рыбаков холодной водой из брандспойтов и продолжать путь».

Вспоминая путешествие в Японию, Константин Николаевич рассказывал с большим юмором, всякий раз вызывавшим искренний смех слушателей, о своем добром приятеле Иване Александровиче Гончарове. Согласившись сначала с предложением адмирала Путятина отправиться в экспедицию на «Палладе» в качестве его личного секретаря, грузный, несколько напоминавший по темпераменту Илью Обломова — героя своего романа — Иван Александрович скоро остыл и стал придумывать предлог, чтобы прервать довольно однообразное морское путешествие и вернуться в Петербург. Однако, боясь показаться легкомысленным, если он просто будет жаловаться на скуку, Гончаров стал придумывать более вескую причину, которая не вызвала бы неудовольствия адмирала и насмешек моряков. Зная, что многие люди плохо переносят морскую болезнь, он решил жаловаться на недомогание и намекать окружающим, что ему нужно остаться на берегу. Моряки сочувствовали, пока случай не разоблачил его обмана: еще в Балтийском море фрегат попал под сильный шторм. С трудом выйдя на проваливающуюся под ногами палубу подышать воздухом, Гончаров указал вахтенному офицеру на стонущих, перегнувшихся через борт матросов и поинтересовался, что с ними случилось.

«А у них морская болезнь, — ответил тот с ехидцей, — та, от которой вы так страдаете». Эпизод с неудачной симуляцией стал известен всем офицерам, которые не упустили возможности пошутить по этому поводу.

Повторная попытка кончилась не менее комично: недалеко от берегов Англии, придя в

кают-компанию, писатель с той же целью стал жаловаться на постоянную бессонницу, вызванную шумом волн, скрипом такелажа, подаваемыми командами. Присутствующие давали советы, как с ней справиться, но тут дело «испортил» вошедший офицер, который спросил, почему ночью стреляла сигнальная пушка.

«Разве стреляла?» — удивился Гончаров. В ответ раздался громовой хохот: пушка стояла возле самой его каюты. О какой бессоннице могла идти речь, если он не услышал даже грохота пушечного выстрела?!

Пришлось Ивану Александровичу смириться и остаться на корабле, но благодаря этому русская литература обогатилась таким шедевром, как «Фрегат «Паллада».

Правда, впоследствии он был благодарен судьбе, которая дала ему возможность проплыть по трем океанам — морская стихия оставила неизгладимый след в его душе, и по прошествии времени Ивана Александровича опять потянуло в море, тем более что его давний знакомец, теперь уже вице-адмирал, Посыет, отправляясь в кругосветное плавание на фрегате «Светлана», предложил взять его с собой. Но

эта мечта не исполнилась: по зрелому размышлению 59-летний Гончаров, здоровье которого пошатнулось, решил остаться в Петербурге.

* * *

...Несмотря на преклонный возраст, Константин Николаевич продолжал вести активный образ жизни, много путешествовал, бывал в Прибалтике, Финляндии, Швеции, не забывая фотографировать понравившиеся ему виды, посещал заседания Академии наук, почетным членом которой он состоял, принимал участие в работе Географического, Технического и других обществ, оставаясь бессменным председателем Российского общества спасания на водах до самой кончины.

...Славному имени К. Н. Посыета не суждено забыться. На самой дальней окраине страны, в Хасамском районе Приморского края, уже 130 лет существует залив Посыета, на берегу которого вырос поселок того же названия. Воды Мирового океана бороздит траулер-завод «Посыет», построенный руками советских корабелов.

Борис Рябухин

«Душа, не воспылав, свой пламень угасила...»

ТУРГЕНЕВСКИЙ КРУЖОК

Известна надпись В. А. Жуковского на своем портрете, подаренном им А. С. Пушкину в 1820 году, в день окончания «Руслана и Людмилы»: «Победителю ученику от побежденного учителя». Но редко кто знает, что за пятнадцать лет до этого, в 1805 году, Василий Жуковский столь же высоко оценил другого молодого поэта, Андрея Тургенева: «Он был бы моим руководцем, которому бы я готов был даже *покориться*; он бы оживлял меня своим энтузиазмом»^{*}.

Андрей Тургенев родился 1 (12) октября 1781 года в Москве. В Симбирске провел свое детство. Из симбирского имения Тургенево семья вернулась в Москву и поселилась на Моховой улице.

«Это семейство не раз служило предметом литературных и критических изысканий, — вспоминал о своих дальних родственниках Иван Сергеевич Тургенев. — Можно без преувеличения сказать, что они сами принадлежали к числу лучших людей и тесно соприкасались с другими лучшими людьми того времени. Их деятельность оставила заметный и не бесполезный, не бесславный след»¹.

Отец Андрея — Иван Петрович был симбирским помещиком и владел несколькими деревнями, из которых лишь Тургенево было родовым поместьем. В свое время он служил генерал-адъютантом у фельдмаршала графа З. Г. Чернышева. А когда граф скончался, Тургенев именным указом был пожалован в полковники, определен в Ярославский пехотный полк и служил там честно и исправно, пока не вышел в отставку в 1789 году.

Мать Андрея — Катерина Семеновна, урожденная Качалова, была помещицей простого нрава.

«Характер матушки, — признавался Андрей



Андрей Иванович Тургенев.

Тургенев, — много имел влияния на мой характер, на мою нравственность — и на мое счастье. Она стесняет душу мою. Как часто не позволяла она развиваться в ней какому-нибудь радостному, возвышающему чувству! Как часто потушала то, что уже было! Если бы не она, то душа моя была бы вольнее, радостнее, смелее и, следовательно, и добрее и благороднее»².

К счастью, эта досада преувеличена, в чем убеждает вся жизнь Андрея.

Тургеневские старшие дети — Андрей и Александр — учились в Симбирске. Они слыли в городе первыми шалунами, может быть, потому, что однажды выехали на тройке отца и неожиданно для себя, развеселившись, сбили с ног городского.

Но была и другая жизнь.

Вот сложенные в форме учебной тетради листы. Две страницы исписаны четко, крупным каллиграфическим почерком. Характерные для того времени нравоведения: «Употребляй праздные твои часы к служению и к научению чего-нибудь разумного, через сие ты легко выучишь то, чему другие с трудом обучаются»; «Обучай тело свое к работе, но душу всегда возбуждай к мудрости; через труды получишь ты то, что ты пожелаешь; через мудрость же научишься узнавать наперед все то, что тебе сходственно»... А на второй странице — собственные сочинения юного стихотворца.

^{*} Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. «Русский архив», М., 1895, с. 15.



Иван Петрович Тургенев.

В двенадцать лет Андрей, как утверждал позже его брат Александр, написал такое стихотворение:

Надежда кроткими лучами освещает
 Нам мрачный путь в печальной жизни сей. —
 Тебя несчастье угнетает,
 Томишься, страждешь ты, и в горести своей
 Ты слезы льешь, несчастный! ободрись!
 Зри духом в вечность, что твой взор встречает?
 Там лучший мир, там Бог —
 Страдалец, улыбнись.

Андрей и Александр проводили каникулы в Тургеневе, вместе со своими младшими братьями Николаем и Сергеем, любили играть в родном саду. И в радости и веселии никто из них не подозревал, что отец жил в своем родовом имении в ссылке.

Иван Петрович дружил с издателем Николаем Ивановичем Новиковым, который в 1779 году образовал в Москве Дружеское ученое общество, позже переименованное в Типографическую компанию. Это общество ставило перед его членами задачи помощи в воспитании детей, издания полезных в нравственном отношении книг, поощрения и образования молодых людей. Но их заблуждения зашли далеко.

В 1792 году по приказу императрицы Екатерины II Новикова заключили в Шлиссельбургскую крепость. А Тургенева по подозрению в

участии в деле общества мартинистов сослали в Симбирскую губернию.

Когда Екатерина II скончалась, молодой император Павел Петрович освободил Новикова из Шлиссельбургской крепости и в 1796 году вернул Тургенева из ссылки в Москву, предложив ему высокий пост директора Московского университета.

Накануне отъезда из Тургенева, в воскресенье, «сделали помочь», созвали всех мужиков, и они, сжав на поле 19 десятин в одно утро, пришли тотчас после обеда на барский двор. Им выставили несколько бочек пива, поднесли по стакану зелена вина, и праздник деревенский для всех начался и кончился очень весело.

Андрею Тургеневу было пятнадцать лет, когда он вместе с семьей приехал в Москву. Поселились на Моховой улице, в профессорской квартире университета, где стал работать отец, в двух шагах от Московского университетского благородного пансиона, куда Андрей поступил учиться.

Пансион был учрежден в 1779 году куратором университета писателем Михайлом Матвеевичем Херасковым. Инспектор пансиона профессор Антон Антонович Прокопович-Антонский, сын бедного малороссийского дворянина, учился в свое время в Московском университете на средства новиковского общества.

В шести классах пансиона учились около 400 мальчиков от девяти до пятнадцати лет. Одеты они были в синие форменные фракки. Жили на казарменном положении — с понедельника до субботы. Как сын директора университета, Андрей был полупансионером, поэтому после занятий уходил домой.

На «публичных актах» — экзаменах при стечении приглашенных гостей пансионеры говорили речи на заранее заданные темы.

Одобралось и всячески поощрялось и литературное творчество пансионеров. К шестнадцати годам Андрей кое-что сочинил, перевел и даже опубликовал.

Обстановка, в которой он рос, во многом способствовала развитию его художественных наклонностей. Иван Петрович Тургенев знался с Державиным, Фонвизиним, Радищевым, Карамзиным, Дмитриевым. В доме отца, в среде родных и друзей, в пансионате, среди своих сверстников, — везде Андрей сталкивался постоянно с лицами, которые или сами были литераторами, или горячо любили литературу, интересовались ею очень серьезно, а главное, плодотворно. С чуткостью, далеко не детской, он быстро усваивал все мотивы и направления, которые царили или рождались вокруг. В его ранних стихотворениях еще чувствуется стремление петь с чужого голоса, заметно влияние Державина, но уже намечаются более мягкие тона сентименталистов начала XIX века.

Андрей Тургенев в раннем возрасте познакомился с Карамзиным как читатель журнала «Детское чтение для сердца и разума».

Н. М. Карамзин вел этот журнал вместе со своим другом А. А. Петровым.

Прочитав «Письма русского путешественника» еще в Симбирске, Андрей написал восторженное послание Карамзину, но постеснялся отправить. В этом письме он размышлял о том, что по большей части вещи кажутся нам хорошими или худыми не потому, что они таковы на самом деле, но по расположению души нашей. Под влиянием Карамзина написаны и его рассуждения о бесполезности любых попыток общественного переустройства. Андрей считал, что в мире есть два рода людей, которые наслаждаются равно здоровьем, богатством, но одни счастливы, другие несчастны. Это происходит большей частью оттого, что они под различными точками зрения смотрят на вещи, на людей, на обстоятельства, и от действия, произведенного таким различием на их душу.

Андрей Тургенев написал в 1796 году «Стихи, сочиненные дорогой из Москвы в Петербург», проникнутые верой в исключительно великое значение Карамзина для русской литературы.

Сердца чувствительны ты будешь век
пленять
И славы можешь ли ты сам другой
желать.

Тебе сердца пленять дар милый небом дан,
Пой к удовольствию, пой к славе

Россиян.

Запали в душу Андрея и рассуждения Карамзина в опубликованной в 1797 году статье «Несколько слов о русской литературе». «Есть у нас эпические поэмы, обладающие красотами Гомера, Вергилия, Тасса; есть у нас трагедии, исторгающие слезы, комедии, вызывающие смех; романы, которые порою можно прочесть без зевоты, остроумные сказки, написанные с выдумкой, и т. д. и т. д. У нас нет недостатка в чувствительности, воображении, наконец — в талантах; но храм вкуса, но святилище искусства редко открываются перед нашими авторами. Ибо пишем мы по внезапной прихоти; ибо слабое ободрение не побуждает нас к усидчивому труду; ибо, в силу тех же причин, справедливые критики редки на Руси; ибо в стране, где все определяется рангами, слава имеет мало притягательного»³.

Зимой 1797 года Андрей Тургенев уже стал студентом Московского университета. Он бывал в зеленом доме на Никольской улице, в нижнем этаже которого Карамзин нанимал квартиру. Одну из таких встреч описал В. Г. Белинский.

Молодой купец Г. П. Каменев сочинил балладу «Громвал» и приехал в Москву, чтобы показать ее Карамзину. Через знаменитого писа-



Московский университет. Благородный пансион.



Николай Михайлович Карамзин.

теля он надеялся познакомиться с московскими литературными кругами. И это в то время, уточняет Белинский, когда купцы хаживали только в передние дворянских домов, и то по делам, с товарами или за должком.

Тургенев и Каменев в половине двенадцатого поехали на Никольскую улицу. Далее Белинский передает рассказ Каменева⁴: «Мы застали его с Дмитриевым, читающего 5-ю и 6-ю части его путешествия... Увидевши нас, Карамзин встал из вольтеровских кресел, обитых алым сафьяном, подошел ко мне, взял за руки и сказал, что Иван Владимирович (Лопухин. — Б. Р.) давно ему обо мне говорил, что он любит знакомиться с молодыми людьми, любящими литературу... Карамзин спросил Тургенева, перевел ли он переписку Юнга с Фонтенелем из «Философии природы», и начал говорить о сей книге, которой сочинителя он не любит. Вот слова его: «Этот автор может только нравиться тому, кто имеет темную любовь к литературе. Опровергая мнение других, сам не говорит ничего сносного; ожидаешь многого, приготовишься, — и выйдет вздор. Нет плавности в штиле, нет *зернистых* мыслей, много слабо, иное плоско, и он ничем не бриллирует». Карамзин употребляет французских слов очень много...»

Андрей Тургенев не мог не признаться Карамзину, что ему было тошно, скучно работать над переводом. Переписку Юнга с Фонтенелем поручил Андрею перевести его отец.

Иван Петрович нередко просил сына переводить работы западных философов. На собственные средства он издавал эти произведения небольшими брошюрами для студенческого чтения.

Молодые литераторы смотрели на знаменитого писателя с обожанием. «Он росту более, нежели среднего, черноглаз, нос довольно велик, румянец неровный, бакенбард густой. Говорит скоро, с жаром, а перебивает всех строго, сожалеет, что не умел воспользоваться от своих сочинений, и называет их своею *деревенскою*», — записал Белинский впечатление Каменева о Карамзине.

Вызывал почтение у начинающих литераторов и собеседник Карамзина поэт Иван Иванович Дмитриев, высокий, сильно облысевший, с холодно-насмешливыми, чуть косящими глазами, автор прославившей его песни «Стонет сизый голубочек» и сказки «Модная жена».

Как личное оскорбление воспринял Андрей Тургенев нападки на Карамзина реакционера П. И. Голенищева-Кутузова. Бездарный стихотворец был одним из кураторов Московского университета. Понятно, у директора университета И. П. Тургенева были трения с этим «гасильником русского просвещения». Будучи потом сенатором в Москве, Голенищев-Кутузов прославился своими доносами вообще и на Карамзина в частности. Андрей Тургенев с возмущением писал в своем дневнике о его лести и пресмыкательстве перед императором Павлом I. В 1799 году в журнале «Иппокрена, или Утехи любословия» (т. IV, с. 17—31) Голенищев-Кутузов опубликовал стихотворение-донос, намекая на Карамзина. И это в то время, когда правительство осуждало сочувствие Карамзина Великой французской революции. Андрей Тургенев откликнулся на донос экспромтом:

О сколь священная религия страдает,
Вольтер ее бранит — Кутузов защищая.

Ирония была в характере Андрея Тургенева. Иронически он относился и к самому себе, в таких тонах он и нарисовал автопортрет в письме к своей тетушке под пасху этого же 1799 года.

«Милостивая государыня тетушка! Христос воскрес!»

Представьте себе малого лет 18. Губастого, широконогого, у которого от одного уха до другого распухло на вершок, который подвязан платком, покрыт колпаком и который колпак еще подвязан платком, в шлафроке, в туфлях, сидящего на стуле на антресолях у окошка и пишущего к вам письмо, — вот вам точь-в-точь, точнехонько мое изображение!...»⁵

Внешний вид Андрея Тургенева уже говорил о его многообещающем таланте. Худой, крепкий, подтянутый юноша в студенческом сюртуке с малиновым воротником, коротко острижен, с рыжеватыми бакками на широких скулах. Немного грустный взгляд больших и умных глаз. Решительность характера сквозила в чертах его лица — тонкий, чуть вздерну-

тый нос, четкий очерк рта, круглый волевой подбородок. Лицо светилось добротой.

В студенческие годы судьба свела Андрея Тургенева с Алексеем Мерзляковым, Василием Жуковским, Андреем Кайсаровым, Александром Воейковым.

Алексей Мерзляков, университетский товарищ Андрея, давал уроки русского языка и древней классической литературы Николаю Тургеневу. Будущему декабристу было еще девять лет; а Мерзлякову 19 лет, и он уже был бакалавром. Даже не верилось, что этот заикающийся от волнения плотный юноша, с широким, по-мужицки простоватым, краснощеким лицом, освещенный детской радостной улыбкой, знал греческий и латинский, французский, немецкий и итальянский языки. И все же при всей своей эрудиции Мерзляков считал Андрея Тургенева главным в их компании авторитетом в литературных вопросах.

Зимой 1798 года Александр Тургенев привел в дом на Моховую своего товарища по пансиону Василия Жуковского. Может быть, они бы никогда друг о друге не узнали, если бы пансионное товарищество не свело Александра с Жуковским. Андрей Тургенев и Василий Жуковский полюбили друг друга.

Жуковский стал своим в семье Тургеневых еще и потому, что Иван Петрович был хорошо знаком с его отцом Афанасием Ивановичем Бунинным. Этот смуглый, черноволосый, высокий, сутуловатый и неуклюжий пятнадцатилетний юноша выделялся в пансионе тем, что рисовал, писал картины маслом, пел, играл на фортепьяно, сочинял стихи. Он вышел в первые ученики и получил золотую медаль с одобрительным листом после того, как на публичном акте в пансионе сказал речь о добродетели. И еще он стал постоянным председателем собрания воспитанников Университетского благородного пансиона.

Это собрание учредил в начале 1799 года А. А. Прокопович-Антонский. Когда-то, будучи студентом университета, Прокопович-Антонский был председателем в собрании университетских питомцев — литературном обществе, труды членов которого печатал Новиков. По такому же образцу было создано общество юных литераторов и в пансионе. Членами его могли стать только те воспитанники, которые отличались примерным поведением, тихостью нравов, послушанием, прилежностью к наукам и вообще доказали свои литературные способности и любовь к отечественному языку.

Василий Жуковский проводил заседания этого общества по средам. Он назначал ораторов, наблюдал за порядком, отвечал за организацию всего дела.

Однажды на заседание пришел и сам Карамзин. Жуковский сказал похвальное слово Карамзину, но гость воспринял речь юноши холодно-вежливо.

Жуковский и Мерзляков стали самыми близкими друзьями Андрея Тургенева. Вокруг них образовался литературный кружок. В него вошли брат Андрея — Александр Тургенев,



Василий Андреевич Жуковский.
Акварель А. А. Вальковой (Протасовой).

братья Андрей и Михаил Кайсаровы, Александр Воейков, Семен Родзянко и другие.

Александр Воейков — brave конногвардеец, бывший воспитанник университетского пансиона. На мясистом лице его углями горели калмыцкие глаза. Характер его был открытым, манеры размашисты, любил выпить, отчего становился говорлив, ополчался на тиранов, шумно спорил о политике. Он сочинял стихи, переводил с французского, играл на гитаре, пел.

Василий Жуковский привел в компанию своего пансионного товарища Семена Родзянко, который тоже сочинял стихи. Как-то Иван Петрович Тургенев отобрал лучшие произведения Жуковского и Родзянко и послал в Петербург Державину. Поэт ответил длинным письмом, поблагодарил за посылку и перевод Жуковского и Родзянко на французский язык его оды «Бог».

Александр Тургенев — русоволосый, небольшого роста, сонливый и тем не менее веселый юноша — был самым молодым из друзей. Склонность к натуральным наукам уживалась с нем с увлечением русской историей.

Андрей Тургенев и вся компания через Александра познакомились с семьей Соковниных. Александр часто навещал своего пансионского товарища Сережу Соковнина. Первым вошел в этот дом, на углу Пречистенки и Девичьего Поля, и был принят ласково.

В семье Соковниных было четыре брата и три сестры. К красавице Анне питал платонические чувства Александр Тургенев, к Вар-

варе — Жуковский, посвятив ей стихотворение «К Нине». Однако Варвара ушла из родительского дома, захотела жить в крестьянской избе, но и там не нашла душевного покоя и поступила в монастырь. Это поразило впечатлительного Андрея Тургенева, о чем он поведал в своем стихотворении. Но сам он увлекся Катериной Соковинной.

Александр Тургенев привез к Соковинным брата Андрея, когда еще его никто не знал. Но вскоре все привязались к Андрею. Братья Тургеневы так любили ездить к Соковинным, что наконец стали считать за пожертвование, когда один другому уступал свою очередь, если по каким-то причинам двоим было ехать неудобно. И они поняли цену братства, узнали, что готовы друг для друга на жертву. Что других могло разлучить навеки, Андрея и Александра только теснее связывало и приближало...

Отношения Андрея Тургенева и Катерины Михайловны Соковинной развивались неброско. Никто не знает о перипетиях этой любви. Лишь ясно было близким, что она любила его больше, нежели он ее.

* * *

Поскольку дом И. П. Тургенева был одним из центров, куда сходилось московское литературное общество, постольку Андрей Тургенев стал центром молодого кружка. Но не фамильные достоинства были тому причиной, а собственные таланты молодого поэта. Андрей буквально руководил всеми своими друзьями, верховодил в своей компании, все они обращались к нему за советами, за помощью, всем он подсказывал, что читать, что переводить. И друзья его почитали, любили, следовали его советам.

Молодых единомышленников объединяла крепкая и активная дружба. Они виделись ежедневно, кроме того, обменивались еще несколькими записками на день. А когда отлучался кто-нибудь из Москвы, с ним завязывалась регулярная переписка. Дружеские споры, конечно, носили бурный характер, как и подобает юным талантливым творческим людям.

Проведенные вместе вечера были незабываемыми. Собравшись вместе, они, в сюртуках и шляпах а-ля Нельсон (больших треуголках с позументом), бродили по московским улицам. Бывали у Симонова монастыря, непременно останавливаясь у пруда, где утонула карамзинская бедная Лиза, гуляли по Марьиной роще, по Ильинке, заглядывали в кофейную Муранта, где собирались актеры, студенты и профессора университета. Потом все шли на Моховую, в дом Тургеневых. Тучный, добродушный, в широком синем сюртуке, Иван Петрович встречал молодежь приветливо. В общей комнате пили чай, курили трубки, читали книги, разговаривали о литературе и философии, истории и политике. Василий Жуковский и Андрей Тургенев на время затихали у окна, каждый со своими мыслями, глядя на вечерние красоты осени, которые всегда изумляют отзывчивую на пре-

красное душу. Мерзляков говорил об истории, о русских героях. Андрей перебивал его иногда каким-нибудь бонмо, если не острым, то по крайней мере смешливым. Все смеялись розыгрышу, и первым смеялся сам Мерзляков. Пора юности замечательна таким дружеским, искренним общением. Это лучшие годы жизни, когда и грусть и смех рождаются как бы беспричинно, а потому только, что у молодых людей этих живые, светлые и чистые души. А впереди — неоглядные дали жизни.

Как они славно пожили! Общество друзей, добрых, соединенных одними склонностями, одними упражнениями и в то же время разнообразных по своим склонностям и упражнениям. В спорах и сомнениях формировались эстетические взгляды членов тургеневского кружка.

* * *

Андрей Тургенев не принимал Вольтера. Дерзость, ругательство, эгоизм — так он определял главные черты его философии. Чтение лучших песен Оссиана больше услаждало его душу. Андрей считал, что Вольтеру не нужно было унижать Оссиана и Гомера, чтобы возвысить Вергилия.

Они увлекались немецким романистом и драматургом Августом Коцебу. Вместе с университетским товарищем Журавлевым Андрей Тургенев начал переводить драмы Коцебу, мечтал перевести и издать его повести.

На одной из встреч кружковцев Андрей Тургенев прочитал переведенную им драму Коцебу «Негры в неволе».

Антифеодальные, демократические идеи XVIII века, Пугачевское восстание, Великая французская революция воспринимались Андреем Тургеневым еще в форме бунтарства и свободомыслия молодых Гёте и Шиллера.

В его семье очень увлекались немецкими поэтами. Автор «Разбойников», «Коварства и любви» стал идеалом Андрея Тургенева. Он так и говорил — «мой Шиллер». Перевел его «Гимн радости».

В 1799 году Андрей Тургенев вместе с Алексеем Мерзляковым начали переводить драмы Шиллера «Коварство и любовь», «Разбойники» и «Дон Карлос». К переводу «Дона Карлоса» они привлекли и Василия Жуковского.

Быстро растущее увлечение Андрея Тургенева поэзией «Бури и натиска», Шиллера и Гёте оказывало влияние на его отношение к сентиментализму.

Уже в качестве критика он пытается защитить Шиллера от упреков современников в том, что образ Карла Моора получился натянутым. «То, что может нас тронуть, интересоваться, произвести в нас ужас или сожаление, может ли быть отвергнуто как нигде негодное? — недоумевал Тургенев. — И на что ограничивать область изящных наук? А какой сюжет интереснее, обильнее этой трагедии? Молодой человек, пылкий, волнуемый сильными чувствами, во всем жару негодования на несправедливость

людей, польщенный примером, увещаниями своих товарищей, дает безумную клятву быть их атаманом, но при всем том он никогда не унижается до подлых, варварских чувств обыкновенного разбойника⁶. Таким духовным «атаманом» был для своих вольнолюбивых друзей-литераторов и сам Андрей Тургенев. Бунтарский дух, гражданская активность, страстная защита прав униженных и угнетенных — эти качества Карла Моора вдохновляли Тургенева. Ему легче было разобраться в образе Карла Моора потому, что он сам тоже был типичным представителем нового поколения. Не случайно признание Андрея: «Я чувствую в нем совершенно себя!»

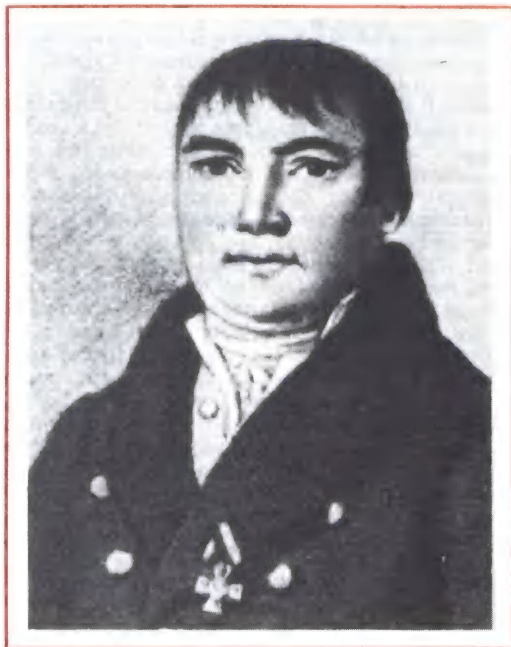
Увлечение Карлом Моором привело его к молодому Вертеру. Весной и летом 1799 года Андрей вместе с Мерзляковым переводил с наслаждением «Страдания молодого Вертера». Позже к друзьям присоединился и Василий Жуковский. Переведенные Тургеневым письма Вертера свидетельствуют о том, что его увлекли напряженность и страстность переживаний героя, величие и трагизм его конфликта со средой.

В связи с этим Тургенев упрекал Карамзина в том, что он пишет не оттого, что смотрит на предмет, но смотрит для того, чтобы написать о нем, а ничего нет хуже. Отсутствие условностей и салонных благопристойностей в гётевском романе выгодно отличало его от произведений сентиментализма. Тургенева восхищали жар, сила, чувство натуры у Гёте. Андрею был близок характер «бурного гения».

Известный советский филолог В. М. Жирмунский высоко оценил новые творческие принципы перевода писем Вертера: «В таких отрывках перевод Тургенева достигает необычайной лирической напряженности, превосходящей не только второстепенных подражателей «Вертера», но часто и самого Карамзина, родоначальника нового направления, обычно сохраняющего салонную благопристойность и в самых проявлениях своей чувствительности»⁷.

Андрей Тургенев мог так переводить потому, что понимал великого Гёте, творчество которого отразило важнейшие противоречия и тенденции эпохи. Для такого поэта, считал Тургенев, нет законов, кроме его духа и «резвой» крылатой фантазии, все у него легко, живо, натурально, сильно, величественно, все непринужденно и не подвержено никаким законам. Этот принцип всех гениев литературы. Вот — осмысление личностью самое себя, своей правды, а не условий, в котором «я» должно помещаться как в прокустовом ложе.

Весной 1799 года Андрей Тургенев закончил курс в Московском университете. Отец и мать радовались безмерно, когда он получил академический градус и поступил в Главный архив Коллегии иностранных дел, находившейся на Маросейке. На службу Андрей являлся редко, не ходил недели по две, но продолжал посещать университетские лекции.



Алексей Федорович Мерзляков.

Когда Андрей вступил в самостоятельную жизнь, у него стали открываться глаза на то, чем и как живут люди других, не литературных, слоев общества.

11 ноября 1799 года он записывает в своем дневнике: «...идучи в архив, попалась мне крестьянка на извозчике. Ее окружала толпа народу. Она была по обыкновению крестьянских баб. Ее спросили, и она с воем же сказала, что у ней отдают в солдаты мужа и что остается трое детей. Я был очень тронут. Царь народа русского! Сколько горьких слез, сколько крови на душе твоей»⁸. И это о царе, который вернул его отца из ссылки.

По словам В. Ф. Раевского, университет приготавливал юношей, которые развивали новые понятия, высокие идеи о своем отечестве, понимали свое унижение, угнетение народное.

Под впечатлением от подобных встреч, как с этой многодетной солдаткой, Андрей Тургенев написал стихотворение, в котором были такие жаркие строки:

...Но счастья не ищи — его здесь нет для нас,
В сем мире, где злодей, страх божий забывая,
Во злодеяниях найти блаженство мнит,
Рукою дерзкою сирот и вдов теснит,
Слезам, отчаянью, проклятьям не внимая⁹.

Подобные столкновения с мрачной действительностью освобождали Тургенева от узости взглядов. Он стал постигать многоплановость и драматизм конкретной, реальной жизни.

Более страстно передает Тургенев случай, рассказанный ему Андреем Кайсаровым, об издевательстве офицера над унтер-офицером, вынужденным молча смотреть на бесчестие своей жены. В дневниковой записи Андрея Тургенева от 4 декабря 1799 года уже звучит бура возмущения, это обвинительный акт молодого свободолюбца против всего общественного строя России: «И если бы он в этом терзательном, снедающем, адском молчании заколол его! Мог ли бы кто-нибудь, мог ли сам бог обвинить его? Молчать! Запереть весь пламень kloкочущей геены в своем сердце, скрежетать зубами, как в аду, смотреть, видеть все и — молчать. Быть мучиму побоями, быть разжаловану по оклеветаниям этого же офицера! Дух Карла Моора! И в этом состоянии *раба, раба*, удрученного под тяжестью рабства, — какое сердце, какая нежность, какие чувства!.. Это огненное, нежное сердце, давленное, терзаемое рукою деспотизма, — лишенное всех прав любезнейших и священнейших человечества, — деспотизм пугается *бессильной его ярости* и отнимает у него, отрывая все то, с чем бог соединил его»¹⁰.

Андрей Тургенев стал понимать, что наступает для него время переоценки ценностей, и уже не мог верить чужим, да и своим, сказанным когда-то высоким словам, пока не почувствовал, не проверил умом и сердцем их истинность и значимость.

Горькое разочарование пережил Андрей, узнав, что Прокопович-Антонский продал своего слугу Сергея — как обыкновенный крепостник. Честный примиритель семейств, утешитель страждущих оказался благообразным фарисеем.

Представляя перед мысленным взором высокого, худощавого, немного сгорбленного человека лет тридцати, с добрым выражением выпуклых глаз водянисто-голубого цвета, немного заикающегося, с благородными манерами, Андрей недоумевал. «Неужели я еще слишком хорошо думал о фарисее... А, горемычная чувствительность! Как я рад, что могу, если судьбе будет угодно, облегчить, может быть, осчастливить некогда судьбу бедных жертв холодности и проклятой сентиментальности»¹¹.

Сентиментализм уже не мог полностью удовлетворить деятельного, пылкого юношу, остро чувствующего социальные контрасты. С иронией записал Андрей в дневнике 28 августа 1799 года мнение о бывшем подражателе Карамзину — князе Федоре Сибирском: «Прежде он почти каждый листочек так называемого «Приятного и полезного препровождения времени» наполнял томными жалобами и орошал унылыми слезами, а теперь я увидел его таким веселым, слава богу, что он, по-видимому, утешился и, что мы на несколько времени будем избавлены от его томно-горестных сочинений. Пусть лучше теперь он подражает Оссиану, этому делу он мастер»¹².

И все же мечтательный, тонко чувствующий красота молодой литератор становился волевой, сильной личностью. Только у патриота могли

выплеснуться из души кипящие слова: «Россия, Россия, дражайшее мое отечество, слезами кровавыми оплакиваю тебя; тридцать миллионов по тебе рыдают! — записал он в дневнике 3 октября 1801 года. — Но пусть они рыдают и терзаются! От этого улаждаются два человека, их утешает кровавый пот их; их утешают горькие слезы их; они улаждаются; но что им заботиться!»

Но если этот бесчисленный угнетенный народ, над которым вы так дерзко, так бесстыдно, так бесчеловечно ругаетесь, если он будет действовать так, как он мыслит и чувствует, Вы, ты и бесчеловечная, сладострастная жена твоя, вы будете первыми жертвами!»¹³.

Андрей Тургенев увлекся Руссо. Его интересовало прежде всего освободительное начало идей французского философа. Андрей собирался переводить «Новую Элоизу». Сколько в молодости замыслов и надежд на их осуществление! Он считал, что «Новая Элоиза» будет его моральным кодексом во всем: в любви, в добродетелях, в должностях общественной и частной жизни. Но и Руссо стал только одним из этапов в развитии эстетических взглядов Тургенева.

В июне 1800 года Александр Тургенев окончил пансион и вступил юнкером в Главный архив Коллегии иностранных дел, где служил его брат Андрей. В это привилегированное место попасть было не так-то просто, служа там, можно было стать дипломатом, поехать в чужие страны. Александр сызмальства питал страсть к путешествиям.

В это же время и Василий Жуковский сдал выпускной экзамен в пансионе и получил серебряную медаль. Но у него не было влиятельной протекции, и ему пришлось довольствоваться местом приказного в бухгалтерском столе Главной Соляной конторы. «Что ж, надобно где-нибудь служить и быть полезным отечеству», — успокаивал себя Жуковский, хотя мечтал бросить контору и стать литератором, издавать журнал, как Карамзин, поехать учиться в чужие края, увидеть свет, города и страны. Вместо этого с семнадцати лет он ходил каждый день в присутствии в мелком чине малознающего секретаря.

В 1800 году Василий Жуковский перевел роман Августа Коцебу «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь». В этом же году дирекция московских театров приняла переведенную Жуковским комедию Коцебу «Ложный стыд». Андрей Тургенев перевел и напечатал в журнале отрывки из приобретенного Жуковским пяти-томника французского философа Шарля Баттэ «Принципы литературы».

Надо учиться делать добро, считал Мерзляков, добро людям, добро обществу, добро друг другу. А для этого надо много знать, вместе с друзьями совершенствовать себя.

Прямой дорогой к счастью Жуковский считал такую: быть друзьями, друзьями людей и муз, учиться для того, чтобы знать цену

дружбы и добродетели, чтобы делать общими силами добро.

Цели друзей в юности были настолько близки, что в октябре 1800 года три поэта замыслили издать свои произведения общим сборником за подписью: М.Ж.Т. (Мерзляков, Жуковский, Тургенев). Андрей Тургенев предложил из своих произведений включить послание к Карамзину, «Надпись к портрету Гёте», эпиграммы и другие произведения; Жуковский — «Майское утро», «Две добродетели», оду «Могущество, слава и благоденствие росса», «Стихи на Новый 1800 год»; Мерзляков — «Истинность героя», «Ночь», «Ратное поле», «Росса», «К Уралу», а главное — «Славу» (в которой он подражал оде Шиллера «Песнь радости») и «Гения дружества». Но сборник так и не был составлен.

По мнению академика В. М. Истрина, жизнь молодого тургеневского кружка, с одной стороны, примыкает к новиновскому кружку, к Дружескому ученому обществу, а с другой — связывается с последующими литературно-общественными кружками.

ДРУЖЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО

12 января 1801 года тургеневский кружок оформился в Дружеское литературное общество.

Академик А. Н. Веселовский охарактеризовал рождение этого общества так: была группа молодых людей, объединенных дружбою, общими литературными интересами и примером старшего поколения. Они сходились и беседовали о дружбе и литературе. В один прекрасный день они основали общество, то есть записали на бумаге то, что ими руководило в действительности. Новых членов они привлечь не успели, а сами разъехались. Но дружба между ними продолжалась.

Но это лишь аннотация, лишь внешняя канва явления.

Учредители этого общества Андрей Тургенев, Алексей Мерзляков, Василий Жуковский и их единомышленники создали свой собственный новый мир общественной деятельности, умственных и нравственных интересов. Молодые считались с новыми веяниями времени. У них были разнообразны наклонности — к литературе, естественным наукам, философии, экономике, медицине. У них были разные характеры, разные условия жизни и деятельности. Но все это не мешало расцвету той общности, которая соединяет молодых людей, увлеченных одним большим делом.

В уставе Дружеского литературного общества было записано: «Нас объединяет то, что до сих пор составляло радость и счастье нашей молодости: это дух благой дружества, сердечная привязанность к своему брату, нежное доброжелательство к пользам другого. Дружество — это божество, подлетающее с небесной улыбкой на глазах, с животворною фиалкою в руке, единым взором озаряющее сию мрачную

юдоль скорби и печали, бедства и отчаяния. Будем иметь доверенность к другу. Сладостные узы связали нас издавна. Не станем надеяться на эти законы. Один энтузиазм к добру, одна истинная любовь к своим сочленам — вот все, что может вдохнуть душу в наши законы и заставить говорить не в журналах, а в нашей совести»¹⁴.

Идеал дружбы, закрепленный в законах Дружеского литературного общества, светил русскому обществу в продолжение десятилетий XIX века, является примером и поныне.

Дружеское литературное общество собиралось по субботам в шесть часов вечера в доме Тургеневых или в Поддевической слободе в ветхом деревянном особняке Воейкова. Внутренняя жизнь общества предусматривала чтение речей, дискуссии на литературные, философские и политические темы, обсуждение сочинений и переводов самих его членов.

XIX пункт их устава — о порядке заседаний — гласил:

«1-е. Как скоро соберутся члены в назначенный час, то секретарь должен спросить у всякого из них, какую пиесу будет читать, и расположить их чтение по ниженаписанному порядку:

2-е. Секретарь прочтет протокол, и члены подпишут его.

3-е. Чередной оратор прочтет речь.

4-е. Философские и политические сочинения.

5-е. Философские и политические переводы.

6-е. Беллетристические сочинения.

7-е. Беллетристические переводы.

8-е. Критика и опровержение философских пиес.

9-е. Критика и опровержение беллетристических пиес.

10-е. Предложения.

11-е. Чтение лучших иностранных и национальных авторов.

12-е. Президент назначает место, куда собираться для будущего заседания»¹⁵.

Критика и опровержение должны представляться членам общества непременно и без всяких оговорок.

Вот какие высокие рубежи намечали они себе. Это ведь действительно юность нации, так непосредственно и значительно служение мысли, искусству, а значит — и будущему отечества.

На двух первых заседаниях выступил с речами по старшинству Алексей Мерзляков.

— Мы начали, может быть, главнейшее дело в нашей жизни, — говорил Мерзляков своим друзьям. — Каждый из нас есть питомец муз, каждый из нас — человек-гражданин, каждый из нас — сын отечества... Общество наше есть скромная жертва отечеству! Всякий миг, всякое дело наше посвящено ему!

Главное содержание его речей — проповедь гражданского служения литератора отечеству. Оратор стремился возжечь в слушателях «энтузиазм патриотизма». Мерзляков призывал не ограничиваться рамками чисто литературных



Иван Иванович Дмитриев.

споров и придать полемике общественный характер. И убеждал:

— Мал тот, кто хочет быть только оратором, стихотворцем, сочинения его холодны, если не воспламеняет их любовь сердечная, советы его не отрут слез угнетенной невинности, прекрасные мысли его не утолят голода нищему.

Обращаясь к историческим событиям, Мерзляков спрашивал друзей:

— Где и как воспитывались Эпаминонды*, Тимолеоны**, Периклы***? Где почерпнули они эту всепобеждающую силу любви к отечеству, которая не погасла среди бурь, несчастья, в ссылках, на эшафотах, которая, кажется, и после смерти их не умерла? В дружеских беседах Сократа и Платона! В тех беседах, предметом которых было познание человека и его нравственности.

* Эп а м и н о н д (ок. 418—362 гг. до н. э.) — фиванский полководец, вожь демократической группировки, победитель спартанцев при Левктрах, где применил впервые косой строй.

** Т и м о л е о н (VI в. до н. э.) — македонский полководец, при Филиппе — отце Александра Македонского — освобождал Сиракузы от Дионисия II, победил карфагенян при Кримисе, заключил мир с Карфагеном в 339 г. до н. э.

*** П е р и к л (ок. 490—429 гг. до н. э.) — афинский стратег (главнокомандующий), вожь демократической группировки, его законодательные меры способствовали расцвету афинской рабовладельческой демократии.

Мерзляков поверял друзьям надежду на то, что «эта и твердость и смелость в изъятии своих чувств и мыслей родит в нас со временем оное великодушие, оную благоразумную гордость, которая возвращает престолам изгнанную правду и презирает угрозы тиранов, которая не боится смерти...— Мерзляков восклицал: — Так, друзья! Мы будем честными гражданами. Так точно в матернем недре мужественной Спарты рождались герои»¹⁶. С этих выступлений Алексея Мерзлякова в Дружеском литературном обществе литературные вопросы рассматривались с позиций самовоспитания в духе гражданственности и патриотизма.

Этим духом проникнуты и первые выступления Воейкова. В речи о Петре III он прославлял мужа Екатерины II за уничтожение Тайной канцелярии — тиранского трибунала, в тысячу раз всякой инквизиции ужаснейшего, назвав этот трибунал судилищем, обогрившим Россию реками крови.

Не все в распаленном ораторстве Воейкова могли взять на веру собравшиеся в Дружеском литературном обществе. Чтобы понять незрелость политических суждений Воейкова, обратим внимание на фигуру Петра III. Это был немецкий принц Карл Петр Ульрих, сын герцога Голштейн-Готторпского Карла Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I. Он приехал в Россию в 1742 году. В 1761 году стал русским императором. Вопреки национальным интересам России в свое время заключил мир с милой его сердцу Пруссией, что свело на нет результаты побед русских войск в Семилетней войне. В армии ввел немецкие порядки. Был свергнут и убит в результате переворота, организованного его женой Екатериной.

Воейков призывал своих слушателей бросить патриотический взор на Россию до Петра III, обрисовал картину, вызывающую в эпоху Павла I ассоциации с современностью.

— Мы увидим, — говорил с жаром оратор, — ее обремененную цепями, рабствующую, не смеющую произнести ни одного слова, ни одного вопля против своих мучителей; она принуждена соплетать им лживые хвалы тогда, когда всеобщее проклятие возгремело готово... Коварство и деспотизм, вооруженные сим варварским словом, острили кося смерти, чтобы еще посекать цвет сынов России, еще продолжить царствование свое на престоле, из героев и костей невинных россиян воздвигнутом.

К заслугам Петра III отнес Воейков дарование вольности дворянам, которые попирались Павлом, и по-своему трактовал отношение Петра III к крепостному праву. Российский император этот отнял землю у монастырей, что вызвало такую интерпретацию Воейкова: «Петр III, оживленный великими предпринятиями, снял с них (имеются в виду монастырские крестьяне. — Б. Р.) оковы — рек им: вы свободны»¹⁷.

На самом же деле в 1762 году Петром III была произведена первая проба фактической секуляризации. Советский историк Н. М. Ни-

кольский в своей книге «История русской церкви» (М., 1983, с. 200) писал о Петре III: «Он вообще не стеснялся с церковью: издал приказ об удалении из церкви всех икон, кроме Христа и богородицы, и предписал всем священникам обрить бороды и носить штатское платье. В вопросе о церковных имуществах он действовал столь же решительно. Ссылаясь на волнения крестьян в церковных вотчинах, он учредил в Москве новую коллегию экономии для управления церковным имуществом, подведомственную сенату. Вместо «духовных персон» в церковные вотчины были назначены офицеры для управления и «защиты крестьян от всяких обид...».

И вот о таком «демократе» и «патриоте» свою речь Воейков заканчивает призывом встретить в случае надобности за отечество смерть на эшафоте:

— Возри на собравшихся здесь юных россиян, — обращается он запальчиво к тени Петра III, — оживленных пламенною любовью к отечеству! И если нужна кровавая жертва для его счастья, вот сердца наши! Они не боятся кинжалов! Они гордятся такою смертью. Сам эшафот есть престол славы, когда должно умирать на нем за отечество!

Правда, следует сказать, что фигура правящего в то время российского императора Павла I (сына Петра III и Екатерины II) была еще более мрачной. Он ввел в государстве военно-полицейский режим, в армии — прусские порядки, а епископат окончательно превратил из князей церкви в государственных должностных лиц, награждая их за верную службу светскими орденами.

8 марта 1801 года Воейков произнес речь «О героизме», в которой идеалу мирного философа противопоставлял образ гражданина, жертвующего жизнью ради освобождения отечества. По сути дела, Воейков выражал мнение дворян, сочувствующих заговорщикам против императора.

11 марта 1801 года Павел I был убит.

Вскоре после этого события на мартовском заседании Дружеского литературного общества Алексей Мерзляков прочитал «Оду на разрушение Вавилона», в которой были смелые строчки: «Тиран погиб тиранства жертвой», исчез «Своей земли опустошитель, народа своего гонитель».

А Александр Воейков в речи от 11 мая 1801 года «О предприимчивости» доказывал, что предприимчивость свергает с престола тиранов, освобождает народы от рабства, обнажает хитрости обманщиков, открывает ослепленным народам в жрецах — их коварных тунецев, в богах — истуканов.

Но эти высокопарные слова в пользу революционности зарождающейся в России буржуазии с годами поблекли, как мишура. Видимо, не случайно Андрей Тургенев, сам настроенный вольнолюбиво, слушая Воейкова, напоминал об осторожности своим единомышленникам.

— Отчего говорим мы так часто о вольности, о рабстве, — спрашивал он у присутствующих на заседании, — как будто собрались здесь

для того только, чтобы разбирать права человека?

И в то же время Андрей Тургенев призывал друзей по обществу готовить себя к тому времени, когда отечество, когда страждущая, притесненная бедность будет требовать помощи.

Влияло Дружеское литературное общество и на развитие мировоззрения Андрея Кайсарова, на его оценку исторических событий. На заседаниях общества он произнес речи «О самолюбии», «О кротости», «О том, что мизантропов несправедливо почитают бесчеловечными». Первая его речь 9 февраля 1801 года хотя и содержала призыв и готовность «умереть за добродетель», но не вышла за рамки рассуждений на моралистическую тему. 29 марта 1801 года в речи «О том, что мнение о славе зависит от образа воспитания» Кайсаров был смелее и последовательнее. «Если развернуть, любезные друзья, книгу бытия мира, — говорил он, — если прочесть имена всех тех, кого свет признает великими, то едва ли не найдем в том числе десятую часть, по справедливости заслуживающих такое имя, едва ли история прочих не будет написана кровию тысяч несчастных жертв, подпавших безумному их честолюбию. И сии-то, кровожаждущие тигры почитаются великими»¹⁸. Желание славы, направляющее, по мнению Кайсарова, стремления таких людей, имело бы иной характер, если бы поэты не употребляли во зло дара своего, если бы они не прославляли плачевного разорения целых им-



Александр Иванович Тургенев.

перий, не прославляли бы того пламени, которым пожжены несчастные жители мирных деревень...

На заседаниях Дружеского литературного общества восемнадцатилетний Василий Жуковский произнес речи: «О дружбе», «О счастье», «О страстях».

— Мы живем в печальном мире и должны — всякий в свою очередь — искать горести, назначенные нам судьбой, — говорил он своим друзьям. С карамзинских позиций Жуковский пытался доказать субъективность представлений о счастье, а следовательно, и общественных перемен:

— Действительность — одни фантомы, страшный образ которых приводил меня в трепет и ужасал мое воображение, человек должен искать свое счастье «во внутреннем расположении своей души».

Такая постановка вопроса объяснялась, видимо, религиозными соображениями.

«Кто препятствует мне сделать себя независимым от людей, посреди которых рождаются беды и горести, — спрашивал запальчиво молодой Жуковский, — кто препятствует мне, не отделяясь совершенно от мира, отделить от него свое счастье, очертить около себя круг, который бы житейские беды преступить не дерзали; мое счастье во мне, пускай оно во мне и останется, и оно будет едино — несмотря на все превратности, которые принужден буду я испытывать»¹⁹.

Как это все похоже на прежние настроения Андрея Тургенева!

Александр Тургенев поддержал Жуковского в своей речи «О том, что люди по большей части сами виновники своих несчастий и неудовольствий, случающихся в жизни».

Жуковский утверждал:

— Человек, ежели ты несчастлив, обвиняй самого себя.

Александр Тургенев спрашивал:

— Кто источник зла, разлитого во вселенной?

И отвечал:

— Ты сам, в тебе источник зла, испорченная воля твоя, твое воображение.

Но иное мнение было у других членов общества. Алексей Мерзляков сказал одну из самых острых своих речей, в которой открыто полемизировал с Жуковским и Александром Тургеневым, доказывая, что для бесправного и оскорбленного человека необходимым условием счастья является изменение реального характера его существования. В речи «О трудностях учения» Мерзляков высказался о препятствиях, стоящих на пути стремящихся к знанию разночинцев, галломании, презрении дворянства к России вообще и русской науке в частности. «Величайшие гении умирают при самом своем рождении, — с жаром говорил Мерзляков. — Бедность, зависть, образ правления — все вооружается против него — нельзя вместе думать о науках и насущном хлебе; молодой человек берется за книгу и видит подле себя голодную мать и умирающих братьев на руках ее... Здесь

видите вы молодого художника; он не имеет покровителей; блистательные ранние успехи его возбуждают внимание! Зависть от него требует всего того, чего сама не имеет; своенравный вельможа делает раба из его гения... Скажут мне, что он может находить сам в себе утешение. Бедное утешение пресмыкаться между тысячами сомнений, находить везде мертвую ужасную толпу, которая убивает душу, видеть повсюду предрассудки... Бедное утешение знать свою цену и унижаться перед нестоящими»²⁰.

Полемика в Дружеском литературном обществе вырабатывала характер отношения начинающих писателей к действительности. Определялись основные тенденции их мировоззрения, шла учеба у талантливых отечественных и зарубежных мыслителей и писателей, приобретение к мировому культурному процессу, решалась судьба отечественной литературы и политической мысли. И в этих спорах по-прежнему был ведущим Андрей Тургенев. Он умел соединять разнородные элементы, входящие в состав этого общества. Удавалось это еще и потому, что он сам был богато одаренной натурой — свободно владел стихом, был остроумен, а иногда и остер на язык, искренне предан своим делам и своим друзьям. Все это значительно увеличивает авторитет и влияние личности во всякой общественной организации, тем более — в творческой.

Свои взгляды на русскую литературу Андрей Тургенев подробно изложил в трех речах в Дружеском литературном обществе. Только вместе взятые, эти речи могут дать полное представление о мировоззрении молодого поэта и критика. В своей речи «О поэзии и злоупотреблении оной», произнесенной на собрании Дружеского литературного общества 16 февраля 1801 года, Андрей Тургенев высказался против заказных конъюнктурных восторгов одических поэтов, против лести и похвал по адресу тиранов-монархов, сильных мира сего. Тургенев дерзнул упрекнуть и Ломоносова, обвиненного еще Радищевым за то, что тот «льстил похвалю в стихах Елизавете», например, в «Оде на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Запальчиво звучали слова Тургенева: «Смею сказать, что великий Ломоносов, творец Российской поэзии, истощая все свои дарования на похвалы монархам, много потерял для славы своей. Бессмертная муза его должна была избрать и предметы столь же бессмертные, как она сама, в глазах беспристрастного потомства...»²¹.

Андрей Тургенев упрекал не менее принципиально за разминивание поэтического дарования на лесть к тирану Павлу I первых стихотворцев XVIII века — Г. Р. Державина и особенно М. М. Хераскова.

В последние годы своей жизни Херасков занимал пост одного из кураторов (попечителей) Московского университета. Еще студентом Андрей Тургенев называл высшее начальство «завбавным старичком». Но в своем дневнике он более откровенен. «Вышел Царь, поэма М. М.

(«Царь, или Освобожденный Новгород», 1800 год. — Б. Р.), — записал Андрей 31 марта 1800 года. — Седой старик не постыдился посягнуть на седины своей подлейшими ласкательствами, а притом без всякой нужды. Какое предисловие. Какой надобно иметь дух, чтобы так нагло, подло, бесстыдно писать, и от лица истины какая мораль:

Законов выше князьи троны! — и ему семьдесят лет (Херасков родился в 1733 году. — Б. Р.); и его никто ни в чем не подозревает; и он же после будет говорить, что проповедовал истину, исправлял людей, был гоним за правду! Они и не чувствуют, как унижают и посрамляют поэзию!»²²

Слушая резкие высказывания Андрея Тургенева об одах Хераскова, Василий Жуковский не мог не вспомнить, что в четырнадцать лет по предложению Прокоповича-Антонского написал оду «Благоденствие России, устроенное великим ее самодержцем Павлом Первым», называя его милостивым, мудрым и просвещенным монархом. Эту оду Жуковский читал на публичном акте в присутствии Хераскова. От старости высокий гость дремал, и, видя это, юный поэт от смущения и досады читал оду невнятно, без подъема.

Пародировав оды на царей, Андрей Тургенев написал «Оду на день моего рождения»; не одобренный московской цензурой текст затерялся.

Надо отдать должное Андрею Тургеневу в том, что, сурово осуждая в своей речи содержание льстивых царям од, он, однако, призывал к возрождению высоких одических традиций, но при условии соединения в них, одах, патриотической важности и свободолюбия.

Особенно волновало Андрея Тургенева состояние русской драматургии. Понимая, что драматургия по своему характеру должна быть тесно связана с общественным сознанием и обязана влиять на воспитание чувств и воззрения людей, он видел пути ее развития в национальном, народном духе. Разговор на эту тему с Мерзляковым и Жуковским записан Тургеневым 20—21 декабря 1800 года. Театр, по мнению Тургенева, испортил Сумароков, заставляя говорить Олегов, Святополков и прочих героев русских низменным языком Расиновых галлогреческих героев. Но плохо не только отсутствие самобытности, считает Тургенев. С требованием отражать народный дух и характер в произведении неразрывно связан и долг писателя и поэта служить своим трудом интересам своего народа.

Изменилось отношение Андрея Тургенева и к немецкой литературе. Решительно осудив влияние французского театра на русскую драматургию XVIII века, в тех же записках Тургенев предостерегает: «Удариться в подражание немецкому театру не значит это исправить. Зло все то же, только с другой стороны: это две кривые дороги; средняя — прямая, настоящая не пробита»²³. Эти высказывания содержат ключ к пониманию конечной цели сложных исканий литературного критика.



Михаил Матвеевич Херасков.

В конце марта 1801 года двадцатилетний Андрей Тургенев произнес на заседании Дружеского литературного общества дерзкую речь «О русской литературе»²⁴.

«О русской литературе! — начал страстно говорить оратор. — Можем ли мы употреблять это слово? Не одно ли это пустое название, тогда когда вещи в самом деле не существуют? Есть литература Французская, Немецкая, Английская, но есть ли русская? Читай английских поэтов — ты увидишь дух англичан; то же и с французскими и немецкими; по произведениям их можно судить о характере их наций, но что можешь ты узнать о русском народе: читая Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хераскова, Карамзина, в одном только Державине найдешь малые оттенки русского, в прекрасной Повести Карамзина «Илья Муромец» также увидишь русское название, русские стопы и больше ничего. Театральные наши писатели вместо того, чтобы вникать в характер Российского народа, в дух российской древности и потом в частные характеры наших древних Героев, вместо того, чтобы показывать нам, по крайней мере на театре, что-нибудь великое, важное и притом истинно русское, нашли, что гораздо легче, изобразив на декорациях вид Москвы и Кремля, заставить действовать каких-то нежных, красноречивых французов, назвав их Синавами, Труворами и даже Миниными и Пожарскими и пр. Если бы во время представления «Дмитрия Самозванца» восстал бы из гроба сам Дмитрий, думаю, он долго бы забавлялся сим

зрелищем, не отгадывая, что оно значит, если бы не услышал наконец своего имени и набатного колокола. Вам самим отдаю на суд, любезные друзья! Могли бы только быть у нас, если бы мы воспользовались во всем пространстве нашей древности, древними характерами российских Князей, нашими древними происшествиями? Мы подражаем французским; но французы так оригинальны в своих трагедиях, что и самых греков и римлян превратили во французов, а мы, напротив, утратили всю оригинальность, всю силу русского духа. При сем случае осмелюсь сделать одно замечание. Если уж непременно должно было нам подражать, то кажется, гораздо сроднее было с духом нашего народа подражать в театре английском, а не французском.

Теперь только в одних сказках и песнях находим мы остатки русской литературы, в сих-то драгоценных остатках, а особливо в песнях, находим мы и чувствуем еще характер нашего народа. Они так сильные, так выразительны, в веселом ли то или в печальном роде, что над всяким непременно должны произвести свое действие. В большей части из них, особливо в печальных, встречается такая пленяющая унылость, такая красоты чувства, которых тщетно стали бы искать мы в новейших подражательных произведениях нашей литературы. Но трудно уже переменить то, чего, кажется, никто и не подозревает. По крайней мере, теперь нет никакой надежды, чтобы когда-нибудь процветала у нас истинно русская литература. Для сего нужно, чтобы мы и в обычаях, и в образе жизни, и в характере обратились к русской оригинальности, от которой мы удаляемся ежедневно. Посмотрим теперь на состояние нашей литературы. Какова она есть, позвольте мне, любезные друзья, сообщить вам о сем некоторые мысли. Может быть, вы их найдете странными, но я полагаюсь на ваше дружеское снисхождение и требую искренних ваших советов и наставлений...

Вот так прозвучала в речи Андрея Тургенева критика Карамзина: «Он более вреден, нежели полезен нашей Литературе...» И это о человеке, который в момент произнесения обвинения был в апогее своей славы! «Он вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они важнейшими предметами, писали бы оригинальнее, важнее, не столько применялись бы к мелочным родам...»

Но именно в эти годы А. М. Карамзин вступал в главный этап своей жизни, решив заняться только историей Русского государства.

Андрей Тургенев ждал, он требовал появления в русской литературе гения, еще не зная, конечно, его имени, не подозревая, что этот гений родился и уже слушает русские песни и сказки — Пушкину шел второй год. Призыв Тургенева звучал высоко: «Мы сами имеем Петра Великого, но такой человек для русской Литературы должен быть теперь второй Ломоносов, а не Карамзин. Напитанный русскою

оригинальностью, одаренный творческим даром, должен он дать другой оборот нашей Литературе; иначе дерево увянет, покрывшись приятными цветами, но не показав ни широких листьев, ни сочных, питательных плодов».

Эта речь вызывает удивление дерзостью молодого критика, настойчиво предъявляющего к русской художественной литературе патристические требования — истинного реализма и народности. С исторической точки зрения речь Андрея Тургенева «О русской литературе» ценна как проявление такой веры, такой гражданской смелости литератора-патриота, какие встречаются нечасто. Но встречаются!

Пункт III законов Дружеского литературного общества предусматривал, что «всякие три месяца должны быть экстраординарные собрания или торжества. Каждый из сих праздников может носить на себе особенное имя — иной посвящается отечеству, другой — которой-нибудь из добродетелей, третий, например, поэзии...»²⁵. Как ни важно было слово «О русской литературе», наибольшее значение Андрей Тургенев придавал своей речи «О любви к отечеству», с которой он выступил на собрании Дружеского литературного общества 7 апреля 1801 года.

Празднство членов общества, посвященное отечеству, началось, как и все заседания молодых единомышленников, исполнением гимна кружковцев, которым стало стихотворение Мерзлякова «Гений дружества»:

...Да будет дружество священо!

И, добродетели лучом

Небесным, чистым озаренно,

Да будет славно в мире сём!²⁶

Потом выступали Алексей Мерзляков, Андрей Кайсаров и Андрей Тургенев.

Мерзляков прочитал стихотворение «Слава», что было хорошей увертюрой к речи Тургенева и определило восторженную гражданско-патристическую атмосферу всего праздника.

Патриотизм Андрея Тургенева окрашен в свободолюбивые тона. «Не им ли одушевлены были величайшие герои древности, которых память, и по ныне для нас священная, подобно чистому пламени воспламеняет нас к великим делам, заставляет презирать смерть, дабы или же здесь же сделать отечеству свое благополучие, или в небесах найти другое отечество»²⁷, — говорил Андрей Тургенев.

Служение родине он не смешил, а даже противопоставлял служению царю. Обращаясь к отечеству, он продолжал: «О ты, пред которым в сии минуты благоговейт сердца наши в восторге радости! Цари хотят, чтоб перед ними пресмыкались во прахе рабы, пусть ползают пред ними льстецы с мертвоею душою, здесь пред тобою стоят сыны твои! Благослови все предприятия их! Внимай нашим священным клятвам! Мы будем жить для твоего блага; ты, может быть, забудешь, оставишь детей, но дети твои никогда, нигде тебя не забудут». Андрей Тургенев призывал вставших от торжественного вол-

нения единомышленников: «Но друзья! Какая бы ни была судьба наша — будем тверды!»

Эта речь переключается с наиболее известным стихотворением Андрея Тургенева «К отечеству»:

Сыны отечества клянутся,
И небо слышит клятвы их!
О как сердца в них сильно бьются!
Не кровь течет, но пламя в них.
Тебя, отечество святое,
Тебя любить, тебе служить —
Вот наше звание прямое!
Мы жизнь свою своей купить
Твое готовы благоденство;
Погибель за тебя — блаженство;
И смерть — бессмертие для нас!
Не содрогнемся в страшный час
Среди мечей на ратном поле;
Тебя, как Бога, призовем,
И враг не узрит солнца боле —
Иль мы, сраженные, падем —
И наша смерть благословится! —
Сон вечности покроет нас;
Когда вздохнем в последний час,
Сей вздох тебе же посвятится!..²⁸

Ранняя редакция этого стихотворения была опубликована без подписи в сборнике сочинений учащихся университетского пансиона «Разговоры о физических и нравственных предметах» в Москве в 1800 году.

В этом произведении молодой автор попытался практически соединить торжественность формы с гражданственностью содержания. Речь «О любви к отечеству» можно считать идейным основанием эстетических взглядов Тургенева, изложенных в его речах «О поэзии и злоупотреблении оной» и «О русской литературе». Все три речи Тургенева — явления далеко не заурядные, доказывающие значительный литературный талант истинного патриота своего отечества.

Долго, а может быть, всю жизнь вспоминали друзья расставание в тот холодный, еще по-зимнему сумрачный, но праздничный для них апрельский день, и свою необычную молодую компанию в развалившемся от времени доме, окруженном садом и прудами. Вспоминали прощальные звуки гимна, проникновенные стихи Алексея Мерзлякова, задушевное исполнение Василием Жуковским любимой в то время в Москве песни Карамзина «Прости».

Вспоминали и себя, молодыми, горячими, готовыми на высокие клятвы и жертвования своей жизнью ради возрождения отечества. Вспоминали и произнесенную главную клятву любви к ожидающей воли России вслед за своим председателем и учителем, таким же юным и дерзким Андреем Тургеневым.

Позже Василий Жуковский в элегии «Вечер» выразил эти воспоминания с щемящей душу тоской:

О братья! о друзья! где наш священный
круг?

Где песни пламенные и музам и свободе?
Где Вакховы пиры при шуме зимних выюг?
Где клятвы, данные природе?
Хранить с огнем души нетленность
братских уз?

Андрей Тургенев всю свою жизнь стремился к активной деятельности и менее всего хотел заниматься литературой как частным делом. Слово поэта для него означало общественную деятельность, государственный поступок. Выступив организатором Дружеского литературного общества, он стремился оказать практическое воздействие на современный литературный процесс.

В двадцатилетнем возрасте он дерзнул на первые общественные поступки. В его речах на собраниях общества была изложена определенная литературная и общественно-эстетическая программа.

Итак, главные требования Андрея Тургенева к русской литературе, правильному пути ее развития следующие: оригинальность и самобытность, непринужденность, живость, естественность.

Отражение в произведениях русского характера и духа русской нации; выбор важных и великих сюжетов, способных беречь и потрясать душу, уход от «мелочных родов»; выражение значительных предметов в важнейших, эпических формах. Независимость литературы от власти, защита интересов отечества и народа, отстаивание чаяний людей неимущих, законно и невинно притесняемых, лишенных всех своих человеческих прав.

Программа Тургенева была оригинальной программой критика нового типа. Он, конечно, понимал несовершенство своего манифеста. Но важно то, что Тургенев считал необходимым ставить перед литературой большие идейно-эстетические задачи, опираясь при этом на опыт и осмысление как русской, так и западноевропейской литературы. Андрей Тургенев пытался понять развитие литературы в системе развития народной жизни. Ему чужда была национальная ограниченность, но более вредным он считал подражательность отечественной литературы инородным образцам. Самое ценное достижение критика и поэта Андрея Тургенева в том, что он первым из современников остро поставил вопрос о народности русской литературы.

Первые же заседания общества обнаружили принципиальные расхождения его членов в понимании задач и характера деятельности создаваемого литературного объединения. С сердечным сожалением видел Андрей Тургенев, что общество разделено на две части.

Это признавал и Василий Жуковский в письме Андрею Тургеневу: «...мне кажется, что Мерзляков (хотя с ним мне всегда было весело быть вместе, потому что он человек необыкновенный) не был со мною таков, каким бы я желал его видеть; например, между нами не было

искренности; если мы и говорили друг с другом, то вообще всегда говорили о посторонних материях; одним словом, мне всегда казалось, что я мало для него значу, и от этого он мало на меня имел влияния...»²⁹

Андрей Тургенев, Алексей Мерзляков, Андрей Кайсаров рассматривали литературу как средство выражения гражданственных, патристических идей. Поэтому и сама цель объединения была для них не только литературной, но и общественно-воспитательной.

Василий Жуковский, Михаил Кайсаров, Александр Тургенев и позднее — Семен Родзянко проповедовали интимно-лирическую тематику в поэзии.

Дружеское литературное общество ярко отразило основные тенденции литературного процесса тех лет.

Уже в начале заседаний общества Андрей Тургенев видел, что многие члены никогда не думали быть между собою друзьями.

Споры вызывало даже понимание первого слова в названии общества — *дружеское*. Жуковский считал жертву основой морали, отказывался признать дружбой союз, не основанный на безропотном самопожертвовании, отказе от собственных эгоистических интересов. Мерзляков же считал, что польза — тот магнит, который собрал с концов мира рассеянное человечество. Польза — то существо, которое соединило членов общества, и надо раскрыть пользу, которую каждый из его членов надеется получить от собрания.

Что же, выходит, Дружеское литературное общество, оказалось, не было дружеским?

Ответить однозначно на этот вопрос трудно. Один из ответов дает Гегель в своей «Эстетике»:

«Лишь юность, когда индивиды живут еще в общей неопределенности их действительных отношений, есть то время, когда они соединяются и так тесно связываются друг с другом в *едином* умунастроении, единой воле и единой деятельности, что дело одного тотчас же становится делом другого».

Этого уже нет больше в дружбе мужчин. Обстоятельства жизни мужчины идут своим чередом и не допускают осуществления его целей в таком прочном единении с другим, чтобы один не мог ничто совершить без другого. В зрелом возрасте люди встречаются друг с другом и снова расстаются, их интересы и дела то расходятся, то объединяются. Дружба, тесная связь помыслов, принципов, общая направленность остаются, но это не дружба юношей, в которой никто не решает и не приводит в исполнение того, что не становилось бы непосредственным делом другого»³⁰.

Александр Тургенев боялся, что каждый из друзей общества, какими были милые его сердцу Мерзляков и Жуковский, когда покороче узнают свет и людей, ослабят дружеские связи с ним. Он хотел верить в обратное: «Тем с большим рассудком полюбим друг друга, удостоверясь в нашей взаимной привязанности, — следствие товарищества, благотворное следствие нашей молодости. По крайней мере, я Мерзля-

кова и Жуковского никогда, никогда не забуду, никогда не истребится во мне к ним то, что я теперь чувствую, — записывал девятнадцатилетний юноша Александр Тургенев в своем дневнике. — Пусть разборчивая холодность займет места разгоряченного воображения и юной пылкости; но она тем больше удостоверит меня, и холодный рассудок сожмет, может быть, мое сердце для друга, но — не для них; и согревающее дружество оттаит и в старости оледенелое, опытное, бедное сердце, — и издали, может быть... Теплота дружбы будет действительна на грудь мою; дай Бог... чтобы эти простые сердечные ощущения не затмились, дай Бог, чтобы не переменялись они. На Мерзлякова грудь я надеюсь, как на вечную гранитную скалу. Жуковский добр, очень добр; лишь бы только мрачная злоба людей не впечатлела, не врезала в мягкое сердце недоверчивости, ненависти к людям»³¹. Мог ли записывающий эти строки юноша знать, сколько участия в его судьбе и судьбе его брата, декабриста Николая Ивановича Тургенева, примет Жуковский после разгрома восстания на Сенатской площади, что оба будут обязаны ему чуть ли не своей жизнью?!

Дружеское литературное общество — союз добрых, здоровых, веселых молодых людей, по характеристике Тургенева, чувствующих цену жизни, наслаждающихся жизнью, — просуществовало недолго. Речь, произнесенная на первом собрании, помечена в его протоколах 12 января 1801 года, на последнем — стоит дата 1 июня 1801 года. Тетрадь из Тургеневского архива (№ 618) содержит полностью «Речи, говоренные в собрании Общества»; всего было произнесено 23 речи.

На заключительном заседании общества, подводя итоги его деятельности, Андрей Тургенев спросил своих друзей: «Неужели когда-нибудь забудем мы тот радостный день, в который детскими руками сыпали мы на алтарь отечества нежные цветы усердия, любви и преданности?!»³²

На этот вопрос Жуковский ответил в стихотворном послании Александру Тургеневу позже, в сентябре 1813 года:

О! не бывать минувшему назад!
Сколь весело промчались те годы,
Когда все мы, товарищи-друзья,
Делили жизнь на ложе у Свободы!
Беспечные, мы в чувстве бытия,
Что было, есть и будет, заключали,
Грядущее надеждой украшали —
И радостным оно являлось нам!
Где время то, когда по вечерам
В веселый круг нас музы собирали?
Нет и следов; исчезло все — и сад,
И ветхий дом, где мы в осенний хлад
Святой союз любви торжествовали
И звоном чаш шум ветров заглушали!

Тургеневу в ответ на его письмо*.

* Сие послание посвящено воспоминаниям молодости, двух друзей, украшавших ее, нет уже на свете. (Примеч. Жуковского.)

В ноябре 1801 года Андрея Тургенева перевели по службе в Петербург. Первый раз выезжал он из Москвы один, без семьи. 12 ноября все Тургеневы и друзья провожали Андрея от Триумфальных ворот за 26 верст до станции Черная Грязь. Расставание было грустным. Потом уехали в Петербург и братья Кайсаровы. Алексей Мерзляков пробовал привлечь в Дружеское литературное общество новых людей. Но споры на заседаниях еще больше обострились. Жуковский перестал участвовать в этих заседаниях и сообщил об этом Андрею Тургеневу.

Но никто из членов Дружеского литературного общества не сомневался в пользе дела, которое начал Андрей Тургенев.

Василий Жуковский считал, что весь энтузиазм к доброму, все благородное, что он имел, все лучшее в его душе принадлежало Андрею Тургеневу.

Алексей Мерзляков признавался, что ему многое дали «правила, которые приобрел в незабвенном, может быть, уже невозвратимом для нас любознательном обществе словесности, где мы, поистине управляемы благороднейшею целию, все в цвете юности, в жару пылких лет, одушевленные единым благодетельным чувством дружбы, не отравляемые частными выгодами самолюбия, учили и судили друг друга в первых наших занятиях...»³³.

Только Александр Воейков посмел посмеяться над членами Дружеского литературного общества в нашумевшем памфлете «Дом сумасшедших», который он писал почти до конца своей жизни.

Дружеские связи между членами общества не прерывались до конца жизни. Андрей Тургенев писал Василию Жуковскому: «Вот еще одно прошу тебя, как друга, чтобы ты всем сообщил. Я и, может быть, еще некоторые очень привязаны к нашему собранию. Вот предложение мое всем членам. Я бы желал, чтобы в дни двух торжеств наших — 1-е или 7-е апреля, другого не помню — каждый из нас их праздновал, где бы он ни был. Это многим из нас будет очень приятно; другие сделают, по крайней мере, из снисхождения. Вообрази, что один, например, будет в Париже, другой — в Лондоне, третий — в Швеции, четвертый — в Москве, пятый — в Петербурге, и что все они в эти дни духом своим будут вместе. Каждый будет знать, что все, не говоря члены собрания, но душевные друзья его о нем думают. Эта мысль стоит чего-нибудь. Скажи искренно, нравится ли это тебе? Но это должно нравиться, если бы и собрание не нравилось; а оно, право, много, много имело бы приятного»³⁴.

Не эти ли чувства подвигнули А. С. Пушкина и его друзей ежегодно праздновать день торжественного открытия Лицея? И вторят Андрею Тургеневу чувства и мысли Пушкина в его стихотворении «19 октября»:

Я пью один, и на берегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...



Александр Федорович Воейков.

Дружеское литературное общество породило творчески-духовную атмосферу общности служителей муз. Это преддекабристское поколение передовых молодых людей, переживающих глубокую эволюцию и несущих эстафету к новым общественно-литературным поколениям.

НЕВИННОСТЬ СЕРДЦА

В Петербурге Андрей Тургенев служил в Коллегии при Министерстве иностранных дел. Но служба поэту приносит мало удовлетворения. «Все эти дни,— писал он в Москву,— был я занят и теперь еще занят претруднейшим переводом из Коллегии, которого и теперь еще не кончил, а торопять непременно; вчера писал до того, спина и глаза заболели»³⁵.

В феврале 1802 года Иван Петрович Тургенев со всей семьей прибыл в Петербург добиваться разрешения для Александра Тургенева учиться за границей в Париже или Геттингене. Андрей был рад встрече с родными, был счастлив, что Александру разрешили учиться в знаменитом Геттингенском университете.

В 1802 году было учреждено Министерство народного просвещения. Должность директора университета упразднили и назначали ректора, избираемого из профессоров. Занимающий пост директора Московского университета Иван Петрович Тургенев был сильно огорчен, ему важно было уйти в отставку достойно, с пенсией, но куратор университета написал на него донос в Петербург. Иван Петрович обратился к друзьям и сыну за помощью, написал письмо Г. Р. Дер-



Иван Владимирович Лопухин.

жавину, с которым переписывался изредка и раньше. Все хлопоты закончились тем, что он при отставке получил пенсию в жалованье и орден. Выйдя в отставку, Иван Петрович купил дом на Маросейке и поселился там.

Поработав недолго в Петербурге, Андрей Тургенев был направлен курьером в Вену, а в конце мая 1802 года начал служить в Венской комиссии в должности императорского секретаря.

Из Вены Андрей Тургенев выезжал в июле 1802 года в Карлсбад и побывал в Праге.

В Карлсбаде он задумал журнал в виде писем к Жуковскому и Мерзлякову. Начал он так: «Любезнейшие друзья, Василий Андреевич и Алексей Федорович! Ни с кем мне так не приятно говорить о себе и о вас, и о чем бы то ни было, как с вами, а я сам удивляюсь, отчего я так редко пользуюсь этим удовольствием. Я же уверен, что и вам приятно читать мои письма»³⁶.

На журнал Андрея Тургенева оказали влияние «Письма русского путешественника» Карамзина. Он описывал и природу, и свое времяпрепровождение. Вот, например, его отчет-размышление о Диде: «Вчера был в концерте... Видел сумасшедшего Диде! Сумасшедшего! Что такое сумасшествие! Может быть, сумасшествие человека делает торжество артиста. Что же это? Разберите, психологи! Это достойно, очень достойно внимания! Нет, можно ли смеять называть это сумасшествием, когда от тех же причин, вероятно, он величайший человек в музыке. Его сумасшествие есть созерцание совершенства гармонии, его сумасшествие выше

ума умных, рассудительных людей!»³⁷ Узнается автор переводов писем Вертера.

Многое можно узнать о жизни Андрея Тургенева за рубежом из этого журнала. Он мечтал съездить в Веймар и узреть лицом к лицу Шиллера, Гёте, Гердера, Коцебу... Но это, увы, не осуществилось. Только портреты Шиллера и Шекспира удалось Андрею прислать своим друзьям.

В Вене ему посчастливилось видеть Гайдна, который дирижировал в концерте своим произведением. Андрей с величайшим наслаждением слушал, чувствуя и понимая все, что выражала музыка Гайдна. В Дружеском литературном обществе горячо любили этого композитора. Жуковский перевел либретто немецкого писателя Ван-Свитена для оратории Гайдна, сделанной по мотивам поэмы Томсона «Времена года».

В Праге Андрей Тургенев познакомился с Августом Мейснером, произведения которого воспитанники университетского пансиона, в том числе и братья Тургеневы, переводили и публиковали.

Андрею Тургеневу пришлось выполнять необычную услугу. В 1802 году в Геттингене вышли первые две части «Нестора» — труда по всеобщей истории, источниковедению, истории русского летописания. Автор этого труда — Август Людвиг Шлецер, немецкий историк, филолог, приглашавшийся в свое время на русскую службу в качестве адъютанта Петербургской Академии наук, посвятив «Нестора» императору Александру I, профессор русской истории Геттингенского университета Шлецер послал ему 1 мая 1802 года экземпляр с письмом через немецкое посольство к знакомому из Министерства иностранных дел в Петербурге. Вместе с «Нестором» профессор послал для поднесения императрице картину, вышитую его женой на шелке. Но посылка затерялась в пути. Александр Тургенев просил брата Андрея разыскать пропажу. И поиски увенчались успехом. Шлецер просил императора принять благосклонно в подарок «Нестора», что может побудить ученый мир к серьезному изучению русской истории.

Но не шлецеры были «серьезными» летописцами Русского государства, а М. В. Ломоносов, М. М. Щербатов, В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, который в эти годы уже работал над «Историей Государства Российского».

В своем венском дневнике 3 ноября 1802 года Андрей записал: «Вчера пришла ко мне прекрасная мысль. Ненадобно, чтобы греки и римляне (говору о трагедиях, и не в одних трагедиях) давали вес словам: гражданин, права гражданина, отечество, свобода и пр. Надобно, чтобы это было для них нечто обыкновенное, чтобы они думали, что иначе и быть не может. Оттого и редко бы поминали о них; но весь ход их действий, всякая их мысль, каждый поступок показывал бы ясно, что они такое, и отливало бы, так сказать, их стиль жизни в полную силу чувств»³⁹.

Такой стиль жизни был у Андрея Тургенева и у его друзей.

Когда Карамзин стал выпускать журнал «Вестник Европы», он просил и молодых литераторов — Андрея Тургенева, Алексея Мерзлякова, Василия Жуковского и других — доставлять ему сочинения. В июле 1802 года в «Вестнике Европы» напечатана «Элегия» Андрея Тургенева с примечанием Карамзина: «Это сочинение молодого человека с удовольствием помещаю в «Вестнике». Он имеет вкус и знает, что такое пиитический слог». И это оценка мастера, который сам был первым, кто стал прививать литературный вкус в России. И не тени обиды за острую критику в его адрес молодого автора, слухи о которой, конечно, дошли до Карамзина. И при том, что в этом стихотворении отзвуки этой критики:

Напрасно хочешь ты, о добрый друг
людей,
Найти спокойствие внутри души твоей...

Стихотворение это — вежа в русской поэзии. Элегия начиналась строками:

Угрюмой осени мертвящая рука
Уныние и мрак повсюду разливает...

В стихотворении «Осеннее утро» Пушкин пародизировал тургеневскую строфу: «Уж осени холодную рукой...»

Друзья Тургенева, особенно Василий Жуковский и Андрей Кайсаров, нередко в разговоре о своем «предводителе» любили процитировать некоторые афористические строчки из его элегии:

И в самых горестях нас может утешать
Воспоминание минувших дней
блаженных!

Или:

На камне гробовом печальный, тихий
гений
Сидит в молчании с поникшей головой...

И вспоминали часто повторяемые Андреем Тургеневым фрагменты из стихотворений сентиментального английского поэта Томаса Грея, оказавшего влияние на это настроение автора.

В декабре 1802 года в «Вестнике Европы» опубликована переведенная Василием Жуковским «Греева элегия» «Сельское кладбище» с подзаголовком «Переводчик посвящает А. И. Т-у». Она начиналась:

Уже бледнеет день, скрываясь за горою.
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопой
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный
свой...

Сам Жуковский считал начальной вехой своего творческого пути вольный перевод этой элегии. В то время молодой поэт уже вырвался из Соляной конторы и жил в селе Мишенском,

откуда и послал в Вену Андрею Тургеневу посвященную ему элегию.

В Вене Андрей Тургенев решил переводить «Макбета», заново, с подлинника, сравнивая его с французским переводом Дюсиса. Напомним, что увлечение Шекспиром шло у Тургенева параллельно с изменением взгляда на мировую литературу. Если прежде его интересовал герой как рупор свободлюбивых идей автора, то теперь стоял вопрос о важности психологического правдоподобия. То есть гражданин становился еще и художником, мастером. Поиски народности определили эволюцию литературных вкусов Тургенева. Он искал объективности характеров, психологической выверенности поступков героев, отражения в произведении народно-поэтических представлений. Этим требованиям, по мнению Андрея Тургенева, и отвечал Шекспир. С одной стороны, у него сильные характеры, с другой — фантастика, содержащая народные представления.

В своих письмах друзьям из-за рубежа Андрей Тургенев присылал и новые стихи, которые становились все значительней и совершенней.

«Делать общими силами добро»... — вспоминал Жуковский слова своей клятвы, читая присланные в Мишенское стихи Андрея Тургенева:

Ты добр! Но пред тобой несчастный,
угнетенный,
Невинный к небесам возносит тяжкий
стон,
Злодей, и в почести, и в знатность
облеченный,
Сияющий в крестах, и веру и закон
В орудие злодейств своих преобразует.
Нет правосудия, защиты нет нигде...³⁹

Но какой же выход из этой вопиющей несправедливости? Андрей Тургенев, увы, этого пока не знал. Он только видел, что его благие дела и намерения вызывают злобную реакцию непросвещенного света. Оттого и такая горечь в его стихах:

Всех добрых дел твоих в заплату
Злодеи очернят тебя.
Врагу ты ввернешься, как брату,
И в пропасть ввергнешь сам себя.
Восстонешь, роком пораженный,
Но слез не будешь проливать;
Безмолвной скорбью отягченный,
Судьбу ты будешь проклинать...⁴⁰

Василий Жуковский считал, что Андрей Тургенев станет великим поэтом.

Вернувшись из Вены в начале 1803 года, бывший императорский секретарь никак не мог получить определенного места службы.

Его мать, всегда заботливо относящаяся к карьере своих сыновей, была недовольна медленным продвижением по служебной лестнице ее старшего сына. Это сокрушало его, хотя сам

по себе он и не торопился с карьерой. 27 февраля 1803 года он писал Андрею Кайсарову: «Матушка все беспокоится о нашей судьбе; но ее вечно ничто успокоить не может. Одно исполнится, другого будет не доставать. Правда: но отчего же это и происходит, как не от излишней нежности и заботливости о нас и от ее также немного беспокойного характера, склонного к меланхолии»⁴¹.

У Андрея Тургенева обострился интерес к истории. «Двадцать лет жизни моей не стало! — выражал он свое отчаяние в дневниковой записи. — Где искать мне их в истории моей жизни. Двадцать лет я душевно проспал. В последние два года написал элегию; деятельнее ничего не было для моего разума. Что я читал, Кючебу и Шиллера! — когда буду читать историю»⁴².

В феврале 1803 года Василий Жуковский предложил Андрею Тургеневу вместе с ним для издателя Бекетова перевести с французского «Дух истории» или «Письма отца к сыну о политике и морали» Антуана Феррана, четырехтомник которого был издан в Париже в 1802 году.

Но уже в это время в письме Василию Жуковскому в Мишенское он признался, что занемог лихорадкой не на шутку и намерен лечиться у одной природы, соблюдая диету по русовскому предписанию. И все же многие друзья не подозревали приближения беды. Зато ее чувствовал сам Андрей Тургенев и стал задумываться об итогах. «Что наша жизнь? — Море горестных и лука радостных слез! И вы, и я это знаете. Простите!»⁴³ — эта грустная ирония была, увы, в его последнем письме к Мерзлякову.

Андрей Тургенев писал из Петербурга своей родне 3 июля 1803 года: «С живейшей радостью увидел... что матушка опять здорова. Я тоже, благодаря Бога, здоров»⁴⁴.

Здоров! 8 июля 1803 года он уже умирал. Умирал в Петербурге, вдали от родных и близких людей. Отец в Москве, матушка с младшими братьями Николаем и Сергеем в Тургеневе, Александр в Геттингене, Жуковский в Мишенском...

Иван Владимирович Лопухин не отходил от его постели. Брат Андрея Кайсарова — Паисий Сергеевич по просьбе умирающего даже пытался согреть его своим телом от жуткого озноба.

Он умер в двадцать два года. С последним вздохом на его устах замерли слова: «Друзья мои!..»

Лопухину пришлось первому в письме рассказать отцу о смерти любимого сына. Трагическое известие сразило безутешного отца, Иван Петрович заболел, был при смерти.

Василий Жуковский в Мишенском получил письмо от Ивана Петровича: «Он был утешение мое в мире горестном, был отрадой духа моего... Андрей был добр... Пятна пороков еще не внедрили, не проникли существа души его...»⁴⁵.

Жуковский ответил Ивану Петровичу: «Не думал и не хочу утешать вас. Я слишком чувствую и свою и вашу потерю... Что делать! Мое

сердце разрывается... Он так был достоин жизни! За что мы наказаны его потерей? Теперь, признаюсь, жизнь для меня утратила большую часть своей прелести; большая часть надежд моих исчезла. Мысль об нем была соединена в душе моей со всеми понятиями о счастье!»⁴⁶ А вместе с письмом Жуковский послал Ивану Петровичу элегию «На смерть Андрея Тургенева».

Жуковский написал Мерзлякову в деревню. Тот примчался в Москву к Ивану Петровичу и сообщил Жуковскому подробности о последних минутах жизни их лучшего друга: «Ах, умер очень тяжело. Природа долго боролась с болезнью; крепкое сложение причинило ему конвульсии; в четыре дни все свершилось. Он первоначально простудился, был вымочен дождем... Этого мало: в полдень ел он мороженое и вдобавок не позвал к себе хорошего доктора; после это было уже поздно; горячка с пятнами окончила жизнь такого человека, который должен был пережить всех нас»⁴⁷.

Александр Тургенев, ошеломленный вестью, понял, что 1803 год унес лучшую половину его самого с собою. В письме к Кайсарову Андрею он писал: «Его не стало в самую ту эпоху жизни нашей, в которую мы перестаем восхищаться, наежидаться жизнью и подходим к той пустоте, которая неминуемо должна наполнять вторую половину жизни нашей»⁴⁸.

Андрей Кайсаров, пытаясь утешить скорбящих Тургеневых, клялся, что не пощадит собственного здоровья для брата Андрея Ивановича, и уверял, что одна память о нем может произвести в его друзьях все возможные добрые последствия.

Мерзляков, обращаясь к Александру Тургеневу в Геттинген, просил его заменить Андрея собою и тем принести ему лучшую жертву, какую только нежные друзья принести могут.

Василий Жуковский закончил писать для «Вестника Европы» по заказу Карамзина повесть «Вадим Новгородский». К этой повести он прибавил вступление — поэму в прозе в память скончавшегося друга Андрея Тургенева: «О ты, незабвенный! Ты, увядший в цвете лет, как увядает лилия, прелестная, благовоющая! Где следы твои в сем мире? Жизнь твою улетила, как туман утренний, озлащенный сиянием солнца... Где мой товарищ на пути неизвестном? Где друг мой, с которым я шел рука в руку, без робости, без трепета... Все исчезло! Никогда, никогда не встретимся в сем мире... Я, несчастный, я, разлученный с тобою в решительный час сей, не слыхал твоих стонов, не облегчил бременя твоего с смертию; не зрел, как посыпалась земля на безвременный гроб твой и навеки тебя сокрыла!»

Н. М. Карамзин сопроводил этот реквием примечанием: «Сия трогательная дань горестной дружбы принесена автором памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершего молодого человека редких достоинств»⁴⁹.

Похоронили Андрея Тургенева в Невском монастыре. И на могиле его возлюбленная Ка-

герина Михайловна Соковнина посадила два дерева. Она лишь немногим больше своего возлюбленного задержалась в этой жизни.

Андрея Тургенева друзья его помнили всю жизнь, и всегда это было для них лучшим воспоминанием о днях молодости, о высоких мечтах и страстных порывах, которые он зажигал в их сердцах.

«Друзья мои!» — слышали они последний привет Андрея Тургенева и откликались душой на этот зов.

Василий Жуковский в письме к своему единомышленнику, уже по обществу «Арзамас», Александру Тургеневу в сентябре 1805 года признавался: «Никого из вас, это разумеется, я не любил с такою *привязанностию*, как брата (имеется в виду Андрей Тургенев. — Б. Р.), то есть, не будучи с ним вместе, я его воображал с сладким чувством, был к нему ближе; ему подавал руку с особенным, приятным чувством, я не знаю, как-то отменно весело было чувствовать его руку в моей руке; между нами было более сродства, по крайней мере с моей стороны. Но что делать! Даже при жизни его мы не были то, что бы могли быть; в то время, когда он был со мною, в нас было больше (то есть во мне) ребяческого энтузиазма; потом мы расстались, потом все кончилось; одним словом, моя с ним дружба была только зародыш, но я потерял в ней то, чего незаменимо или чего не возвращу никогда...»⁵⁰

В стихах обращался Василий Жуковский к памяти Андрея Тургенева:

Где время то, когда наш милый брат
 Был с нами, был всех радостей душою?
 Не он ли нас приятной остротою
 И нежностью сердечной привлекал?
 Не он ли нас тесней соединял?
 Сколь был он прост, нескрытен

в разговоре!

Как для друзей всю душу обнажал!

Как взор его во глубь сердец вникал!

Высокий дух пылал в сем быстром
 взоре⁵¹.

Друзья порывались издать оставшиеся бумаги Андрея Тургенева, по крайней мере, хоть избранные его произведения.

Готовясь редактировать «Вестник Европы», Жуковский просил Александра Тургенева посмотреть, нет ли чего для опубликования в бумагах Андрея для издания в журнале. Но издать так ничего и не удалось. В. А. Жуковскому, если можно так сказать, везло на такие обязанности — он занимался и посмертными публикациями другого пламенного поэта — А. С. Пушкина.

Андрей Тургенев весь остался в своих дневниках и письмах к друзьям, напечатанных набросках стихотворений и переводов, хранящихся пока в запасниках отечественного храма культуры. Литературное его наследие, небольшое по объему, но значительное и важное по содержанию, к сожалению, не стало фактом литературной жизни России 1800-х годов. Как впоследствии сказал о нем Жуковский в элегическом послании «К Филалету»: «Душа, не воспылав, свой пламень угасила...» Однако, бесспорно, Андрей Тургенев сыграл далеко не последнюю роль в ряду других писателей на рубеже XVIII—XIX веков. Это время считалось переходным и подготовительным для золотой эпохи великих реформ русской литературы. А ведь именно тогда подготавливалась почва для появления таких гигантов художественной мысли, как Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Белинский.

В лице Андрея Ивановича Тургенева русская словесность имела яркого и одаренного литературного деятеля того периода, когда начали оформляться политические и литературные идеалы декабристов. Но и то, что сделал он для русской литературы, уже значительно и не должно быть забыто.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Тургенев И. С. Собр. соч. в 15-ти томах. М.—Л. Т. 14, с. 217.

² Тургеневский архив. Рукописное собрание Института русской литературы АН СССР (далее сокращенно — Тургеневский архив). ИРЛИ. Ф. 309, ед. хр. 276, л. 15 об.

³ Карамзин Н. М. Избран. соч. в 2-х томах. М.—Л., 1904. Т. 2, с. 147—148.

⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9, с. 33—34.

⁵ Фомин А. А. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. СПб., 1912 (далее сокращенно — Фомин А. А., А. И. Тургенев), с. 18—19.

⁶ Тургеневский архив. ИРЛИ. Ф. 309, ед. хр. 276, л. 26—27.

⁷ Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1982, с. 64.

⁸ Лотман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 63. Тарту, 1958 (далее сокращенно — Лотман Ю. М. А. С. Кайсаров), с. 68.

⁹ Тургенев А. И. Стихотворения. С. 236. — В кн.: Поэты 1790—1810 гг. «Библиотека поэзии» (Большая серия). Л., 1971.

¹⁰ Тургеневский архив. ИРЛИ. Ф. 309, ед. хр. 271, л. 24 об.

¹¹ Там же. Ед. хр. 840, л. 50.

¹² Там же. Ед. хр. 276, л. 8 об.

¹³ Там же. Ед. хр. 271, л. 73 об. 74.

¹⁴ Истрин В. М. Из Архива братьев Тургеневых. Смерть Андрея Ивановича Тургенева. Журнал Министрства народного просвещения. Ч. XXVI. 1910. № 3, отд. 2 (далее сокращенно — Истрин В. М. Из Архива братьев Тургеневых), с. 32.

¹⁵ Законы Дружеского литературного общества. — В кн.: Общества любителей российской словесности на 1891 г. М., 1891, с. 4.

¹⁶ Тургеневский архив. ИРЛИ. Ф. 309, ед. хр. 618. — Речи, говоренные в собрании общества. Л. 7.

¹⁷ Там же. Л. 27—30

¹⁸ Там же. Л. 68 об.

¹⁹ Там же. 86—87.

²⁰ Там же. Л. 106—106 об.

²¹ Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906. Вып. 11. С. 142.

²² Тургеневский архив. ИРЛИ. Ф. 309, ед. хр. 271, л. 54 об.

²³ Там же. Л. 77 об.

²⁴ Фомин А. А. А. И. Тургенев, с. 24—28.

²⁵ Сб. Общества любителей российской словесности на 1891 г. М., 1891, с. 10.

²⁶ Мерзляков А. Ф. Стихотворения. Л., 1958, с. 199.

²⁷ Литературное наследство. М., 1956. Т. 60, ч. 1, с. 334—336.

²⁸ Тургенев А. И. К отечеству. Стихотворение. СПб., 1806.

²⁹ Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. «Русский архив». М., 1895 (далее сокращенно — письма В. А. Жуковского), с. 21.

³⁰ Гегель. Эстетика в 4-х томах. М., 1971. Т. 2, с. 281.

³¹ Архив братьев Тургеневых. Письма и дневники Александра Ивановича Тургенева. СПб., 1911. Т. 1. Вып. 2 (далее сокращенно — Архив братьев Тургеневых. Т. 1. Вып. 2), с. 235.

³² Архив В. А. Жуковского в ГПБ имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (далее сокращенно — Архив В. А. Жуковского). Оп. 2, ед. хр. 326, л. 6.

³³ Лотман Ю. М. А. С. Кайсаров, с. 36.

³⁴ Фомин А. А. А. И. Тургенев, с. 10.

³⁵ Истрин В. М. Из Архива братьев Тургеневых, с. 1.

³⁶ Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. Т. 1, с. 487.

³⁷ Тургеневский архив. ИРЛИ. Ф. 309, ед. хр. 272, л. 39.

³⁸ Там же. Л. 15 об.

³⁹ Лотман Ю. М. А. С. Кайсаров, с. 65.

⁴⁰ Афанасьев В. В. «Родного неба милый свет...» В. А. Жуковский в Туле, Орле, Москве. М., 1981 (далее сокращенно — Афанасьев В. В.), с. 137.

⁴¹ Истрин В. М. Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев. — В кн.: Архив братьев Тургеневых. Письма и дневни-

ки Александра Ивановича Тургенева. СПб., 1911. Вып. 2. Т. 1, с. 19.

⁴² Тургеневский архив. ИРЛИ. Ф. 309, ед. хр. 1239, л. 2.

⁴³ Истрин В. М. Из Архива братьев Тургеневых. с. 11.

⁴⁴ Там же, с. 2.

⁴⁵ Там же, с. 5.

⁴⁶ Там же, с. 4.

⁴⁷ «Русский архив». 1971, с. 142.

⁴⁸ Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. Т. 1, с. 339.

⁴⁹ Афанасьев В. В., с. 138.

⁵⁰ Письма В. А. Жуковского, с. 14—15.

⁵¹ Жуковский В. А. Собр. соч. в 4-х томах. М.—Л., 1959, с. 177—179. В примечании к этому посланию Александру Ивановичу Тургеневу в ответ на его письмо В. А. Жуковский сообщал: «Андрей Иванович Тургенев умер в полном расцвете жизни. Ум необыкновенно пронзительный, острый и ясный; чистое, исполненное любви к прекрасному сердце. В сем послании изображен он таким, каков был».

Л. Журавлева

«Далось мне это не без борьбы»

Среди почетных граждан древнего русского города-героя Смоленска значится Мария Клавдиевна Тенишева. Этого звания она была удостоена в 1911 году. Тем самым был признан ее вклад не только в культуру смоленского края, но и всей России.

Она была художницей и коллекционером, издательницей и педагогом, профессиональной певицей и исследователем древних эмалей. Круг знакомых ей художников, музыкантов, историков, критиков был очень широк. И это были представители не только культуры конца XIX — начала XX века, но и ведущие мастера советского искусства: С. В. Малютин, И. Д. Шадр, А. В. Щусев, Е. В. Честняков. Тенишева оставила потомству интересную, хотя и небеспристрастную книгу воспоминаний «Впечатления моей жизни», изданную в Париже на русском языке в 1933 году.

О родителях Тенишевой мы почти ничего не знаем. Известно лишь, что ее мать была дважды замужем, но фамилии Пятковская, а затем фон Дезен говорят мало. Ее внебрачная дочь Мария росла и воспитывалась в доме второго мужа — М. П. фон Дезена. Здесь, в Петербурге, она получила первые уроки музыкального воспитания под руководством Н. Ф. Свирского. Он одновременно был воспитателем детей сестры П. П. Дягилева (1848—1914), и таким образом еще в детстве Мария Клавдиевна была знакома с Сереем Дягилевым, в будущем известным общественным деятелем С. П. Дягилевым.

В доме фон Дезена была прекрасная библиотека, а также картинная галерея старых мастеров, в частности Питера Брейгеля, которые позже М. К. Тенишева подарила известному коллекционеру П. П. Семенову-Тянь-Шанскому.

Вскоре девочку отдали полной пансионеркой в гимназию М. П. Спешневой. Эта гимназия, открытая в 1869 году, была первой в России, где обучение девочек приравнялось к курсу мужских гимназий, а это, в свою очередь, открывало путь к высшему образованию. Состав преподавателей гимназии был сильным. Интересной бы-



Мария Клавдиевна Тенишева.
1890-е гг.

ла и система преподавания. Оценки не выставались ученицам. Рассчитывали на осознанное, немеханическое заучивание уроков.

В шестнадцать лет Марию отдают замуж за 23-летнего Р. Н. Николаева. Брак оказался неудачным. Родственники не задумывались о чувствах молодых, их духовной близости. Принадлежность семей к высшему свету, обеспеченность казались достаточными для счастливого брака. В семье Николаевых, по воспоминаниям Марии Клавдиевны, «было серо, обыденно, бессодержательно. Пошлость колола глаза». Ее же манила жизнь. «Хотелось разгадать ее, заглянуть вперед, завоевать что-то. Постоянное общение с этими людьми давило, заглушало во мне все жизненные стремления, как непролазный бурьян. Только карты, скачки, балы да парад — в этом были все их интересы. В этой среде о книге не имели понятия, не говоря уже о науке, политике, искусстве, музыке или о чем-либо отвлеченном. Я задыхалась между ними»¹.

Вскоре обнаружили и более неприятные стороны семейной жизни — муж оказался игроком, и почувствовался материальный недостаток. После рождения дочери Марии молодая женщина решает порвать с тяготившей ее обстановкой. Здесь определенное влияние оказал поэт А. Н. Апухтин — «единственный очень интересный, обаятельный, умный человек», посещавший дом Николаевых. (В молодости поэт учился в закрытом аристократическом Учили-

ще правоверения одновременно с Р. Н. Николаевым.)

Но главное — Мария желала стать певицей. К этому у нее были природные данные. Ей удалось прослушаться у известного вокального педагога, солиста Мариинского театра И. П. Прянишникова (1847—1921). Голос молодой женщины понравился ему, и он советует ей ехать учиться в Париж к Маркези. «Когда я заявила о своем намерении ехать за границу учиться петь, все ужаснулись, конечно, последовал на все категорический ответ. Меня это не смутило»², — напишет впоследствии Мария Клавдиевна. Шаг Николаевой в ее положении был очень смелый. Она порывала не только с тяготившей ее средой, она уходила от мужа без официального развода и в то же время делая это открыто.

И вот Париж 1881 года. Три года, проведенные здесь молодой женщиной, были наполнены самыми разнообразными впечатлениями. Впервые, успешные занятия в студии очень известного вокального педагога Матильды Маркези, где экзамены проходили в присутствии таких знаменитостей, как Ш. Гуно и А. Тома. В этот же период она знакомится с А. Г. Рубинштейном и принимает участие в его концертах в зале Эрар. Это происходило в феврале 1882 года. М. К. Николаева позирует художнику Константину Маковскому, а в Лувре знакомится с Габриэлем Жильбером, который дает ей первые уроки рисунка.

Живя в одном пансионе с прославленной актрисой М. Г. Савиной, она знакомится и с ней, а вскоре и с писателем И. С. Тургеневым. «Он заинтересовался мной, моим настоящим и прошлым. Не раз пришлось раскрыть перед ним свою душу. Слушая меня, он часто говорил: «Эх жаль, что я болен и раньше Вас не видел. Какую бы интересную повесть я написал»³. Однажды Мария Клавдиевна навестила его больного. «Он произвел на меня впечатление заброшенного. Кругом него было холодно. Тяжело и обидно было за этого великого человека, умирающего на чужбине, среди равнодушных и чужих... Через полтора года после нашего знакомства его не стало»⁴.

Приезжая на каникулы в Москву, Мария Клавдиевна однажды встретилась с подругой детства Е. К. Святополк-Четвертинской, родной которой была Смоленская губерния. Ее мать во втором браке была замужем за правнуком полководца А. В. Суворова. Е. К. Святополк-Четвертинская практически не имела отношения ни к каким искусствам, обладала скромной внешностью и замкнутой натурой, всегда держалась в тени, но в дружбе была преданным человеком. Это снискало ей любовь окружающих. О ней тепло отзываются И. Е. Репин, А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих. Четвертинская пригласила Николаеву погостить в свое смоленское имение Талашкино, которое в 1893 году Мария Клавдиевна приобретет у нее и превратит в художественный центр, получивший широкую известность в России и Европе.

После завершения учебы у Маркези Николаева пытается устроиться на профессиональ-

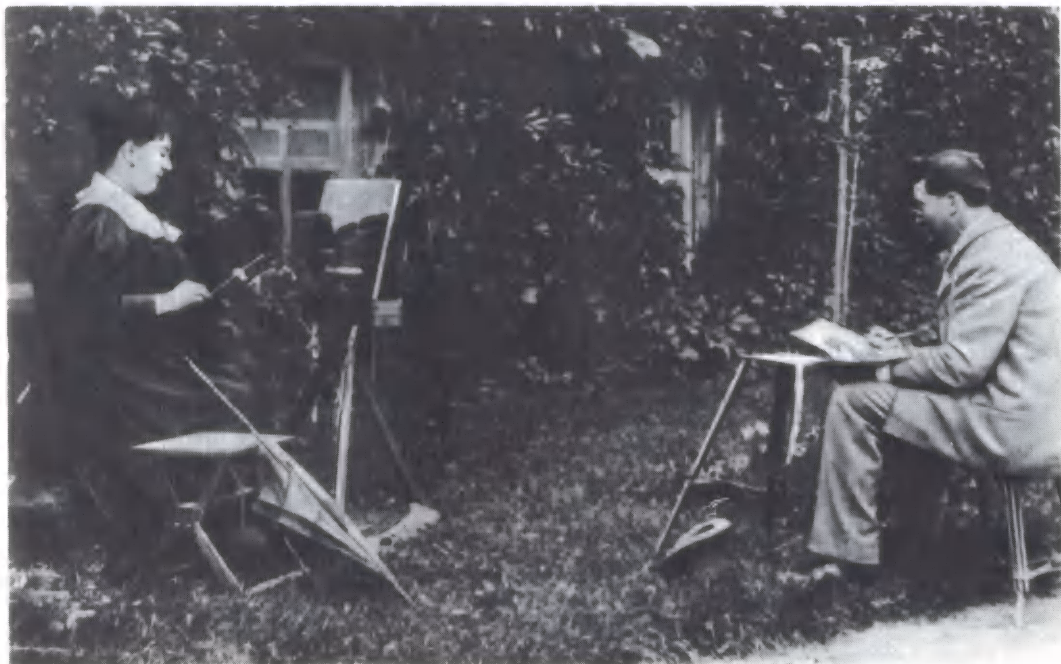
ную сцену, прослушивается в Мамонтовской опере, но неудачно. Однако это ее не останавливает, и она продолжает участвовать в концертах, занимается под руководством Ф. П. Комиссаржевского. Кроме этого, в Москве она участвовала в спектакле «Баловень», поставленном 29 февраля 1888 года К. С. Станиславским, будучи дублершей главной исполнительницы.

В те же годы М. К. Николаева была дружна с Н. Б. Нордман — впоследствии второй женой И. Е. Репина. В воспоминаниях она дает ей нелестную характеристику, в то время как Нордман была буквально влюблена в Николаеву, и эту привязанность выдает ее юношеский дневник. «Ничего не могу делать и думать. Все только о Мане! Не могу я без нее жить на свете, все потеряю для меня без нее смысл»⁵. Запись через несколько страниц: «Она так и живет в глубине моей души, и я ежечасно чувствую, какой она идеал и как сильно я ее люблю»⁶.

Н. Б. Нордман присутствовала и при знакомстве Николаевой с Репиным в мае 1891 года, а затем описала это событие в воспоминаниях. Художник был очарован молодой женщиной и в «восхищении несколько раз целовал ее руку». Однако из этого увлечения Мария Клавдиевна не сделала мелодрамы, как этого ожидали окружающие, а повернула свои взаимоотношения с ним в деловое русло. Их совместная просветительская и художественная деятельность оставила значительный след в истории русского искусства. Ими были организованы две рисовальные школы в Петербурге и Смоленске. В Смоленске также была принята 26-я передвижная выставка. Тенишева заинтересовывает Репина Брянским машиностроительным заводом, где он побывал летом 1896 года и выполнил непосредственно наброски в цехах. Таким образом, впервые в его творчестве появилась тема индустриальных рабочих. Отдыхая в Талашкине в 1896 и 1897 годах, И. Е. Репин создал немало значительных живописных работ, а кроме этого, за все время знакомства написал около десяти портретов Марии Клавдиевны.

Сблизиться с художественным миром и проводить свои начинания с размахом позволил Марии Клавдиевне ее второй брак. В 1892 году она вышла замуж за князя В. Н. Тенишева.

Благодаря этому замужеству она приобретает титул, связи и главное — средства, которые была намерена употребить на благородные дела. А средства имелись немалые. Современники называли Вячеслава Николаевича Тенишева (1843—1903) «русским американцем» за энергичность и предприимчивость. Непродолжительное время он учился в Петербургском университете, а закончил свое образование в Карлсруэ. В продолжение последующих 25 лет он посвятил себя развитию русской промышленности; был совладельцем трех крупнейших русских машиностроительных заводов: Брянского, Путиловского и Екатеринославского. Кроме того, в Петербурге ему принадлежал электромеханический завод, он стоял у истоков первого русского автомобиля, впрочем, имел и конезавод прекрасных орловских рысаков.



И. Е. Репин пишет портрет М. К. Тенишевой в Талашкине. Август 1896 г.

Но он выделялся в своей среде не только как «реалист и практик», но еще и тем, что серьезно занимался научной работой, тратя на это большие средства. Приверженец точных знаний, прогресса в технике и науке, Тенишев с детства был увлечен математикой. В 1886 году он издал книгу «Математическое образование и его значение». В 1889 году он выпускает книгу «Деятельность животных», в 1897 году — «Деятельность человека». Уже в этих трудах он выдвинул идею глубокого изучения всех социальных групп России. Наиболее ценными для науки явилась подготовка и частичная реализация двух программ исследования крестьянского и городского населения центра России. В 1897 году в Петербурге в собственном доме он организовал частное этнографическое бюро, привлек к работе большое число ученых, в том числе такого крупного исследователя, как С. В. Максимова, а в Смоленске В. Н. Добровольского. Составил «Программу этнографических исследований о крестьянах центральной России», которая оказалась столь позитивной в своем содержании, что была запрещена царской цензурой через три года после первого выхода. Однако это не помешало Тенишеву собрать уникальный материал по 23 губерниям центра России, частично обработать его и издать несколько книг. Этим трудом Тенишев положил основу научной методологии социологических исследований, на которую опирается советская наука в данном вопросе.

Немалый вклад внес Тенишев в русскую педагогику, открыв в Петербурге, опять же на свои средства, «тенишевское училище», самое популярное в России, отличавшееся прогрессивными формами обучения. В 1900 году он был главным комиссаром русского отдела на Всемирной выставке в Париже. «Этот сильный человек с громадной волей, эта отвага, — я должна сознаться, — были мне по душе»⁷, — написала о муже в воспоминаниях Мария Клавдиевна.

Тенишев щедро финансировал начинания своей молодой супруги. Первые четыре года они прожили в Брянске.

Здесь Мария Клавдиевна занялась благотворительной деятельностью по созданию школ, народной столовой, клуба, училища. Эти либеральные начинания не могли изменить тяжелого положения рабочего, но важно отметить, что процесс нещадной эксплуатации был ею отмечен в воспоминаниях. «Кто же, как не они (рабочие. — Л. Ж.), дали этим деятелям, да и мне с мужем, благосостояние? Кто от этих тяжелых трудов, пота и мозолей получал львиную долю? Конечно, мы все. А что было дано этим немым безымянным труженикам взамен пролитого пота, утраченных сил, преждевременной старости?.. Да, в этом пекле и стуже жили живые люди, которым надо было помочь»⁸. Реальной помощью в тех условиях было открытие ремесленного училища, которое за четыре года окончило 12 тысяч учеников.

Отойдя вскоре от коммерческих дел, Тени-



М. К. Тенишева. Портрет работы И. Е. Репина.

шев устраивается в Петербурге, приобретает еще в 1891 году на Английской набережной скромный особняк. Мария Клавдиевна постаралась сразу же создать вокруг себя художественный кружок. Первоначально это были музыканты, композиторы. Вячеслав Николаевич прекрасно играл на виолончели, был членом дирекции Петербургской консерватории. Он же пригласил в свой дом П. И. Чайковского зимой 1892 года.

В этом доме бывали и участвовали в концертах Софи Менцер, Брандуков, Гофман, Скрябин, Вержбилович, Ауэр, Аренский. Это был цвет тогдашней петербургской музыкальной культуры. Вечера в доме Тенишевых становятся постоянными. Аренский даже посвятил Марии Клавдиевне романс «Ландыш» на слова П. И. Чайковского. Сохранился экземпляр издания романса с дарственной надписью композитора: «Глубокоуважаемой княгине Марии Клавдиевне Тенишевой от искренно уважающего автора. 4 января 1895. Петербург»⁹. Композитор впервые в доме Тенишевых исполнил отрывки из своей оперы «Наль и Дамаянти». Сюжет оперы был взят из древнеиндийского эпоса, и это было интересно вдвойне. Так появилась «восточная тема», подкрепленная к тому же рассказами художника В. В. Верещагина о его поездках в Индию. Художник также был частым гостем дома Тенишевых.

Если большинство музыкантов, художников искали в доме Тенишевых покровительства и материальной помощи, то Мария Клавдиевна искала в этом общении и мудрого совета в своих

начинаниях, и знаний в специальных областях. А устремления ее были очень разносторонними. Она даже посещала лекции по физиологии профессора И. Р. Тарханова. Одновременно ее взаимоотношения с окружающими были сложными. Она искала пути соединения себя с окружающим миром, но она же стремилась и к самоутверждению себя как личности, а это было крайне сложно и психологически и формально. Вышший свет не принимал ее, помня, что она незаконнорожденная и ее титул княгини приобретенный. Среда искусства видела в ней лишь источник своего материального благополучия. Ни то ни другое Марию Клавдиевну, естественно, не устраивало, и всю свою жизнь она боролась против того стереотипа, который пытались сделать из нее; она даже шла на разрыв со многими выдающимися деятелями, каким был И. Е. Репин, чтобы сохранить самостоятельность действий и образа мыслей. И надо сказать, что такая принципиальность, именно такой взгляд на свое положение в обществе позволили Тенишевой оставить о себе заметный след в истории русской культуры.

Она постоянно пополняет свои художественные знания, берет частные уроки акварели у художника Н. А. Гоголинского, пользуется советами талантливого педагога Я. Ф. Ционглинского, в 1896 году поступает в парижскую Жюльеновскую академию, где занимается под руководством Б. Констана. Вместе с французским художником Леоном Бонна пишет портрет мужа.

Проводя зиму в Париже, она в своем доме принимает таких знаменитостей, как Иветт Гильбер, прославленную Тулузом Лотреком, и скрипача Марсика, знакомится с Самуэлем Бингом — пропагандистом всевозможных европейских и мировых новинок. Приобретает самые последние произведения американца Тиффани, француза Рене Лалика, а также Люсьена Фализа, Эмиля Галле. Именно эти знакомства зарождают в ней интерес к стеклу, инкрустации.

Она все успевает: устроить музыкальный вечер, принять в Талашкине Репина, позировать художникам и скульпторам для портретов, проводить археологические раскопки вокруг Талашкина, ездить в Смоленск и следить за строительством рисовальной школы, выписывать гипсы, молбберты, устраивать сельскохозяйственную школу, принимать крестьянок с их сиротами. Вот одно из характерных писем того времени, адресованное к Бенуа: «От нас только что уехал Репин: он прогостил здесь три недели и сделал дивный портрет с княгини Четвертинской. С меня сделал акварель, которую посылаю. Я еще больше оценила Репина, не говоря, конечно, о его таланте, но как человека; он чудный, серьезный и ровный человек. Мы в Смоленске затеяли с ним рисовальную школу, и теперь я вся в этих заботах. Если это дело мне удастся, то оно даст мне большую сатисфакцию. Еще у нас здесь интересный гость. В эту минуту Сигма (С. Н. Сыромятников. — Л. Ж.), он очень милый и умный человек и вполне пришелся ко двору, как говорится, выучился ездить на велосипеде, работает, гуляет с нами, словом, совсем талашкинский... Простите мой ужасный почерк, весь день работаю, поэтому рука дрожит. Все это время Репин занимался со мною и очень меня подбодрил»¹⁰. Репин не только «занимается» с Тенишевой, но по ее просьбе ведет переговоры с В. М. Васнецовым о приобретении картин для специального собрания графики. У самого Репина Мария Клавдиевна приобретает работы «Поздравление с законным браком», «Портрет Л. Н. Толстого за работой в Ясной Поляне», «Портрет В. А. Серова в детстве», «Портрет Е. В. Лавровой». Так начинает складываться уникальное собрание акварелей и рисунков русских и иностранных художников.

Основу этой коллекции составили работы, которые были приобретены у Е. К. Святополк-Четвертинской. Четвертинские были в родстве с такими крупными коллекционерами, как Кушелев-Безбородко и Базилевский, поэтому приобретения оказались очень ценными. Достаточно назвать «Кушелевскую галерею», завещанную Академии художеств. Таким образом, в тенишевскую коллекцию попали вещи эпохи Возрождения, а именно Гауденцио Феррари, а также произведения ведущих мастеров XVII—XIX веков. Из числа русских мастеров в первую очередь надо назвать серию рисунков И. С. Щедровского (1815—1871) «Петербургские типы». Это были рисунки углем, с которых потом выполнили широко известные литографии. Кроме этого, надо назвать акварели и рисунки Брюллова, Орловского, Егорова, Кипренского, Савра-

сова, Соколовых, Венецианова, Айвазовского, Шишкина и многих других. В общем и в русской и зарубежной части собрания была как бы представлена история развития акварели и рисунка.

Чтобы систематизировать и пополнить коллекцию, Тенишева пригласила для этой работы тогда еще начинающего художника Александра Николаевича Бенуа. Вернее, он сам предложил себя в сотрудники, обратившись, как и многие другие художники, за материальной помощью к Марии Клавдиевне. Они договорились о трехлетнем сотрудничестве. «Я мечтал, исходя из данного зерна, создать настоящий и богатейший музей, посвященный как русской, так и иностранной акварели — род добавления к Эрмитажу или музею Александра III (Русскому музею. — Л. Ж.)»¹¹, — писал Бенуа позже в воспоминаниях. Для него это было не только увлекательное занятие, но и первый серьезный искусствоведческий труд, ибо параллельно с закупкой работ Бенуа работал над составлением каталога собрания.

На коллекцию Тенишевой обратил внимание П. М. Третьяков. В январе 1896 года он специально ездил в Петербург, чтобы посмотреть ее. Вот что писал Бенуа Тенишевой об этом визите: «Он остался очень доволен Вашей коллекцией, особенно вещами Егорова, Щедровского, моего брата (Альберта Николаевича Бенуа. — Л. Ж.), Бакста, Кившенко и многих других, но нашел, что коллекция покамест лишь *élan*chee, ей недостает физиономии, стройности и полноты, покамест это только еще любительский альбом... Вы себе представить не можете, как я люблю порученное Вами это дело»¹².

Тенишева ушла оценку П. М. Третьякова. Не жалея средств, не останавливаясь ни перед какими затруднениями, она все более и более пополняет свое собрание. Тот же П. М. Третьяков помогает приобрести редкие экземпляры, хотя Мария Клавдиевна и не уступила ему «Петербургские типы» И. С. Щедровского, что составляло наибольшую ценность¹³. Это обстоятельство не испортило отношений коллекционеров.

После уговоров А. Н. Бенуа Тенишева приобретает у П. П. Соколова такие шедевры, как «Автопортрет» и «Портрет писателя Сергея Атавы».

Одновременно она не боится приобретать произведения молодых, начинающих мастеров: М. В. Якунчиковой, С. В. Малютина, М. А. Врубеля, Л. С. Бакста, К. А. Сомова.

Получив от Тенишевой субсидию на творческую поездку в Париж, Бенуа и там продолжает разыскивать редкие акварели и рисунки. В ту пору их взаимоотношения носили очень дружеский характер, и в одном из писем к своей меценатке художник признается: «...Я привык с Вами говорить как с другом и не скрывать от Вас своих душевных движений»¹⁴. В собрание поступают работы Менцеля, Поля Гаварни, Леона Лермита, Рейнольдса, Стейнлена, Барри, Доре и других. Тенишевская коллекция буквально открыла многих художников, и особенно это прозвучало, когда была устроена специальная

выставка в Петербурге (1897 г.), а затем собрание было передано в Русский музей (1898 г.). Художники, коллекционеры, искусствоведы дали высокую оценку тенишевской коллекции, и действительно, она была одной, если не единственной, подобного профиля в России. Ее воздействие на художественные круги было так велико, что наметились изменения в Обществе русских акварелистов, почетным членом которого вскоре была избрана Тенишева.

Столь удачно начавшееся сотрудничество с Бенуа привело Тенишеву к издательской деятельности. Группа молодых петербургских художников, не находящая поддержки у передвижников и на академических выставках, решила издавать журнал, отражавший новое направление в искусстве. Мария Клавдиевна откликнулась на это предложение и вместе с С. И. Мамонтовым согласилась финансировать издание «Мир искусства» — так был назван этот журнал. На первых порах это издание поддержали И. Е. Репин, В. М. Васнецов, П. П. Соколов, И. И. Левитан, часто бывавший в доме Тенишевой.

Взаимоотношения молодых художников с публикой были сложными, и яркий пример тому судьба М. А. Врубеля, искавшего «чисто и стильно прекрасного в искусстве». Мария Клавдиевна всячески поддерживала М. А. Врубеля. С выставки 1898 года она купила его панно «Русалки», что вызвало злобные нападки на нее и художника. М. К. Тенишеву это ничуть не смутило. Она продолжала всячески поддерживать художника. Заказывает ему росписи баладаек для Всемирной выставки в Париже, приглашает погостить в Талашкино и Хотылево — второе имение Тенишевых в Орловской губернии. И это дружеское расположение, понимание таланта художника дало русскому искусству ряд прекрасных произведений. Картина «Пан» была создана как раз в ту поездку в Хотылево. «С Врубелем мы были большими друзьями. Это был образованный, умный, симпатичный, гениального творчества человек, которого, к стыду наших современников, не поняли и не оценили. Я была его яркой поклонницей и очень дорожила его милым, дружеским расположением ко мне. Такие таланты рождаются раз в сто лет, и ими гордится потомство»¹⁵, — напишет потом М. К. Тенишева в воспоминаниях.

Да, за таланты приходилось бороться, и это стоило больших усилий. Чтобы такой процесс сделать действенным, Мария Клавдиевна большие надежды возлагала на журнал, который не только финансировала, но и участвовала в выработке его направления. Художники часто собирались в ее доме. С. П. Дягилев в одном из писем к друзьям сообщал: «У нас с ней — дружба большая». «Вместе с Дягилевым ко мне приблизились Серов, Головин, Коровин, маленький и бесталанный Нувель — родственник Дягилева, Д. В. Filosofov, кроме того, бывали Левитан, Врубель, с которым я уже раньше была знакома, Вакст, Цорн и многие другие, чаявшие движения воды и желавшие попасть в журнал»¹⁶, — писала в воспоминаниях Тенишева.

Более того, началась «борьба» за средства М. К. Тенишевой других издателей. Голице, Собко и Сабанеев всеми силами уговаривали Марию Клавдиевну перейти в журнал «Искусство и художественная промышленность». Имя Тенишевой становится особенно популярным в художественных кругах. По мнению Бенуа, ее «...нельзя было зачислить в категорию скучных светских дам или претенциозных «синих чулок». В ней не было и тени жеманства или того, что тогда еще не называлось снобизмом»¹⁷. Александр Николаевич в одном из писем к Е. К. Святополк-Четвертинской излагает программу журнала, а 11 августа 1898 года Мария Клавдиевна пишет ему: «Мы только что вернулись из Питера, где видела Сережу (Дягилева. — Л. Ж.), он страшно занят журналом, да и действительно работы масса, нужно сделать это дело великолепно, иначе нас заклюют и мы пропали»¹⁸.

Но когда вышел первый номер журнала, именно Дягилев вызвал неудовольствие Марии Клавдиевны. Она почувствовала отступление от выработанной сообща программы, что еще больше подтвердилось в выпадах против передвижников и В. В. Верещагина. Быть соучастницей таких выступлений в журнале она не желала. Сознавая тенденциозность позднего передвижничества, Тенишева отдавала должное этому союзу. Пока она продолжает делать денежные вклады в журнал, организует совместно с Дягилевым международную выставку при журнале, но через год выходит из редакции. Журнал внес много положительного в развитие русского национального искусства, однако историки отмечают, что «личные симпатии и вкусы членов редакции иной раз уводили журнал в сторону от насущных проблем отечественного и европейского искусства»¹⁹.

В период подготовки «Мира искусства» известный русский художник В. А. Серов написал портрет Марии Клавдиевны, который она считала наиболее удачным из многих писанных с нее разными художниками. Серову действительно удалось передать всю сложность натуры Тенишевой, отойдя от традиционной парадности, отдав больше места интимности, скромности внешнего окружения. Но надо признать, что ни один живописный портрет с М. К. Тенишевой, как бы эффектно он ни назывался — врубелевский «Валькирия», репинский «Повелительница», — не смог передать всю сложность натуры этой женщины, которая была и последовательна и изменчива, резка и снисходительна, верила и заблуждалась, а важнее всего — была всегда в движении. Даже люди, которые очень хорошо ее знали, не могли предвидеть размаха ее будущих начинаний.

Разрыв с «Миром искусства» ничуть не разочаровал Тенишеву в просветительской роли искусства, и она переносит всю свою энергию на создание художественного центра в Талашкине, где основой являлась пропаганда, сохранение и возрождение народного искусства. Тогда, в 90-е годы, ее начинания не поняли ни Репин, ни Бенуа, но она нашла преданных себе людей в лице

А. В. Прахова, В. И. Сизова, И. Ф. Варщевского. Все эти начинания были далеки от народнических идей, они были наполнены уже новым содержанием, а именно углубленного изучения культуры народа в самом широком его аспекте. Тут Мария Клавдиевна была близка к некоторым исследованиям своего мужа по вопросам социологии. Она очень быстро поняла всю ложность своего положения в журнале «Мир искусства», в его стремлении искать «чистую красоту». Тайнство красоты обнаруживалось в строгих и одновременно возвышенных памятниках народного искусства. И даже ближе — в расписных балалайках Врубеля, которые он выполнил в Талашкине. Да и как расписал! Ожили сказочные богатыри, Царевна-Лебедь, замерла ласточка-касаточка среди летних цветов. Да, Врубель порадовал, утешил сердце. Какая неповторимая красота! Как чувствовала она эту проникновенную русскую ноту, как не ошиблась в нем. И в совместных беседах в Талашкине решили создать несколько художественных мастерских, и тот же Врубель нашел для них руководителя — художника С. В. Малютина. «В Талашкине все удобства работы, чудесная библиотека, полная свобода распоряжаться собой...»²⁰ — писал Врубель С. В. Малютину.

Да и как было не увлечься Талашкином. Композитор В. К. Яновский так писал о его атмосфере: «Роскошная природа, полная свобода действий, веселье, шум — все дышало жизнью и притом не могло не отразиться на настроении. К тому же общество, где первенствующую роль играли художники, артисты, музыканты, споры и разговоры об искусстве, где каждый занят разрешением какой-нибудь художественной задачи и т. п., похоже скорей на Италию времен Ренессанса, чем на Россию XIX века»²¹.

Многих приняло Талашкино, многих одарило творчеством. Даже те, кто здесь никогда не бывал, получали из Талашкина помощь и поддержку. В разное время здесь бывали и работали: И. Е. Репин, Н. А. Гоголинский, Я. Ф. Ционглинский, П. П. Соколов, Александр и Альберт Велуа, К. А. Коровин, М. А. Врубель, П. П. Трубецкой, А. А. Куренной, С. В. Малютин, семья Рерихов: Николай Константинович, его брат Борис Константинович, сыновья — Юрий и Святослав, П. С. Наумов, А. В. Щекотихина, А. П. Зиновьев, В. В. Бекетов, Д. С. Стеллецкий, П. Я. Овчинников, Ю. Н. Свиридая. Значительную страницу в творческих начинаниях Талашкина оставили музыканты: и созданием балалаечного оркестра, и записями фольклорного материала, и постановкой на сцене талашкинского театра оперы с использованием народных мелодий, и первыми мелодиями балета «Весна священная». Сюда приезжали Ф. П. Комиссаржевский, А. Д. Метел, Софи Менгер, Н. И. Забела-Врубель, В. В. Андреев, Н. П. Фомина, В. Т. Насонов, Н. И. Привалов, С. П. Колосов, И. Ф. Стравинский.

И несомненно, Талашкино было в центре внимания журналистов, критиков; о нем много писали в русской и зарубежной печати, спорили о начинании мастерских, их направлении, пуб-

ликовали работы художников, созданные здесь; работы М. А. Врубеля и П. П. Трубецкого были показаны на Всемирной выставке в Париже (1900 г.). Здесь бывали С. П. Дягилев, Д. В. Философов, С. К. Маковский, О. Г. Базанкур, Н. Н. Врешко-Врешковский, С. Н. Сыромятников.

А. В. Прахов, чьи лекции по истории искусств М. К. Тенишева слушала в Петербурге, не только бывал в Талашкине, но и исследовал памятники Смоленска, В. И. Сизов вел раскопки в Гнездове и на Сожи, директор Московского археологического института А. И. Успенский, приезжая читать лекции в Смоленск, часто бывал в Талашкине и в один из таких приездов привез Тенишевой письмо скульптора И. Д. Шадра с просьбой о материальной помощи. И он ее получил; год скульптор учился в археологическом институте на стипендию Тенишевой.

О приезде в Талашкино вел переговоры сказочник Е. В. Честняков, ранее учившийся в петербургской Тенишевской студии. «Этот талашкинский уголок — что-то неповторимое», — говорил друзьям М. В. Нестеров. К услугам гостей были удобные мастерские для индивидуального творчества, художественные коллекции, театр, музыкальные вечера. Но нельзя сказать, что Талашкино было изолировано от большого искусства, хотя оно и находилось далеко от столицы. Наоборот, здесь шли ожесточенные споры о путях развития национального искусства. Недаром позже заметил Н. К. Рерих: «Там многое своеобычно. Дело широко открыто всему одаренному, всем хорошим поискам. Слышатся там речи не только про любимцев минуты, но и про многих других, чьи имена случайно сейчас не на гребне волны»²².

К. А. Коровин, приезжавший в Талашкино для переговоров с Тенишевым по оформлению русских павильонов Всемирной выставки, за один сеанс исполнил виртуозный по живописи портрет Марии Клавдиевны и привез эскиз росписи балалайки. Тенишевы буквально сжигали себя в работе. Тот же Коровин, будучи уже в Париже, жаловался друзьям в письмах: «Ухожу из дому к князю в 10 часов утра, а домой прихожу в 1 час ночи. Какова служба — поймите»²³. Напряжение тех дней не прошло для художника даром, его талант декоративиста был всемирно признан. Хлопоты В. Н. Тенишева по выставке и напряженная исследовательская работа подорвали его здоровье, и он умер от сердечной болезни, едва прожив 60 лет.

Мария Клавдиевна отнеслась критически к выставке, как она писала, к «выставочным сараям с гипсовыми лепными украшениями». Декоративно-прикладное искусство конца XIX века было не на высоте. В основе своей подражательное, оно использовало примеры предшествующих стилей. Так что Тенишева очень верно отметила эклектизм искусства Запада. Критически она относилась и к стилю «модерн». Поэтому, когда после закрытия выставки в Талашкине развернулось производство прикладных из-

делий, М. К. Тенишева постаралась избавиться, насколько это было возможно, от пороков существующих в декоративном искусстве направлений.

Основой поисков талашкинских мастерских художники избрали народное искусство, но исключили прямую копию с тех или иных изделий прошлого. Они стремились вдохновиться народным искусством. То есть понять логику, принципы оформления народных изделий, а затем перенести все это на изделия, близкие XX веку. Фактически они шли тем же путем, каким идут современные художники, работающие по возрождению народного искусства. Здесь осуществился как бы прямой выход на народных мастеров. Закупали готовые изделия, выполненные местными кустарями, с учетом того, что имело наибольшую популярность, как это было со свирелями, а затем в мастерских их расписывали. К вышивальным мастерским привлекали 2 тысячи крестьянок из более чем 50 деревень округи. Работу они выполняли на дому, получая в Талашкине лишь материал.

Одновременно там, где художники работали над самостоятельными изделиями, выявились и негативные черты. Так, С. В. Малютин, оставивший чудесные по цвету эскизы, в исполненных вещах, особенно деревянной мебели, посуде, допускал определенную грубость, тяжесть форм. Более логичным путем пошел Н. К. Рерих. Он был очень увлечен выполнением эскизов для изделий талашкинских мастерских, по поводу чего вел оживленную переписку с Тенишевой, согласовывая буквально каждую деталь. 30 сентября 1903 года он пишет ей: «Поэтому с особым удовольствием могу заняться сочинением расписного шкапика. Это будет мой первый опыт по художественно-прикладному пути. Можно ли ограничиться акварелью и рисунком или же нужен и шаблон?»²⁴

Рерих был очарован Талашкиным и писал тогда же, что из всех мест, которые он посетил в поездке по России, наибольшее впечатление произвело именно это село на Смоленщине. Он устраивает в Петербурге выставку изделий талашкинских мастерских. Кстати, изделия мастерских в 1900 году получили золотую медаль на выставке журнала «Мир искусства». Рерих становится самым близким другом Талашкина и Тенишевой. Он приезжает сюда в 1904 году и сразу же пишет статью о своих впечатлениях. 25 августа 1904 года он сообщил Марии Клавдиевне: «От души завидую Вашей поездке по таким чудным местам. Парижский кружок с великою радостью узнал о Вашем согласии участвовать на выставке... Брюсов извещил меня (с комплиментами), что мои строки о Талашкине пойдут в «Весах» в сентябре»²⁵. Круг знакомых, которых Рерих вовлекает в интересы Талашкина, все время расширяется. Архитектору Е. Е. Баумгартену он советует заказать керамические изделия в Талашкине, искусствоведу Л. М. Антокольскому — искать поддержки в издании очередного труда о прикладном искусстве у Тенишевой. Ей же пишет в очередной раз: «Был у меня Нестеров. Много говорили о Вас.

Он очень интересовался, что Вы о нем думаете?»²⁶ Нестеров был в числе тех художников, которых Мария Клавдиевна всячески поддерживала.

Вообще взаимоотношения Рериха и Тенишевой, и человеческие и творческие, требуют гораздо большего освещения. Художник не только изменил направление талашкинских мастерских, но он видел в лице Тенишевой демократически настроенную личность, способную воспринимать и понимать социальные сдвиги. Не случайно так подробно описал Рерих январские события 1905 года, свидетелем которых был в Петербурге. С точностью до минут он описал события Кровавого воскресенья. Он упоминает в этом письме А. М. Горького. Прошло несколько месяцев, и 20 мая 1905 года Рерих пишет Марии Клавдиевне письмо, полное проникновенных строк: «Я несканзано тронут Вашими словами, что Вам легко пишутся письма ко мне. Может быть, Вами правда чувствуется, как хорошо я к Вам отношусь и как искренно мне хочется *дружественно* помочь Вам. Все ваше также касается меня, как и мое личное. Верьте же мне, и если я скажу, что что-ниб(удь) для дела нужно, то, значит, уже всем существом я ощущаю насущность этого. Из отношения с Вами во мне возрождается вера в нужное, нежное и вообще *человеческое*. Как особенный памятник сохраняю я Ваши письма. Помимо личного, они имеют большое значение общественное, как трогательное свидетельство Вашей искренней привязанности и доброжелательности к искусству. Мне верить, что такое дело — дело святое и трудом, и верою мы пройдем на истинную пользу Руси... Мне очень нравится Ваше увлечение эмалью, и оно еще раз доказывает, как чутко и сознательно относитесь Вы к обновлению красоты русской жизни, возрождая это исконное дело, связующее нас с далекою колыбелью Востока. С каким наслаждением приеду я в Талашкино — ведь это будет первый приезд мой после совершенно установившихся отношений наших. Вы называете меня своим другом, и это название для меня самое дорогое»²⁷.

Тенишева сразу же оценивала возможности частных предприятий в процессе социальных преобразований, поэтому нравственные мотивы она больше обращала к своей совести, чем к совести окружающих или официальных властей. Так, устраивая в Талашкине сельскохозяйственную школу, она затронула на нее в десятки раз больше средств, чем на это получила от официальных учреждений. «...Как-то совестно было жить в нашем культурном Талашкине в убранстве и довольстве и равнодушно терпеть кругом себя грязь, и невежество, и непроглядную темноту. Меня постоянно мучило нравственное убожество наших крестьян и грубость их нравов. Я чувствовала нравственный долг сделать что-нибудь для них, и совсем уж было противно в разговорах со многими из богатых помещиков нашего края слушать, как эти люди, часто без милосердия притеснявшие мужиков, называли их «серыми», презирали, гнушались ими или, как и заводские деятели когда-то в Бежице, видели



М. К. Тенишева в эмальерной мастерской. Париж, 1907 г.

только во всем себя и свою выгоду. Как много на Руси таких типов!.. Они думают, что крестьяне не люди, а что-то вроде полуживотных... Слепые, под непроглядной корой они проглядели то, что вылилось когда-то в былины и сказки и в тихую, жалобно-горестную песню о несбыточном счастье... Разыскать эту душу, отмыть то, что приросло от недостатка культуры, и на этой заглохшей, но хорошей почве можно взрастить какое угодно семя...»²⁸

Для организации школы она покупает невдалеке от Талашкина хутор Фленово, строит капитальное школьное здание, общежитие для учеников, столовую, мастерские, разбивает сад, устраивает пасеку, купальню на озере, метеорологическую станцию, библиотеку для учеников и учителей, физический и химический кабинеты. Столь обширная материальная база Фленовской школы позволила позже проводить здесь методические съезды учителей всей губернии. В школе занималось более ста учеников, из них двадцать сирот были на полном содержании Тенишевой.

Мария Клавдиевна шла даже на такие педагогические эксперименты, что на лето принимала в своей школе воспитанников колонии малолетних преступников, которых полностью материально содержала, пока они жили в Талашки-

не. Об этом акте писала местная газета «Смоленский вестник».

Во Фленовской школе преподавали учителя, закончившие Петровскую академию. Кроме того, Мария Клавдиевна открыла школу в деревне Сож и училище в Бобырях, способствовала открытию сельхозучилища в городе Горки. Постоянно в Талашкине устраивались губернские курсы по пчеловодству, огородничеству, садоводству, цветоводству.

Школа дала Талашкину и художников и мастеровых. Фактически все, что было выполнено в мастерских, резалось, вышивалось, расписывалось теми детьми, которых робко привели крестьянки во Фленовскую школу в 1896 году. «В русском мужике всего найдешь, только покопайся... Я любила разгадывать эти натуры, работать над ними, направлять их... Да, я люблю свой народ и верю, что в нем вся будущность России, нужно только честно направлять его силы и способности»²⁹, — писала позже Тенишева в воспоминаниях.

Многих удивляло такое поведение Марии Клавдиевны. Они не понимали, как может эта светская женщина, имеющая лучший выезд в Булонском лесу, принимавшая высшую знать Парижа на Всемирной выставке, в глухой деревне заниматься крестьянскими ребятишками,

волноваться об их судьбах. Но для нее не было разницы написать письмо известному художнику или сообщить в послании воспитаннику Талашкинской школы сироте А. П. Мишонову, что на Парижской выставке 1908 года любовались его изделием, да еще поздравить его с новорожденным.

С учениками школы она разучивает народные мелодии для балалаечного оркестра, репетирует постановку оперы-сказки «О мертвой царевне и семи богатырях», принимает в Талашкине В. В. Андреева с его помощником В. Т. Насоновым, устраивает концерты в Смоленске, убеждает, и не без успеха, известного музыканта ввести в свой оркестр смоленские свирели. Эта женщина, с замиранием сердца слушавшая концерты А. Г. Рубинштейна, в Талашкине на простой русской балалайке, купленной в ближней деревне Корюзино, исполняет «Ничто в полюшке не шелохнется», «Как пошли наши подружки», «Зеленая рощица». Приверженность к народному в ней была такая ревностная, что она не поддерживала начинания В. В. Андреева в его переложениях для оркестра народных инструментов произведений классиков.

Она пишет две пьесы для талашкинского театра. «Между учениками обнаруживались очень способные исполнители. Режиссером я была сама. Мы вместе читали роли, я объясняла характер изображенного лица, требования сценических условий, учила плавной, ясной чистке, умению бойко подавать реплики. Все это будило мышление учеников, развивало их, делало игру сознательнее»³⁰.

В то время как дамы танцевали на петербургских балах, устраивали приемы, развлекались, М. К. Тенишева уезжала в далекое смоленское село, чтобы ставить на сцене талашкинского театра Островского, Гоголя, Чехова. «Талашкино совсем преобразилось. Бывало, куда ни пойдешь, везде жизнь кипит. В мастерской стругают, режут по дереву, украшают резную мебель камнями, тканями, металлами. В углу стоят муфеля, и здесь же втихомолку я давно уже приводила в исполнение свою заветную мечту, о которой даже говорить боялась вслух; делаю опыты, ищу, тружусь над эмалью. В другой мастерской девушки сидят за пядьцами и громко распевают песни. Мимо мастерской проходят бабы с котомками за паузкой: принесли работу или получили новую. Идешь, и сердце радуется»³¹.

Но вот приближился 1905 год, и положение в Талашкине изменилось. Первая русская революция затронула и его. Тенишева привлекла к Талашкину революционно настроенных учителей, они, в свою очередь, вели пропаганду среди учеников старших классов, и это возымело свои результаты. Были прекращены занятия. Это вынудило Марию Клавдиевну закрыть школу и мастерские, уехать на два с половиной года в Париж. Таким образом, мастерские в Талашкине перестали существовать, школа перешла на государственное обеспечение, художественная жизнь в центре замерла.

Однако и находясь далеко от России, Мария Клавдиевна не снизила активности в своей дея-

тельности. Здесь особенно следует обратить внимание на ее помощь женщине-художнице. Она помогала очень многим, а когда этого не получалось, как со скульптором А. С. Голубкиной, глубоко сожалела. «Я давно могла бы ей помочь. Для меня нет большего удовольствия, как помочь действительно настоящему художнику, человеку одаренному, любящему свое дело и погибающему от недостатка средств. Но вот почему я не помогла ей? Почему не сделала этого шага? Надо сказать, что если трудна дорога каждого артиста, то для женщины-артистки она неизменно трудней. Говорю это не с точки зрения «квасного» феминизма — я феминисткой в этом узком смысле слова никогда не была, но какая разница в отношениях к мужчине и женщине на одном и том же поприще? Как глубоко несправедливо и оскорбительно это отношение к женщине-художнице, женщине-артистке. Чтобы женщине пробить себе дорогу, нужны или совершенно исключительные счастливые усилия, или же ряд унижений, компромиссов со своею совестью, своим женским достоинством. Через что только не приходится проходить женщине, избравшей артистическую карьеру, хотя бы одаренной и крупным выдающимся талантом... И сколько из них погибает или бьется всю жизнь в нищете, как эта Голубкина?»³²

Причина отказа Голубкиной была в том, что перед этим Венуа упросил Марию Клавдиевну помочь скульптору О. Э. Бразу, чьи работы ей не нравились.

Долгие годы связывала Марию Клавдиевну дружба с искусствоведем Ольгой Георгиевной Вазанкур. Она гостила в Талашкине в 1909 году, в Париже они вместе занимались пропагандой русского искусства. Примечательно одно письмо Тенишевой к ней: «Не удивляйтесь, что Вам, как самостоятельной и мыслящей женщине, трудно пробить препятствия на высшем пути! Это участь всех женщин, которые хотя что-либо проявить, выходящее из пошлой рамки общепринятого понятия роли женщины в обществе. Если, кроме таланта, у нее ничего нет, ее эксплуатируют, ее душат, если же у нее, кроме таланта, есть средства, ее тоже эксплуатируют, и даже очень, и все ее способности и успех приписывают деньгам. Не говоря уже о том отношении мужчин; если женщина благообразна, на этом можно построить целую драму! Мои лавры, верьте мне, тоже трудно мне достались, зависть и недоброжелательность были моими вечными спутниками, и много, много глубоких царпин я ношу в своем сердце»³³.

Тенишева своеобразно рассчиталась с обществом; она оставила воспоминания, где затронула темные стороны больших художников, очень резко высказалась о высшем свете, церкви, царской армии, предпринимателях, торгующих «сахаром и совестью», то есть агонизирующая Россия предреволюционной поры предстала в самом негативном виде на страницах воспоминаний. И в этом отношении это редкий документ, написанный не в далекой эмиграции по прошествии многих лет, а по следам событий, которые резко меняли жизнь и самой



Экспозиция Тенишевского музея в Лувре. 1907 г.

Тенишевой. Благотворительная деятельность Марии Клавдиевны приобрела такие широкие масштабы, что ей не стеснялись присылать эскизы неосуществленных созданий, прилагая при этом реестрик оплаты. Когда же она отказывалась принимать такие «дары», то, как она сама замечала, «даже ленивый и тот считал своим долгом бросить в нее камень».

А после смерти мужа средства были уже не те, наследство было поделено между нею и сыном князя, и потому, чтобы не прекратились художественные деяния, пришлось продать и сдать в аренду несколько домов. Впрочем, и раньше она проводила странные в понятии современников денежные операции, продавая бриллианты, золото и на вырученные средства покупая предметы русской и западной старины, тратя их на археологические раскопки, устройство выставок национального искусства. (Тенишевская коллекция западных raritetов сейчас входит в коллекции музеев Кремля.) Многие благодаря Тенишевым нажили состояния, по-

местили их в швейцарские банки. Мария Клавдиевна все вложила в русское искусство и оказалась после революции в парижской эмиграции без средств к существованию, хотя и с титулом княгини.

Впрочем, и при жизни этот титул мало что значил. Травля ее некоторых прогрессивных начинаний была настолько реакционно-неприкрыта со стороны властей, что она подвергалась судебным разбирательствам и аресту. Власть настолько были напуганы революционными выступлениями народа, что даже либерально настроенных деятелей относили к революционерам, хотя в действительности они ими и не были. Но такое положение дел показательное для России конца XIX — начала XX века.

Больше всего трений и осложнений перенесла Тенишева в период создания своего смоленского музея старины. Это было собрание, отражавшее историю и культуру не только местного края, но, можно сказать, и всемирную. Оригинальность состояла в том, что все это показыва-

лось на памятниках декоративно-прикладного искусства. Ею и ее сотрудниками И. Ф. Барщевским, В. И. Сизовым совсем не отвлекаясь, а вполне конкретно была воспринята строка древнего летописца: «О, светло-светлая и украсноукрашенная земля Русская! И многими красотою удивлена еси... Всего еси исполнена земля Русская!»

Они задались целью эти «красоты» отыскать во всех уголках России, собрать в одном месте, сохранить, научно обработать. «За границей все воспето, изучено, иллюстрировано, издано, нам же — русским поучиться негде и не на чем. До сих пор у нас в России, у которой нет ни художественных изданий, где целые периоды русского искусства не нашли своих историков, а произведения выдающихся представителей русского искусства еще не изданы, — до сих пор находятся люди, издающие за громадные деньги давно прославленные иностранные шедевры. Что мне иностранные мадонны XII века? Что мне мраморные капители? Что мне затейливые произведения Бенвенуто Челлини? Я дошла до того, что, живя за границей, с ненавистью относилась ко всем искусствам Запада и стала искать людей, противоположных тем, которые окружали меня, людей чисто русских духом, любящих и понимающих русское искусство. Тогда я вспомнила о Сизове»³⁴.

Эту выдержку из воспоминаний Тенишевой надо понимать не в прямом смысле. С одной стороны, она дает совершенно правильную оценку отношения к народному искусству в тогдашней России: его только-только начали изучать и несколько энтузиастов собирать; с другой стороны, она вполне оценивала и «мадонн XIII века» — в ее собрании была редчайшая византийская икона данного периода, и она совершенно была уместна в ее собрании в плане научной оценки влияния византийской живописи на древнерусское искусство и просто как редчайший памятник (ныне украшающий центральный московский музей).

В. И. Сизов, будучи в очередной приезд в Талашкине, осмотрел собранные ею коллекции русской старины, пока спрятанные в чуланах и на чердаках, дал методические указания, как продолжать дальше собирать, и, что самое главное, посоветовал пригласить для этой работы Ивана Федоровича Барщевского — прекрасного знатока старины. Это и было сделано. Кроме этого, в 1898 году она предприняла путешествие вместе с А. В. Праховым по старым русским городам, где «уже совсем другими глазами стала смотреть на памятники старины». «Когда же я приехала в Ярославль, с моей душой сотворилось что-то волшебное — я просто не чувствовала себя и влюбилась во все, что видела перед собой, начав с набожным, не могу иначе его назвать, чувством впитывать в себя красоты нашего прошлого. Ростов тоже меня поразило. Я вернулась из этого путешествия обновленная, богатая новыми чувствами, с переполненной душой»³⁵.

Надо сказать, что таких путешествий было несколько и в еще более удаленные уголки Рос-

сии, куда добирались в розвальнях. И вот стали привозиться в Талашкино прекрасные изразцы, кованый металл, деревянная расписная и резная посуда. Уже в ту пору была вполне осознана красота росписи Пермогорья, и оттуда было привезено несколько вещей Якова Ярыгина, причем его раннего периода, а также масса других предметов быта безвестных мастеров, не менее интересные по исполнению. С Поволжья поступила домовая резьба: лобовые доски с акантовым узором, наличники с берегинями, ковши-черпаки с затейливыми ручками. Они дополнили коллекцию вологодских ковшиков-наливок.

Было привезено большое количество вышивок, кружев с сюжетными и геометрическими узорами, исполненные льняной и золотой нитью, головные уборы, среди которых выделялись северные кокошники, торжковские платки XVIII века. Причем М. К. Тенишева не стремилась поработить количеством. У нее были другие задачи. Так, например, она сумела показать развитие набойки всего на ста образцах, от самых ранних до самых поздних, но зато каких! Благодаря тенишевской коллекции смоленский музей имеет образец набойки XVI века на шерсти, льняной полог XVIII века, турецкие и иранские набойки, а также русские с сюжетными изображениями. Не случайно такой известный исследователь народного искусства, как Н. Н. Соколов, в книге «Набойка в России» (М., 1912) использовал образцы смоленского музея. Другой исследователь народного искусства, А. А. Бобринский, в своих обширных альбомах по дереву опубликовал большое количество памятников тенишевской коллекции.

Даже сейчас, значительно утраченные в Великую Отечественную войну, коллекции имеют большую научную ценность, и при каждом очередном изучении того или иного собрания появляются открытия. Так, готовя издание по резному и расписному дереву, я обнаружила короб, на котором запечатлены скоморошья игры. И это оказался единственный пока из выявленных памятников народного искусства, причем объемный предмет, на котором дан такой рисунок.

Было обращено, несомненно, большое внимание на историю и культуру смоленского края. Наибольшую ценность из всех ремесел имели ткачество и вышивка. Поэтому были собраны комплекты одежды каждого уезда, и к тому же в большом количестве.

«Далось мне это не без борьбы», — напишет потом Тенишева в воспоминаниях. Не понял ее Репин, который в одном из писем с пренебрежением отзывался о «старинных братинах», собираемых ею. Позже он об этом пожалел. Не понимали А. Н. Бенуа и С. П. Дягилев и предпочли отдать страницы «Мира искусства» пропаганде символизма в лице Мережковского, чем памятникам старины и фотографиям И. Ф. Барщевского. Но никакие компромиссы, предложенные Дягилевым на переговорах с Марией Клавдиевной в 1904 году, не смогли спасти журнал; в средствах было отказано. Русское народное искусство было оценено выше, и естественно все

усилия по его собиранию, хранению и пропаганде.

Сдержанно относился к затеям жены и Тенишев, считавший, что старина является тормозом прогресса науки. Было сложно и с поставщиками, которые вместе с ценными вещами предлагали много рухляди. А бывало и наоборот, когда к скупщикам золота и серебра попадали редкие вещи, шедшие на переплавку. Тогда надо было спешить. Так произошло с распродажей предметов из ризницы смоленского Успенского собора.

Мария Клавдиевна приобрела несколько предметов, и это обернулось для нее трагедией. В 1903 году она начала строить музейное здание в Смоленске, потому что коллекции в Талашкине уже не умещались, да и надо было показать их широкому зрителю. Но только успели разместить коллекции, как в первые дни революции 1905 года хулиганы забросали музей камнями, разбив окна и несколько витрин. Тогда Тенишева увезла коллекции в Париж, первоначально разместила их в своем доме, но вскоре интерес к ним оказался всеобщим, и французское правительство предложило показать их в Лувре в павильоне декоративного искусства. Был составлен и напечатан на французском языке каталог, включавший более шести тысяч экспонатов, развернута экспозиция — коллекция буквально всех поразила. И неудивительно, русского народного искусства Запад не знал, и это было первое его знакомство.

В это время в России происходил разгул реакции. В Смоленске вспомнили о покупках Тенишевой, и появилась статья о «разграблении соборной ризницы». В них не осуждался киевский торговец переплавленным золотом Золотницкий, а упоминался Тенишев и именно купленные ею 3—4 предмета представлялись как «разграбление». Реакционность нападок была очевидна. Газетная перебранка перешла в судебное дело уже по обвинению в оскорблении в печати. На одном из судебных заседаний Тенишеву признали виновной и подвергли семи дням домашнего ареста. С показаниями в защиту Марии Клавдиевны на суде, а также и в печати несколько раз выступал Н. К. Рерих. Только в начале десятых годов страсти улеглись, когда Тенишева вернула экспонаты в Смоленск. В 1911 году безвозмездно передала их Московскому археологическому институту на правах его смоленского филиала, за что Смоленск избрал ее почетной гражданкой. «...Я сказала себе, что храмы, музеи, памятники строятся не для современников, которые большей частью их не понимают. Они строятся для будущих поколений, для их развития и пользы. Нужно отбросить личную вражду, обиды, вообще всякую личную точку зрения, все это отбросить со смертью моих врагов и моей. Останется созданное на пользу и служение юношеству, следующим поколениям и родине»³⁶, — напишет потом в воспоминаниях М. К. Тенишева эти пророческие слова.

Большие статьи о музее поместили все ведущие газеты и журналы, в том числе и зарубежные, один американский миллионер пожелал

купить его. В наиболее тяжелые дни борьбы Н. К. Рерих писал М. К. Тенишевой: «...В то время как про Вас, как и про всякого выдающегося и талантливого человека, спешат говорить нехорошее, — поступки Ваши всегда являются самым лучшим оправданием. История Ваша, основанная на такой фактической стороне, будет одною из светлейших историй наших культурных личностей... Ваша счастливая наружность внесет особую ноту в полноту понятий о Ваших делах»³⁷.

И вот итог — всеобщее признание. «Был я и в Смоленске, и восхищался музеем кн. Тенишевой. Музей превосходно составлен. Иконы в нем есть превосходнейшие, а в особенности много старинных кружев, имеются старинные материи и пр., резьба по дереву и пр., и пр. Честь и слава княгине!»³⁸ — писал 31 декабря 1910 года историк В. Т. Георгиевский художнику В. М. Васнецову.

Для самой же Марии Клавдиевны было сделано еще только полдела. Недостаточно было только собрать старину, надо было еще ее изучить. И вот начинается второй этап. Первоначально подготавливается и издается в Смоленске пока скромный каталог-список собрания. Ведется переписка с профессором Н. П. Кондаковым, и он дает согласие описать памятники древнерусского искусства. Профессора Московского археологического института начинают составлять научный каталог, И. Ф. Барщевский издает каталог музыкальных инструментов из собрания, В. К. Клейн публикует статью о вышивках. К сожалению, первая империалистическая война (1914 г.) прервала эту работу.

Часть материалов своего собрания Тенишева опубликовала в своем исследовании «Эмаль и инкрустация». Об этом следует сказать подробнее. Во-первых, многие годы она плодотворно занималась творческой работой с эмалью и получила европейское признание. Ее эмали до настоящего времени ценятся очень высоко. Они, в частности, в 60-е годы продавались на одном из аукционов в Лондоне рядом с работами Пикассо и импрессионистов.

Высокую оценку ее работ дал такой известный эмалиер, как Рене Лалик, а Тесмара пригласил совместно работать с ним. Мария Клавдиевна в своих опытах, проводимых совместно с химиком Жакемом, восстановила, а вернее, создала заново более двухсот оттенков непрозрачных эмалей, выдерживающих сильнейший огонь и не боящихся никаких кислот. Все эти находки нашли воплощение в ее декоративных работах: ларцах, блюдах, подсвечниках, окладах. Со своими произведениями она участвует на крупнейших европейских выставках в Париже, Брюсселе, Лондоне, Риме, Праге. Особый успех они имели в Италии. Газеты писали: «Это драгоценное возрождение того древнего искусства, тайна которого казалась потерянной навсегда. Ее формы оригинальны, оттенки красок нежны, бархатисты и до того живы, что кажутся самоцветными камнями неизвестных пород. В то же время совершенство работы говорит как о трудности исполнения, так и сложности, терпе-

ливом и вдумчивом изучении художницей своего предмета»³⁹.

За участие в этой выставке Тенишева была награждена специальным дипломом министерства народного просвещения Италии, а также избрана почетным членом Римского археологического общества. Второе обстоятельство открыло ей путь к уникальным археологическим памятникам в Италии, и она не замедлила этим воспользоваться. Помимо эмали, ее интересовала и техника инкрустации. И вот ей удается собрать редчайшую коллекцию — более ста экспонатов, — образцов античного стекла его расцвета (I в. до н. э. — I в. н. э.), выполненных в Италии и в Египте, дополнить ее стеклом северного Причерноморья, и таким образом смоленский музей в настоящее время имеет единственную в нашей стране коллекцию античного стекла, в которой представлены все техники его исполнения. Причем есть такие образцы, которые не имеют мировых аналогов.

В начале статьи мы уже говорили об особом отношении Тенишевой к Востоку. Теперь следует этого коснуться шире. Ее историко-этнографический музей в Смоленске включал не только собрания русской старины, но там были представлены и лучшие образцы западного искусства. Особый раздел составлял Восток. Во-первых, это образцы византийского искусства. Будучи знакома с такими крупнейшими учеными-византистами, как Шарль Диль и Габриэль Милле, она в их лице имела прекрасных консультантов. В ее собрании была большая коллекция коптских тканей, а также турецких, персидских и т. д. Но, задумав историческое исследование «Эмаль и инкрустация», она стала активно пополнять свое собрание по теме данной работы. У нее появились памятники Древнего Египта, Вавилона, скифского искусства, Северного Кавказа, Средней Азии. Ее исследование как раз и было построено по этой схеме. Закачивалось оно исследованием памятников древнеевропейского искусства. Для своих научных выводов она использовала памятники, хранящиеся и в других европейских музеях, подчас опираясь на существующие атрибуции.

Труд Тенишевой завершился защитой диссертации в 1916 году в Московском археологическом институте, за которую она была удостоена золотой медали и сразу же получила приглашение заведовать кафедрой.

Но на этом «восточная тема» не иссякла. Она нашла свое продолжение в работах Н. К. Рериха по росписи талашкинской церкви. Их встречи и сотрудничество возобновились, и вот с 1909 по 1914 год художник работает над исполнением росписи и мозаик, в которых в очень интересной, неожиданной интерпретации выразил уже свои интересы к Индии, которые Мария Клавдиевна всячески поддерживала. Официально это создание получилось таким, что церковные власти отказались освящать талашкинскую церковь. Несложно понять почему. Рерих сумел в каноническую форму образа Спаса Нерукотворного внести черты, совершенно не свойственные древнерусской живописи, но одновременно отразив-

шие его интерес к Востоку. «Та совместная работа, которая связывала нас и раньше, еще больше кристаллизировалась на общих помыслах о храме. Все мысли о синтезе всех иконографических представлений доставляли М[арию] К[лавдиевну] живейшую радость. Много должно было быть сделано в Храме, о чем знали мы лишь из внутренних бесед»⁴⁰, — писал потом художник.

До знакомства с Индией здесь, на смоленской земле, Н. К. Рерих постарался выразить все представления о ней: философские, моральные, художественные. 28 февраля 1909 года Мария Клавдиевна писала ему: «Не надо уступать ничему и никому, борьба необходима и с собой — такова жизнь... Берегите себя для хорошего, берегите слух и глаза, рядом с дурным есть столько прекрасного, высокого, туда и обращайтесь взор»⁴¹.

Рерих одновременно глубоко проникся и культурой смоленского края. Часто слушал он напевы смоленского гусяря С. П. Колосова, и, когда возникла идея создать балет «Весна священная» с И. Ф. Стравинским (1911 г.), он приглашает композитора в Талашкино. Композитор был в восторге от увиденного, и через две недели уже появились музыкальные фрагменты балета.

Вот что писал Рерих жене в одном из писем из Талашкина: «Опять вернулись с городища в 7 вечера. Обидно, что в течение каких-нибудь 10 часов (в 2 дня) вещей накопано больше, нежели в Новгороде за две недели. Интересен крест-корсунчик костяной, узорная рукоять ножа, амулеты, стремена, масса разнообразных бус, копы, топоры, пряжки и прочее. Вроде гнездовских вещей по типу»⁴².

Творчество Рериха получает всеобщее признание, и в том числе те работы, которые были созданы в Талашкине. 17 апреля 1912 года Мария Клавдиевна пишет ему: «Добрейший Николай Константинович. Какое милое, хорошее письмо Вы написали мне из Москвы, сколько в нем сердечности и теплоты! Спасибо Вам за все доброе, оно так хорошо ложится на душу. Делаю что могу и как могу, но часто чувствую истину пословицы «бодливой корове бог рог не дает». Много я могла бы сделать, планов и замыслов у меня хоть отбавляй, но средства имеют границы. При жизни моего мужа было легче — он наживал, а я этого делать не умею... Мы с Вами решили уже, что жизнь состоит из света и тени; то, что облит солнцем, что манит своим благородством, воспаляется и выдвигается тенями. От души радуюсь Вашим успехам, но не удивляюсь. Я всегда веровала в Вашу мощь и ни на минуту не сомневалась, что Вы в конце концов займете свое место»⁴³.

В предреволюционные годы Тенишева делала немало для Смоленска: она способствует открытию филиала Московского археологического института, учительского института, созданию общества по изучению края, финансирует раскопки и даже открывает госпиталь. Осознает ее общенациональное значение вклад М. К. Тенишевой в русскую культуру. Еще раньше она была избрана почетным членом Общества русских

акварелистов, затем Общества поощрения искусств в Петербурге, а в школе этого Общества был утвержден младший класс композиции ее имени. В 1911 году она была избрана почетным членом I Всероссийского съезда художников. Она была членом редакции журнала «Боян», членом общества и председателем смоленского отделения защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Это было заслуженное признание.

Но вот приближается 1917 год. Мария Клавдиевна записывает в дневнике: «Наше общество сверху донизу заражено тунеядством, и это хро-

ническое ничегонеделание теперь, во время войны, является преступлением перед родиной и предательством... А вот по сравнению с ним крестьянин... Не зная даже слова «патриотизм», он отдал родине все, что имел: своих сынов, свою последнюю скотину, свой посильный труд в лице копошащейся бабы с подростком на одинокой ниве, и наконец, он отдал самое дорогое — свою жизнь»⁴⁴.

...Нелегко сложилась судьба Тенишевой. Волна эмиграции вынесла ее на чужой берег. Но тоска по России, по ее народу навсегда осталась в сердце этой женщины.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. Париж, 1933, с. 35.
- ² Там же, с. 43.
- ³ Там же, с. 50.
- ⁴ Там же, с. 50.
- ⁵ Архив Академии художеств (Ленинград). Оп. 82, АЗр XIII, к. 1.
- ⁶ Там же.
- ⁷ Тенишева М. К. Указ. соч., с. 111.
- ⁸ Там же, с. 139.
- ⁹ Институт театра, музыки и кинематографии (Ленинград). Ф. 1, оп. 1, ед. хр. 177.
- ¹⁰ ГРМ, отдел рукописей, ф. 137, д. 1619, л. 9.
- ¹¹ Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1980, т. 2, с. 56—57.
- ¹² ГРМ, отдел рукописей, ф. 137, д. 554, л. 9.
- ¹³ Там же, ф. 137, д. 553, л. 14.
- ¹⁴ Тенишева М. К. Указ. соч., с. 206—207.
- ¹⁵ Там же, с. 265.
- ¹⁶ Бенуа А. Н. Указ. соч., т. 2, с. 196.
- ¹⁷ ГРМ, отдел рукописей, ф. 137, д. 553, л. 7.
- ¹⁸ Сергей Дягилев и русское искусство. М., 1982, с. 16.
- ¹⁹ Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л—М., 1963, с. 112.
- ²⁰ Там же, с. 250.
- ²¹ Талашкино. Спб., 1905, с. 15.
- ²² Молева Н. М. Жизнь моя — живопись. М., 1977, с. 163.
- ²³ ЦГАЛИ, ф. 2408, оп. 2, ед. хр. 4, л. 4.
- ²⁴ Там же, л. 18—19.
- ²⁵ Там же, л. 32.
- ²⁶ Там же, ф. 2408, оп. 2, ед. хр. 7, л. 3.
- ²⁷ Тенишева М. К. Указ. соч., с. 238—239.
- ²⁸ Там же, с. 251.
- ²⁹ Там же, с. 248.
- ³⁰ Там же, с. 351—352.
- ³¹ Там же, с. 196.
- ³² ИРЛИ, ф. 15, ед. хр. 639.
- ³³ Тенишева М. К. Указ. соч., с. 301—302.
- ³⁴ Там же, с. 304.
- ³⁵ Там же, с. 447.
- ³⁶ ЦГАЛИ, ф. 2408, оп. 2, ед. хр. 7, л. 7.
- ³⁷ ГТГ, отдел рукописей, ф. 66/346.
- ³⁸ «Смоленский вестник», 1914, 21 февраля.
- ³⁹ Рерих Н. К. Из литературного наследия. М., 1974, с. 347.
- ⁴⁰ ГТГ, ф. 44/1391.
- ⁴¹ Там же, ф. 44/307.
- ⁴² Там же, ф. 44/1396.
- ⁴³ Тенишева М. К. Указ. соч., с. 470—471.
- ⁴⁴ ЦГАЛИ, ф. 2408, д. 8, оп. 2, л. 3.

В. Степанов

Этот марш не смолкал на перронах

Уже почти три четверти века звучит марш «Прощание славянки». В народе это популярное произведение часто величают кратко и ласково — «Славянка». Неувядаемый музыкальный шедевр создал полковой штаб-трубач Василий Иванович Агапкин в Тамбове осенью 1912 года, когда балканские народы начали боевой поход за полное освобождение от турецкого гнета.

На священную войну балканские славянки мужественно провожали своих сыновей, мужей, братьев, женихов. Им, героическим славянкам, и посвящен патристический марш.

62 года прослужил в армии военный музыкант, дирижер, композитор Агапкин. Самым незабываемым в его долгой, богатой событиями жизни был парад 7 ноября 1941 года в Москве, на котором Василий Иванович дирижировал сводным духовым оркестром, за что получил благодарность Верховного Главнокомандующего.

* * *

Короток осенний московский день. А этот, 2 ноября 1941 года, — совсем мал. Небо облачное, припало к самым крышам, и по городу рано-рано растекаются сумерки.

Машина Агапкина летит по пустынным улицам. На площадях — расцеленные зенитки, на улицах щетинятся металлические ежи. Огромные плакаты на домах призывают: «Отстоим Москву!» Машину Агапкина останавливает патруль. Boys с автоматами и противогазами, в касках.

— Товарищи, ваши документы...

В Москве и прилегающих к ней районах с 20 октября введено осадное положение. Ответственность за строжайший порядок возложена на военного коменданта столицы генерал-майора Синилова. Ему подчинены части НКВД, милиция, добровольческие рабочие отряды. Днем и ночью они на чеку.

Агапкин прибыл в приемную военного

коменданта. Было многолюдно. Его сразу же встретил адъютант генерал-майора. Через несколько минут капельмейстер, провожаемый вопросительными взглядами военных, уже вошел в кабинет Синилова, удивляясь такой поспешности.

...Возвращался в дивизию Василий Иванович глубоко озабоченным. Был готов выполнить любой приказ, но вот о таком даже и подумать не мог. В эти несколько дней, когда вражеские полчища рвутся к Москве, Агапкин должен создать сводный духовой оркестр...

Беда свалилась на Ивана Агапкина неожиданно — потекла соломенная крыша. Бревенчатые стены тоже стали трухлявые. Чтобы подновить избушку, надо идти с поклоном к кулаку. В три погибели согнешься, пока отработаешь долг.

После долгих, мучительных раздумий Иван заколотил досками окошки, дверь и покинул с семьей рязанскую деревню Шанчерово. Подался в далекую Астрахань, о которой ходила людская молва: там, на перепутье больших водных дорог, куда текут разные товары по Волге-матушке и Каспию, можно красно жить, если не лениться работать.

А ведь еще совсем недавно он светился радостью. 3 февраля (по новому стилю) 1884 года в семье Агапкиных было прибавление: громко закричал малыш. Повивальная бабка пророчила:

— Ну и голос! Богатырем будет!

Иван ходил петухом. Бог послал сразу сына. Мальчика назвали Васюткой.

Потом горе, одно за другим. В тот же год в Астрахани слегла в могилу Акулина, мать крохотного Васютки. Что делать Ивану, с утра до вечера разгружавшему на пристани баржи? Помучился, помучился один и привел сироте мачеху — одинокую, средних лет Анну.

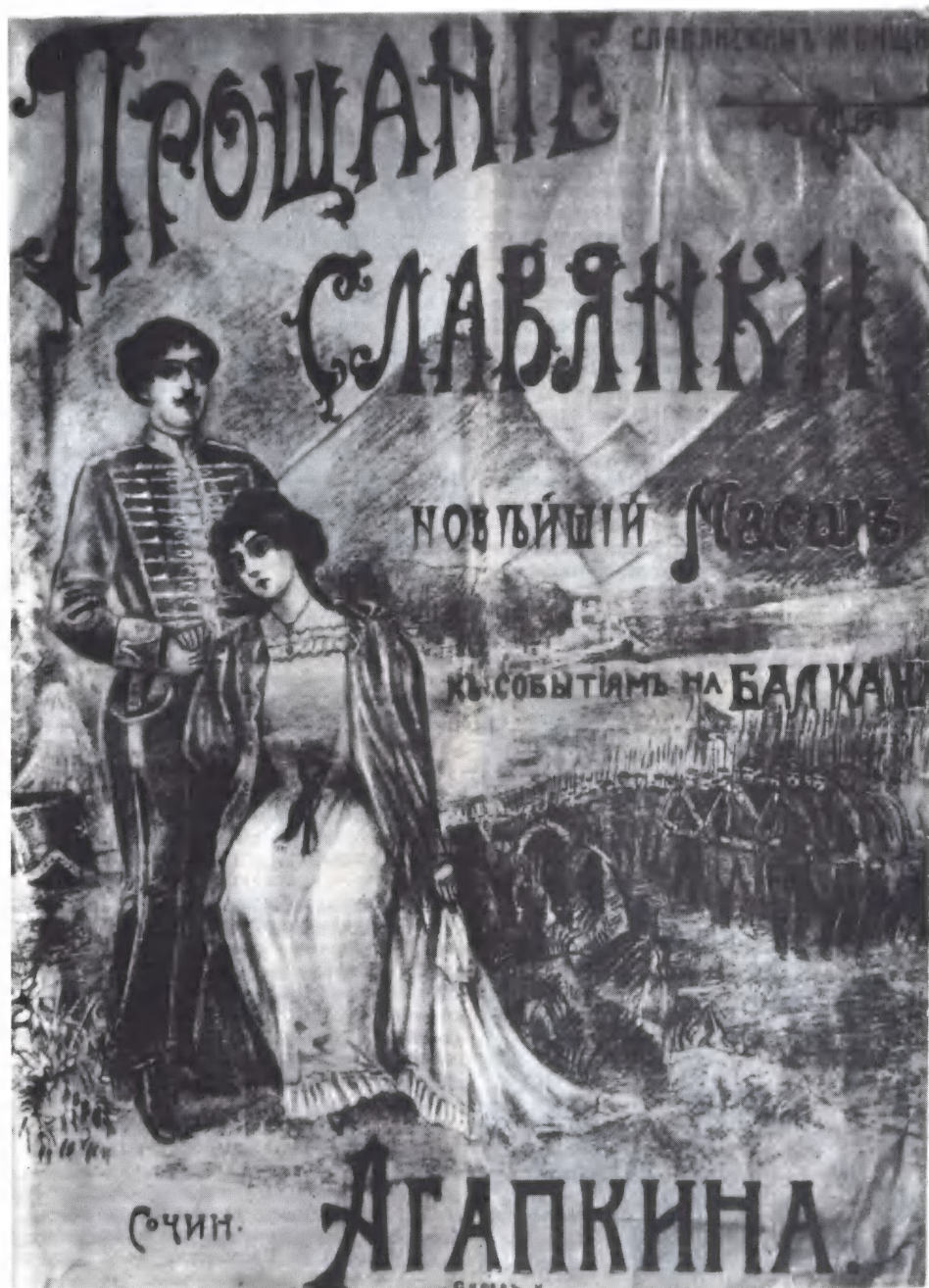
Она казалась не такой мачехой, какими пугают озорных детей. Берегла Васю, голубила, он скоро привязался к ней. Пошли у нее и свои дети: Вера, Настя, Ваня. Семья стала большая, и Ивану приходилось работать в порту так, что еле-еле добирался до дома.

Вася подросток. Удалось определить его в церковноприходскую школу. Иван приободрился: какая удача!.. И опять радость в семье сменилась слезами. Иван тащил на горбу тяжелый куль и упал возле баржи, сраженный солнечным ударом. Ему было от роду тридцать девять.

Теперь тяжкие заботы о семье легли на одну Анну. Работала поленно, где только могла, часто стирала грузчикам грубые рубы. Руки опухали, не давали по ночам спать, но все равно она не могла прокормить трех дочек и мальчика. И пошел Вася, который был постарше сестренки, по миру собирать медные копейки...

Выдался счастливый случай — попал он к музыкантам Царевского резервного пехотного батальона, квартировавшего в Астрахани. Капельмейстер проверил у мальчика слух и воскликнул:

— Почему раньше не приходил?!



Десятилетний Вася Агапкин стал воспитанником в батальонном духовом оркестре. С этого 1894 года и началась его долгая армейская служба. В пятнадцать лет усердный и талантливый Вася был в оркестре уже солистом! Такое бывает очень редко.

Время летело...

Он повзрослел. Уже отслужил на Кавказе действительную. В 1910 году трубач Агапкин приехал в Тамбов, где намеревался осуществить давнюю мечту — поступить в здешнее музыкальное училище. А денег на учебу не было. Что же делать? Поступил на сверхсрочную службу в запасной кавалерийский полк штаб-трубачом. Такое место при штабе доверялось только отличному музыканту, умеющему безупречно подавать на трубе разные сигналы, скажем, во время походов, учений... Армейскую службу стал совмещать с занятиями в музыкальном училище, что было очень непросто.

В октябре 1912 года тихий Тамбов всколыхнула весть: загрела 1-я Балканская война. Начался освободительный поход против султанской Турции, которая несколько веков жестоко угнетала балканские народы. Не раз они поднимались на священную борьбу. В войну 1877—1878 годов на помощь болгарам пришли русские, их братство скреплено кровью на легендарной Шипке и под Плевеном. Потому-то в 1912 году россияне так близко к сердцу приняли весть о том, что их братья славяне начали сражаться за полное освобождение от турецкой

тирании. Одно поражение за другим они наносили врагу. Примерно через месяц болгарские войска подошли уже к Константинополю.

В Тамбове нарасхват раскупали газеты «Тамбовские край», где печатались военные сводки с Балкан. Сыны и внуки героев 122-го Тамбовского пехотного полка, который три десятилетия назад тоже сражался под Плевеном, радовались боевым успехам братьев славян.

Агапкин в эти дни не находит себе места, весь захваченный победными сражениями на Балканах. Хотелось свои патристические чувства выразить в музыке. Тут-то и пригодился старенький, недавно купленный рояль, на который терпеливо копила деньги жена Оленька, одна из первых тамбовских модисток, не сидевшая без заказов.

Трудно рождается мелодия. Агапкин то садится за фортепьяно, то склоняется над нотными листами... Из окна одноэтажного частного дома на Гимназической улице (теперь Коммунальная), где трубач снимает две комнатки, несутся и несутся звуки. Играет Василий Иванович, а сам представляет, как балканские славянки провожают на войну с турками отцов и сыновей, братьев и женихов. Расставание трудное, но священный долг перед Родиной зовет на бой.

Свой марш трубач Агапкин так и назвал: «Прощание славянки». Мелодия сначала трогательно-напевная, хватающая за душу, потом из минорной она переходит в мажорную, бодрит, воодушевляет! Стремительно полетела она над Россией. Ноты нового произведения издавались тираж за тиражом, великолепно оформлялись.

Одну книжечку нот того времени композитор сберег до конца своих дней, а сейчас она хранится в библиотеке его семьи. На титульном листе — незабываемый рисунок. На дальнем плане изображены горы и отряд воинов. На переднем — красавица славянка трогательно прощается с другом, уходящим с отрядом на освободительную войну.

На рисунке читаем: «Прощание славянки» — новейший марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам». Эти пояснительные слова отпечатаны типографским способом. На внутренней стороне обложки — «характеристика», которую через много лет написал сам автор. Отпечатал на машинке столбиком, чтобы смотрелось интереснее, и приклеил листок на обложке.

В таком же виде текст Агапкина и приводим:

«Характеристика.

Марш «Прощание славянки» был мною написан под влиянием событий на Балканах.

Марш посвящен женщинам-славянкам, провожающим своих сыновей, мужей и братьев на священную войну, на защиту Родины.

В мелодии отражено лирическо-мужественное прощание.



В. И. Агапкин.



В. И. Агапкин.

Я преследовал цель, чтобы она была проста и понятна всем. Марш — патриотический, исполнялся и в гражданскую, и в Великую Отечественную войны.

В. Агапкин».

Куда бы ни забрасывала Василия Ивановича беспокойная армейская судьба, с ним всегда, в радостное и тревожное время, был его марш, который в народе стали называть кратко и ласково — «Славянка».

Великий Октябрь Агапкин встретил в Тамбове. Вступил в красный гусарский полк, дирижировал духовым оркестром, вместе с лихими конниками прошел по фронтам сотни огненных верст. Перенес тиф, его отправили в Тамбов выздоравливать. Тут он стал капельмейстером в батальоне ВЧК, сражавшемся с бандами антоновцев.

Отполыхала гражданская война. Агапкина как большого мастера дирижерского дела вместе с его музыкантами перевели в Москву. Он долго служил в военном учебном заведении. А в свободное время его великолепный оркестр выступал с популярными концертами в старинном московском саду «Эрмитаж». Здесь, под кронами лип, часто звучал и марш «Прощание славянки».

Яркие афиши сообщали: очередной концерт состоится 22 июня. Но не состоялся — на рассвете этого воскресного дня началась война...

Оркестр Агапкина расформировали. Музыканты пошли служить в полки, а их капельмейстера направили в одну из воинских частей Московского гарнизона.

Итак, интендант первого ранга Агапкин (на каждой петлице у него по три шпалы) получил задание «чрезвычайно важное» — в кратчайший срок создать сводный духовой оркестр. Готовился в глубокой тайне военный парад, который должен состояться на Красной площади 7 ноября 1941 года. Готовился в небывалой обстановке — под самым носом у лютого врага.

Но как создать? До войны в столице было немало отличных музыкантов. Когда враг напал, многие отправились на фронт, а часть эвакуировалась вместе с военными учебными заведениями в тыл. Вызывать людей из других мест времени уже не было. Оставалось одно — организовать сводный оркестр из музыкантов тех воинских частей, которые сейчас в Москве. В него включили также несколько полковых оркестров из дивизии, куда совсем недавно перевели служить Агапкина. Этот сводный стал называться оркестром штаба Московского военного округа. Так он упоминается в литературе до сих пор.

Под каким предлогом музыкантов собрать вместе, чтобы это ни у кого не вызвало подозрения о подготовке к параду? В архиве сохранилось предписание, адресованное командирам полков. Текст его самый обычный, какой встречался раньше не раз: направить оркестры на репетицию «для предстоящего концерта».

Как мы уже знаем, Агапкин получил приказ от военного коменданта Москвы перед вечером 2 ноября. А первая репетиция сводного оркестра была намечена уже на утро 4 ноября. На подготовку к ней у Василия Ивановича времени было в обрез — один день и две ночи. Он летал на автомобиле по Москве, наведываясь к полковым музыкантам, которые квартировали в разных местах города, обдумывал, какие произведения репетировать, хлопотал о нотах... Дел — только успевая поворачиваться.

Лишь глубокой ночью Агапкин присел в своей служебной комнатке к столу. Подставив под щеку ладонь, он устал был на лежащие перед ним ноты, а сам видел... суматошный и нервный вокзал. В тот день, первого августа, он провожал семью к родным в Астрахань. Прижал к себе маленького Игорьку и не в силах отпустить... А через несколько дней ему на службу позвонили:

— Василий Иванович, беда!..

Примчался Агапкин в Кисельный переулок и ужаснулся: от дома, где прожил тринадцать лет, остался после ночной бомбежки только каркас. В квартиру Агапкина на втором этаже вражеская фугаска не угодила, но все равно квартира пострадала так, что Василий Иванович пробрался в нее с трудом.

На полу, среди обвалившейся штукатурки, битого стекла и обломков мебели, лежали искорканные клавиши, а над ним висели оборванные струны. Агапкин подошел к безжизненному роялю, положил на него трясущиеся от волнения руки и будто окаменел. Рояль этот — самый дорогой для него на свете: на его струнах родился в Тамбове марш «Прощание славянки». Война не пощадила фортепьяно, изуро-



Почетный отзыв РККА капельмейстеру В. И. Агапкину.

довала так, что ни один мастер уже не мог оживить его. Агапкин долго стоял возле разбитого рояля, прощаясь с ним, как с самым близким другом....

...Время за полночь. Тяжелеет и тяжелеет его голова, покачиваясь на подставленной ладони. Агапкин скрестил на столе руки, положил на них голову и, как напишет в воспоминаниях, «тут же уснул не раздеваясь».

Вовремя прибыли музыканты в старинное здание конного манежа (сейчас в том здании на Комсомольском проспекте спортивный зал) на первую репетицию. Начали строиться в огромном помещении, непривычно шаркая сапогами по деревянным опилкам, которыми обычно посыпали в манеже пол.

Прошел Агапкин вдоль первого ряда, и ему стало не по себе. Музыкальные инструменты у некоторых красноармейцев как у неряхи хозяйки самовар. У многих с собой еще и винтовки, и даже противогазы. Что за вид у сводного оркестра!

Только Агапкин хотел распорядиться, чтобы они сняли с себя винтовки и противогазы, как в помещение манежа торопливо вошел генерал-майор Силинов. Василий Иванович скомандовал: «Сми-ирно», стал докладывать, но военный комендант Москвы остановил его, поспешно спросил:

— Все собрались?.. Хорошо. Сейчас приедет товарищ Буденный. Главное — не теряйтесь.

Действительно, почти следом за ним в манеже появился Маршал Советского Союза Буденный. Ему доложил сам Силинов: музыканты прибыли, готовятся к репетиции.

Семен Михайлович подошел к строю оркестра и, взяв под козырек, громко, четко поздоровался. Музыканты ответили — как горохом пустили по стене. Маршал глянул на Агапкина, готового сквозь землю провалиться, но ничего не сказал.

— А зачем музыкантам сейчас винтовки и противогазы? — удивился Буденный. И приказал Агапкину: — Постройте оркестр как надо. Видели, как делает Чернецкий?

Василий Иванович тактично промолчал. Решил: будет нелепо, если начнет объяснять маршалу, что не только видел, «как делает Чернецкий», но и много раз помогал ему управлять сводным оркестром на Красной площади. Музыканты Агапкина занимали в сводном обычно почетное место — правый фланг. (В это время комбриг Семен Александрович Чернецкий — инспектор военных оркестров Красной Армии, выдающийся дирижер и композитор — находился в Куйбышеве, где готовил к параду сводный оркестр.)

— Ну-ка, можете построить? — спросил Буденный.

— Могу, — уверенно ответил Агапкин, хотя сам уже заволновался.

— Сколько времени вам нужно?

— Минут десять.

— Действуйте. Считайте: меня здесь нет, — произнес маршал и повернулся к генерал-майору Силинову.

Не через десять — через восемь минут Агапкин доложил:

— Товарищ Маршал Советского Союза, сводный оркестр по вашему приказанию построен!

На этот раз Семен Михайлович остался доволен строем. Потом попросил список маршей. Агапкин еще вчера решил, что будет репетировать с оркестром только известные произведения — разучивать новые времени нет, но списка не подготовил, так как не знал, что он понадобится.

— Есть только черновик... для себя, — пояснил упавшим голосом Агапкин и достал из кармана сложенный вдвое листок.

Буденный вскинул брови, посмотрел ему в глаза — внимательно и строго.

«В эту минуту я подумал, что Семен Михайлович скажет генералу Силинову: «Зачем вы такому недотепе поручили ответственное дело? — напишет в воспоминаниях Агапкин. — Убрать его!...»

А маршал протянул руку и как-то разочарованно сказал:

— Дайте хоть черновик.

Прочитал Буденный на листке кривой столбик названий, написанных неровным, с наклоном влево почерком. Пояснений не потребовалось — он отлично знал эти произведения, часто звучавшие в мирное время на военных парадах в праздничных демонстрациях.



Играет военный оркестр.

- С какого будете начинать?
- С марша «Парад» Чернецкого.
- Начинайте.

Чтобы не смущать Агапкина, музыкантов, маршал и генерал-майор отошли в сторонку, стали о чем-то беседовать.

Василий Иванович назвал красноармейцам произведение, подал руками знак «поднять инструменты». Получилось вразнобой. Пришлось повторить, и не раз. Вразнобой зазвучала и мелодия. Ее тоже повторяли снова и снова. Исполнив с горем пополам несколько маршей, оркестр постепенно стал сыграваться. Музыканты привыкали к манере дирижирования Агапкина, поувереннее стали чувствовать себя в присутствии маршала и генерал-майора.

Буденный сказал Агапкину:

— Завтра опять соберите оркестр, поработайте еще.

Когда маршал и генерал-майор вышли из манежа, он, обращаясь к полковым капельмейстерам, опечаленно произнес:

— Полный конфуз. — Но тут же взял себя в руки, приказал: — К утру во всех оркестрах навести такой порядок, какой был до войны... Дисциплина должна быть как на передовой!

Агапкин поехал в штаб своей дивизии и сразу же начал готовиться к следующей репетиции. Все тщательно обдумал, все, что нужно, записал. Но волнение не покидало его. Завтра, наверно, опять придет Буденный. Не теряя

времени, Василий Иванович сел в машину и помчался к полковым музыкантам...

Вернулся в штаб только в полночь. Замотался до смерти. Забот хоть отбавляй, да и пятьдесят семь лет от роду — тоже не шутка. Он собирался на часок-другой прилечь (все в штабе были на казарменном положении), но тут по штабу разнеслось:

— Воздушная тревога! Воздушная тревога!

Где-то за окнами, тшательно затянутыми плотной черной бумагой, загрохотали зенитки. С огромной досадой посмотрел Агапкин на запроваленную койку и пошел в бомбоубежище.

Вторая репетиция сводного оркестра началась так, как и наметил Агапкин. Все собирались снова в конном манеже. Но только еще раньше, чем вчера, затемно — в шесть часов утра. До рассвета музыканты успели хорошо потренироваться.

Приехал маршал Буденный. И не узнал вчерашних «новобранцев» — все побриты, подтянуты, инструменты блестят.

— Здравствуйте, товарищи музыканты!

Ответ грянул дружно, мощно.

— Совсем другое дело! — с настроением сказал Семен Михайлович. — Продолжайте заниматься. Заодно попробую и я, не разучился ли?.. — Глаза маршала озорно сверкнули.

Подвели гнедую лошадь. Семен Михайлович легко вскочил в седло и стал ездить по манежу в сторонке от оркестра — места тут было доста-

точно. С начала войны он колесил по фронтам на автомобиле, и сейчас ему, давнему лихому красному коннику, надо было «вспомнить минувшие дни». При удобном моменте Агапкин поглядывал на него и восхищался: в свои пятьдесят восемь лет маршал гарцевал молодцом!

Оказалось, Семен Михайлович не только тренировался под музыку, но и слушал оркестр. Потом он спустился с коня, подошел к Агапкину:

— Видимо, многовато маршей...

Маршал Буденный, конечно, уже знал, сколько будет продолжаться парад.

— Какие оставить? — Агапкин подал ему развернутый лист.

— Вот и список есть, — заметил Семен Михайлович, видимо, вспомнив неказистый вчерашний черновик.

...Наступил канун великого праздника — 6 ноября 1941 года. Вся противовоздушная оборона Москвы в полной готовности. Еще строже, чем до этого, контроль на въездных дорогах в столицу. Удвоила бдительность на улицах и площадях патрульная служба. Повсюду строжайший, военный порядок.

К вечеру настороженный прифронтовой город облетели сигналы: «Воздушная тревога!» Ударил сотни зениток, в воздух взлетели истребительные полки. Около 250 вражеских бомбардировщиков пытались нанести удар по Москве, чтобы сорвать начинающееся предпраздничное торжество. Пытались, но не удалось — 34 вражеских стервятника рухнули на землю, не прорвавшись к городу и другие, повернули назад.

Под грозный аккомпанемент зениток собирались на станции метро «Маяковская» москвичи, представители воинских частей. В мирное время собрания в честь Великого Октября проходили в Большом театре, а сейчас торжество состоится в необычном месте — глубоко под землей, где пассажирский перрон станции «Маяковская» превратили в зал. Тут сооружена сцена, на постаменте — бюст Ильича, возле него пламенеют живые цветы. Рядом стоят стулья на две тысячи человек. Справа и слева — пассажирские вагоны, в них оборудованы раздевалки и даже буфеты. Праздник есть праздник.

В семь часов вечера радиостанции Советского Союза начали транслировать:

— Говорит Москва! Передаем торжественное заседание Московского Совета с представителями трудящихся города Москвы и доблестной Красной Армии, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...

Замерла страна. Миллионы людей у репродукторов: с докладом выступает И. В. Сталин... В заводских цехах, колхозных клубах, воинских частях раздались аплодисменты, когда Верховный Главнокомандующий произнес:

— Наше дело правое — победа будет за нами!

Аплодировали и те воины, которые готови-

лись якобы к смотру возле Крымского моста в Москве. В подразделениях сразу же прошли митинги, бойцы дали клятву, что будут стоять за столицу насмерть! И вдруг неожиданный для них приказ: поздно вечером командирам частей сообщили, что завтра утром они выведут свои войска на Красную площадь, где состоится военный парад. Только теперь стало ясно им, для чего их готовили. Получил приказ и Агапкин: завтра в семь утра сводный оркестр должен быть у здания Исторического музея. Отсюда оркестр пройдет на Красную площадь, займет место напротив Мавзолея Ленина.

Перед утром 7 ноября вдруг засвистел ветер, нагнал туч, и пошел снег. Похолодало.

К Красной площади еще затемно (светомаскировка в городе соблюдалась строго-настроено) уже спешили колонны войск. Парады до войны начинались обычно в десять часов, а этот назначен на восемь. Такое раннее время — ноябрьский день в Москве только занимается — для вражеской авиации невыгодное, что и было предусмотрено.

Точно в срок прибыли к Историческому музею и полковые оркестры. Тут они построились вместе, образовав огромный сводный оркестр, который направился на Красную площадь. Шагать по мерзлой гранитной брусчатке, присыпанной свежим снегом, сколько. В тот момент, когда оркестр проходил мимо колонн войск, музыкант с большим барабаном оступился и упал. Барабан, ударившись о брусчатку, загудел, как колокол. Бойцы, стоявшие по команде «вольно», неудержимо развеселились. Для них неожиданная разрядка, а у Агапкина сердце екнуло: «Только этого и не хватало». Сдержался, даже замечания не сделал, да и некогда было. Барабанщика подхватили соседи, поставили на ноги. Строй быстро выправился. Агапкин знал, что членов правительства на трибуне Мавзолея еще нет, но все равно оглянулся.

Встал на свое место оркестр, подравнялся — четкий четырехугольник. Музыканты разминали руки, смахивали с шапок и инструментов снег.

Кто-то тревожно гаркнул, как выстрелил:

— Клапаны замерзают!

Сыпанули другие голоса:

— Замерзают!

— Как играть?

Агапкин почувствовал, как по спине прошел нервный озноб. Нужен спирт, чтобы смочить у духовых инструментов «клапаны» (этот термин разговорный, правильно — вентили), а где его сейчас возьмешь? О спирте надо было позаботиться накануне, но кто мог предположить, что за каких-то несколько часов похолодает, разыграется пурга. Василий Иванович решительно распорядился: «Инструменты под шинели!» Мелкие, скажем трубы, не так уж трудно спрятать от мороза под одеждой. А как быть с огромными басами? Их пришлось укрывать полами шинелей, а вентили отогревать руками.

В Москве начинался день 7 ноября 1941 года — день, который станет историческим. Над

кремлевскими рубиновыми звездами, одетыми в маскировочные чехлы, чтобы ночью не светились, непроглядные тучи. Идет снег. Красная площадь побелела и смотрится теперь веселее, чем вчера, будто природа прихорошила ее специально к всенародному празднику.

Приближается торжественный момент. Всего лишь несколько минут до 8.00. Знакомый голос Левитана сообщил всей стране, всему миру:

— Внимание, внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза... Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади о параде частей Красной Армии, посвященном 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...

Об этом волнующем моменте очевидец Борис Николаевич Черноусов, работавший тогда секретарем Московского обкома партии (в последние свои годы он трудился в постоянном представительстве СССР в СЭВ, его не стало в 1978 году), потом рассказал в книге «Война. Народ. Победа» так:

«За пять минут до начала торжества на трибуну Мавзолея В. И. Ленина поднялись руководители партии и правительства, которые в то время находились в Москве. Мне вместе с А. С. Щербаковым и Г. М. Поповым (секретарем Московского горкома партии.— В. С.) также довелось быть на этой трибуне.

Сталин был в хорошем настроении, прохаживаясь, подошел к нам и сказал, показывая на небо:

— Везет большевикам.

«Везет большевикам» — значит погода летняя и вражеская авиация не сможет даже попытаться помешать параду.

Войска на площади одеты по-зимнему, бойцы и командиры в теплых ушанках, буденовках. И. В. Сталин, несмотря на снег, холод, в обычной фуражке с красной звездочкой — таким он и запечатлен на снимках. Это тоже подчеркивало его приподнятое настроение по случаю исторического события.

Кремлевские куранты пробили восемь. Из Спасских ворот на гнедом коне веселым галопом выскочил на заснеженную Красную площадь заместитель народного комиссара обороны СССР Маршал Советского Союза Буденный: сегодня он принимает парад. Капельмейстер Агапкин тотчас взмахнул руками — сводный оркестр торжественно заиграл «Встречный марш». Навстречу маршалу поспекал тоже на гнедом красавце командующий парадом генерал-лейтенант Артемьев. За несколько метров он остановил коня. Оркестр разом смолк, словно кто-то одним богатырским взмахом взял да и обрубил звуковой поток марша.

Над площадью прозвучал рапорт командующего парадом: «Войска Московского гарнизона для участия в торжественном шествии, посвященном 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, построены!»

Под раскаты «ур-ра!» Буденный вместе с Артемьевым объехал колонны воинов, поздравил их с всенародным праздником.



В. И. Агапкин.

Семен Михайлович легко, как и подобает бывалому кавалеристу, спустился с коня и крупными, уверенными шагами направился к Мавзолею. В этот момент генерал-лейтенант Артемьев легонько, еле заметно, качнул головой, и капельмейстер Агапкин сразу же уловил условный знак.

«Слушайте все!» — торжественно пропели фанфары.

К микрофонам, установленным на трибуне Мавзолея, подошел Верховный Главнокомандующий Сталин. Он поздравил советский народ с праздником Великого Октября, кратко рассказал о временных неудачах на фронте, выразил уверенность в победе. Короткую, но емкую по содержанию речь закончил вдохновляющим призывом:

— Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!



И. В. Сталин направляется на Парад Победы.

Сводный оркестр под раскаты орудийных залпов исполнил «Интернационал».

Началось торжественное шествие войск. Оркестр точно под левую ногу головной колонны (этот момент для капельмейстера и музыкантов — самый ответственный) грянул марш «Парад». Грянул дружно, мощно, и Василий Иванович, стоявший на специальной деревянной подставке, чтобы его могли видеть все музыканты, воспрянул духом. С каждой минутой оркестр играет все увереннее. От нервного напряжения музыканты уже избавились, отогреты под шинелями «клапаны» у духовых инструментов действуют нормально. Все как надо!

С развернутыми боевыми знаменами шагают мимо Мавзолея стрелковые части. Обычно на парады в мирное время бойцы выходили без боеприпасов, а сейчас они маршируют с пулеметными лентами и подсумками, набитыми патронами. Идут твердо, решительно, из-под ног брызжет снег. Кажется, им не будет конца. Все сделано для того, «чтобы это был настоящий большой парад войск Московского гарнизона» — так приказал Буденному несколько дней назад Верховный Главнокомандующий.

И неумолчно играет сводный духовой оркестр. Агапкин дирижирует вдохновенно, легко, понятно, музыканты без заминки переходят с одной мелодии на другую. Красиво прозвучали над Красной площадью марш Чернецкого «Парад», старинный русский марш «Герой»...

Агапкин знает: шествие пехотных частей скоро закончится и тогда на площадь вылетит кавалерия. В момент этой небольшой паузы нужно успеть отвести оркестр назад, к нынешнему зданию ГУМа, чтобы дать простор коннице. Оркестр быстро занял новое место, сразу заиграл для конников стремительную и веселую мелодию «Кавалерийская рысь». Лихо пронеслись по площади эскадроны.

За ними пошли артиллерийские части: зенитные, противотанковые, тяжелые полевые. На трибунах — оживление, приветливо машут воинам москвичи. Им только сегодня, в ранние предутренние часы (так было предусмотрено), доставили на автомашинах из Московского горкома и райкомов партии пригласительные. Каково было вначале удивление разбуженных дома и стоявших у станков в цехах людей, которое быстро сменялось восторгом: их приглашают на военный парад!

Из-за Исторического музея доносится нарастающий гул — на Красную площадь выходят танки. Чехлы с башенных орудий сняты, стальные крепости в боевой готовности. Их много. Завтра «Правда» сообщит: двести! На трибунах аплодируют, оркестр играет еще мощнее. Мелодию марша радиоволны несут над всей землей, и еще крепче сжимают в руках боевое оружие воины под Москвой и Севастополем, партизаны в лесах Белоруссии...

Весть о военном параде в Москве разнеслась по всему миру. Экстренные сообщения о нем передавали на разных языках радиостанции, печатали газеты, не жалея восторженных выражений.

Какими возвышенными словами только не назовут парад! Маршал Буденный — легендарным, генерал армии Штеменко — беспримерным в истории. Можно ли подобрать еще слова, которые полнее выразили бы величие небывалого подвига — парада рядом с фронтом?!

Воины с Красной площади пошли в сражения и бились за Москву, изумляя мир героизмом. Их пример воодушевлял других, на смерть стояли под столицей и солдат и генерал.

За образцовое выступление сводного оркестра на параде Верховный Главнокомандующий объявил Василию Ивановичу благодарность. Военные кадровки сразу же ее занесли в личное дело капельмейстера, и она украшала его заслуги до конца долгой жизни.

На этом параде прозвучал и агапкинский музыкальный шедевр. Потом, 1 марта 1983 года, «Правда» расскажет: «А самый поразительный в истории парад, когда прямо с Красной площади под щемящий марш «Прощание славынки» военного композитора Василия Агапкина бойцы уходили на недалекую отсюда передовую...» Большими тиражами стали издаваться ноты марша и пластинки с его записями. Издаются они и поныне.

Тогда, в сорок первом, именитому капельмейстеру было уже под шестьдесят, на фронт его не взяли. Но в боевом строю остался. Его оружие — патристическая музыка, воодушевляющая людей. Он возрождает в военной школе

тот самый оркестр, который был расформирован в начале войны.

Враг был повержен. Над фашистским рейхстагом, где зарождались планы разбойничьего нападения на нашу Родину, советские воины подняли Красное знамя.

Окончание Великой Отечественной войны ознаменовалось грандиозным Парадом Победы 24 июня в Москве на Красной площади. Такого торжества еще не видела эта древняя площадь. На брусчатке выстроился огромный сводный оркестр из 1400 музыкантов. Им управлял генерал-майор Чернецкий, выдающийся капельмейстер и композитор. Один из его помощников — полковник Агапкин, оркестр которого тоже вошел в состав сводного.

Торжественно исполнил оркестр патристическую мелодию «Славься, русский народ». Ее сменили боевые марши, и началось триумфальное шествие сводных полков всех фронтов. На площади шагали солдаты, сержанты, офицеры, генералы, маршалы — отважные герои войны.

Василий Иванович был особенно горд и счастлив: в легендарный ноябрьский парад сорок первого он провожал воинов с Красной

площади в сражения, а сейчас встречал победителей.

А потом победители возвращались домой. Какие встречи были на вокзалах! И вновь звучал марш «Прощание славянки», с которым герои прошли до Берлина и вернулись в родные города и села.

Агапкин создал еще немало других произведений, в основном вальсов. Ноты многих его сочинений изданы. Имя Василия Ивановича вошло в учебники по музыкальному искусству.

Он воспитал сотни замечательных музыкантов.

...У всякого, кто увидит под кленом на московском Ваганьковском кладбище этот обелиск, содрогнется сердце: на мраморе высечены две начальных строки нот марша и слова «Прощание славянки». Над могилой склоняют седые головы ветераны Великой Отечественной войны, которых марш вел к Победе. Цветы положили возле обелиска польские кинематографисты, создавшие в Москве документальный фильм об Агапкине, болгарский журналист, приехавший написать о нем... Музыкальный шедевр Василия Ивановича почитаем во всех славянских странах.



Москва. Красная площадь 9 мая 1945 г.

* * *

В сентябре 1917 года малотоннажная подводная лодка «Святой Георгий» под командованием старшего лейтенанта Ивана Ризнича завершила переход вокруг Европы: выйдя в июне из Генуи, форсировав Гибралтар, миновав коварный Бискай и зоны действия германских подлодок, обогнув Скандинавию, она благополучно ошвартовалась в Архангельске. Это было первое в истории русского флота океанское плавание подводного корабля.

За десять лет до похода «Святого Георгия» — в 1907 году — в Либавском военном порту появились странные матросы. После пробудки, молитвы и завтрака они уходили из казармы, неся клетки с белыми мышами. Лишь посвященные знали — это идут на свои корабли подводники. А мыши им нужны для того, чтобы определить по поведению зверьков загрязненность воздуха в отсеках. Ведь лодка уходила под воду с тем запасом кислорода, какой содержался в атмосфере отсеков. И только.

Так начиналось в Либаве отечественное подводное плавание, во главе которого стоял талантливый деятельный офицер контр-адмирал Эдуард Николаевич Щенснович, бывший командир броненосца «Ретвизан»...

* * *

В 1872 году, окончив Морской корпус, Щенснович получил первый офицерский чин и диплом специалиста по минному делу. А через пять лет ему пришлось держать экзамен уже в боевой обстановке.

В трудных условиях выпало действовать русским морьякам в освободительную русско-турецкую войну 1877—1878 годов. После поражения в Крымской войне Россия своего военного флота на Черном море не имела. Переправа наших войск через Дунай оказалась под угрозой срыва, потому что турецкие мониторы свободно «резвились» на речных плесах. Вот тут-то и понадобились отвага и искусство русских моряков-минеров.

Они ставили на Дунае мины заграждения (зачастую под огнем тех же мониторов). Они дерзко атаковали турецкие башенные броненосцы на минных катерах с шестовыми минами. Широко известна атака катера «Шутка» под командой лейтенанта Скрыдлова с участием знаменитого художника Верещагина, известны и отважные атаки лейтенантов Дубасова и Шестакова, подорвавших турецкий монитор «Сейфи», после чего вражеские корабли ретировались. Вот в этих отважных атаках принимал участие и мичман Щенснович.

За участие в боевых действиях на Дунае молодой офицер был произведен в лейтенанты и награжден боевыми орденами. Но главные испытания были впереди.

Все великие флотоводцы оставляли после себя плеяду последователей и учеников. Так было и у Степана Осиповича Макарова — замечательного русского ученого и флотоводца.

И. Алебастров,
Н. Черкашин

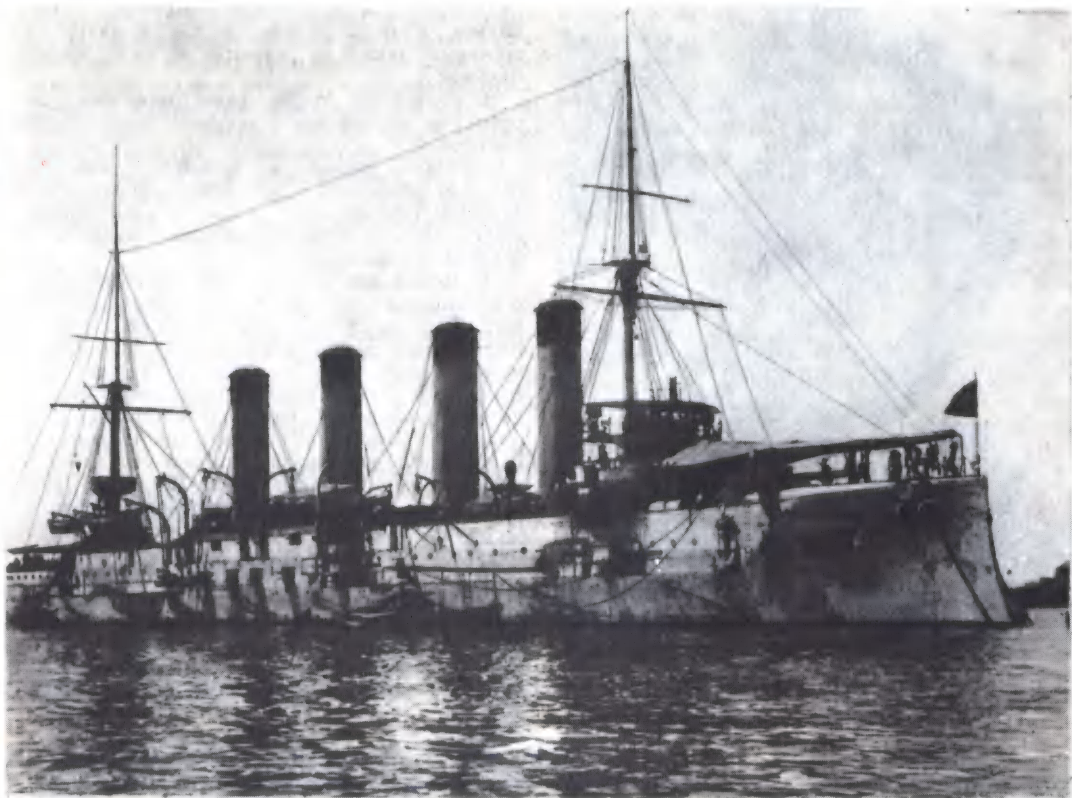
Флагман русских подводников

Подводное кораблестроение в России ведет свою историю с петровских времен — от «потаенного судна», выстроенного подмосковным крестьянином Ефимом Никоновым.

Теперь, когда наш подводный флот — океанский, атомный, ракетноносный — стал национальной гордостью советского народа, вспомним тех, кто стоял у истоков отечественного подводного плавания.



М. Н. Беклемишев. Первый командир первой русской подводной лодки «Дельфин».



На рейде Порт-Артурса.

«Макаровцами» с гордостью называли себя академик А. Н. Крылов, адмиралы Н. О. Эссен, и А. С. Максимов, советские флагманы В. М. Альтфатер, Е. А. Беренс, Е. С. Гернет, А. П. Зеленой, М. В. Иванов, замечательные советские подводники А. Н. Бахтин, А. Н. Гарсоев, В. Ф. Дудкин, В. А. Подерни, Я. С. Солдатов и многие-многие другие — все это питомцы «макаровской школы».

«Макаровцем» называл себя и Щенснович, хотя он был моложе Макарова всего на четыре года. Говорить о Щенсновиче — это значит говорить и о Макарове, ибо их жизненные пути переплетались и сходились много раз. Известно, что познакомились они еще в русско-турецкую войну — с тех пор Щенснович стал верным сподвижником Макарова и даже его любимцем.

Особенно запомнились Щенсновичу проводы на Дальний Восток отряда контр-адмирала Штакельберга в Кронштадте. В тот день море штормило. Брызги волн долетали до верхнего мостика броненосца «Ретвизан», которым командовал капитан I ранга Щенснович. За «Ретвизаном» выстроились в кильватер броненосец «Победа», крейсера «Вогатырь», «Диана», «Паллада» и «Боярин» — их силуэты

едва угадывались в частой сетке мелкого надоедливой дождя, порой перемежавшегося хлопьями мокрого снега.

Ждали прибытия командира порта адмирала Макарова. «Нет, не приедет», — говорили многие. А в эти минуты сильный ветер прижимал адмиральский катер к стенке и он никак не мог отвалить от нее. Наконец отошли. Волны швыряли катер как щепку. Но довольный и веселый Макаров восклицал:

— Нептун-то как расшалился! А мощь какая — красотища!..

С волнением следил Щенснович за катером. Позже он вспоминал: «Каждый раз, как волна целиком покрывала катер, у меня тревожно сжималось сердце: увидим ли мы его еще раз?!» Три часа (!) заняла борьба утлого суденышка с разбушевавшейся морской стихией. Высадиться на броненосец с катера тоже было чрезвычайно трудно. Катер подбрасывало волнами метра на три!

— Бросит волной катер на броненосец — от нас только мокрое место останется, — пожелился начальник штаба порта, — не вернуться ли?

— Как можно! — прокричал Макаров в



Я. С. Солдатов. Заведующий обучением в Учебном отряде подводного плавания в 1906—1914 гг. Автор первых учебников по устройству подводных лодок и двигателям внутреннего сгорания.

ответ. — Генрих-то Четвертый что говорил: либо в стремя ногой, либо в пень головой!..

С час катер плясал на волнах, заходил то так, то этак. Наконец, исхитрившись, Макаров прыгнул и уцепился за штурмтрап. И тут же шальная волна накрыла его с головы до ног. Только адъютант адмирала В. И. Семенов последовал за ним. Остальные не решились.

Много лет спустя в газете «Моряк» бывший матрос Агеев вспоминал: «Поднялся Макаров на палубу, обнял нашего командира Щенсновича, с офицерами поздоровался — и к нам, крикнул зычно: «Здорово, молодцы! Какова погода, а? Кронштадт-то на прощанье как расходился! Это ведьма с чертом выручку делают. Да то ли еще будет, то ли еще увидите на Тихом океане. Смотрите — не подгадай, братцы, служите по-балтийски, по-русски! Ну, в добрый час!» А вода с него ручьями так и текла. У нас у многих на глазах слезы были, думали одно: «Вот жизнью рисковал, а проводить все-таки приехал. Ну, и кричали мы ему «ура!» — остановить было невозможно». Щенсновичу Макаров сказал:

— Тучи на Дальнем Востоке сгущаются. Наверняка драться придется. А мы на Тихом океане слабее японцев вдвое.

— Вот бы вас туда, Степан Осипович, — вздохнул Щенснович.

— Не скрою, хотел бы, — просто ответил Макаров, — но меня пошлют туда, когда наши

дела будут совсем плохи, а положение — незавидное. А пока другие рвутся, думают, что шапками закидают японцев и кучу наград получат...

Щенсновичу тогда тоже казалось, что огромная Россия легко победит каких-то там японцев.

— Нет, — сказал с какой-то особенной грустью Макаров, — эта война будет очень тяжелой для нас. Вот старый боевой генерал Драгомилов и сказал: «Японцы-макаки, да мы-то кое-каки...»

И другая встреча со знаменитым флотоводцем запомнилась Щенсновичу. Макаров был тогда командующим Практической эскадрой Балтийского флота, а Щенснович командовал минным крейсером «Воевода». Ах, как спешили тогда в Транзунд к назначенному сроку «Воевода» и другие суда на смотр, но жестокий шторм потрепал «Воеводу» так, что, по выражению Щенсновича, в Транзунд пришел уже не «Воевода», а курица ошипанная. Успеть к сроку успели, но люди были совершенно измотаны. С тоской думали и офицеры и матросы об учениях, тревогах и эволюциях.

И вдруг на флагмане сигнал: «Команда «Воеводы» имеет время отдыхать и обедать». Какое там «обедать» — уставшие до предела люди валились тут же на палубе у орудий и мгновенно засыпали. Петроградцы ворчали: «Распушенность! Либерализм!» Но Щенснович был счастлив: теперь-то уж его отдохнувшие молодцы покажут себя Макарову!

А через пять часов началось! На флагмане один сигнал следовал за другим. То пожарная тревога, то отражение минной атаки, то подвод пластыря под «пробоину», то сигнал, что «убиты» и командир, и старший офицер. «Убиты» вовремя, потому что Щенснович уже вконец сорвал голос. Узнали в тот день, что такое Макаров!

Но как расцвел Щенснович, когда флагман просигналил: «Командиру «Воеводы» адмирал извещает особенное удовольствие. Команде из казенных сумм выдать по чарке водки и по рублю». То-то ликовали на «Воеводе» — и напелись и наплясались вдоволь. В адмиральской каюте Макаров сказал Щенсновичу:

— Спасибо! Вижу: готовишь судно не к парадом, а к войне. Живи по принципам: «Помни войну!», «В море — дома...»

Сколько раз вспоминал Щенснович эти заветы флотоводца в Порт-Артуре, куда он прибыл на «Ретвизане» в апреле 1903 года. До войны оставалось меньше года. Он еще и думать не мог, что всего через девять месяцев и о «Ретвизане» поэты будут слагать поэмы, а имя его доблестного командира будет у всех на устах в России.

День 27 января в Порт-Артуре, где находилась русская Тихоокеанская эскадра, прошел как обычно. С утра небрежно одетый командующий эскадрой вице-адмирал Оскар Викторович Старк обошел территорию порта. Суту-

лый, с лохматой, растрепанной бородой и диким взглядом, адмирал походил на оперного мельника из «Русалки». Здоровенный матрос с подносом в руках неторопливо, вразвалочку шествовал за адмиралом. Завидя на земле винтик, гайку, кусок проволоки, адмирал торжественно водружал их на поднос и ворчал:

— Расхитители... Головоотяпы...

Почтительно козыряли встречные офицеры, старательно пряча усмешку. Старка на эскадре не уважали и называли «старьевщиком». Жизнь в Порт-Артуре текла мирно, корабли, экономя уголь, плавали не более 20 дней в году, превращаясь в плавающие казармы. Даже отражать минные атаки учились, стоя на якоре. Только один раз — в сентябре 1903 года — наместник царя на Дальнем Востоке Евгений Иванович Алексеев провел небольшие маневры, да и то было больше сборок и ненужной суматохи, чем дела. Боевые корабли двигались медленно, словно черепахи. Стреляли только по специальному сигналу Алексеева, да и то с малых дистанций — 30 кабельтовых. Корабли путались в самых азбучных эволюциях. «Это поход аргонатов» — так остролов Щенснович определил поход эскадры к Шантунгу.

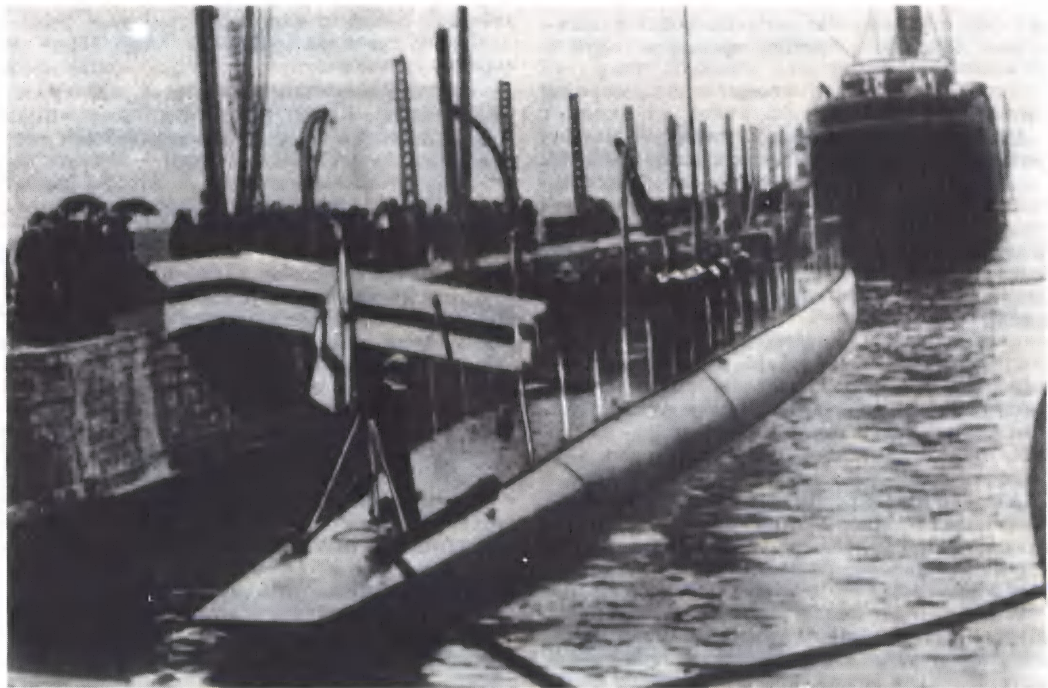
Алексеев Щенсновича терпеть не мог за острый язык. «Фитили» от наместника он получал часто — по делу и не по делу, чаще всего по самодурству.

В руках Алексеева была сосредоточена огромная власть. «На небе — бог, в Петербурге — царь, а у нас — Алексеев», — говорили портартуровцы.

Царю Алексеев донес: «Флот неизменно пребывает в полной боевой готовности и смело отразит всякое покушение со стороны дерзкого врага». Когда Старк, опасавшийся, что японцы могут внезапно закупорить единственный выход из гавани, предложил Алексееву спустить противоминные сети на броненосцах, Алексеев сказал: «Мы никогда не были так далеки от войны, как сегодня!» А на рапорте Старка зеленым карандашом начертал: «Несвоевременно и неполитично!»

Эскадра стояла на внешнем рейде с огнями, словно подставив себя под удар. Командиры кораблей Щенснович и Эссен сунулись было к начальнику штаба Алексеева робкому, исполнительному службисту контр-адмиралу Витгефту, но тот, в ужасе воздев короткие пухлые руки, с комическим ужасом воскликнул: «Идти просить ввести броненосцы в гавань?! Невозможно. Ведь сам запретил и зеленым начертал! Это все!»

А между тем дипломатические отношения с Японией были уже прерваны и все японцы, жившие в Порт-Артуре, покинули город, спешно распродав свои пожитки. В полдень большой пузатый пароход забрал их на борт, торопливо отвалил от стенки, прорезал строй русской



Подъем флага на подводной лодке «Святой Георгий», совершившей первое океанское плавание на подводной лодке русского флота. 1917 г.



Э. Н. Щенсович.

эскадры, стоявшей на внешнем рейде в шахматном порядке, и быстро скрылся в голубой дали.

— Чудят япошки, — беззаботно говорили портартуровцы.

Щенсович нервничал: лучшие русские красавцы броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и «Победа» стояли мористее всех, и атаковать их было особенно удобно.

— Что это — глупость или измена?! — кипятился Щенсович. Но что он мог поделать? Ворваться к Алексееву и требовать? Но Алексеев уже выгонял его из кабинета, да еще и прибивал:

— У меня так служить нельзя!

— А я не у вас служу, — вспыхнул Щенсович, — а с вами служу России! Меня нанять к себе на службу — у вас денег не хватит!

Алексеева чуть удар не хватил.

— Вои! — заревел он, посинев...

То же будет и сейчас...

А в далеком Кронштадте Макаров лихорадочно писал генерал-адмиралу великому князю Алексею Александровичу — тому самому, кого острословы нарекли «семью пудами августейшего мяса».

«Пребывание наших судов на открытом рейде, — взволнованно писал Макаров, — дает неприятелю возможность производить ночные атаки. Никакая бдительность не может воспрепятствовать энергичному неприятелю в ночное время обрушиться на флот с большим числом миноносцев. Результат такой атаки будет для

нас очень тяжел... Японцы не пропустят такого случая нанести нам вред... Если мы не поставим теперь же во внутренний бассейн флот, то мы принуждены будем это сделать после первой ночной атаки, заплатив дорого за ошибку».

— Курьезная чепуха! — изрек дядя царя. — Макаров — известный аллармист (паникер). Никакой войны не будет!..

Сказал это Алексей на балу в Зимнем. Все заметили, что Николай Второй долго и милостиво говорил с японским посланцем (он еще оставался в качестве частного лица), но никто не знал, что японец подошел к английскому послу и сказал: «Ведный царь! Он не знает, что его эскадра этой ночью потоплена нами в Порт-Артуре».

В канун роковой ночи на улицах Порт-Артура царило оживление, бойко торговали магазины. В туземной части города шумно встречали китайский новый год. По бульварам беззаботно фланировали офицеры. На плацу возле казарм усатые унтер-офицеры деловито обучали молодых солдат.

Только поздним вечером на броненосце «Петропавловск» состоялся военный совет. Благообразный, богомольный командир «Полтавы» Успенский предложил отслужить молебен. Похожий на цыгана, чернобородый, смуглый «капитан Ща», как звали Щенсовича друзья, вопрошал с горькой иронией:

— Если сети нельзя спустить, то, может быть, иконы под воду спустим? Против сил небесных никто не устоит...

Старк торопливо призвал командиров к порядку, успокоил:

— Наместник никакой угрозы флоту не усматривает...

Грубоватый командир «Новика» Эссен воскликнул:

— Сунул бы себе подзорную трубу в зад — тогда, может, усмотрел бы. А то получится, как в японо-китайскую войну!

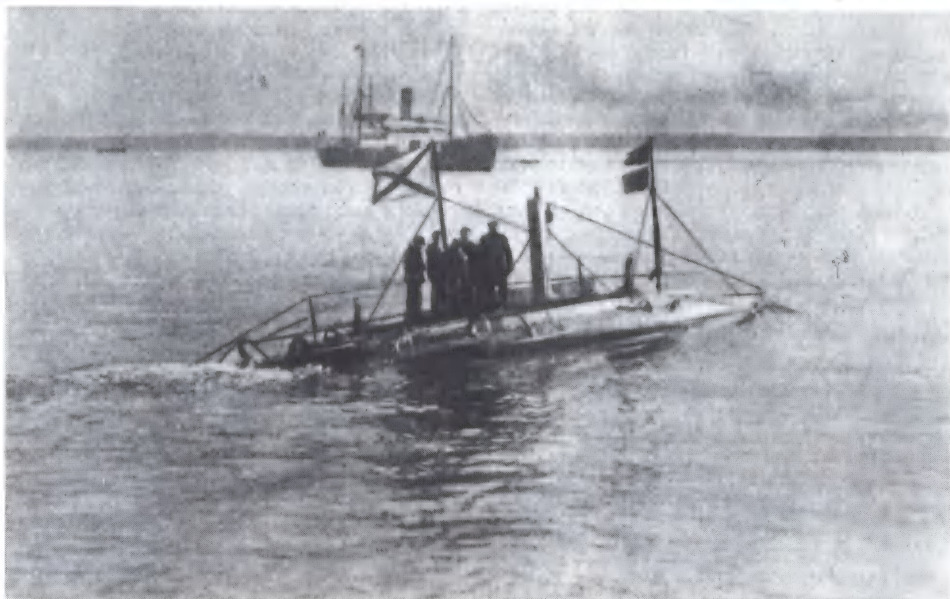
— Мы не китайцы! — напыщенно произнес флаг-капитан наместника Эбергард.

После долгих споров решили выслать в море на ночь два миноносца, «Аскольду» и «Диане» велено было развести пары — на всякий случай, «Ретвизану» и «Палладе» поручили освещать прожекторами подступы к рейду.

— Гора родила мышь, — шепнул Эссен Щенсовичу. Тот только молча пожал плечами. У себя на «Ретвизане» Щенсович велел зарядить все мелкие орудия, комендоры спали у пушек, не раздеваясь. Щенсович вышел на верхний мостик броненосца. С востока темная пелена быстро заволакивала небо. Он собрался было вернуться к себе в каюту, как услышал тревожный возглас сигнальщика:

— С правого борта — миноносец!

Каперанг схватил бинокль, но и простым глазом хорошо были видны мчавшиеся со стороны моря юркие серые суденышки. С моря веял легкий южный бриз. В ясном небе ярко загорались звезды. До боли в глазах всматривался Щенсович в контуры загадочных мино-



Одна из подводных лодок Учебного отряда.

носцев, совершивших дугообразный поворот. Все они были четырехтрубные с кожухом посередине.

— Похоже, что наши, Невского завода, — почтительно произнес старший сигнальщик.

— Немедленно пробейте «отражение минной атаки»! — приказал Щенснович. — Позывные спросите!

Один из миноносцев оказался совсем близко.

— Кто идет? — в мегафон крикнул Щенснович.

— «Грозовой»! — донесся приглушенный ответ.

— Свои! — облегченно вздохнул вахтенный офицер, вытирая платком лицо, но в то же мгновение сигнальщик завопил:

— Слева по борту мина! Японцы, ваш-с-кроды!.. Ах, они нехристи клытые!..

Щенснович с ужасом увидел в темной воде фосфорическую струю от приближавшейся торпеды. Все оцепенели. Это сама смерть, ныряя в волны, неслась к ним, и невозможно было остановить ее ничем...

— Право руля! — скомандовал Щенснович. Но было уже поздно.

С «Дианы» офицеры видели, как над носом соседнего «Ретвизана» сверкнул ослепительный столб пламени. Воздух рванул одуряющий грохот взрыва. Огромный красавец броненосец жалко клюнул носом и стал медленно крениться на левый борт. Гигантский водяной столб рухнул на палубу «Дианы», разбившись на миллионы брызг, окатив офицеров и матросов

холодным душем. На «Ретвизане» внезапно погасло освещение. От сотрясения одна за другой гулко лопались электрические лампочки. Вода заполнила три отсека в низах корабля. Тишины на рейде как не бывало. На всех русских кораблях пушки стреляли непрерывно. В лучах прожекторов замечались обнаруженные вражеские миноносцы. Взрывы, дым и пламя начавшихся пожаров, бешено мятущиеся лучи прожекторов, вспышки выстрелов — все сливалось в грандиозной феерии ночного боя.

Пять японских атак отбили в ту ночь русские моряки, но в первой из них японцы успели подорвать броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич» и крейсер «Паллада». Поднявшийся на исходе третьего часа ночи желтый диск луны бледным мерцающим светом открыл грустную картину: у самого входа в гавань, у Тигрового хвоста, приткнулся носом «Ретвизан» — это Щенснович, чтобы избежать затопления корабля, выбросил его на мель. С большим креном медленно шел в гавань «Цесаревич» — казалось, что огромный броненосец вот-вот перевернется.

Так началась порт-артурская эпопея «Ретвизана». Почти каждую ночь стоями и в одиночку, открыто и крадучись, серые японские миноносцы пытались уничтожить сидевший на мели «Ретвизан». Но неизменно их встречал бешеный шквал огня.

«Ретвизан», опоясанный огненным поясом, казался огнедышащим вулканом. Вот тогда-то и стало знаменитым имя «Ретвизан». Это каза-

лось невероятным, но двадцать семь ночей «Ретвизан» отбивал настойчивые атаки японцев. На берегу нашли одиннадцать японских торпед, прошедших мимо «Ретвизана» и взорвавшихся; некоторые из них еще продолжали жить, отчаянно вращая гребными винтами. «Ретвизан» первым обнаружил и японские брандеры, когда японцы попытались закупорить выход из гавани. Под метким огнем «Ретвизана» два брандера затонули, два выскочили на камни. Один из брандеров метил врезаться прямо в броненосец и не дошел до «Ретвизана» каких-нибудь сто сажен.

«Если бы эта масса в 4000 тонн врезалась в искалеченный, ползатонувший броненосец,— отвечал писатель-маринист, портартуец В. И. Семенов,— то вряд ли бы оставалась надежда на его спасение».

За отражение атак японских брандеров и миноносцев Щенснович был награжден орденом Георгия 4-й степени. Приехавший в Порт-Артур и посетивший «Ретвизан» художник Верещагин писал жене: «Увидев, что braveй командир «Ретвизана» еще не успел получить по почте Георгиевский крест, я снял свой Георгий и повесил ему на грудь, чем морячки были очень довольны».

В эти горячие дни Щенсновичу досталось порядком: ночью — отражение минных атак, днем — заботы о подведении кессона и пластыря к пробине.

«Щенснович,— писал В. И. Семенов,— кажется, не спит и не ест, целиком занятый спасением своего броненосца».

В день приезда нового командующего эскадрой вице-адмирала Макарова «Ретвизан» наконец-то был снят с мели и введен в гавань при всеобщем ликовании. С приездом Макарова действия порт-артурской эскадры заметно активизировались. «Как лихорадочно вдруг все работы закипели», — отмечал в своем дневнике лейтенант В. И. Лепко.

С восторгом читал Щенснович первый приказ Макарова: «Я постараюсь избежать случайностей, если не увлекусь делом вместе со всем моим флотом». В этих словах был весь Макаров.

Потрясающее впечатление на эскадру произвел первый выход Макарова в море. На помощь окруженному японцами «Стерегущему» на полном ходу выскочили крейсера «Аскольд» и «Новик». Но на «Аскольде» держал свой флаг командующий. «Неужели адмирал сам отправился в эту авантюру?!» — этот вопрос занимал всех — и офицеров и матросов. Но нет — на «Аскольде» флага адмирала не было.

— Ну, конечно, нельзя же так рисковать, — говорили офицеры, — мало ли что... — И вдруг увидели: флаг адмирала на «Новике»! Матросы ринулись к борту, забыв про обед, офицеры на мостиках судов вырывали друг у друга бинокли. Да! Сомнения не было: на «Новике» — этом игрушечном крейсере — гордо развевался флаг командующего эскадрой. С тревогой слушали все гул орудийных выстрелов за горизонтом.

Однако «Аскольд» и «Новик» вернулись благополучно. Но какое это было возвращение! Тысячи людей на реях, на вантах приветствовали Макарова, офицеры, забыв про субординацию, перемешавшись с матросами, тоже истолпленно кричали «ура!»... Все поняли, что с трусливой и осторожной алексеевской тактикой «беречь и не рисковать» покончено!

— Подожди, дай срок, Макаров научит, — говорили матросы, — теперь держись, япошки!..

То и дело Макаров выводил эскадру в море, готовил ее к бою. Щенснович нервничал: такая активность, а он киснет в гавани!

— Еще успеете навоеваться! — успокаивал его Макаров. На «Ретвизане» адмирал бывал почти что каждый день. И сразу же Щенсновичу крепко влетело. По его приказу только что покрасили свежей краской трубы, борта и надстройки броненосца. Макаров рассвирепел:

— Вы для кого это, батенька, постарались? Для японцев?! — сердито говорил Макаров. — Чтобы уж не промахнулись по вам японские комендоры! Эка, покрасились, словно девица с Невского...

— Я, ваше превосходительство, как лучше, — неловко оправдывался Щенснович.

— На войне чем хуже окрашено судно, тем для боя лучше! — заметил Макаров. Потом попало старшему механику броненосца за... надраенные до блеска поручни. Адмирал сказал: «Не время сейчас медяшку драить. У нас часто чересчур много занимаются чисткой наружных полированных частей, отчего наждачная и стеклянная пыль от шкурки попадает на ползуны и другие трущиеся части, которые от этого нагреваются».

Инженер-механик Смирнов так и остался стоять с раскрытым ртом. А адмирал лично убедился, что в подшипниках желобки для масла чисты, что в цилиндрах и золотниках не скопился грязь.

— А как у вас организован отдых кочегаров и машинистов? — спросил Макаров. И опять Щенсновичу попало: стал мало думать о людях, об их нуждах и быте. Потом адмирал собрал комендоров, учил, как надо наводить пушку на цель, задавал вопросы, заспорил даже...

«Как мы завидовали тем счастливым, кому удавалось поговорить с любимым адмиралом, — вспоминал сигнальщик Бочков, — даже если он бранился...»

Потом адмирал собрал офицеров и упрекнул их, что плохо учат комендоров.

— Если комендору внушить, — говорил Макаров, — что один только удачный его выстрел может решить участь боя, то он и во сне будет думать о том, как лучше брать на прицел неприятеля...

Но в первую очередь Макарова интересовал ремонт «Ретвизана».

— Вот починим «Ретвизан» и «Цесаревича», — говорил он Щенсновичу, — тогда и повоюем. Перевес у японцев в силах велик, но и мы не с хвоста хомуты надеваем...

Однако ремонт «Ретвизана» затягивался. Ему опять не повезло. Во время бомбардировки



Группа офицеров Учебного отряда подводного плавания под командованием Э. Н. Щенсновича.

с моря 26 февраля японский снаряд повредил кессон, броненосцу снова пришлось выброститься на отмель. Другой снаряд угодил под кормовую башню, но броня выдержала. Когда рассеялся столб дыма и водяных брызг, все увидели на месте удара только бурое пятно.

«Признаться, я пал духом,— вспоминал Щенснович,— опять начинать все сначала».

На броненосец прибыл Макаров. Как всегда, парадов устраивать не велел. Все обычные судовые работы продолжались. «Меня «Дед» нещадно отругал за уныние,— вспоминал Щенснович.— Дал массу дельных указаний. И — снова хочется жить!..»

Но вот 4 марта сняли кессон, подвели пластырь под пробойну.

— Ну, кажется, все! — вытирая пот со лба, сказал инженер Вешкурцев, руководивший ремонтом.

Но... пластырь лопнул! Броненосец снова притонул, да так, что по палубе во время прилива вольготно гуляли волны. А уже 9 марта «Ретвизан»... отвечал японцам на вторую их перекидную бомбардировку. Японцы стреляли из-за Ляотешаня. На этот раз, к их изумлению, русские ответили им тем же. Макаров и Щенснович приготовили им сюрприз. На «Ретвизане» так затопили ряд отсеков, что его пушки едва не в небо смотрели! В результате сразу же «Ретвизану» удалось подбить японский броненосец «Фуджи», после чего японский флот поспешно удалился.

— А, наскочили с ковшом на брагу! — ликовали матросы. — С Макаровым не очень-то разгуляешься!..

Наконец с помощью водолазов пробойну на «Ретвизане» заделали, откачали воду, и он всплыл.

Но русский флот постиг непоправимый удар: в роковой день 31 марта 1904 года на броненосце «Петропавловск», наскочившем на минную банку, погиб адмирал Макаров. В две минуты все было кончено. Морякам казалось, что даже после ухода броненосца в воду море все еще выбрасывало языки пламени.

Снова приехал в Порт-Артур Алексеев. Когда Щенснович запросил решения провести опытные стрельбы, то флагман долго не отвечал. При Макарове, бывало, сразу же взвивался флаг «Добро»: «Согласен». Теперь флагман ответил: «Не понял». Щенснович повторил просьбу. Опять заминка, потом сигнал: «Командиру «Ретвизана» объявляется выговор!»

Вот так! Жди стрельб по расписанию, по циркуляру!

Скоро началась осада Порт-Артура с суши. При одной из бомбежек (27 июля) «Ретвизану» опять не повезло: снаряд пробил борт ниже ватерлинии, сделав пробойну в два квадратных метра. Броненосец принял 400 тонн воды. Сам Щенснович был ранен, но остался в строю. Пробойну кое-как заделали железом и деревом, а на другой день эскадра ушла из Порт-Артура,

надеясь прорваться во Владивосток. «Ретвизан» шел вторым в кильватерном строю.

— Пойду таранить «Миказу»! — частенько повторял каперанг Щенснович не то в шутку, не то всерьез. На флагмане японской эскадры, блокировавшей Порт-Артур, броненосце «Миказа», держал флаг адмирал Того. И когда русские корабли, прорываясь из Порт-Артура во Владивосток, вступили в Желтом море в жестокий бой, из кильватерной колонны неожиданно вышел «Ретвизан» и на всех парах ринулся на «Миказу». «Капитан Ща» вовсе не шутил, он вел свой броненосец на «таран»!

Возможно, форштевень «Ретвизана» и взрезал бы борт «Миказы» — считанные минуты оставались до тарана, — если бы в смотровую щель боевой рубки не влетел осколок снаряда. Отрикошетировав от броневых стен, он ударил Щенсновича в живот. Тяжело контуженный каперанг потерял сознание. Вызванный в рубку старший офицер (он руководил тушением пожара), не зная замысла командира, велел рулевому вернуть броненосец в кильватерный строй.

Много позже та контузия сказалась на здоровье Щенсновича роковым образом.

Придя в себя, Щенснович с горечью увидел, что эскадра шла обратно в Порт-Артур. Все было кончено! Поражение!

— Ах, если бы не робкий Витгефт, а Мака-

ров вел эскадру! — сокрушался Щенснович, стараясь не стонать от нестерпимой головной боли.

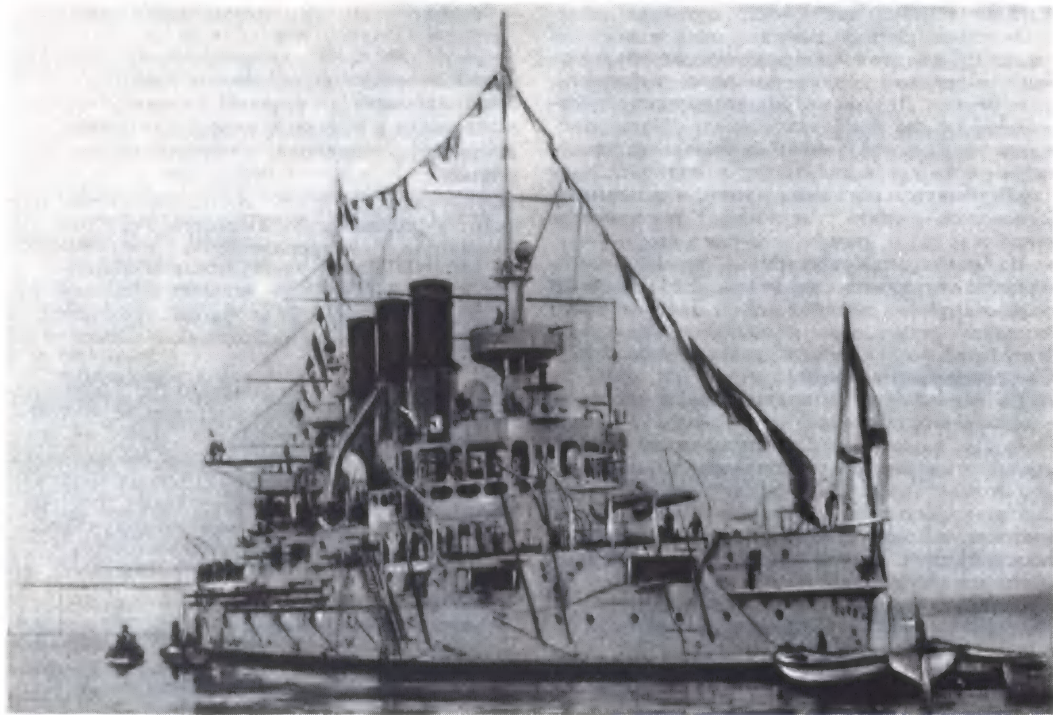
На обратном пути «Ретвизан» едва не затонул. Наскоро заделанная пробоина открылась, и броненосец принял до трехсот тонн воды.

* * *

Началась эра десантов. В сухопутных боях не раз отличались катера с «Ретвизана» под командой мичманов Шефнера и Свиньина. Минный катер с «Ретвизана» (командир — лейтенант Дмитриев) взорвал вражеский миноносец. Другой катер (лейтенант Волков) прорвал японскую блокаду. Отчаянно дерзким был рейд катера «Авось» (лейтенант Роцаковский). Не раз огнем своих пушек «Ретвизан» срывал сухопутные атаки врага на прибрежных участках фронта.

В Россию капитан I ранга Щенснович вернулся в ореоле славы. Как не претило царскому двору польское происхождение героя Порт-Артура, все же в 1905 году Щенсновичу были пожалованы контр-адмиральские эполеты, а два года спустя — золотая сабля с надписью: «За храбрость».

В знак порт-артурских заслуг, кроме русских



Эскадренный броненосец «Ретвизан».

наград, парадный мундир Щенсновича украшали ордена Черногории, Греции, Пруссии.

Вот этому отважному офицеру и доверили организацию совершенно нового на флоте дела — подплава, подводного плавания. В те годы подводников называли смертниками. Многие видные адмиралы не верили в будущее подводного флота.

Англичанин Гэнней заявил: «Подводная лодка — в высшей степени занимательная игрушка». Ему вторил лорд Гошен: «В морской войне с подводными лодками считается нечего». Знаменитый германский адмирал Альфред фон Тирпиц самоуверенно заявил: «Подводные лодки Германии не нужны!» И тем не менее... все страны лихорадочно строили подводные лодки! Ими обзаводились даже Турция и Греция.

В 1903 году в составе флотов у Франции было 34 подводных лодки, у Англии — 18, у США — 9, у Швеции — 7, у Италии — 2, у Германии и России — 0.

Царская Россия и тут отстала, хотя в 80-е годы в русском флоте было построено 50 подводных лодок системы Джевецкого, то есть тогда, когда другие страны лодок не имели. К концу века субмарины Джевецкого безнадежно устарели.

С одной такой лодкой Щенснович познакомился еще в осажденном Порт-Артуре. Больше всех с ней возились как раз офицеры с «Ретвиана» и «Пересвета». Командиром лодки был мичман Борис Вилькицкий, будущий полярный исследователь. Но лодка эта была фактически полуподводной и имела ничтожную скорость хода. Это-то и помешало ее боевому применению. Зато во Владивостоке к концу русско-японской войны было уже 10 подводных лодок, которые несли дозорную службу и даже выходили в атаки.

«Наши пионеры подводного плавания, — писал русский подводник М. М. Тьер, — спасли Владивосток от нашествия японского флота».

Горячим сторонником развития подводного флота был адмирал Макаров. Английский адмирал Перси Скотт пылко заявил: «По моему мнению, подводная лодка вытеснит броненосец на море так же, как автомобиль вытесняет лошадь на суше». В пользу подводных лодок во Франции рьяно выступали морской министр Камилл Пелътан, адмиралы Об и Фурнье, предлагавшие вместо линкоров построить «тучи аэропланов и подводных лодок».

В России к моменту назначения Щенсновича флагманом подводников тоже развернулась борьба двух направлений в вопросе о строительстве нового флота. За преимущественное развитие линейного флота выступали царь, морское министерство и морской генеральный штаб, почти все видные адмиралы и военноморские теоретики, наконец, монополии и банки, развернувшие бешеную агитацию в печати. Русский военноморской теоретик А. Д. Бубнов, например, заявлял: «Подводные лодки не имеют никакого боевого значения... Подводные лодки представляют из себя не что иное, как подвижные минные банки».

Ему вторил другой теоретик, А. В. Колчак: «Идея замены современного линейного флота подводным может увлечь только дилетантов военного дела... Специально минный или подводный флот — фиктивная сила...»

Только Щенснович с группой молодых офицеров настаивали на создании в России могучего подводного флота.

Миния морского министра, Щенснович заявил царю: «Подводные лодки уже сейчас представляют собою серьезное боевое средство». С расчетами в руках он доказывал, что вместо одного броненосца можно построить минимум 25 подводных лодок по 500 тонн водоизмещения или 60—80 лодок по 120—250 тонн водоизмещения. Идеи адмирала Щенсновича, за которые он отважно и энергично боролся, можно свести к следующим принципам:

1. Строить подводный флот дома.
2. Иметь на всех морях мощные эскадры подводных лодок.
3. Строить большие лодки с большим радиусом действия.
4. Использовать лодки не только для обороны, но и для наступления.
5. Роль подводных лодок в будущей войне будет очень большой, если не решающей.

Теперь можно только поражаться прозорливости русского адмирала, хотя в те годы даже такие всемирно признанные военно-морские авторитеты, как адмирал фон Тирпиц в Германии и лорд Фишер в Англии, отрицали всякое боевое значение подводных лодок в будущей войне! Царя Щенснович убеждал: «В случае надобности мы могли совершенно самостоятельно построить большой подводный флот — были бы только для этого даны необходимые средства». Увы, царское правительство, рабелепствуя перед иностранной техникой, упорно покупало американские лодки Лэка, намного уступавшие русским по боевым качествам.

О том, как строили американцы подлодки для русских, красноречиво говорит рапорт лейтенанта Я. И. Подгорного о ходе строительства «Кефали»: «Все не пригнано, косо и криво. Задний деревянный киль не защищен с боков железом, а поставлена просто деревянная болванка, плохо обтесанная. При самом легком прикосновении ко дну она, конечно, отлетит и вырвет с собою болты. Во многих местах швы текут. Заливаются они просто асфальтом или же забиваются паклей и щепками».

Лейтенант Подгорный встретился с самим Симоном Лэком, когда тот приехал в Либау. Едва сдерживая негодование, Подгорный сказал:

— Ваша фирма, господин Лэк, обещала построить «Кефаль» в пятимесячный срок. Прошло уже восемь месяцев, а конца стройке не предвидится.

— Да, старые сроки давно истекли, — нисколько не смутившись, подтвердил Лэк.

— А новые сроки?!

— Не учтены.

Увы, неустойка не была оговорена в контракте, а Лэк уже получил три миллиона рублей

из четырех по договору. Никто не знает, сколько он получил от японцев за то, чтобы строительство подлодок затянулось.

В своей докладной записке адмирал Щенс-нович взывал: «Неужели нам и в этом деле быть позади иностранцев и давать им возможность учиться, как нас побеждать на наши же средства?»

— А заказ лодок за границей... к этому и приводит... Изобретатель г. Лэк, получив от нашего правительства почти миллион рублей как первый платеж за лодки, немедленно по заключении контракта открыл контору для постройки этих лодок в Берлине...»

Увы, только небольшая группа подводников-патриотов — Н. Л. Кржижановский, М. Н. Беклемишев, И. И. Ризнич, М. М. Тьедер, В. Ф. Дудкин, В. А. Подерни, М. П. Налетов — разделяла тревоги Щенсновича и настойчиво пропагандировала подводное плавание в России.

«Подводники — это моряки будущего!» — пророчливо восклицал лейтенант Тьедер.

В свой Учебный отряд подводного плавания — завязь будущих подводных сил России — Щенснович отобрал семь офицеров и двадцать матросов, руководствуясь такими критериями: «Каждый человек, выбранный на службу на лодках, должен быть высоко нравственный, непьющий, brave, смелый, отважный, не подверженный действию морской болезни, находчивый, спокойный, хладнокровный и отлично знающий дело». В эту великолепную семерку офицеров-подводников был зачислен и двадцатисемилетний лейтенант Ризнич, бывший водолазный офицер с броненосца «Георгий Победоносец» и будущий командир подводной лодки «Святой Георгий».

Ризнич пришел в отряд не учиться, а обучать, ибо ко времени создания «подводной дружины Щенсновича» он обладал изрядным опытом командира-подводника. Он наверняка гордился тем, что еще в 1904 году стажировался на «Дельфине» — первой русской субмарине — у самого кавторанга Беклемишева, подводника № 1. Правда, стажировка эта началась почти сразу же после трагедии, разыгравшейся на «Дельфине» летом того же года.

Утром 16 июня 1904 года «Дельфин» начал учебное погружение у западной стенки Балтийского завода.

Вместо Беклемишева, который уехал по делам службы в Кронштадт, «Дельфином» командовал помощник — лейтенант Черкасов. Это было первое его самостоятельное погружение и... последнее. Стравливая избыточное давление через рубочный люк, Черкасов не успел вовремя опустить крышку, и в лодку хлынула вода. «Дельфин» затонул. На поверхность успели вынырнуть лишь десять матросов и два офицера. Лейтенант Черкасов и двадцать четыре матроса погибли. Труп Черкасова нашли не в прочной рубке, а в корме. Это послужило поводом, чтобы обвинить лейтенанта в том, что он бросил свой боевой пост. Однако Беклемишев сумел доказать следственной комиссии, что его помощник ушел в корму не из трусости, а уступая место

под рубочным люком спасающимся матросам. Как командир, пусть даже временный, лейтенант Черкасов должен был покинуть корабль последним, и он остался верным этой старой морской традиции.

«Дельфин» подняли, отремонтировали, покрасили... Но мрачный ореол стального гроба, в котором задохнулись двадцать пять человек, не могли рассеять никакие доковые поновления. Так что стажировка Ризника началась в атмосфере, весьма способствующей размышлениям о бренности жизни подводника. Впрочем, вряд ли он им предавался, этот энергичный и решительный моряк. Выбор был сделан раз и навсегда: подводные лодки!

* * *

...В Либапе (бывшей Либаве) и сейчас еще стоят краснокирпичные фигурные корпуса казарм, в которых жили первые русские подводники. Какая отважная дерзновенная жизнь кипела в их стенах на заре века! Все вновь, все неизведанно — и каждый фут глубины, и каждая походная миля на утлых, опасных подводных снарядах, в которых скептики видели скорее «аппараты», чем боевые корабли. Невольно хочется сравнить эту когорту энтузиастов с отрядом космонавтов: ведь и они, эти «охотники» — мичманы и лейтенанты — стояли перед тем же порогом небывалого, за которым простиралась пусть не бездна Вселенной, но бездна океана. Недаром водные недра нашей планеты называют гидрокосмосом. Дух поиска и эксперимента, риска и удали разительно отличал Учебный отряд подплава от других частей и заведений императорского флота, погруженного после Цусимы в анабиоз позора и уныния.

Командир Либавского военного порта возмущался тем, что подводники не выпускают его в эллинги с засекреченными субмаринами, тогда как простые мастеровые входили туда беспрепятственно.

Командир Либавского порта писал в Петербург жалобы и доносы на Щенсновича и его людей. А Щенснович в ту пору работал над документом, который по праву можно назвать первым Уставом подводного плавания. Щенснович добивался строительства бассейна для своих лодок, теребил начальство, требуя средств на развитие учебной базы отряда. Столь же беспокойными и деятельными были и ближайшие его помощники — командиры учебных подводных лодок лейтенанты Ринсич, Власьев, Гадд-второй, Заботкин...

Ризнич составил первый «Словарь командных слов по управлению подводными лодками», лейтенант Белкин разрабатывал тактику ночных атак. Это стоило ему жизни. Во время учебной атаки подводную лодку «Камбала», на которой находился Белкин, случайно таранил линкор «Ростислав».

Питомцы отряда учились не в классах, учились прямо на подводных лодках, учились в море. Тонули, горели, садились на мели, но горь-

кая соль морского опыта насыщала инструкции, рекомендации, правила для тех, кто пойдет потом свои «Барсы» и «Пантеры» в боевые походы сначала мировой, а потом и гражданской войны...

Не раз на флоте добрым словом вспоминали Щенсновича за его поистине подвижническую деятельность по созданию на Балтике первого отряда подводников.

Впечатляет и краткий перечень того, что сделано им для становления подводного плавания. Создан на деле (а не на бумаге!) Учебный отряд подводного плавания. В нем не только обучали офицеров и матросов-подводников, но и регулярно передавали флотам приведенные в боевую готовность лодки вместе с экипажами. Был сооружен бассейн для стоянки двадцати лодок. Устроены были пирсы для швартовки лодок, станция для пополнения запасов электрической энергии и сжатого воздуха. Установлен опреснитель. Построен эллинг с док-мостом для подъема из воды лодок на зиму.

Все подводные лодки обязательно проводили атаки учебного корабля «Хабаровск» и других военных кораблей. Требовалось провести удачные выстрелы прежде, чем лодка будет замечена.

Ежегодно лодки посещали все порты Балтийского моря. Со временем преобразилась и плавучая база отряда — транспорт «Хабаровск». На нем установили две динамо-машины, компрессоры высокого давления, опреснитель и рефрижератор. Благодаря интенсивной дея-

тельности Учебного отряда были подготовлены квалифицированные специалисты, сумевшие достойно представить русский подводный флот в первую мировую войну.

Помимо всего прочего, флагман русских подводников разрабатывал тактику подлодок и методику обучения экипажей, он заложил основы профессионального отбора подводников и изучал психологию людей, заключенных в тесное замкнутое пространство стального корпуса. При всей широте своих планов и замыслов Щенснович вникал в такие «мелочи», как покрой дождевого платья для верхней вахты или замена казенной водки в рационе подводников на горячий грог, «ибо последний обладал более сильным противостудным действием».

Однажды подводная лодка лейтенанта Ризнича задержалась с возвращением в Либаву из Риги на несколько суток. Свое опоздание командир объяснял тем, что не смел нарушить запрет начальника отряда закупать бензин у частных лиц.

«К сведению господ офицеров,— писал в приказе по этому поводу Щенснович,— впредь руководствоваться только интересами дела, даже если приходится поступать в разрез с моими распоряжениями».

Прекрасно сказано — по-нахимовски, по-макаровски!

...Смерть Эдуарда Николаевича Щенсновича в 1911 году явилась тяжелой потерей для подводного плавания России.

* * *

Ростов-на-Дону 1923 года. Летняя эстрада, сад бывшего Коммерческого клуба. Первое выступление Руслановой как профессиональной эстрадной певицы. Концерт увенчался шумным успехом. Огорошенная ростовская публика, выдавшая виды, уходила из летнего сада, не переставая удивляться: «Вот, оказывается, как можно петь!» Таким было начало. А за плечами двадцатитрехлетней Руслановой уже была целая жизнь с голодным детством, сиротским приютом, в хоре которого она пела так, что послушать ее приезжали за полсотни верст; со скоротечными, но и полезными уроками чудесного певца и педагога М. Е. Медведева, профессора Саратовской консерватории, бесплатно обучавшего четырнадцатилетнюю девушку вокальным премудростям и убедившегося, что у нее «не академическая — другая, народная, своя стезя в искусстве»; позади были выступления перед рабочими — гвардейцами революции, а затем и перед красными бойцами на фронтах гражданской войны...

Ростов-на-Дону 1973 года. Знойный август. Праздничная программа на городском стадионе. Тысячи, тысячи зрителей. Нещадно печет солнце. Но что жара! Все взгляды устремлены на гаревую дорожку. Там, на машине она. Неспешный проезд перед трибунами. Объехали раз — аплодисменты не умолкают. Пришлось повторить — хлопают еще пуще. Публика снова и снова требует любимицу. Ведь каждому хочется разглядеть ее получше, запомнить навсегда. А она в открытой машине, вскинув руки, сильно сощуренными — то ли от солнца, то ли от волнения и счастья — глазами оглядывает террасы трибун, не по годам задорная, статная, в расшитом сарафане, цветастом платке. Такой ее и запомнят все, кому выпала доля видеть знаменитую, всенародно любимую певицу в самый последний раз. Ее голос запомнят, вовсе не померкший с годами, сохранивший и силу и звонкость, песни ее, частушку прощальную, веселую и лукавую, самую-самую руслановскую:

Говорят, я некрасива —
Знаю, не красавица.
Но не все красивых любят,
А кому что нравится...

Так символично — в «одной точке» и ровно через пятьдесят лет — замкнулся круг ее творчества, вершиной которого как раз и были годы огневые.

В последнем своем выступлении по телевидению Лидия Андреевна Русланова воскликнула: «Ох, как живо вспомнились мне годы войны! Окопы, землянки, поляны, госпитали, клубы осажденного Ленинграда — где только не приходилось петь... Все я помню: все беседы, все встречи. У меня так много фронтовых друзей, что я самый счастливый человек».

В. Уланов

Гвардии народная артистка

В Центральном государственном архиве литературы и искусства, в архивах Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР хранятся бесценные документы, запечатлевшие деятельность фронтовых концертных бригад, в том числе и эстрадных, сформировавшихся в первые дни Великой Отечественной войны. Скупые, но красноречивые строчки отчетов тех лет, сводки Политуправления Красной Армии, имена артистов, названия концертных программ и номеров, маршруты выступлений, простирающиеся далеко на восток, в глубокий тыл страны, и на запад, до самого поверженного Берлина; много писем и записок по горячему следу от бойцов и командиров Красной Армии, в которых благодарность артистам за незабываемые встречи и в тесном окопе на передовой, и на аэродроме, и на лесной «эстрадке» партизанского отряда, и в госпитале, и возле школы, ставшей мобилизационным пунктом, и на гулком вокзальном перроне, на проводах красноармейцев.

Свыше ста тысяч концертов дано артистами эстрады на всех фронтах Отечественной войны — на земле и воде, случилось, и под водой, к примеру, в кубрике подлодки, и в воздухе, во время перелетов на борту военно-транспортных самолетов. Более шестисот артистов эстрады награждены орденами и медалями. Еще задолго до великой битвы под Москвой Всесоюзное гастрольно-концертное объединение (ВГКО) мобилизовало на фронт свыше сорока бригад. Весной сорок второго эстрадных фронтовых бригад было уже за шестьдесят.

«Все — для фронта!», а затем и «Все — для Победы!» — эти лозунги одними из первых взяли на вооружение советские артисты. Набатно прозвучало письмо пленума ЦК РАБИС, оглашенное всенародно на второй день войны. Есть в нем такие слова: «Где бы ни находились части нашей Красной Армии и Военно-Морского Флота, работники искусств разделяют с бойцами фронтовую жизнь. Отныне наше искусство, как никогда, будет служить могучим и боевым средством победы коммунизма над фашизмом».



Заслуженная артистка РСФСР Л. А. Русланова.
Фото Н. Агеева. 1973 г.

В мирное время она была украшением любой именной концертной программы. Всегда работала неистово, не ведая усталости, будто спешила высказать страсть к народной песне, заразить, околдовать, вдохновить ею всех и вся. В годы военные слава Руслановой умножилась. Бойцы Красной Армии, знавшие знаменитую певицу большей частью по радио, развившемуся в тридцатые годы, теперь, слушая и видя ее вблизи, на стихийной концертной площадке, в каких-нибудь трех-четырёх шагах, не переставали удивляться: «Вот ведь какая она, Русланова, владеет таким даром, а видом настоящая крестьянка!...» Русланова добротой своей и сердечным жаром искусства своего напоминала солдатам их матерей, сестер. После концерта, как водится, обступали артистку тесным кольцом, беседовали запросто про все на свете, и, оттаявшие душой, счастливые, уходили красноармейцы в бой, случилось, в последний... Потом, после боя, те, кому повезло, писали в адрес певицы письмо, делились успехами в службе, вновь благодарили и часто называли встречу с ней «праздником жизни». Сколько таких писем — и объемных, и в несколько строк — получала она! Сколько приходило их на радио, телевидение!

Выбираем наугад. Хотя бы это...

«...Она запела, и словно исчезла опушка возле лесного аэродрома, и кажется, что я не на войне, а на родной Волге, гляжу, как мерно катят волны, и ласковое солнце над головой, пароход вдалеке крикнул, встретив речного собрата. Отчего-то руслановская песня напомнила натруженные руки отца, а облик певицы — мать. Не забуду, как она меня провожала, как держалась, чтобы не зареветь в голос, по-бабьи, как вопили у нас издавна деревенские женщины. Такой я матушку и запомнил — бледную, маленькую, милую, окаменевшую от горя на проселке. Полгода назад она здесь же, за околицей, провожала отца.

Потом, когда песня о Волге затихла, Русланова подошла к нам познакомиться. В ту пору я был какой-то неказистый на вид, худ, невысок. И артистку, видно, удивило, что такие, как я, воют, и она сказала, обращаясь ко мне: «Чего это ты, голубок, похоже, опечалился? Ты мне поверь, все у тебя сложится хорошо, дойдешь ты аж до самого распроклятого Берлина и вернешься героем». И так она это сказала ласково и ободряюще, что я вдруг и враз поверил в свою счастливую судьбу... Сразу же после концерта Л. А. Руслановой и других столичных артистов нас ожидал жестокий бой за наш аэродром. Это было под Можайском, в сорок первом году... Бывший гвардии старшина, шофер машины-заправщика Алексей Власов, Москва».

Еще одно письмо.

«Встреча с Л. А. Руслановой напомнила суровые военные годы. Помню, как концерты артистов вдохновляли воинов в битве под Сталинградом. В зале бывшей школы окна были замаскированы. Слева и справа горели коптиль-



Первая фронтовая концертная бригада под руководством М. Н. Гаркави. Подмосковное село Язвище. В центре Вера и Ян Липковские. Фото Н. Агеева. 1942 г.

ки, а из зала воины освещали карманными фонариками сцену. Но это была не сцена, а чуть возвышенное место от пола. Народу было полным-полно. Я сидела на полу. Передо мной стояла стройная, в военной форме Лидия Русланова. Она пела «Вдоль по Волге-реке». От бурных оваций воинов коптилки гасли. А когда снова зажгли, Русланова спела «Валенки» и частушки. Передайте Лидии Андреевне мое солдатское спасибо за тот вдохновенный концерт. Участница Великой Отечественной войны Королева Александра Поликарповна, Тамбов».

А как Русланова выходила к солдатам — самым лучшим, самым щедрым на отклик слушателям, — словно выплескивалась волной и в момент сводила на нет то, что обычно разделяет артиста и публику! С какой пристальностью и добротой вглядывалась в их лица и как у нее при этом сияли глаза. С каким глубоким почтением и обстоятельностью кланялась низко и,

прежде чем начать чудотворить песней, произносила слово-другое, говорила распевно, с чудесным, льющимся, ласкающим слух среднерусским говорком: «Вот мы и свиделись с вами, сыночки. Что ж вам спеть, чем потешить?» И это ничего, что среди «сынков» случались и ее ровесники, а то и много старше по летам. Но так она говорила, и этот сердечный образ обращения действовал безотказно.

Обычно начинала она с одной-другой известной песни, по ее выражению, «для разогреву». Потом шли заказы. Кто откуда родом был, тот такую песню и просил. Какие только песни не знала Русланова! И деревенскую заплачку, и городской романс, и окраинную частушку. И все остальное. И это богатство сызмальства крепко-накрепко держала ее память. Ни разу в жизни не заглянула она ни в фольклорный сборник, ни в один песенник. Да она сама была песенной энциклопедией. Так что на каждый,

самый неожиданный заказ она отзывалась незамедлительно. Излишне говорить о том, как ценили ее за это защитники Отечества, как волновало их ее искусство, как взбадривало, как одухотворяло.

Как-то Русланова, человек на редкость прямой и объективный, призналась: «Моя сила в непосредственности, в естественности чувства, в единстве с тем миром, где родилась песня. Я это в себе берегла и, когда пела, старалась перенести слушателю то, чем полна была с детства, — наше, деревенское. Такой я нужна была. В армии очень многие так или иначе связаны с деревней, и я пела им — прямо в раскрытую душу».

Теперь факты. Поначалу о выступлениях первой фронтовой бригады, украшением которой стала Русланова.

«Искусство — оружие для поднятия боевого духа армии и населения». Это изречение, известное со времен гражданской войны, в первые дни Великой Отечественной еще не обрело конкретного воплощения. Полагалось так: артист не артист, но если ты мужчина, бери в руки винтовку, становись в строй. Вот что главное. Многие деятели искусства так и сделали: кто мобилизованным, кто добровольцем ушли воевать. Но вскоре утвердился такая идея: не должны молчать музы и в тяжкую годину. Искусство необходимо сражающейся Красной Армии.

Первая фронтовая в основном сложилась из артистов Московской эстрады, которую в ту пору возглавлял Борис Михайлович Филиппов, человек неутомимый, волевой. В свое время он организовал первый в послереволюционной Москве клуб художественной интеллигенции, с годами выросший в Центральный Дом работников искусств. Впоследствии директор Центрального Дома литератора, по-шутливому выражению друзей-писателей, Домовой. Ему вместе с известным конферансье Михаилом Наумовичем Гаркави и было поручено формирование небольшой мобильной концертной бригады, могущей пробраться в любую горячую точку действующей армии.

Б. М. Филиппов оставил богатый документ о том времени — предсудетельный артриб (артистический бригадир) вел дневник, в котором, по его словам, «подробно и точно» запечатлелась работа первой боевой концертной бригады на Западном и Южном фронтах с июля по октябрь 1941 года. Перелистаем некоторые страницы дневника, в основном те, что имеют прямое отношение к Руслановой.

«30 и ю л я. Сегодня мне уже ясен состав группы: В. Хенкин, Л. Русланова, М. Гаркави, артисты оперетты Е. Калашникова и И. Гедройц, артист радио певец Г. Кипиани, иллюзионист Е. Шукевич со своей женой — ассистенткой его программы, артистка балета Большого театра Т. Ткаченко; дует баянистов в составе М. Борисенко и В. Жерехова и аккомпаниатор на саратовской гармошке В. Максакон...»

9 августа. В палисаднике Дома Красной Армии собираются представители ПУРККА, председатель ЦК профсоюзов работников искусств А. В. Покровский, корреспонденты и фоторепортеры, родные и друзья отъезжающих. Хенкина провожает не менее половины коллектива Театра сатиры. Попрощаться с нами пришел руководитель знаменитого Ансамбля песни и пляски Советской Армии, народный артист СССР А. В. Александров и руководитель второй фронтовой бригады, которая должна выехать на фронт вслед за нами, режиссер Центрального театра Красной Армии А. Л. Шапс... Ожидаемый автобус, присланный с фронта, оказывается обыкновенной трехтонной грузовой машиной со скамейками. Но этого никого не смущает. Фронтовики же мы, черт возьми!.. Русланова садится в кабину с водителем. Гаркави затягивает популярную песенку про синий платочек, падающий с плеч. Все подтягивают. Водитель дает газ. Пронзительные гудки — и мы направляемся в сторону Можайска...

10 августа. Здание ДКА в Гжатске... Подъем в 8 утра. В 11 утра, после завтрака, назначен выезд в Акатово. Едем на том же грузовике. Проезжаем деревеньки и видим грустную картину войны: обуглившиеся остатки деревенских строений, прогнувшиеся от огня железные кровати... В Акатове дислоцирована воинская часть. Первый концерт происходит в обстановке, не внушающей оптимистического настроения, — на местном кладбище. Эстрадой служат два грузовика с откинутыми бортами. Волнения немало. Как-то примут этот первый фронтовой концерт воины нашей армии? Все актеры готовились к выступлению с большей тщательностью, чем они это делают в центральных концертных залах Москвы. Еще до выезда мы условились, что, невзирая на обстановку, артисты всегда должны быть в форме, подтянуты, одеты в лучшие концертные костюмы и платья.

Премьера бригады проходит с огромным успехом. Сегодня все в каком-то особенном ударе! До чего же сердечно и искренне встречает аудитория буквально каждое выступление. Хенкина и Русланову знают почти все по концертам или по радио.

...Много записок с просьбой исполнить различные русские народные песни получает Русланова. Гаркави оглашает «ходатайство»: «Лидия Андреевна, нам бы саратовские». Звонит переливчатая гармонь. Звонкая саратовская частушка вызывает ласковые улыбки не только у саратовцев, но и у сибиряков, украинцев, москвичей... Замечательные зрители красноармейцы. Для них наш приезд — большой, настоящий праздник. Слушают и реагируют превосходно. Актёров не пускают с импровизированной сцены, хотя они порядком устали...»

В ходе выступлений М. Н. Гаркави озарят неплохая идея: объявляя концертные номера, он посвящает выступления артистов тому или иному герою воинской части. Это очень по

душе красноармейцам. Конферансье, правда, теперь приходится совмещать должность ведущего с профессией «разведчика». К тому же данные о ратных подвигах слушателей-бойцов должны отличаться оперативностью и точностью. Гаркави, как всегда, активен и изобретателен.

Далее:

«15 августа. Узнаем, что этой ночью возле Вязьмы фашисты сбросили десант. Советские танки отправились на разгром десантной группы противника. Танковой частью, в которой мы находимся, командует Герой Советского Союза полковник Лизюков. Часть дислоцирована на «бойковом месте». Начался концерт, Русланова посвящает свое выступление Лизюкову.

— Сколько простора в ее голосе! — шепотом говорит сероглазая шатенка, военврач III ранга Нонна Тимофеевна Якушева... Эта красивая русская девушка представлена к награждению боевым орденом Красного Знамени за отвагу и мужество, проявленные ею на фронте...»

Есть в дневнике и краткая характеристика артистов фронтовой бригады. Вот как оценивает Русланову той поры Филиппов.

«Женщина своенравная, трудная, порой капризная, внешне как будто и некрасивая, но пение преобразует ее до неузнаваемости. Задуманная русская песня, исполняемая низким, широким, как Волга, контральто, пленяет до глубины души».

«18 августа. Полковник Лизюков оглашает приказ о зачислении Владимира Яковлевича Хенкина и Лидии Андреевны Руслановой

почетными красноармейцами 57-й танковой дивизии. Им выдается полный комплект обмундирования...

Во время выступления Руслановой подъезжает кавалерийская часть. Конники частично спешиваются, привязывают лошадей, некоторые подъезжают и слушают концерт, не слезая с седла. Так им и видней и слышней. Концерт идет на прямоугольной площадке, окаймленной вековыми липами...».

Этот эпизод связан с песней. Его через много лет вспомнит Русланова. Вот как звучит этот рассказ, записанный с ее слов:

— Лужок тот был весь рассвечен лучами солнца, солнца ласкового, мягкого, по траве пляшут пятна-тени от листьев, темнеют стволы старых, но не потерявших стройность лип. Очень уж напоминало все это излюбленные мотивы русских пейзажистов. Красноармейцы теснятся меж деревьями бывшей усадьбы... Что-то во мне вдруг оборвалось. Чувствую, горло перехватило — вот-вот разрыдаюсь. И ведь не было у меня никогда ничего такого. То есть не было на сцене. А тут... Огляделась еще раз кругом. Помаленьку успокаиваюсь. Потом шепнула гармонисту. И завели мы с ним...

В этом месте Лидия Андреевна тихо-тихо взяла низким, грудным звуком: «Липа вековая над рекой стоит, песня удалая вдалеке звучит...»

— Ну и спела, чую, что хорошо, забористо спела. Мертвая тишина. Глаза закрыла. Только листья шумят. Даже громыханье канонады куда-то запропастилось. Тут выходит из рядов слушателей командир, а какого звания — не разглядела. Поклонился, и я ему ответила низким поклоном. Говорит каким-то сорванным,



Артисты конноспортивного аттракциона «Донские казаки» под руководством народного артиста РСФСР М. Туганова. Май, 1945 г.

хриплым голосом: «Товарищ Русланова, нельзя ли еще раз про липу вековую. Понимаете, хлопцы тут с задания подоспели». И видно, от избытка волнения так выдохнул он свое «и-эх!», и так руки сжал в кулаки, что я не утерпела, кинулась к нему, обняла, расцеловала. Ну и запела вновь. Да и, верите ли, пою, слезы жую, а от куплета к куплету как будто вся моя жизнь разворачивается.

Еще один очевидец подобных руслановских концертов, писатель Валентин Петрович Катаев. Его очерк был напечатан в «Огоньке» летом 1942 года.

«Известная исполнительница русских народных песен Лидия Русланова почти с первых дней войны разъезжает по частям героической Красной Армии, выступая перед бойцами. Она ездит с маленькой группой... Где только они не побывали! И на юге, и на юго-западе, и на севере! Они дали сотни концертов... Лес. В лесу еще сыро. Маленький, разбитый снарядами и полусожженный домик лесника. Совсем недалеко идет бой — артиллерийская подготовка, осколки срезают сучья деревьев. Прямо на земле стоит Лидия Русланова. На певиче мордовский сарафан, лапти. На голове цветастый платок — по алому полю зеленые розы. И что-то желтое, что-то ультрамариновое. На шее бусы. Она поет. Ее окружают сто или полтораста бойцов. Это пехотинцы. Они в маскировочных халатах. Их лица черны... На шее автоматы. Они только что вышли из боя и через тридцать минут снова должны идти в атаку. Это концерт перед боем... Вот она кончила. Молодой боец подходит к певиче. Он говорит: «Видишь, какие мы чумазы после боя. Но песней своей ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло. Спой еще». И она поет. Поет широко, чудесную русскую песню «Вот мчится тройка удалая». Но подана команда. Бойцы уходят в лес. Через минуту лес содрогается».

Менялся состав первой фронтовой. Ядром же долгое время оставались Русланова со своим давнишним, еще с довоенных времен, гармонистом-виртуозом Максаковым, конференсье Гаркави да еще развее что иллюзионист Шукевич. Возглавлял бригаду после Б. М. Филиппова М. Н. Гаркави.

Лет пятнадцать назад, еще при жизни Руслановой, мне случилось познакомиться с артисткой фронтовой бригады как раз той поры Верой Николаевной Гончаровой-Липковской. Была она танцовщицей и вместе со своим мужем Яном Липковским исполняла веселый номер «Подмосковная лирическая». Когда готовился этот очерк, умер Ян Липковский. Так что волей судьбы Вера Николаевна осталась, по сути дела, единственной живой памятью и хроникером той своей боевой артистической группы.

Оказалась Гончарова в бригаде Гаркави так. В начале сорок второго года в составе труппы Свердловского театра музыкальной комедии она приехала в Ташкент. Сразу же зарекомендовала себя активным концертантом. Успевала выступать по



Солист ансамбля донских казаков 2-го кавкорпуса гвардии сержант И. С. Петренко. Фото Н. Агеева.

несколько раз в день. В первые же дни ташкентской работы получила несколько благодарностей за выступления в госпиталях и воинских частях. Отметило творчество артистки и местное отделение ВГКО, рекомендовало Веру и Яна Липковских для дальнейшей работы в Москву.

«Комитет по делам искусств при СНК СССР. Всесоюзное гастрольно-концертное объединение. Среднеазиатское отделение. 9 февраля 1942 года. Ташкент.

Командировочное удостоверение

Выдано артистке тов. Липковской В. Н. в том, что она согласно вызову Комитета по делам искусств при СНК СССР и ПУРККА командирована в Москву для обслуживания частей Красной Армии Западного фронта.

Директор — Ларин».

В. Н. Гончарова-Липковская:

— Я могла встретиться с Руслановой и в Ташкенте, где Лидия Андреевна была в то же время, что и мы. А встретиться довелось уже в Москве, в ЦДКА, на приеме нашей фронтовой концертной программы. Увидела я ее возле Дома Красной Армии в окружении бойцов, как оказалось, из зенитных расчетов. Их орудия были здесь же, на площади Коммуны, сильно тогда смахивающей на распаханное пустырь.

Колонны и стены театра были подмалеваны крупными полосами, и все здание напоминало гигантское животное, что-то вроде жирафа. Перед театральным зданием белело миниатюрное камуфляжное строение с классическими колоннами, фронтоном и так далее — понятно, для дезориентировки вражеской авиации. Русланова рассказывала зенитчикам что-то занятное. Они дружно смеялись. Тут я с ней и познакомилась. Никакой манерности, никакого превосходства знаменитой певицы не почувствовала. Она сразу стала называть меня Веруней. Так я для нее Веруней и осталась. Ей понравилась моя велюровая шляпка, надо сказать, премоднющая, изготовленная известной львовской шляпницей Елтовской. Я хотела пофорсить перед комиссией, принимающей программу, вот и принарядилась. Русланова попросила у меня шляпку для образца. «На сцене-то я, Веруня, все больше в крестьянском облачении». А вот между делом не грех и пофасонить». Эта непосредственность Руслановой, легкость, с какой она сходилась с самыми разными людьми, простота, сквозь которую просвечивали народная мудрость, шутливость, чистенько и озорство, сразу и навсегда покорили меня.

Просмотр закончился успешно, и Политуправление Красной Армии направляет артистов бригады на фронт.

А дальше все закружилось и понеслось: грузовичок, крытый фанерным тентом, шоссейки, ухабистые разьезды и развалины, месиво проселков, лесные «тележные» просеки... Госпитали и передовая, передовая и возвращение в Москву. То подмосковный аэродром, то партизанский тыл в горячем районе Ельни, то выступления у танкистов после их изнурительных боев под Вязмой. А сколько друзей появилось у артистов после концертов в расположении кавалерийских частей Западного фронта.

Вережно хранит В. Н. Гончарова эти пожелтевшие, хрупкие на вид бумажки — драгоценные свидетельства, скрепившие фронтовое единение советских бойцов и артистов.

«Приказ частям гвардейской кавалерийской дивизии. 1 марта 1942 года, село Язвище Московской области.

За хорошее обслуживание и постановку концертов для бойцов 3-й гвардейской кавдивизии объявляю благодарность группе артистов: Руслановой, Гаркави, Шукевичу, Першину, Липковской и Липковскому, Максикову, Егубову, Исакову...

Командир дивизии — полковник Ягодин.

Военный комиссар — ст. батальонный комиссар Федоров.

Начштаба — подполковник Жмуров».

А эта благодарность появилась через дня два после концертов в Язвище.

«Приказ № 69 частям 20-й Краснознаменной и ордена Ленина горнокавалерийской дивизии. 3 марта 1942 года. Действующая армия.

Артисты Всесоюзного концертного объединения и артисты Московского государственного цирка в течение нескольких дней провели работу в 20-й дивизии... Приезд на фронт и теплая встреча артистов, широко известных нашей стране как высоких мастеров искусства, с бойцами, командирами и политработниками частей дивизии, которые провели несколько месяцев напряженных боев с фашистами, освободив при этом десятки населенных пунктов от оккупации и истребив тысячи фашистов, гоня их на запад, свидетельствуют о единстве нашего народа, нашей советской интеллигенции с героической Красной Армией... Содержательные и высокохудожественные выступления артистов еще больше воодушевили личный состав дивизии на борьбу с ордами гитлеровцев до их окончательного и полного уничтожения уже в ближайшее время.

Отмечая эту высоко полезную и нужную работу, объявляю благодарностью артистке тов. Липковской В. Н.

ВРИД комдива — майор Денисевич.

Военный комиссар дивизии — батальонный комиссар Алексеевский».

Не сразу смогла оценить коная танцовщица силу искусства. Слишком резко окупалась в пекло войны, в тяжкий фронтовой быт. Думала: «Тут такое творится, а мы со своими четками, фокусами-мокусами да частушками». Страх, конечно, страхом, это не сразу прошло, а может, и вовсе не прошло, но, раз-другой оказавшись на передовой в разгар артналета, она вдруг поняла, что не смерть укажет всему — жизнь. Остался жив — живи, продолжай сражаться, ощущай себя живым человеком, которому ничто не чуждо, в том числе и жажда к искусству, к прекрасному. И взволнованно говоря о том, что могло тогда искусство, Гончарова-Липковская, не задумываясь, все козыри отдавала Руслановой.

Один из первых, в котором участвовал дуэт Липковских, концертов под Москвой. Продувной, наскоро сбитый барак. Тесные ряды солдат. Смертельно усталые лица, суровые и какие-то чуждые взгляды отравленных бессонницами глаз. И вот выходит Русланова. Как по команде, вспыхнули новые фонарики, осветили фигуру певицы в красно-затейливом, ладном наряде. Поклонившись неспешно, платочком расшитым глаза поприкрыла, чтобы малость к зрителю-слушателю приглядеться, произнесла, как всегда, нараспев: «Милые вы мои ребятушки, славные сынки, спою я для вас...» И, опережая аплодисменты, делает платочком сигнал — зашлась гармошка с бубенчиками, полпыли рязанские страдания. И без перерыва заводит «Коробейников». Жест ее хорош, прост, короток, уместен, плечом этак вздернет и повернет, сарафаном волну напустит, а сама и шагу не ступит в сторону. А когда уже дело дошло до аплодисментов, Русланова бросает в самую их гущу пригоршню частушек, да и таких озорных, что не только всей этой усталости и угрюмости бойцовой как не бывало, а перед Руслановой



Выступает Л. А. Русланова. 1945 г.

теперь стояли совсем другие люди — веселые и счастливые.

После концерта тесно возле Руслановой. Разговоры вперекрест. Как с ней всем легко! Опять она чудит, раскручивает историю в народном духе. Кто-то про Некрасова спрашивает. А Некрасов — руслановская страсть... Тут Лидия Андреевна, человек, как было сказано, неожиданный, поднимает руку: «А не взглянуть бы нам, ребята, веселую минутку...» Воцаряется тишина, все жадно глядят на певицу, ждут нового чуда. И дожидаются. Закрыв глаза и крепко сцепив руки на груди, начинает она некрасовское отчаянно-горькое, пронзающее самую душу «Меж высоких хлебов...». Но и это еще не все. Выждав, покуда схлынет волна аплодисментов, опять она неожиданно затевает разговор про то, как причудливо сплетается в жизни, да и не только в жизни, печальное и смешное, читает наизусть, с замечательной выразительностью, с речевой манерой, отдающей московским говорком колоритных «старух» Малого театра, страницы из гоголевского «Тараса Бульбы» про казнь Остапа: «Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, не трудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон...» Когда Русланова доходит до места, где описывается шляхтич-петух, который «нацепил на себя решительно все, что у него было, так что на квартире осталась только изодранная рубашка да старые сапоги», на глазах у дружно хохочущих слушателей блещат слезы. И пожалуй что, не только от смеха.

— Ночью ворочаюсь, не пойму, что со мной, — продолжает В. Н. Гончарова-Липковская, — Русланова тоже не спит, вздыхает тяжело. Устала она смертельно, доставалось ей тогда, работала за троих, на ней вся программа держалась. Днем она и глазом не моргнет, ни за что не покажет, что ей тяжело. Ведь где, в каких условиях ей петля приходилось! Окликаю ее тихо: «Лидия Андреевна, голубушка, что же это происходит? Такая беда кругом, горе, смерть в двух шагах, а люди смеяться хотят, песен красивых, лирики; вон про любовь с вами советуются, про верность». А она сонным голосом, с частым прдыханием: «Жизнь, милая, берет свое... Спи, Веруна, спи лучше. Завтра дороба, работа. С утра самого. Что тут говорить. Нравится людям то, что мы делаем, и хорошо, что нравится, то, значит, и запишется на общий счет победы. Спи, береги силы...»

В иные бессонные ночи либо по дороге из одной части в другую, когда уж от тряски в печенке ножом режет, любила я отвлечься, забыть в рассказах Лидии Андреевны про горький хлеб ее детства. Никогда не жаловалась она на прежнюю сиротскую жизнь, никогда и слезы, уместной в такой теме, не обронит, ни словом тяжелым не сорвется. Сильной, безоглядной, во многом загадочной была ее натура, бездонной душа, бесконечно отзывчивым сердце. Природа наградила ее силой. Но не физической — духовной. Говорят, у людей именно такой внутренней, вулканической силы сердце и самое силь-

ное, и самое слабое место. Только после смерти обнаружилось, что у Лидии Андреевны было несколько инфарктов.

А как она, великая певица-труженик, умела умно и поговорить о народной песне! О той песне, что скрашивала лишения ее ранней жизни, что вывела ее в такие люди, в такие таланты, в такую самобытную, мощную русскую личность! Жаль, что не под силу памяти удерживать всех тех ее простых и мудрых слов. Да и где взять те самые слова ее, руслановские?... Как-то, листая старые журналы, я набрела на биографические строчки самой Лидии Андреевны. И каким же руслановским духом повеяло от них, как напомнили они те наши ночные бдения и дорожные собеседования. Вот послушайте: «Совсем ребенком, не слыша ни одной настоящей песни, я уже знала, какое сильное вызывает она волнение, как действует на душу. Настоящая песня, которую я впервые услышала, был плач. Отца моего в солдаты увозили. Бабушка цеплялась за телегу и голосила. Потом я часто забиралась к ней под бок и просила: «Повопи, баба, по тятеньке!» И она вопила: «На кого же ты нас, сокол ясный, покинул?» Бабушка не зря убивалась. Началась русско-японская война... Мать начала работать в Саратове, а меня взяла к себе другая бабушка. В той деревне пели много, особенно девки на посиделках. Там я впервые узнала, что песни не обязательно должны быть про горе и про разлуку — таких наслушалась веселых, озорных, отчаянных».

* * *

Накануне того последнего выступления Лидии Андреевны по телевидению в 1971 году мне посчастливилось, воспользовавшись временем, предоставленным фотокорреспонденту Гостелерадио Н. Н. Агееву, протиснуться с несколькими вопросами к певице. Один из них был явно горячая. Спросил я у нее о самых памятных выступлениях. В гримуборную то и дело заглядывали какие-то люди. Лидия Андреевна, не глядя в зеркало, «по памяти», ловкими, изящными движениями правила грим на лице. Фотограф ждал момента, а я уже ничего не ждал, кляня свою глупость. Но Русланову вовсе не смутил мой кавалерийский вопрос. Она хорошо, открыто улыбнулась. Но тут же ее брови упали, изогнулись этакими «драматическими домиками», отчего лицо сразу обрело выражение строгой задумчивости.

— Что же, постараюсь вспомнить. Вот в детстве... Пела я в церковном хоре. А у входа стоял солдат-инвалид. Он каждый раз приходил слушать меня. Я знала, что он меня слушает, и пела, как могла, только для него... Это был мой отец... Родной... Вот ведь как иной раз бывает в жизни. Сирота при живом отце. Отец не мог объявиться. Случись это, ему сразу бы всех детей из приюта и вернули. А вот как ему тогда прокормить их?..

Наверное, каждая песня для певца да и концерт каждый вроде детей. Все дороги. Конечно, фронтовые выступления забыть невозможно.

А ведь я еще девчонкой брусиловским солдатам в окопах, среди мозырьских болот, пела... Помню каждый день месяца, проведенного в блокаде Ленинграда. А самый счастливый концерт назову: был он в Берлине, в мае сорок пятого года, я выступала вместе с ансамблем казаков 2-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Владимира Викторовича Крюкова. С этим ансамблем и кавкорпусом я столько верст прошагала — от Подмоскovie до самого рейхстага. А ведь это целая история — наши конники-артисты! Они, артисты цирка, добровольцами пошли на фронт. Так со своими лошадьми из столицы от сельскохозяйственной выставки, где выступали перед самой войной в циркешапито, пошли и до Берлина дошли. Те, кто видел тогда в июле сорок первого года прощальный проезд донских казаков-добровольцев через всю Москву, вспоминая об этом как о чудесном, захватывающем зрелище. Я видела, как ехали они по Берлину. Это — тоже чистая песня!..

Фронтная и артистическая биография ансамбля 2-го гвардейского Померанского Краснознаменного и ордена Суворова кавалерийского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Герой Советского Союза В. В. Крюков (во время войны он стал мужем Л. А. Руслановой), заслуживает особого разговора. Осветим лишь несколько эпизодов тех лет.

Вторая половина июля 1941 года. От Председателя Совета Обороны страны получен положительный ответ на письмо джигитов конноспортивного аттракциона «Донские казаки», в котором выражалось желание всей труппой идти на фронт.

Сельскохозяйственная выставка. Солнечное утро. Трубочка играет общий сбор. Напутственная речь руководителя аттракциона, а теперь командира конного взвода М. Н. Туганова. И с песней «Священная война», которую сменяют донские песни, кавалькада тронулась в путь. Впереди на прекрасном, гордом донском скакуне Энзели, который не однажды проявит себя в будущих боях, Туганов, за ним знаменосец с ассистентами, далее три баяниста и, за звоном звено, казаки-джигиты в ладной казачьей форме, из-под фуражек, «на отлете», лихие чубы, завершала строй пулеметная тачанка — на ней броский плакат: «Казаки-добровольцы едут на фронт».

От Колхозной площади пошли по Самотеке, свернули на Цветной бульвар. У здания цирка — митинг. Тут же собралась публика. Трамваи остановились. После митинга — концерт. Развернувшись на Трубной площади, двинулись по Садовому кольцу. На площади Маяковского и у Парка культуры — снова концерты. Так дошли до Хамовнических казарм. На плацу рапорт Туганова принял начальник штаба кавполка майор Шемякин, который сообщил, что донские казаки зачисляются в первый эскадрон

первого взвода 1-го кавалерийского полка Наркомата обороны.

Начинался боевой путь недавних артистов Государственного цирка. Конечно, в трудную военную пору было не до искусства. Под Вереей полк принял первый бой. В начале октября под Москвой кавполк понес большие потери. Из тридцати с лишним тугановцев одиннадцать остались на поле брани. Потом было переформирование и пополнение в Хамовниках, участие в легендарном параде в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 года. В подмосковных Черных Грязях воины-казаки вливаются в группу генерала Л. М. Доватора, а после его геройской смерти служат под командованием И. А. Плева, а с начала 1942 года, закаленные в сражениях под Москвой, под началом В. В. Крюкова в составе 2-го, к тому времени гвардейского кавалерийского корпуса.

Рассказывает ветеран 2-го кавкорпуса, бывший гвардии сержант, в довоенные времена джигит-танцор тугановского циркового аттракциона «Донские казаки» Иван Степанович Петренко.

— Вспоминаю подмосковное село Нудоль Ново-Петровского района. В расположение кавкорпуса приехал Михаил Иванович Калинин, чтобы вручить кавалеристам гвардейские знаки. Калинин поздравил нас с победой под Москвой, а мы показали свое искусство. В то время у нас уже сложился хороший артистический коллектив, где были и хоревая группа, и танцевальная, и оркестровая, и акробатическая. Были у нас и певцы-солисты. Концерт проходил на юру, на высокой площадке возле церкви. Гвоздем программы стала Лидия Русланова, также приехавшая поздравить нас с гвардейским званием. Пела она русские народные песни, потом по просьбе красноармейцев исполнила «Катюшу», «Синий платочек» и несколько раз на «бис» песню недавнюю, но мгновенно полубившуюся всем нам «В землянке». Михаил Иванович Калинин, очень растроганный, пожал всем артистам руки, а с Руслановой под наше громоподобное «ура!» расцеловался троекратно, по русскому обычаю, сказал, сняв шапку: «Спасибо, дорогие товарищи, и за ратную службу, и за чудесный отдых. Таким, как вы, никакой враг не страшен». И пообещал вскоре снова приехать к нам, как он выразился, «по случаю новых заслуг...».

Потом Русланова вместе со своей фронтальной бригадой начала выступления в гвардейских частях кавкорпуса — и в 3-й дивизии, и 4-й, и в 20-й горнокавалерийской, орденоносной...

Битва под Москвой, рейды в тыл врага в районе Курской дуги, Брянские леса, Смоленщина, форсирование Десны, бои за освобождение белорусской земли, Польша, операции на так называемом Померанском валу... Тысячи километров прошел с боями кавалерийский корпус и его ансамбль, в составе которого часто выступала Лидия Русланова.

По-прежнему азартно, звонко, мощно, по несколько раз в день, по первому же зову красно-

армейцев звучал ее голос. А ведь в ту пору личных забот прибавилось: став женой Владимира Викторовича Крюкова, она делила с ним всю напряженность боевой обстановки, все тяготы военно-походного быта, и частенько из более или менее спокойной и безопасной жизни служб «второго эшелона» перебиралась на передовую, в расположение авангардных конных и механизированных частей корпуса, где, как известно, совсем другая «музыка», чтобы по мере возможности создать для мужа сносный семейный уют. И в этом, как и во всем, она не ведала предела. Наплевав на всякие там артистические ранги, привычки и замашки, сама готовила, стирала, мыла полы. И продолжала делать главное дело своей жизни — пела. Пела так, что никто ни разу, никогда, нигде, ни в глаза, ни за спиной не смог о ней сказать: «А в прошлый раз Русланова вроде бы пела получше...»

В каждом подразделении почиталось за удачу иметь патефон с руслановскими пластинками. И это хорошо, потому что, как ни старался, не мог один артист выступить во время войны во всех частях, хотя, как уже говорилось, побывала Русланова на всех фронтах. По радио, пластинкам голос ее знали многие, а вот в лицо далеко не все. Из-за этого обстоятельства нередко случались такие смешные истории.

Звучит патефон. Вокруг слушатели-бойцы. А тут как раз живая Русланова, приехавшая выступать в эту часть. Любима Лидия Андреевна незаметно, без лишнего шума подойдет к красноармейцам, потеряться в массе, потолковать о том о сем.

- Отдыхаете?
- Вроде того, тетечка.
- Кто же это поет?
- Темнота, знать надо.
- Что, хорошо поет?

Тут, конечно, терпение у любителей пения Руслановой лопалось.

- Знаешь, иди ты, тетка, куда шла!..
- А я, ребята, как раз к вам.
- Ну?..

— Русланова я и есть.
— Кто? Эка сказала! Да Русланова — артистка, не чета тебе, простой бабе.
— А Русланова и есть простая баба.
— Рассказывай сказки! Да она красавица писаная.

- А ты, сынок, видал ее?
- Не случалось. Но, думаю, она покруше тебя будет...

Потом, разумеется, Русланова подхватывала наяву то, что звучало на пластинке — голосом доказывала, что именно она и есть Русланова. Солдатушки-ребятушки, крепко опешенные, глаза таращили, извиняться спохватывались, охали-ахали. А заканчивались все подобные сценки, о которых вспоминают фронтовики и которые часто вспоминала и сама Русланова, и с некоторым душком «апокрифичности» знакомые бе, общим смехом.

И. С. Петренко продолжает:

- Это было уже в Польше. Нашему корпусу



Последний концерт Л. А. Руслановой.

вручали орден Красного Знамени, а Руслановой, к слову сказать, орден Отечественной войны I степени... Плац. Строй дивизий. Командующий корпусом генерал-лейтенант В. В. Крюков летит на коне, лихом Донце: докладывает Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову — он тоже на коне. Обезд войск, смотр частей, парад, конные состязания, джигитовка и затем, по нашей традиции, концерт. Конники с помощью траншеи, подрезанной с одного края, печек — бочек из-под горячего и санитарных палаток налаживают «зал» и «сцену». Начался концерт с пляски, потом работали акробаты. Русланова, как всегда, завершала программу — после нее выступать было рискованно. Помнится, спела она две-три русские народные песни. Спела, конечно, «Валенки», ее уж без них не отпускали, пошло дело на «бис». А Георгий Константинович Жуков в первом ряду слушателей. Хлопает громче всех. Ногой подтопывает в такт частуш-

ке. Потом, глядя мы, ушел за «кулисы», а помощник его выносит на «сцену» футляр от инструмента. И тут выходит и сам товарищ маршал с баяном в руках. Русланова смеется, платочком машет, пританцовывает, папой подплывает. Тогда Георгий Константинович, как заправский баянист, склоняет голову к мехам, играет протяжное, размашистое вступление, и уж вместе с Руслановой заводят они песню «Есть на Волге утес», поют складно, на два голоса, с затейливым подголосьем. А баритон у Жукова приятный, красивый, как говорится, с бархатной. Спели, взялись с Руслановой за руки, кланяются: Русланова, по своему обычаю, земно, Жуков — строго так, с достоинством, чуть-чуть головой, а сам, нам это видно, взволнован после выступления, как начинающий артист. Потом, когда шум стих, Жуков промокнул лицо платком и, смеясь, проговорил: «А воевать — оно, пожалуй что, легче». И, подмигнув Руслановой, пробежался по кнопкам баяна ловким перебором наподобие деревенских гармонистов, налаживающих к игре инструмент...

Был и такой факт во фронтовой биографии Руслановой. Сама она о нем почти не вспоминала. И не любила, когда говорили об этом другие. Считала, что так, как она, поступил бы каждый, случись у него такая возможность. И все-таки... В 1944 году на собственные средства Л. А. Русланова приобретает батарею артиллерийской минометной техники и передает ее Н-скому гвардейскому минометному полку. Впервые за историю войны несколько «катюш» переименовали в «лидуши». На кабинах машин была эмблема: шахматный конь и подкова. И надпись: «От заслуженной артистки РСФСР Л. А. Руслановой».

В завершающие аккорды Великой Отечественной вписались и пронзительные тенорочки минометов знаменитой певички.

Русланова же, неутомимая, самозабвенная, беспредельно щедрая и жертвенная в своем великом искусстве, приближалась к самому незабвенному своему выступлению — концерту в поверженном Берлине. Это был золотой венец ее фронтовой службы. Да, так — с л у ж б ы, потому что Русланова не обслуживала армейские части, хотя именно так предписывали ее командировочные удостоверения тех лет, — с л у ж и л а! Служила своим оружием, служила верой и правдой, выполняя высокий долг перед Отечеством.

О руслановском концерте Победы упоминает каждый, кто письменно либо устно рассказывает о певичке. Фотография Г. Петрусова, запечатлевшая это историческое выступление, обошла многие газеты и журналы. С помощью ветеранов ансамбля 2-го кавкорпуса мне удалось узнать поименно почти всех, кто изображен на снимке на ступенях рейхстага, — тугановцев, дошедших от Москвы до Берлина.

С течением многих лет рассказы об этом руслановском выступлении вольно или невольно обрастали новыми подробностями, подчас легендарными, случались в этих рассказах и ошибки — то в дате концерта, то в сообщениях о том, кто именно выступал тогда вместе с Руслановой в здании рейхстага, а затем и у стен фашистского логова, и на пресловутой берлинской «Аллее победы», названной так в знак былых завоеваний германских воjak.

Тот концерт не нуждается в красивых легендах. И пусть сегодня расскажет о нем тот, кто видел его воочию и кто поведал о нем с правдивостью репортера и, что называется, по-горячему следу. Заметка, опубликованная в газете «Известия» вместе с фотографией, о которой говорилось, написана в Берлине через несколько дней после концерта. Ее автор — недавно умерший журналист-истинец Михаил Николаевич Долгополов.

«Русская песня в Берлине

На днях я присутствовал на концерте, память о котором надолго сохранится и у всех его участников, и у слушателей.

Концерт происходил в Берлине, в здании рейхстага. Сюда приехала заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова с казачьим ансамблем песни и пляски. Гвардейцы-кавалеристы поехали к рейхстагу, чтобы осмотреть его, как это делают ежедневно тысячи воинов Красной Армии. В здании еще догорали обломки мебели, ящиков, которыми баррикадировались эсэсовцы. Пахло гарью, сапоги утопали в еще не остывшем пепле.

Артисты вошли в центральный мраморный зал. Обвалившийся купол словно шатром покрывал середину зала. Кто-то из офицеров-экскурсантов, осматривавших зал, увидел Русланову в ее ярком русском наряде, громко поприветствовал:

— Спойте нам что-нибудь, мы так стосковались по русской песне.

Артистка посоветовалась с руководителем ансамбля М. Тугановым. Предложение было принято. Тут же, в зале, по краям обвалившегося купола разместился ансамбль. Зал быстро заполнился бойцами и офицерами. Они стояли тесно, плечом к плечу. Многие поднялись вверх и заполнили четыре балкона. Наступил торжественный момент. Хор казаков грянул величальную песню... Затем пела Русланова. «Степь да степь кругом», — раздались слова популярнейшей песни...

Без конца пела артистка, исполняя один номер за другим. Начались заказы. Сибиряки-герои просили спеть сибирскую песню, волжане — «Ай да Волга-матушка река», саратовцы — веселые саратовские частушки, калужане — «калужские припевки».

В рейхстаге еще тлел огонь, петь было трудно. Решено было выйти на свежий воздух. Продолжение концерта происходило у здания рейхстага на каменной лестнице. На террасе расположились хор и Русланова, а внизу на ступеньках амфитеатром стояли слушатели. Ан-

самбль исполнял песню «Выйду ль я на реченьку» и другие...

Казацкий ансамбль заканчивал свое первое выступление в Берлине, когда к артистам подошла группа офицеров-орденоносцев и Героев Советского Союза и попросила дать еще один концерт недалеко от рейхстага, на «Аллее победы», у огромной колонны, где уже собралось множество воинов... На площади остановилось движение, сгрудились машины, и бойкая молодая регулировщица, будучи не в силах восстановить порядок, сложила свои флажки и сама подошла поближе, чтобы послушать концерт русской песни. Ансамбль повторил весь свой репертуар...

Долго продолжался этот концерт. Воины наслаждались своей родной песней, с удовольствием смотрели горячие пляски казаков.

Русская народная песня, звучащая в самом центре столицы Германии, преисполнила чувством великой гордости каждого человека, находящегося здесь в эти дни славной Победы. Берлин, 17 мая.

За год с небольшим до смерти, вспоминая этот триумфальный концерт, Лидия Андреевна Русланова, не скрывая волнения, скажет:

— Петь было так радостно, так приятно. Я видела сияющие глаза победителей. Улыбки их на черных, закоптелых лицах были так дороги, что хотелось петь, не смолкая. Меня просили спеть то одно, то другое, то третье. Я, махнув рукой, говорю: «Все спую, все для вас, дорогие победители, спую!»

Н. Эйдельман

Сказать все...

...и не попасть в Бастилию.

Изречение Ф. Гальяни, нравившееся Пушкину.

1826

27 мая 1826 года Пушкин из псковской ссылки пишет другу, Петру Андреевичу Вяземскому: «Грустно мне, что не прощусь с Карамзиным — бог знает, свидимся ли когда-нибудь» (XIII, 280)¹.

Карамзины собирались за границу в надежде, что больного главу семьи спасет итальянский климат.

Без радио, без телефона — откуда было Пушкину узнать, что за пять дней до того, как он написал «Грустно мне...» — 22 мая 1826 года, Николай Михайлович Карамзин скончался в Петербурге.

Для многих это событие слилось воедино с другими трагическими днями 1825—1826-го: восстание 14 декабря, аресты, допросы; 13 июля 1826 года будет исполнен приговор.

«Никто не верил тогда, — воскликнул один мемуарист, — что смертная казнь будет приведена в исполнение, и будь жив Карамзин, ее бы не было — в этом убеждены были все...»

Восклицание наивное, но многозначительное: ушел просвещенный, влиятельный заступник.

Вяземский, успевший проститься с Карамзиным, пишет Пушкину в Михайловское: «Без сомнения, ты оплакал его смерть сердцем и умом: ибо всякое доброе сердце, каждый русский ум сделали в нем потерю невозвратную, по крайней мере для нашего поколения. Говорят, что святое место пусто не будет, но его было истинно святое и истинно надолго пустым останется» (XIII, 284—285). Друзья повторяют, что нужно оценить труды Карамзина, написать его биографию, собрать воспоминания. Речь шла не просто о крупном писателе-историке, но о целой эпохе, которую он представлял. Опасность, невозможность прямо писать о революции, декабристах и в то же время нежелание, невозможность переходить к «победителям» —



А. С. Пушкин — юноша.
Гравюра Е. Гейтмана. 1822 г.

все это также определяло для карамзинистов поиски немногих путей к *настоящему разговору*. Карамзин в 1826 году был уникальной фигурой, почитаемой, уважаемой (разумеется, с разных точек зрения!) и властью и ее противниками. В то время как Николай I воспользовался болезнью и кончиной историка для особых, демонстративных милостей к нему и его семье, Вяземский летом 1826-го очень остро, оппозиционно настроенный, в своих письмах и дневниках помещал горячие, уничтожающие строки в адрес тех, кто судит и казнит. В одной из записей, где обосновывается право мыслящих людей на сопротивление, борьбу с деспотизмом, он прямо ссылается на Карамзина, и эта ссылка тем весомей, что отрицательное отношение историографа к революции было общеизвестно².

Можно сказать, что Вяземский в Записных книжках фактически начал писать биографию Карамзина, резко обозначив самую острую и опасную тему — об историографе, русском об-

ществе и власти. Однако более или менее цельных мемуарных текстов он долго не мог завершить, ряд важных записей был сделан лишь много лет спустя. Услышав однажды упрек от дочери историографа (и своей племянницы), что он написал биографию Фонвизина, а не Карамзина, Вяземский отвечал: «Ведь не напишешь же биографии, например, горячо любимого отца».

Не решаясь приняться за жизнеописание Карамзина, его друг, ученик и родственник при том постоянно хлопочет о сохранении карамзинского наследства; в январе 1827-го он убеждал Александра Тургенева: «...Ты, Жуковский, Блудов и Дашков должны бы непременно положить несколько цветков на гроб его. Вы более всех знали его, более моего [...] Вы живые и полные архивы, куда горячая душа и светлый ум его выгружали сокровеннейшие помышления. Право, Тургенев, опрокинь без всякого усилия авторство памяти и сердечную память свою на бумагу, и выльется живое и теплое изображение».

Позже Вяземский не раз просит Жуковского и Дмитриева: «Время уходит, и мы уходим. Многие из того, что видели мы сами, перешло уже в баснословные предания, или и вовсе поглощено забвением. Надобно сдаться свою драгоценность в сохранное место»³.

Пушкина как мемуариста друзья Карамзина как будто в расчет не берут: знакомство молодого поэта с историографом было куда менее длительным, основательным, чем у них; к тому же было известно о периодах взаимного охлаждения...

Меж тем 10 июля 1826 года поэт в очередном письме Вяземскому произносит очень важные слова: «Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13-й том Русской Истории; Карамзин принадлежит истории. Но скажи все; для этого должно тебе иногда употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре» (XIII, 286).

Как известно, Пушкин подразумевал следующие слова итальянского публициста аббата Гальяни (написанные в 1774 году): «Знаете ли Вы мое определение того, что такое *высшее ораторское искусство*? Это — искусство сказать все — и не попасть в Бастилию в стране, где не разрешается говорить ничего»⁴.

Советуя Вяземскому, указывая даже на «красноречие», которое необходимо для того, чтобы сказать *все*, Пушкин, по существу, подразумевает собственные мемуары о Карамзине. Теперь мы знаем, что к этому времени поэт уже написал важнейшие страницы о писателе-историке, где сам сказал *все*: то есть самое главное...

Чтобы понять пушкинский замысел, столь важный в трагическом 1826 году, надо пройти его с самого начала, а для того отступить назад на десять и более лет.

1799—1816

Карамзин, старший Пушкина 33 годами, был старше и Сергея Львовича, а в литературном смысле мог быть сочтен за «деда»: ведь его непосредственными учениками, *сыновьями* были Жуковский, Александр Тургенев и другие «арзамасцы», в основном появившиеся на свет в 1780-х годах. В год рождения Пушкина Карамзин предсказывал, что в России «родится вновь Пиндар».

Хорошо знакомый с отцом и дядей Александром Сергеевичем, писатель-историк знает будущего поэта с младых ногтей. Оставим в стороне «домашнюю» версию Сергея Львовича, зафиксированную почти через полвека: «В самом младенчестве он [А. С. Пушкин] показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Мих. Карамзин — не то, что другие»; и без этого в первые годы XIX столетия многое уже сближало маленького, «долицейского» Пушкина со знаменитым прозаиком, публицистом, поэтом, в недалеком будущем — историком.

Круг общих знакомых будто сразу задан на всю жизнь: Екатерина Андреевна Карамзина, Карамзины-дети, Жуковский, Тургенев, Дмитриев, Батюшков, Вяземский... Кроме того, была Москва «допотопная и допожарная» (выражение П. А. Вяземского); московские впечатления и воспоминания всегда важны для будущих петербуржцев. Разговоры о Карамзине, споры вокруг его сочинений и языка, ожидание «Истории...» — все это постоянный фон пушкинского детства, отрочества и юности.

Как известно, с 1803 года Карамзин почти совсем оставил литературные занятия, получил должность историографа и «заперся в храм истории». Ему было в ту пору 37 лет, и он начал совершенно новую жизнь в том именно возрасте, в котором позже оборвется жизнь Пушкина...

С 1811-го Пушкин в Лицее; Карамзин в 1812 году перед вступлением французов одним из последних уходит из Москвы, переносит тяготы войны, московского пожара, теряет первенца-сына, болеет; в 1814 году вынашивает идею написать историю нового времени, в 1816 году навсегда переезжает в Петербург; лето работает в Царском Селе...

Отныне лицеист Пушкин — как «старый знакомый», представленный еще малышом, — постоянно посещает Карамзина. Хотя старшему 50, а младшему 17 лет, завязываются очень своеобразные отношения.

Попытаемся же представить прямую предысторию будущих пушкинских записок о Карамзине в виде «хроники» с комментариями.

25 марта 1816 года. В Лицей приезжают шесть человек: Карамзин, Жуковский, Вяземский, Александр Тургенев, Сергей Львович и Василий Львович Пушкины.

Встреча длится не более получаса. Вяземский не помнит «особенных тогда отношений

Карамзина к Пушкину», стихами юного лицейского поэта историк еще не заинтересовался, однако сам визит носит «арзамасский» характер, как бы подчеркивает заочное участие Сверчка в литературном братстве. В этот или следующий день лицеисты узнают из объявления в «Сыне Отечества» о завершении восьми томов «Истории государства Российского» и о том, что «печатание продолжится год или полтора». Именно к этому моменту (когда издание объявлено, но еще не вышло) относится и первая из эпиграмм на Карамзина, обычно связываемая с именем Пушкина:

«Послушайте: я сказку вам начну
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород и Царство золотое
И наконец про Грозного царя...»
— И, бабушка, затеяла пустое!
Докончи нам «Илью-богатыря»!⁵

Не вдаваясь в подробности, заметим только, что общее благоговейное отношение к Карамзину, «арзамасское» единство взглядов — все это не могло помешать веселому лицейскому поэту «стрельнуть» эпиграммой или насмешкой даже и в *своего* Карамзина. Пушкин ведь еще в Москве, а затем в Царском Селе не раз слышал скептические толки о писателе, который вряд ли сможет сочинить нечто серьезное, научное, отличающееся от «сказки»...

Известны петербургские толки о будущей «Истории...», когда один только Державин верил в успех карамзинского начинания. К тому же неоднократно раздавались голоса о «слишком долгой» (с 1803 года) работе без видимых плодов.

Между тем весной и летом 1816 года Карамзин выполняет обещанное, и Пушкин постепенно понимает, что присутствует при необыкновенном эпизоде российской культуры.

Так начинался первый, удивительный, особенно теплый и дружеский «сезон» в отношениях *деда* с *внуком*.

Зная (а может быть, имея новые доказательства) непокорный нрав племянника, дядя Василий Львович 17 апреля 1816 года наставляет его в том, в чем «иных» и не надо было убеждать: «Николай Михайлович в начале мая отправляется в Сарское Село. Люби его, слушай и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы от тебя много ожидаем» (XIII, 4).

Неопределенное дядюшкино «мы» подразумевает, конечно, не только семейство Пушкиных, но и карамзинский круг. Как видим, с первых дней нового знакомства сразу обнаруживаются два начала будущих отношений: сближение идейное, «арзамасское»; и некоторое отталкивание, насмешка молодости над любым авторитетом (и соответственно, старшие предупреждают — «люби его и почитай»).

24 мая 1816 года. Карамзин с семьей посещается в Царском Селе и работает над оконча-



П. А. Вяземский.

тельной отделкой и подготовкой для типографии восьми томов своей «Истории...»; четыре месяца до 20 сентября (дата возвращения Карамзина в Петербург) — важнейший период общения, когда складываются некоторые главные черты будущих отношений.

Догадываемся, что Пушкину «сразу» понравился историограф. Позже он вспомнит и даже изобразит Погодину его «вытянутое лицо во время работы».

«Честолюбие и сердечная приверженность» — вот как десять лет спустя поэт определит свои чувства к Карамзину. Пушкин был настолько увлечен, что (по наблюдению Горчакова) «свободное время свое во все лето проводил у Карамзина, так что ему стихи на ум не приходили...».

Сам же Карамзин 2 июня (то есть через девять дней после приезда) уже сообщает Вяземскому, что его посещают «поэт Пушкин и историк Ломоносов», которые «смешат своим протосердечием. Пушкин остроумен».



А. С. Пушкин. Этюд с натуры работы Тропинина.
1827 г.

Молодой Пушкин замечен как поэт (не сказано *талантлив*, но — остроумен!). Карамзину, очевидно, все же пришлось по сердцу некоторые поэтические сочинения лицеиста, может быть, *остроумные* эпиграммы. Вообще знакомство начинается со смеха, простосердечия, равенства; этого не следует забывать, хотя столь жизнерадостное начало будет сокрыто, почти затеряно в контексте последующих серьезных, противоречивых отношений.

Именно уважением к дару юного Пушкина объясняется известный эпизод, случившийся буквально через несколько дней после возобновления знакомства.

Старый придворный поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий не в силах выполнить высочайший заказ — написать «приличествующие стихи» в честь принца Оранского, прибывшего в Петербург для женитьбы на великой княжне Анне Павловне. Нелединский бросается к Карамзину, тот рекомендует молодого Пушкина, лицеист в течение часа или двух сочиня-

ет то, что нужно, — «Довольно битвы мчался гром...».

Впрочем, тут же линия согласия прерывается сопротивлением: гимн приезжему принцу поется на празднике в честь новобрачных, императрица-мать жалует сочинителю золотые часы, Пушкин же разбивает их «нарочно» о каблук. Верна эта лицейская легенда буквально или нет — она сохраняет отношение Пушкина к событию, моральную ситуацию: стыдно принимать подарки от царей!

Карамзин, только что получивший огромную сумму на издание своего труда, а также «анну» 1-й степени, вряд ли бы одобрил столь резкое действие; но одновременно — ценил подобный взгляд на вещи. Любопытно, что сам Пушкин позже опишет эпизод, по духу своему сходный (тем более что он связан с поездкой Карамзина в Павловск, то есть в гости именно к императрице-матери Марии Федоровне): «Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...» (XII, 306).

Пушкин и другие лицеисты, без сомнения, знали, пересказывали еще немало число подобных же эпизодов, которые определяли в их глазах карамзинскую репутацию.

«Один из придворных, — вспоминал Вяземский, — можно сказать, почти из сановников, образованный, не лишенный остроумия, не старожила и не старовер, спрашивает меня однажды: «Вы коротко знали Карамзина. Скажите мне откровенно, точно ли он был умный человек?» — «Да, — отвечал я, — кажется, нельзя отнять ума от него».

«Как же, — продолжал он, — за царским обедом часто говорил он такие странные и неловкие вещи».

Дело в том, что по понятиям и на языке некоторых всякое чистосердечие равняется неловкости».

Вяземский, впрочем, прибавил, что хозяева, «пресыщенные политиком», любили разговоры Карамзина, «свободные и своевольные».

Ксенофонт Полевой вспоминал, что Пушкин и много лет спустя питал к Карамзину «уважение безграничное», что «историограф был для него не только великий человек, но и мудрец, — человек *высокий*, как выражался он; мемуарист воспроизвел рассказ Пушкина: «Как-то он был у Карамзина (историографа), но не мог поговорить с ним оттого, что к нему беспрестанно приезжали гости, и, как нарочно, все это были сенаторы. Уезжал один, и будто на смену ему являлся другой. Проводивши последнего из них, Карамзин сказал Пушкину:

— Заметили вы, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу?»

Наконец, на глазах Пушкина и лицейских, тем летом 1816 года складываются удивляющие, не имеющие русских аналогов отношения историографа с царем. Александр I все чаще заглядывает к Карамзину, рано утром они поч-

ти ежедневно прогуливаются, часами беседуют в «зеленом кабинете», то есть царскосельском парке. Историк, по его собственному позднейшему признанию, «не безмолствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения иль затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные».

Разумеется, о содержании потаенных бесед никто почти ничего не знал, но общий их дух скрыть было невозможно. Лицейсты вряд ли могли усомниться, что с царем Карамзин говорил свободно, как со всеми.

Равенство и достоинство, «честолюбие и сердечная приверженность».

Пушкин тем летом, несомненно, читал Карамзину свои стихи.

Карамзин же показал вступление к «Истории...», которое Пушкин считал позже «недооцененным». В письме к брату Льву (4 декабря 1824 года) Александр Сергеевич припомнит, как Карамзин при нем переменял начало введения. Было: «История народа есть в некотором смысле то же, что библия для христианина». Опасаясь конфликта с церковью из-за сравнения гражданской истории со священным писанием, историограф, как видно, поделился опасениями с молодым собратом и при нем переделал первую фразу: «История в некотором смысле есть священная книга народов».

Как не заметить, что Пушкин вспомнит этот эпизод как раз в ту пору, когда уже трудится над записками о Карамзине и других современниках (подробнее см. ниже); кроме того, опальный поэт, только что (летом 1824 года) пострадавший за вольное высказывание о религии, естественно, вспоминает Карамзина в «сходной ситуации».

В Царском Селе, кроме Введения, без сомнения, были прочитаны в рукописи и другие отрывки «Истории...»: лицейский Горчаков общал дяде, что «Карамзин все еще торгуется с типографчиками и не может условиться (...) Некоторые из наших, читавшие из нее («Истории...») отрывки, в восхищении».

«Некоторые» — это прежде всего Пушкин. Ему все интересней в доме историографа, он там все более свой. У Карамзина знакомится и беседует с Чаадаевым, Кривцовым: в день имени Вяземского (который находится в Москве), а затем в день его рождения (29 июня и 13 июля 1816 года) Пушкин «от всего сердца» пьет за здоровье чествуемого.

В разговорах о жизни Карамзин, как видно, абсолютно избегает нравоучительного тона (не то, что, например, у юного поэта с другим, вполне благородным человеком, лицейским директором Энгельгардтом: тот желает привлечь Пушкина к себе, но «естественный тон» не найден, и отношения ухудшаются).

Так проходило примечательное лето 1816 года. В осеннем послании к Жуковскому мы находим поэтический итог длительного общения поэта-лицейста с Карамзиным, как бы первый, стихотворный «пролог» к будущим Запискам:

...Сокрытого в веках священный судия*,
Страж верный прошлых лет, наперсник муз
любимый,
И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил;
И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил;
И славный старец наш, царей певец
избранный**,
Крылатым Гением и Грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной.
И ты, природою на песни обреченный!
Не ты ль мне руку дал в завет любви
священный?
(I, 194)

Обратим внимание на последовательность имен... На первом месте Карамзин, и в четырех строках — основные впечатления минувшего лета: историк, но притом «священный судия», «страж верный...». Его высокий талант («наперсник муз любимый») равен характеру («неколебим»). Его отношение к пушкинским опытам — это «ободрение», «приветливое внимание».

После Карамзина — И. И. Дмитриев; однако тем летом он не приезжал из Москвы. Возможно, что старый поэт и бывший министр в одном из писем Карамзину присоединил какие-то лестные отзывы к мнению друга о талантливом лицейском поэте, а письмом было прочтено молодому Пушкину. К сожалению, все письма Дмитриева к Карамзину бесследно исчезли...

Итак, два первых имени в пушкинском перечне «благословителей» — это, в сущности, один Карамзин. Только на третьем месте — «славный старец наш» Державин; наконец, адресат послания — Жуковский...

В стихотворных мемуарах Пушкин сообщает о важнейших для него событиях. Только теперь он утвердился в своем призвании, и роль старших друзей огромна, необыкновенна.

Можно сказать, что за несколько месяцев до окончания Лицея юный поэт прошел важнейший курс обучения в доме Карамзина: познакомился с высокими образцами культуры, литературы, истории, личного достоинства — и эти мотивы, конечно же, подразумевались десяти лет спустя, когда Пушкин мечтал о Карамзине «сказать все».

Догадываемся, что поэт скучал по историографу последней лицейской осенью и зимой; что из Царского Села в Петербург и обратно шли приветы, а на рождество Пушкин в столице и, конечно же, наносит визит...

Карамзин занят типографией, корректурой

* Карамзин (прим. Пушкина).

** Державин (прим. Пушкина).

восьми томов. Пушкин тяготится учением, все чаще пропадает у царскосельских гусар, влюбляется.

Весной 1817-го начался второй «карамзинский сезон» в Царском Селе. В мае историограф между прочим присутствует на выпускном лицейском экзамене по всеобщей истории; ведомость о состоянии Лицея фиксирует, что в день рождения Пушкина, 26 мая 1817 года, его посещают примечательные гости: Карамзин, Вяземский, Чаадаев, Сабуров. Через четыре дня снова визит Карамзина и Вяземского.

Между тем именно в этот момент происходит эпизод, который подвергает испытанию сложившиеся как будто отношения.

18-летний Пушкин пишет любовное письмо 37-летней Екатерине Андреевне Карамзиной, жене историографа.

Ю. Н. Тынянов видел в этой истории начало «потаенной любви» Пушкина к Е. А. Карамзиной, чувства, прошедшего через всю жизнь поэта. Мы не беремся сейчас обсуждать гипотезу во всем объеме. Заметим только, что Тынянов, вероятно, преувеличивая, все же верно определил особенный характер отношений между Пушкиным и женой, а потом вдовой Карамзина.

Смертельно раненный поэт прежде всего просит призвать Карамзину. «Карамзина? Тут ли Карамзина? — спросил он (...) Ее не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту, но когда Катерина Андреевна отошла от постели, он ее кликнул и сказал: «Перекрестите меня!» Потом поцеловал у нее руку»⁶. Е. А. Карамзина о том же: «Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал (...) Он протянул мне руку, я ее пожала, он мне также и потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издала крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: «Перекрестите еще»; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, уже перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, и очень хорош; спокойствие выразилось на его прекрасном лице»⁷.

О совершенно особых отношениях Карамзиной и Пушкина свидетельствует, между прочим, и эпизод, случившийся уже после гибели поэта. В начале июля 1837 года в Баден-Бадене Дантес в разговоре с Андреем Карамзиным, сыном историка, вслеськи оправдывался, горячо доказывая свою невиновность; надеялся на понимание всех Карамзиных, за исключением одного человека, Екатерины Андреевны: «В ее глазах я виновен, она мне все предсказала заранее, если бы я ее увидел, мне было бы нечего ей ответить»⁸.

К сказанному позволим прибавить еще одно, весьма, впрочем, гипотетическое соображение: во многих современниках Пушкина позже находили прототип Татьяны Лариной. Отвергая прямолинейную идею «копирования» Татьяны с кого-то из окружающих Пушкина

лиц, все же задумаемся о женском типе, «миллом идеале», близком к тому, что воплотилось в Татьяне.

Давно замечено, что к своей героине Пушкин применял любимое словосочетание «покой и воля»:

...она

Сидит покойна и вольна.

Портрет женщины, прибывающей из провинции в столицу, женщины, в которой сначала рассчитывают найти смешные черты и вдруг обнаруживают естественность, достоинство, величественность, — все это Катерина Андреевна Карамзина, какой она представлена в нескольких рассказах современников.

Еще раз повторим, что не настаиваем на сознательной аналогии Карамзина — Татьяна Ларина; однако полагаем, что встречи с Карамзиной в Лицее и Петербурге, а затем, много лет спустя — после возвращения из ссылки, — все это вместе с другими впечатлениями формировало пушкинский «идеал».

Не принимая гипотезы Тынянова буквально, но соглашаясь с направлением его размышлений и поисков, нужно только возразить против соответствующих тыняновских оценок самого историографа, супруга Екатерины Андреевны. Ю. Н. Тынянов сосредоточивался на том, что разделяла Пушкина и Карамзина, подчеркивал, что «отношения с Карамзиным чем далее, тем более становятся холодны и чужды (...) Разумеется, расхождения между ними были глубокие.

Это несколько не исключает и личных мотивов ссоры»⁹.

Важным элементом заметного охлаждения исследователь считал эпизод с перехваченным любовным признанием Пушкина.

Между тем подобный взгляд представляет односторонним. Весьма важно и любопытно, что легкоранимый, возбудимый Пушкин был совершенно безоружен тонким и точным поведением уважаемых и любимых им людей. Согласно П. И. Бартеневу «Катерина Андреевна, разумеется, показала (любовную записку) мужу. Оба расхохотались и, призвавши Пушкина, стали делать ему серьезные наставления. Все это было так смешно и дало Пушкину такой удобный случай ближе узнать Карамзиных, что с тех пор он их полюбил, и они сблизились»...

Самым же веским доказательством, что отношения отнюдь не прервались после объяснения весной 1817 года, являются постоянные дружеские контакты. Это очень хорошо видно по «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина».

Сразу после окончания Лицея Пушкин переезжает в Петербург, затем отправляется в Михайловское, снова — в Петербург, в то время как Карамзины почти безвыездно находятся в Царском Селе. В конце же 1817 года, когда историограф с семьей возвращается в столицу, отношения легко и хорошо возобновляются. С 16 сентября 1817 года поэт постоянно бывает



Памятник А. С. Пушкину.



Е. А. Карамзина. Портрет работы Дамона.

у старших друзей на их петербургской квартире.

Именно в доме Карамзиных Пушкин «смертельно влюбился» в «пифию Голицыну», о чем хозяин не замедлил известить Вяземского.

В начале 1818 года общение прерывается длительной и тяжелой болезнью Пушкина. В это время, 2 февраля, публикуется объявление о выходе в свет восьми томов «Истории государства Российского». Пушкин позже признается, что читал «в постели, с жадностью и вниманием». О том, что он был в восторге, можно судить не только по его позднейшим воспоминаниям об этом событии, но и по стихам, написанным под свежим впечатлением (послание «Когда к мечтательному миру», о котором особая речь впереди).

Пушкин выздоравливает — и все сохранившиеся сведения свидетельствуют о близких, добрых, безоблачных отношениях с Карамзиным весной и летом 1818 года.

30 июня — 2 июля. Пушкин гостит у Карамзиных в Петергофе, на праздниках по случаю дня рождения великой княгини Александры Федоровны; 1 июля на катере по Финскому заливу катается примечательная компания: Карамзин, Жуковский, Александр Тургенев, Пушкин.

В этот период Пушкин пером рисует портрет Карамзина.

Середина июля. Пушкин опять в Петергофе, с Карамзиным, Жуковским и Тургеневым; пишется коллективное, к сожалению, не сохранившееся письмо Вяземскому.

2 сентября. Пушкин и Александр Тургенев гостят у Карамзина в Царском Селе. Тургенев жалуется Карамзину на образ жизни Пушкина. Точного смысла «жалобы» мы не знаем, но угадываем, что подобные сетования были в письме Тургенева Батюшкову; Батюшков же из Москвы отвечал «в карамзинском духе» 10 сентября 1818 года: «Не худо бы его (Пушкина) запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикой... Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... но да спасут его музы и молитвы наши!»

Тем не менее «выволочка» была, кажется, не слишком суровой, потому что 17 сентября Пушкин опять у Карамзиных в Царском Селе, на этот раз в компании с Жуковским.

В эту же пору *Сверчок* воюет за честь историографа, сражаясь в одном ряду с Вяземским и другими единомышленниками против Каченовского, и Карамзин не мог не оценить преданности юного поэта: как раз в сентябрьские дни 1818 года по рукам пошла эпиграмма, которой Пушкин «плюнул» в Каченовского («Бесмертною рукой раздавленный Зоил...»).

Итак, в сентябре 1818-го отношения еще прекрасные.

22 сентября. Пушкин опять в Царском Селе с Жуковским и братьями Тургеневыми, Александром и Николаем. Карамзин читает им свою речь, которую должен произнести в торжественном собрании Российской академии («прекрасную речь», согласно оценке, сделанной А. И. Тургеневым в письме к Вяземскому). Декабрист же Николай Тургенев, восхищаясь в 1818 году многими страницами «Истории...», также искал и находил у Карамзина «пренечестивые рассуждения о самодержавии», подозревал историографа в стремлении «скрыть рабство подданных и укореняющийся деспотизм правительства»¹⁰.

Несколько раз происходят, как видно по дневникам и письмам Н. И. Тургенева, прямые его столкновения с Карамзиным из-за вопроса о крепостном рабстве.

30 сентября — можно сказать, последний известный нам безоблачный день в отношениях историографа и поэта: Карамзин пишет Вяземскому в Варшаву, что 7 октября думает переехать в город и «пить чай с Тургеневым, Жуковским и Пушкиным».

Действительно, с начала октября Карамзины поселяются в столице, в знакомом доме Екатерины Федоровны Муравьевой на Фонтанке.

Это, можно сказать, одна из самых горячих точек Петербурга, где сходятся и сталкиваются могучие силы и сильные страсти. Дети хозяйки, Никита и Александр Муравьевы, члены тайных обществ, а Никита — один из главных умов де-

кабристского движения. Среди родственников и постоянных гостей — братья Муравьевы-Апостолы, Николай Тургенев и другие «молодые яковинцы».

Первая известная нам встреча названных лиц «у беспокойного Никиты» состоялась около 10 октября 1818 года. С того вечера из-за того чайного стола к нам доносятся только две фразы, записанные Николаем Тургеневым: «Мы на первой станции образованности», — сказал я недавно молодому Пушкину. «Да, — отвечал он, — мы в Черной Грязи».

Реплики произносятся при Карамзине; историограф, вероятно, с ним согласен и может оценить остроту молодого поэта: ведь Черная Грязь — первая станция по пути из Москвы в Петербург, — одновременно некий символ. Однако согласие не могло быть прочным, как только начинался разговор о путях исправления, о том, куда и как отправляться с «первой станции»...

То ли на этом самом октябрьском вечере, то ли чуть позже, но между Пушкиным и Карамзиным что-то происходит. Ведь прежде переписка современников и другие данные свидетельствуют о постоянных встречах; имена Пушкина и Карамзина регулярно соединяются. Однако с октября 1818 года общение исчезает. Никаких сведений о чаепитиях, совместных поездках, чтении, обсуждении... Ничего. Только один раз, по поводу выздоровления Пушкина от злой горячки (8 июля 1819 года) Карамзин замечает: «Пушкин спасен музами».

Почти через год после охлаждения, в середине августа 1819-го, мелькает сообщение о поездке поэта в Царское Село, к Карамзину: «Обри-тый, из деревни, с шестью песнями» («Руслана и Людмилы»), как бес мелькнул, хотел возвратиться (в Петербург) и исчез в темноте ночи как привидение».

Эти строки из письма А. И. Тургенева к Вяземскому ясно рисуют какой-то новый тип отношений: краткое появление у Карамзиных, из вежливости (очевидно, под давлением Тургенева), и стремление скорее исчезнуть.

Около 25 августа — еще краткий визит А. И. Тургенева и Пушкина к Карамзиным, откуда ночью они отправляются к Жуковскому в Павловск.

Затем опять никаких сведений о встречах, беседах; биографии Карамзина и Пушкина, можно сказать, движутся параллельно, не пересекаясь, и это длится до весны 1820-го, когда над Пушкиным нависает гроза.

Итак, полтора года отдаления после двух с половиной лет привязанности.

Что же случилось?

Вяземский много позже, в 1826 году, упрекает Пушкина, что он — «шалун и грешил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов» (XIII, 284).

Как видим, Вяземский, очень близкий и к Пушкину, и к Карамзину, прямо указывает на



Н. М. Карамзин.

эпиграммы как событие, разделившее двух писателей (так и кажется, что «сорванцы и подлецы» — это не Вяземского слова, а кого-то другого, может быть, самого Карамзина).

Пушкин 10 июля 1826 года отвечал Вяземскому известными строками, единственным прямым признанием насчет конфликта с Карамзиным: «Коротенькое письмо твоё огорчило меня по многим причинам. Во-первых, что ты называешь моими эпиграммами против Карамзина? довольно и одной, написанной мною в такое время, когда Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу хладнокровно об этом вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены; ужели ты мне их приписываешь?» (XIII, 285).

Если буквально следовать пушкинскому письму, выходит, что Карамзин сначала его оскорбительно, несправедливо отстранил, и только затем была сочинена какая-то острая и ничуть не обидная эпиграмма, которая, очевидно, «не улучшила» отношений. Но главное — даже много лет спустя, поэт не может «хладнокровно» вспомнить о том, что произошло, считает, что Карамзин не прав.

Из этого обмена письмами, а также по другим источникам можно заключить, что ссора, разлад, недоумение были связаны с причинами политическими (эпиграмма, «сорванцы» и т. п.). Во всем этом полезно разобраться.



Никита Муравьев. Рис. П. Соколова.

«И ПРЕЛЕСТИ КНУТА...»

Окончив Лицей и переехав в Петербург, Пушкин попадает в вулканическую атмосферу декабризма, в «поле притяжения» прежде всего такой могучей личности, как Николай Иванович Тургенев. Уже через несколько недель после своего переезда в столицу на квартире декабриста написана ода «Вольность». Вслед за тем сочиняется и быстро распространяется еще немалое число вольных стихов, эпиграмм, политических острот. Пушкин, можно сказать, выходит из-под влияния Карамзина, столь сильного в 1816—1818 годах; он попадает в среду, где историографа хоть и уважают, но спорят и спорят все более ожесточенно¹¹.

Пушкин, очевидец и участник этих споров, напишет о них замечательные мемуары. Однако это случится несколько лет спустя, можно сказать, в другую историческую эпоху. Непросто отделить то, что поэт думал о Карамзине в 1825—1826 годах и как понимал ситуацию в 1818—1820-м; подчеркнем только, что пафос позднейших пушкинских Записок о Карамзине — в пользу историографа, против тех, кто не оценил, «не сказал спасибо», «не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина».

Напомним строки, посвященные декабристской критике, которые Пушкин довольно прозрачно адресует и самому себе:

«Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рас-

сказом событий, — казались им верхом варварства и унижений. — Они забывали, что Карамзин печатал Историю свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностью историка, он везде ссылаясь на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что *История Государства Российского* есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.

Некоторые из людей светских письменно критиковали Карамзина. Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Михаил Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он *какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян*, т. е. требовал романа в истории — ново и смело! Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо *редко основатели республик славятся нежной чувствительностью*, конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни» (XII, 306).

Почти каждая фраза пушкинского рассказа сегодня подкрепляется документально. Давно замечена и двойственность пушкинской фразы об «одной из лучших русских эпиграмм»; фраза «мне приписали» как будто вступает в спор с теми, кто приписал, ввел в заблуждение общественное мнение и т. п. Однако двусмысленные слова — «не лучшая черта в моей жизни» — как будто намекают, что действительно Пушкин написал; да кому же еще написать «одну из лучших эпиграмм»? Лучшей из дошедших к нам, безусловно, является —

В его Истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого

пристрастья

Необходимость самовластья
И прелесть кнута (XVII, 16).

Хлесткой, нарочито несправедливой, но (как и положено в эпиграмме) заостряющей смысл является, собственно говоря, последняя строка.

Да, Карамзин говорил и писал о *необходимости самовластья* в историко-философском смысле, подразумевая, что самодержавие соответствует уровню развития и просвещения народа. Разумеется, он никогда не говорил о «преlestи кнута» — да автор эпиграммы это отлично понимает, но сознательно доводит до некоторого абсурда исторический фатализм Карамзина.

Наиболее вероятно, что эпиграмма составлена под свежим впечатлением от первых восьми томов «Истории государства Российского», в том же 1818-м, может быть, в 1819 году¹².

Скорее всего стихи были лишь одним из элементов обострявшихся политических споров, которые все больше и чаще переходили «на личности».

Поэт в позднейшие свои Записки внесет рассказ об одном из таких споров, когда отношения еще не расстроены, но историограф уже гневется; когда Пушкин в разговоре с Карамзиным, можно сказать, прозаически излагает «острую эпиграмму»: «Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: Итак, вы рабство предпочитаете свободе. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменялся. Скоро Карамзину стало совестно и, прощаясь со мною как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности. Вы сегодня сказали на меня то, что ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили. В течение 6-летнего знакомства только в этом случае упомянул он при мне о своих неприятелях, против которых не имел он, кажется, никакой злобы, не говоря уже о Шишкове, которого он просто полюбил» (XII, 306—307).

Мемуарный текст, кажется, очень многое объясняет в истории разлада.

Карамзин написан здесь с теплотой, сочувствием; Пушкин стремится подчеркнуть его правоту и благородство в споре; но в то же время с расстояния прожитых лет сожалеет о слишком резких своих замечаниях («рабство предпочитаете свободе» — это ведь «прелести кнута!»); здесь ни слова об охлаждении — наоборот, говорится о шестилетнем знакомстве (на самом деле меньше четырех лет, из которых последние полтора «омрачены»; однако ошибка Пушкина очень показательна: контакты были столь богаты и насыщены, что позже представлялись более длительными, чем были в действительности!).

О датировке запомнившегося Пушкину разговора (ясно, что поэт подразумевает определенный, а не «собираемый» диалог, ибо отмечает, что «только в этом случае» Карамзин упомянул о своих неприятелях) — о датировке специалисты размышляли и почти единодушно пришли к выводу, что беседа была после выхода «Истории государства Российского». Хотя Пушкин знакомился с ее фрагментами еще в 1816—1817 годах, но все же мог представить общую концепцию Карамзина только тогда, когда прочитал восемь томов «с жадностью и вниманием». Поскольку же с осени 1818 года отношения почти прерываются и Карамзин уже не станет извиняться «в своей горячности», надо думать, что разговор состоялся в 1818 году, во время одного из частых летних или осенних наездов бывшего лицеиста в Царское Село.

Исследуя вопрос об эпиграммах на Карамзина, Б. В. Томашевский отметил и другую краткую пушкинскую запись (относящуюся примерно к тому же времени, что и эпиграмма), где, возражая Карамзину, поэт именует самодержавие беззаконием (см. XII, 189).

Еще одна, две, три подобные стычки, и Карамзин, внешне сдержанный, отрицающий необходимость отвечать на критику, вспыхивает сильнее.

Сохранились сведения о том, как портились личные отношения историографа с другими довольно близкими людьми.

Мы не знаем, до каких пределов доходили прямые споры Карамзина с Никитой Муравьевым, но сам декабрист, перечитывавший в это время «Письма русского путешественника», оставил на полях книги весьма не лестные аттестации Карамзина¹³; жена Карамзина допускала, полусерьезно, что, может быть, близкий родственник П. А. Вяземский тоже вскоре будет избегать встречи.

Горячие декабристские формулы и «любимые парадоксы» Карамзина — таков был исторический, психологический контекст разлада между умеренным Карамзиным и «красным либералом» Пушкиным. На фоне общих политических расхождений выглядели уже второстепенными, но, впрочем, для Карамзина закономерными «буйные шалости» поэта: 23 марта 1820 года Е. А. Карамзина писала Вяземскому, что «у г. Пушкина всякий день дуэли; слава богу, не смертоносные, так как противники остаются невредимыми». Даже в этих строках, вероятно, скрыта карамзинская ирония насчет *несерьезности, неосновательности...*

Пушкин же, огромными шагами идущий вперед, завершающий «Руслана и Людмилу», внутренне созревающий, чувствует себя уязвленным, обиженным; он не может и не хочет преодолеть «сердечной приверженности» к Карамзиному, но имеет основание считать, что историограф смотрит узко, односторонне.

Мы размышляли о причинах расхождения в первую очередь по текстам самого Пушкина, а также по общему характеру «карамзинско-декабристских» противоречий.

Очень многое объясняет задним числом и эпизод, завершающий целый период пушкинской биографии. История, восстанавливаемая гипотетически, по косвенным данным, но имеющая, полагаем, первостепенное значение: последняя встреча, последний прямой, непосредственный разговор Карамзина и Пушкина.

ВЕСНА 1820-ГО

В середине апреля 1820 года Пушкин был вызван на известную беседу петербургским генерал-губернатором Милорадовичем.

«Откровенный поступок с Милорадовичем» — целая тетрадь запретных стихов, которую поэт заполнил в кабинете хозяина столицы, и последующее *прошение*: все это как бы «репетиция» смелого ответа Николаю I в 1826 году — «я был бы на Сенатской площади...».

Милорадович хотя и объявил прошение, но, понятно, не окончательное, до царского подтверждения, Пушкин же, вернувшись от генерала, узнал от Чаадаева и других друзей о грозящей ссылке в Соловки.

Чаадаев, Жуковский, Александр Тургенев, наконец, сам Пушкин отправляются за помощью к влиятельнейшему из знакомых — Карамзину.

19 апреля 1820 года историк сообщает новости своему неизменному собеседнику Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Над здешним Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако и громоносное (это между нами)»; Карамзин вкратце напоминает, что провинившийся написал много запретных стихов, эпиграмм, и прибавляет важную подробность, относящуюся к острому беседам прошлых лет и охлаждению: «Я истощил способы образумить несчастного и предал его року и Немезиде»; однако «из жалости к таланту» он берется хлопотать, и тут-то следуют знаменательные строки: «Мне уже поздно учиться сердцу человеческого, иначе я мог бы похвалиться новым удовлетворением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство или великодушие».

Несколько позже Карамзин пишет Вяземскому в Варшаву: «Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности, но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилוג напишет он к своей поэмке».

Позже, 7 июня 1820 года, Карамзин в очередном письме к Дмитриеву снова вспомнит о Пушкине: «Я просил от нем из жалости к таланту и молодости: авось будет рассудительнее; по крайней мере дал мне слово *на два года*».

Пушкин, придя к Карамзину, явно не мог скрыть своего страха, боязни Соловков, Сибири, так что Карамзин даже нашел немалое противоречие между прежней «левой решимостью», либерализмом, революционностью и нынешним упадком духа. В приведенных письмах историографа сквозит мысль, что вот-де меня и мне подобных «молодые якобинцы» высмеивают, подозревают в приверженности к рабству, — а как дело доходит до расправы, ищут спасения в мужестве и твердости именно старших и умеренных. Содержание последней беседы Пушкина с Карамзиным как будто легко вычисляется: Пушкин «кается», просит о помощи; Карамзин берет с него слово уняться — и мы даже точно знаем, что поэт обещал два года ничего не писать против правительства...

Однако все это на поверхности и не затрагивает другой, куда более важной стороны этого примечательного разговора.

Даже если пригладеться к только что приведенной формуле — «по крайней мере дал мне слово *на два года*», то и она кое-что открывает в потаенной части беседы. Ведь в «официальном смысле» Карамзин должен был взять клят-

ву с Пушкина вообще никогда не писать против власти. Смешно и невозможно представить, будто историограф сообщает царю про обещание *на два года* (а два года спустя, выходит, Пушкину можно снова *держитъ*?). Ясно, что тональность разговора была не дидактической, а дружеской, снисходительной; Карамзин сказал нечто вроде того, что пусть Пушкин даст ему («и только ему») слово — хотя бы на два года, если иначе уж никак не может...

Проникнув благодаря одному намеку в самую интересную часть беседы, постараемся расслышать ее получше.

Пушкин во время своих будущих странствий по России «отнодь не пятимесячных, как думал Карамзин, но многолетних» в 1820—1826 годах будет постоянно вспоминать о Карамзине с теплотой, дружбой, благодарностью, благоговением. Как будто не было двухлетнего почти разлада, ссоры, оскорбления.

Не вызывает никаких сомнений, что Карамзин и Пушкин во время последней встречи *помирились*, точнее, Пушкин вернулся душой: кризис отношений изжит, произошел катарсис...

Неужели все это только потому, что Карамзин помог, ходатайствовал перед графом Каподистрия, а также, очевидно, перед императрицей Марией Федоровной и Александром I? Разумеется, Пушкин, отзывчивый и благородный, навсегда сохранит теплые воспоминания о том, как Карамзин и другие друзья спасли от участи, которая могла привести к надлому и гибели.

Недавно было опубликовано воспоминание М. И. Муравьева-Апостола о высылке Пушкина, где рассказывается, что А. Тургенев хлопотал за Пушкина через Карамзина, М. А. Милорадовича, А. Ф. Орлова: «Я тогда был в Петербурге. Карамзин жил у тетушки Екатерины Федоровны (Муравьевой). Помню, как Александр Иванович Тургенев приезжал сообщать, как идет дело о смягчении приговора»¹⁴.

Среди заступников поэта были также Жуковский, Чаадаев, Федор Глинка. Однако главной фигурой, способной переменить «царский гнев на милость», оставался Карамзин.

И все же одна только «физическая помощь», спасение от ареста и крепости еще не вызвали бы у поэта такой гаммы горячих, глубоких чувств к историку.

Как в 1817 году (когда возник казус с любовным посланием Екатерине Андреевне), Карамзин, очевидно, сумел теперь с Пушкиным *поговорить*!

Кроме наставлений и оригинальной просьбы — два года не ссориться с властями, — историограф коснулся очень важных для Пушкина вещей, и мы можем судить по крайней мере о трех элементах той знаменательной беседы в апреле 1820 года.

Во-первых, без всякого сомнения, были произнесены особенно лестные в устах Карамзина слова о таланте, который нужно развивать и



К. Ф. Рылев.

беречь (этот мотив повторяется и в письмах к Дмитрию).

Во-вторых, снова были «любимые парадоксы» Карамзина, известные нам, между прочим, по интересной, позднейшей записи К. С. Сербиновича: «Довольно распространялись о мнениях молодых людей насчет самодержавия и вольнодумства, которое происходит с летами. Николай Михайлович вспомнил о чрезмерном вольнодумстве одного из близких знакомых в молодости его, так что некто почтенный муж, слушая его речи, сказал ему: «Молодой человек! Ты меня изумляешь своим безумием!»

Николай Михайлович два раза повторил это с заметной пылкостью. «Но,— прибавил он,— опыт жизни взял свое».

Говоря это, Карамзин, вероятно, подразумевал, в частности, беседы с Пушкиным и в какой-то степени собственный опыт.

Карамзин в молодости не был столь радикален, как юный Пушкин, но все же пережил немалый период увлечений и надежд, когда начиналась французская революция и победа разума, Просвещения казалась близкой.

Позже, потрясенный крайностями якобинской диктатуры, Карамзин пришел к выводу: «Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы дурачества вышли из моды на земном шаре», наконец, печально восклицал (и эти слова были полвека спустя оценены столь отличающимся от Карамзина мыслителем, как Герцен): «Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя!»

Ни в коей мере не утверждая, будто именно эти примеры были приведены в последнем разговоре с Пушкиным, можно не сомневаться, что они в той или иной степени подразумевались; что, демонстрируя свой опыт, Карамзин создал обстановку разговора на равных, столь привычную по первым царскосельским встречам 1816—1817 годов. Нет никаких сомнений, что Карамзин не пытался лицемерить с юным проницательным гением; не старался идеализировать русскую действительность, которую собирались коренным образом переменить декабристы и о чем горячо писал бунтующий Пушкин. И положение крестьян, и самовластие, и военные поселения, и «подлость верхов» — обо всем этом Карамзин говорил в те годы не раз, в том числе с самим царем; он хорошо знал, сколь взрывчата российская реальность.

Много лет спустя одну фразу Карамзина, которую не найти в его сочинениях и письмах, Пушкин поставил эпиграфом к своей статье «Александр Радищев»: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице»¹⁵. Эпиграф сопровождался ссылкой — «СЛОВА КАРАМЗИНА В 1819 ГОДУ».

Карамзин действительно мог произнести эти слова в спорах 1819 года, которые развели его с Пушкиным; однако мы вправе предположить, что именно эти слова (или, шире говоря, именно эта мысль) были лейтмотивом последней беседы с Пушкиным. Как известно, смысл этой фразы отнюдь не в том, что порядочному человеку должно избегать опасностей, беречь себя и т. п.; Карамзин хотел сказать (речь шла, разумеется, не о тиранических режимах, но о сколько-нибудь просвещенных), что, если честного человека тащат к виселице, значит, он не использовал законных, естественных форм сопротивления, изменил самому себе...

Пушкин далеко не сразу воспримет эти идеи; мы хорошо знаем, что в первые годы ссылки он еще отнюдь не «исправился», — но, может быть, его потряс не столько буквальный смысл карамзинских слов, сколько их дух, тональность... Позже, когда Пушкин своим путем, своим разумением придет к сходным мыслям, завещание Карамзина (а ведь разговор 1820 года, по существу, и был завещанием!) будет оценено с двойной, тройной силой, и значение последней беседы будет все возрастать.

Мы можем также догадываться и о роли Екатерины Андреевны в той апрельской встрече 1820 года, о каком-то ее прощальном напутствии, которое, по-видимому, сильно утешило Пушкина и облегчило поэту прощание со столь милым, привычным петербургским миром.

Сложные перипетии, взлеты, падения, новые взлеты карамзинско-пушкинских отношений — все это отразилось в истории одного замечательного стихотворения, где опять находим поэтические мемуары Пушкина о Карамзине и его круге.

«СМОТРИ, КАК ПЛАМЕННЫЙ ПОЭТ...»

17 апреля 1818 года Жуковский сообщал Вяземскому в Варшаву, что получил от Пушкина послание — «Когда к мечтательному миру...» — и привел его полный текст: 44 строки, из которых первые 23 — прямое обращение к Василию Андреевичу, а затем, в последних 21 строках, появляются еще два художника:

Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем света упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!

Пламенный поэт — это друзьям было хорошо понятно — К. Н. Батюшков, один из самых горячих и преданных поклонников того «гения», который написал «свиток», «повесть древних лет».

Когда появились восемь томов Истории, Батюшков задумал написать сочинение в «карамзинском духе» — и Пушкин о том говорит в финале своего послания к Жуковскому:

Он духом там, в дыму столетий!
Пред ним волнуются толпой
Злодейства, мрачной славы дети,
С сынами доблести прямой;
От сна воскресшими веками
Он бродит тайно окружен,
И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное заблужденье
Бесплодной суестьи земной:
И в нем трепещет вдохновенье.

Итак, в послании к Жуковскому — три героя: сам адресат, а также Батюшков и Карамзин. Прибавим четвертого — Пушкина: сознательно или невольно, но, представляя поэта, воодушевленного Карамзиным, в ком «трепещет вдохновенье», Пушкин говорит, конечно, и о самом себе.

Таким образом, перед нами первый поэтический отклик на то, что (в феврале — марте 1818 года) вышедшую и прочитанную Историю. Повторим, что известные воспоминания о Карамзине записаны 7—8 лет спустя; стихи же «Когда к мечтательному миру...» сочинены сразу после первого чтения «Истории государства Российского», это живой дневник событий (в «Летописи жизни и творчества Пушкина» датируется мартом — началом апреля (до 5-го) 1818 года).

Не вдаваясь в подробную историю стихотворения¹⁶, отметим только, что в период разлада с Карамзиным (1819—1820 гг.) Пушкин сократил послание, сняв панегирик историку; после же прощальной беседы и отъезда на Юг восстановил полную редакцию и дважды опубликовал ее при жизни Карамзина: в 1821 году

в журнале «Сын отечества» и в конце 1825-го в сборнике стихотворений.

Послание «1818—1825 года» — важный эпизод прижизненных отношений Пушкина и Карамзина. Одновременно с формированием и публикацией этих стихов происходили и другие события, касавшиеся обоих писателей и приближавшие пушкинскую попытку «сказать все...».

1820—1826

Пушкин — в Кишиневе, Одессе, Михайловском. Огромное, быстрое созревание поэта происходит вдали от «северных друзей», и, хотя они могут судить по тем сочинениям, что приходят с Юга, многое в умственном, политическом, поэтическом развитии Пушкина непонятно или не совсем заметно Жуковскому, Вяземскому, А. Тургеневу и другим спутникам прошедших лет. Вдали от Пушкина находится и Карамзин, работающий над последними томами «Истории государства Российского», и можно уверенно сказать, что историограф куда хуже различает поэта, нежели поэт историографа...

Прямых писем Пушкина Карамзину, вероятно, не было — поэт и позже не решался, не смел его тревожить. Тут сказывались особые отношения, закрепленные именно апрельской беседой 1820 года. Однако Пушкин более или менее регулярно переписывался с ближайшими к историографу людьми и знал, что Карамзины его помнят, постоянно спрашивают.

При том, конечно, совсем не нужно представлять Пушкина перед Карамзиным как некоего «виноватого мальчика», стремящегося «искупить вину», и т. п. Признательность, благодарность, интерес к словам и делам Карамзина сочетаются в поэте с самостоятельностью, растущим пониманием своего особого пути, с желанием и умением возразить маститому историографу.

Карамзин же, со своей стороны, доволен последней беседой, удачными хлопотами за Пушкина, но отнюдь не верит в быстрое его «перевоспитание», далеко не все в нем понимает и своего мнения в беседах с Жуковским, Тургеневым не скрывает.

Поэт о том знает и не думает на Карамзина обижаться. Наоборот, по собственной логике приходит все к большему признанию его исторического труда, его личности. Недаром в конце 1824 года Пушкин опять рисует профиль историографа, время этого рисунка точно совпадает с первыми подготовительными заметками к «Борису Годунову».

Так, в «михайловские месяцы» 1824—1826 годов сходились воедино любовь и уважение Пушкина к Карамзину, надежда, что тот поможет выбраться из неволи; а с другой стороны, vorcловое непонимание самого Карамзина, впрочем постепенно отступающего под «натиском» Вяземского, Жуковского, А. Тургенева.



Лицей.

Именно в это время, после двух стихотворных пушкинских «воспоминаний», при том, что образ Карамзина постоянно присутствует за строкою пушкинских писем и творческих рукописей «Бориса Годунова», наступает черед *Записок*: и, может, оттого поэт особенно любопытен и внимателен к словам и делам историкографа, что уж включил его в число своих героев?

Сама идея писать мемуары была связана с обострившимся в середине 1820-х годов чувством истории, чувством итога. Среди тех, кто в эту пору также был полон разнообразных предчувствий, — сам Карамзин. Достаточно прочесть его последние письма к нескольким близким людям, чтобы обнаружить там печальное, фаталистическое, профетическое начало: «Страшные изменения в свете и душах! Не все хорошо, как думаю, в почтовой скачке нашего бытия земного...»

Карамзин ощущает приближение конца своей жизни, своего времени. Пушкин же торопится начать «групповой портрет» уходящей эпохи, где почтеннейшее место отдается Карамзину...

Затем ударило 14 декабря. Событие, потрясшее Россию, Пушкина, Карамзина, многих друзей и приятелей — как «замешанных», так и непричастных.

Потянулись страшные месяцы арестов и следствия. Карамзин простудился на Сенатской площади, наблюдая события, и следующие не-

сколько месяцев смертельная болезнь то наступала, то несколько отступала.

Получив известие о болезни, Пушкин чрезвычайно встревожился, и его взволнованные строки открывают, сколь многое связывало поэта с историком все эти годы, несмотря на несогласия и недоразумения: «Карамзин болен — милый мой, это хуже многого — ради бога, успокой меня, не то мне страшно будет вдвое распечатывать газеты» (Плетневу; XIII, 264).

22 мая 1826 года Карамзина не стало.

Через несколько недель Пушкин просит Вяземского написать жизнь Карамзина: «Но скажи все...»

13-И ТОМ

Что же означал в 1826 году «приказ» Вяземскому (и самому себе) — написать жизнь Карамзина, сказать *все*?

О его близости к Александру I, умеренно-консервативных взглядах, критике революционеров — об этом писать было *можно*, и в этом направлении старались «холодно, глупо, низко» различные российские журналы.

Понятно, Пушкин говорит о необходимости осветить и другую сторону — смелость Карамзина с любым, даже высочайшим собеседником, его критические оценки господствующего порядка, сложный взгляд («любимые парадоксы») на соотношение рабства и свободы; наконец, требовалось напомнить о «верном расска-

зе событий» в карамзинской Истории, особенно в IX томе, посвященном времени Ивана Грозного.

Наш рассказ возвратился к лету 1826 года, когда разговор о «13-м томе» Карамзина, то есть биографическом очерке, мемуарах, Пушкин вел, уже располагая замечательным «карамзинским фрагментом» собственных Записок.

В письме от 10 июля 1826 года поэт, призывая Вяземского писать о Карамзине, умолял о собственном труде, возможно, из соображений конспирации. Письмо шло по почте в дни приговора и казней...

Через несколько дней поэт отправил (вероятно, с оказией) в Петербург, в родительский дом, письмо к сестре, Ольге Сергеевне, но письмо не застало ее в столице — она присоединилась к семьям Вяземских и Карамзинных, которые отдыхали в Ревеле. Мы точно знаем, что Лев Сергеевич Пушкин переправил послание старшего брата в Ревель, куда оно прибыло 30 июля (см.: XIII, 290). Хотя письмо не сохранилось, но известно, что именно там поэт впервые признался в существовании его воспоминаний об историке. На другой день, 31 июля, Вяземский отвечал и на письмо Пушкина от 10 июля, и на сообщение Ольги Сергеевны: «Сестра твоя сказывала, что ты хотел прислать мне извлечения из записок своих относительно

нем. Можешь издать их в виде отрывка из твоих записок» (XIII, 289).

«Современные записки вроде Гара» — это книга «Исторические мемуары о жизни господина Сюара, его сочинениях и 18-м столетии». И автор этого труда Доменик-Жозеф Гара (1749—1833) и его герой, Жан-Батист Сюар (1734—1817), были литераторами, политиками, публицистами. Они пережили много бурных приключений, взлетов, падений, как до Великой французской революции, так и во время ее, при Директории, Консульстве, империи, реставрации¹⁷. Хотя Гара был хорошо знаком с Сюаром (и, между прочим, располагал его мемуарными заметками), но, как видно уже по заглавию труда, стремился написать *историю века*; пытался представить в Сюаре характерные черты «современного героя».

Любопытно, что вскоре после того, как Вяземский дал Пушкину совет — писать в духе Гара, — он признавался А. Тургеневу, что сам собирается со временем написать о Карамзине записки, как Гара писал о Сюаре. Иначе говоря, Пушкину предлагалась идея, которую лелеял сам Вяземский, в то время как Пушкин советовал Вяземскому, исходя из собственного опыта и подразумевая тип воспоминаний, уже писавшихся в Михайловском.

Повторим, что летом 1826 года, в один из самых трагических моментов русской истории,



Тверской бульвар в Москве со стороны Никитских ворот. Начало XIX в.

до Карамзина. Жду их с нетерпением <...> Ты советуешь писать мне о Карамзине: рано! Журнальную статью, так! Но в этом случае: поздно! Карамзин со временем может служить центром записок современных в роде записок Гара, но гораздо с большим правом, чем Сюар. Все русское просвещение начинается, вертится и сосредоточивается в Карамзине. Он лучший наш представитель на сейме европейском. Ты часто хотел писать прозою; вот прекрасный предмет! Напиши взгляд на заслуги Карамзина и характер его гражданский, авторский и частный. Тут будет место и воспоминаниям твоим о

два поэта-мыслителя, глубоко ощущающие этот трагизм, считают настоящее слово о Карамзине одним из лучших дел, которым в этих обстоятельствах можно и должно заниматься.

Пушкин это слово уже произнес...

КОГДА ЖЕ?

Пушкин напечатал «карамзинский фрагмент» своих записок в 1828 году; история этой публикации изучена В. Э. Вацура. Заглянув в Комментарии к XII тому большого академического издания, мы найдем, что этот отрывок был

написан между июнем и декабрем 1826 года (см.: XII, 471); несколько поколений пушкинистов считали, что поэт приступил к своему труду после получения известия о кончине Карамзина. И. Л. Фейнберг, однако, старую дату оспорил, доказав, что карамзинские страницы сочинены еще при жизни историографа и «являются, бесспорно, сохранившимися при сожжении (...) страницами «Записок» Пушкина».

После появления работы Фейнберга время создания очерка о Карамзине было сначала определено как «1821—1825 годы» (XVII, 63): действительно, именно в этот период Пушкин трудился над своими Записками. Позже, однако, эта дата была уточнена «1824, ноябрь — 1825»¹⁸; основанием для уточнения явилось, во-первых, исследование бумаги, на которой писал Пушкин («1823 год»), а во-вторых, известные признания поэта в двух письмах к брату от ноября 1824 года — об интенсивной работе над Записками в Михайловском (см.: XIII, 121, 123). Более ранних сообщений о постоянной работе над Записками в письмах к близким людям не сохранилось; зато в корреспонденции Пушкина за 1825 год Записки упоминаются постоянно (см.: XIII, 143, 157, 159, 225). В то же время в знаменитом пушкинском отрывке нет ни намека, ни слова о 14 декабря, а также о кончине Карамзина. Более того, текст, при всей его серьезности и значительности, отличается той «легкой веселостью», которая несет на себе печать более ранних месяцев и лет; «пред грозным временем, пред грозными судьбами...» — но гроза еще не разразилась...

Трудно, невозможно представить, чтобы Пушкин сразу после 14 декабря принялся иронизировать над «молодыми якобинцами»; чтобы начал полемику с арестованным, приговоренным к смерти и «помилованным» категорией Никитой Муравьевым («Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!»); чтобы декабриста-генерала Михаила Орлова, арестованного и чудом отделавшегося ссылкой в деревню, Пушкин (пусть и в тиши михайловского кабинета) упрекнул, и довольно ядовито: «Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале «Истории» не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, то есть требовал романа в истории — ново и смело!»

Вдобавок заметим, что во фразе о Карамзине «государь, освободив его от цензуры...» не сказано «государь Александр Павлович» или «покойный государь», что было бы естественно, если Записки составлялись в 1826 году.

Итак, время рождения «карамзинского отрывка» передвинулось на год-полтора в прошлое; при других обстоятельствах не так уж важно, «годом раньше или позже», однако между 1824-м и 1826-м, можно сказать, сменилась эпоха: время разделилось на *до* и *после* 14 декабря; к тому же это ведь месяцы перед и после кончины Карамзина... Вслед за И. Л. Фейнбергом и В. Э. Вацура еще и еще раз приглядимся

к последовательности главных событий в жизни интересующей нас рукописи. Очень хочется в столь важных документах — мемуарах Пушкина! — отыскать что-либо «незамеченное». Материалов слишком мало для каких-нибудь открытий, но, как всегда, вполне достаточно для размышлений и гипотез.

«ПЕРЕПИСЫВАЮ НАБЕЛО...»

В сентябре 1825 года Пушкин сообщал Катенину: «Пишу свои *mémoires*, то есть переписываю набело скучную, сбивчивую, черновую тетрадь» (XIII, 225).

Среди сохранившихся фрагментов пушкинских сожженных мемуаров некоторые, вероятно, являются остатком этой «черной тетради»; другие же страницы — беловые...

Одна из немногих надежных дат — 19 ноября 1824 года: этим днем помечен известный черновой отрывок, уцелевший на обрывке листа. По нумерации Пушкинского дома — рукопись № 415: «Вышел из Лицея, я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но все это нравилось мне недолго. Я любил и доньше люблю шум и толпу и согласен с Вольтером в том, что деревня *est le premier...**» (XII, 304).

Запись, легко убедиться, относится к совершенно определенной главе пушкинской биографии: в июне 1817 года поэт выходит из Лицея, 8 июля получает паспорт на отъезд в Псковскую губернию; в конце августа возвращается в столицу (1 сентября в письме Вяземскому — «Я очень недавно приехал в Петербург»).

После строк о том, что деревня «нравилась недолго» и что молодой человек любит «шум и толпу», естественно, должны были идти следующие страницы или главы Записок, где рассказывалось о возвращении Пушкина в Петербург и последних месяцах 1817 года. Этот раздел, однако, не сохранился, и нетрудно догадаться, отчего: именно там было особенно много горячих, опасных страниц, тех самых, которые пришлось сжечь, ибо «могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв» (эти слова были первоначально внесены Пушкиным в его Автобиографию, составлявшуюся в 1830-х годах, но затем зачеркнуты; см.: XII, 432).

Летопись жизни и творчества Пушкина за осень и зиму 1817 года может явиться сегодня своеобразным оглавлением, «аннотацией» исчезнувших глав: бурная театральная и литературная жизнь Петербурга, знаменитая дуэль Шереметева с Заводовским (столь важная для биографии Грибоедова); левые, вольнодумные, декабристские идеи; в «Арзамасе», заседания которого Пушкин может теперь посещать свободно, Николай Тургенев 6 сентября 1817 года призывал к занятиям политическим. Уже говорилось о том, что осенью 1817 года общение Пушкина со старшим десятью годами

* Первая (франц.).

Н. И. Тургеневым самое тесное, что на квартире Николая Тургенева декабрьским днем 1817-го сочинена ода «Вольность», в то время как более умеренный брат декабриста, Александр Тургенев, постоянно бранил Пушкина за его «леность и нерадение о собственном образовании, к чему присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, 18 столетия».

Вольность, вольнодумство в конце 1817-го — начале 1818-го, как видим, основной пушкинский тон, черта многих поступков.

И тут как раз подошло время, о котором рассказывается еще на двух сохранившихся листах из Записок. Наиболее интересующая нас беловая рукопись (по нумерации Пушкинского дома — № 825) — это листы о Карамзине, начинающиеся с *полуслова*, так как начало первой фразы, очевидно, осталось на сожженной странице:

«...лены печатью вольномыслия.

Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкой» (XII, 305).

«Полусожженная фраза», завершавшая предыдущий лист, вероятно, говорила о словах, стихах или поступках Пушкина (его друзей?), которые были «запечатлены печатью вольномыслия». Во всяком случае, речь шла об определенном образе жизни (о котором недоброжелательно писал Александр Тургенев).

Пушкин тяжело заболевает около 20 января 1818 года. Значит, «время действия» *карамзинских страниц* отделено всего несколькими месяцами от более раннего листка — «Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в псковскую деревню...».

По-видимому, и написан был «карамзинский фрагмент» (№ 825) вскоре после «деревенского отрывка» (рукопись № 415), то есть в конце 1824-го — начале 1825-го... Тогда, наверное, были набросаны черновые страницы, а позже, может быть, осенью 1825 года (вспомним признание Пушкина Катенину), текст был перебелен, опять с некоторыми поправками; именно такой беловой характер имеют два листа, на которых поместились пушкинские воспоминания о Карамзине и самом себе, выздоравливающем, ожидающем весны: «Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постели с жадностью и со вниманием...» (XII, 305).

Далее в документе № 825 личное начало повествования как будто ослабевает: идет яркий, страстный «очерк нравов», воспоминание не столько о Карамзине-человеке, сколько о его времени, его мире; и все же *первое лицо* в рассказ иногда вторгается: «когда по моему выздоровлению...», «ничего не могу вообразить», «одна дама... при мне», «повторяю», «мне приписали одну из лучших русских эпиграмм». Ненавязчивое присутствие того, кто только что подробно рассказывал о своей болезни, о стремлении на волю, выздоровлении,—

это присутствие скрепляет многослойный рассказ, придает ему единый определенный тон. Повествование обрывается почти столь же резко, как началось,— в трудную для автора минуту, когда он, полупризнавшись в сочинении одной из лучших эпиграмм, объявляет: «Это не лучшая черта моей жизни».

Исписан до конца второй лист автографа № 825. Но что же дальше? Следующего листа нет... Очевидно, там продолжалось объяснение насчет эпиграммы и, может быть, о реакции на нее Карамзина, об охлаждении, расхождении поэта с историографом (тут Пушкин, конечно, особенно не хотел непрошенных читателей!); не исключено также, что на следующем листе брошен взгляд «со стороны» на отношения Карамзина с царем, взгляд достаточно вольный, чтобы запись стала для автора опасной...

Итак, после двух листов «о 1818 годе» (№ 825) следовали еще одна или несколько позже исчезнувших страниц. А затем — еще один, сохранившийся черновой лист, по нумерации Пушкинского дома № 416: «Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником...» (XII, 306).

Кстати... Первое слово соединяло этот эпизод с каким-то другим, где, очевидно, говорилось о разных спорах и нападениях на историка. По смыслу — близко к тому, чем кончается *главный отрывок* (насмешки над Карамзиным, непонимание), но все же меж двух текстов чего-то не хватает. Во всяком случае, если они по смыслу столь близки, значит, скорее всего создавались в одно время. Не пускаясь в более сложные и утомительные для читателя «текстологические дебри», еще раз повторим, что по многим внешним признакам, по смыслу и духу воспоминания Пушкина о Карамзине были написаны и до смерти историка, и до 14 декабря 1825 года¹⁹.

Казалось бы, все ясно: к моменту кончины историографа у Пушкина были уже готовые карамзинские листы, о которых он сообщил Вяземскому. Однако на том загадки отнюдь не кончились.

Одна из самых любопытных — отчего в первой печатной публикации «карамзинского фрагмента» в альманахе «Северные цветы» (1828 г.) сохранились очень уж многие признаки раннего (до 14 декабря) рождения текста?

НА СВОБОДЕ

В начале сентября 1826 года михайловского узника увозят в Москву — для свидания с царем.

9 ноября 1826 года в Михайловском Пушкин, уже освобожденный из ссылки и завершающий по заданию царя записку «О народном воспитании», продолжает с Вяземским разговор, начатый еще в июле: «Сей час перечел мои листы о Карамзине — нечего печатать. Собе-



Вид Васильевского острова и Петропавловской крепости. Первая треть XIX в.

ришь с духом и пиши. Что ты сделал для Дмитриева (...), то мы требуем от тебя для тени Карамзина — не Дмитриеву чета» (XIII, 305).

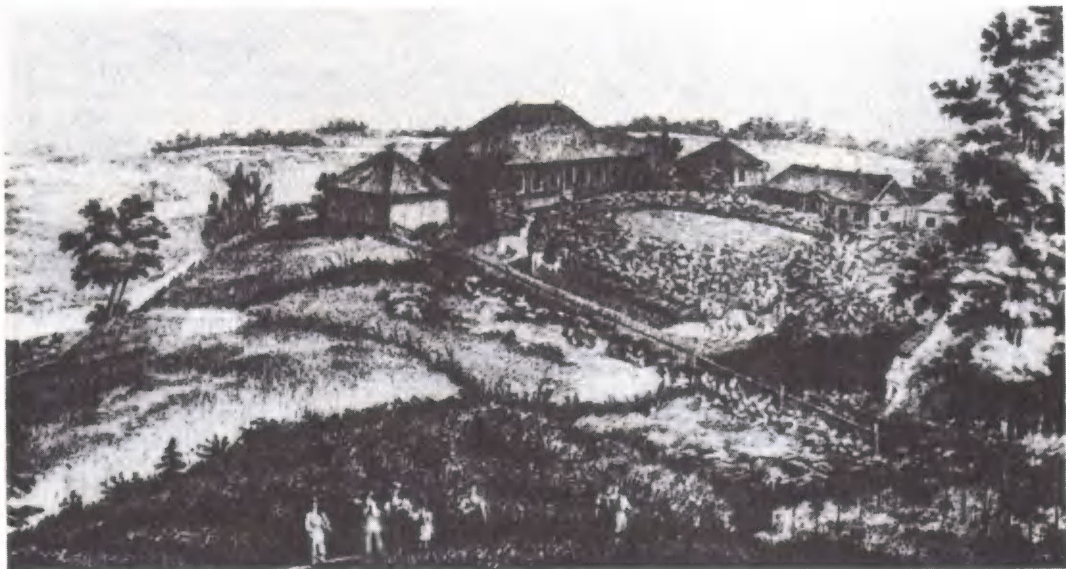
Вяземский в 1821 году написал и в 1823-м напечатал «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева».

Фраза Пушкина, что ему «нечего печатать», кажется, имела двойной смысл: во-первых, многое не подходило для цензуры; во-вторых, Пушкин мог считать свои воспоминания слишком краткими...

Чуть позже Пушкин отыщет великолепную эссеистическую форму — «Отрывки из писем, мысли и замечания» — и сумеет среди разных фрагментов и размышлений поместить важный отрывок о Карамзине, завершавшийся указанием «извлечено из неизданных записок» (см.: XI, 57). Пока же, в ноябре 1826-го, поэт, перечитывая свои «листы о Карамзине», оканчивает записку «О народном воспитании». В черновике ее сохранились следы напряженного поиска лучших определений, и как не заметить, что на этот раз факт недавней кончины историка вызвал определенную, панегирическую фразеологию: «Его творения,— записал Пуш-

кин,— есть не только вечный памятник, но и алтарь спасения, воздвигнутый русскому народу» (XI, 316). Пушкин еще попробовал, но зачеркнул фразу — «его подвиг есть не только вечный памятник»; образы «вечного памятника и алтаря спасения» отвергнуты как слишком громкие, риторические, но они ясно обозначают направление пушкинских поисков; Карамзин среди репрессий, крушений, разочарований как бы указывает возможный, верный путь, спасение; помогает людям круга Пушкина, Вяземского найти честную позицию между двух «соблазнов» — уйти в подполье или проситься «во дворец».

Горячие, но мелькнувшие лишь в черновике определения были близки, даже текстуально подобны ряду высказываний пушкинских друзей (сделанных и задолго до 1826 года, и после). Жуковский писал Александру Тургеневу: «Я гляжу на Историю нашего Ливия как на мое будущее: в ней источник для меня славы и вдохновения». Адресат письма, А. И. Тургенев, в свое время надеялся, что «История» Карамзина «послужит нам краеугольным камнем для правописания, народного воспитания, монархи-



Сельцо Михайловское. Литография П. Александрова по рисунку И. Иванова. 1837 г.

ческого управления и, бог даст, русской возможной конституции». Вяземский называл труд Карамзина «эпохой в истории гражданской, философической и литературной нашего народа». Много позже он же создаст прекрасный эквивалент пушкинской мысли об «алтаре спасения»; «Карамзин наш Кутузов, 12-й год, он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас Отечество есть, как многие узнали о том в 12-м году».

Вот в каком контексте, среди каких мнений набирает силу пушкинское стремление — сказать об историографе *все*.

В ноябре 1826 года, отвергнув панегирические эпитеты, поэт заменяет их в записке «О народном воспитании» формулой из тех, прежних своих «листов о Карамзине», которые только что перечитывал и откуда «нечего печатать»: «История государства Российского» есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека». Тот факт, что Пушкин не сразу внес эту фразу в записку «О народном воспитании», а прежде попробовал несколько вариантов, может, конечно, вызвать подозрение — не сочинена ли знаменитая строка именно теперь, в Михайловском, в конце 1826 года.

В. Э. Вацуро подобную возможность отверг, заметив, что «Пушкин (...) вставил в официальную записку формулу из своих неизданных мемуаров, в которой для него заключался особый, сокровенный смысл». Действительно, достаточно посмотреть на рукопись пушкинских записок о Карамзине (документ № 825), чтобы убедиться: 1) фраза о «подвиге честного человека» там уже имеется, причем внесена поэтом сразу, без всяких поправок, вариантов; 2) по-

скольку же эти листы заполнялись в 1824—1825 годах (напомним опять, что они открываются полуфразой, начало которой «подверглось аутодафе» после 14 декабря), — значит, и сама знаменитая формула записана тогда же.

Выходит, Пушкин в ноябре 1826 года сначала пытался найти новые слова, приличествующие посмертному разговору о Карамзине (тем более в полуофициальной записке, представляемой царю!). Однако после нескольких проб поэт возвращается к старой формуле, выработанной еще при жизни историографа.

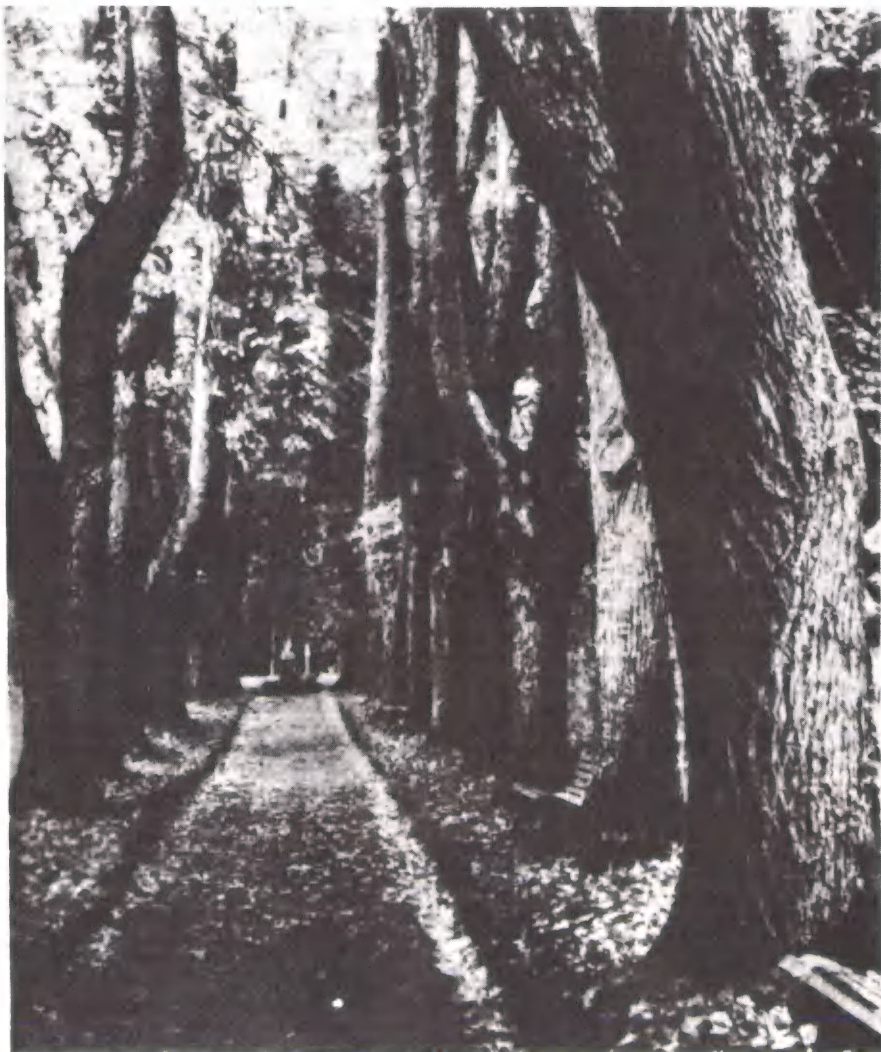
В этом быстром движении пушкинской мысли мы видим и начало ответа на тот вопрос, который был поставлен несколько страниц назад: отчего первая печатная публикация «карамзинского фрагмента» (1828 года) имеет при всех различиях столько общего с рукописью 1824—1825 годов? Разделяющие их три-четыре года — это ведь целая эпоха, стоящая иных десятилетий: между документом № 825 и альманахом «Северные цветы» на 1828 год (где появился пушкинский отрывок) произошло восстание, затем — следствие, приговор, казнь; за это время умер Карамзин и был возвращен Пушкин. Казалось бы, рукопись устарела, но вышло наоборот. Как старая формула «подвиг честного человека» оказалась вернее всяких *новаций*, точно так же автор печатного текста 1828 года не очень стремится к обновлению рукописной основы.

Еще раз отметим, что в истории и текстологии пушкинских страниц о Карамзине еще не все ясно, ряд важных проблем находится на уровне гипотезы; например, нельзя с излишней категоричностью отрицать возможные поправ-

ки и дополнения, внесенные Пушкиным в старый мемуарный текст уже после смерти Карамзина, в 1826 году. Однако кажется неоспоримым, что созданные главным образом в 1824—1825 годах Записки о Карамзине уже через несколько месяцев стали документом особым; в новых, суровых обстоятельствах они представляли ушедшую, «приговоренную» эпоху.

Включая несколько переработанный текст своего сочинения в «Отрывки из писем, мысли и замечания», Пушкин решил сохранить общий

характер «легкой серьезности», столь заметный в рукописи № 825, главном «карамзинском отрывке»; правда, фрагменты, относящиеся к светским женщинам и острякам, пародирующим Карамзина, сокращены; и *молых якобинцев*, понятно, в печатном тексте нет. Однако сокрытые под инициалами остались Никита Муравьев, Михаил Орлов; впрочем, реплика Орлова сильно смягчена; теперь она читалась так: «М. в письме к В. пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении



Сельцо Михайловское. Липовая аллея («Аллея Керн»).

славян, то есть требовал от историка не истории, а чего-то другого».

Обычно при анализе этого печатного отрывка отмечается стремление Пушкина — напомнить о декабристах; о трудной борьбе поэта с официальной цензурой, запрещавшей какие бы то ни было упоминания об осужденных. Все это, конечно, верно, но следует также учитывать, что и спор с декабристами (пусть сильно замаскированный) был теперь делом деликатным, щекотливым — особенно в тот период, когда стали распространяться неслухи для поэта толкования его «Стансов».

Кроме официальной цензуры, Пушкин подвергал себя и строгой «автоцензуре». Так, полемический задор, иронию рукописного отрывка следовало несколько умерить при нынешних трагических обстоятельствах...

И все же достаточно прочитать один за другим оба очерка о Карамзине, рукописный и печатный, чтобы убедиться: общий дух, тон пушкинской рукописи в печати сохранен — и сохранен, конечно, нарочито. Наверное, так же специально не уточнено, какой государь освободил Карамзина от цензуры: старая фраза, во-первых, приобретала дополнительный смысл теперь, когда и Пушкину сказано — «я буду твоим цензором»; а, во-вторых, поэт вообще склонен бережно относиться к некогда написанному.

Если бы Пушкин сочинял свои воспоминания о Карамзине действительно в 1826 году, он бы написал их, конечно, иначе: тяжкие потрясения 1825—1826 года многообразно отразились бы, запечатлелись в тексте.

Но поэт уже располагал страницами, сочиненными *до трагедии*.

Размышляя позже, в 1830-х годах, о своих утраченных записках, Пушкин записал несколько строк, безусловно, относящихся и к судьбе того немногочисленного, что от Записок уцелело: «Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая театральная торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей».

Зато буду осмотрительнее в своих показаниях, и если записки будут менее живы, то более достоверны» (XII, 310).

Пушкин ясно сознавал неповторимую ценность того описания, которое является живым отпечатком определенного, промелькнувшего времени. Именно «откровенность, живость, короткое знакомство» — характерные черты сохранившихся мемуарных страниц о Карамзине. Редактируя текст для публикации, с огромными трудностями и опасностями проводя его в печать, поэт стремился не столько приспособить старый текст к новому времени, сколько максимально сохранить его во всем многообразии и неповторимости.

Не слишком осовременивая уже написанное, Пушкин был особенно современен.

Великим писательским, общественным инстинктом он угадал, что свободный, живой, горячий, иронический дух недавнего прошлого более необходим «людям 1828-го года», нежели они сами подозревают...

В 1828 году Пушкин выполнял «задание» Вяземского: Карамзин был представлен как *гражданин, автор и личность*.

Воспоминаниями об историке поэт с ним прощался. И одновременно начинал ту кампанию за карамзинское наследие, которую будет вести до конца дней.

Карамзин и Пушкин... Тривиальный взгляд, обычно расставляющий мастеров по степени таланта, конечно, сосредоточится на пушкинской единственности, несравнимости — поставляется преуменьшить разные литературные и человеческие воздействия на гения, который всегда «сам по себе».

Однако к главнейшим чертам великого человека как раз относится восприимчивость, великое умение — у многих заимствовать многое, постоянно оставаясь самим собою.

Слова П. В. Анненкова, высказанные в связи с поэтическими отношениями Веневитинова и Пушкина, прекрасно определяют и роль Карамзина в жизни великого поэта: «Он имел свою долю влияния на Пушкина, как почти каждая замечательная личность, встречавшаяся ему на пути»²⁰.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Здесь и далее ссылки на издания: Пушкин А. С. Полное собр. соч. М.—Л., Изд. АН СССР, 1937—1959. Даются в тексте с указанием тома (римская цифра) и страницы.

² Прочитывая стихотворение Карамзина «Тацит» о Риме, Вяземский комментировал: «Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному». Вяземский и П. А. Записные книжки. М., 1963, с. 129.

³ Подробная сводка различных попыток составить биографию Ка-

рамзина см.: Пушкин А. С. Письма. М.—Л., 1928, т. II, с. 167—169.

⁴ Важные, интересные соображения о «формуле Гальяни» и взглядах Карамзина см. в работе В. Вацуро «Подвиг честного человека»; Вацуро В., Гилельсон М. Сквозь умственные плотины. М., 1972, с. 88.

⁵ Авторство Пушкина, которое в большом академическом собрании отмечено как не вызывающее сомнения (см.: II, 1025—1026), недавно оспаривалось Ю. П. Фесенко, обратившимся к старой идее об авторстве А. С. Грибоедова. См.: Фесенко Ю. П. Эпиграмма на Карамзина. — Сб.: Пушкин. Исследо-

вания и материалы, т. VIII, с. 293—296.

⁶ В. А. Жуковский — С. Л. Пушкину. См.: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 2, с. 349.

⁷ Пушкин в письмах Карамзинных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, с. 166.

⁸ Старина и новизна. Кн. XVII. Спб., 1913, с. 317, подл. на франц. яз.

⁹ Тынников Ю. Н. Безымянная любовь. — В кн.: Тынников Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969, с. 213—214.

¹⁰ См.: Ланда С. С. Дух революционных преобразований... 1816—1825. М., 1975, с. 62—63.

¹¹ Краткая сводка того, что говорилось и писалось декабристами в адрес историографа и его первых восьми томов именно в интересующее нас время (1817—1820-е годы), см. в моей книге «Последний летописец». М., 1983, с. 104—111.

¹² Первая ее публикация сопровождалась датой «1819». См.: Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Berlin, 1861, с. 103; Томашевский Б. В. Эпиграммы Пушкина на Карамзина.— Сб. Пушкин. Исследования и материалы. М.—Л., 1956, т. I, с. 210—211.

¹³ См.: Верещагина Е. И. Маргиналии и другие пометы декабриста Н. М. Муравьева на «Письмах русского путешественника» в 9-томном издании Сочинений Карамзина 1814 года.— В сб.: Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. М., 1981. Разбор полемики см. в моей книге «По-

следний летописец». М., 1983, с. 105—110.

¹⁴ См.: Рабкина Н. А. Отчины внемлем призыванье... М., 1976, с. 144.

¹⁵ Перевод Вяземского. См.: Вацуро В. Э. Подвиг честного человека, с. 105.

¹⁶ Ему посвящена моя работа в научном сборнике Пушкинского дома «Пушкин. Исследования и материалы», т. XII. Л., 1986.

¹⁷ Сюар имел определенную издательскую и литературную славу в 1760—1780-х годах; несколько раз подвергался преследованию, сначала со стороны Бурбонов, потом якобинцев; при Наполеоне — член Академии, попавший в опалу, между прочим, за споры с императором о Таците. Гара — публицист, историк. в 1789-м депутат 3-го сословия, в 1792 году министр юстиции, общивший Людовику XVI о вынесении ему смертного приговора; в 1797 году был послан Директорией в Неаполе.

¹⁸ Соловьева О. С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский дом после 1937 года. Краткое описание. М.—Л., 1964.

¹⁹ Осложняющим описанную картину обстоятельством является то, что № 416 внешне очень не похож на № 825: это текст с рядом поправок, писанный чрезвычайно бледными чернилами. Среди пушкинских рукописей есть еще одна (и только одна!), поражающе сходная по внешним признакам с листом № 416: лист точно такой же бумаги, исписанный очень похожими бледными чернилами: это беловая редакция пушкинского перевода «Неистового Роланда», создававшаяся в первой половине 1826 года (см.: III, 1126). Отсюда можно было бы заключить, что Пушкин все же и после восстания продолжал работу над Записками о Карамзине; однако одного наблюдения над чернилами и бумагой для столь важного вывода явно недостаточно.

²⁰ Анненков П. В. Материалы к биографии Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1855, с. 184.

вив к его записям кое-какие дополнительные данные, перенесемся и мы в последние десятилетия того достопамятного XVIII столетия...

Константин Ковалев

«Посреди людской молвы...»

Эпизоды из жизни композитора
Д. С. Бортнянского в Павловске

Музыка изображает одно чувство сердечное и ничего телесного изобразить не может... Музыка представляет предметы невидимые... Чтобы музыка могла подействовать на душу, надобно, чтобы присвоючилась к ней сестра ее — поэзия...

Опера есть связанная драма... Опера блистает великолеплем, лица ее открыты.

Г. Р. Державин
(Из неопубликованного)

Взлет оперного искусства в России во второй половине XVIII века — феномен, все более привлекающий к себе внимание исследователей, любителей музыки и истории отечественной культуры. Выдающийся композитор доглинковской эпохи Дмитрий Степанович Бортнянский (1751—1825) стал ярчайшим представителем среди мастеров этого жанра. Выходя из казацкой семьи, Бортнянский достиг широкого общественного признания, встал у истоков расцвета российской музыкальной культуры в XIX столетии. До наших дней дошли десятки его хоровых концертов, камерные сочинения, сонаты, песни, романсы, кантаты, гимны. Из его наследия черпали вдохновение многие поколения русских композиторов. В 1779 году композитор вернулся на родину из далекой Италии, где провел десять лет в обучении у известных мастеров, с успехом поставил на сцене венецианских и моденских театров три свои оперы. Последующий период его творчества — павловский — не менее ярок и значителен. Не так уж и много сохранила для нас память. Но все-таки достаточно, чтобы восстановить все события в последовательности. В этом нам поможет известный мемуарист и поэт того времени Иван Михайлович Долгорукий, оставивший уникальные и единственные в своем роде воспоминания о тогдашней музыкальной жизни. Вслед за биографом композитора, приба-

Иван Михайлович Долгорукий успевал в свои еще молодые годы довольно многое. И университет в Москве закончил, и в армии затем послужил, а когда недавно в Петербург переехал — в гвардию поступил. Но это все так — не главное. Театр — вот было его настоящее призвание. Бесконечные светские театральные забавы, самым деятельным участником и заводилой которых приходилось бывать именно ему, балы и любовные интриги, в центре которых он возникал непременно, отнимали массу времени. А успех Ивана Михайловича на сцене был неописуем. Однажды даже сам управляющий придворными увеселениями сенатор Стрекалов, сидя рядом в партере на одном из спектаклей, нагнулся к его уху и, осыпав парадное платье пудрой с парика, сказал:

— Жаль, что вы, Долгорукий, — князь. А то бы я тотчас дал вам четыре тысячи жалованья и принял в придворную труппу.

Вскоре Ивана Михайловича представили наследнику престола — Павлу Петровичу. Он был приглашен на музицирование при «малом» дворе. Не прошло и месяца, как Иван Михайлович стал завсегдатаем Павловска.

Теперь, кроме всего прочего, добавились и другие заботы. Быть или слыть начитанным и следить за своим внешним видом — это, признаться, нелегкий труд. Блеснуть фразой, едко и точно высмеять «соперника» в светском разговоре и не забыть при этом в нужный момент выудить из памяти, как дорогую заморскую жемчужину, какую-нибудь цитату из нового французского романа — все это тоже требовало основательной подготовленности. Наследник — Павел Петрович — слыл большим знатоком всяческих новшеств, и вступать в спор с ним решались лишь немногие. Разве что Никита Иванович Панин, наставник великого князя, в свое время настойчиво разъяснял своему подопечному какие-то идеи, суть которых Иван Михайлович до сих пор не мог уяснить. А впрочем, в его двадцать с небольшим лет, думалось Ивану Михайловичу, стоит ли забивать ум политикой так, как это делают убежденные седины придворные сановники. Слава, окружение прекрасных дам, восторг и поклонение перед его искусством актера — разве не достаточно этого для его жизни, стоящей столь далеко от таких часто употребляемых нынче понятий, как франкмасонство или конституционная монархия. Ивану Михайловичу бывало обидно, когда в свете его звали «Балкон». Поводом для такого прозвища стала, видимо, его длинная нижняя челюсть, выдающаяся далеко вперед. Правда, князю было разрешено пользоваться книгами из личной библиотеки Павла Петровича. И все же как только брал он обшитые красным бархатом фолианты с золотым гербом на переплетах, так жизнь казалась ему скучной, скованной в рамках каких-то идей, течений и мнений.

Актерская стезя казалась более надежной и во многих отношениях безопасной, она наполняла его жизнь атмосферой, лишенной того приторного смысла, который по его представлению сразу же выводил ум из равновесия, заставляя его перебирать те или иные обстоятельства, мучительно копать в себе, ища в чем-то какого-нибудь разумного выхода или определения.

Иван Михайлович был человеком весьма одаренным. Когда вечером он подходил к пиано-форте с органами из красного дерева, что стояло в зале Большого Павловского дворца, просил кого-нибудь подыграть, потому что сам не умел, и начинал петь, все собирались вокруг, наступали забываемые, восхитительные минуты. Муза Эвтерпа, казалось, сама присутствовала рядом.

Любовь озаряла жизнь Ивана Михайловича в Павловске. Евгения Сергеевна Смирная — актриса прекрасная, певшая арии во многих операх, предмет сердечной страсти именитых кавалеров, отвечала ему взаимностью. Ничто не стояло преградой в их отношениях. Пылкая фрейлина согласилась отдать ему руку и сердце. И музыка, и новая семья безвозмездно и по какому-то немислимому праву принадлежали молодому князю, судьба, казалось, преподносила ему немислимые подарки...

Иван Михайлович с юности пописывал стихи и эпиграммы. Дневник, который он тоже вел почти ежедневно, в силу обстоятельств был на некоторое время им заброшен. Но вот уже несколько лет мечталось ему написать нечто значительное, какое-нибудь произведение, в котором можно было бы рассказать о всей его жизни, о людях и нравах, его окружавших, чтобы стали они достоянием истории.

Как-то, отлучившись из Павловска после очередного спектакля, когда вместе с пропетыми ариями и исполненными танцами будто вся энергия покидает тело, оставляя лишь приятную истому, а в такой момент всегда возникало удовлетворение от прожитого дня, Иван Михайлович закрылся в своей комнате, выпил чашку холодного кофе, затем сел за инкрустированный письменный стол, разложил перед собой листы чистой бумаги, долго рассматривал сильно сточенное гусиное перо, наконец обмакнул его в чернильницу, на секунду задумался о чем-то и, решительно опустив его на белый лист, вывел: «Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве, 1788 года в Августе месяце на 25 году от рождения моего...»

Как же нелегко литературное поприще! — думалось Ивану Михайловичу. Вот чистый лист перед глазами, но что можно вложить в это прямоугольное пространство из того, что пережито, выстрадано! Можно ли рассказать о переполняющем душу? С чего начать? И как всегда в таких случаях, нахлынули воспоминания, отвлекая от основной цели. Оттого-то, верно, так трудно стать писателем, что нужно обладать известной долей отрешенности от



Д. С. Бортнянский. Портрет работы М. И. Вельского. 1788 г. Государственная Третьяковская галерея.

предмета твоего внимания. А иначе воображение уведет тебя прочь и рука с пером, приготовившаяся, как рука ремесленника, производить действие и создавать целостное творение, вдруг застынет недвижно, словно окаменев перед подавляющей силой реальных переживаний. Тому, кто живет полной мерой, — удел писать стихи или музыку, решил Иван Михайлович, но никак не прозу. Чтобы писать хорошие стихи, — князь это сам хорошо понимал, — необходимо было чувство такта и формы, то шестое чувство, когда ты знаешь наверняка где поставить точку, а где дать в строке паузу, чтобы в ней ощутилось не только движение ритма и смысла, но и какое-то внутреннее мистическое дыхание. Такое «дыхание», что ни говори, — дитя вдохновения. Что же касается музыки, так для этого нужно было усердие и образование. А такого никто при «малом» дворе, кроме Дмитрия Степановича Бортнянского, не имел. Шутка ли — жить столько лет в Италии, постичь всю эту кабалистическую

нотную азбуку и распоряжаться ею так, будто ты и впрямь ангел трубящий, знающий всю душевную гармонию, ведающий ее клавишами — когда и как на них нажимать, чтобы извлечь необходимый чувствительный звук...

Вспомнив о чем-то, князь отложил в сторону титульный лист с выведенным на нем заглавием своей повести и на следующем стал неторопливо каллиграфическим почерком записывать.

«Я обучался петь у г-на Бортнянского, он руководствовал нашими операми, и при имени его я с удовольствием воображаю многие репетиции наши... Искусной музыкант... он один из тех людей, о которых вспоминая, я живо привожу на мысль картину молодости моей и лучшие ее минуты».

Тут воспоминания опять одолели князя. Он представил себе два-три акта из «Празднества сеньора» Бортнянского, рассмеялся бесшумно, потом вдруг как бы посмотрел на себя смеющегося со стороны, понял, что отвлекся, и продолжил на полях, думая о композиторе:

«Он был артист снисходительный, добрый, любезный; попечения его сделали из меня в короткое время хорошего оперного лицедея, не зная вовсе музыки, не учась ей никогда, я памятью одной вытверживал и пел на театре довольно мудреные оперные сцены, не разбиваясь ни с оркестром, ни с товарищами, что почесть можно было диковинкой...»

Невольно пришел на ум еще один анекдот

помогать другим, мурлыча про себя их партию, и всегда кстати и во время попадал в свое собственное место...

Сама великая княгиня, когда ей о сем доложили, не хотела верить и нарочно пришла на одну школьную репетицию, чтобы удостовериться в этом.

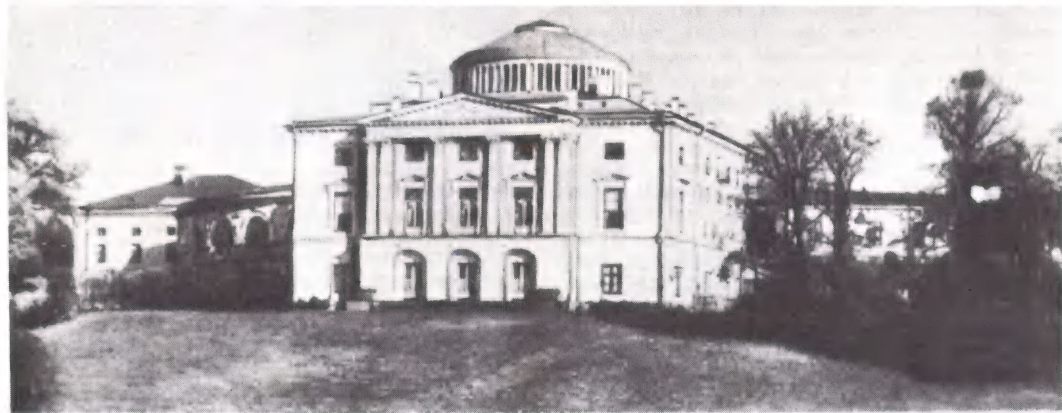
Бортнянский сидел за своим фортепиано, у нас у всех, в том числе и у меня, ноты были в руках, всякой пел свою партию, дошла до меня очередь, и я, глядя на ноту, очень исправно пропел свой куплет.

— Как же, — вскричала великая княгиня, — государи мои, вы сказали, что он музыки не знает, да он поет по ноте.

— Извольте, Ваше высочество, приказать князю Долгорукому показать вам место на бумаге, которое он теперь протвердил, — отвечивал Бортнянский.

Государыня подошла ко мне ближе, и как-то было ее удивление, когда она изволила увидеть, что не только я схватил совсем не ту партию, которую в то время разыгрывали, но даже бумагу держал вверх ногами, что ясно показало ее высочеству, что я никакого понятия не имел о музыкальных правилах и пел одним навыком, благодаря верному своему слуху и памяти...»

Иван Михайлович на этом месте рассмеялся, даже не успев поставить точку. Эпизод сей, в реальности наполненный массой пикантнейших деталей и подробностей, вновь отвлек



Павловский дворец. Современный вид.

из жизни двора. Иван Михайлович припомнил, как вытверживал он наизусть арии, а мотивы запоминал сходу, лишь только скрипач наиграет их два-три раза. Никто в Павловске не верил, что он знает арии наизуток, не разбираясь в нотной грамоте.

«Я никогда не учился музыке и правил ее совсем не знал... Однакоже я пел в операх и самые значительные роли, не ошибаясь ни в одной ноте, напротив, случалось иногда в квартетах, где так музыка многосложна и збивчива,

его, и князь полностью отдался воспоминаниям, оставив лист бумаги. А когда вспомнил о своем намерении, решил продолжить оное занятие после, при первом же удобном случае.

Случай же не представлялся довольно долго. Тогда, месяц спустя, Иван Михайлович твердо постановил для себя: ежедневно, ввечеру, записывать события дня, а ежели не удастся,

то в конце недели для памяти оставлять краткие пометки.

Вернувшись мысленно к своему музыкальному учителю и наставнику — Бортнянскому, — Долгорукий решил для начала восстановить в последовательности то, как композитор попал в павловский кружок.

Много воды утекло с тех пор. Когда же все началось? По-видимому, в год 1776-й, когда опера «Креонт» завоевала сердца итальянской публики, когда наследник российского престола Павел Петрович отправился в Берлин, где познакомился со своей невестой, вюртембергской принцессой Софией-Доротеей. Позже, когда белокурой принцесса стала супругой Павла и переехала в Россию, она получила вместе с титулом великой княгини и новое имя — Мария Федоровна. Именно с ней, как и со всем «меньшим» двором, будут потом связаны многие творческие начинания Бортнянского, а благотворительность и доброжелательность Марии Федоровны и хозяев двора, который в свое время станет «большим», сослужат ему немалую службу в его общественных устремлениях... Тогдашние восторженные отзывы Екатерины II и триумфальный прием напрочно закрепили репутацию композитора как одного из талантливейших российских музыкантов. Но применить свои способности было не так-то просто. Для того чтобы писать музыку, слышать свои произведения, видеть ноты напечатанными и изданными, нужны были по меньшей мере звание и чин. Таково уж было время. Если имя Бортнянского прогремело звонко, то должность, которой его удостоили при дворе, казалась ничтожной, — придворный капельмейстер, каких было немало. Все главные места, все возможности для создания и постановки новых опер, музыкальных спектаклей, концертов были сосредоточены в руках все тех же итальянцев. А новым их лидером стал Джованни Паизиелло, мастер оперного жанра и легкой музыки — непревзойденный в своих оригинальных находках, способствовавших увеселению досточтимой публики.

Бортнянский возвратился под родной кров, а тут сама судьба должна была благоприятствовать ему. И он окунулся в работу, не теряя ни минуты из тех, что оставались у него после службы. По утрам и вечерам он играет при придворном певческом хоре, а днем идет через весь Петербург к Смольному институту благородных девиц, где руководит работой тамошнего хора. В промежутках между этими занятиями он успевает сочинять собственные хоровые произведения, отдельные романсы и песни, многие из которых позднее станут частями его больших опер, пишет авторские духовные музыкальные сочинения, как, например, свою знаменитую четырехголосную «Херувимскую».

Покупатель или книгочей, вошедший в книжную лавку где-нибудь у Сухопутного кадетского корпуса или «у Миллера в Миллионной», или «напротив гостиницы двора в доме Шемякина», в отделе, где продавались ноты,

первым делом мог заметить изданные с особым изыском «Сочинения г. Бортнянского», напечатанные, как это особо отмечалось, «с одобрением самого автора». Его творческая плодотворность уже не на шутку стала беспокоить не только знатоков, но и его друзей. Одновременно такие его достоинства, как домовитость и доброжелательность, спокойствие и рассудительность, мягкость и внешнее обаяние, притягивали к нему немало людей. И все они бывали удивлены тому, с какой интенсивностью он создавал свои произведения, с какой быстротой появлялись на свет его новые по сути и по форме музыкальные творения. Что ни издание нот — то новая традиция в русском нотопечатании. Ивану Михайловичу именитый maestro преподнес первое выпущенное отдельно в России авторское духовное музыкальное произведение, а также песню «В саду Цитеры» с аккомпанированием клавинордом», которая увидела свет отдельным выпуском. Особенно приятно было сознать князю, что ничего подобного еще не было видано в отечественной издательской практике.

Хоры Бортнянского, написанные им в то время, распевали по всему Петербургу, они уже тогда поистине вошли в российскую музыкальную сокровищницу. Дела у Бортнянского шли прекрасно, и он мог бы добиться еще более значительного успеха и прославиться уже хотя бы тем, что гениально продолжил музыкальные традиции, заложенные в свое время Галуппи, Березовским, Траэтто, Сарти. Но как всякий гений, он не мог прожить одну только жизнь, он успел в отведенное ему время для бытия прожить их несколько. Мотивы и традиции партесного¹ пения уже доживали свой век. А разве мог композитор, считавшийся популярным и модным, идти тем же путем, которым шли его учителя?! Позднее барокко уже не устраивало художников классицизма. И его хоры — совсем из другой эпохи. Это отточенный музыкальный язык, использование всех известных и наиболее употребительных форм музыкального выражения, это смелое включение в них бытующих светских жанров, таких, как марши, менуэты, канты. Его музыка переставала быть «заоблачной» и академичной. Сам того не подозревая, композитор, в жилах которого текла кровь выходящая из украинской казацкой семьи, «разбавил» ею уж чересчур «голубую кровь», питавшую светскую придворную музыкальную среду, и тем самым сделал удобопонятными и привлекательными свои нехитрые мелодичные творения. Он становился массово почитаемым, он был демократичен в своем творчестве, он был понятен многим и потому был принят во всех слоях российского общества.

Но карьера его, которая получит столь блистательный взлет в недалеком будущем, в это время еще не доставляла ему удовлетворения. Необходимость «вращаться» в высших сферах общества ставила перед ним дилемму: с одной стороны — он признанный корифей с багажом европейского успеха, а с другой — происхождением не вышел, к тому же все состояние

его — лишь коллекция картин, подаренных в Италии авторами, в остальном же едва удастся дотянуть от жалования до жалования. Как всякий музыкант, он частенько проживал в долг. Вообще-то проблема была не в материальной даже стороне дела, хотя она была более чем существенной — денежное вознаграждение, полученное по возвращении из Италии, было израсходовано. Проблема была в другом. Негде было приложить свои силы, основательно и глубоко работать в больших жанрах, иметь постоянную возможность творческого выхода, воплощения задуманного. Ушли в небытие прежние высокопоставленные покровители. Быльем поросла минутная благосклонность императрицы...

Распорядок дня его как и прежде был насыщен. Светские визиты сменялись торжествами в аристократических домах. Композитор время от времени участвует в музыкальных постановках, поощряемый частными лицами. Так еще можно было существовать. В качестве капельмейстера или хормейстера его считают за честь в особо торжественных случаях пригласить знатные особы. К. Книппер, основавший свой камерный «Вольный театр», которым в те годы управлял И. Дмитриевский, приглашает Бортнянского для участия в оперных постановках. Целыми днями Бортнянский пропадал в театре. Музыкальной частью его ведал Василий Пашкевич — сам известный и одаренный композитор. Приятно было руку об руку работать с таким мастером. И все же монотонно, в каком-то замедленном ритме пролетали дни, годы...

Что было бы дальше на пути Дмитрия Бортнянского — думалось Долгорукому? Подарила бы ему фортуна еще одну свою улыбку на этом поприще трудного общественного служения? Но судьба распорядилась опять-таки по-своему. Ему суждено было сыграть другую роль в жизни российского общества, более возвышенную и ответственную.

Для того чтобы продолжить наш рассказ, необходимо вернуться на несколько лет назад. События, происшедшие в то время, так или иначе повлияли на судьбу композитора...

В один из декабрьских дней 1777 года над Санкт-Петербургом прогремела пушечная канонада — 101 залп, выпущенный из жерл салютационных орудий. Так Россия узнала счастливую весть: великая княгиня Мария Федоровна благополучно родила сына, которого тут же окрестили Александром. Около года прошло после замужества, и надежда русского трона — внук и сын, будущий наследник — прокричал в первый раз, требовательно и властно, в руках прослезившейся кормилицы. Радости императрицы не было конца. Уже тогда Екатерина поняла — будет кому оставить престол, при любых обстоятельствах. Казалось, восторг пленил ее больше, чем самих счастливых родителей. Она, вспыхнув вдруг неслыханной щедростью, дарит Павлу огромный участок земли, распо-



И. М. Долгорукий. Портрет работы Д. Г. Левицкого. 1782 г.

женный по течению реки Славянки, что недалеко от Петербурга. Участок включал в себя более 360 десятин леса, несколько деревень вместе с крепостными крестьянами. Но само место — живописное, благоуханное, расчлененное каким-то невиданным ваятелем на покатые холмы, уютные овраги, обильные рощи — выбрано было на редкость удачно. Здесь, по аналогии с недавно возникшим Селом Царским, было создано новое и названо Селом Павловским.

Уже на следующее лето младенца нужно было «вывозить на воздух». С весны 1778 года началось строительство Павловска. Две небольшие постройки украсили для начала село: Паульюсть и Мариенталь. С лета 1779 года супруги практически каждый теплый сезон, иногда не полностью, но проводили в здешних «домиках». Через год специально нанятый для легкого и важного в философско-эстетическом смысле дела — создания парка и украшения пейзажей — приступил к своей работе архитектор Чарльз Камерон. Еще через два года под его руководством был заложен первый камень в фундамент Большого дворца.

Иван Михайлович, да и всякий, кто обитал здесь, ощущал, что жизнь и быт Павловска всегда отличала какая-то романтическая отрешенность от неожиданных ударов и падений метеоритов судьбы, которые с устрашающим ре-



Е. С. Долгорукая (Смирная). Портрет работы Ж.-Л. Вуаль. 1780-е гг.

вом и вспышками проносились и сгорали на небосклоне российской истории. Эстетическая насыщенность, эфемерность и недолговечность расписных декораций, наполнявших парк, восторженная пылкость отношений, свойственные здешним традициям, — все это вместе с тем переплеталось со взрывчатыми поступками наследника престола, цель и последствия которых никто не мог предугадать. Позже эта эфемерность перерастет в более серьезные обстоятельства. Внешние красоты сменятся иными «декорациями» — барабанным боем, трелями полковых свирелей, солдатской муштрой на прусский манер. А пока музыка сглаживала все шероховатости быта. Она звучала в Павловске так же беспрерывно, как и пение птиц. В опере, в моменты эмоционального переживания самых великолепных вершин, которые только может достичь искусство, не существовало разделения на ранги, не было раздоров и непонимания, а было лишь обаяние проникновения в мир прекрасного.

Мария Федоровна, умело обходившая все неурядицы, устраивала в Павловске все на свой лад и не преминула позаботиться о том, чтобы начать возведение театра для постановки музыкальных спектаклей. Рядом с молочным домиком, другими пасторальными павильонами типа Шале, Хижины угольщика, или в кругу построек на античные мотивы — Храма Друж-

бы, Колоннады Аполлона, Руин, — должен был появиться и храм музыки, где можно было бы ставить французские оперы, внимание к которым Павел Петрович в это время охотно проявлял. В свое время сколотили «в английском саду у качелей» деревянный, крытый железом павильон. Снаружи его стены были оплетены зеленой драпкой. Здесь-то и должен был разместиться первый павловский театр. А пока же музыка звучала во всех концах парка. Пение или игра незатейливых мелодий сопровождали, например, работы на огороде при Старом Шале, отдых от которых возвещала ударами в колокол сама хозяйка Павловска, а также завтраки на верандах и в беседках, прогулки на воде. Ведь само понимание сада в сию предромантическую эпоху включало в себя как неизменную деталь — присутствие музыкального оформления, что способствовало установлению целостного эстетического восприятия у «героев» пасторальной интермедии, также являющихся частицей этой не всегда естественной природной композиции. Моцарт, Гайдн, Плейель и другие композиторы были здесь любимцами. Но вот наконец (на последнем слове Иван Михайлович сделал невольный нажим пера) настает увлечение оперой...

Джованни Паизиелло все еще блистал звездой первой величины в музыкальной жизни российского двора. Его пухлое и смазливое личико, томные, красивые глаза с долгими ресницами, спрятанные под правильными полумесяцами бровей, завитушки его ухоженных волос, не знавших парика, делали ему популярность и славу среди придворных дам, а значит, и их мужей, не меньше, чем его музыка. Войдя, можно сказать, в зенит своей славы, он вдруг попросил у императрицы увольнения, чем немало всех удивил. Но уже несколько дней спустя весь Петербург шумел, из уст в уста передавались подробности скандальной истории, случившейся с маэстро.

Оказывается, он решил выразить недовольство условиями контракта, который он сам подписал несколько лет назад с придворной театральной канторой, причем на самых выгодных для него основаниях, значительно отличающихся в лучшую сторону от контрактов, заключаемых, скажем, с отечественными музыкантами. Паизиелло написал в кантору письмо, где изложил свои требования, и был вызван театральной администрацией на прием, куда незамедлительно направился.

— Просьба подождать. — Лакей в прихожей, учтиво улыбаясь, указал ему на стул у самых дверей, рядом с каким-то кучером.

— Мне?! Подождать?! Здесь?! — начал распасыляться привыкший к иному обхождению музыкант.

Это его и погубило. В кабинете у чиновника он уже не говорил, а возмущенно фыркал. Правда, не кричал — побаивался. В конце концов разгорелся спор, в результате чего Паизиел-

ло разразился бранью и выбежал вон, хлопнув дверью.

— Вернитесь! — услышал он вдогонку. Но куда уж там...

Вечером того же дня по выходе из Эрмитажного театра он увидел, что его карета окружена солдатами.

— Это что, почетный эскорт? — спросил он у офицера.

— Никак нет. Велено вас взять под стражу и препроводить в контуру.

То был последний удар. Тщеславный композитор не выдержал такого унижения. Но дать себя арестовать — это же безумие!

— Господин офицер, позвольте мне вернуться, я, кажется, забыл шляпу, — мгновенно оценив ситуацию, попросил Паизиелло.

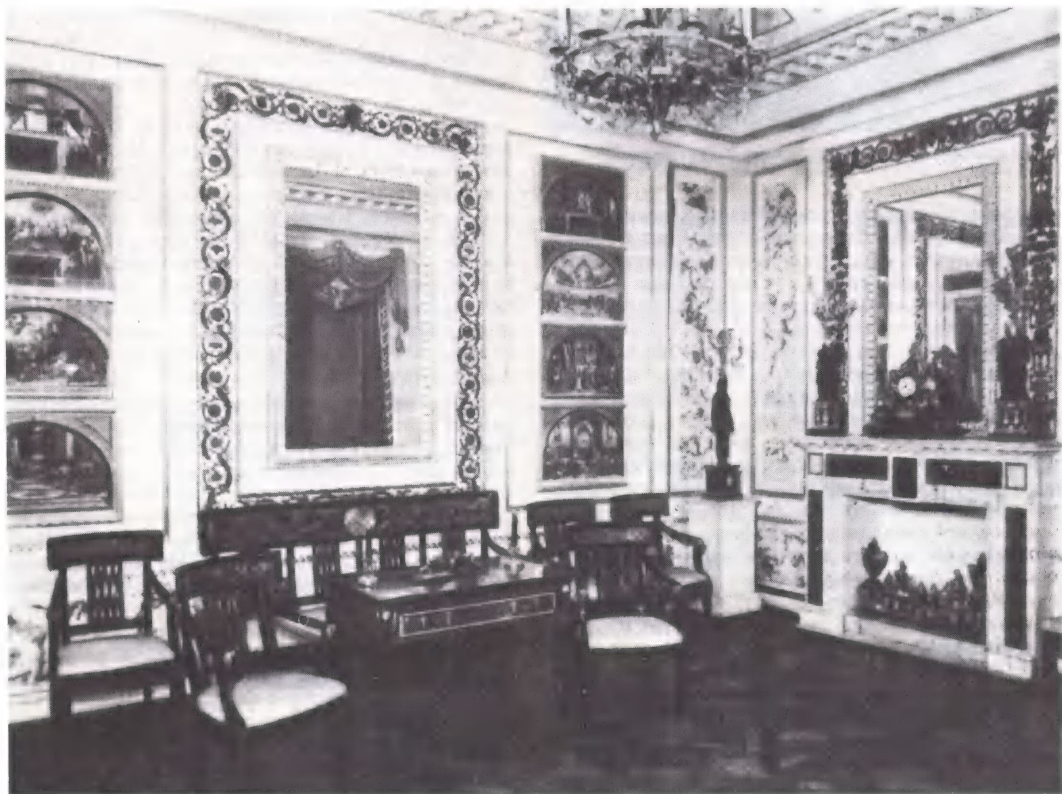
— Конечно, сударь.

Он вбежал в подъезд и что есть мочи бросился по лестнице к черному ходу...

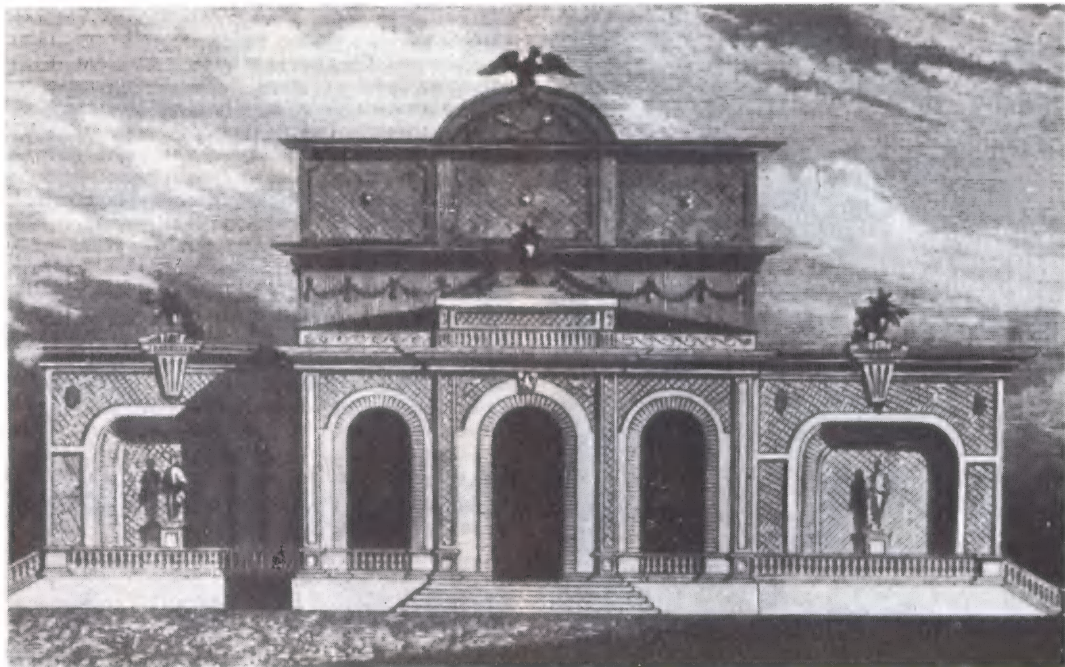
Ночевать пришлось у приятеля-итальянца в шляхетском корпусе. Потому что дом его тоже был окружен солдатами. Этой же ночью Паизиелло написал письмо императрице с просьбой отпустить его в Италию в связи с нездоровьем жены.

Закончился курьез просто. Наутро композитора все-таки заставили явиться в театральную контуру и извиниться. Разрешение об отпуске было выдано тотчас. Паизиелло, почти не собираясь, выехал в закрытом экипаже по пути в Варшаву. Контракт, оговаривавший условия отпуска, лежал у него в кармане. Паизиелло обязался вернуться в Петербург через год — к 1 января 1785 года...

Неожиданно для многих на период отъезда Паизиелло капельмейстером и клавесинистом «малого» двора назначают Дмитрия Степановича Бортнянского. Впрочем, и Иван Михайлович это хорошо знал, неожиданного, в буквальном смысле слова, в данном назначении было не так уж много. Бортнянский был близок к великокняжеской чете, уже хотя бы потому, что Мария Федоровна хорошо знала его музыку и всегда восхищалась ею. Еще одним основанием для такого сближения стала небызвестная поездка молодой семьи по европейским странам. Павел Петрович и его супруга под именем графа и графини Дю Нор (Северные), соблюдая инкогнито, которое, правда, было всем известно, посетили Италию, объездили те города, в которых приходилось жить



Один из кабинетов Павловского дворца.



Театр в Павловске. С гравюры 1783 г.

или бывать и Бортнянскому. Здешний успех композитора, который еще не успел забыться за два с небольшим года после отъезда его на родину, конечно же, стал известен наследнику русского престола и тем более княгине. Ведь именно ей в свое время композитор посвятит свой знаменитый концерт для чембалло.

Так или иначе, Иван Михайлович застаёт Бортнянского за тем занятием, которому со всей своей обаятельной изысканностью предавался его дипломированный предшественник из Италии. Он начинает писать инструментальную музыку для всевозможных нужд «малого» двора, а также дает уроки Марии Федоровне. Нельзя сомневаться в том, что выбор великокняжеской четы был верен. Мягкость, утонченность, свободный, но вместе с тем сдержанный стиль в обхождении, аристократизм и грациозность в общении, необходимые для круга знатных вельмож, — все это было свойственно Бортнянскому. Но главным его достоинством был талант и огромный творческий потенциал. И то и другое Долгорукий испытал и хорошо знал, он мог поручиться за одаренного музыканта. Правда, перед Бортнянским был довольно неясный горизонт, ведь вся его работа должна была состоять из воплощения капризов и желаний наследного князя. Но кто мог удержать композитора от того, чтобы не вложить в свой труд высокого смысла и настоящего вдохновения?!

Время пролетело также быстро. Настает

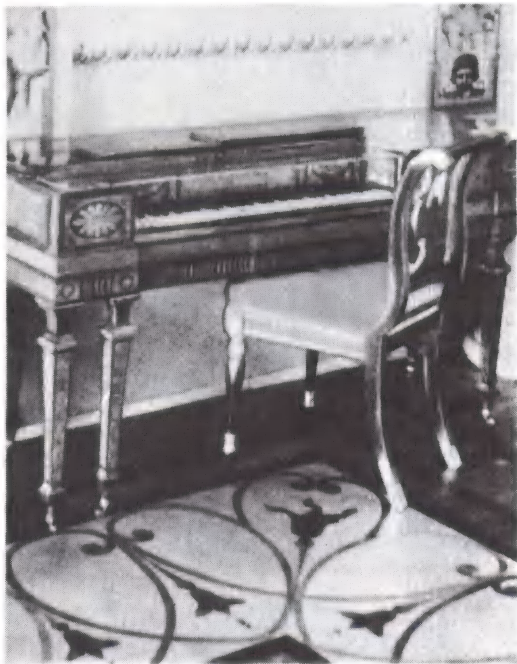
1 января 1785 года. Паизиелло, ссылаясь на самые неопределенные обстоятельства, в Россию не возвращается. Дмитрий Бортнянский остается при «малом» дворе. Теперь он весь и навсегда во власти новых хозяев. И это ему пришлось ощутить в первые же дни по вступлении в должность.

Мария Федоровна любила систематичность в своих музыкальных занятиях, на которые уходило иногда по нескольку часов в день. После одного из них она попросила композитора задержаться. Достав из секретера пачку писем, исписанных мелким и нервным почерком, она разложила их на столе.

— Вот, извольте ознакомиться, Дмитрий Степанович, как держут слово ваши итальянские коллеги. Паизиелло наделал реверансов, надавал уйму обещаний, но теперь его и след простыл. А ведь у нас был уговор — на занятиях разучивать только новые сонаты. Только новые! Разве не могу я себе позволить столь маленькую слабость — я хочу играть лишь свежие сочинения.

— Разве Паизиелло не выполнил своих обещаний? Ведь он намеревался присылать вам из Италии новые сонаты.

— Конечно же, нет! Напротив, он еще ставит свои условия. Вот, полюбуйтесь, — княгиня протянула Дмитрию Степановичу одно из писем. — Он, видите ли, ждет обещанного ему пенсионера. А как же я буду платить за несделанную работу? А? Сначала работа, а потом



Клавикорды в будуаре Марии Федоровны (Павловский дворец), на которых играл Д. С. Бортнянский.



Мария Федоровна. Портрет работы С. С. Щукина. 1796 г.

деньги! Нет, эти итальянцы просто возмутительны!

Дмитрий Степанович безответствовал, зная характер своей хозяйки. С немецкой педантичностью она всю свою жизнь вела денежные бумаги и расчеты, собственноручно каждый день заполняла описи имущества или счета по расходам, не упуская из виду ни одной мелочи, считывая все, вплоть до последней копейки.

— Будут сонаты, отошлем и деньги, — серdito заключила княгиня, собрав бумаги. — Думаю написать ему строгое письмо. Надо осадить нахала.

— Следует отправить вежливый ответ и лишь намекнуть на отказ, ваше высочество. Итальянцы обидчивы, слух о неуплате обещанных денег разнесется быстро. Вам будет трудно впоследствии найти себе новых тамошних музыкантов.

— Нужды нет. Ваше имя заменит нам итальянцев.

Бортнянский склонил голову, выражая благодарность за лестную похвалу.

— Значит, денег не отсылаем... Да, но сонаты! Мне же нужны новые сонаты для моих занятий! Придется вам, Дмитрий Степанович, потрудиться...

Последняя фраза стала окончательным приговором в судьбе Бортнянского-педагога. Он должен не просто заменить Паизиелло, но и заполнить пробел в нотном материале для уроков музыки. И он с честью выходит из положения, подготавливает для Марии Федоровны целый альбом пьес, предназначенных к исполнению на фортепиано, клавесине и клавикорде. Композитор долго трудился над оформлением альбома. Заказал роскошный переплет, на атласной нотной бумаге каллиграфическим почерком выписал личное посвящение великой княгине, а затем долго переписывал от руки все пьесы. Подарок имел громадный успех. Ответный шаг со стороны супругов был по своему щедр. После весенних пасхальных торжеств, 30 апреля 1785 года, Дмитрию Степановичу был пожалован первый в его жизни, самый пока что низший, но все-таки чин — коллежского асессора.

Что это означало для него? Ничего особенного. Перемен не намечалось, если не считать приятной и к тому же столь необходимой прибавки к жалованью. Но самое главное — пристрастия Марии Федоровны к сонатам были удовлетворены, в итальянцах более не нуждались, и занятия возобновились с удвоенной энергией.

Открывался альбом восемью произведениями сонатного жанра для клавесина. Не выделяясь замысловатостью формы, сонаты привлекали своей мелодичностью, даже напевностью, особенно в тех местах, где среди нагромождений музыкальных построений типично итальянского характера вдруг появлялись обрывки фраз, намечались мелодии или целые обороты из известных плясовых песен — русских или украинских...

И в дальнейшем жизнь при «малом» дворе обещала быть полной событий и надежд. Но изредка, и Ивану Михайловичу не хотелось об этом вспоминать, могла омрачаться всяческими непредвиденными обстоятельствами, обусловленными разными личными антипатиями.

Всем известны были отношения державной императрицы и ее строптивого сына. Возникшие впоследствии неожиданные устремления Екатерины II доверить престол внуку Александру ставили «малый» двор в неопределенное положение. Весь тот кружок дворянской знати, друзей Павла, сложившийся в 80-х годах XVIII столетия, не мог рассчитывать на благоприятность в ближайшем будущем. Более того, опальное положение царственного сына и их также ставило в это недвусмысленное положение. Впрочем, делом Бортнянского, как и Долгорукого, была музыка, искусство, достойное только упорных и одаренных мастеров. И он отдается ей в самой полной мере.

Театр ворвался в жизнь Павловска и другой резиденции «малого» двора — Гатчины — в середине 1780-х годов. Для того чтобы собрать настоящую труппу актеров, не требовалось особых усилий. Среди придворных были и одаренные артисты, и именитые литераторы. Дмитрий Степанович Бортнянский преуспел в преподавании музыки воспитанницам Смольного института благородных девиц, которые становились затем, как правило, фрейлинами двора. Кавалеры же были в основном выходцами из Сухопутного шляхетского корпуса, где тоже брали уроки у Бортнянского. Один из современников писал: «Не знаю, по чьему желанию и повелению вздумали усовершенствовать кадетский хор и пригласили знаменитого Бортнянского выбрать голоса и обучать певчих... Однажды кадетский хор пел концерт, сочинения Бортнянского, под его личным регентством».

Оба учебных заведения имели большие традиции в области драматического искусства. Все это и способствовало тому, что музыкальный театр в Павловске был одним из ведущих в России того времени. Среди прочих блистали на его сцене такие имена, как Екатерина Ивановна Нелидова — ближайший друг Павла Петровича (которая с лукавой усмешкой смотрела на современников с известного портрета художника Д. Г. Левицкого), а также престелные «смолянки» — Г. И. Алымова (Ржевская), Н. С. Борщова (Мусина-Пушкина), В. Н. Аксакова и возлюбленная князя Долгорукого Е. С. Смирная. Мужские партии исполняли талантливые актеры — князя П. М. Волконский и Н. А. Голицын, те самые, которые через два десятилетия займут высокие посты в Российском государстве, а также князя Ф. Н. Голицын, С. И. Плещеев, Г. Г. Кушелев, А. А. Мусин-Пушкин и, конечно же, сам князь Долгорукий. Часто ведущие



Сухопутный шляхетский корпус (бывший дворец А. С. Меншикова). С гравюры Я. Васильева. Середина XVIII в.

арии пел камергер Павла Петровича Ф. Ф. Вадковский. Интересно и то, что литературную и драматическую часть в операх обычно готовили в Павловске своими силами. Отличный импровизатор на клавесине, широко образованный человек, граф Г. И. Чернышев сочинял разнообразные комедии и водевили, пародии и пантомимы, иногда совместно с А. А. Мусиным-Пушкиным. Эти пасторальные интермедии как бы имитировали «естественный» быт хозяев Павловска, выказывали всевозможные достоинства и добродетели великокняжеской чести, ведущей своеобразный сельский образ жизни. Таковой, например, была интермедия «Там говорят, что думают», поставленная в 1785 году. Не менее деятельное участие принимали в создании текстов опер секретарь и библиотекарь Марии Федоровны А. Ф. Виолье и родившийся в Швейцарии француз Ф. Г. Лафермьер. Будучи сначала преподавателем, а затем чтецом при дворе Павла Петровича, Лафермьер стал любимцем и неотъемлемой частью этого общества. Без него не обходилось ни одно представление, ни один праздник. Везде он был главнейшим участником или организатором. Именно его тексты использовал для себя Бортнянский.

Итак, в ходу здесь были французские комические оперы, такие, как «Роза и Колá», «Дезертир» Монсиньи, «Избранница из Саланси» Гретри, «Нина, или Безумная от любви» Далеирака. «Французскими» считались и оперы Бортнянского.

«Великой княгине захотелось дать супругу своему сюрприз и нечаянно представить ему в Гатчине театральное зрелище. Камергер граф Чернышев заправлял этим делом и составлял труппу. Нетрудно было набрать ее из фрейлин, при дворе тут живущих, и из придворных. Всякий за честь ставил попасть в список...»

Иван Михайлович хотел было расписать во всех подробностях то, как готовились ко дню тезоименитства Павла Петровича, должного состояться летом 1786 года. Сюрприз готовили давно, и порученная Дмитрию Степановичу опера была как бы главным подарком. Именинник знал, что подготавливается новая постановка, но делал вид, будто ничего не ведал.

Решено было взять за сюжет идиллическую встречу в небольшой деревне прибывающего сюда владельца — сеньюра, что соответствовало бы встрече на именинах самого Павла Петровича. Иван Михайлович еще раз пролистал подаренную ему партитуру оперы, на титульном листе которой каллиграфическим пером было выведено:

«Празднество сеньюра, комедия с ариями и балетом. Представлена в присутствии их императорских высочеств русских великого князя и великой княгини на театре их дворца в Павловске. Год 1786. Музыка Д. Бортнянского».

Уже много-много лет спустя, готовя к публикации свои «записки», которые увидели свет лишь после его кончины, Ивану Михайловичу представился случай ознакомиться с бумагами супруги Павла Петровича, не имевшими особенных литературных достоинств, но для задуманной князем летописи павловского театра игравшими определенную роль. Вот что удалось Долгорукому узнать, например, из писем Марии Федоровны к коменданту села Павловского Карлу Ивановичу Кюхельбекеру (как позже узнал князь — отцу декабриста), связанных с подготовкой к постановке оперы Дмитрия Бортнянского «Празднество сеньюра» в июле 1786 года:

«Петергоф, 2 июля:

По получении сего письма вы немедленно отправитесь в Царское Село и уговоритесь, чтобы попросить часть зеленых фонарей у Щакова, другую у Стрекалова, третью у Чернышева...»

«Гатчина, 6-го июля:

Настоятельно необходимо переговорить с вами о тысяче вещей для праздника, особенно об убранстве итальянской залы, так как мне кажется, вы не хорошо меня поняли...»

«Гатчина, 8-го июля:

Продолжайте приготовления для театра, потом мы будем делать репетиции и до тех пор, пока не достигнем совершенства. Необходимо во что бы то ни стало поставить в оркестр клавикорды: взять их из Шарбоньера...»

«Гатчина, 8-го июля:

Я приказала привезти из города цветочные гирлянды, которыми как-то раз был убран большой зал на Каменном острове еще до нас, и

думаю, что эти же самые гирлянды могут послужить для украшения театральной залы. Можно их приподнять красивыми бантами из цветной бумаги. Я думаю, что нам удастся украсить эти залы, почти ничего на них не потратив...»

Получалось, что не театр давал представления для павловских зрителей, а вся павловская камарилья — играла в театр. Каждый новый спектакль был событием, менявшим привычный уклад жизни. В этом смысле Бортнянский превращался на время в дирижера павловского быта. Под его музыку, как под его «дудку», «плясали» придворные, невзирая на чины, положение и звания.

Все основные артистические силы двора были задействованы и в «Празднестве сеньюра». Каждый играл как бы самого себя. Ивану Михайловичу досталась роль де ля Жаннотьера, выбранного деревней депутатом для встречи господина. Ну и посмешил же князь именитую публику, особенно в том месте, когда его герой разучивал менуэт, но никак не мог толком сделать реверанс и одновременно снять шляпу и поклониться. И все это было проделано Иваном Михайловичем с особой изящной неуклюжестью и ловкостью. Князь Голицын ловко спародировал павловского садовника Григория Ломакина — всегда пьяного и надоедливого в своих многочисленных и постоянных рассказах о его давнишних боевых заслугах. «Отставной солдат Грегуар», спевший гимн своей шпаше, стал поистине любимцем публики.

Комедия была разыграна непринужденно. Сюжет был прост. Бабетта любит Люка, Аннета — Любена. Все преграды рушатся на пути к их счастью, которое сливается в общий праздник, связанный с приездом сеньюра. Сам «господин» не появлялся на сцене, ведь он сидел в зале в первом ряду бок о бок со своей супругой Марией Федоровной и благополучно внимал своим друзьям. И песенка Перетты с поздравлениями великому князю, и угловатые реверансы де ля Жаннотьера, и советы для новобранцев Перлажуа, поставившего в пример всем семейное благополучие самого «сеньюра», и грубоватая песнь Грегуара, и танцы в конце вызвали всеобщий восторг.

«Сверх роли в драме мне дали и в опере и в балете работу. Во всех искусствах заставили дебютировать: в опере я играл потешного приказчика, а в балете буффу», — записал Иван Михайлович и, перечитав, удивился скудости своего пера. И впрямь, описать увиденное и пережитое стоило немалых мук.

Лето 1786 года выдалось дождливым. Пришлось уменьшить количество забав и театральных представлений в Павловском парке. Но успех «Празднества сеньюра», умелая игра актеров вызвали желание испытывать силы в новой опере, более объемной и сложной. Мария Федоровна обратилась к Лафермьеру с просьбой написать либретто. Уже в июле оно было готово. Тут же была и написана музыка —

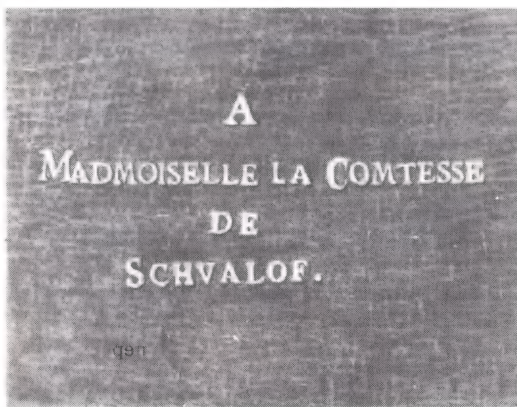
Бортнянский не приказал долго себя ждать. Пригодилось кое-что и из итальянской оперы «Алкид», поставленной в Модене. Оперу назвали «Сокол».

В августе дожди не переставали вовсе. В один из таких серых, похожих один на другой дней Мария Федоровна предложила супругу развеять придворную публику чтением новой комедии. Иван Михайлович еще раз уточнил — то было в августе.

Павел Петрович, уже тогда не всегда ладивший с женой, на этот раз любезно согласился. После обеда собрались в кабинете великого князя. Задерживались лишь Лафермьер и граф Чернышев. Наконец они появились оба. Граф как всегда элегентный, подтянутый. Тонкие, женственные черты его лица, румянец щек, грива темных волос, светлые глаза выдавали хрупкую, одаренную натуру. Вослед за ним в кабинет вошел автор, в новом сюртуке, в галстук, завязанном бабочкой — на модный манер. Мария Федоровна указала место графу подле себя, а Лаферьера попросила сесть за пульпет у клавирина, что он тут же и исполнил.

Собравшиеся с любопытством поглядывали друг на друга в предвкушении новой постанов-

ки. Павел Петрович сидел в кресле чуть нахмурившись, и никто не проронил ни слова, зная, что может вызвать его жесткую реплику. Но вот Мария Федоровна сделала знак рукой Ла-



Обложка рукописного альбома с партитурой оперы Д. С. Бортнянского «Сокол», принадлежавшего Шуваловым. Конец XVIII в.

под № 52.

Le Fils rival
ou La Modeste Aristonice
opera
Representee pour la premiere fois devant leurs altesses imperiales
Monsieur le Grand Duc et Madame la grande Duchesse de
Russie par le Theatre de leurs chateau a Pavlovsky
L'annee 1787 le 15 Octobre
Par les de M de Lafemiere
La musique de D. Bortniansky
maître de la chapelle de S. M. I. de toutes les Russies.

фермеры, тот не спеша поправил свои пепельные кудри, развернул листы бумаги и приготовился читать.

— Ну что же, господа, — прервала молчание великая княгиня, — по всеобщей просьбе и к нашему удовольствию собрались мы здесь нынче для того, чтобы ознакомиться с новой комедией, имеющей место быть поставленной в нашем театре. Господин Лафермьер старание приложил и написал либретто, а господин Бортнянский уже и музыку приготовил. Не так ли, Дмитрий Степанович?

— Да, ваше высочество. Уговор у нас с Францем Германовичем, что я в конце чтения проиграю несколько арий.

— Так тому и быть. Ну и начнем, если на то против нет никаких мнений.

При этих словах все посмотрели в сторону Павла Петровича. Тот ничего не сказал, лишь кивнул головой.

Лафермьер начал.

В свое время еще М. Седен написал либретто на подобный сюжет для оперы П. Монсиньи. Лафермьер и взял его за основу новой комедии. Сюжет был прост и известен. В одной из глав «Декамерона» Боккаччо в свое время шел рассказ о соколе — любимой птице некоего Федерико дельи Альбериги. Этот же герой, в данном случае — Федерик, попал на страницы либретто павловской оперы. Несчастный юноша воспладал сильной страстью к молодой вдовушке — Эльвире. А его слуга Педро к тому же влюбился с первого взгляда в служанку Эльвиры — Марину. Федерик тратит все свои средства, чтобы обратить на себя внимание Эльвиры. Но та после смерти мужа решает отдать свою жизнь лишь единственной цели — воспитанию сына. Она любит его больше всего на свете. «Я берегу свое состояние только для сына. Я люблю только сына. Он для меня все!» — говорит она.

Огорченный неудачами Федерик думает бросить свою затею и уехать в деревню, где будет проводить горестные дни в охоте за дичью. Педро тоже уговаривает его забыть «об этих бабенках»:

Нас ждет приют безлюдный,
Гони без лишних слов
Ты, Педро, прочь отсюда.
И горе — не любовь...
И в глубине кувшина
Утопим мы любовь...

В этом предприятии незаменимым помощником друзьям становится прирученный к охоте сокол. Любимец Федерико, он каждый день доставляет ему радость прекрасной куропаткой к обеденному столу.

Но вот Эльвира, удрученная болезнью сына, который привык к Федерику и тоскует без него, особенно без его сокола, предполагает поехать к своему поклоннику в деревню. На этот шаг ее постепенно толкает Марина. Отрицая скуч-

ную судьбу вдовы, она произносит панегирик женитбе.

Кто брак зовет несчастьем,
Тот враг нам, а не друг,—

патетически восклицает юная служанка...

В этом месте Лафермьер на мгновение остановил чтение и взглянул на Марию Федоровну. Та улыбнулась, не скрывая своего удовлетворения. Либреттист знал, о чем пишет. Будучи ставленником великой княгини, он был посвящен в ее интимные тайны, знал о ее размолвках с мужем...

Кто брак зовет несчастьем,
Тот враг нам, а не друг,—

повторил чуть громче Лафермьер... Кроме того, он ловко вплет в сюжет намек на необходимость более «теплого» отношения матери-вдовы (сиречь — «державной императрицы») к сыну (сиречь — Павлу). Обоим супругам угодил...

Чтение продолжалось.

Федерик, узнав о намерении Эльвиры, обещает ей роскошный обед. Но, как назло, в день приезда дамы ему не удалось добыть никакой дичи. Обед, да и честь самого Федерика попали под угрозу. Единственной мыслью, которая приходит ему в голову в тот момент, была мысль сделать жаркое из любимого сокола. Федерик мечется, мучается перед выбором, но наконец решается. Сокола закаривают. Эльвира, отведав кушанья, восторженно хвалит его, но когда узнает о том, кто был ей подан на обед, восхищается преданностью Федерика и отвечает на его любовь взаимностью. Тут же соединяют свои сердца Педро и Марина. Кроме влюбленной четверки, в комедии появляется ряд второстепенных персонажей и среди них, конечно же, так полюбившийся всем отставной солдат Грегуар — садовник, списанный еще графом Чернышевым с натуры для «Празднества сеньора».

— Не правда ли, забавная комедия? — заключила чтение Мария Федоровна. Она заранее знала сюжет и теперь ждала откликов, и в первую очередь — мужа.

Придворные безмолвствовали, все смотрели в сторону кресла, где как бы дремал Павел Петрович. Тот не издавал ни звука. Молчание затягивалось. В памяти присутствующих еще были живы картины раздражительных сцен, возникавших между властительными супругами, порой по совершенно неожиданным и самым ничтожным поводам.

Павел Петрович будто вздрогнул или очнулся от какого-то забытья. Его состояние мгновенно передалось другим. Лафермьер, поблуднев, провел рукой по лицу.

— Не хватит ли опер, дорогая? — медленно произнес Павел.

Пришел черед поблуднеть Марии Федоровне. Каждый раз, когда начиналась новая постановка, она боялась подобных вопросов. Все ее

старания утихомирить мужа, привлечь его невинными забавами к домашнему уюту, хоть как-то отвлечь от угрожающих поглощавших его время занятий военной муштрой в последнее время, казалось, сводились на нет. Что-то происходило в их отношениях. Но что? Как женщина княгиня предполагала незримое присутствие между ними другой женщины. Тогда кто же она? Нелидова? Дурнушка, с которой потерявший рассудок наследник проводит вечера в философских и эстетических беседах? Неужели она?..

— Все эти спектакли, сударыня, лишь отнимают внимание от более важных дел. Не так ли? — Последний вопрос Павел бросил в сторону присутствующих.

Никто не посмел нарушить молчания ответом.

Но тут князь слегка улыбнулся и поднялся с кресла.

— Впрочем, идея «Сокола» недурна, — обронил он и вышел из кабинета.

Напряжение, царившее все это время, сразу же спало. Мария Федоровна, выдохнув воздух, истерически рассмеялась. Но, овладев собой, пригласила к клавесину Дмитрия Степановича. Тот сыграл арию Федерика из первой части, комический соль-минорный романс Жакетты — дочери Грегюара и заключительный хор, долженствующий быть лейтмотивом во всей опере. Все были в восторге. Евгения Сергеевна Смирная, не выдержав, расцеловала смущенного композитора под всеобщий смех, не зная на шутливо грозящего ей Ивана Михайловича. Решено было поставить спектакль в скором времени. Тут же и распределили роли.

Премьера «Сокола» состоялась быстро — 11 октября 1786 года. Декорации, как и музыка, имели успех и исполнили завет автора «воспользоваться видом Шале» — одного из уголков Павловского парка.

На первый взгляд легкая оперетка, обрамленная изящной мелодичной оправой, придававшей ей аромат изысканного, но дорогого антиквариата, постановка показала предельно виртуозное мастерство русского маэстро, выписавшего отдельные арии и балетные вставки утонченно, скрупулезно и профессионально. Теплота музыки, ее непринужденность, раскованность и даже игривость были близки для восприятия, обладали естественной эмоциональной выразительностью, а законченность формы сделала «Сокол» произведением поистине хрестоматийным. Из Гатчинского театра опера перешла на сцену Павловского. А оттуда — на подмостки многих усадебных театров того времени. Спектакль играли у Апраксиных, Орловых-Давыдовых, Шуваловых. В многочисленных списках расходилась партитура оперы, и стало даже модным держать в доме тисненый золотом и обтянутый кожей нотный альбом с автографом «Сокола»...

«Le Faucou» понравилась их высочества, — записывал Иван Михайлович, — и действительно

но была затейлива, вся в тогдашнем вкусе, то есть очень романтическая, довольно велика и состояла из трех действий. Музыка сочинил для нее г. Бортнянский превосходную...

Итак, вытвердили мы оперу; зрелище было прекраснейшее, я сам имел ролю не важную; — первые играли Смирная и Вадковский, камергер... Представление удалось и несколько раз было повторено с большим удовольствием».

Именно в те дни восхищенный Иван Михайлович сделал предложение актрисе Смирной и, о счастье, получил согласие. Ах, что за дни! Князь взглянул на два портрета, висевшие перед его столом. На одном был изображен он сам, юным, а рядом — княгиня Долгорукая, тогда еще тоже молодая, семнадцатилетняя, блистательная актриса.

«Смирная была понятна и училась хорошо; войдя в... возраст, в ней открылись дарования превосходные: она прекрасно пела, танцевала, играла на арфе и к театральному выражению, т. е. к декламации, была очень склонна. Собою не хороша, но миловидна, мала ростом, но стройна...

В этой опере Смирная отличалась чрезвычайно, она выказала мастерское знание театрального искусства, и голос ее нежностью своей производил чудеса».

Ивану Михайловичу снова пригрезилось, как зимою, в метель, мчались они в свадебной карете, как вдвоем выступали они в петербургских театрах, и перо само собой застрочило далее.

«В эту зиму я очень развлечен был. Кроме театра придворного, я продолжал играть... Вдобавок я собрался сам сочинить маленькую оперу, которую разыграли в доме гр. Пушкина... Сочинение не важное, но для бездельки искусства большого не надобно, и я с изрядным успехом выплелся из дерзкого предприятия быть сочинителем. Тут играли трое нас Долгоруковых...» Иван Михайлович даже и не заметил, как наряду со своей меньшей сестрой и Смирную уже назвал своей фамилией...

Ровно через год после «Сокола» — 11 октября 1787 года — в увенчанном позднее на крыше голубкой Павловском театре прозвучала новая и последняя из российских опер Дмитрия Степановича Бортнянского «Сын-соперник, или Новая Стратоника». Это была, быть может, единственная в своем роде опера-серия, написанная русским композитором, где одновременно заметны все элементы оперы-буфф. Главным героем ее стал прототип неизвестного Дона Карлоса, влюбленного в свою мачеху.

По поводу постановки этой оперы Иван Михайлович Долгорукий записал в своем дневнике так:

«Испанская наша опера готовилась с большим великолепием. Музыка сочинена Бортнянским еще трогательнее и лучше, нежели для прежней... Опера Дон Карлос произвела на театре особенное действие и не могла не пора-

виться всем: великолепия декораций, богатство костюмов, превосходная музыка, заманчивый склад интриги в опере, все пленяло и взор, и слух, и чувство зрителя...»

«Сын-соперник» ставился чрезвычайно пышно. Декорации выписывались долго и тщательно. Дона Карлоса пел Ф. Вадковский, Элеонору — В. Аксакова, как всегда, блистала Е. Нелидова. Не остались не задействованными и Чернышев, и Голицын, и Виолье. Что же касается костюмов, то навряд ли можно найти случай в музыкальной истории России, когда они были бы столь дороги и фешенебельны. Случай этот в самом деле курьезный. Мария Федоровна собственноручно с согласия мужа распорядилась выдать актерам все великокняжеские фамильные сокровища. И если первое действие исполнители пели в суконных платьях с золотыми галунами, то во втором они переоделись в шелковые костюмы, усыпанные драгоценными камнями. Подлинные бриллианты, изумруды, аметисты, бирюза, жемчуг — все блистало со сцены разными цветами и чрезвычайно «накаляло» атмосферу спектакля. Иван Михайлович Долгорукий, иг-

равший отца Дона Карлоса — Дона Педро, появился в третьем действии на сцене весь обшитый алмазами, снятыми с парадного золотого кафтана Павла Петровича, который тот носил в особых случаях на торжественных придворных выходах. Костюм князя стоил фантастическую сумму — почти 300 тысяч рублей. Иван Михайлович так вошел в роль и расчувствовался, что в момент, когда он в одиночестве пел на сцене арию, сделал резкое движение рукой. Мария Федоровна, сидевшая по правую руку от Павла Петровича, изредка поглядывала на реакцию супруга. Тот был изрядно доволен. Но тут вдруг случилось недоразумение. «В самое жаркое время моей игры, когда я один на сцене вел очень чувствительную арию, нечаянно порвалась нитка в погоне на плече, и посыпались с меня крупные жемчуги как град. Я весь был в роле и, конечно, бы этого не заметил, но великая княгиня, не снимавшая глаз с своих вещей, тотчас увидела урон их и не могла воздержаться, чтоб не вскрикнуть — Ах! — привставши с своего места. Это меня привело в смущение, и я с трудом мог опять войти в свой театральный характер». Оркестр

Offert par Bortniansky a M^{lle} Barbe D'Olenine.

RECUEIL

DE

ROMANCES ET CHANSONS.

composés

pour Son Altesse Impériale

Madame la Grand - Duchesse de Russie,

par D. Bortniansky,

Maitre de Chapelle au service de S. M. I.

— — — — —
PREMIERE LIVRAISON.

A St. Petersburg, de l'imprimerie de Breitkopf, en 1793.

затих. Зал затаил дыхание. Павел Петрович вцепился в ручки кресла. Но тут же махнул рукой в знак того, чтобы спектакль продолжали. Ступая по драгоценностям, актеры доиграли третий акт.

«Слава богу однако ничего не пропало; после спектакля велено было подмести театр со всякой осторожностью, и на завтра великая княгиня изволила сама рассказывать с удовольствием изображающимся в каждой черте ее лица, что в пыли найдено всяких вещей ценой на четыре тысячи», — заключил в своих записках Иван Михайлович Долгорукий.

«Сын-соперник» стал триумфом Бортнянского. Восторг превзошел все ожидания. Но это была и лебединая песнь композитора в оперном жанре. Больше Дмитрию Степановичу опер сочинять не пришлось...

Начиная с 1787 года в среде просвещенного европейского читателя стал популярен наполненный любовными похождениями и интригами роман Бернарден де Сен-Пьера «Поль и Виргиния». Попала книга в руки и Дмитрия Степановича. Идея написать музыку на этот сюжет к композитору пришла как-то сразу, он уже не помнил, что первый об этом заговорил. Осуществить намерение не представлялось возможным. Служба опять-таки заставляла отвлекаться на всяческие мелочи. Для неожиданных случаев исполнения музыки на воздухе во время прогулок Дмитрию Степановичу пришлось специально переложить отдельные номера из оперы «Сокол», которые должен был теперь исполнять духовой секстет. Он заканчивал свой знаменитый в будущем Квинтет, а также трехчастную Концертную симфонию. Застолья и другие развлечения сопровождалось его веселыми и незатейливыми мелодиями.

Летом 1787 года очередное традиционное празднование имени Павла снова напроць перечеркнуло все его планы. Иван Михайлович Долгорукий сохранял у себя копию одной бумаги, оставшейся от тех незабвенных дней. Проект театрального праздника, составленный Марией Федоровной для того же коменданта села Павловского Карла Ивановича Кюхельбекера в июле 1787 года, гласил:

«Фейерверк будет спущен за колонною; у колонны будут две палатки для зрителей... Главная аллея ко дворцу будет иллюминирована сводами из одноцветных белых огней...

На озере будет хорошенккая лодка с навесом из драпок, вся покрытая разноцветною иллюминацией; в ней поместятся музыканты. Эта лодка будет тихо плавать взад и вперед, чтобы придать красивый вид от дворца; это непременно произведет отличный эффект, вследствие отражения каждого предмета в воде, которое, удваивая иллюминацию, придаст блеск и живописность рисунку...»

Вот на озвучивание той самой «плавающей взад и вперед» «хорошенккой лодки» и уходили все силы даровитого композитора.

И все же, оставляя на время все свои заботы, Бортнянский бросается писать новую оперу. «Поль и Виргиния» манит его, но он чувствует, что не успеет и не сумеет закончить ее. В конце концов пришлось ограничиться лишь рядом романсов на французские тексты. В самом деле, друзья уже давно просили его написать цикл песен для домашнего музицирования. Сама прелестная княгиня Елизавета Алексеевна, невестка Павла, будущая императрица, как-то обратилась к нему с таким предложением. Всем известен был ее талант — голос сильный и чистый. Специально для юной певицы и подготовил сборник французских романсов Дмитрий Степанович. Книгоиздатель Брейткопф, уже давно опекавший композитора, охотно взялся отпечатать ноты. Значительно позднее, в 1793 году, «Сборник романсов и песен» увидел свет. Текст к музыке написал Лафермьер, но, вынужденный скрываться от все нарастающего гнева великого князя, он просил не ставить на титульном листе своего имени...

Романсы Бортнянского становятся новой его визитной карточкой для входа в лучшие дома и салоны Петербурга. Продолжая заниматься делами придворного капельмейстера, он теперь большую часть времени проводит вне двора. Его тонкий вкус, знания настоящего коллекционера живописи, приобретенные им еще в Италии, сближают его с покровителем российских дарований, образованнейшим человеком, графом Александром Сергеевичем Строгановым. Знакомы были они и прежде. Еще в 1789 году труппа из Павловска выступала на сцене театра Строганова с комической оперой «Нина, или Безумная от любви». Не преминул и Иван Михайлович отметить этот факт в своей летописи:

«Летние увеселения на даче вскружили голову любезному старичку графу Строганову, и ему захотелось поставить у себя в комнатах маленький театр, на котором первыми действующими лицами были, разумеется, жена и я... Нашли жену мою способной играть Нину. Все в Евгении соответствовало принятому ее характеру, речь утомленная, голос нежной, выговор приятной, походка медленная, взор меланхолической, наряд простинкой, игра без всякого жеманства, все, все было в ней совершенно...

Оркестром правил Бортнянский, хоры были из придворных певчих. Весь спектакль произвел действие прекраснейшее...»

Дмитрий Степанович Бортнянский по совету же А. С. Строганова вступает в Музыкальный клуб, где знакомится с Д. И. Фонвизиним и ветераном русской сцены И. А. Дмитриевским, которого знал шапочно еще по кнпперовскому театру.

Однажды, когда Дмитрий Степанович был у Строганова на приеме, к нему подошел высокий, статный седоволосый человек.

— Вы и есть тот самый павловский Орфей? — начал он без представления и безо всяких предисловий. — Я — Державин.

С того момента и началась их дружба. Принимать у себя Бортнянский мог лишь изредка. Чтобы устраивать роскошные обеды, нужны были средства. Но в доме у Державина он был всегдашним гостем.

Не чин, не случай и не знатность —
На русский мой простой обед
Я звал одну благоприятность;
А тот, кто делает мне вред,
Пирушки сей не будет зритель.
Ты, ангел мой, благотворитель!
Приди — и насладися благ;
А вражий дух да отженется,
Моих порогов не коснется
Ничей недоброхотный шаг!..

После того как бывали съедены «шексниска стерлядь золотая, каймак и борщ», выпиты «в крафинах вина, пуш», друзья садились в кабинете и допоздна спорили. О чем же? Да все о том, что Гаврила Романович очень уж любил оперу. Но бывал резок и неожидан в своих суждениях. Таков уж характер.

— Опера представляется мне собственным миром. Она перечень или сокращение всего зримого мира. Скажу более, она есть живое царство поэзии. Она образчик или тень того удовольствия, которое ни оку не видится, ни уху не слы-



Фасад Строгановского дворца в Петербурге.

шится, ни в сердце не восходит, по крайней мере, простолудию.

— А мне думается, что опера у нас еще не показала своих собственных достоинств. Фомин с его «Ямщиками на подставе» лишь предположил такую возможность. Да так предположил, что простолудию, как вы выражаетесь, его музыка вполне близка и понятна, — отвечал Дмитрий Степанович.

— Эка хватил. Я о другом хотел сказать. Знаемо, даже великий Суворов разведывал, что о нем говорят ямщики на подставах или крестьяне на сходках. Славный должен знать о своей славе. Слава есть страсть душ благородных, и она на подвиг подвизает. Вот ее-то и должно искусством возвышать. Опера, думаю, этому способствует. Подлинно, после великолепной оперы находишься в некоем сладком упоении, как бы после приятного сна, забываешь всякую неприятность в жизни.

Державин достал из резной шкатулочки завитую трубку, не спеша набил табаком, раскурил.

— Но вот-таки у нас важных опер, сколько я знаю из прежних, только сочиненные еще Сумароковым. Его «Цефал и Прокрис» создал наш музыкальный театр. Есть переведенные из Метастазия и других иностранных авторов, но они играны на тех языках, а не на русском...

— Сумароков писал тексты. А что главнее — музыка или слова? — нетерпеливо перебил его Бортнянский. — Мы-то все считаем, будто слова. От этого все наши композиторы в тени по сию пору. Да опера без музыки что поэт без лиры. Теперь мы только Сумарокова и вспоминаем, а про музыку «Цефала» кто вспомнит? Многие наши лучшие композиторы канули в небытие... Эх, да что там...

— Нет, — Державин отбросил нераскурившуюся трубку. — Со слов все начинается. Самой первой степени поэт, ежели он в слоге своем нечист, тяжел, единообразен, единозвучен, не умеет изгибаться по страстям и облекать их в



А. С. Строганов.

сердечные чувствования, — к сочинению оперы не годится. Не позаимствуют от него выразительности и приятности ни лицедей, ни уставщик музыки... Хочу я об этом написать, да все времени не хватает...

— А как же, к примеру, Пашкевич? Арии его напевают и по сей день, виноваты в том слова? Думаю, опера наша переживает момент своего перерождения. Ждет российская музыка еще своего Моцарта.

— Ну если ты так завернул, то скажу прямо — тебя, Дмитрий Степанович, я причисляю к первому у нас оперному композитору.

— Ой ли, — улыбнулся Бортнянский, — я уж не охотник до сего жанру. Видно, судьба моя писать всю жизнь хоровые концерты. Так-то хоть прокормиться можно...

Диспуты друзей, не всегда сходящихся во мнениях, наконец вылились в их творческое единство. Они «разродились» совместным произведением, где и слова и музыка имели достоинства, не позволяющие умалить значения друг друга.

Как-то в Строгановском дворце, что стоит на Невском проспекте у Мойки, случился грандиозный пожар. Вечера у мецената на время отложились. Пока восстанавливали здание, Гавриил Романович предложил Бортнянскому написать поздравительную кантату в честь их общего друга и в честь обновленного дворца искусств. Через две недели текст ее был готов, а чуть позднее Дмитрий Степанович принес поэту ноты. Когда в 1791 году в перестроенном по проекту А. Н. Вороникина здании собрались именитые российские музыканты, художники и писатели, чтобы отметить юбилей хозяина, их встретили звуки оркестра. Так была впервые исполнена «Песнь дому любящего науки и художества».

Ныне Дмитрий Степанович чувствовал, что находит вкус в сочинении музыки на известные поэтические тексты. Песни и гимны сыпятся из него, как из рога изобилия. Он творчески сближается с именитыми российскими поэтами М. М. Херасковым и Ю. А. Нелединским-Мелецким. Это содружество обещало родить ряд интереснейших произведений. Он уже пишет их, вот-вот закончит... Но события, следовавшие затем, вновь резко меняют его жизнь...

Ссоры Павла Петровича с супругой, сначала едва заметные, а затем все более явные и продолжительные, стали основной причиной распада дружного актерского кружка. Те, кто состоял в близости к великой княгине, вскоре были удалены от двора. В их числе был и Лафермьер. Бортнянский, который всегда был немного в стороне от всех интриг, связанных с семейной размолвкой наследника престола, не был подвержен его гневу (и даже позднее — когда пытался вступить за опального Суворова, что могло грозить крушением всей карьеры). Но течение музыкальной жизни в Павловске было наруше-



Г. Р. Державин.

но. Уже никто не заказывал композитору оперы. Павел, вконец ушедший в военное дело, и думать не хотел о казавшейся ему в то время невыносимой слащавости узкосемейных музыкальных спектаклей. Но и в деле солдатской муштры, которому наследник отдавал в Гатчине почти все свое время, «сыграла» роль музыка Бортнянского. Одним из популярнейших военных маршей того времени, под который вышаживали павловские гренадеры, был так называемый «Гатчинский», написанный Дмитрием Степановичем по заказу Павла...

Мария Федоровна, оказавшись в некоторой изоляции, была крайне огорчена тем, что ее музыкальный наставник редко стал бывать в Павловске. Суровые отношения с супругом не мешали ей время от времени устраивать для себя в летние месяцы вечера музицирования. Чтобы как-то привлечь композитора к более постоянному проживанию в своей резиденции, она придумывает для него сюрприз-ловушку, достаточно щедрую, но в конечном счете связывавшую его по рукам и ногам.

Во время очередного приема при «малом» дворе секретарь Марии Федоровны Г. И. Вилламов передал Бортнянскому свернутый в трубочку, перевязанный лентой с печатью на конце документ. Дмитрий Степанович был крайне взволнован, Иван Михайлович Долгорукий, бывший по случаю тут, даже подошел к нему и взял его под руку. Естественно, ведь таким образом обычно запечатывались отнюдь не частные записки или письма, а указы или постановления



Д. И. Хвостов. Портрет работы С. С. Щукина. Начало XIX в.

отвечавший «не имею» композитор превратился в хозяина «дачи». Его новый приятель, граф Д. И. Хвостов, не преминул воспеть событие в своих стихах — «Д. С. Бортнянскому, на прекрасный его домик в Павловске»:

Ты, Орфей реки Невы!
Посреди людской молвы,
При обители фортуны,
Взяв священной арфы струны,
Весел в садике своем.
О Суворове хлопочешь
И душой усердной хочешь,
Чтоб он буйства сверг ярем.

Событие, конечно, было знаменательным, но у порога стояли уже более серьезные перемены. Несмотря на возраст — он только что отметил свое сорокалетие, — композитор полон юношеской энергии. В его густой, эффектно откинутой назад шевелюре все более приметны седые пряди, придающие лицу чуть бледноватый, но благородный и утонченный оттенок...

К началу 1796 года мытарства Бортнянского на службе стали еще более разнообразными и насыщенными. Казалось иногда, будто не будет конца беготне и постоянной суете, которая окружала его со всех сторон. Не хватало времени для творческой работы. Заели заботы по петербургским делам, по хозяйству на павловской

великокняжеской семьи. Дмитрий Степанович ничего не знал о бумаге, неожиданность его и смутила.

— Что сие означает? — удивленно спросил он.

Вилламов лишь загадочно улыбнулся и пожал плечами.

— Указы их высочеств, как вам ведомо, я вручаю лично в руки. Соболаговолите прочесть.

— Что-нибудь произошло? — Бортнянский хорошо знал переменчивые нравы двора.

— Прочтите скорее, для вас новости приятные, — Вилламов дружески потрепал композитора за локоть и откланялся.

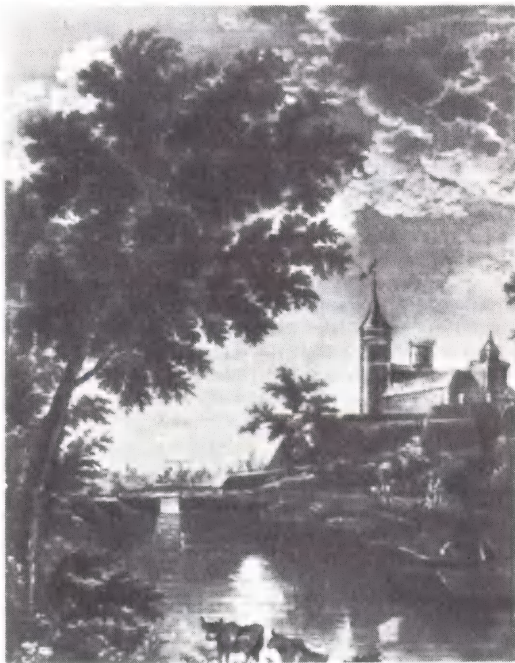
Иван Михайлович помог Бортнянскому развернуть свиток, в котором, кроме всего прочего, они прочли:

«Жалованная грамота на участок земли
в Павловске...

Объявляем всем и каждому, что в Павловске нашем жалуем сим нашему Дмитрию Бортнянскому место..., как ему, так и наследникам его в вечное и потомственное владение без платежа за сие податей, поборов или откупу...»

Так мог звучать этот документ.

На высоком берегу реки Славянки, прямо напротив павловской крепости Бип, Дмитрий Степанович получил отныне участок земли с домом, где он мог проживать постоянно или каждый летний сезон. Никогда не имевший в собственности таких поместий, всегда в официальных анкетах на вопрос «сколько имеете во владении мужескаго душ людей крестьян»



Крепость в Павловске, рядом с которой находился дом Д. С. Бортнянского. Гравюра А. Т. Ухтомского. Начало XIX в.

даче. Они отнимали и время и средства. Денег не доставало, чтобы содержать все это, они словно испарялись сразу же после получения жалованья придворного капельмейстера. Кроме всего прочего, он явно ощущал некий творческий застой. Ничего не писалось, а вместе с обстоятельствами и делами это угнетало все больше. Ведь прошло почти двадцать лет, как он вернулся из Италии. С тех пор он так и остался в низшей музыкальной должности при «малом» дворе. Чтобы продвигаться по службе, нужно было бы на долгое время оставить музыку совсем, ибо придворные дела и хлопоты требовали особого внимания и массы времени. Но он не умел так жить. И от перипетий придворной жизни он также давно отошел. Опасны были светские игры в это время. Во всем проявлялось предчувствие скорых перемен.

В октябре из Петербурга в Гатчину пришла неожиданная весть: императрица Екатерина Алексеевна тяжело больна. «Большой» и «малый» двор затаились. В первых числах ноября срочная депеша была доставлена прямо в личные покои Павла Петровича. В ней сообщалось, что государыня лежит при смерти и уже несколько дней не приходит в сознание. Прочитав письмо, наследник впал в странное состояние. Еще никто не видел его таким — бледным, резким и неразговорчивым. В тот же день вместе с Марией Федоровной он выехал в Петербург. 6 ноября 1796 года императрица скончалась в присутствии наследной четы.

В последующие — не годы, а дни — многие бывшие друзья и приближенные нового российского императора неожиданно получили важные государственные должности, а также крупные вознаграждения. Среди них были и талантливые впоследствии деятели, вошедшие

в анналы русской истории. В их числе оказался и Д. С. Бортнянский. На пятый день правления Павла I — 11 ноября 1796 года — Дмитрий Степанович назначается им на должность управляющего Придворной певческой капеллой — главным хором страны, место которого после кончины Марка Федоровича Полторацкого было вакантным вот уже полтора года. Боялась Екатерина поставить на него итальянца, ведь мода на них уже проходила, да и русского музыканта, которого среди одаренных можно было отыскать без труда, поставить не решилась. Бортнянский занял его по праву, ведь он был крупнейшим для того времени музыкальным и общественным деятелем в России. В тот же день, 11 ноября, композитор получил чин коллежского советника, а через полгода — статского советника.

Управление Придворной певческой капеллой, продолжавшееся на протяжении почти 30 лет, а также непрекращающаяся работа над созданием замечательных хоровых концертов — другая удивительная страница жизни выдающегося русского композитора. Пути Ивана Михайловича Долгорукого и Дмитрия Степановича Бортнянского понемногу разошлись. Иван Михайлович был облагодетельствован немного ранее. Получив должность вице-губернатора в Пензе, а затем — губернатора во Владимире, он ушел в иные хлопоты и надолго отложил свои литературные упражнения. А когда через изрядное количество лет вернулся к ведению записей, то имя композитора, сыгравшего такую важную роль в музыкальной судьбе князя, уже было для него где-то в далеких закоулках памяти, в полузабытой, но счастливой и исполненной радужных надежд юношеской поре...

Тамара Грум-Гржимайло

«День музыкальной эры...»

К 150-летию первой постановки
«Ивана Сусанина»

В холодный бесснежный день 27 ноября 1836 года весь просвещенный Петербург готовился к открытию Большого театра, восстановленного после пожара. Последние оркестровые репетиции шли под оглушительный стук сотен молотков, которыми драпировщики спешно околачивали ложи, прибавляли канделябры. Композитор Глинка, униженный дирекцией императорских театров еще весной /вынужденным отказом от денежного вознаграждения/, стойко сносил и эти признаки пренебрежения к его искусству. Он был вполне готов даже к тому, что в таких условиях его опера не выдержит и трех представлений...

Но капельмейстер Кавос и певцы видели перед собой не только хладнокровного борца, но воодушевленного творца Моцартовой счастливой организации и готовились разделить его торжество.

Афиша премьеры гласила:

«На Большом театре для открытия после перестройки сего дня в пятницу, 27 ноября, российскими придворными актерами представлено будет в первый раз:

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ,

оригинальная большая опера в трех действиях, с эпилогом, хорами и танцами; слова сочинения барона Е. Ф. Розена; музыка М. И. Глинки...»

Главные партии пели лучшие русские певцы: Ивана Сусанина, крестьянина села Домнина, — Осип Петров; Антонида, дочь его, — Мария Степанова; Ваню, сироту, воспитанника Сусанина, — Анна Воробьева...

Почти невозможно было попасть на премьеру без серьезной протекции. Два года питерские меломаны питались слухами о готовящейся новой русской опере молодого Глинки, вернувшегося после трехлетних музыкальных странствий по Европе, и предвкушали сенсацию. И нынче все они были здесь. Театр задыхался от переполнившего его нетерпения разноликой толпы. Столичная аристократия и придворные, блестящие светские красавицы и военные, в царской ложе — император Николай с августей-

шим семейством, в партере — многочисленные петербургские литераторы, журналисты и музыканты. Вот знаменитые поэты Пушкин и Жуковский; вот всеми почитаемые в просвещенных кругах князь Одоевский и Вяземский; вот признанный музыкант, гофмейстер его величества, тайный советник и кавалер, граф Михаил Вильгорский /это он энергично хлопотал о постановке оперы/; вот младший коллега Глинки — композитор Даргомыжский и совсем юный Иван Тургенев — нынче здесь весь цвет умов и талантов России.

Виновнику театрального торжества, Михаилу Ивановичу Глинке и его семье, досталась лишь скромная ложа второго яруса...

Через 50 лет этот день, 27 ноября 1836 года, Владимир Васильевич Стасов назовет «днем нашей музыкальной эры», когда «выступил вперед гениальный человек и подал своему отечеству созданную им русскую музыку». И была это, по словам Стасова, не проба сил и не шаткий шаг; своим великим созданием Глинка решал вопрос о национальной музыке с таким талантом, с такою силой и оригинальностью, «каких не знала до тех пор ни одна страна Европы».

А через 100 лет академик Борис Владимирович Асафьев напишет книги и глубокие теоретические исследования о «совершеннейших прекрасных созданиях» Глинки, «не превзойденных в их античной ясности и свежести» никем из последующих великих русских композиторов; напишет о совершенной «звукопластике» образа Сусанина и величии монументального, народно-национального хорового стиля Глинки, давшего оперному искусству образец такого «крепчайшего финала» в ораториальном духе, как хор «Славься!». И воскликнет: «Счастливым композитор!.. Вся родина Глинки, и не только русский народ, хранит в памяти его лирику!»

А пройдет 150 лет, и мы скажем: нет в русской музыке фигуры более загадочной, дерзкой и гениальной, чем Михаил Иванович Глинка. Почти на пустыре воздвиг он классический Пантеон отечественного музыкального искусства, положив конец его подражательным, полудилетантским блужданиям. Благодаря таланту создателя «Ивана Сусанина» и «Камаринской» русская музыка заговорила наконец собственным языком, отринув стертые «межевропейские» диалекты. И язык этот, отточенный до прозрачности, продолжает манить своей неподражаемой грацией и благородством любителей музыки наших дней...

Но кто же в тот памятный холодный ноябрьский день петербургской премьеры «Сусанина» мог заглянуть на 100—150 лет вперед?

В тот день «счастливым композитор» сидел в своей ложе второго яруса и замирал от ужаса, наблюдая безмолвную реакцию публики на танцевальный польский акт; и возвращался к жизни, воодушевленный аплодисментами и криками из публики «фора!» после исполнения Воробьевой и Петровым дуэта, а затем квартета /«Милые дети»/ и особенно сцен Сусанина с поляками в избе, а потом — в лесу.

«Великолепный спектакль эпилога, представляющий ликование народа в Кремле, — писал впоследствии Глинка в своих «Записках», — поразил меня самого; Воробьева была, как всегда, превосходна в трио с хором. Успех оперы был совершенный, я был в чадун...»²

«Публика приняла мою оперу с необыкновенным энтузиазмом, актеры выходили из себя от рвения», — сообщал композитор в письме к матери, Евгении Андреевне.³

По свидетельству очевидцев, в конце спектакля занавес давали пять раз. Так успех все-таки или... полууспех?

Не будем здесь повторять то, что хорошо известно из многочисленных книг и романов о Глинке, исторических и теоретических работ обширной «глинкинианы». Скажем лишь о самом необходимом.

В день премьеры сенатор К. Н. Лебедев сделал запись в своем дневнике: «Я сейчас из Большого театра, зрителей тысячи, аристократия, звезды, блеск и красота, все — что есть лучшего в Петербурге. Давали «Смерть за царя», Ивана Сусанина, национальную оперу...»⁴

Довольно скоро выяснилось, что аристократии и правящим кругам в высшей степени безразличен успех или неуспех народно-патриотической оперы Глинки «Смерть /то бишь «Жизнь.../ за царя», название которой, как известно, было навязано композитору ретивыми царедворцами. Вкусы великосветских снобов безраздельно принадлежали опере итальянской, и они отбывали в театре на представлениях «Сусанина» с видом одолжения и дарили кривой усмешкой тех, кто приходил в восторг и утирал слезы, слушая родные проникновенные звуки музыки Глинки. В кулуарах с уст противников «народной оперы» слетали отнюдь не комплиментарные реплики: «вздор и галиматья!», «какое-то поурри», «такая скука», «это — чем тебя я огорчила, с барабанами» и т. д. и т. п.

Вспоминая на склоне лет эти оскорбительные выпады великосветских «зоил» и их газетных трубадуров /прежде всего — вездесущего Фаддея Булгарина/, Глинка пишет в своих «Записках»: «Некоторые из аристократов, говоря о моей опере, выразились с презрением: «Это кучерская музыка». И здесь же, на полях рукописи, Глинка делает разительную приписку: «Это хорошо и даже верно, ибо кучера, по-моему, дельнее господ!»⁵

Мы хорошо знаем сегодня, что глинкинский саркастический ум был надежным его охранительным оружием против агрессии косной и невежественной социальной среды.

Однако вернемся к премьере «Ивана Сусанина» /будем называть оперу ее современным названием/, взорвавшей чинную гладь музыкальной жизни императорского Петербурга. Несмотря ни на что, успех оперы от спектакля к спектаклю нарастал. «Вот уже две недели весь Петербург живет в театре, — писал в одном из писем друг композитора, критик Я. М. Неверов, — мы слушаем и не слушаемся прелестной оперы Глинки»⁶. Иные жаждали еще и еще вку-



М. И. Глинка. Литография Н. Волкова.

сать сладость родных напевов; иные приглядывались и прислушивались с недоверием — точно ли возможна русская оперная самобытность, выраженная общеевропейским языком?

Казалось, вторгшийся ненароком на императорскую сцену простой костромской мужик в лаптях принес не только атмосферу народного подвига во имя Отчизны, духовного величия русского человека, но и целый новый мир истинно русских, «читаемых» сердцем каждого россиянина возвышенных интонаций, не слышанных ранее в петербургском Большом театре. «Мы до сих пор никогда не слышали русской музыки в возвышенном роде — ее создал Глинка»; «напев Сусанина достигает высшего трагического стиля — и дело доньше неслыханное! — сохраняя во всей чистоте свой русский характер», — писали газеты и журналы. Но более всего поражала первых слушателей «Ивана Сусанина» та глубина, с которой Глинке удалось проникнуть в тайны законов образования русских мелодий и гармоний и создать свой собственный оперный стиль. Слушая оперу, каждый отмечал в ней интонации известные, стремился припомнить те русские песни, откуда взят тот или иной мотив, и... не находил оригинала. Этот «фокус» русского Орфея — Михайлы Глинки — обескураживал. «В мотивах Глинки вы найдете все русское и ни одной русской песни!» — восклицал признанный дока в делах музыкальных Михаил Виельгорский. Но вот на страницах «Северной пчелы», в неподписанном «Письме к любителю музыки об опере г. Глин-



Артисты, принимавшие участие в первой постановке оперы «Жизнь за царя».

ки: Иван Сусанин» зазвучал другой голос, полный спокойного достоинства и убеждения. И тот же взгляд на самобытный народно-русский стиль музыки Глинки вдруг взлетел на иную высоту. Здесь были не только удивление и восторг. Здесь была прозорливая, неслыханная по тем временам и историческая оценка явления Глинки. Она могла быть произнесена лишь человеком выдающегося ума и эрудиции, близко познавшим предмет. Так оно и было. Человек этот был близким другом и единомышленником композитора, разделявшим и теоретически подкреплявшим его творческие искания. Имя его — Владимир Федорович Одоевский.

В своем кратком «первом впечатлении» об «Иване Сусанине» Одоевский писал:

«...этой оперою решался вопрос важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности, а именно: существование русской оперы, русской музыки, наконец, существование вообще народной музыки... Во всей опере лишь два первые такта взяты из известного народного напева, но за сим нет ни одной фразы, которая бы не была в высшей степени оригинальною, и между тем ни одной фразы, которая бы не была родною русскому слуху.

С оперою Глинки является то, чего давно

ищут и не находят в Европе — новая стихия в искусстве, и начинается в его истории новый период: период русской музыки. Такой подвиг скажем, положи руку на сердце, есть дело не только таланта, но гения!»⁷

Глинка гений? Этот «недоучившийся дилетант» — создатель новой стихии в искусстве? Что тут началось! На Глинку и его тайного защитника ополчились все темные силы взбесившейся камарильи, и лишь верноподданническая подоплека либретто барона Розена, снисходительно принятая Николаем, не позволяла «заклевать» творца «Ивана Сусанина» до конца.

Однако бой был принят. В. Ф. Одоевский бесстрашно вступил на новые земли /дрожащие от «взрывов»/ как первопроходец загадочных зон отечественного «глинковедения», по которым ему суждено было идти более тридцати лет...

Кто он был, этот человек, умевший видеть на столетие вперед, но предпочитавший оставаться в тени?

Философ и ученый-энциклопедист, писатель и музыкант, журналист и общественный деятель, князь Владимир Федорович Одоевский



в течение сорока лет /20—60-е годы/ стоял в самом центре художественной жизни России, оказав поразительное по многообразию влияние на ее течение и перспективу. Аристократ, последний из Рюриков, он сделался, по свидетельству современников, «чернорабочим во имя своих собратий», «каменщиком при сооружении общественного здания».

Он был небогат, хотя всю жизнь благотворительствовал и выручал собратий по искусству /и не только в своем отечестве!/. Его скромный быт и стол вызывали удивление высших кругов и заезжих иностранцев. (Один английский лорд однажды воскликнул: «У нас в Лондоне он был бы богачом!»). Тем не менее двери дома Одоевского были всегда широко распахнуты для всех людей искусства независимо от их званий и сословий.

Он почти всегда служил, то есть состоял на государственной службе — в высоких канцеляриях, библиотеках и музеях, в сенате. В разные годы сотрудничал в крупнейших журналах, газетах, альманахах — от «Вестника Европы» и Дельвиговых «Северных цветов» — до пушкинского «Современника» и «Отечественных записок». Да и начинал свой путь в 1824 году как деятельный журналист и ориги-

нальный писатель-философ, отжавшийся на издание в Москве /совместно с Вильгельмом Кюхельбекером/ альманаха «Мнемозина», смело бросивший перчатку в лицо петербургской журнальной братии Фаддея Булгарина. Это был лишь многозначительный пролог той войны с «булгаринщиной», которую князь развернул потом в Петербурге, в годы борьбы за Глинку...

Как автор сатирических апологов о барской Москве, он заслужил дружбу Грибоедова; как создатель романтических новелл о гениальных «безумцах» /«Себастьян Бах», «Последний квартет Бетховена»/ — признание Герцена и Пушкина. По словам А. И. Кошелева, писавшего В. Ф. Одоевскому 21 февраля 1831 года, Пушкин находил, что автор новеллы о Бетховене «доказал истину весьма для России радостную; а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века».⁸ Воображением и умом Одоевского восхищались Гоголь и Белинский; последний писал о его сочинениях пространные критические статьи. Однако лучшую книгу Одоевского — философский роман «Русские ночи», произведение уникальное и провидческое по мысли, композиции, жанровой природе /предвосхитившее такие сложные явления искусства XX века, как, например, романы Томаса Манна/, — современники не поняли и не приняли. Исключением стал лишь Вильгельм Кюхельбекер, писавший князю в 1845 году из далекой сибирской ссылки:

«В твоих «Русских ночах» мыслей множество, много глубины, много отрадного и великого, много совершенно истинного и нового... Ты... наш. Тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего бескорыстного стремления к художественной красоте и к истине безусловной. Будь счастливец нас».⁹

Он и был счастливее, ибо жил тысячью жизнями одновременно, в том числе и жизнями людей будущего. Он первым в русской литературе создал образцы научной фантастики: будь то глубоко pessimистические новеллы «Последнее самоубийство» и «Город без имени» или откровенно оптимистический «утопический» /неоконченный/ роман «4338-й год», где прорастает вдруг античный взгляд на музыку как важное средство государственного воспитания. Современный читатель утопии Одоевского не сможет не увлечься тем спокойным патристическим чувством, с которым рассказано об обществах-семействах образованных народов, возглавляемых поэтами и философами, избавленных от страданий!

Белинский, полный сочувственной симпатии к утопии «4338-й год», писал, что «главная мысль романа, основанная на таком твердом веровании в совершенствование человечества и в грядущую мирообъемлющую судьбу России, мысль истинная и высокая...».¹⁰

В Одоевском-писателе, казалось, соединилось несоединимое: фантаст и реалист, ро-

мантик-идеалист и сатирик-обличитель /«О, это страшный и мстительный художник!» — восклицал Белинский/. Для одних он был знатный дворянин и царедворец, для иных — неблагонадежный и даже «красный», близко связанный с декабристскими кругами, а позднее — с петрашевцами. Булгарин не раз делал Одоевского «героем» своих доносов Дубельту... П. А. Плетнев писал В. А. Жуковскому в 1845 году: «Но что сказать об Одоевском? В нем все еще остается что-то неразгаданное».^{11/}

Внимание большинства поражали главным образом внешние, экстравагантные аксессуары жизни Владимира Одоевского: ливрейный лакей на запятках княжеской кареты и грандиозная библиотека; «черный шелковый, остроконечный колпак» на голове князя и сооруженный в доме Одоевских чудо-инструмент-оркестр «Себастьянон»; и, наконец, эта «львиная пещера», кабинет-лабиринт, заставленный /по рассказу И. И. Панаева/ необыкновенными столами с этажерками и с таинственными ящичками и углублениями, заваленный книгами и рукописями, химическими склянками и музыкальными инструментами, где хозяин, облачась в костюм средневекового астролога, предавался занятиям излюбленными предметами. Он погружался в законы акустики и гальванопластики, музыки и математики, философии и медицины, естественные и педагогические науки; писал журнальные критики и публицистические статьи, а то вдруг начинал сочинять рецепт... соуса к обеденному блюду...

Над чудачествами князя глумились. В честь его архаической учености сочинялись эпиграммы.

Современники не в силах были охватить взглядом ни всеобъемлющей деятельности князя, ни феномен его личности, где в парадоксальном единстве соединялись кроткий внешний облик /«добросердечие», «задумчивость», «тихий голос»/ и его пылающее страстностью демократическое нутро. Нет, не прекраснотелый мученик науки Фауст /герой «Русских ночей»/ был автобиографическим прообразом Одоевского, но скорее терзающийся вселенной любовью к человечеству добрый демон Сегелиель /герой неоконченной пьесы-сказки «для старых детей» — «Сегелиель, или Дон-Кихот XIX столетия»/. Не случайно демонический образ Сегелиеля, трансформируясь, перекожевывает в одну из лучших его новелл, «Импровизатор», одаривая героя-поэта коварным разоблачительным даром «всеведения» и «всепонимания».

В том-то и секрет, что князь Одоевский, будучи «человеком кабинета», одновременно не был им, ощущая перед собой некую бесконечную аудиторию, распахнутую в исторические дали. Сливаясь в общении со своими собратьями по перу, он в то же время был им чужд и неприступен. Критик Аполлон Григорьев, напомнивший в своей статье о Гоголе имя «одного из благороднейших наших писателей, мыслителя, стоящего слишком уединенно, слишком вдали от всех, князя В. Ф. Одоевского», писал: «Голос его звучал сурово с неприступных высот».^{12/}



А. А. Петров — первый исполнитель партии Ивана Сусанина.

Много позже знаменитый русский юрист, академик А. Ф. Кони, ценивший уникальное философское мышление и красноречие князя, совершенно справедливо заметил, что «в языке Одоевского гораздо более слышится оратор, чем писатель, — чувствуется трибуна, но не спокойный кабинет».^{13/}

Образцом редкого красноречия, ярчайшей публицистики может служить одно из последних сочинений Одоевского, написанное в 1867 году, — статья «Недовольно» /ответ на пессимистическое тургеневское «Довольно»/ — пламенный манифест гражданской совести русского писателя. Здесь сливаются, вдохновленные общей задачей, и «демонический» ген Одоевского-сатирика, и космическое чувство любви к человечеству во всех грядущих поколениях.

Сегодня трудно себе представить, что имя этого человека — одного из самых выдающихся и светлых умов России XIX века — было почти предано забвению на долгие десятилетия. В. Ф. Одоевского в полном смысле слова открывает заново XX век.

Волна интереса к фигуре Одоевского возникла уже в самом начале 900-х годов в связи

со 100-летием со дня рождения писателя. И здесь же — о, ирония судьбы! — возникает ошибка в трактовке даты его рождения, ошибка, имевшая продолжение вплоть до наших дней. Вместо 1804 года датой рождения писателя принимается 1803 год и — соответственно — 100-летний юбилей В. Ф. Одоевского отмечается на год раньше!¹⁴ Современные биографы и исследователи творчества князя, стремясь исправить ошибку, невольно впадают в новые, называя датой рождения то 30, то 31 июля, то 1 августа 1804 года. Источником ошибки послужили неточности в записях самого Владимира Одоевского, который на 47-м году жизни написал буквально следующее: «Я родился в 1804 г., с 30 июля на 1-е Авг.». Вдумчивый исследователь и издатель «Музыкально-литературного наследия» В. Ф. Одоевского — Г. Б. Бернандт ставит под сомнение, считает «опиской» именно 30 июля и исправляет дату на 31 июля¹⁵. Так, со времени издания «Муз. календарно-литературного наследия» разными биографами Одоевского начинают варьироваться две даты



М. М. Степанова — первая исполнительница партии Антонида.



А. Я. Петрова-Воробьева — первая исполнительница партии Вани.

рождения: 31 июля и 1 августа. Особенно настойчиво последняя, даже в «Музыкальной энциклопедии» /М., 1976, т. 3/. И почему-то никому не приходит в голову, что «опиской» князя скорее могло быть именно упоминание о 1 августа/ по причине естественной забывчивости о 31-м числе!/. Таким образом, опираться, по-видимому, следует на первоначальную дату, указанную Владимиром Федоровичем, тем более что исследование неопубликованных архивов князя подтверждает эти данные.

В одной из дневниковых записей 1856 года, хранящихся в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки (фонд 539, оп. 1, пер. № 33), Владимир Федорович Одоевский пишет: «30 июля, понедельник. — Сегодня мне минуло 52! т. е. осталось жить всего много много что лет 12. Но что такое 12 лет! Кажется, 1844-й год был вчера. С молода мне казалось, что старые люди жили удивительно долго, — а на поверку выходит не успеешь обернуться, как жизнь и прошла. А сколько еще у меня задуманных планов! Сколько не конченного...» / Публикуется впервые./

Обращает внимание точность, с которой



В. Ф. Одоевский. С портрета, рисованного его супругой О. С. Ланской. 1826 г.

князь пророчески «вычисляет свой век /он скончался через 12 с половиной лет, в феврале 1869-го/. По свидетельству современников, умирая, он говорил «о своей любимой музыке»...

Да, этой своей страсти он не изменял никогда, хотя и снискал при жизни лишь репутацию просвещенного музыкального дилетанта. Но, между прочим, и самого Глинку долгое время укоряли «дилетантизмом»! Таков был в те годы общий удел музыкантов России, еще не имевшей своих консерваторий.

«Музыка оставалась любимым предметом его занятий, трудов и бесед,— вспоминал М. П. Погодин после смерти Одоевского,— и было с кем ему делить свои мысли об этом дорогом для него искусстве: Глинка был самым близким к нему человеком, граф Михаил Юрьевич Виельгорский, брат его граф Матвей Юрьевич, Даргомыжский, а после Серов, знатоки, любители и сочинители были постоянными собеседниками. «Жизнь за царя» разыграна вся в его кабинете. «Руслан и Людмила» также»¹⁶ /разрядка моя.— Т. Г./.

Две последние фразы особенно примечательны. Мы еще вернемся к ним...

Страсть к музыке еще в годы учения в Московском университетском благородном пансионе принесла Владимиру Одоевскому известность пианиста и композитора, позднее — создателя своей системы «философии музыки». В 15 лет он сочинил фортепианный квинтет и с удивительной беглостью разыгрывал труднейшие фуги Баха. Позднее сочинял органные фан-

тазии, каноны, фуги и снискал славу блестящего чтеца нот. Его исполнительское искусство на клавишных сравнивали с пианизмом Глинки и Даргомыжского. А его свободное чтение партитур и сравнивать было не с чем. Даже Глинка однажды обратился к Одоевскому с просьбой проаккомпанировать певцу сцену из «Сусанина» по рукописной партитуре, ибо Владимир Федорович, по убеждению композитора, был «довольно знаком с оперою».

И все же не в исполнительском профессионализме состояла уникальность занятий Одоевского музыкой, а прежде всего в многосторонности подхода к ней: как к искусству, как к науке, как явлению духовной и социальной жизни вообще. В своих размышлениях и исследованиях Одоевский доходил до того, что объявлял музыку «важнейшим элементом как в человеке, так, следовательно, и в общественном организме». И это в то время, когда в просвещенных кругах России серьезное общественное значение придавали лишь литературе да театру, в крайнем случае — живописи. Одоевский первый из русских ученых-энциклопедистов рассматривал явления музыкального творчества в контексте общих концепций искусства, философии, истории, естественных наук. Он стал в России первым крупным критиком и теоретиком музыки, первым фольклористом, знатоком старинных народных и церковных ладов. Его пылкий ум исследователя и сердце музыканта стремились проникнуть в тайны законов образования русской мелодии, русской системы музыкального мышления. Это и сделало личность Одоевского бесконечно привлекательной для Глинки еще тогда, в 1826 году, когда они впервые сблизились в Петербурге, и обоим было по 22...

Попав в дом Одоевского, Михаил Иванович Глинка очутился в «горячей точке» кипения художественных страстей, где музыке было отведено самое высокое место. «У меня собираются разные *fanatico per la musica**, и мы гремим на всю улицу», — писал В. Ф. Одоевский в Москву А. Н. Верстовскому¹⁷. Вряд ли какой-либо другой из петербургских литературных салонов дышал подобным музыкальным «фанатизмом». Кстати, именно салон Одоевского в 20-е и особенно в 30-е и 40-е годы слыл в литературно-музыкальной среде самым демократичным.

Вспомним картину этого салона, или «дивана Одоевского», где не в шутку, а всерьез пребывала вся петербургская литература и музыка.

«На этом диване, — вспоминал В. А. Соллогуб, — Пушкин слушал благоговейно Жуковского; графиня Ростопчина читала Лермонтову свое последнее стихотворение; Гоголь подслушивал светские речи; Глинка расспрашивал графа Виельгорского про разрешение контрапунктических задач; Даргомыжский замышлял новую оперу и мечтал о либреттисте. Тут пребывали все начинающие и подвигающиеся в области науки и искусства — и посреди их

* *Fanatico per la musica* /итал./ — фанатики музыки.

хозяин дома, то прислушивался к разговору, то поощрял дебютанта, то тихим своим добросердечным голосом делал свои замечания, всегда исполненные знания и незлобия».

И далее В. А. Соллогуб излагает весьма характерную точку зрения на роль и место Одоевского в общественном движении: «Иным людям суждено быть безгласными участниками общего движения, другим — воинствующими двигателями в разлад с общественным равнодушием, третьим назначено быть духовною связью между устанавливающимися познаниями и звеном соединения между их представителями. Такое призвание выпало на долю... князя В. Ф. Одоевского»¹⁸.

Сегодня мы знаем наверняка: натура «последнего рюриковича» вмещала в себе все три названных «типа» и более того...

Взять хотя бы историю «Ивана Сусанина», многие моменты создания которого все еще остаются неясными. Сегодня невозможно сомневаться в том, что именно кабинет Одоевского и музыкальное подвижничество его хозяина сыграли решающую роль в создании того типа народно-героической музыкальной драмы, каким предстает сегодня перед нами великий оперный первенец Глинки — «Иван Сусанин». Разного рода догадки по этому поводу высказывали, по сути, все крупные биографы и исследователи творчества великого русского композитора — В. В. Стасов, Н. Ф. Финдейзен, Б. В. Асафьев, В. В. Протопопов. Наша задача — продвинуться дальше, чутко прислушиваясь к «голосам» подлинников, оставленных нам для чтения самими участниками и свидетелями событий, из которых родился подвиг русского композитора.



Встреча Нового, 1836 года у В. Ф. Одоевского. Среди гостей: Жуковский, Пушкин, Соболевский, Глинка.



М. И. Глинка слушает крепостных музыкантов. Портрет работы В. В. Даниловой и О. А. Дмитриева.

Есть основания полагать, что еще задолго до сочинения «Сусанина» вели беседы Глинка и Одоевский о судьбах русской музыки, все еще пребывающей в допотопных одеждах «сарафанно-кафтанных» покроя. Их вкус и «строгое славянское музыкальное чувство» (слова Одоевского) искали каких-то новых, отличных от модной «итальянщины» классических форм, очертания которых смутно предчувствовали оба — теоретик и практик. Но путь был труден. Впереди были долгие-долгие споры у камина или фортепиано, попытки найти «ключ» к созданию самобытной русской музыкальной системы. Впереди была почти четырехлетняя разлука, годы странствий композитора по Европе...

Но как же все-таки это произошло? Как сочинилась опера?

...То была связка отдельных нотных листов — зародыш «Ивана Сусанина», — когда Михаил Иванович, вдохновленный идеей, подаренной Жуковским, приехал к другу-князю. Да и к кому бы ему ехать, чтобы показать все эти уже сочиненные в дальних странствиях фрагменты, которые вот теперь, в Петербурге, должны сложиться в музыкальные картины для театра? Глинка уже ощущал себя автором большого патристического сочинения, жаждал, наконец, «собрать и обобщить себя в национально-героическом стиле» /слова Асафьева/. Он буквально бредил мелодиями, творя их с Моцартово расточительной легкостью.

Так и видишь эту сцену: задумчивый князь Одоевский — в кресле с любимым черным котом Мурром на плече; Глинка, без сюртука, — за роялем, азартный и восторженный, как бог. Играет, отбрасывая резко «отыгранные» листки, припевает и приговаривает:

— Узнаешь, князьинька, покрой сарафана-кафтана? Только сработанный со всеми ухищрениями музыкальной злости. Ась? Ну а каков двойной контрапунктик? Как видишь, итальянцем я искренне не стал. Сочиняю, как видишь, по-инаковому...

Князь долго молчит. Потом вдруг встает, не замечая падающего на пол кота, и бросается обнимать друга.

— А ты ведь нашел, Глинушка, нашел это! Нашел русский народный характер в музыке. Но позволь. Где же сценарий? Где стихи? Какие слова будет петь твой Сусанин?

— Пустяк дело, ваше сиятельство, была бы музыка — стихи отыщутся! Ты ведь помо-
жешь?

Чудаковатая беспечность Глинки могла обескуражить. Но только не Одоевского. Может быть, он один тогда и мог понять, что Глинка не сумел бы написать такой музыки на заданные слова, что для «разбега», для реформы музыкального языка ему не нужно было либретто. Кроме того, поначалу, оказывается, Глинка не собирался создавать оперу с разветвленной драматургией. В его воображении рисовалась некая картина, или, как говорил он, «сценическая оратория». «Помните, — писал Одоевский Стасову (уже после смерти композитора), — он хотел ограничиться лишь тремя картинами: сель-

Es Ciementenby
kayn Bredungy Dewpobung
Dobebung

our friends.

November 16 mar.

[illegible]

Housess with negroes
 and other persons in the
 city
 St. Thomas

Письмо М. И. Глинки к В. Ф. Одоевскому. Автограф (а, б, в).

ской сценой, сценой польской и окончательным торжеством. В этом виде с первого раза проиграл он мне всю оперу, рассказывал содержание, припевая и импровизируя, чего не доставало на листах»¹⁹.

Ровно ничего не было известно об этом первоначальном замысле Глинки вплоть до 1894 года, когда В. В. Стасов опубликовал «Новые материалы для биографии М. И. Глинки. Два письма князя В. Ф. Одоевского». Ничего не было из-



В. Ф. Одоевский. Акварель работы А. Покровского. 1844 г.

вестно и о посреднической, сотворческой роли князя в работе над либретто и во всем последующем процессе «пересоздания» первоначальной концепции в оперу. А ведь задача была редкой сложности: повернуть «картинно-ораториальное» мышление композитора в сторону конфликтной оперной драматургии!

Публикация этих писем Одоевского сделала целую революцию. Стасов назвал сообщения князя «просто — бесценными», ибо в них узнавалась «настоящая, еще не тронутая внешними соприкосновениями, натура Глинки»²⁰ /разрядка Стасова/. С совершенным доверием и восхищением отнесся к свидетельствам князя академик Б. В. Асафьев, найдя в них подтверждение своим выводам об «интонационном» творческом методе Глинки. Не случайно Асафьев назвал Одоевского «крупнейшей и единственной по сочетанию многообразных дарований и познаний... личностью в истории русской музыкальной культуры», «точнейшим и скромнейшим русским музыковедом, как никто познавшим, понявшим и оценившим Глинку»²¹.

Итак, оперы как таковой еще не было, когда впервые в рабочем кабинете князя Одоевского прозвучала музыка «Сусанина». Случай курьезнейший: большая часть оперной музыки была написана прежде слов. «Но без слов не могло



Эскиз финала оперы «Иван Сусанин». Первая постановка. 1836 г.



Занавес Большого театра (Петербург) с изображением эпизода оперы «Иван Сусанин».

быть ни оперы, ни картины», — говорил Владимир Федорович. Без совета и участия литераторов Глинке было не обойтись. Сам князь стихов не писал. Однако взялся привлечь к работе «поэтические силы». Пробовали сотрудничать с В. А. Соллогубом. Ездили к В. А. Жуковскому. На одно из совещаний по поводу либретто оперы был приглашен А. С. Пушкин. Но нелегко было найти поэта-смельчака и профессионального «умельца», который согласился бы «вгонять» стихи в ритмические схемы готовой музыки, да еще и для многоактной оперы! Наконец смельчак нашелся. Придворный поэт, личный секретарь цесаревича барон Розен взял на себя сей труд, но с условием, что князь Одоевский, как знаток музыки, будет расставлять ударения на нотах Глинки, соображаясь с намерениями композитора. И только по этим «метрам» Розен сочинял свои велеречивые стихи, составившие либретто; лишь некоторые сцены были написаны им прежде музыки.

Работа над оперой шла сложным ходом...

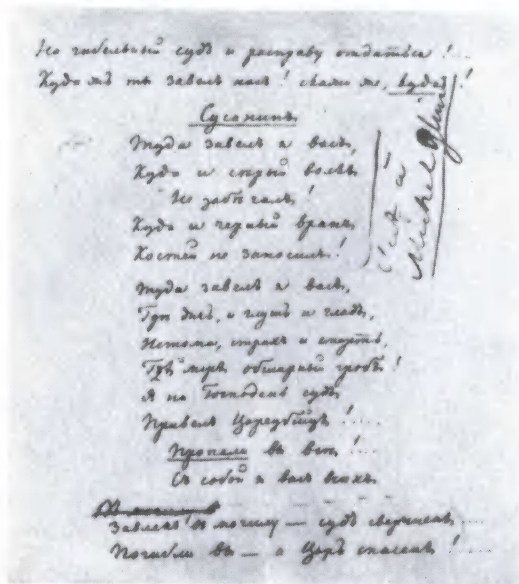
«В течение работы, — писал Глинка в своих «Записках», — немало обязан я советам князя Одоевского... Одоевскому чрезвычайно понравилась тема, взятая мною из песни лужского извозчика («Что гадать о свадьбе»). Он советовал мне напомнить об этой теме, которой начинается партия Сусанина, в последней его сцене

в лесу с поляками. Мне удалось исполнить это...»²²

Здесь мы подходим к самому главному.

Вряд ли Глинка отошел был так далеко от своих картинно-эпических, ораториальных тенденций (к которым он, кстати, вернулся в «Руслане и Людмиле»), не соприкасайся он с развитым драматургическим мышлением своего сподвижника и советчика, чьи лучшие литературные творения называли «драмами в прозе». «Напомнить о теме», то есть перекинуть «арки» памяти и связи между полюсами драмы — ее началом и концом, — не эта ли «подсказка» Одоевского побудила композитора создать одну из самых пронзительных сцен оперы — сцену воспоминаний Сусанина о доме и родных перед смертью?! Последовательно возникающие в оркестре мелодии арий Антонида, Собинина, Вани, возвращающие память к светлым, невозвратимым картинам семейного счастья, вносят в проникновенный предсмертный монолог Сусанина /«Давно ли с семьею своей»/ атмосферу подлинной психологической правды и высокой трагедии.

Как тонко заметил еще Н. Ф. Финдейзен, князь своим пылким воображением и одобрением музыки «во многом подогревал творчество Глинки». Одоевский в течение всей работы над оперой толкал фантазию и перо автора в сторо-



Стихи М. И. Глинки из либретто «Ивана Сусанина» (сцена в лесу). Автограф.

ну усиления и углубления ее драматических элементов. Об этом рассказывал и сам Владимир Федорович в своих знаменитых письмах к Стасову. Об этом же с красноречивой неопровержимостью свидетельствуют и нотные автографы Михаила Ивановича, в частности, автограф сцены Сусанина с поляками в лесу, где оказались зачеркнутыми менее драматические варианты арии «Чуют правду» и всей заключительной части сцены.

Князь трепетал за участь оперы. Он, как никто из друзей композитора, понимал, что глинкаская расточительность на мелодии и экономия на их развитие и разработку не ладились со сценическими условиями, могли убить эффект спектакля. Его пугали эти «сцены без конца», отсутствие развитых драматических кульминаций. «Ты ленишься — из рук вон. Право, грех, — не раз повторял он композитору, — пойми, что тебя хотят слушать... Бога ради, будь подоглязнее».

А чего стоила «подсказка» Одоевского в отношении хоров!..

Вот Глинка показывает ему сцену в избе, когда поляки приходят за Сусаниным.

— И ты, друг мой, хочешь отделаться здесь коротким речитативом? — вопрошает князь.

— Чем короче, тем лучше, тем удобнее для музыки. А сила впечатления уже необходимо должна произойти от самого положения, не так ли, Рюрик-князь?

— И ты хочешь наскоро пройти самое драматическое положение в опере? А диалог героя с хором — драму борьбы и сомнений — неужто упустишь? — настаивал князь.

Глинка задумывался. Лицо его вдруг искажается гримасой.

— Уж эти мне хоры! Будто ты, старшина князей русских, не знаешь, какой бесполезный это балласт в операх итальянцев и прочих басурманцев. Придут на сцену неизвестно зачем, пропоят неизвестно что, да и уйдут с тем же, с чем пришли.

Тут наступает очередь закипеть «теоретик»:

— При чем тут итальянцы-басурманцы! Мон шер, мы идем своим путем. Пойми же, без больших партий хора тебе не достать высоких кульминаций оперы, если ты желаешь «Сусанину» театрального успеха...

«Считаю одною из счастливейших минут моей жизни, — писал Одоевский Стасову, — когда мне удалось убедить Глинку, что хоры могут быть выведены из избитой итальянской колеи, быть отдельным драматическим лицом, имеющим свои страсти, свои порывы, свой язык... Эта мысль сильно поразила Глинку, он пожал мне руку и обещал подумать. Через несколько времени он принес мне сцену Сусанина с поляками в лесу, которая у него уже давно была задумана и где хор играет такую важную роль. Сцена в избе, когда поляки приходят за Сусаниным, а ровно и следующий затем хор русских были написаны им гораздо позже»²³.

Все истинно так! Ибо, как подтверждает современное глинковедение, восполняющая недостаток драматургического плана сцена русских крестьян и Собинина в лесу /«хор русских»/ сложилась у композитора где-то в начале 1836 года, то есть год спустя после составления так называемого «первоначального плана» оперы...

Наверное, мы действительно должны благодарить фортуна, что опера «Иван Сусанин» была вся разыграна в кабинете Владимира Федоровича Одоевского. К сочинению «Руслана



М. И. Глинка. Рисунок К. Брюллова.



Пушкин и Жуковский у Глинки. С картины В. Е. Артамонова.

и Людмилы» он, к сожалению, уже не имел столь близкого отношения, что, по нашему мнению, не украсило ее сценическую драматургию.

Есть целый ряд косвенных свидетельств тому, что Глинка и Одоевский «сусанинского периода» состояли в устойчивом альянсе, являясь даже в глазах близких друзей неким нерасторжимым единством. Чтобы залучить желанного в каждом доме музыканта Глинку, обращались к Одоевскому. Так почти в каждой коротенькой записке Жуковского к Одоевскому в эти годы содержится просьба о Глинке: «Нельзя ли пригласить Глинку?», «Вот бы нынче вам можно было побывать у меня с Глинкою», «Да смотрите же, чтобы нам залучить и Глинку». А в одной неопубликованной записке Жуковского читаем нетерпеливое: «...Да будет ли Глинка?»²⁴

Близкая дому Одоевских графиня Е. П. Ростопчина, весьма ценившая контакты с музыкой и сочувствовавшая «сусанинским» страстям друзей (известно ее стихотворение «На памятник, сооружаемый Сусанину», созданное в 1835 году), не раз зазывала на свои «обеды» Одоевского с Глинкою. Любопытно одно из неопубликованных писем Ростопчиной Одоевскому. Оно начинается отрывком из текста священ-

ного писания о «дне субботнем», после чего следует:

«Текст священного писания относится равно к фантастическому князю (книжнику и законнику, но не фарисею!) и к мелодическому Глинке (голосу вопиющему в пустыне, то есть среди необразованной степи!). Оба они приглашаются на ложку супа и пару слов, и обоих радостно и дружелюбно будет ждать радушная хозяйка»²⁵ (письмо не датировано, публикуется впервые).

Одна объективная особенность 30-х годов прошлого столетия, думается, помогла Глинке завершить свое большое дело: редкий дар общения, культ исповедальности, делавший внутреннюю жизнь людей — в ее самых потаенных уголках — открытой для друзей. Все личное и общественное выносилось на поверхность, становилось предметом обсуждения, горячих споров, пересмотров с точки зрения высшей морали, злободневных политических и эстетических критериев. Это была традиция определенной культурной среды, и прежде всего среды литературной.

Здесь и приоткрывается завеса «тайны», окружающей подвиг русского Орфея — Глинки.

Он был подготовлен при содействии сильной когорты деятелей русской литературы, в атмосфере пушкинской исторической мысли того времени, вобравшей в себя пафос творений и замыслов таких представителей эпохи декабризма, как Рылеев, Бестужев, Грибоедов, Кюхельбекер. «Взгляните на русского крестьянина, — писал Пушкин, — есть ли тень рабского унижения в его поступки и речи?» Все это словно по волшебному мановению перелилось в музыку глинкинского «Сусанина», в само авторское понимание образа героя. Вспомним, Глинка написал в перечне действующих лиц: «Иван Сусанин (бас) — характер важный». И как вступает его Сусанин на сцену с первым речитативом «Что гадать о свадьбе?», так и входит в музыку нечто степенное, коренное, неповторимо-благородное, что в русском народном характере кроется.

Может быть, и не решился бы Глинка повторить в новом оперном варианте сюжет «Ивана Сусанина» (при живом авторе первого оперного «Сусанина» К. А. Кавосе, дирижере императорских театров), если бы не «благословение» Жуковского, Пушкина, Одоевского. Может, действительно, не совладал бы с драматургией большой народной оперы, если бы не трепетная опека и советы князя Одоевского — его первого защитника в глухой и невежественной прессе.

Ведь, как остроумно писал лет через 13 после премьеры «Сусанина» князь Одоевский, «неумевшие различить доминанты от тоник и фальшиво распевавшие итальянские каватины... находили, что вся опера Глинки есть не иное что, как собрание русских песен... Публика просто не понимала ни музыки, ни статей о музыке»²⁶.

Сопутствие князя Глинке сделало Одоевского наиболее компетентным рецензентом его сочинений, сильным борцом за нелегкое дело композитора-первопроходца. И наоборот, творческое доверие Глинки Одоевскому, привлечение его пытливого ума в «горячий цех» композиторского поиска, быть может, и дали русской культуре первого столь крупного музыкального ученого и критика, чья мысль и в наши дни сияет немеркнущим светом «сусанинских» зорь...

Финальный штрих: Пушкин был не только на премьере «Ивана Сусанина», но и принимал участие в торжествах в честь его творца. Это было 13 декабря 1836 года, в доме А. В. Всеволожского, на обеде, где Пушкин, Жуковский, Вяземский и Мих. Виельгорский сочинили шуточный канон в честь Глинки на музыку Одоевского.

Об этом примечательном эпизоде с нескрываемой гордостью вспоминает Михаил Иванович в своих «Записках»...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит.: Орлова Е., Крюков А. Академик Борис Владимирович Асафьев. Л.: Сов. композитор, 1984, с. 237

² Глинка М. И. Литературное наследие. Л.—М.: Музгиз, 1952, т. I, с. 171.

³ Глинка М. И. Литературные произведения и переписка. М., 1975, т. 2, с. 66.

⁴ Глинка М. И. Летопись жизни и творчества. М.: Музгиз, 1952, с. 116.

⁵ Глинка М. И. Литературное наследие, с. 171.

⁶ Глинка М. И. Летопись жизни и творчества, с. 121.

⁷ Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М.: Музгиз, 1956, с. 119.

⁸ Из переписки князя В. Ф. Одоевского. — «Русская старина», 1904, № 4, с. 206.

⁹ Цит.: Время и судьбы русских писателей. М., 1981, с. 36.

¹⁰ Цит.: Одоевский В. Ф. Последний квартет Бетховена. М.: Московский рабочий, 1982, с. 32.

¹¹ Сочинения и переписка П. А. Плетнева, СПб., 1885, т. 3, с. 544—545.

¹² Цит.: Время и судьбы русских писателей, с. 42.

¹³ Кони А. Ф., Князь В. Ф. Одоевский. Речь в Публичн. Соед. Собрании Отделения русского языка и словесности. 16 ноября 1903 года. СПб, 1904, с. 5.

¹⁴ См., например, «Новое время». 1903, 26 июля; «Русская музыкальная газета», 1904, 17—24 августа.

¹⁵ Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М.: Музгиз, 1956, с. 6.

¹⁶ В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. Заседание общества любителей российской словесности. М., 1869, с. 57.

¹⁷ Одоевский В. Ф. Указ. соч., с. 490.

¹⁸ В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. Заседание общества любителей российской словесности. М., 1869, с. 90, 92.

¹⁹ Одоевский В. Ф. Указ. соч., с. 229.

²⁰ Там же, с. 594.

²¹ Асафьев В. В. Избранные труды. М., 1952. Т. 1, с. 155, 99.

²² Глинка М. И. Литературное наследие. Л.—М., Музгиз, 1952, т. 1, с. 163—164.

²³ Одоевский В. Ф. Указ. соч., с. 233.

²⁴ РО ГПБ, ф. 539, оп. 2, пер. № 5616.

²⁵ Там же, пер. № 953.

²⁶ Одоевский В. Ф. Указ. соч., с. 307.

Валентин Лавров

«Кличут и меня мои воспоминанья...»

По следам парижского архива И. А. Бунина

Удивительна жизнь великого русского писателя И. А. Бунина! Творческие взлеты, блеск всемирной славы, материальный успех драматически переплетались с периодами творческого зстоя, потерей миллионов читателей, нуждою. Он страстно любил Россию, но прах его лежит в чужой земле.

Даже за гробом рок преследовал Бунина-писателя: печальна судьба его парижского архива. Документы, которые теперь стали нам известны, помогают лучше узнать настроения Ивана Алексеевича.

I. СОКРОВИЩА, СБЫВШИЕСЯ С КУРСА

...Осень 1971 года, Париж. Из подъезда дома номер один по улице Жака Оффенбаха рабочие выносили старые чемоданы, коробки, ящики. Их грузили в стоящий у подъезда автомобиль.

— Осторожно, бросать не надо! — волновалась дама почтенного возраста. И она нервничала неспроста. Груз, который рабочие беззастенчиво перекидывали в автомобиль, был ценнее золота. Вывозился архив великого русского писателя, почетного академика и нобелевского лауреата Ивана Бунина. Здесь были дневниковые записи Ивана Алексеевича и его жены Веры Николаевны, рукописи, корректуры книг, обширная переписка со многими выдающимися деятелями культуры.

За погрузкой наблюдала новая владелица архива Милица Грин, доцент университета в Эдинбурге.

Архив к ней перешел по завещанию человека по имени Леонид Зуров.

Все эти материалы, безусловно, представляли исключительный интерес для истории культуры нашей Родины. Теперь в прямом смысле они уплывали к берегам Шотландии.

Это была последняя сцена драмы, связанной с бунинским архивом. А началась она с незна-



И. А. Бунин. 1922 г.

чительного. на первый взгляд эпизода, произошедшего более четырех десятилетий назад*.

II. РОКОВАЯ ВСТРЕЧА

В доме Буниных случился легкий переполох. К ним на виллу Бельведер в Грасе, что на юге Франции, без предупреждения явился некто Леонид Зуров. Было десять утра 23 ноября 1929 года. Жильцы виллы встретили его с любопытством.

Ему было двадцать семь лет. Роста высокого, армейской выправки, но сложения слабого. На удлиннном овале лица нервно подрагивали тонкие бледные губы.

Гость прибыл с двумя чемоданами. Вере Николаевне он приподнес каравай черного хлеба. Домочадцам — Галине Кузнецовой и Николаю Рошину (оба занимались литературным трудом) — вручил шматок сала, плетенку клюквы и банку килек.

В этот момент в гостиную вошел Иван Алексеевич. В руках он держал листы корректуры «Жизни Арсеньева», которые перед этим читал.

* О некоторых событиях, связанных с историей бунинского архива, автор рассказал, в частности, в «Альманахе библиофила», вып. 19. М., 1985. После этого стали известны новые документы, которые публикуются в настоящей статье.



И. А. Бунин. Фото 1920 г. с автографической надписью: «Ив. Бунин. 1920 г. В год, когда я стал эмигрантом».

Зуров, низко кланяясь и застенчиво улыбаясь, протянул ему — ну конечно же! — рогожный кулек антоновских яблок.

Впрочем, смущение быстро прошло, когда сели за стол. Выпив несколько рюмок очищенной «Померанцевой» (фирмы «Медведь», по пятнадцати франков за бутылку) и закусив кильками, Леонид Федорович стал рассказывать о Риге, которую покинул и где занимался малярным делом, а порой работал грузчиком.

Но главным призванием жизни, скромно признался гость, он считает литературную деятельность.

Еще годом раньше, Зуров прислал Ивану Алексеевичу «на милостивый суд» свои книги — «Кадет» и «Отчина». В последней содержалось историческое описание Псково-Печорского монастыря, где автор некоторое время подвизался в роли библиотекаря.

Бунин по своей природе был человек добрый и отзывчивый. Он всегда был готов протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждался. Внимательно прочитав «Отчину», он 7 декабря послал Зурову дружеское письмо*:

«Вилла Бельведер, Грас**. Очень занят, только теперь прочел вашу книжку — и с большой радостью. Очень, очень много хорошего, а местами прямо прекрасного. Много получаю произведений молодых писателей — и не могу читать: всё как будто честь честию, а на деле всё «подделка под художество», как говорил Толстой. У вас же основа настоящая. Кое-где портит дело излишество подробностей, излишняя живописность, не везде чист и прост язык, не нравятся мне такие слова как «сарь», «гармонь», «тяжелое тело города» и т. п.. Да все это, бог даст, пропадет, если только Вы будете (и можете) работать.

Кто вы? Сколько вам лет? Что вы делаете? Давно ли пишете? Какие у вас планы? Напишите мне, если можно, короткое, но точное письмо. Пришлите маленькую карточку.

От души желаю вам успеха.

Простите, что пишу без обращения — не знаю вашего отчества. Ив. Бунин».

Девятого марта 1929 года сразу в двух газетах появляются доброжелательные публикации — фельетоны, как в духе того времени называет их Бунин — о творчестве никому неизвестного Зурова. В этот же день Иван Алексеевич пишет ему:

«Милый Леонид Федорович, слава богу, рука у меня оказалась легкая: нынче о вас сразу два фельетона (и даже немножко местами пристрастные). Порадуйтесь им — и тотчас же постарайтесь о них забыть, чтобы по прежнему, не спеша и не переоценивая своих молодых сил, еще весьма нуждающихся в развитии всяче-

ском, работать только над тем, чего ваша душа просит, а не над тем, что могут похвалить. По этому поводу написал бы вам, может быть, полнее, да думаю, что вы и так поймете меня; кроме того чувствую себя весьма слабо: нынче в первый раз поднялся с постели после семидневного гриппа...»

Зуров пишет Бунину жалостливые письма, в черных красках живописуя о своем житье. Он рад был бы куда угодно уехать, лишь бы покинуть свое «захолустье».

В те дни он работал грузчиком в Рижском порту. Сообщая о тяготах этого труда, он рассчитывал вызвать сострадание у Бунина. Одновременно отправляет письма Галине Кузнецовой, которая имела значительное влияние на Ивана Алексеевича именно в эти годы. Ход этот был точен. Кузнецова, в пику Рошнину, которого недолюбливала, в присутствии Бунина расхваливает литературные способности Зурова, его «содержательные, умные письма».

На Ивана Алексеевича все эти разговоры, без сомнения, производили впечатление. К тому же он любил окружать себя людьми, причастными к литературе.

И Бунин решает помочь молодому писателю из Риги. 2 октября того же 1929 года Иван Алексеевич делает шаг, о котором будет в дальнейшем горько сожалеть. Он отправляет письмо следующего содержания:

«Вилла Бельведер, Грас.

Милый Леонид Федорович, из вашего письма ко мне заключил, что вы и хотите приехать в Париж, и немножко побаиваетесь: как я, мол, там устроюсь, как буду обходиться без языка и прочего. Заключение мое, может быть и неправильно, но всё таки хочу вам сказать: не бойтесь! Язык — вздор, множество не знающих его все таки устроились в Париже, работают и так далее. Устройтесь и вы, работу тоже найдете, надеюсь, — мы, по крайней мере, приложим к тому все усилия. А главное — в молодости все полезно, даже всякие передраги. В молодости нужно рисковать.

Из письма же вашего к Гале узнал, что вы приблизительно на днях (то есть числа 10-го октября) кончаете свою черную работу и садитесь приблизительно на месяц за работу литературную. Но не проживете ли вы за этот месяц все свои сбережения? А если так, что же у вас останется в кармане на дорогу и на первое время, на первые дни в Париже? Вообще очень жалею, что не знаю точно состояние вашей «кассы» и прошу: немедленно напишите мне (если можно, письмом *экспрессом*) о ваших денежных делах и соображениях с полной откровенностью. Затем: напишите, *когда именно* выходит ваш грузовой пароход? Точно ли установлена дата этого выхода, или она может и изменена быть (как нередко случается это с грузовиками) — и *сколько времени* будете вы в пути до Руана? Все это мне нужно знать в силу нескольких причин. Между прочим и потому, чтобы сообразить, к какому именно сроку нужно выхлопотать вам хоть малую толику денег из «Комитета помощи писателям».

* Копии цитируемых материалов находятся в собрании автора.

** И. А. Бунин пользовался другим написанием этого слова — «Грасс». Кроме того, изменена старая орфография, которой пользовался Бунин, на современную. В остальном сохраняются особенности его правописания.

Я написал о вас Кириллу Иосифовичу Зайцеву — то есть о том, чтобы он взял на себя устройство вам визы и вообще вступил с вами в переписку на счет всего этого дела вашего приезда во Францию. Он долго не отвечал, и я подумал: не лучше ли обратиться к более энергичному и быстрому человеку?... А нынче получил от Зайцева письмо, что он в эту переписку уже вступил с вами.(...)

И еще вопрос: знаете ли вы, что человек просто приехавший во Францию не имеет права на работу (во всяком случае в Париже) и что, стало быть, надо получить визу с правом на работу (без чего не берут, например, на фабрики)? Может быть, это относится только к фабрикам, а не к частной работе, — например, маларной. Но на всякий случай ставлю вас в известность и на этот счет...

К. И. Зайцев — человек, близкий к Бунину. Он стал автором первой — и единственной при жизни писателя — биографической книги: «И. А. Бунин. Жизнь и творчество». Она вышла в издательстве «Парабола» в 1934 году.

Иван Алексеевич был великим тружеником. — У меня от безысходного сидения за письменным столом, — говорил Бунин, — образовалась «писательская болезнь» — правое плечо стало выше левого.

Эту склонность к труду он подозревал и в других. Но, как вскоре выяснилось, он напрасно хлопотал о трудовых занятиях Зурова.

Когда Зуров стоял перед ним вытянувшись, словно на смотру, держа в руке рогожный кулек, Иван Алексеевич действительно полагал, что гость у него останется «на неделю», пока не устроится на службу. Но Зуров ехал не за этим. Он не собирался работать.

Бунин принял его гостеприимно. В вечер приезда в честь гостя Иван Алексеевич оставил срочную работу — верстку «Жизни Арсеньева». Вечером собрались в гостиной. Бунин читал свои стихи. Читал, как всегда, хорошо. Рощин, растроганный, вдруг прослезился и полез к Ивану Алексеевичу обниматься.

Зуров стихи слушал с нарочитой внимательностью и усиленно хвалил их.

На другой день его повезли в Канны. Зуров дивился на экзотические растения и, нюхая их, приговаривал:

— Важно пахнут!

Одет он был в полотняную рубашку навыпуск и похож на гимназиста. Он беспрестанно восхищался Иваном Алексеевичем, зорко следя за ним узкими зелеными глазами.

Вера Николаевна с тихой улыбкой смотрела на Зурова и думала: «Ведь и у меня мог бы быть взрослый сын. Не понимала я в молодости, что главное в жизни...» И за столом подкладывала ему лишнее пирожное.

Зуров отвели угол. Иван Алексеевич договорился с крупнейшей эмигрантской газетой — «Последними новостями», и теперь Леонид Федорович писал для них исторический очерк о Псковщине.

Галина, которая ввела его в бунинскую семью, уже 5 декабря записала в свой дневник:

«Он вошел в жизнь дома, но нельзя сказать, чтобы слился с нею».

В первые дни пребывания на «Бельведере» кто-то прозвал его Скобарем и Лосем. Эти прозвища прилепились к нему.

III. «...ЖИЗНЬ МОЯ СТРАШНА!»

Годы бежали. Жизнь на чужбине не приносила радости. Тоска по родине, лишение массового читателя, материальная нужда — из нее не вывела надолго даже Нобелевская премия, присужденная Бунину в 1933 году, — все это угнетало писателя. К этим тяготам позже добавилась злоедающая фашистская оккупация.

Этот, по определению самого писателя, «крестный путь» мужественно и безропотно делила прекрасная русская женщина, верная жена Вера Николаевна. Но усугублял трудности жизни Леонид Зуров.

Здесь уместно сделать маленькое отступление. Однажды автор этих строк получил конверт из Парижа. Его отправитель — А. Я. Полонский. В дни минувшей войны, еще совсем юным, он помогал французскому Сопротивлению.

В конверте лежало неизвестное прежде письмо И. А. Бунина от 10 февраля 1945 года. Оно адресовано отцу моего корреспондента — Я. Б. Полонскому, одному из близких друзей Бунина. Вот, в частности, что он в нем писал:

«...Дальше — на счет Зурова: тут... горячая просьба — ни слова не пишите мне на счет того, что я пишу вам о нем — избавь бог, попадет ваше письмо в руки Веры Николаевны, архистрастной защитницы Зурова во всем, во всем, *внушившей* себе любовь к нему как к родному и будто бы архинесчастному сыну, больному, одинокому, сироте и т. д. ...Зуров сидит на моей шее 15 лет, не слезая с меня, шантажируя моей великой жалостью к Вере Николаевне, из-за которой я не могу выгнать его, несмотря на то, что Зуров обращается со мной *сказочно* грубо, — раз даже орал на... меня *при Вере Николаевне* последними *матерными* словами, называл меня «старой сволочью» (как однажды орал и на нее: «свинья, свинья, старая дура!») — и что теперь... уж совсем распоясался, орет, что «теперь все общее», почему он и живет на «Jannette»*, что он будто бы имеет какие-то «исключительные полномочия» реквизиовать для себя какую угодно квартиру, грозит мне *доносом* за мою якобы малую любовь к России и т. д. Главное же, я написал: я не могу теперь содержать Зурова, я сам нищ, болен, слаб так, что задыхаюсь, взойдя в дом на лестницу, а Зуров может 15 километров пройти без усталы, жрет за пятерых, ходит на собрания, демонстрации и т. д. (...).»

В Отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина хранятся письма Бунина знакомому издателю. Он писал ему 29 декабря 1943 года: «...Что до Зурова,

* «Жаннет» (фр.)

Дорогой Иван Степанович,
 помогите, выручите нас
 11-й полк. В нашем доме
 Иван Александрович Бунин

Почетный Академик.

Меня
 Павел русский
 Павел Ив. Бунин

Княжеская, 27, тел. 18-21.

Визитная карточка И. А. Бунина. Надпись: «Дорогой Иван Степанович, помогите, выручите нас с Верой Николаевной. О нашем положении Вам расскажут. Ваш Ив. Бунин». На обороте рукой Бунина приписано: «Пароход «Спарта».

то жизнь его совсем не грустна... Вот моя жизнь от него действительно грустна, — грустна и даже, можно сказать, страшна...» (фонд 429. 4. 3.).

Теперь самое время ввести в наше повествование еще одно лицо — журналиста А. В. Бахраха (1902—1985). Он был знаком с Иваном Алексеевичем с двадцатых годов, получал от него письма. Поздней осенью сорокового года — такого трагичного для Франции! — Александр Васильевич по воле случая оказался недалеко от Граса. Ему вздумалось «забрести» к Бунину, повидать его. Этот визит закончился тем, что Иван Алексеевич попросил Бахраха остаться у него в доме, ибо тому просто некуда было деться...

Южная часть Франции, где находится Грас, была оккупирована фашистами — сначала итальянскими, а позже немецкими. Одним из первых мероприятий, которое они начали проводить, стало вылавливание евреев и направление их в концлагеря. Бахрах был евреем. Попадись он оккупантам в бунинском доме, те вряд ли стали бы церемониться с нобелевским лауреатом.

Бунин не позволял страху попираť свое достоинство — достоинство русского человека. Вот почему он не только предоставил свой

кров, но делил кусок хлеба с теми, кто в нем нуждался.

Александр Васильевич провел в бунинском доме все военные годы, по своей воле исполнял у Ивана Алексеевича секретарские обязанности. Он сообщал мне немало интересных сведений о том времени.

Писал Бахрах, в частности, о той тяжелой атмосфере, которую создавало пребывание Зурова в доме Бунина. «Первое, вспоминал Александр Васильевич, что меня поразило, было то, что когда Зуров выходил из своей комнаты, хотя бы на минутку, он непременно запер ее на ключ... У нас были установлены повинности на кухне, и каждый (конечно, кроме Ивана Алексеевича) должен был поочередно заниматься растопкой плиты и выработкой меню (большого искусства тут не требовалось, да и воли фантазии нельзя было дать — макароны или чечевица уже почитались роскошью!). До того все шло мирно и никогда и ни с кем не было каких-либо пререканий, но тут Вера Николаевна заявила, что сама будет дежурить за Зурова, потому, мол, что кухонные обязанности могут отвлечь его от работы над романом. Этот повод, естественно, вызвал некоторый ропот и, главное, возмутил самого Бунина.

Напряженность создавалась еще из-за того, что Зуров мог без слов напомнить о своем присутствии. Под чрезмерно вежливой оболочкой он умел вдалбливать в собеседника свое собст-



В. Н. Бунина. 1927 г.

венное мнение, не слушая возражений. Спорить с ним было не только трудно, но совершенно бессмысленно...»

Иван Алексеевич втихомолку — в каком-то смысле он побаивался резкостей Зурова — уходил в свою «обитель». Когда фашистов изгнали из Франции, Бахрах покинул Грас. Но обстановка в бунинском доме оставалась накаленной. Об этом говорит письмо Ивана Алексеевича Бахраху 25 января 1945 года:

«...Январь лютый — холод, снег. С 29-го декабря обедаю и завтракаю у себя в комнате, чаще всего с Верой Николаевной, Зурова вижу раз в неделю, случайно встречаюсь с ним где-нибудь на ходу, и твердо решил больше не разговаривать с этим мерзавцем во веки. 29-го вышел в сад, набрал хворосту, отнес его и запер в комнату возле бывшей вашей (наверху) — выскивает, как бешеная собака: «Где мой хворост?» — «Не знаю». — «Вы сейчас взяли и заперли на замок!» — «Не брал». — «Нет, взяли!» — «Что же мне божиться, что ли?» — «А что же вам стоит побойться! Вы нахал!» — «Вы с ума сошли?» — «Вы жук, вы отлично умеете вообще устраивать свои делишки! У кого учились! У Чехова, у Толстого?» и т. д.

Я остался на этот раз совершенно спокоен — даже отпер комнату и показал ее, — хворост был не его...»

И вот в такой непереносимой обстановке он нашел в себе духовные и творческие силы создать шедевр — сборник рассказов «Темные аллеи». Удивительно!

ИВ. БУНИНЪ

МИТИНА ЛЮБОВЬ

ПАРИЖЬ

1925

Издания И. А. Бунина.

IV. «ЖЕСТОКОЕ И БЕССМЫСЛЕННОЕ ДЕЛО»

Итак, война застала писателя в далеком Грасе. Внизу, в столовой, он развесил большие карты западных районов СССР, раздобыв их где-то. На картах он флажками отмечал линию фронта. Помогал ему в этой деятельности, прозванной домашними не без иронии «штабной», большой радиоприемник «Дюкрет», купленный им во времена «жирных коров» — после получения Нобелевской премии.

Как никогда аккуратно и регулярно ведет он дневник. С гордостью за соотечественников пишет о том, «как свирепо бьются русские» (9 июля 1941 года), а 10 августа отмечает: «Русские уже второй раз бомбардировали Берлин». Сетует, что французские газеты, выходявшие тогда под контролем немцев, «довольно лживы, хвастливы, русские даются нам в извращенном и сокращенном виде» (13 июля 1941 г.).

Он презрительно отзывался в разговорах, даже в многолюдных местах, «о бандитах Гитлере и Муссолини», которые намерены «пожрать весь мир». Он во весь голос называет их «холуями», а в ответ на предостережения, что такие речи небезопасны, отвечает со спокойной улыбкой:

— Это вы тихони. А я не могу молчать, пока эти двое... (здесь обычно следовало крепкое слово) собираются править миром!

Но немцы все глубже продвигались к Москве, все тревожнее делались сводки Совинформбюро, которые сквозь помехи принимал «Дю-



крет» в далеком Грасе. Бунин все дальше и дальше на восток отодвигал красные флажки. Это его безмерно удручало. И однажды он не выдержал, сорвал со стены карты...

Позже, 29 августа 1944 года, он признался Вере Николаевне:

— Даже если бы немцы и сумели занять Москву, и мне предложили туда ехать, дав самые лучшие условия, — я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, видеть, как они там командуют... Чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы! (Вера Николаевна добросовестно занесла эти слова в свой дневник).

...Но это будет позже, когда Красная Армия сломает хребет фашистской Германии, а пока что старый писатель тревожится за судьбу Родины и писал в дневнике о «жестокоем и бессмысленном деле» — войне.

* * *

В начале августа сорок первого года Тургеневская библиотека в Париже, основанная в прошлом веке великим русским писателем и хранившая немало ценных изданий и рукописей, получила приказ оккупационных властей: «Срочно очистить помещение!»

Старая библиотекарша была озабочена девятью объемистыми чемоданами, сданными ей на хранение И. А. Буниным и содержавшими часть его архива. С трудом удалось ей отыскать адрес. Она срочно писала в Грас: «Примите меры, если хотите спасти ваши бумаги!»

Иван Алексеевич всполошился. Как можно спасти что-то в Париже, находясь в сотнях миль от него? Тем более что война разметала всех знакомых...

Написал своему другу «с незапамятных времен» писателю В. К. Зайцеву. Но тот жил вне Парижа и помочь не мог. Обратился еще кое к кому из знакомых, отправил послание и писательнице Н. И. Берберовой:

«...Если возможно, я бы предпочел, чтобы мои чемоданы (количеством девять) были перевезены на мою парижскую квартиру. В этом случае, сообщите мне, сколько будет стоить перевозка, чтобы я мог почтой вам возместить эти расходы. Если же это слишком трудно сделать, сохраните мои чемоданы с вашими. От всего сердца благодарю вас за ваши заботы, Нина... Что вы делаете? Я — ничего. Только читаю — и всё... И ничего нового в моей грустной жизни...»

Это письмо датировано 23 сентября 1941 года. Ровно за месяц до этого — 24 августа Зайцев (кстати, именно в его доме 4 ноября 1906 года Бунин познакомился с Верочкой Муромцевой — своей будущей женой), весьма озабоченный поворотом событий, просил в письме Берберову: «...Получил из Парижа известие, что остаткам Тургеневской библиотеки предложено до октября очистить помещение. Там кое-что осталось — для меня самое важное, что остался архив Ивана. Библиотекарша, думая, что я в Париже, просит содействовать в подыскании какого-нибудь «хоть бы сарая». Меня полки,

шкафы и даже 300 (их) случайных книг мало интересуют... Но 9 Ивановых чемоданов? Там рукописи его, письма!

Мы с Верой (женой Зайцева. — В. Л.) надумали так: нельзя ли эти 9 чемоданов поместить у вас? Будь у меня в Париже сколько-нибудь подходящее помещение, разумеется, взял бы сам. Но у нас даже подвал завален всякой рухлядью — и притом сырой, там чуть не погibli мои некоторые книги и письма.

Знаю, что у вас тоже загружено все чрезвычайно, но все-таки — может быть, и найдется угол? (Но как с передвижением?) Сколько стоило бы доставить? Все вопросы существенные. Вы Ивана любите, я знаю, и дело серьезное... Ведь очень уж будет горестно, если архив пропадет...»

Все понимали ценность бунинского архива, но он... оставался лежать в Тургеневской библиотеке, месте в то время крайне ненадежном. Наконец из деревни вернулся Зайцев. После многих хлопот чемоданы с бумагами были перевезены на улицу Лурмель, где находились русское общежитие и столовая.

Казалось бы, судьба уgomонилась и бунинский архив может спокойно дожидаться счастливых времен — изгнания немцев и возвращения своего законного владельца. Тем более что «Дюкрет» приносил все чаще и чаще утешительные новости. «... Все таки думаю — вот вот будет большое и плохое для немцев» — так писал в дневник Иван Алексеевич 7 сентября 1942 года.

Через девять дней, 16 сентября, полная боли и ненависти к врагам России запись: «...День и ночь идут (под Сталинградом. — В. Л.) уже с полмесяца чудовищные бои — и, конечно, чудовищные потери у немцев. К концу войны в Германии останутся только мальчишки и старики. Полное сумасшествие! Ну, Царицын — а дальше? Только сумасшедший кретин может думать, что он будет царствовать над... Россией...»

«...И с Царицыном и с Кавказом немцы все таки жестоко наравались. Последние дни им просто нечего сказать: «берем дом за домом...» Перебили их русские, конечно, в ужасающем количестве. И то хлеб», — это запись 23 сентября 1942 года.

Читая дневники Бунина, этого старого и много видевшего на свете человека, называющего города по старинке и писавшего с ятью, видишь его твердую, незыблемую в самые трудные для нашего государства дни уверенность в конечной победе великого русского народа. И что интересно: хотелось бы найти в дневниках какие-то записи Бунина о парижском своем архиве, который был писателю очень и очень дорог, но таких записей нет. Все для него заслонила война, беспокойство за судьбу Родины.

...Продолжим историю «9 чемоданов». В темном и сухом чулане на улице Лурмель бунинский архив спокойно пролежал чуть больше года. Выяснилось, что и это место неверное. И вот однажды ранним утром у общежития за тормозил грузовик, набитый немецкими сол-



И. А. Бунин. Фото с надписью: «1907 г. «В середине нашей жизненной стези». Данте. Дорогому А. И. Назарову Ив. Бунин. 9.Х.1950. Париж». Автограф.

датами. Словно на штурм неприступных позиций, они ринулись в атаку. Каждый знал свой маневр: одни оцепляли здание, другие врвались в помещения, грубо подымая еще спавших людей, в основном престарелых. Они обыскивали их, распарывали матрасы и подушки, простукивали стены — нет ли тайников? Бумаги вываливались на пол, их топтали сапогами; немцы действовали четко и жестоко.

В этот день погибло много всяческого добра, в том числе и различные архивные материалы и старые книги. Среди русских, здесь обитавших, были произведены аресты.

Арестовали и отправили в концлагерь Дмитрий Михайловича Одица — профессора-историка. Он занимал пост председателя правления Тургеневской библиотеки. Как никто другой, он понимал громадное значение для русской и мировой культуры тех редчайших книг и рукописей, которые фашисты бандитски вывозили в «фатерланд».

Здесь сделаем маленькое отступление. Еще до начала Великой Отечественной войны один из главарей фашистской Германии, Альфред Розенберг, с 1923 года главный редактор ее

центрального органа «Фёлькишер беобахтер» и крупнейший идеолог «нового порядка», разработал план тотального разграбления культурных ценностей из Советского Союза и других оккупированных стран. План осуществлялся с педантичной неукоснительностью...

И вот Д. М. Одинец попытался воспрепятствовать этому вандализму XX столетия. Он начал ходить по разным «инстанциям», требуя возвращения украденных ценностей. С отчаяния написал протест... Гитлеру. И вот, как горько шутили в Париже, «ответ пришел ночью, в сапогах». Но бумагам Бунина вновь повезло. Сейчас трудно объяснить причину, но вероятнее всего, что фашисты не добрались до них. Архив писателя предстал перед ним почти в полной сохранности, когда он первого мая 1945 года, после шестилетнего отсутствия, вновь вернулся в Париж.

V. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД

Бунин при жизни не сделал никаких распоряжений относительно судьбы своего архива. Порой в печати появляются различного рода утверждения по этому поводу, но они, в общем-то, могут строиться лишь на догадках и предположениях, как лишенные серьезной документальной основы.

Ясно лишь одно: Бунин не мог оставить ни капитала, ни недвижимости Вере Николаевне, прожившей с ним без малого полвека. Но он оставил ей свой богатый архив...

8 ноября 1953 года Вера Николаевна занесла в свой дневник скорбную и лаконичную фразу: «В 2 часа ночи скончался Ян».

Так она называла своего мужа.

Архив перешел в ее владение. Но она бумаги не продавала.

Зрелище-ли ты, павучьё фарсийскій,
Какъ въ луцъ весной «бѣлка»
Пляшутъ дѣвушки руссійски
Подъ свирелью ластушка?
Какъ, склонясь главами, ходятъ,
Башмаками въ лады ступать,
Тихо руки, вздохъ поводятъ
И плечами говорятъ?
Какъ ихъ лентами златыми
Тѣла бѣлыя блестятъ,
Лодъ жемчугами драгими
Труднѣе живыя дышатъ?

Державинъ

Ей предстояло прожить еще семь с половиной лет. Умерла Вера Николаевна в апреле 1961 года. Она оставила о себе добрую память: немало материалов из архива успела передать на Родину. Они хранятся теперь в отделе рукописей ГБЛ имени В. И. Ленина.

Но большая часть архива, в том числе ее собственные бумаги — предмет для исследователя весьма интересный, попали к Л. Ф. Зурову. Министерство культуры СССР предприняло шаги для возвращения бунинского наследия на Родину. К новому владельцу архива были командированы писатели Л. В. Никулин и В. И. Ажаев. Немало хлопот по этому делу возложили на себя заместитель министра культуры СССР К. В. Воронков и первый секретарь правления Союза писателей СССР К. А. Федин.

Самое непосредственное и деятельное участие в этом деле принял видный советский филолог и писатель С. А. Макашин. Он был одним из редакторов 84-го тома «Литературного наследства», посвященного И. А. Бунину. (Вышел в свет в двух книгах в 1973 году.) Еще в 1968 году он прибыл в Париж и беседовал с Зуровым.

— Советское правительство в случае перемещения архива на Родину может гарантировать вам, Леонид Федорович, пожизненную пенсию, — сказал Сергей Александрович. — Или, если пожелаете, вознаграждение вам будет выплачено сразу. В валюте, разумеется...



Г. Н. Кузнецова.



И. А. Бунин в кругу домочадцев. Слева от него — Г. Н. Кузнецова, справа — В. Н. Бунина и Л. Ф. Зуров.



Парижская квартира И. А. Бунина.

Добавим, что Вера Николаевна в последние годы жизни получала пенсию от нашего государства.

Зуров долго хранил молчание. Казалось, он думает о чем-то далеком, не имеющем отношения к существу вопроса. Потом медленно произнес:

— Мебель... Мебель из этой квартиры находится в ломбарде. Выкупите ее сначала, потом мы поговорим об остальных делах.

Все его поведение выдавало психически не очень здорового человека. Попытки Макашина наладить толковую беседу разбивались на несурзную «мебельную проблему».

На следующий год Макашин вновь прибыл в Париж, но Зуров от встречи с ним уклонился. Ограничились телефонным разговором. Леонид Федорович рассказал о том, что лишь недавно вышел из клиники.

Наступила осень 1970 года. Бунинский том «Литературного наследства» готовился большим коллективом филологов, писателей, музейных работников. Макашин был сильно загружен по работе, но он еще не терял надежд по перемещению архива Ивана Алексеевича, надеясь включить некоторые из поступивших материалов в «Наследство».

Он решил предпринять еще одну попытку переговоров с Зуровым. Приведем некоторые документы, прежде в печати не появлявшиеся, имеющие прямое отношение к нашей теме.

21 октября, уточняя свои полномочия в свя-

зи с предстоящей поездкой во Францию, Макашин писал в Секретариат Союза писателей СССР: «...Л. Ф. Зуров не только враждебный нам (да и всему), но и психически и физически больной. Недавно был на грани смерти. Живет совершенно один. У него нет не только родственников, но и друзей и знакомых. Это себя-любец, патологически занятый только собой и патологической же слежкой за своим здоровьем».

Нахождение значительной части архива Бунина (которого он, кстати сказать, ненавидел) у такого человека — почти наверняка обрекает этот архив на гибель.

Познакомившись лично с Зуровым, я уже не питаю почти никакой надежды на успех переговоров. Но вот все же еще один проект разговора, хотя бы самого предварительного...»

Далее следовали дельные предложения, которые Секретариатом были поддержаны.

В декабре 1970 года Сергей Александрович попал в Париж. Ему удалось встретиться с Зуровым. Тот рассказал, что мебель из квартиры Бунина, находившаяся в ломбарде, выкуплена его другом Натальей Кодрянской.

— Стало быть, теперь нет препятствий для приобретения нами архива? — спросил Макашин.

— Я не собираюсь его продавать, — отвечал Зуров.

— Ведь у вас нет наследников, — возразил Макашин. — Все может пропасть...



И. А. Бунин. Конец 1920-х — начало 1930-х гг.

— Ошибаетесь! Есть человек, которому все достанется...

Длительные хлопоты оказались пустыми.

И все же Зуров показал кое-что из рукописей Ивана Алексеевича, его книги с завещательными пометами для будущих издателей...

Все это было очень интересно, но — увы! — недоступно.

10 сентября 1971 года Зуров, пренебрегши здоровьем, забрался в Пиренейских горах выше, чем следовало, и умер от разрыва сердца...

Что касается «наследника», то тут он оказался прав. Им стала Милица Грин. По слухам, Зуров знал ее в далекие времена «розового» детства, когда жил в Прибалтике.

Так или иначе, но бунинские бумаги уплыли к берегам Северного моря — в Эдинбург.

Знающие люди, в частности Н. В. Кодрянская (писательница, лично знавшая Ивана Алексеевича с 1937 года), А. В. Вахрах и другие утверждали, что завещание Зурова не было оформлено надлежащим образом и юридической силы не имело.

Ясно стало одно: когда Зуров вел переговоры с С. А. Макашиным, архив был уже продан в Эдинбург. Теперь известно, что он в конце жизни получал оттуда какую-то куцую ренту. Зуровское двуличие предстает в этом эпизоде во всей своей красе. Более того, даже договор с Грин (а что он был, сомнений нет!) не мешал ему разбазаривать архив: Зуров предлагал Макашину бунинские автографы за наличные деньги, рассказывал, что продал какому-то богатому американцу письма М. И. Цветаевой, адресованные Вере Николаевне, и т. д.

Вот с таким-то человеком судьба столкнула в недобрый час Бунина. Может возникнуть вопрос: почему долгие годы Иван Алексеевич терпел его, почему с истинно христианским смирением сносил все его оскорбления?

Думается, что Бунин сам ответил на этот вопрос: «Терплю ради Веры...» У Веры Николаевны к Зурову было сильное материнское чувство. А детей терпят даже тогда, когда они плохого характера и дурного нрава.

VI. «БЕСКОНЕЧНО ГРУСТНОЕ...»

Борьба за возвращение архива не привела к желаемым результатам... Но Макашин не сложил руки. Затратив немалые усилия, он сумел установить имя «наследницы» и ее адрес.

24 декабря того же 1971 года он отправляет на имя Грин письмо: «Вероятно, вы слышали от покойного Л. Ф. Зурова о том, что мы в течение ряда лет подготавливали издание специального «бунинского тома» (две книги, общий объем которых 100 печатных листов)... Нам стало известно, что по завещанию Леонида Федоровича все хранившиеся у него бумаги Ивана Алексеевича, а также Веры Николаевны, а вместе с ними иконографические материалы и мелкие предметы обстановки парижской



И. А. Бунин на вручении ему Нобелевской премии. Стокгольм, декабрь, 1933 г.

квартиры Буниных перешли по завещанию к вам.

Было бы неискренно скрывать от вас, что для всех нас, любящих Бунина, для всех всё и всё множась тысяч его почитателей, есть что-то бесконечно грустное в том, что архив и предметы обстановки великого классика России будут храниться не на его родине, а на чужбине*.

Далее Сергей Александрович спрашивал Грин: нет ли возможности теперь или позже купить у нее архив для вечного хранения и широкого научного использования одним из государственных учреждений нашей страны? Если Грин откажет в этой просьбе, то не согласилась бы она дать для «бунинского тома» хотя бы краткий информационный обзор перешедшего к ней архива? Этот материал будет иметь важное научное значение.

Что сделала Грин, получив это корректное письмо? Она просто не стала отвечать на него.

Восьмого февраля 1972 года Макашин вновь пишет в Эдинбург. Наконец Грин ответила: «У меня не было еще возможности приступить к разбору бунинского архива, и вряд ли я смогу это сделать в ближайшее время. Поэтому на вашу просьбу описать содержание архива должна ответить отрицательно. Да, откровенно говоря, сомневаюсь в том, есть ли там что описывать, т. к., насколько мне известно, там ничего значительного не осталось».

Не будучи знакомым в деталях с содержанием архива, я не могу делать никаких планов насчет его будущего».

Грин писала в Москву неправду. Она уже вовсю работала с архивом и отлично знала ему цену.

Действовала она весьма энергично. Уже

* Деловая переписка, связанная с архивом И. А. Бунина, публикуется по оригиналам, представленным С. А. Макашиным в распоряжение автора настоящей статьи.

в конце 1971 года в выходящем в США на русском языке «Новом журнале» Грин опубликовала ранние письма И. А. Бунина Зурову.

Когда она отправляла письмо Макашину, в Нью-Йорке уже начинали издавать дневники И. А. Бунина, подготовленные к печати М. Грин. Уж ей-то было хорошо известно, что «там» находится! Ведь только дневниковые записи Бунина появлялись в журнале из номера в номер на протяжении без малого *трех лет!*

Позже в ФРГ вышли три тома, озаглавленные несколько странно — «Устами Буниных». При чем «уста»? Непонятно. Еще непонятнее, зачем публикатору понадобилось перемешивать дневниковые записи Ивана Алексеевича и его жены.

Мировая практика публикации аналогичных документов такого метода не знает.

Но главная беда в том, что публикации М. Грин удивляют низким текстологическим и комментаторским уровнями. В них бесконечное число несуразностей, неверно прочтенных в оригинале слов, фактических неточностей. Что стоят лишь купюры в тексте, никак не объясненные публикатором! Их буквально сотни и сотни.

Что скрывается за купюрами? Ответить точно на этот вопрос нет возможности. Но нет сомнения, что Грин «замазала» все критическое по отношению к Зурову. Вполне вероятно, что она не опубликовала записи Бунина

*В письмах: как бог, я
обращаю
Познал тоску всех стран
всех времен.
Ив. Бунин
Париж, 1933*

И. А. Бунин. Надпись на книге «Избранные стихи». Париж, 1929 г. («Я человек: как бог, я обречен / Познать тоску всех стран и всех времен. Ив. Бунин. Париж, 1933»).

патриотического характера, о его намерениях переместить архив на Родину и т. д.

Прочитав «Уста...», А. В. Бахрах писал мне из Парижа 23 августа 1981 года: «Мне кажется невероятным, что бунинский архив при помощи завещания медицински ненормального человека попал в Эдинбург, который с русской литературой (...) никак и ничем не связан. Ма-



Разворот книги И. А. Бунина.



И. А. Бунин в рабочем кабинете. Париж, 1934 г.

дам Грин публикует бунинские материалы, произвольно их цензурируя, даже, быть может, фальсифицируя. Я долго и с умыслом не читал первый том ее «Устами Бунинных» и, когда мне кто-то его вручил, пришел в неистовство: в этом томе, касающемся доэмигрантского периода, свыше 200 цензурных изъятий. (В двух других томах их гораздо больше. — В. Л.) Помимо всего, крайне глупо печатать записи Бунина рядом с записями Веры Николаевны. Представьте себе только издание толстовских дневников, которые перемежались бы со страницами дневников Софьи Андреевны. Что касается дневников Ивана Алексеевича грасского периода, то я запомнил некоторые страницы, которые он мне когда-то читал, но, конечно, я их в «Устах...» Грин не видел: совершенно ясно, что она убрала все, что касалось Зурова...

Кроме того, она рассказывает, что не напечатала еще один короткий рассказец, написанный Буниным непосредственно по-французски. Это такая несусветная чушь, что мне за нее стыдно. Надо не понимать азов в характере

и личности Бунина, чтобы думать, что он мог писать прозу по-французски...»

К счастью, судьба бунинских мемориальных вещей оказалась счастливей его бумаг. Об этом — ниже.

VII. «ГДЕ ЖЕ ИЗДАДУТ, КРОМЕ МОСКВЫ!»

Читатель помнит, что мебель Бунина находилась в ломбарде. Выкупила ее писательница Н. В. Кодрянская. Она отправила эти вещи, представлявшие большую мемориальную ценность, в СССР, в город молодости Ивана Алексеевича — в Орел. Государственный музей И. С. Тургенева, куда поступил дар Кодрянской, получил письменный стол Бунина, столик для рукописей, диван, на котором скончались Иван Алексеевич и Вера Николаевна, пишущую машинку «Ремингтон», кресло и три стула, телефонный аппарат, картины из квартиры Бунинных и другие памятные предметы.

Руководство этого музея направило благодарственное письмо С. А. Макашину, много содействовавшему поступлению этих предме-



И. А. Бунин. Париж, 1934 г.

тов: «Давняя мечта Веры Николаевны Буниной таким образом исполнилась после ее смерти. Она всегда очень доброжелательно относилась к музею И. С. Тургенева и желала, чтобы хотя бы часть вещей Ивана Алексеевича попала в наш музей...» (14 мая 1973 года).

Не упустим случая сказать несколько теплых слов и в адрес самого Государственного музея И. С. Тургенева. Сколько усилий, изобретательности и даже вдохновения затратили его сотрудники, чтобы создать мемориальный комплекс И. А. Бунина! В 1979 году они выпустили «Описание материалов...», посвященных И. А. Бунину. Уже тогда он содержал 3035 единиц хранения, многие из которых были получены в дар от многочисленных поклонников таланта великого писателя.

Среди дарителей немало и наших зарубежных соотечественников. Та же Н. В. Кодрянская передала Отделу рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина письма к ней Бунина, И. Ф. Стравинского, рукописи Н. А. Тэффи, книги с дарственными надписями Бунина, А. М. Ремизова и других. От А. Я. Полонского (Париж) поступили более двух десятков писем Бунина, послание Екатерины II и фотокопии двух других ее писем, письма П. Мериме. Исключительный интерес представляет книга «А. П. Чехов в воспоминаниях современников», вышедшая в Москве в 1947 году. Многие ее страницы хранят следы Бунина-читателя, вдумчивого, придирчивого, умного!

Когда мы произносим имя поэта и художника Давида Бурлюка, то невольно вспоминаем молодого Маяковского, чье поэтическое становление прошло не без его влияния. Свой богатый архив Бурлюк передал главной библиотеке страны.

Трудно сложилась судьба писателя В. Б. Соинского. В 1920 году он оказался за рубежом, прошел от Константинополя до Парижа, сражался против фашизма, стал бойцом французского Сопротивления. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За боевые заслуги». Вернувшись на Родину в 1960 году, он передал в дар Центральному Государственному архиву литературы и искусства более ста писем М. И. Цветаевой, А. М. Ремизова, М. А. Осоргина, их рукописи и фотографии — всех их он знал лично и дружил с ними.

Примеры эти можно было бы продолжить...

23 августа 1947 года Иван Алексеевич писал М. А. Алданову: «...Я сейчас, благодаря вам, стал перечитывать свое «собрание» (издательства Петрополиса), кое-что правлю (чуть-чуть) и, поправив книжку, надписываю по-дурячки на ней: «Для нового издания» — потому по-дурячки, что не видать мне как своих ушей этого нового издания при жизни... (ведь где же издадут, кроме Москвы)».

Писатель оказался провидцем: именно на Родине он нашел подлинное признание, интерес к его удивительному творчеству все время растет, а книги издаются массовыми тиражами.

Вот почему архив Бунина должен принадлежать России.



Фотопортрет И. А. Бунина с дарственной надписью на обороте Н. Н. Оболенскому — участнику французского Сопротивления: «Счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету». Коротаев — Пьеру. «Война и мир».

«Счастье, дружок, как вода
в бредне: тянешь — надулось,
а вытащишь — ничего нету.»
Коротаев — Пьеру.
«Война и мир»

Надпись на оборотной стороне.

20.4.45

Милые друзья, настала
доля в Париже 1-го
мая.

Потравили в Берли-
нах. „Mein Kampf...“

Повосвал, так же
также! Ах, если бы

поймали бы провезли
по всей Европе в
каждый день!

Сердечно обнимаю.

Ваше И. Б.

Открытка семье Полонских.

«Как грустно на закате мне»

I. «ЧАСТО ДУМАЮ О ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ»

Вернись Бунин на Родину, его архив не оказал-ся бы отторгнутым от отечественной культуры. Поэт вынашивал это благородное желание. Но что мешало осуществить его?

Исчерпывающий ответ на этот вопрос мы получим лишь тогда, когда станут известны все материалы бунинского архива, сокрытые в Эдинбурге. Но уже теперь есть возможность познакомить читателя с некоторыми докумен-тами и свидетельствами, неизвестными прежде. Они позволят хотя бы отчасти понять причи-ны, удержавшие писателя на опостылевшей ему чужбине.

Второго апреля 1943 года, когда из далекого Граса трудно было разглядеть исход войны, он записал в дневник: «Часто думаю о возвраще-нии домой. Доживу-ли? И что там встречу?»

20 января 1944 года, отоцавший от постоян-ного голода, ослабший от болезней, он вновь пишет в дневник заветную мысль: «Просмотрел

свои заметки о прежней России. Все думаю: ес-ли бы дожить, попасть в Россию!»

Еще перед началом Великой Отечествен-ной войны Бунина уговаривали перебраться в США.

Комитет по делам эмиграции в Нью-Йорке, располагавшийся на 42-й стрит в доме под номе-ром 122, за подписью некоей Лотты Ларб, 19 марта 1941 года выслал Бунину официаль-ное уведомление. Оно гарантировало ему визу на въезд в США, если нобелевский лауреат то-го пожелает.

Бунин на это приглашение никак не ответил. Зато он прокомментировал его в письме Марку Алданову (Ландау), который вместе с А. Ф. Ке-ренским хлопотал о его визе. Шестого мая 1941 года Иван Алексеевич писал:

«Что же мне теперь делать?... Но — как ре-

SALLE CHOPIN-MITTEL
(107, Rue de Valenciennes
92-92000)

MARDI 19 JUIN 1945
à 20 heures

Conférence littéraire

IVAN BOUNINE

invitation

14

Билет на литературный вечер Бунина в парижском зале Шопена. 19 июля 1945 г.

шиться ехать? Доехать, как вы говорите, мы можем. Но опять, опять: что дальше? Вы пи-шете: «погибнуть с голоду вам не дадут». Да, в буквальном смысле слова «погибнуть с голода», может быть, не дадут. Но от нищеты, всече-ского мизера, унижений, вечной неопределен-ности? Месяца два-три будут помогать, забо-титься, а дальше бросят, забудут — в этом я твердо уверен. Что-же до заработков, то вы са-ми говорите: «будут случайные и небольшие — чтение, продажа книги, рассказа...» Но сколько-же раз буду я читать? В первый год, один раз..., может быть, и во второй еще раз..., а дальше конец. И рассказы, книги я не могу печь без конца — главное-же продавать их. И самое главное: очень уж не молод я, дорогой друг, и Вера Николаевна то же, очень больная и сла-бая Вера Николаевна. Вот даже частности: вы пишете, что «на первое время предоставят нам комнаты в имении, в 45 м. (милях? — В. Л.) от Нью-Йорка». А каково в наши годы жить даже «первое время» где-то у чужих людей, из ми-лости, подлаживаясь к чужой жизни — и т. д.! Короче сказать — ни на что сейчас я не могу решиться...»

У Бунина к этому времени созрел другой план, но свои мысли он скрывал от заокеанских

корреспондентов. Они не могли знать, что уже через день — восьмого мая 1941 года, Иван Алексеевич отправил еще одно письмо. На этот раз туда, куда он действительно решил перебраться, — на Родину. Письмо он адресовал в Москву, своему давнему другу — «Митричу с Покровки» — Н. Д. Телешову. Оно заканчивалось ясными и трогательными словами: «Хочу домой!»

И еще об одном послании, которое долгие годы считалось утерянным и о содержании которого литературоведы могли лишь строить предположения. (Более того, западные исследователи высказывали скептические мнения, считая, что такого послания не существовало вовсе.) Речь идет об открытке Бунина А. Н. Толстому, которая так взволновала последнего, что он в канун Великой Отечественной войны по этому поводу писал И. В. Сталину, спрашивая: можно ли подать Бунину надежду на возвращение на Родину?

Письмо было сдано в экспедицию Кремля 18 июня 1941 года. Через три дня все заслонила разразившаяся война...

Недавно эта открытка Бунина была обнаружена в архиве вдовы Толстого — Л. И. Толстой и вместе с другими материалами поступила в Институт мировой литературы имени А. М. Горького (фонд 43):

«Вилла Жаннет, Грас.

Алексей Николаевич, я в таком ужасном положении, в каком еще никогда не был, — стал совершенно нищ (не по своей вине) и погибаю с голоду вместе с больной Верой Николаевной.

У вас издавали немало моих книг — помоги, пожалуйста, — не лично, конечно: может быть, Ваши государственные и прочие издательства, издававшие меня, заплатят мне за мои книги что-нибудь? Обратись к ним, если сочтешь возможным сделать что-нибудь для человека, все-таки сделавшего кое-что в русской литературе. При всей разности наших политических воззрений, я все-таки всегда был беспристрастен к оценке современных русских писателей, — отнеситесь и вы ко мне в этом смысле беспристрастно, человечно.

Желаю тебе всего доброго.

2 мая 1941 г. Ив. Бунин.

Я написал целую книгу рассказов, но где же ее теперь издать?»

II. «ЛИКОВАНИЕ НЕОПИСУЕМОЕ!..»

Под скрежет металла и грохот разрывов Красная Армия победоносно продвигалась на Запад. Эти военные успехи наполняли радостью сердце старого писателя, давали приток творческим силам.

Вот некоторые дневниковые записи последнего военного года.

«С 8 на 9.V.44.

Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать несколько строк «Чистого понедельника». Погасил свет, открыл окно проветрить комнату — ни малейшего движения воздуха; пол-

нолуние, ночь неяркая, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелканье первых соловьев... Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе!

14.5.44

2 $\frac{1}{2}$ часа ночи (значит, уже не 14, а 15 мая).

За вечер написал «Пароход Саратов». Открыл окно, тьма, тишина, кое-где мутные звезды, сырая свежесть.

23.5.44

Вечером написал «Камарг». Очень холодная ночь, хоть бы зимой.

4.VI.44

Взят Рим! Вчера вечером вошли в него.

6.VI.44. Вторник.

В 5 $\frac{1}{2}$ утра началась высадка (союзных войск. — В. Л.) в Нормандии. Наконец-то!..

21.6. Среда.

Взят Выборг.

3 года тому назад, в ночь с 21 на 22, Гитлер, как он любил выражаться, «упал как молния в ночи» на Россию. Ах, не следовало!..

26.6.

Началось русское наступление.

27.6.

Взяты Витебск и Жлобин. Погода все скверная. Взята Одесса. Радуюсь. Как все перевернулось!..

16.7. Воскресенье.

«Были в гостях» татарин Федя, другой татарин и самарский солдат. Вообще русские пленные у нас часто все лето. Взято Гродно.

20.7.44. Четверг.

Покушение на Хитлера... Русские идут, идут...

23.7.

Взят Псков. Освобождена уже вся Россия! Совершено истинно гигантское дело!.. Под Брадами убито 30 тысяч немцев.

27.7.44. Четверг.

Взяты Белосток, Станиславов, Львов, Двинск, Шавли и Режица...

15.8.44. Вторник. Успение.

Спал с перерывами, тревожно — все гудели авионы. С седьмого часа утра началось ужасное буханье за Эстерелем, длившееся до полдня и после. В первом часу радио: началась высадка союзников возле Фрежюса...

25.8.44. Пятница.

...День 23-го был удивительный: радио в 2 часа восторженно орало, что 50 тысяч партизан вместе с населением Парижа взяли Париж.

...Немцы бегут из Граса!.. Необыкновенное утро! Свобода после стольких лет каторги! Днем ходил в город — ликование неопишное... «Федя» бежал от немцев..., все время лежал в кустах, недалеко от пекарни, где он работал...»

О патристических чувствах Бунина, о всеобщем ликовании вспоминал Бахрах: «То радостное событие, которого все мы ждали более четырех лет, наступило... Немцы из Граса ретировались без боя, мы могли видеть, как по-

следние их части спускались мимо виллы по Наполеоновской дороге и в полном беспорядке. И через несколько часов первыми вступили отряды канадских военно-воздушных сил, высадившихся на планерах вблизи пляжей».

«Что было у нас на душе — описать невозможно», — писал затем Бунин одному из своих корреспондентов. Он потом красочно повествовал, как, спустившись в город, он не узнал обычной грасской толпы. «От радости словно все лица преобразились», — говорил он, — точно все вдруг похорошело!»

Он зашел в один из кабачков и заказал, «чтобы отпраздновать освобождение», двойную рюмку коньяку. Вдруг хозяин провозгласил, что «сегодня все даром», и достал заветную бутылку с каким-то большим количеством звездочек.

— Такого еще не было во всей истории Франции, — говорил Бунин.

За годы войны Грас изрядно надоел. Но парижская квартира была занята, Бунину пришлось употребить немалые усилия, чтобы выселить из нее временных квартирантов. И вот он вновь на рю Жак Оффенбах.

III. «НИЩАЯ СТАРОСТЬ»

...Итак, 1 мая 1945 года Бунин вновь ступил на парижские мостовые. За годы войны здесь многое переменялось, в первую очередь — сами люди. Победа советского народа заставила многих перетряхнуть свой идейный багаж, по-новому взглянуть на перемены, произошедшие на Родине за последние четверть века. К чести наших соотечественников, многие из них показали себя в дни войны настоящими патриотами. Героями Сопротивления стали Мать Мария, Борис Вильде, Анатолий Левицкий, княгиня Вера (Вика) Оболенская, Кирилл Радищев — потомок великого писателя и другие, погибшие от рук фашистов.

Кое-кто перебрался в США. Это богатые супруги Цетлины, писатель-романист Алданов, знакомый Бунина писатель Андрей Седых (Цвибак), бывший российский премьер Керенский.

Скончались от болезней или старости поэт К. Бальмонт, художник К. Коровин, театральный критик, сын известного русского поэта А. Плещеев, писатель и библиофил М. Осоргин, редактор «Последних новостей» П. Миллюков.

Многие брали советские паспорта и уезжали на Родину. Так поступили писатель Н. Я. Родин, поэт А. П. Ладинский, сотрудник газеты «Возрождение» Л. Д. Любимов, счастливо вырвавшийся из рук фашистов, памятный нам по истории с бунинским архивом Д. М. Одинец и другие. Всего из Франции в СССР вернулось около двух тысяч человек.

Бунина пытались перетянуть за океан снова и снова. 12 апреля 1945 года в своем послании Алданову он уже без обиняков заявил о своем намерении вернуться на Родину:

«Теперь о деле, «наиболее важном», как вы

*Константину Александровичу
Редкину*

от Кв. А. Бунина

говорите (о переезде в США. — В. Л.). Очень благодарю вас, дорогой, и всех друзей, думающих о нашем будущем. Да, и я думаю о нем так, что «обо всем не напишешь». Материально мое настоящее и будущее, повторяю, таково, что я иногда только головой мотаю — очень, очень белой головой! И вижу, что нет *здесь* никакой надежды дожить свои истинно последние дни не в нищете, не в голоде, не во всяческих прочих лишениях и унижениях. Вот даже временно нельзя, очевидно, вздохнуть хоть немного свободнее — вы ни слова не пишете о том, есть ли у вас что-нибудь для меня в смысле денег, — нет, очевидно, ничего? Так что же мне делать? Единственный ресурс, оставшийся мне, это моя книга «Темные аллеи» (увеличившаяся вдвое за последние два года), но куда же мне ее деть, кому она нужна в такое время? И что может дать в самом лучшем случае? И что *будет дальше?* А я все-таки погибать еще не хочу! Горячо благодарю вас за повторение приглашения. Напишу вам о нем подробнее из Парижа. Но думаю, что, если и доберусь «до вас» с «великими слезами» и хлопотами, то буду и «у вас» в унижении, на «прожиточном минимуме» — вот, например, это «Рескью энд Релиф Коммити» прислало мне 2000 франков (подчеркнув: «subvention unique») *, и столь замучило меня все повторяющимися требованиями сообщать самые интимные сведения о моей материальной жизни, что я написал: «Вы ошибаетесь — Я САМ не обращался к вам и оставьте меня в покое — я не нищий...» Словом, вижу, что не миновать мне ехать домой... Ваш Ив. Бунин».

Здесь писатель не все договаривал. Он прямо сообщил о намерении ехать на Родину, но причиной такого решения была не одна лишь бедность. Была сильная, не прекращавшаяся все годы эмиграции любовь к родной земле, к родине — и это было главным.

* * *

Тем не менее бунинская бедность заслуживает того, чтобы о ней поговорить отдельно. Как мог-

* Субсидия беспрецедентная (фр.).

Париж, 15 марта 1946 г.

Очень благодарю Вас, Константины Александрович, за Ваш привѣтъ мнѣ черезъ моего друга Я.Б.Полонского. Онъ же сообщилъ мнѣ съ Вашихъ словъ, что Государственное Издательство решило выпустить томъ моихъ сочинений. Почти одновременно я получилъ открытку изъ Москвы отъ Телешева, где между прочимъ такая фраза: "Въ Государственномъ Издательстве печатается книга твоихъ произведений листовъ въ 25".

Сообщение Ваше и Телешева меня очень взволновало. Очевидно, будетъ выпущенъ большой сборникъ изъ всего мною написаннаго, самое существенное изъ труда всей моей жизни и я опасался, что редакторы возьмутъ многое изъ издания моихъ сочинений 1915 года (приложение к "Ниве"), первый томъ котораго будетъ заставлять меня стонать даже и въ могиле. Полагаю, что Государственному Издательству не знакомы окончательные, исправленные тексты моихъ заграничныхъ изданий (собрание моихъ сочиненій въ изданіи Берлинскаго "Петрополиса" и др.). Константины Александровичъ, Вамъ ли объяснить, что я долженъ чувствовать, — я, для котораго даже каждая неуместная запятая есть неистинная мука! Черезъ несколько дней после открытки Телешева я написалъ ему горячее (можетъ быть, даже слишкомъ горячее) письмо и почти полную копию этого письма — Государственному Издательству черезъ старшего советника посольства въ Париже, А.А.Гузовскаго. Но ответа до сихъ поръ не получилъ.

Простите, что докучаю, мне можетъ быть, Вамъ своей литературной бѣдой. Если можете, вступитесь за меня передъ Госуд. Изд.: пусть оно поставитъ меня въ известность о томъ, что именно оно предполагаетъ напечатать и подождетъ моего отвѣта относительно выбранныхъ имъ текстовъ.

Я не касаюсь вопроса гонорарнаго, такъ какъ полагаю, что онъ будетъ решенъ по справедливости.

Примик мой сердечный привѣтъ.

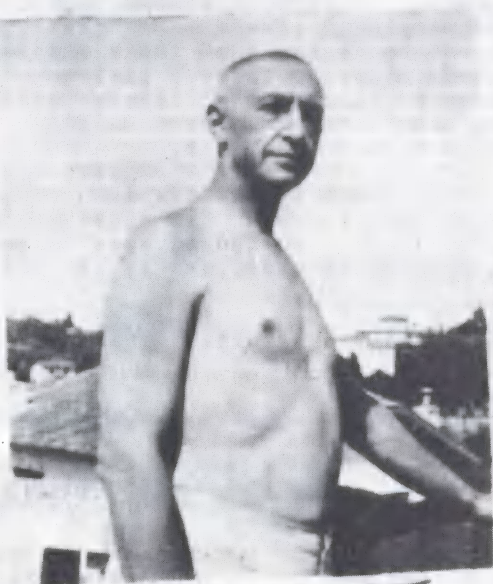
Вашъ Н.В. Бунинъ

Нелепо созданы сабаки:
 Им, по ошибке, для красы
 Даны природою усы —
 Когда бы нужно было баки.

Ив. Бунин

6 мая 194⁸ г.
 Париж

Juan-Les Pins



1947 г.

Полуголый Бунин

Надпись на конверте.

Страница из альбома с надписью: «Нелепо созданы собаки: Им, по ошибке, для красы Даны природою усы — Когда бы нужны были баки. Ив. Бунин. 6 мая 1948 г. Париж»; 1947 г. «Полуголый Бунин». Автограф. (Отдел рукописей ГБЛ имени В. И. Ленина.)

ло случиться, что, получив в декабре 1933 года Нобелевскую премию — почти 800 тысяч франков, он вскоре стал, по его собственному признанию, «почти нищим»?

Отчасти на этот вопрос отвечает сам Иван Алексеевич в дневниковой записи 10 мая 1936 года: «Да, что я наделал за эти 2 года. ...Агенты, которые *вечно* будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно (11-томное, выходило в середине тридцатых годов в издательстве «Петрополис». — В. Л.) — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу... И впереди старость, выход в тираж».

Бунин раздавал деньги налево и направо, оплачивал банкеты, кого-то отправлял на курорт, кому-то делал щедрые подарки «по случаю рождения». В короткий срок была роздана громадная сумма — 120 тысяч франков.

Изобилие мало коснулось бунинского дома. Уже 10 марта 1934 года Вера Николаевна с обидой сообщала М. С. Цетлиной: «Огорчения у меня не проходят... Ведь всякую сумму можно распределить так или иначе (речь идет о нобелевских деньгах. — В. Л.), и распределили так, что несколько самых близких людей оказались «за бортом». ...Приходится иногда мне исхищаться очень, что тоже утомительно. Собираю по сантимам, это не в моем характере, так как личной суммы я не имею, а Ян только дает мне лишь на что-нибудь и лишь на меня. И жаловаться на это нельзя...» (Собрание автора).

Бунин не купил ни клочка земли, ни дома. Единственное «недвижимое» имущество — по весу и габаритам, которое приобрел Иван Алексеевич, стал большой радиоприемник. (Именно он в годы войны помогал ловить ему сводки Совинформбюро.) Этот приемник доставлял ему много удовольствия. Вера Николаевна писала в приведенном выше письме: «От радио его трудно бывает оторвать, особенно по вечерам, когда уже все в постели, и я слышу, что он один приплясывает, слушая какой-нибудь фокстрот или шансонетку».

Бунин чтит свое звание писателя. Он не желал «унижать его арифметикой». Любопытно свидетельство А. В. Бахраха: «У него никогда не хватало терпения что-то считать, складывать, производить какие-либо, хотя бы самые элементарные арифметические действия. Пока дело касалось однозначных или в лучшем случае двузначных цифр, он умел быть расчетливым, даже чуть «гарпагонистым». ...Но если, упаси бог, в его вычисления должны были впутаться какие-либо трехзначные ряды, а то и того более страшные, он окончательно терялся, становился беспомощно нерасчетлив и необдуманно щедр, уверяя, что не создан для «высшей математики».

Эта щедрость и нерасчетливость уже вскоре привели к тому, что Бунин остался «с своей уж ветхою котомкой».

Так что существование его самого и его домочадцев в военные и послевоенные годы поддерживалось исключительно благотворительностью, которая — по суммам и формам, в ко-

торых она иной раз преподносилась, — напоминала подавание.

Кто же были те, кто помогал материально писателю? Вот письмо Ивана Алексеевича, которое вводит в курс событий. Оно написано 1 июня 1948 года и адресовано Марку Алданову:

«Милый, дорогой Марк Александрович, спешу вам ответить, горячо поблагодарить вас за ваши постоянные заботы обо мне и попросить передать Соломону Самойловичу Атрану, что я чрезвычайно тронут им и шлю ему мой сердечный поклон. Буду очень рад познакомиться с ним, когда он будет в Париже. Ваше сообщение (о сборе денег в США для Бунина. — В. Л.) чрезвычайно обрадовало меня, хотя эта радость смешана и с большой грустью, с боязнью, что может быть, и не осуществится доброе намерение Соломона Самойловича. Ведь вы говорите, что могут быть какие-то «влияния» на него. Что ж — очевидно, на свете все может быть, век живи — век учись!.. Что до моего материального положения, то вы его знаете лучше Столкинды. Жить чуть не на краю могилы и сознавая свою некоторую ценность, с вечной мыслью, что, может быть, завтра у тебя, больного вдребезги старика, постыдно, унижительно доживающего свои последние дни на подачки, на вымалывание их, не будет куска хлеба — это, знаете, нечто замечательное! Вы говорите о Цвибаке: у него моих капиталов осталось теперь всего 150 долларов, — на днях пришлось взять 200, — и никаких «сборов» он больше уже чуть не год не делает, да, конечно, и не будет делать — есть ведь всего 5—6 человек, которые кое-что дали ему для меня в прошлом году, и не думаю, что будет ему приятно снова кланяться на мою подлую, нищую старость...»

Кратко прокомментируем это послание. С. С. Атран — чулочный фабрикант, который некоторое — весьма краткое — время помогал Бунину. Яков Цвибак (писавший под псевдонимом Андрей Седых) по своей инициативе администрировал возле Ивана Алексеевича, был его посредником в деле сбора средств для писателя в США, куда перебрался из Франции в 1942 году. Выступал со статьями, враждебными нашей стране. Имел непосредственное отношение к сионистским организациям. Столкин — богатый человек, особенно, впрочем, «не баловавший» Бунина своим вниманием и средствами. Наследники Столкинды и по сей день занимаются благотворительностью.

Вы обратили внимание на фразу: «могут быть какие-то «влияния»? Речь об этих «влияниях», вовсе не благотворных для Бунина, пойдет чуть позже.

Кто еще помогал материально Ивану Алексеевичу? Устраивал сбор денег Леонид Галич, настоящая фамилия Габрилович. Приходили на помощь адвокат Роговской, заведовавший «Русским домом» в Жуан-ле-Пэне (это недалеко от Ниццы), С. Ю. Прегель и другие.

Большинство этих людей действовали по доброму побуждению. Но были и такие, кто

под маской добродетелей скрывал свои подлинные намерения. День за днем липкой паутиной благотворительности они опутывали свою жертву, парализовывали ее волю.

IV. «В НЕЙ СИДИТ ПОЛИТИК!»

Среди упомянутых благотворителей сияло имя Марии Самойловны Цетлиной. Именно она помогла Буниным в 1920 году перебраться в Париж. У нее на квартире они провели первых два-три месяца (но не полгода, как пишут некоторые исследователи). Тогда же Цетлина одолжила Ивану Алексеевичу тысячу франков на «обзаведение».

В последующие годы Мария Самойловна время от времени приходила ему на помощь деньгами или — в дни мировой войны — продуктами посылками из США, куда она перебралась чуть раньше Алданова. Здесь ее супруг основал в 1942 году «Новый журнал».

Иван Алексеевич посылал Цетлиным свои приветия, рассказы в «Новый журнал» и, с присутствием ему прямодушием, горячие благодарности за помощь. Он верил в искренность дружеского расположения...

Теперь перейдем к главным событиям. Начнем с Указа «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи...» от 14 июня 1946 года. У большей части русских парижан он вызвал восторг. Бунин в газетном интервью назвал его «гуманным актом». Многие эмигранты брали советские паспорта, некоторые возвращались на Родину.

Среди тех, кто принял гражданство СССР, были и члены Союза писателей и журналистов, организованного в Париже еще в 1921 году. Правление Союза, возглавляемое В. Ф. Зеелем, в нарушение устава, исключило их из своих рядов.

Произошел раскол. Некоторые члены Союза, который, впрочем, давно стал организацией символической, без особой практической деятельности, покинули его. Среди них оказались Бунины — Иван Алексеевич и Вера Николаевна.

Еще прежде Бунин посещал советское посольство на rue де-Гренель. Он имел обстоятельные беседы с послом А. Е. Богомоловым. Их темы — возвращение писателя на Родину. Разумеется, эти визиты не могли понравиться антисоветским кругам. Правая печать обвинила его во всех смертных грехах, в «связях с Кремлем», ему ставили в упрек даже то, что он «пил за здоровье И. В. Сталина». Со всех сторон Бунин слышал предостережения от «опасного шага»: вернувшись на Родину, он-де лишится творческой самостоятельности, потеряет лицо как писатель и т. д.

Делалось все, чтобы не дать нобелевскому лауреату уехать в СССР. Нет нужды объяснять, какой удар — моральный и политический — этот отъезд нанес бы эмиграции.

Были, разумеется, и причины личного характера. О них справедливо писал в статье «Выход Бунина из парижского Союза писате-

лей» («Литературное наследство». М., т. 84, кн. 2, с. 400—401) кандидат филологических наук А. Н. Дубовиков: «Бунин был тогда психологически подготовлен к этому важному шагу (возвращению на Родину.— В. Л.) и обдумывал его как некую возможную реальность. Но осуществить этот шаг Бунин, как известно, не смог. И причин тому было много. Возвращению на родину препятствовали субъективные трудности — болезни и преклонный возраст, гордость, не позволявшая ему ехать на родину /.../, чтобы только умереть там, страх утратить свою художническую «независимость», наконец, естественная инерция, выработанная двадцатипятилетним эмигрантским существованием. Но немалую роль в этом сыграли и трудности объективные — то давление со стороны правых кругов эмиграции, в том числе со стороны некоторых старых друзей...»

Старые «друзья» — без кавычек здесь не обойтись, если говорить о М. С. Цетлиной — действительно сыграли в этой истории зловещую роль. 20 декабря 1947 года она отправила Ивану Алексеевичу «рождественский подарок» — «открытое» (в прямом и переносном смысле) письмо. Оно полно лицемерных сожалений о «крестном пути» Бунина. Цетлина называла его «любимым братом» и заявила, что решительно порывает всяческие отношения с ним, ибо своим выходом из Союза писателей он «нанес удар эмиграции».

Письмо намеренно отправляется через чужие руки в открытом конверте. Оно повсюду «распространяется циркулярно», по выражению Веры Николаевны, даже в Нью-Йорке. Оно предается гласности прежде, чем попадает в руки адресата.

Начинается планомерная травля писателя. Ее отголосок мы слышим в бунинской переписке — могут быть «влияния». Влияния, препятствующие материальной помощи и бросающие тень на его репутацию.

Второго января 1948 года, находясь в «Русском доме», Вера Николаевна записала в дневник: «Грустно было встречать этот высокосный год. Ян был в большом возбуждении. Его вывел из равновесия, правда, очень неустойчивого, письмо Марьи Самойловны. Письмо бессмысленное, несуразное, трудно понимаемое... Она пишет о каком-то «крестном пути» Яна — словом, белиберда ужасная. А вчера мы узнали, что М. С. циркулярно рассылает свое чудесное послание по всему Нью-Йорку».

Стоп! Почему только теперь «друг и благодетельница» столь рьяно бросилась на защиту чистоты эмигрантских риз? Визиты Бунина в советское посольство, заявления для печати об Указе — все эти события относятся к 1946 году.

Может, уже тогда благородное негодование рвалось из груди Марии Самойловны? Может, собрав свою железную волю в кулак, она доблестно терпела оскорбительное отношение «отступника» Бунина ко всей правоверной эмиграции и к ней лично? На фоне всего этого «прес-

тупного поведения» писателя его выход из Союза кажется легкой шалостью.

Ведь даже председатель Союза В. Ф. Зеелер не увидал криминала в поступке Бунина. И после ухода из Союза у них продолжалась самая дружеская переписка.

В ноябре 1946 года Цетлина гостила в Париже. Она встречалась со знакомыми, интересовалась парижскими новостями. Ей, безусловно, было известно лояльное отношение Бунина к советским дипломатическим сотрудникам в Париже, знала она и о его намерениях о возвращении на Родину, о встречах с советскими писателями. Так, незадолго до ее приезда, летом 1946 года Париж посетил К. М. Симонов. Он пять или шесть раз встречался с Иваном Алексеевичем, бывал у него дома на улице Жака Оффенбаха, несколько часов провели они за дружеской беседой в ресторане «Лаперуз» на набережной Сены.

Но в то время Мария Самойловна ничего предосудительного в этом не видела. Под впечатлением теплого дружеского общения с ней Вера Николаевна писала в дневнике: «Мария Самойловна улетела... Она часто бывала у нас, много подарила мне платьев и других вещей. *Беспокоилась о Яне. Хотела собрать (денег. — В. Л.)* ему на поездку на юг. — *Она очень заряжена. В ней сидит политик.*» (Курсив мой. — В. Л.)

И лишь по прошествии года с лишним этот «политик» организует, практически без серьезных оснований, крупный скандал не без политического оттенка. Может, кто-нибудь более искушенный подсказал ей план действий?

Ничего невозможного в таком обороте событий нет. Слишком крупной фигурой был Бунин. Правые эмигрантские круги не могли выпустить его действий из-под своего контроля.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

История с письмом Цетлиной и шум, искусственно вокруг него поднятый, больно ранили 77-летнего Бунина. Сильные переживания обострили недуги. С каждым днем он терял силы.

В дневниковых записях Веры Николаевны читаем:

«1 февраля 1948 года. Ночь провели плохо. У Яна кровь. Кашель. Раздражен ужасно. Всякий пустяк его волнует».

«10 февраля. Ночь Ян провел плохо. Кашлял. Письмо Марии Самойловны его задело...»

«10 августа. Наконец нашла эту тетрадь /.../ Ян только что выкарабкался из серьезной болезни. Еще слаб, много лежит в постели. /.../ У него после припадков астмы образовался фокус в легких. Т° поднималась до 38°. Были тревожные дни».

Тоскуя по родине, гордый Бунин все же не захотел, чтобы его «привезли» туда как Куприна». Он уже никогда не сумел оправиться от болезней. И если порой наступало кратковременное улучшение самочувствия, то вскоре оно сменялось еще большим ухудшением и слабостью.

Напрягая все силы своего могучего духа, он отвоевывал для жизни день за днем, месяц за месяцем...

«Ничего, теперь, слава богу, поправился, — писал Бунин осенью 1948 года. — А то совсем было помирал и очень досадовал, думал: сколько еще интересного будет впереди — конгрессы, забастовки, войны, — а ты помрешь и ничего не будешь знать, потому что в Сент-Женевьев-дю-Буа (русское кладбище под Парижем. — В. Л.) всегда все мирно, спокойно, радио нет, соседи-покойники не разговорчивы...» (собрание автора).

Даже в трудные дни он умел улыбнуться...

Георгий Коршунов

Шаляпин за рубежом

I

И вот наступил шаляпинский спектакль. Как разразившаяся гроза, заканчивается финал первого акта.

...Артисты в тот день пришли в театр раньше обычного, тщательно загримировались и уже до первого звонка почти все собрались за кулисами. Настроение у всех приподнятое. У каждого одно желание, чтобы спектакль прошел блестяще. Все подтянуто, как никогда.

Мощно полились аккорды увертюры Даргомыжского. Поднимается занавес. Перед взором зрителей раскрывается картина деревенской окрестности: мельница, река, лес, поляны. Вблизи мельницы дубовые деревья, под одним из которых на скамье задумчиво за прялкой сидит дочь Мельника Наташа.

В последней сцене игра Шаляпина была столь сильной, столь реальной, что мое внутреннее сознание и чувство меры потребовали от меня гораздо большей игры, чем это было установлено режиссером.

Струны шаляпинской души резко резонировали в моей. Как морская волна, игра Шаляпина захлестнула меня и унесла с собой. Я как-то инстинктивно от ужаса упал на колени, рвал на себе волосы, лбом бился о землю и на весь театр стонал; в общем, сделал случайно то, что само вырвалось из моей души, совсем по-другому, как это было на репетициях. После этой ошеломляющей сцены у меня долго проходила дрожь по всему телу, и даже зубы стучали как в лихорадке. Я забился в уголок, как испуганная птица, уселся на полу, как после страшного происшествия, и долгое время не мог дать себе отчета в случившемся. Но это явление отразилось не только на мне одном. Я чувствовал, как у сидевшего рядом со мной товарища дрожали локти. После финальной сцены первого действия за кулисами все как-то притихло, и если кто с кем говорил, так только шепотом. Из залы же на прогулку в фойе из публики никто не вышел, все остались прикованными к своим местам. Зал был полон, но в нем царила мертвая тишина. Сценарии и рабочие, устанавливая сцену ко



Федор Шаляпин
СШ.
28 окт. 1911 г.

Ф. И. Шаляпин. Фото с автографом. 1911 г.

второму действию, передвигались молча, на цыпочках, боясь нарушить эту тишину.

Пушкинский сюжет трагедии с дочерью Мельника, реалистическое отражение состояния души отца, утратившего любимую дочь, переданное так ярко Шаляпиным, и его необыкновенный голос потрясли и меня до глубины души.

Мне захотелось с этими чувствами побыть одному, я ушел за кулисы и там, где никого не было, со слезами радости благодарил свою судьбу, которая принесла мне такое великое счастье — увидеть и услышать Шаляпина.

...Через двенадцать лет после того, как князь расстался с Наташей и обвенчался с княгиней, он снова приходит на мельницу.

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила.
Знакомые печальные места!
Я узнаю окрестные предметы:
Вот, вот мельница: она уж развалилась.
Веселый шум колес ее умолкнул.
Ах, видно, умер и старик!
Дочь бедную оплакивал он долго!
А вот и дуб заветный!



Дом Ф. И. Шалапина на Новинском бульваре в Москве. У ворот — импресарио Шалапина Исая Дворишин и сын певца, в будущем — известный художник Борис Федорович Шалапин. 1911 г.



Ф. И. Шалапин и Иола Торнаги. Нижний Новгород, 1896 г.

Здесь, здесь она, обняв меня,
Поникла и умолкла... *

Князь, рассуждая сам с собой, с грустью опускается на скамью. Вдруг листья как дождь посыпались на него. Он поднимает взор ввысь и вздрагивает.

Страшное чудовище, сползая с дерева, внезапно повисло на суку. Князь в испуге вскочил на ноги.

Здесь начинается коронная сцена Шалапина. В роли безумного Мельника он страшен:

* Отрывки из драмы А. С. Пушкина «Русалка», приводимые в тексте рукописи Г. Коршунова, не в полной мере соответствуют пушкинскому оригиналу: некоторые слова могут быть опущены — они как бы «проигрываются» Шалапиным, некоторые повторяются для усиления и т. п. Отрывки записаны Г. Коршуновым с максимальным приближением к тому, как они произносились со сцены. Слова автора рукописи: «Здесь Шалапин переделал текст» встречаются во всех главах книги. Сравнивая пушкинский и «шалапинский» тексты, можно проникнуть в самую творческую лабораторию гениального оперного певца.

полунагой, босой, в грязных лохмотьях, с ного до головы обросший волосами, лицо бледно-серое, в резких морщинах. На пальцах его рук и ног длинные, крючком загнутые ногти. Весь он исцарапан, в ранах, местами сочится кровь. Во взъерошенных и выцветших волосах и бороде сучки и солома. Взгляд безумен. Человек, потерявший рассудок и долгое время проживший в лесу, невольно превратился в такое страшилище.

Прыжок — и мощные руки, отцепившись от дерева, внезапно причудливо взметнулись, изображая крылья, взмахнув которыми Мельник дважды каркнул: «Карр! Карр!»

От внезапного появления Шалапина в таком виде публика в зале буквально вздрагивала.

Мельник, пристально всматриваясь в лицо князя, грозно обращается:

«Здорово, зять!»

И здесь с первых же фраз Шалапин сразу показывает свои богатые вокальные достоинства. Голос его, как и он сам, стал страшнее. Будто бы в этой сцене вышел второй Шалапин, с басом более мощным и густым.

Князь не узнает в чудовище Мельника, в страхе отступая от него, он взволнованно задает вопрос:

«Кто ты?»

Мельник, встав в величественную позу, удаляя себя кулаком в грудь, с иронией отвечает:

«Я — здешний ворон! Карр! Карр!»

Подчеркивая важность своего положения, он с гримасой надменности выбрасывает перед собой обе руки и, снова их приподняв, как крылья, каркает, поглядывая на дерево, как бы готовясь вновь на него подняться.

Князь, всматриваясь в лицо чудовища, наконец узнает в нем черты Мельника. Из груди его вырывается возглас удивления:

«Возможно ль? Это Мельник!»

Безумный Мельник, услышав слова князя, в такт аккордов музыки энергично шагнул к нему, с гневом возражая:

«Что за мельник...»



Ф. И. Шалапин на даче на реке Нерль.



В минуты раздумий. Киев, 1912 г.



Рабочий стол Ф. И. Шаляпина в доме на Новинском бульваре.



На берегу Крыма. 1906 г.



На Нерли.

Сделав еще твердый шаг вперед и взмахнув руками, как крыльями, он еще с большим протестом повторяет:

«Что за мельник?»

Как гром тяжел голос Шаляпина. Показывая здесь мощь своего голоса, на втором слове «что» в верхнем «ми-бемоль», Шаляпин вступает на полном «форте» и на слове «мельник» на верхнем «до» делает сильное ударение, переходя к полному «фортиссимо». Этот эффект Шаляпина заставляет в зале публику зашевелиться, как бы усестся попрочнее.

Испуганный взгляд князя застывает на Мельнике. Мельник, подчеркивая свое новое воображаемое положение, с оттенком презрения заявляет:

Я продал мельницу бесам запечным,
А денежки...

Остановившись, он оглядывается, как бы боясь, не подслушивает ли кто, и, наклонясь к князю, гримасничая, продолжает вполголоса:

А денежки отдал на сохраненье
Русалке, вещей дочери моей!

Указав большим пальцем через плечо на Днепр и покосив назад глазом, Мельник таинственно поясняет:

Оне в песку Днепра-реки зарыты.

Прищурив один глаз и приложив к другому палец, он шепчет:

Их рыбка-одноглазка сторожит.

Князь, видя полное помешательство Мельника, сочувствует старику:

Несчастный, он помешан.
Бедный Мельник.

Возмущаясь снова словами князя, Мельник, от злобы скривив свой рот, вновь подбегает к князю, с еще большей яростью возражая:

Какой я Мельник!

На мощный раскат аккордов в оркестре в такт музыке Шаляпин, сделав несколько быстрых шагов вперед, на большом «фермато» со страшной силой бросает в зал эту фразу, и снова, как громом, содрогается театр.

Этот эффект голосовых возможностей Шаляпина изумлял слушателей и приводил в восхищение. Ни один певец в мире не мог сделать то, что делал Шаляпин. В каждой его фразе звучала как бы частица симфонии, выражалась полная истина и получалась яркая картина.



Ф. И. Шаляпин с сыном Борисом. 1907 г.



Ф. И. Шаляпин. Снимок конца XIX в.

И в зале и за кулисами снова раздается возглас изумления: «Ах!» И справа и слева кулис всюду между декорациями стояли артисты и рабочие сцены, с замиранием сердца следя за игрой Шаляпина и слушая его изумительный голос:

Говорят тебе, я ворон. Каррр!
Ворон! Карр! А не мельник! Каррр!

На каждом «каррр» Мельник от гнева трясется всем телом и взмахивает руками. После чего несколько мгновений он стоит молча, во что-то всматриваясь. Его руки, изображающие крылья, опускаются, и он, нагибаясь к земле, с радостной улыбкой приподнимает перед собой перышко. «Чудный случай», — шепчет он, перекладывая перышко из одной руки в другую и, дунув на него, с приоткрытым ртом наблюдает за его полетом.

В этот момент игра Шаляпина особенно реальна. Его взгляд, мимика и движения, можно сказать, действительно подтверждают истинное сумасшествие.

Перышко улетело в пространство, и взгляд Мельника застывает на одной точке. Он впадает в забытие. Наступает безмолвная тишина. Взгляд его постепенно успокаивается и проявляется.

Князь, боясь буйства Мельника, перебивает его вопросом, чтобы рассеять его безумие:

Скажи мне, кто же за тобой здесь смотрит.

Взор Мельника останавливается на развалившейся мельнице, и он, не сводя с нее глаз, отмахивается рукой, как бы делая жест — не мешай, мол, и отвечает князю, не глядя на него, вполголоса:

За мной, спасибо, смотрит внучка!

Рука Мельника повисает в воздухе. Князь, не расслышав точно ответа, задает вопрос вторично:

Кто?

Мельник, переводя взгляд с мельницы на князя, отвечает ему тихо, говорком:

Русалочка.

Князя изумляет его ответ, он с грустью вполголоса говорит про себя:

О, Боже, невозможно,
Невозможно понять его!



Валерина Иола Торнаги — жена Ф. И. Шаляпина.

Мельник, зажимая у себя на груди лохмотья, как бы жалуясь на судьбу свою, горько плачет, задавая вопрос:

За что же, за что же
Так тяжело страдаю я?

Этими словами Шаляпин пополняет текст драмы Пушкина. В партитуре Даргомыжского этого нет, и это дополнение на слушателей производит сильнейшее впечатление.

Эти слова у Шаляпина прозвучали с такой глубочайшей печалью и с такой болью в душе, что невозможно было удержаться от слез. В зале все как бы окаменели.

Мельник продолжительно и с удивлением смотрит на князя, потом переводит свой взгляд снова на мельницу, потом на скамью, где часто за прялкой сидела его дочь, потом на себя. Увидев свой несчастный вид, он вздрагивает и, шагнувшись назад, широко раскрывает глаза. Это потрясение пробуждает его сознание. Его печальный облик вызывает в нем удивление,

которое Шаляпин передает застывшей позой с разинутым ртом. Топчась на месте, он поворачивается то вправо, то влево, осматривая себя и трогая на себе лохмотья. В недоумении взор Мельника снова застывает на Князе, как бы молча спрашивая, в чем же дело? Потом рот его закрывается, он проглатывает слезы и, не сводя с него взора, от стыда закрывается лохмотьями. Чувствуя себя крайне несчастным, Мельник, пригнувшись и сгорбившись, медленно плетется в сторону мельницы. Остановившись у подмостка, он еще раз оглядывается на Князя и грузно опускается на огромный камень, затем закрывает лицо руками и горько, горько плачет, после чего Шаляпин очень тихо, с интонацией глубочайшей печали начинает монолог Мельника:

Да, стар и шаловлив я стал,
За мной смотреть не худо.

Трогательно, на мягчайшем «меццо-воче» звучат у Шаляпина дальнейшие слова Мельни-



С дочерью Ириной. Крым, 1907—1908 гг.

ка при воспоминании о своей дочери, мастерски сменяется окраска тембра, оттеняющая задушевность, нежность и беспредельную любовь к ней, которая звучит точно плачущая струна виолончели:

Была когда-то родная дочь,
Отрада жизни, утеха дней...
Ее любил я, вот видит бог,
Ее красую гордился я!
Не долго было мне наслаждаться.

Мельник снова горько плачет и постепенно затихает, застывая взором в пространстве. В этот момент его бледное лицо сильно освещает-



Ф. И. Шаляпин. 1924 г.



Во дворе дома на Новинском бульваре.

ся ярким светом. На лице Мельника отражена невообразимая печаль, в глазах его видны истинные слезы. Наступает долгая безмолвная тишина, парализующая мозг и сердце присутствующих. Казалось, в этот момент в зале и за кулисами никто не дышит. У многих в глазах сверкают слезы. И мы, стоящие за кулисами, глядя на эту трагедию, забывали, что это театр, и тоже не могли удержаться от слез.

В застывшей позе, понурив голову, стоит Князь, которого мучает совесть. Ведь он виновник гибели этих людей. Мельник снова переводит свой взгляд на Князя. Вдруг лицо Мельника нервно содрогается. Шаляпин этим показывает, что на Мельника вновь находит приступ сумасшествия. Как тигр, вскакивает он на ноги и снова, каркая, бросается на Князя:

Карр! Зачем же, Князь, вечер
Ты не приехал к нам?

И, указав на Днепр, добавляет:

У нас был пир,
Тебя мы долго ждали!

Князь, в испуге отступая, восклицает:

Кто ждал?

Мельник, подступая к нему, сквозь стиснутые зубы, со злобой отвечает:

Вестимо, дочь!

И, растопыривая пальцы, пытается схватить его.

Князь, чувствуя действительную опасность, угрожающую ему со стороны помешанного Мельника, отступает со словами:

Старик, ты здесь в лесу
Ведь с голоду умрешь;
Не хочешь ли пойти в мой терем?

И показывает в лес, где имеет надежду на помощь охотников. Но Мельник, как бы предугадывает хитрость Князя, гримасничая и пафосно поклонившись, говорит:

Спасибо!

Прищурив один глаз и втянув в себя шею, старик с особой таинственностью добавляет:

Заманишь, а там, пожалуй, удавишь
ожерельем.

Шаляпин на этих словах вступает легко. Изображая Мельника как бы подкрадывающимся с мыслями, разоблачающими намерения Князя, и постепенно развивая мощь своего голоса, на слове «удавишь» — шею уже вытягивает и со страшной силой бросает в зал слово «оже-



Ф. И. Шаляпин. 1906 г.



На охоте во Владимирской губернии.

рёльем», как главную суть. Ведь дочь и погибла в тот день, когда Князь надел на нее ожерелье.

На слове «ожерельем» на слог «рель» вместо ноты «до» он вставляет ноту «ми-бемоль», а на слог «ем» вместо ноты «соль» ноту «до».

Дополняя впечатление на слове «удавишь», Шаляпин обвивает пальцами шею и, сделав сильное ударение на верхнем «ми-бемоль» и «до» на слове «ожерельем», в такт музыке выбрасывает перед собой сжатую в кулак руку. Подступая снова к Князю, Мельник приходит в еще большую ярость:

Я знаю, ты враг мой!
Ты дочь похитил у меня!
Где дочь моя?

Князь в страхе отступает, но отступать уже некуда: позади река Днепр. А Мельник еще яростнее вопит:

Да, ты скрыл ее, отдай мне дочь!

Несколько раз Князю удастся вывернуться из-под руки Мельника. И он, повернув обратно,

снова очутился у мельницы. От злобы лицо Мельника искажается. Взгляд его делается еще безумнее и страшнее. Подступая вновь и вновь к Князю, Мельник изо всех сил тянется к нему. И наконец, сделав ловкий прыжок, хватается за плечи и, тряся в своих могучих руках, еще более грозно требует:

Отдай!

Князь, попав в сильные руки Мельника, издает нечеловеческий вопль. Охотники, услышав крик Князя, прибегают к нему на помощь и силой вырывают его из рук чудовища. Мельник, увидев перед собой вооруженных людей, опускается перед ними на колени: хватая то одного, то другого охотника за ноги, он со слезами целует им колени и, плача, указывает на Князя:

Поверьте, он враг мой!
Он дочь похитил у меня.

Безумный взгляд, залитые слезами глаза и резкие движения Мельника невольно вызывают страх и в то же время беспредельную жа-



На прогулке.

лость к несчастному. Всю эту сцену с охотниками от начала до конца Шалапин проводит, ползая на коленях. В финале этой сцены на словах «не выдавайте меня» на верхних «ми-бемоль» и «до» голос Шалапина, покрывая все шестьдесят голосов мужского хора, звучит как ураган. На этом моменте опускается занавес.

После первых двух занавесей все участвующие в этой сцене остаются в тех же позах, изображая живую картину. Шалапин же продолжает стоять на коленях, делая руками судорожные движения и лепеча губами.

И надо было видеть, что творилось в зале. Публика, пышно разодетая в горностаи и фрак, забыла всякий этикет. Обезумевшая, она вопила, срывая голоса, бесконечно вызывая Шалапина. После этой сцены занавес был дан семнадцать раз.

...Образ Наташи не оставляет в покое Князя. Его снова влечет к берегам Днепра. За ним туда же приходят тайком Княгиня с Ольгой.

Вдруг появляется Русалочка. Она говорит Князю, что послана мамой, его возлюбленной Наташей, ныне царицей днепровских вод, привести его к ней в терем. В этот момент раздается

голос Наташи. Князь, обрадованный, что Наташа жива, намеревается идти к ней, но Княгиня с Ольгой преграждают ему путь. В это время из-за мельницы появляется Мельник.

Здесь снова начинается яркая сцена Шалапина. Вид у Мельника еще страшнее. Черты лица изможденнее и грубее. Мельник, увидев Княгиню с Ольгой, подбегает к ним и резко отталкивает их от Князя:

Прочь! Оставьте!

Он делает жест руками, как бы с себя что-то стряхивая, и, вытянувшись важно во весь рост, с гордостью громогласно заявляет:

Я здешний ворон!
Здешний ворон и хозяин!

Ткнув пальцем себя в грудь на слове «я», Мельник отбрасывает руку, указывая на Князя:

Он наш жених!
Его мы не уступим!



Ф. И. Шаляпин. 1924 г.

На слове «его» опять прозвучала богатырски непреклонная нота Шаляпина. С категорическим протестом, взмахнув горизонтально рукой по воздуху на словах «не уступим», Мельник, шагнув вперед, становится между Князем и Княгиней, торжественно заявляя:

Сегодня свадьба.

Указав через плечо Княгине и Ольге на Днепр, Мельник забрасывает над головой обе руки, добавляя:

И вас на пир я приглашаю.

После чего, широко ими разведя, иронически кланяется.

На слове «приглашаю» на верхней ноте «ре» Шаляпин делает такое «крещендо» к «фортиссимо», что, казалось, мощью своего голоса он раздвинет стены театра.

Этот шаляпинский эффект не только изумлял, но и поражал слушателя: откуда берутся у него эти неисчерпаемые резервы? Голос певца звучал так могуче и свежо, что, казалось, он мог бы снова повторить всю оперу сначала.

Князь впадает в беспамятство. И действительно, рассказывал нам артист Поземковский, исполнявший роль Князя:

— Игра и голос Шаляпина в этой сцене потрясали меня настолько, что я легко, без фальши, впадал в беспамятство.

Итак, Мельник с Русалочкой ведут несопротивляющегося Князя к реке.

«Идем! Идем! Тебя ожидают!» — гремит Мельник, подталкивая Князя в спину.

Как только Русалочка спустилась в воду, Мельник сталкивает Князя в Днепр и с безумным хохотом отскакивает в сторону. Раздается смех русалок, которые, с восторгом подхватив Князя, потащили его к Наташе. Мельник от радости дико пляшет, поднимая пыль столбом. Облако пыли заволакивает и закрывает сцену. Через некоторое время Мельник исчезает, исчезает и пыльное облако.

И вот со всей роскошью подводного царства видна внутренняя часть Днепра. Луна ярко светит сквозь воду. Наташа в сияющем наряде, улыбаясь, сидит на троне. Под звуки торжественной мелодии, выражающей ликование Наташи, русалки влекут Князя к своей повелительнице. Отдав в объятия Наташи Князя, они с визгом бросаются в пляс.

Ликует и Мельник: его тень проносится над водой, и саркастический хохот доносится с берега.

На последних аккордах восторженная публика не в состоянии усидеть на своих местах, она в экстазе поднимается на ноги. На этом опускается занавес. И тут, подобно урагану, начинается безумие публики. Овациям не было конца. Тридцать раз поднимался занавес.

Шаляпин бесконечно выводил на авансцену и солистов, и дирижера, и режиссера, и директора, и артистов хора, и артистов балета, и костюмеров, и рабочих сцены, он никого не оставил без внимания. У всех на глазах были слезы, и публика была в слезах. Да, таков был Шаляпин. Таково было его искусство.

Вся площадь перед театром запружена людьми, жаждущими взглянуть на великого артиста. При появлении Шаляпина у артистического выхода народ бросается к нему, сажает его в кресло и с криками «Вива! Вива, Шаляпин!» несет его на руках по улицам Парижа.

Благодарный великим творцам — Пушкину и Даргомыжскому, — Шаляпин улыбается. Он заслуженно, с триумфом несет их имена по всему миру, прославляя русское искусство, прославляя свою Родину.

...Пушкинский образ Мельника и голос Шаляпина настолько потрясли мою душу, что я вообще не чувствовал, что живу на белом свете, и в эту ночь я ни на секунду не сомкнул глаз.

II

На следующий день после спектакля оперы «Русалка» Шаляпин отдыхал с друзьями в Булонском лесу. В тени аллеи душистых тополей, на скамье у фонтана, вблизи кафе под названием «Антик» с ним разделяли компанию Сергей Васильевич Рахманинов, Константин Алексеевич Коровин, директор оперы Алексей Акакиевич Церетели, режиссер Александр Акимович Санин, солисты. Беседа шла о дальнейших перспективах русской антрепризы. Советовались, что еще можно поставить и куда выехать



Ф. И. Шаляпин. 1924 г.

с гастрольями по окончании парижского сезона. Все было серьезно и чинно — до тех пор, пока вдруг не нагрянули цыгане, тут же пустившиеся в пляс перед именитой аудиторией. Плясали подростки, а старая, с дымящейся трубкой во рту цыганка отбивала им такт на гитаре. Но вот неожиданное представление окончилось: цыганка, притопнув ногой, воскликнула «ой-да!», цыганята, как один, все вместе кувыркнувшись в воздухе, сделали ловкое сальто-мортале, после чего с протянутой рукой стали обходить сидящих на скамейке. Шаляпин, вложив в бубен кредитку, попросил на минуту гитару. Подстроив инструмент, он взял несколько мягких аккордов и вступил тихо и легко:

«Очи черные, очи страстные, очи жгучие
и прекрасные».

Цыганка, слушая Шаляпина, стоит затаив дыхание.

«Не видал бы вас, не страдал бы я, я бы
прожил жизнь припеваючи».

На слове «припеваючи» Шаляпин дал свободу своему басу во всю его богатырскую мощь.

И голос его, что прибой морских волн, прокатился по Булонскому лесу.

Сделав небольшую паузу, Шаляпин продолжает опять спокойно, и голос снова звучит мягко, в бархате его чувствуется слеза.

«Вы сгубили меня, очи черные, унесли навеки мое счастье».

На словах «унесли навеки», замедлив темп, Шаляпин с надрывом голоса и усилением мощи его подчеркивает слово «счастье», после чего изящно берет последний аккорд и подает цыганке гитару обратно.

Вокруг раздались аплодисменты. Цыганка, закинув через плечо платок, хлопает по руке Шаляпина:

— Скажи, белобрысый цыган, с какого ты табора?

Раздался громкий смех.

— Ты ведь цыган! — восклицает старуха. — И голос у тебя что божий гром!

Шаляпин, приложив палец к губам, закрывая себя рукой от друзей, прошептал:

— Не выдавай меня!



Ф. И. Шаляпин с детьми.

— А! — воскликнул тут же Рахманинов, глядя с улыбкой на Федора Ивановича. — Я так и думал, что ты из цыган. И вот теперь все подтвердилось.

Цыганка испуганно посмотрела на Шалапина, прикусившего «от отчаяния» нижнюю губу, а потом на окружающих. Увидев же, что все присутствующие хохочут, тоже рассмеялась и, стукнув по колену бубном, стала обходить публику, радостно восклицая:

— Господа и дамы! За песню белобрысого цыгана!

И бубен стал быстро наполняться деньгами. Закончив обход, старая женщина подошла к Федору Ивановичу:

— Отсыпай себе половину! делим пополам! Ты пел, я собирала!

Теперь рассмеялся и Шалапин, жестом руки остановил ее намерение:

— Это тебе, а себе я сейчас заработаю, только вот повтори тот пляс с малышами!

Цыганка гикнула на детей, и цыганята снова замолотили босыми ногами.

Полюбовавшись на их пляс, Федор Иванович хлопнул в ладоши:

— Стой, ребята, довольно! Молодцы! Хорошо пляшете! Ну а теперь смотрите, как я вам спляшу.

Он щелкнул пальцами, подавая знак, старуха ударила по струнам и... Он обводил руками вокруг себя, хлопал по коленкам, ударял кистями рук по штанинам, щелкал пальцами, чмокал языком, то насвистывал, то по-цыгански напевал:

— Ай-да, ай-да! Ай-да мандарита! Смерекерке челосе, ай-да, мандарита!

В общем, он вложил в пляс все свое мастерство, приведя цыганку, цыганят и всю окружающую публику в неописуемый восторг.

Старуха, ухватив Шалапина за руку, с треском ударила его по ладони:

— Давай вместе работать! Кормить буду! Поить буду! И платить буду! Говори, сколько хочешь?

Разразился дикий хохот.

Шалапин почесал в затылке, как бы обдумывая предложение. И, приподняв одну бровь, указал на Церетели:

— Дашь больше, чем он, — согласен с тобой работать!

У цыганки огнем запылали глаза. Она молнией сверкнула ими, глянув на директора, который одет был очень скромно, сидел на скамье как-то осунувшись и сгорбившись, явно не походя на «большого барина».

— Даю больше!

Но, повернувшись к Шалапину, все же спросила:

— А сколько он тебе платит?

— Не так уж много, всего только двести тысяч франков за выступление. А ты сколько думаешь мне дать? — спросил Федор Иванович, прищурив один глаз.

Старуха рассердилась, что-то пробормотала насчет шутки, а потом, после некоторого мол-



Фотография с дарственной надписью дочери: «Моя дорогая дочь Ариша. Так я тебя люблю, так люблю, ох как люблю!!! Папа Федя Шалапин». 1909 г.

чания, вероятно, все обдумав и взвесив, произнесла:

— Мое последнее и веское слово: 250 франков в месяц, кормежка и пара лакированных сапог в год!

Что после этого стало происходить вокруг, описать трудно.

— Что тут смешного? — Цыганка пробежала глазами по буквально стонавшей толпе. — Разве этого мало? — И, указав на Шалапина, добавила: — Попробуй такого здорового прокормить!

Шалапин посмотрел на Рахманинова:

— Сережа, как ты думаешь, пожалуй, согласиться можно, если к сапогам прибавить штаны?

— Пошли! Штаны будут! О, белобрысый! Ну, что задумался, как индюк. Пошли, пока не передумал! — Но Шалапин, вздохнув, указал на Рахманинова:

— Вот, не могу с другим своим расстаться. Возьми его тоже.

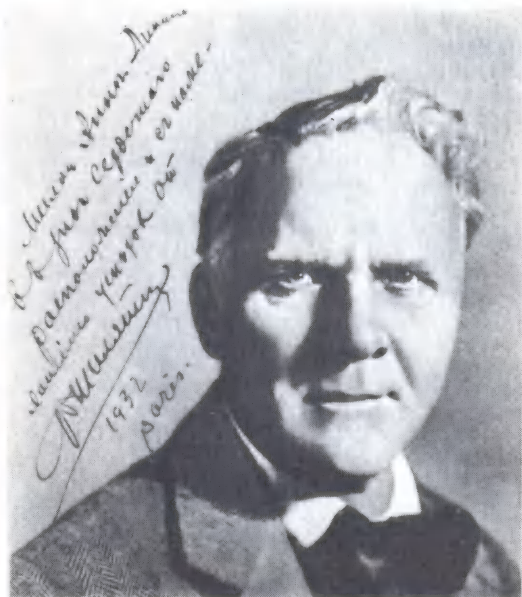
— А что ты умеешь? — обратилась старуха к Рахманинову.

— Немного трынйкаю на балалайке, — ответил он.

— Не пойдет. Это не цыганская музыка. А на гитаре умеешь?

— Немного и на гитаре умею, но только на одной струне.

Рахманинов ударил по струнам, разыграв из «Разлуки» целую симфонию.



Ф. И. Шаляпин. Париж, 1932 г.

— Да, недурно у тебя выходит,— воскликнула цыганка.— А танцевать умеешь?

— Вальс и краковяк,— отвечал Сергей Васильевич.

— Нет, это не годится. Надо танцевать, как он, не по-барски, а по-цыгански.— И она показала на Шаляпина.

— Ну, матушка,— отвечал Рахманинов,— он ведь из цыган, а я — русский.

— Ладно, сто франков тебе, русак, в месяц и харч!

— А сапоги?

— Зачем тебе сапоги, если не танцуешь? Сносишь свои, пойдешь босиком, как я хожу. Опять раздался громкий хохот.

Коровин в этот момент дорисовывал пляску Шаляпина перед цыганами.

— А ты что тут малюешь? — И цыганка подошла к художнику. Увидев себя, своих внучат и Шаляпина, женщина всплеснула руками:

— Продай мне этот портрет! Сколько за него хочешь?

Церетели, которого прервали на полуслове и которому уже стала надоедать вся эта история, чтобы угасить пыл цыганки и наконец отделаться от нее, вынул из бокового кармана контракт с Шаляпиным:

— Портрет стоит столько, сколько я в Лон-



Комната дома Ф. И. Шаляпина на Новинском бульваре.

доне по договору буду платить белобрысому цыгану за каждое выступление.

Цыганка, заглянув в бумагу, печально опустила руки, чувствуя провал всех своих сделок. Но, взглянув на сидящих еще раз, прочла вслух: «Федору Ивановичу Шаляпину».

Мгновенно все поняв, она опустилась перед певцом на колени, положила руки ему на грудь:

— Дай же, мой милый барин, на тебя лучше посмотреть!

Долго и внимательно смотрела она Шаляпину в лицо.

Но вот взгляд ее упал на портрет, в котором дорисовывал последнюю деталь наш знаменитый художник. Вскочив и засунув руку в мешок с деньгами, она достала денежный билет, оглянувшись, быстро подошла к Коровину, сунула кредитку ему в карман, выхватила у художника рисунок и, крикнув малышам по-цыгански, мгновенно растворилась в образовавшейся вокруг сидевших артистов толпе.

Коровин в недоумении обводил всех глазами, держа в руках десятифранковый билет. Вся компания схватилась за животы, изнывая от хохота.

— Ну что ж, Костя, — обратился к Коровину Федор Иванович. — Раз заработал, приглашай нас всех в ресторан на обед!

И вся компания дружно поддерживала идею Шаляпина.

Обед обошелся Коровину в шестьдесят раз дороже.

...Именитая компания из ресторана вышла навеселе. Рахманинов торопился: завтра он уезжал на гастроли в Америку.

— Спасибо вам, друзья, за чудесный обед, и еще спасибо за то, что мою «Разлуку» в счет не включили! — сказал он Шаляпину и Коровину, садясь в автомобиль.

— Держи его, держи!

Но машина тронулась и понесла улыбающегося гения по бульварам Парижа.

— И как это мы с тобой, Костя, проморгали! — с горечью сказал Федор Иванович. — Но ты... вот что. Напиши картину: Шаляпин пляшет с цыганятами, поднимая пыль столбом. Рахманинов на гитаре запузывает, а цыганка ему платком пот утирает. И пошлем эту картину ему в Нью-Йорк наложенным платежом в 600 франков.

Коровин расхохотался:

— Вот идея! Ну и молодец ты, Федор! Придумал ловко! Сегодня же начну писать.

Картина вскоре была создана и отправлена Рахманинову. Через четыре недели на имя отправителя ценного пакета Федора Ивановича Шаляпина пришло письмо. Позже я переписал себе его на память.

«Дорогие Друзья-Охотнички! — обращался к Шаляпину и Коровину Рахманинов. — Ваши удочки цепки, ружья метки. На моем месте карась и заяц плакали бы, но я от души смеюсь и очень счастлив, что наша прогулка в Булонском лесу запечатлена на картине. Спасибо Косте за чудесную работу, а тебе, Федор, за идею! Уверен, выдумка твоя... Значит, за цыганскую «Раз-



На гастроли. Одесса, 1912 г.

луку» в расчете. Обоих обнимаю и крепко целую. Сергей.

Р. С. Успех мой в Нью-Йорке огромный, бесконечные контракты... Импресарио назойливые, как мухи, не дают ни поесть, ни поспать... Как закончишь сезон в Париже, запрягай, Федор, коней и привози сюда всю черителиевскую братию. Пусть ребята подзаработают, а главное, пусть во главе с тобой покажут наше настоящее русское искусство.

Часто вспоминаю ту цыганку в Булонском лесу и ржу как лошадь. А вспоминаю тебя и твои «Очи черные» — на душе становится тепло и сладко. Слушал бы тебя и день и ночь... Эх, Федор! Тоска берет по Родине... Вот ноги ходят по Нью-Йорку, а в глазах Москва и в сердце наш милый, ни с кем не сравнимый русский народ. Сердечный привет Марии Валентиновне, твоим деткам и всей нашей артистической братии. Еще раз тебя и Костю крепко целую. Пиши».

Вот так на грустной ноте закончилась эта история, которая когда-то так весело началась в Париже, в Булонском лесу.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПУБЛИКАТОРА

Рукопись книги Георгия Филипповича Коршунова (1898—1984), небольшой отрывок из которой публикуется в «Прометее», — о зарубежном периоде выступлений Федора Ивановича Шалаяпина.

Несколько слов об авторе воспоминаний.

Г. Ф. Коршунов родился на окраине Могилева. В семье было двенадцать человек детей. Отец будущего певца служил на железной дороге, мечтал передать профессию сыну. Но жизнь распорядилась иначе.

...1914 год. Из шестого класса коммерческого училища Г. Ф. Коршунов добровольцем уходит на фронт. Служил в полковой разведке, был контужен. Перед революцией вместе с родителями попадает в Ригу, куда по делам службы был переведен его отец.

В Риге раскрывается талант будущего оперного певца и актера, определяется его призвание. Некоторое время Г. Ф. Коршунов выступает в дивертисментных программах рижских кинотеатров, а затем в Рижском театре русской драмы. В январе 1928 года в результате конкурса становится артистом «Опера Рюс Приве де Пари». С этого же года работает в оперной труппе, возглавляемой Ф. И. Шалаяпиным.

Всего за несколько лет до начала Великой Отечественной войны Г. Ф. Коршунову предоставлена возможность вернуться на Родину. Вскоре после окончания Великой Отечественной он снова в Риге, работает на радио, позже переезжает в Москву. Работать над воспоминаниями о Федоре Ивановиче Шалаяпине начал в 1950-е годы.

Готовя отрывок из рукописи к печати, удалось разыскать несколько отзывов о работе Георгия Филипповича. «Г. Ф. Коршунов, — писал в 1957 году дирижер Николай Иванов, — не только жил бок о бок с Шалаяпиным и был свидетелем

его упорной работы над собой, высокой требовательности к себе и к своим партнерам, не только знал его стремления, мечты и надежды, но и пел с ним в одних спектаклях, был его пламенным поклонником и внимательным учеником. Поэтому литературный труд Коршунова — это прежде всего квалифицированный, подробный разбор творчества Шалаяпина в ролях Мельника, Кончака (воспоминания об этой роли особенно интересны и потому, что великий артист пел Кончака на сцене только за рубежом. — М. И.), Галицкого, Бориса Годунова, Ивана Грозного и других ролей в операх исключительно русских композиторов».

Шалаяпин со стороны сцены... К сожалению, не столь частый взгляд: при всем относительном обилии газетных и журнальных публикаций они чаще затрагивают личную жизнь и недостаточно полно освещают творческую деятельность талантливого артиста. Рукопись Г. Ф. Коршунова в этом плане стоит особняком — и в том ее ценность.

Впрочем, Шалаяпин-человек, патриот своей великой Отчизны в ней так же ярко представлен. «Наши гастроли в Лондоне, — пишет Г. Коршунов, — завершились оперой Мусоргского «Борис Годунов». Назавтра Шалаяпин собрал всех в театре и сказал:

— Друзья мои. Мы, русские, одержали славную победу. Мы с гордостью можем сказать, что высоко и с честью держим святое знамя русского искусства. За это умение, за старания, за любовь к родному искусству и большую работу наш народ-богатырь, быть может, помянет нас добрым словом и простит наши вольные и невольные ошибки.

Приводятся в рукописи и такие слова Федора Ивановича: «Вот моя заповедь: умру вдруг на чужбине, перевезите мой прах на Родину». Как известно, это пожелание певца было выполнено.

Отрывки, которые мы публикуем сегодня впервые, — лишь скромная часть трехсотсорокапятистраничной рукописи интереснейших воспоминаний Г. Ф. Коршунова. В свое время волею судеб она оказалась в Ростове-на-Дону, ее приметили, и в журнале «Дон» (№ 6, 1984) появилась небольшая публикация «Шалаяпин в жизни и на сцене».

Чем, кроме обильной фактуры, привлекательна рукопись Г. Ф. Коршунова? Язык ее живой и яркий, а самое главное, в эту работу вложена душа соратника и единомышленника Ф. И. Шалаяпина — оперного гения России, бесконечно многое в творчестве которого еще ждет своего освещения.

Публикацию подготовил Максим Иванов.

Снимки из архива

И. Ф. Шалаяпиной-Бакшеевой.

Фотогравюра А. Задикьяна.

Часть фотографий воспроизводится впервые.

Максим Иванов

Автор неизвестен, но...

*Рассказ о портретах Ф. И. Шаляпина
в частных собраниях Москвы*

Он сидит, свободно расположившись в кресле. Справа — рояль, за спиной, на стене — большое полотно: подарок кого-то из друзей художников. Коричневый костюм; пуловер из белой шерсти плотно облегал широкую грудь. На ногах — теплые бёрки.

Неизвестный портрет Шаляпина... Находка? Несомненно! Как несомненно и то, что «рано или поздно это великолепное произведение искусства станет украшением реставрируемого ныне дома гения русской национальной оперы на улице Чайковского в Москве», — не раз говорил счастливый обладатель портрета... А вот еще одна работа. Семнадцать лет — таков приблизительный срок, который отделяет время создания одного полотна от другого. Счастливые для Ф. И. Шаляпина годы расцвета его дарования, признания Родиной его оперного гения, время необычайного творческого взлета и — период столь тягостных для певца, трагически отражающихся на его таланте скитаний по чужбине. Поистине не годы, а непреодолимая, глубочайшая пропасть пролегла между этими двумя холстами. Два совершенно разных полотна... И все же то, что объединяет их, как оказалось, сильнее. Это в первую очередь личность певца-гения Федора Ивановича Шаляпина. Второе — мастерство создателей портретов. Наконец, третье — добрые руки коллекционера, которые трепетно, через многие годы донесли до наших дней совершенно различные и столь великолепные, каждое, конечно, по-своему, полотна.

...Московские коллекционеры — любители и знатоки живописи, — все они люди самые разные по характерам, склонностям и привычкам. Привержены, конечно, самым разнообразным делам: люди каких только профессий не становятся коллекционерами! Долго гадать о том, что их объединяет в один несуетный коллекционерский клан, не приходится: любовь к прекрасному. Сколько сделано этими людьми счастливых открытий, сколько найдено работ, украсивших лучшие из лучших музеев страны! Дейст-

вительно, наиболее значительные из частных собраний, как итог всей жизни коллекционера, передаются обычно в государственные хранилища. Примеров тому можно привести немало. Особенно ценно, если в хранилище такое собрание не распадается, а содержится так, словно представляет из себя только одну, пусть и состоящую из многих частей, но одну единицу хранения. Такой вот логически обоснованной точки зрения придерживается Владимир Николаевич Москвинов — ученик известного советского художника, автора многих книг об искусстве, страстного исследователя старины И. Э. Грабаря. С В. Н. Москвиновым, старейшим московским искусствоведом и, конечно, тоже коллекционером, кто-либо из читателей, быть может, знаком по многочисленным публикациям, книгам Москвинова, посвященным творчеству И. Е. Репина и А. В. Исупова. Имя Ильи Ефимовича Репина известно даже неискушенному в живописи, его полотна знакомы нам начиная с многочисленных репродукций в школьных учебниках. Ну а Алексей Владимирович Исупов — художник, наш талантливый соотечественник, чьи работы заслуженно украшают сегодня лучшие музеи и картинные галереи мира, на Родине долгое время был мало известен... К слову, несколько полотен и рисунков Исупова, подаренных коллекционеру Москвинову сестрой художника, — гордость первоклассного собрания Владимира Николаевича.

Следует сказать и о том, что В. Н. Москвинов был давним знакомым дочери Ф. И. Шаляпина Ирины Федоровны. Теплые, дружеские отношения с ней он поддерживал на протяжении последних лет жизни Шаляпиной, активно участвуя вместе с ней в поиске и подборе материалов для только планировавшегося тогда музея певца в Москве.

Конечно, большой поклонник таланта Шаляпина, «наделенный» к тому же и на творчество Исупова, В. Н. Москвинов не мог пропустить мимо своего внимания вот этот портрет Федора Ивановича кисти... как мы можем предполагать сегодня — да, того же «русского итальянца» Алексея Владимировича Исупова.

Он воспроизводится сегодня — портрет Ф. И. Шаляпина, который вполне можно назвать «В минуты раздумья». Сразу скажу читателям, полотно не подписанное. А потому резонный вопрос: насколько убедительно можем мы сказать сегодня, что оно принадлежит кисти Исупова? Предположение? Да, некоторые детали говорят о том, что портрет вполне мог оказаться вышедшим из мастерской «русского итальянца» — заметим, не только замечательного художника, но и активного участника итальянского Сопротивления. Полотно Исупова можно найти в каталоге галереи лучших автопортретов мира Уффици, они хранятся в Третьяковской галерее и Кировском областном художественном музее имени А. М. Горького, то есть в бывшей Вятке, на родине мастера, куда они были переданы после его смерти вдовой этого тонкого и глубоко национального художника¹.

Ведь верно: сама манера, использование оп-

ределенного сочетания красок на заинтересовавшем нас полотне — типичные, исповские. Можно сравнить это произведение талантливо-го художника с другой его неординарной вещью — портретом мужчины (известного в 1920-х годах медика-патолога Абрикосова?), воспроизведенным в августе 1981 года в журнале «Огонек»²: в том, как ложится мазок, как мастерски прописаны руки, лицо, как скомпонована вещь, каково ее цветовое решение, сходство, несомненно, есть...

Какой бы, впрочем, художник, а последующая экспертиза покажет, правы ли предварительные выводы о принадлежности портрета кисти Исупова, какой бы мастер кисти ни написал портрет Шалапина, находка его для изучающих творчество Федора Ивановича, поклонников его замечательного таланта, для искусствоведов, деятелей театрального искусства наконец, ясно, событие. Не возникает сомнения, что неординарная работа эта займет достойное место в иконографии Шалапина, среди портретов певца, которые создали Репин и Серов, Коровин и Кустодиев, Яковлев и Остроухов... Всю творческую жизнь, это хорошо известно, об этом много написано, рядом с Шалапиным шли художники, запечатлевшие гения русской оперы таким, каким знали его современники, да, пожалуй, с большей психологической достоверностью, чем многие из тех, кто нам оставил его словесные портреты...

Говоря об исуповском полотне, необходимо отметить и то, что Шалапин и сам неплохо владел кистью (не случайно одна из работ, посвященных его творчеству, так и называется: «Шалапин — график, живописец, скульптор») и, обладая развитым художественным вкусом, вряд ли согласился бы позировать ремесленнику. Вспомним к тому же о дефиците времени, который он обычно испытывал. А для создания этого портрета, как утверждают специалисты, потребовалось не менее пяти многочасовых сеансов...

И еще одна деталь. За спиной Федора Ивановича — четко прописанное окно, в котором легко читается силуэт западноевропейского города, значит, работа эта, предположим мы, создана за границей, где в начале тридцатых Шалапин и Исупов, вполне вероятно, встречались. Достаточно посмотреть «Летопись жизни и творчества Ф. И. Шалапина»³, хронограф Федора Ивановича (он опубликован в третьем томе издания «Федор Иванович Шалапин»⁴, сразу же после выхода в свет ставшем библиографической редкостью): мест, где могла за рубежом судьба свести этих двух на редкость талантливых людей, немало. Скажем, 1930-е годы. В это время Исупов уже жил постоянно в Италии, Шалапин же с гастролями выступал в Вене, Лондоне, Париже, Праге, Берлине... Европейские расстояния, известно, невелики. Поэтому встреча, завершившаяся созданием замечательного полотна, вполне могла произойти в одном из этих городов. А тому, что Шалапин и Исупов знали друг друга, есть подтверждение: со своей будущей женой, еще до революции, Исупов по-

знакомился в морозовском (ныне московский Дом дружбы) особняке, куда был приглашен в числе немногих на камерный концерт Федора Ивановича... Конечно, уже тогда эти два больших мастера, надо думать, были представлены друг другу. Взаимный интерес, а затем и дружба, как можно предположить теперь, имела продолжение уже за рубежами нашей Отчины. Портрет — одно из ярких свидетельств тому. Но, может, найдутся и документы — письма, дневники, иные свидетельства теплого отношения друг к другу двух мастеров? Не сохранилась ли часть из них в архивах наших соотечественников, проживающих за рубежом, детей Федора Ивановича? Публикация их могла бы стать событием в культурной жизни страны...

Но вернемся к находке. Посмотрим на нее еще раз. Вот деталь, на которую сразу обращаешь внимание: в руках у певца, изображенного на портрете, — газета. Газета... Что здесь особенного? Однако особенное все же есть — отлично различимы крупные буквы названия: «Советск...» Так, может быть, «Советское искусство», предшествовавшая нынешней, хорошо знакомой читателям «Советской культуре»? Газета с таким названием была основана в 1931 году.

Как бы ни было, смысл того, о чем хотел сказать художник, предельно ясен: и вдали от Родины великий русский певец не расставался с мыслью о ней, оставаясь до конца дней своих, до последнего дыхания патриотом.

Рассуждения о портрете, кажется, выстраиваются в прочную логическую цепочку. Но...

Но приходит помеченное ноябрем 1982 года письмо из Италии, от сына Ф. И. Шалапина. С портретом, о котором идет речь, Федор Федорович сумел познакомиться, раскрыв один из номеров «Голоса Родины»⁵, издания, предназначенного для наших соотечественников, проживающих за рубежом, где он был в свое время воспроизведен. И что же?..

«Ни одна из квартир отца в Париже, где он жил, не выходила окнами на собор».

А как быть с костюмом певца, в котором есть подчеркнuto национальные детали? Хорошо, пуловер из белой шерсти, плотно облегающий широкую грудь, можно сказать, «интернационален». Но бурки?

«В Париже у отца в гардеробе никаких бурок не было», — продолжает Федор Федорович. И уж совсем убедительным кажется ему довод: «Их там не носят».

«Советская газета, — считает сын певца, — тоже произвольное решение художника. В то время, когда жил в Париже отец, советские газеты там не продавались».

Но мог же кто-то и привезти?

«В нашем доме их не было».

Да вы могли и запомнить, Федор Федорович... Хорошо, а как быть с Исуповым?

«Отец Исупова не знал и нигде не мог его встретить... Я и моя сестра (то есть Татьяна Федоровна, — М. И.) слышим его фамилию впервые... Недаром работа не подписана».

Опять можно спорить! Ведь, по свидетельству Ирины Федоровны Шалапиной, одна из ра-



Ф. И. Шалапин. Портрет из собрания В. Н. Москвинова.

бот Исупова украшала комнату в доме певца на Новинском бульваре в Москве.

Но к чему споры, когда портрет очень скоро, надо полагать, уйдет на экспертизу. Об этом позаботится тот, кому он принадлежит. Специалисты скажут свое веское слово. И тогда...

Впрочем, можно ли сегодня быть уверенным вполне, что это кисть Исупова? И что портрет действительно написан в Париже? Конечно,

нет, хотя работа «шла», как рассказывают московские собиратели — но этот факт не подтвержден, — из семьи художника, часто бывавшего в 1920—1930-е годы за рубежом... Мог привезти приглянувшуюся ему работу собрата по кисти, мог написать и сам. Мог сделать портрет Шалапина даже по фотографии⁶. Да, в конце концов, так ли уж это важно? Главное, думается, иное. Нравнодушным человеком порт-

рет написан. Художником, несшим в себе признательность гению за его высочайшее искусство. Кем бы ни было написано полотно, за рубежом ли, в Советском Союзе — портрет для нас все равно дорог не только как произведение искусства. Ибо является данью бескорыстной любви к человеку, чье место на оперной сцене, по словам С. В. Рахманинова, вряд ли будет занято скоро. Ну а что мастер вложил в руки Шаляпина советскую газету... Так ведь он самые сокровенные чувства певца увидел! Тягу его к Родине, своему народу, понимание трагической судьбы большого художника в мире совсем не духовных ценностей...

И все же: исуповский это Шаляпин или нет? Как ответить точно? Быть может, выяснив имена первых владельцев работы? Хочется думать, ответ на последний вопрос мы получим и потому, что работа была показана по телевидению в программе «Время» (в рассказе о праздновании 110-й годовщины со дня рождения Ф. И. Шаляпина в Доме актера ВТО), ее видели миллионы людей. Сегодня она воспроизводится в «Прометее». Неужели не окажется среди читателей человека, который мог бы хоть что-то добавить к тому, что мы знаем о полотне, истории его создания, увлекательной и драматичной его «жизни», о тех, в чьих руках довелось ему побывать?..

...Второй портрет из шаляпинской серии, который удалось разыскать в Москве, принадлежит кисти Константина Коровина (здесь атрибуция уже не нужна. Он подписан и датирован 1914 годом). Шаляпин изображен с дочерью Ириной у раскрытого окна одной из комнат дома Константина Алексеевича в Гурзуфе. Домик, кстати, сохранился до нашего времени. А комната эта ныне — одна из комнат Дома творчества художников. К слову, в память о К. Коровине здесь экспонируется несколько его превосходных оригиналов.

Трудно найти слова, могущие передать всю прелесть этой «вечерней» вещи, в которой доминируют лишь три цвета: темно-синий, белый, красный. Легко узнается широкий и свободный, мастеровский коровинский мазок. Буквально *ударами* кисти брошена краска на полотно. Такое впечатление, будто прилив творчества художник почувствовал внезапно. Тут же схватил кисть... и посыпались на холст лихорадочные, быстрые и одновременно точные и сочные мазки.

Густым нежным ароматом настоян воздух. На черном бархатном небе встает желтая луна...

Да, Шаляпин здесь совсем иной, нежели на том, о котором мы уже рассказали, более позднем исуповском портрете. Совсем другое состояние шаляпинской души — светлое, радостное. Он счастлив в семье, счастлив с детьми, голос его не знает равных...

Редко кому удается из художников, но Коровин умел это делать: здесь красками выражено больше, чем они могут написать. Коровин передал ими такую тонкую субстанцию, как настроение.

Ну а кому же принадлежат эти работы? Московским собирателям: исуповский (или не исуповский) портрет Ф. И. Шаляпина в собрании, как теперь уже знает читатель, старейшего московского искусствоведа и коллекционера В. Н. Москвинова, при первом же разговоре о той судьбе, что ожидает эту картину, уверенно сказавшего те слова, которые вынесены в начало материала: «Портрет станет украшением будущего дома-музея певца на бывшем Новинском бульваре, ныне улице Чайковского в Москве». Имя обладателя коровинского шедевра? Его просили держать пока в секрете. Можно сказать только: среди московских коллекционеров этот человек — один из первых в своем деле. Если можно так назвать его — академик коллекционирования. Вот и все. И добавить об этих работах пока, пожалуй, нечего.

А сколько же всего портретов, изображающих Ф. И. Шаляпина, находится в частных собраниях столицы? О двух из них мы коротко рассказали. Еще с двумя — кисти Кустодиева и атрибутированным как автопортрет Шаляпина — любители живописи смогли познакомиться на выставке полотен из коллекции И. С. Зильберштейна, организованной в 1985 году Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина⁷. Еще один портрет Шаляпина кисти К. А. Коровина ни разу не только не воспроизводившийся, но и не выставившийся для широкого обозрения, находится в очень интересном собрании М. И. Музыченко — вдовы выступавшего вместе с Федором Ивановичем за рубежами нашей Отчизны певца Г. Ф. Коршунова (два небольших отрывка из его воспоминаний о Ф. И. Шаляпине помещены в «Прометее»). Этот второй коровинский портрет Ф. И. Шаляпина, привезенный в 1936 году из Парижа, пожалуй, одно из самых значительных изображений певца. Исполненный в золотисто-коричнево-белых тонах, он производит незабываемое впечатление. Сохранность его идеальная.

Осталось упомянуть небольшой этюд, с описания которого начинается вызвавший обильную почту материал «Размышления у портрета», опубликованный в 1980 году в газете «Советская Россия»⁸. Статья же в целом была посвящена созданию Музея частных коллекций в Москве; идея эта была позже поддержана «Правдой», «Литературной газетой»⁹. Этот небольшой, но потребовавший сложнейшей реставрации портрет (он находился вблизи от открытого огня и чуть не сгорел), по оценке экспертов, также принадлежит кисти К. Коровина, это этюд к работе художника 1911 года, хранящейся в Государственном Русском музее.

Портреты Ф. И. Шаляпина в частных собраниях Москвы... При всем их различии и одновременно сходстве — оно заключается и в том, что написаны они неординарными мастерами, — полотна эти, несомненно, добавляют несколько ярких черт к пониманию такого явления, каким был Федор Иванович Шаляпин — «Пушкин в опере», как называли его современники. Яркий художник, глубокой, драматической судьбы человек.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Об Алексее Владимировиче Исупове, его выдающемся мастерстве, его работах, участии в итальянском движении Сопротивления см., например: Смирнов С. Русские в Риме. — «Правда», 1964, 4 июля; Москвинов В. Римский вятич. — «Голос Родины», май 1978, № 18; Алексеева А. Дорога домой. — «Смена» № 21, ноябрь 1981; Иванов М. Рисунки сделаны с натуры... — «Правда», 1979, 12 сентября; Художник Алексей Исупов. — «Огонек», август 1981, № 35; Неизвестные работы А. В. Исупова. — «Голос

Родины», сентябрь 1979, № 37; История незавершенной картины. — «64» — «Шахматное обозрение», апрель 1980, № 7; Флейшер А. Красные флаги над виллой Тай. — «Советская Россия», 1981, 25 января.

² «Огонек», 1981, № 35.

³ Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина, Л., Музыка. 1984. Т. 1.

⁴ Федор Иванович Шаляпин. Статьи и высказывания. Приложения. М., Искусство, 1979. Т. 3.

⁵ «Голос Родины», 1981, № 45.

⁶ См., например, иллюстративный ряд в книге М. Яновского «Шаляпин». Л., Искусство, 1972.

⁷ Переданы в дар государству.

⁸ «Советская Россия», 1980, 26 июля.

⁹ «Литературная газета», 1985, № 4, статья И. Зильберштейна «Невосполнимое?».

Николай Романов

Проторение путей

Из воспоминаний об академике И. П. Павлове

Между внешней жизнью человека и тем идеалом, который рисует себе его воображение, всегда существует разрыв большей или меньшей глубины. «Каждый человек доволен своим умом и недоволен своим положением», — говорит английская пословица.

Возвратившись из Ленинграда в Воронеж, я как никогда остро почувствовал на себе всю справедливость этой мысли. Отныне все мои мечты, все мои помыслы были в Ленинграде — в работах по условным рефлексам; суровая действительность приковывала меня к Воронежу — к педагогической работе. Нельзя сказать, чтобы я не любил свою специальность. Наоборот, часто педагогический процесс увлекал меня: я любил свою аудиторию, я любил взгляды этих десятков внимательных глаз, следивших за незамысловатыми формулами, возникавшими под скрипучим мелом на черной доске. У меня было заготовлено несколько специальных приемов-анекдотов из истории физики, более или менее интересных парадоксов и научных вопросов, которыми я возбуждал внимание утомленных слушателей, если интерес их к лекции почему-либо угасал. Но теперь, после того, что мне пришлось пережить и перечувствовать в Ленинграде, после того необыкновенного богатства новых мыслей, образов и впечатлений, навеки врезавшихся в мое сознание, я почти потерял вкус к своей обычной педагогической работе. Светлые просторы Невы поселили во мне мечту, и я не знал, суждено ли ей сбыться... Часто я задумывался обо всем этом и во время лекции. Тогда слушатели переставали узнавать меня. Я начинал говорить автоматически, глухим и монотонным голосом. Мой взгляд был устремлен куда-то вдаль и делался как бы невидящим. Впрочем, это выражение «невидящий» неверно. Нет, я видел нечто перед собой, но отнюдь не скучную классную доску с формулой все того же вечного закона Бойля — Мариотта, а широкую асфальтированную Дворцовую площадь с Александровской колонной или арку Главного штаба с несущейся

стремительно вперед колесницей. Иногда дело доходило до курьезов. Однажды на курсах строительных десятников, где я читал техническую физику, я диктовал (ввиду отсутствия подходящих учебников) классический закон инерции. Было два часа дня. На дворе стоял июль месяц. В переполненной аудитории было невыносимо жарко и душно. Мысль охотнее сосредоточивалась на стакане кваса или на добром куске арбуза, чем на далеком и, казалось, ненужном законе инерции. Я диктовал: «Всякое тело...» — «Всякое тело...» — раздавался в ответ приглушенный шепот тяжело дышащих и записывающих курсистов. «...сохраняет состояние покоя...», — нудно продолжал я. «Уф... состояние покоя», — вздыхали они, «или прямолинейного равномерного движения...» — «Движения», — так же скучно повторяли курсанты. «До тех пор...» — «До тех пор», — покорно раздавалось в ответ (рубашки слушателей намочили от пота и припили к спинам, — давно скрипели карандаши их). «Пока какая-нибудь внешняя причина...» — «...внешняя причина...» — уныло повторяли за мной курсанты. «Не выведет его...» И только успел я произнести эти последние слова: «не выведет его» — как из задних рядов аудитории чей-то громкий и веселый бас зычно гаркнул: «Из терпенья!» — Такова была столь неожиданная концовка знаменитого закона Ньютона, вряд ли предвиденная знаменитым ученым в его «Математических началах натуральной философии».

Несмотря на расстояние в 1000 километров, отделявшее меня от Ленинграда, моя связь с Институтом академика Павлова в это время не прерывалась. Всеволод Иванович Павлов * сдержал свое слово. Вскоре я получил I, II, III, а затем и последние тома «Трудов физиологических лабораторий академика И. П. Павлова». Спустя некоторое время Всеволод Иванович письменно обратился ко мне с просьбой. Вопрос шел о выработке стандарта таблицы для опытов с условными рефlekсами. В подобных опубликованных работах в порядке граф, а также в способах заполнения некоторых наблюдений существовал большой разноречивости. Различия в форме таблиц объяснялось особенностями данного эксперимента. Часто эти различия в той или иной мере просто отражали манеру и вкусы автора, представлявшего результат эксперимента. Вместе с тем разница в форме и условиях обозначения таблиц в большой мере затрудняла их чтение, а

* Сын академика И. П. Павлова.



Н. А. Романов. Последняя фотография.

в особенности сравнение результатов экспериментов.

«Математическому уму, — писал мне Всеволод Иванович, — подвластно все схематизировать и систематизировать. Поэтому я и обращаюсь именно к Вам с просьбой выработать наиболее удобную, простую и вместе с тем достаточно общую форму таблицы, в которую бы укладывались результаты полученных различных опытов».

Я прямо взялся за работу. Мысль о том, что я могу быть чем-то полезен Институту академика Павлова, что Всеволод Иванович обратился именно ко мне, а не к кому-нибудь другому, наполняла мое сердце рвением и гордостью.

Случилось так, что весной этого, 1933 года моя педагогическая нагрузка на курсах и в техникуме в течение некоторого времени (около месяца) была невелика, и я решил воспользоваться этим, чтобы как следует изучить книгу академика И. П. Павлова «Лекции о работе больших полушарий головного мозга». Я избрал такой метод изучения. Каждый день утром (я работал над этой книгой три часа ежедневно) я читал очень медленно и внимательно одну лекцию из этой книги и составлял краткий конспект ее, выделяя главные мысли, отмечая попутно возникшие непонятные места, сомнения и вопросы. Этот черновой конспект я вел карандашом. На следующий день утром я переписывал набело чернилами — по возможности аккуратно —

этот конспект в особую, специально предназначенную «общую» тетрадь и читал следующую лекцию, знакомясь с новым материалом и составляя новый карандашный конспект. Я заметил, что такое возвращение наутро к материалу, прочитанному накануне, способствует связности и общности моих представлений об этой главе физиологии нервной деятельности.

Кроме того, особую роль играла, как я это заметил, имевшая место между первым и вторым восприятием данной лекции, если можно так выразиться, «ночная прослойка сна». Я заметил, что эта «прослойка сна» обладает свойством не только закреплять в памяти прочитанное накануне, но и способствует разъяснению многих мест, казавшихся вчера неясными, туманными. Я заметил, когда встанешь бодрый и свежий (майский ветер влетал в открытую балконную дверь и шелестел листьями тетради), многие места, отмеченные мною накануне знаком «?» (я жалел в эти минуты, что не имею медицинского образования и почти незнаком с физиологией), делались наутро ясными и понятными, как будто какой-то сведущий и добрый советчик растолковал мне их ночью. Я заметил, что такое «бессознательное мышление», если так можно выразиться, бывает особенно продуктивным, если, засыпая, направить свою мысль по нужному пути, как бы дав ей первоначальный легкий толчок, чтобы дальше она, эта мысль, могла бы двигаться как бы по инерции. Только нужно было очень точно дозировать это вечернее мозговое напряжение при засыпании, чтобы не переутомить себя и не вызвать бессоницы.

Что происходит, что делается в это глухое ночное время в этой сложной таинственной машине, именуемой человеческим мозгом? Какие процессы происходят в этих тончайших клетках органической материи — в клетках мозговой коры, когда человек спит, руки и ноги его безвольно раскинуты и в ночной тишине слышно только его равномерное дыхание?

Конспект лекций академика И. П. Павлова в своей толстой «общей» тетради я обычно снабжал различными схемами, рисунками, диаграммами, поясняющими ту или иную мысль. Так я придумал простой и наглядный чертеж, иллюстрирующий самую структуру условного рефлекса, построенного на базе безусловного. Мне нравилось дать этому основному физиологическому явлению до предела упрощенную наглядную геометрическую интерпретацию. Замечу кстати, что профессор А. И. Врушес (Москва) впоследствии (по-моему, очень метко) назвал этот чертеж — «условный рефлекс для инженеров»; один научный работник, швед по национальности (фамилии его, к сожалению, я не помню), работавший одно время в лаборатории ВИЭМ в Ленинграде, тоже оценил эту наглядность. Чертеж этот опубликован в моем сообщении («Доклады Академии наук СССР», 1935, февраль, № 4).

Об итогах своих наблюдений я написал В. И. Павлову. Вскоре он прислал мне отзыв ака-

демика Н. Н. Лузина, который сделал обстоятельный разбор моей статьи. Совершенно неожиданно для меня Н. Н. Лузин делал вывод: «Автор работы Н. А. Романов, безусловно, талантлив, и работу можно печатать...» Такой конец письма после всех уроков и замечаний (не без яда) был для меня полной неожиданностью. В это время я не привык еще к методам, принятым в научной критике. Я думал наивно, что отзыв должен быть или весь хороший, или весь плохой. Мне странно было прочитать такое благоприятное заключение. Я не знал еще, что научная критика часто бывает и обратного порядка: начав с комплиментов («отдавая должное научной эрудиции автора»), пряча камень за пазухой, — в конце обрушиться на тебя и стереть в порошок, не оставив ничего от основных положений работы.

В это время я уже заведовал кафедрой физики Воронежского инженерно-строительного института гражданского Аэрофлота. Встал вопрос о присвоении мне ученого звания доцента. Нужно было представить в институтскую комиссию официальные отзывы об имеющихся научных работах. Я написал об этом Всеволоду Ивановичу Павлову и вскоре получил официальную бумагу. С волнением я прочел:

«Настоящим удостоверяю, что Николаем

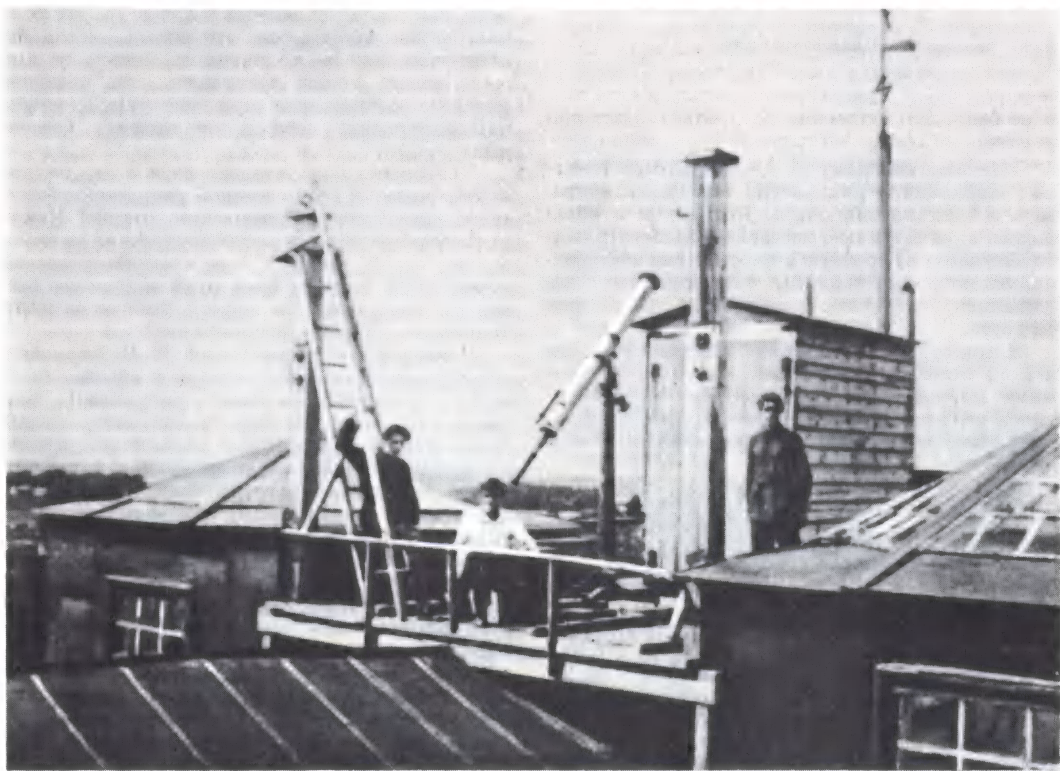
Александровичем Романовым представлены две работы: 1. О стандартной таблице для опытов с условными рефлексам; 2. Условные рефлексы и формула вероятности. Первая работа имеет техническое значение и выполнена с исключительной тщательностью. С кратким конспектом второй из этих работ Н. А. Романов лично ознакомил 7 октября 1931 г. в Ленинграде академика Н. Н. Лузина и меня, и мы оба признали эту работу имеющей серьезное значение.

Академик И. Павлов

9 декабря 1932 г.»

Да, это была полоса везений и удач! Через некоторое время я получил очередную книжную посылку из Ленинграда. Каковы же были мои радость и изумление, когда в пакете я обнаружил книгу академика Павлова «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных». На первом листе стояло — почерк был уверенный, крупный: «Н. А. Романову от автора».

Вскоре после описываемых фактов зашла речь о передаче Воронежского инженерно-строительного института гражданского Аэрофлота в ведение Наркомтяжпрома. Институт фактически переставал существовать. Другой подобный же вуз находился в Ленинграде. Я решил использовать создавшееся положение для моего



Члены воронежского астрономического кружка «Астероид», который возглавлял в начале 20-х гг. Н. А. Романов.

перевода в Ленинградский институт Аэрофлота. Выхлопотал командировку, захватил необходимые бумаги и отправился пытаться счастья.

...Стоял июль. Было жарко и душно. В воздухе носился запах кокса, угля, тягучего расплавленного асфальта. Приятно было по дороге зайти в какую-нибудь аптеку или киоск и выпить сельтерской воды, посасывая мятные леденки.

В квартире Павлова было по-летнему пусто. Он и вся его семья находились в Колтушах. Картины были в серых чехлах, ковры свернуты. Всеволод Иванович угостил меня завтраком. Затем мы прошли в кабинет И. П. Павлова. Это же была и его спальня, и его и жены Софьи Васильевны, или, как ее почему-то называли, Сары Васильевны. Комната поразила меня какой-то неуютностью, неуютностью. Какие-то перегородки, много мебели, стол — боком... Впрочем, быть может, это объяснялось назначением помещения.

Мы сели на небольшой диванчик. Я рассказал Всеволоду Ивановичу о своих планах. Он выслушал меня по обыкновению внимательно, чуть прищурив глаза, прямо глядя на собеседника. Затем он быстро поднялся и сказал: «Подождите одну минуту. Я сейчас познакомлю вас со своим братом Владимиром Ивановичем, профессором физики химико-технологического института. Он может вам оказать содействие».

Через минуту Всеволод Иванович возвратился со своим старшим братом, который мало чем походил на него. Если Всеволод Иванович носил столь редкий в наше время прямой пробор и гладко причесывал волосы, — выпуклый лоб Владимира Ивановича был обрамлен коротко остриженными кудрями. В фигуре старшего брата не было грузности, чуть отяжелявшей движения младшего, — весь он выглядел суше, подтянутой. В руках Владимир Иванович держал коричневую курительную трубку. Свое образование он, любимец матери, Софьи Васильевны, получил в Англии.

В семье И. П. Павлова вообще был культ всего английского. Особенно ярко это проявлялось в манерах держать себя обоих братьев. Только если Всеволод Иванович всем своим обликом, своими узкими, прищуренными глазами напоминал скорее английского коммерсанта или, вернее, представительного дипломата (он воспитывался в Лицее), то во внешности Владимира Ивановича — с его кудрями у выпуклого лба, с его трубкой — было что-то от английского моряка XIX столетия. Только не было во Владимире Ивановиче того добродушия, которое отличало приветливого Всеволода Ивановича, не было этой мягкости, расположения к собеседнику. Старший глядел прямо, холодно... Он сухо и надменно поздоровался со мной и, сказав, что постарается что-либо сделать для меня, быстро ушел. Этот грубый уход вызвал чуть легкую, но заметную гримасу неудовольствия на лице Всеволода Ивановича. Я понял: отношение между братьями не из лучших.

Мы остались одни. Я поделился с Всеволодом Ивановичем своими мыслями и переживаниями, показал конспекты книги его отца, заявил о своей готовности в любой момент держать экзамен по условным рефлексам. После паузы Всеволод Иванович сказал: «Ничего не обещаю, но думаю, здесь можно будет что-нибудь сделать».

Я не стал более надоедать и перешел к другим темам. В частности, наш разговор коснулся давно интересовавшего меня вопроса — о цветовом восприятии тональности в музыке.

Давно, еще при занятиях музыкой с детства, меня занимало своеобразное ощущение тональностей, помимо восприятия чисто музыкального, слухового. Так, во время игры на рояле я всегда представлял себе ре мажор как желтый цвет; ля мажор как розовый; соль мажор — как синий. «Бемолины» вообще представлялись мне твердоватыми, с металлическим блеском. Фа мажор я воспринимал тоже жестковатым, но другого оттенка, нежели ре мажор, — почему-то деревянным. Сообразно с этим всех людей я делил на «понимающих» и «непонимающих». К «понимающим» людям я, например, относил Наташу Ростову, которой Пьер Безухов представлялся синим и квадратным, а князь Андрей Болконский — серым и длинным. Мать Наташи удивлялась, она была для меня «непонимающей».

Бывая в Москве, я считал обязательным паломничество в музей композитора А. Н. Скрябина в переулке на Арбате и благоговейно смотрел на простенький аппарат, сконструированный им незадолго до столь трагически нелепой смерти (от фурункула на губе). Меня завораживали электрические лампочки, завернутые в разноцветную прозрачную бумагу. Модулируя из одной тональности в другую, Скрябин обычно просил, чтобы зажигали то одну лампочку, то другую. Зал освещался то одним, то другим цветом.

Цветовое ощущение музыки было у Лядова, Римского-Корсакова и Листа. Это интереснейшее явление музыкальной психологии существовало, но никто его не объяснял. Оно оставалось непонятым, пока в физиологии господствовало учение об отдельных изолированных центрах — слухового и цветового, но когда Павлов пришел к заключению, что центр — это масса клеток, сосредоточенных в одном преимущественно месте, тогда как отдельные клетки (оптические и слуховые) рассеяны как бы вперемежку во всей коре. При последнем взгляде легко можно предположить, что оптические и слуховые клетки вступают в связь, что может являться ключом к пониманию «цветовой музыки». Я сказал об этом Всеволоду Ивановичу. Он согласился, что вполне возможно.

Мы вышли на улицу. Было жарко. Всеволод Иванович — это меня поразило — был в светлых перчатках. Он всегда их надевал, прежде чем садиться в трамвай и братья за поручни (он был до болезненности мнительным).

...Несмотря на рекомендательные письма, устроиться в ленинградский институт мне не

удалось. С тяжелым чувством я возвратился в Воронеж. Снова потянулись надоевшие лекции. Как-то, возвращаясь с работы унылым осенним вечером, я зашел в книжный магазин. Мое внимание привлекла одна книга издания АН СССР. Я развернул ее, и перед моими глазами полыхало: «Возникновение и развитие теории вероятности». Все во мне замерло: вот оно! В то время как я твержу студентам о законе инерции, время не ждет! Другие люди думают о том же и не таятся писать статьи. Опоздаю! Я невольно вспомнил неудачников в историях с открытиями телефона, кино, более свежие примеры... Действительно, многие идеи появляются обычно в различных головах подобно тому, как фиалки вырастают весной везде, где светит солнце. Мысль, что меня опередят, не давала мне спать. Ведь многие уже знают основную мою идею. Это были тоскливые, холодные дни.

Но вот однажды в марте... Почтальон передал мне письмо с ленинградским штемпелем. «От Всеволода Ивановича», — подумал я и распечатал конверт. «Многоуважаемый Николай Александрович», — писал мне В. И. Павлов, — после ряда усилий с моей стороны, в которых требовалось согласовать действия трех таких столь различных по складу своей психики людей (что после устно), как мой отец, академик Н. Н. Лузин и директор Всесоюзного института Лев Николаевич Федоров, можно считать установленным следующее положение:

Н. А. Романову предоставляется штатное место научного сотрудника 1-го разряда в физиологическом отделе Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной медицины с окладом 450 рублей в месяц. Тема его занятий — математическая обработка учения об условных рефлексах. Квартирой ВИЭМ пока обеспечить не может. Этот вопрос будет разрешен в положительном смысле в течение приближительно года. Просьба сообщить о возможности своего переезда и перевода в Ленинград.

Уважающий Вас В. Павлов».

Это была счастливая точка моей жизни. Дилектик сказал бы, что количественное длительное накопление всех моих чаяний и надежд, всех моих мыслей о Ленинграде, вся моя тоска и работа в тиши черноземного города — все это постепенно накапливалось и дало, наконец, новое качество — скачок: мой перевод в город на Неве.

В марте 1934 года я, получив официальный вызов от дирекции Всесоюзного института экспериментальной медицины, распрощался с Воронежем.

Мое оформление, знакомство с директором института Львом Николаевичем Федоровым, утверждение в должности специалиста по физико-математическим вопросам при физиологическом отделе — все это заняло не более 15—20 минут. Таков был стиль работы Всеволода Ивановича Павлова, таков был характер всех его деловых предприятий и начинаний. Он заехал за мной на Мало-Подъяченскую, № 10, где я поселился у своей двоюродной сестры

А. М. Филипченко. Он приехал в отцовском автомобиле ровно в 10 часов утра, как было условлено, — в демисезонном пальто и каракулевой шапке.

Мы неслись по Дворцовой набережной, опережая другие машины властным густым сигналом. По Неве плыли зеленые льдины. Скованный гранитными набережными, глухо ворчал ледоход. Справа стальным выдержанным строем проходили фасады бывших великокняжеских дворцов.

Директор института Л. Н. Федоров чем-то походил на американца, к нему подошло бы имя «Сэм». Когда мое оформление закончилось, Всеволод Иванович дал распоряжение шоферу отвезти нас в Физиологический институт Академии наук СССР на Тучкову набережную. Здесь я познакомился с одним из ближайших сотрудников академика И. П. Павлова — профессором Н. А. Подкопаевым. Из двери одной из комнат, в которой помещались звуконепроницаемые камеры, вышел человек в круглых роговых очках, с бледным продолговатым, несколько мясистым лицом. Я поклонился. «Перед вами Николай Александрович Романов, — с какой-то торжественностью произнес Всеволод Иванович, — во весь свой рост. А это, — он сделал жест рукой, — профессор Подкопаев, тоже Николай Александрович». — «И даже выше вас», — с улыбкой сказал Подкопаев. «Во всех отношениях», — поспешил галантно добавить я.

Было решено, что хотя числиться я буду в штате Всесоюзного института экспериментальной медицины (Лопухинская ул.), территориально моя работа будет протекать в Физиологическом институте. Когда формальности закончились, Всеволод Иванович сказал мне: «Приезжайте вечером в Дом ученых. Там будет просмотр интересных фильмов».

Ровно в семь вечера я стоял у подъезда Дома ученых на Дворцовой набережной. Передо мной расстилалась величественная картина. Напротив, на противоположном берегу, гордый стройный шпиль Петропавловской крепости; ближе — медленно плывущие по реке льдины, они поворачивались, сталкиваясь друг с другом. Здесь — стройный архитектурный ансамбль дворцов, как бы соперничающих в стиле, выдержанности, осанке. Когда льдины останавливались, то казалось, что дворцы и крепость плыли в противоположном направлении. Но не успел я как следует осознать всю красоту и величие этой картины, как, мягко шурша белыми рубчатыми шинами, к подъезду подкатил павловский «линкольн». Из него вышли Всеволод Иванович, профессор Н. А. Подкопаев и еще два неизвестных мне лица. По роскошной, покрытой коврами лестнице мы поднялись в зрительный зал. Обилие лепных и резных деревянных украшений поразило меня.

Фильмы, которые нам предстояло посмотреть, должны были продемонстрировать последние достижения современной западноевропейской кинотехники. Перед нами, странно близко от нас, смешными лагушачьими движениями, резко выбрасывая ноги в стороны, про-

плывали мужчины и женщины в изящных костюмах. Тела их причудливо овивались и окутывались серебристыми гирляндами воздушных пузырей. По временам эти пузыри отрывались от тел пловцов и зигзагообразными движениями всплывали на поверхность воды...

Второй фильм имел своей целью показать медленно протекающие процессы в убыстренном темпе. В качестве такого процесса был взят рост растений. Вначале перед нами открылся голый, пустынный участок земли. Затем то там, то здесь стали появляться отдельные робкие ростки. Эти тонкие растеньица набирали высоту, входили в силу, пускали молодые побеги, постепенно покрывались густыми листьями. На наших глазах почки и бутоны лопались, завитки и усики стеблей странными, таинственными, обычно скрытыми от человеческого глаза невиданными, чуть вздрагивающими движениями поворачивались к солнцу, открывали свои нежные лепестки, свои чашечки и венчики. Все это происходило в сказочно быстром темпе. Под конец весь луг покрылся роскошными цветами, чуть колебавшимися ветром.

В заключение нам была показана комическая мультипликация — настоящий танец смерти с настоящей музыкой Сен-Санса. Для исполнения этого мрачного произведения знаменитого французского композитора скрипки в оркестре, как известно, настраиваются особым образом: вместо светлой квинты первая струна скрипки настраивается на полтона ниже — так, что эти две струны дают созвучие ля минор. При ударе смычком по этим двум настроенным таким образом струнам получается мрачное, жуткое впечатление. От него веет леденящим дыханием смерти. Но в фильме не ощущалось ни тени мрачного; талантливое произведение Сен-Санса здесь было, так сказать, вывернуто наизнанку! И победила мультипликация! Кинохудожник превзошел композитора!

Скелеты, большие и маленькие, высокие, худые, коренастые, приземистые, с лукавым кривлянием, неподражаемыми ужимками плясали под мрачную музыку Сен-Санса, плясали отчаянно, плясали вместе и по отдельности, составляли жуткие хороводы — вдруг рассыпались на отдельные косточки — и каждая кость танцевала самостоятельно, маленькие смешные скелетики умело разбивали трагизм сенсансовских загробных звуковых настроений. Постановщик проявил тут много изобретательности, талантливой выдумки. Поистине это была острая и яркая насмешка над смертью. В зале стоял стон от смеха. Фильм заканчивался таким эпизодом: раздается крик петухов — утро, скелетикам пора «по домам», то есть по могилам. Все они бегут, торопятся, толкаются, каждый старается поскорее попасть на свое место. Маленький коротенький скелетик прибежал к могиле, быстро приподнял тяжелую плиту и проворно нырнул в зияющий черный четырехугольник. Плита захлопнулась. Потом мы увидели длинную прямую дорожку. По ней откуда-то издалека, отчаянно торопясь, встревоженно перебирая

своими тоненькими косточками, спешила пара ног того самого скелетика, который только что вернулся «домой». Он, видите ли, танцевал отменно и опоздал возвратиться к сроку. Ножки подбегают к могиле, но поздно: тяжелая надгробная плита уже прочно заняла свое обычное место. Пара ног топчется возле могилы, стучит пятками в каменную плиту. Тщетно! Наконец после долгих настойчивых требований плита как бы приподнимается, из-под нее высовывается костлявая рука хозяина этого жуткого жилища, сердито и с досадой обхватывает опоздавшую пару ног и забирает ее к себе в могилу, как бы желая сказать ворчливо: «Шляются тут!» Зрители хохотали. Рядом со мной в приступе гомерического хохота сотрясилось большое и плотное тело Всеволода Ивановича, его мягкий баритон покрывал другие голоса. Думали ли мы — я и он, сидя рядом в эти мгновения безудержного веселья, что не пройдет и двадцати коротких месяцев, — и я буду делать аккуратный чертеж совсем другой надгробной плиты, но не будем забегать вперед... Поистине неведение будущего есть одно из величайших благ человека.

Дали свет. Под овальными матовыми абажурами электрических ламп я мог лучше рассмотреть ближайших сотрудников академика И. П. Павлова. Они сидели рядом все четверо. Вот Н. А. Подкопаев. Он явно начинал стареть, в волнистых волосах его замечалась проседь. Было что-то надменное в чуть отвислой нижней губе, что-то чуть иезуитское в его бледном продолговатом, несколько мясистом лице с неправильными чертами и большим квадратным подбородком. Блестящий оратор, остроумный собеседник, умеющий ценить тонкую, а подчас и злую насмешку, он иногда называл себя «торможистом», так как большинство его работ было посвящено вопросам условного и внутреннего торможения. Он высоко держал знамя школы академика И. П. Павлова, глубоко чтил своего учителя и умело следовал его учению.

Вот В. К. Федоров — тип русского мужичка, стриженного под скобчу, крайне застенчивый, с робкими, неуверенными движениями, с почему-то влажными руками и гнусавым голосом — своей внешностью (да простят мне это сравнение) он иногда напоминал мне классического Иванушку из русских сказок. И странно было поверить, что под такой внешностью скрывался настоящий живой и оригинальный ум. А может, в этом несоответствии есть и своя особая правда и своя логика.

Вот П. С. Купалов, похожий на японца, маленький, быстрый в своих движениях человек с острым взглядом небольших умных глаз из-под золотых очков. Работавший долгое время в Англии, это он избрал так называемую воздушно-водяную передачу, которой в настоящее время пользовались все сотрудники павловских лабораторий, работающих по методу условных рефлексов. П. С. Купалов заведовал электрофизиологической лабораторией ВИЭМа.

Вот И. П. Рахман, директор биостанции в Колтушах, с какими-то чересчур уж правиль-

ными чертами лица, что лишало его облик индивидуальности и не давало необходимой опоры для его описания. Так дети порой рисуют человечков: точка, точка, запятая... В высшей степени честный, глубоко принципиальный человек, он страдал одним странным недостатком психики: не мог закончить начатых научных работ.

На следующий день утром я отправился в Физиологический институт АН СССР. У подъезда института стояла новая блестящая машина. «Иностранный профессор приехал», — сообщила мне дежурная в швейцарской, пока я снимал пальто. Я поднялся на второй этаж. Через стеклянную дверь в большой пустоватой комнате с обширным круглым столом, где на блестящем натертом полу играли веселые солнечные зайчики, я увидел беседовавшую группу людей. Там были: академик И. П. Павлов, высокий, незнакомый мне плотный мужчина с несколько одутловатым лицом, дама с громадным бантом на груди, Всеволод Иванович и другие.

«Нильс Бор», — шепнул мне один из сотрудников института, тоже подошедший к двери. В этот момент Всеволод Иванович, увидев меня, сделал знак рукой.

Нильс Бор! Имя, которое я привык читать со студенческой скамьи, имя, которое в моем сознании стояло в первом ранге великих людей на Земле. В моей памяти на миг вспыхнула знаменательная дата «1913». Модель атома наподобие Солнечной системы, удивительные для нашей человеческой логики пересылка электронов с орбиты на орбиту, константа Родберга, «Три статьи о спектрах и строении атомов», Нобелевская премия и мой собственный скромный студенческий доклад в физическом семинаре у профессора Пospelова «Строение атома водорода по Бору» и чертеж боровской модели, висевший на доске и выполненный (нужно признаться) довольно небрежно, — все это на момент промелькнуло в моем сознании, как в вспышке кинематографа, пока я открывал дверь. И вот он, живой, настоящий Бор сидел передо мною.

Когда я вошел, разговор был в самом разгаре. Но прежде чем касаться его содержания, я хотел бы сказать два слова о той своеобразной форме, в которой он происходил. Начну с внешности Бора. Это был высокий плотный мужчина с вялыми неторопливыми движениями. Когда он говорил, то казалось, благодаря одутловатости его щек, что во рту его находился порядочный грецкий орех, который мешает ему говорить как следует и который он поэтому беспрестанно перекалывает из правой щеки в левую и обратно. Во всех его движениях были разлиты вялость, спокойствие, неторопливость. Такова же была и его жестикуляция: вялая, округлая, неторопливая. Казалось, что плавными движениями рук во время своей речи он что-то обнимает и поглаживает...

Когда беседа оживилась, И. П. Павлов забегал по комнате, прихрамывая на одну ногу, и, обращаясь к сыну Всеволоду Ивановичу, запальчиво говорил: «Нет, ты скажи ему, ты втол-

куй ему — ведь он в этом ни черта не понимает — что явление условного рефлекса в психологии называется ассоциативным. Да ты получишь растолкуй ему, ведь для него все это ново».

Всеволод Иванович, склонив голову набок, с почтительной сыновней полуулыбкой слушал отца, затем всем своим корпусом оборачивался к Бору и на безукоризненном немецком языке излагал переданную мысль. Казалось, что Бор не слышал: вот он вяло перекалывает грецкий орех из щеки в щеку и сейчас скажет: «Да, он вполне согласен, но тут еще нужно принять во внимание то-то и то-то». Тогда Всеволод Иванович, забывшая этикет, оборачивался к отцу и пересказывал сомнения именинника гостя.

...Заговорили о том, что заставляет людей выбирать одну, а не другую профессию. Зашла речь о Гёте. Бор заметил, что поэт был плохим физиологом. На что Павлов стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнула чернильница, и обидчиво крикнул: «Зато Гёте был большой биолог!» Перед этим как раз упоминалось о споре поэта с Ньютоном о цветах.

Когда беседа закончилась, все поехали осматривать домик Петра I. В машине я обратил внимание на растрепанные кожаные перчатки Нильса Бора, чем-то напоминавших мне ботфорты русского царя.

Вскоре Бора у нас перехватил А. Ф. Иоффе. Видимо, гостю в Физико-технологическом институте было интересней.

Несколько слов о павловских «средах», которые проходили в большом светлом зале Физиологического института. Приблизительно сто сотрудников рассаживались в первых рядах полукругом, далее стулья все более уплотнялись, образуя проход посередине. В первом ряду слева (если смотреть на И. П. Павлова) сидели Подкопаев, Купалов, Рахман, Всеволод Иванович и я. Мне было неприятно, что Всеволод Иванович так настойчиво и открыто меня рекламирует и выдвигает подчеркнуто нарочито. Я по природе не был высокочкой, мне хотелось скромно сидеть в задних рядах. Однако Всеволод Иванович считал, что это нужно для пользы дела. Я, скрепя сердце, подчинялся. Вообще, надо признать, я попал в очень сложную обстановку и, естественно, не мог сразу в ней разобраться. Здесь между сотрудниками существовал безграничный авторитет власти. Все они покорно шли по руслу, проложенному гением И. П. Павлова.

В первый же раз меня поразили серьезность и торжественность проведения «среды». Это напоминало какой-то древний ритуал. Обычно «среда» продолжалась без перерыва два часа — с 10 до 12. Это было напряженное думанье вслух, как правило, в присутствии гостей. Все к концу бывали сильно утомлены, но только не И. П. Павлов. Он обладал великолепной памятью. Однажды один из сотрудников рассказывал о своих экспериментах, не глядя в записи. Вдруг И. П. Павлов перебивает: «Позвольте, позвольте... Вы ошибаетесь. В понедельник при эксперименте выделялось 17 капель, а во втор-

ник 19. Вот такая штука...» В ответ смущенный сотрудник полистал свои протоколы и признал ошибку. Меня удивляло, что Иван Петрович помнил всех подопытных собак — не только нынешних, но и когда-то бывших у него в лабораториях. Всех сотрудников института он называл по имени и отчеству и никогда не ошибался.

На «среде» очень точно соблюдался регламент, каждая минута была на счету. Когда время ученой беседы истекало, И. П. Павлов стремительно вскакивал со стула и, бросив: «До свидания, господа», прихрамывая, шел к выходу. Во всем его облике была величаяв простота.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Весной 1929 года молодой воронежский математик Николай Александрович Романов (1903—1943) обратился к великому физиологу И. П. Павлову с письмом, в котором обосновывал необычную и дерзкую идею о возможности контакта между теорией вероятностей и учением об условных рефлексах. В степенных Колтушах не спешили с ответом — каких только фантазеров здесь не видели! — и, когда у безвестного провинциала уже давно иссякло терпение (прошло три года), вдруг пришла неожиданная весть: «Приезжайте!» Позже выяснилось, что предложение воронежца тщательно и неторопливо изучали научные светила.

В 1934 году Н. А. Романов оставляет преподавание кафедрой физики Воронежского инженерно-строительного института и занимает скромную должность «математизатора» во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной медицины (Ленинград).

«...Над этой идеей я «сидел» пять лет, — писал Н. А. Романов 21 февраля 1935 года сестре Елене Александровне. — И уже сейчас можно сказать, что она вызовет массу возражений и, вероятно, резких нападок, но что ж... Я на то шел...» Поиск молодого ученого был нов и намного опережал свое время. Но необычные искания поддержал И. П. Павлов, увидевший в предложении пытливого исследователя завтрашний день своих великих идей. Его мнение было не одиноко. Академик-математик Н. Н. Лузин так отзывался в 1935 году о научной работе воронежца: «Романову принадлежит заслуга первого действительного систематического обследования основных начал математики, именно пока теории вероятностей, в свете гениальных идей и гипотез Ивана Петровича Павлова. Им (Романовым. — В. К.) сделан первый действительно серьезный шаг в обосновании основной формулы вероятностей с помощью соображений, опирающихся всецело на теорию условных рефлексов... Шаг, сделанный Н. А. Романовым, является глубоко симптоматичным и необходимым в науке» (здесь и ниже цитаты приводятся по материалам, хранящимся в архиве АН СССР и личном архиве Е. А. Романовой).

При поддержке видных ученых Н. А. Романову удалось опубликовать ряд статей в акаде-

мической печати, что закрепило его приоритет в мало изведанной области знаний. Однако далеко не все тогдашние авторитеты согласились с новым направлением в науке — настолько оно не укладывалось в рамки традиционного мышления. Лишь много лет спустя после смерти Н. А. Романова стали ясны смелые и перспективные замыслы настойчивого экспериментатора. Глава советской математической школы академик А. Н. Колмогоров, в принципе сразу же одобивший заявку воронежца, писал в 1964 году: «Опыты такого рода получили позднее в США большое развитие под маркой экспериментального изучения «процессов обучения». ...Именно в этом смысле можно считать, что Николай Александрович *предвосхитил развитие одного из направлений позднейших работ по кибернетике*». Более того, академик отметил, что «в этом направлении замыслы Николая Романова сохраняют свою актуальность и сейчас, так как упомянутые экспериментальные работы более поздних лет не исчерпывают вопроса».

Воронежский искатель не оставлял своего заветного дела вплоть до смерти. Так, в сентябре 1943 года, продолжая разрабатывать любимую идею, Н. А. Романов писал А. Н. Колмогорову: «Вы... много сделали для меня, осветив надлежащим образом интересующий меня вопрос с философской стороны и тем самым направив мою мысль по правильному руслу...» Без особого преувеличения можно сказать, что в некоторых современных умных машинах есть и доля его беспокойного таланта. Жаль, что научное наследие Романова до сих пор недостаточно изучено, еще ждут внимательного прочтения его оставшиеся неопубликованные статьи.

Природа по-царски наградила этого человека не только даром научного предвидения. В Романове удивительно сочеталась личность ученого и художника. Он известен как поэт своеобразного и тонкого эстетического вкуса. В 1930 году под псевдонимом Николай Юр он выпустил в Воронеже сборник своих стихотворений «Мой век». Поэзия никогда не была для него бегством от физико-математических головоломок, пикантной лирической приправой к сухим формулам. Увлекательный мир точных знаний органично входил в его произведения, сливаясь с богатым миром его романтической природы. В 1929 году ученый-мечтатель писал:

Я вижу юную страну,
Где залитая солнцем площадь,
Где ветер новую весну
Колышет в пламени полотнищ.

И шум грядущего сильней
Свистит в ушах и свеж, и горек...
Придет пора — и в пафос дней
Пытливый взгляд вопьет историк.

И он увидит, как хитро,
Как радостно и вдохновенно
Мы вырвем атома ядро
Из покоренных недр Вселенной.

«Мой век», «У радиоприемника», «Максвелла» (поэма о радиоволне), «Памяти Амундсена», «Полярное стихотворение» — уже сами названия произведений говорят об обостренном чувстве времени у поэта, о его стремлении запечатлеть в слове поступь новой жизни. В художественном творчестве он оставался таким же неуемным выдумщиком, как и в науке. В «Стихах о звездах» (1928) он славит самое земное и дорогое:

Нам в этой жизни
Многое дано,
А мы,
Слепцы,
Подчас проходим мимо...
Сегодня листья —
Терпкое вино,
А воздух
Как уста любимой.

Кстати, пристрастие к «звездной» тематике у Романова вовсе не платоническое. В начале 20-х годов он, тогда студент физико-математического факультета Воронежского университета, возглавлял местное молодежное астрономическое содружество «Астероид». Друг Николая Романова, ныне известный советский астроном, член-корреспондент АН СССР М. С. Зверев, до сих пор тепло вспоминает своего «начальника» по кружку, давшего ему путевку «в небо».

Поэзия Романова пронизана чувством сопричастности к великим свершениям эпохи, острым сопереживанием грандиозных революционных преобразований:

Мечта станет явью и былью
Ленина светлых идей —
Планета от Хондо до Чили
Землею свободных людей!

В час непогоды дикой
Тумана покров опасный
Мы прорежем криком:
«Наша планета прекрасна!»

Образно-ритмический строй стихов Романова близок произведениям В. В. Маяковского. Не случайно однажды молодой поэт с ребяческой гордостью писал об очередном своем опыте: «А одно мое стихотворение сам Маяковский хвалил, и, вероятно, оно будет напечатано» (из письма к Т. Смирновой от 6 мая 1927 г.). Вместе с тем в мелодиях Романова есть своя особая сокровенная нота, которая звучит с подкупающей лирической обнаженностью. К примеру, вот эти строки:

Я любил другие весны очень,
Цвет фиалок и земли тепло.
Снова сердце стеблем тонких строчек
Сквозь бумагу тихо проросло.
.....
Так сумей простить меня, не трогай
Песни той, что пролила зря.

Жизнь — стрела, а время платит строго
За любовь, растраченную зря.

Многие стихи Романова певучи, интонационно богаты — недаром с детских лет он увлекался игрой на скрипке и фортепиано, уже в 1914 году, будучи учащимся Воронежского музыкального училища, выступал с публичным исполнением классических произведений. В семье Романовых вообще был высок культ прекрасного: мать Николай — Клавдия Ивановна — окончила Московскую консерваторию и великолепно пела, отец — Александр Антонович — популярный в Воронеже детский врач, был большим поклонником искусства. В одном из писем Николай признавался: «...Часто мне кажется, что музыку я люблю больше физики, особенно Шопена и Скрябина...» Уже с пяти лет мальчик сам подбирал собственные мелодии, сохранились ноты прелюдий, сонат, романсов Романова на стихи Пушкина, Блока, Бунина, Ахматовой... Знатоки отмечают оригинальность его композиторского почерка, присущую ему мягкость красок и глубину подтекста (некоторые произведения Романова неоднократно звучали по Всесоюзному радио).

Тонкость его художественных ощущений подтверждает такой известный факт. Однажды в доме живописца М. В. Нестерова Романов, взглянув на висевшую на стене картину, неожиданно сказал:

— Когда я смотрю на нее, то слышу Двенадцатый этюд Скрябина.

Старый мастер растрогался:

— Вы единственный, Коля, кто это сказал... Ведь я писал картину именно под эти звуки...

Упоминание о М. В. Нестерове зовет поведать еще об одной грани дарования Романова — его занятиях живописью и графикой. Воронежский писатель В. А. Кораблинов, в прошлом ученик известного художника А. А. Бучкури, до сих пор вспоминает один поразивший его этюд хорошо знакомого ему Романова, на котором был изображен знаменитый Паганини — так четко-виртуозны и нервно-стремительны были линии того памятного рисунка.

Короткая жизнь нашего героя не была сплошным праздником гения. Он долго и тяжело болел (давали знать нервное переутомление и слабое сердце). Однако всегда оставался оптимистом. В одном из его писем читаем: «Я всегда держал себя в руках, не позволял жаловаться, падать духом, нередко сочетая это с ироническим отношением к своим невзгодам». Одной близкой знакомой он писал: «Жить — как бы ни было плохо... Бороться и добиваться счастья!» То же настроение неуспокоенности и борьбы с судьбой он выразил в стихотворении, где есть такие строчки:

Когда в прощальную зарю
Усталой кровью сердце брызнет,
Я ширь степей благодарю
За день и свет мелькнувшей жизни.

Его сердце брызнуло кровью 18 октября 1943 года в городе Усмани Липецкой области, когда он читал лекцию студентам эвакуированного сюда Воронежского сельскохозяйственного института. Уставшее сердце не выдержало высокого напряжения. А как ему жадно хотелось жить и работать! За день до смерти он писал: «Скорей бы окончилась война. Дела немцев плохи! Недавно я читал в госпитале лекцию «Физика и оборона страны». Немногим раньше читаем: «Я вполне овладел французским и немецким языками — так что красоты классиков иностранной литературы для меня теперь открыты. Это целый новый для меня мир! ...Особенный мой восторг вызывают стихи Гейне. Какое варварство, что этот поэт запрещен в Германии».

Как бы предчувствуя кончину, он спешил закончить свои воспоминания. Первая их часть публиковалась в «Прометее» (1972, № 8). Незаконченная вторая часть мемуаров печатается

ниже в сокращении. Эти карандашные записи удалось прочитать с трудом, — они, видно, набрасывались урывками, второпях, на обрывках афиш и оберточной бумаги. Сожалею, что пришлось опустить ряд узкоспециальных научных размышлений Романова, сопровождаемых формулами и математическими выкладками, — расшифровать и по достоинству оценить эти страницы — дело будущего.

В воспоминаниях (они предоставлены сестрой Н. А. Романова — Е. А. Романовой) читатель узнает о надеждах и сомнениях их автора, встретится с лаконично, но живо набросанными портретами И. П. Павлова (кстати, в 1986 году исполняется полвека со дня его смерти), его сыновей и соратников по науке, физика Нильса Бора, почувствует атмосферу тех далеких лет.

*Послесловие и публикация
Виктора Кузнецова*

Н. Надёжина

Дворец, Фонтанкой отраженный

Надежда Леонтьевна Надёжина, урожденная Добровольская (1889—1980), воспитанница петербургского Екатерининского института. Окончила его в 1907 году и высшие педагогические курсы в 1909 году. По сохранившимся записям, письмам подруг, альбому она повествует об обстановке и быте этого учебного заведения.

Екатерининский институт в 1804—1807 годах перестроен из загородного Итальянского дворца Екатерины I. Название получил по имени сохраненной в нем дворцовой церкви св. Екатерины. Здание института — одно из наиболее совершенных сооружений архитектора Джакомо Кваренги.

Основанный по плану школьной реформой 1764 года И. И. Бецкого «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношеств», Екатерининский институт, как и Смольный, в 1796 году вошел в «Ведомство учреждений императрицы Марии» уже значительно пере рожденным. В 1900-е годы он продолжал оставаться закрытым учебно-воспитательным заведением, в которое попадали дочери дворян, офицеров, иногда — чиновников.

В нашем институте учились дочери известных людей. Так, в пятидесятых годах прошлого века его окончила Маша Пушкина, старшая дочь Александра Сергеевича, в замужестве М. А. Гартунг. Получив воспитание и образование, выпускницы становились полезными Отечеству людьми. Уже в мое время из института вышли артистка театра имени Горького (б. Малый театр на Фонтанке) Рашевская, боль шевичка Татьяна Моисеенко-Великая.

Наша ближайшая воспитательница — клас сная дама. Она присутствует на уроках, с нами обедает, ходит на прогулки, сидит в классе в на ши свободные часы, репетирует уроки к следую щему дню с ученицами, которые в этом нужда ются, и ведет свой класс до самого выпуска.

Классных дам две в каждом классе. Одна говорила с нами по-французски, другая по-не мецки. В классах обычно 25—35 учениц.



Н. Л. Добровольская. 1907 г.

Предметов преподавали нам довольно мно го: закон божий, русский язык, литература рус ская, французский язык и французская лите ра тура, немецкий язык и немецкая литература, история, математика, география, естествозна ние, физика, космография, педагогика, гигие на. Кроме того, рисование, музыка, танцы, ру коделие и домашнее хозяйство. Преподавали высококвалифицированные и опытные педа го ги, иностранные языки исключительно иност ранцы. Две француженки и два француза, одна немка и три немца. От них уже ни одного рус ского слова не услышишь.

Читали мы позднюю французскую лите ра туру, что было интереснее довольно скучных Расина, Корнеля, Шатобриана и прочих древ них классиков.

Преподавал у нас известный в Петербурге Федор Федорович Фидлер. Еще в 1890 году он издал учебник немецкой грамматики для русских учебных заведений, но нам преподавал не грамматику, а немецкую литературу. Он был популярен среди литераторов своими пере водами русских поэтов на немецкий язык; чи тал нам иногда свои переводы.

Фидлер постоянно поддерживал знакомст во со многими литераторами. Любил прини мать их у себя. Дома завел большую деревян ную доску. Автографы оставили на ней многие

писатели того времени. Фидлер гордился этой доской и ценил ее; при случившемся переезде с одной квартиры на другую не доверял возчикам, а нес доску по улицам Петербурга на спине.

В 1908 году С. Ф. Либровичем в книгопечатне «Труд и польза» выпущен альбом «Фидлеровский музей русских литераторов» (портреты, карикатуры, автографы русских писателей, собранные Ф. Ф. Фидлером). Сам Фидлер собрал и опубликовал в 1911 году изданные типогра-

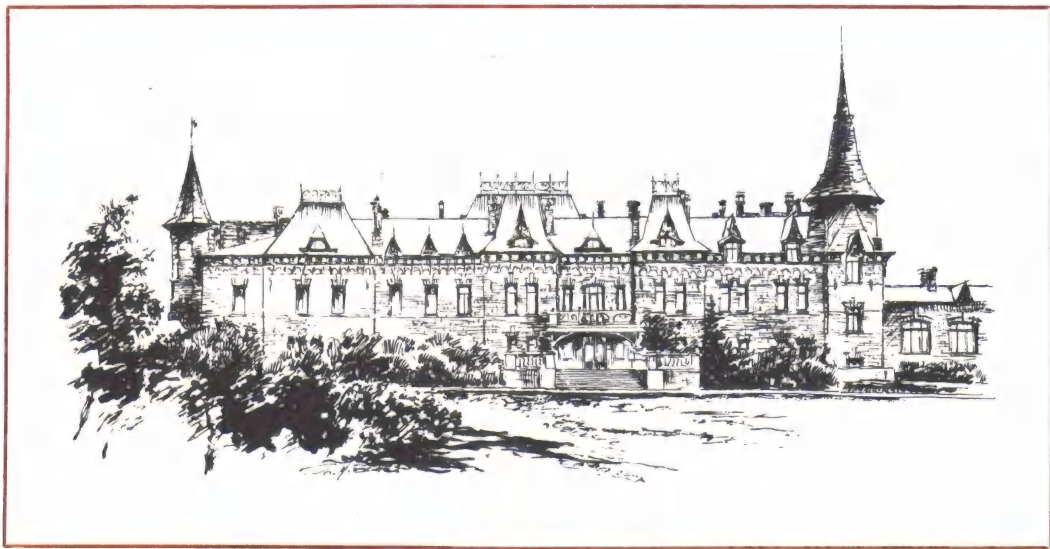
фией И. Д. Сытина «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей».

Фидлер любил шутку. За три «Ф» мы его прозвали «Фидрилка в кубе». Сам он под шутливыми письмами стал подписываться «Ф³».

Уроки математики преподавал Михаил Сергеевич Волков. Мы его часто звали «дедушка». По возрасту он действительно годится нам в дедушки. Он же обращался к нам, называя нас



Екатерининский институт. Главный подъезд.



Беловежский дворец.



М. С. Волков. 1907 г.



Ф. Ф. Фидлер, 1907 г.

«барышни»: «барышня Иванова», «барышня Зинкевич», «барышня Добровольская», тогда как другие преподаватели звали «госпожа».

Решаем задачки. Наш «дедушка» прохаживается между партами, смотрит в тетради, как у нас идут дела.

Одна из учениц запнулась на чем-то очень простом. Волков говорит: «Как же можно этого не знать? Екатерина Платоновна и та знает!» Классная дама-немка, не понимая тонкостей русского языка, воспринимает это как комплимент.

Русскую литературу читал литературовед и библиограф Ф. А. Витберг. Хмурый старичок, он всегда садился боком к своему столу и к нам и недовольным голосом начинал лекцию.

Но читал интересно, и мы, затаив дыхание, боялись пропустить хотя бы слово.

Федор Александрович часто бывал резок в своих оценках. Однажды наш француз мосье Бонавья задал нам тему сочинения: «Что Достоевский заимствовал у Виктора Гюго?» Мы не знали. Советовались друг с другом, но вспомнить не могли. Обратились с вопросом к Витбергу. Он очень рассердился и ответил:

— Скажите вашему французишке, что великий Достоевский не мог ничего «заимствовать» у их ходульного Гюго!

В одной лекции о Лермонтове он разразился гневной речью о критике:

— Критики утверждают, что Лермонтов — тот же Байрон... Но ведь Лермонтов пишет:

«Нет, я не Байрон, я другой, еще не ведомый избранник; как он, гонимый миром странник, но только с русской душой». Критики же кричат: «Что он понимает? Байрон он!»

Витберг научил нас вчитываться в каждое слово Пушкина, Лермонтова и других великих писателей и поэтов, а не доверять слепо тому, что пишет критика.

Он рассказал нам о своем отце — известном архитекторе и художнике Александре Лаврентьевиче Витберге, который сделал проект храма Христа Спасителя на Воробьевых горах в Моск-

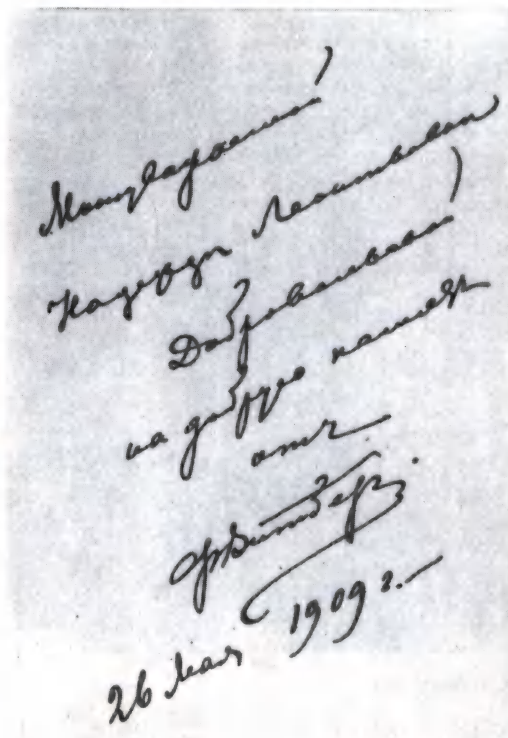
А. Л. Витберга обучались многие дети жителей города. Он называл это — «Вятская академия».

Федор Александрович интересовался вятским периодом жизни отца; составил перечень публикаций о нем. В 1916 году передал Вятской архивной комиссии часть бумаг и большую картотеку по местной истории с библиографическими сведениями о выдающихся уроженцах и деятелях Вятской губернии, а также визитные карточки вятских знакомых А. Л. Витберга в 1836—1838 годах.

Очевидно, характер и высказывания Федора Александровича сыграли свою роль в отношениях с институтским начальством. Уже когда я окончила институт, мы с Лизой Вюрст как-то шли под галереей Гостиного двора и встретили Витберга. Он сказал, что уже более не преподает в нашем институте.

Еще на курсах был лектор историк В. Д. Греков, впоследствии академик, читавший нам лекции по допетровской Руси.

Преподавать у нас Борис Дмитриевич начал после завершения образования в Московском университете. Ему было тогда 25—26 лет. Он



Дарственная надпись на фотографии Ф. А. Витберга.



Ф. А. Витберг, 1909 г.

ве в честь победы нашей армии над Наполеоном. Храм построен не был, так как хороший архитектор оказался плохим хозяйственником, был окружен недобросовестными людьми. По указу Николая I он был отстранен от строительства храма и послан в Вятку. Храм Христа Спасителя построили по другому проекту, архитектора К. А. Тона, и на другом месте.

А. И. Герцен и А. Л. Витберг были друзьями, в Вятке два года жили в одном доме и имели общий стол.

Александр Лаврентьевич в 1835 году построил в городском парке Вятки (теперь парк имени С. Халтурина) на берегу реки огромную ампирическую 10-колонную беседку-ротонду, она до сих пор служит символом Вятки. У дочери

был тоненький, высокий шатен с пышной шевелюрой и вообще на вид довольно интересный. Его содержательные лекции для нас представляли много нового. Но неподвижная фигура — с начала до конца, за целый час он не делал ни одного шага, ни одного движения — иногда навела дремоту. Так или иначе, хоть и хорош он был на вид, все-таки к нему относились равнодушно, «неравнодушных» не было. Зато сам он влюбился в мою близкую подругу Лизу Вюрст из семьи известного русского филолога Я. К. Грота (ее мать была дочерью Якова Карловича и племянницей П. П. Семенова-Тянь-Шанского). Она хотя сильно хромала, но лицом была очень хороша: большие карие глаза, светлые пышные, выходящие волосы, чудные зубы и

здоровый цвет лица. Греков два раза делал ей предложение, но был отвергнут.

Уже впоследствии, когда Лиза похоронила второго мужа, а Борис Дмитриевич был академиком, я ей сказала: «Эх, Лиза, не знала ты, за кого замуж выходить!» Она ответила: «Неизвестно, Надечка, как сложилась бы его жизнь со мной, может быть, тогда он и не стал бы академиком». До конца жизни Борис Дмитриевич дарил Елизавете Рудольфовне экземпляры каждой своей книги.



Е. Р. Вюрст. 1907 г.

в 12 часов), потом прогулка во время большой перемены. В плохую погоду время проводили в большом зале — музицировали и танцевали, читали и рукодельничали. После большой перемены ненадолго заглядывали в дортуйр проверить, в порядке ли платье и прическа. В 2 часа опять начинались уроки и продолжались до 5 часов...

С 6 часов вечера начиналась подготовка уроков к следующему дню. В 8 часов ужин, затем полчаса беготни, танцы и музыка в большом зале. В 9 часов мы возвращались в класс ненадолго. Классная дама проходила по рядам и проверяла, в порядке ли у нас уложены учебники, тетради и прочие принадлежности в ящиках парт.

Жизнь института совпала с крупными историческими событиями. 9 января 1905 года ввиду волнений в городе многие учителя не могли добраться до института. Мы были свободны от уроков и заметили какую-то перемену, растерянность у наших классных дам. Почувство-



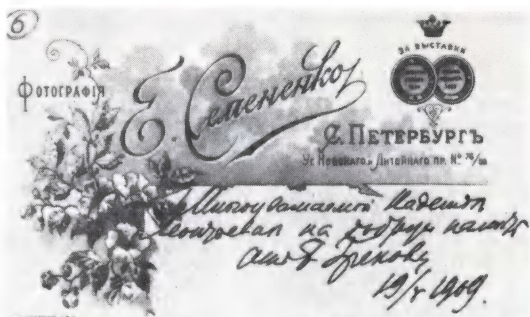
Б. Д. Греков. 1909 г.

* * *

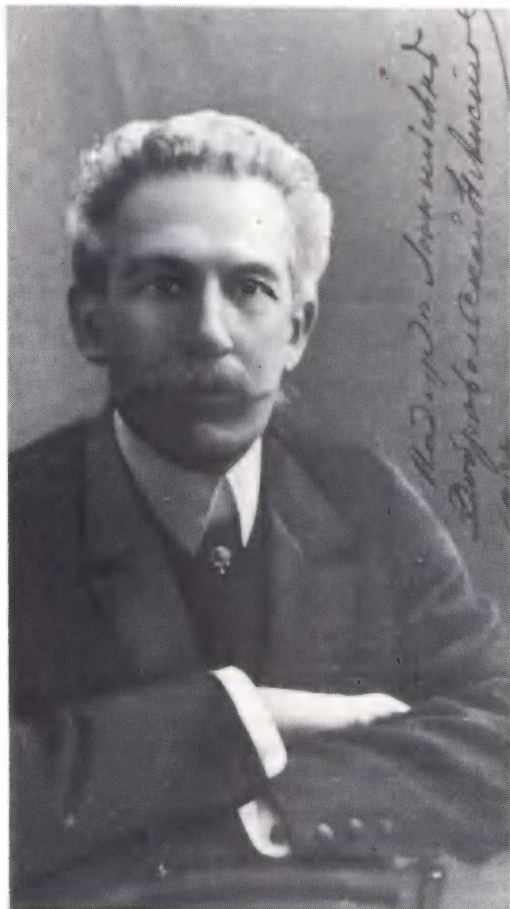
...День начинался по звонку в дортуйре в 6 часов 45 минут утра. Вначале утренние процедуры, затем через 45 минут по звонку дежурная классная дама внимательно осматривала нас: аккуратно ли зашнурованы и завязаны передники, как выглядит прическа; дойдя до конца шеренги, классная дама оглядала ее и обзирала нас спереди. Если была маленькая небрежность — замечание. Так воспитывали в нас привычку к аккуратности.

После осмотра каждый класс, возглавляемый наставницей, парами шел в огромный зал, где одна из учениц выпускного класса читала длинную молитву. По окончании ее мы шли через другую дверь в столовую, где пили чай с сахаром и булкой. После чая обычно бывали прогулки по саду.

В 9 часов начинался первый урок. Всего в день бывало шесть уроков; три до обеда (обед



Надпись на обороте фотографии Б. Д. Грекова.



Н. С. Аистов.

вав себя свободнее, в большом зале и в классах, выходящих окнами на Фонтанку, мы влезли на подоконники и, стоя на коленках, смотрели налево, на Аничков мост, где шли рабочие по Невскому. Слышали и выстрелы...

Лето 1907 года, каникулы между окончанием института и началом занятий на высших педагогических курсах, я с институтскими подругами Раей Ивановой и Аней Пономаренко по приглашению ее отца, заведовавшего охотничьим хозяйством Беловежской пушчи, прове-

ли там. В это время архитектор И. В. Жолтовский сооружал огромный дворец в духе романтического средневекового замка с высокими башнями, круглыми остроконечными крышами. Не вполне законченный, он уже функционировал. Склон холма перед главным входом был усажен розами. Внутри бильiardная с охотничьим оружием на стенах, чучела медведей, комната, отделанная игральными картами вплоть до мебели, ванная комната с бассейнами в полу, где мы купались, другие разнообразные залы и гостиные.

В 1906 году нас посетил знаменитый в то время отец Иоанн Кронштадтский. Священник Андреевского собора в Кронштадте, он выступал с различными проповедями и печатал множество «бесед», «проповедей», «поучений» и «слов» духовного содержания. Его перу принадлежит связанное с нашумевшим тогда отлучением Л. Н. Толстого от церкви сочинение «Несколько слов в обличение лжеучения графа Л. Н. Толстого», выпущенное в 1898 году.

Стремясь частную благотворительность, которая ведет к тунеядству, заменить общественной, где помощь бедным была бы не подаванием, а платой за труд, он в 1882 году в Кронштадте основал «Дом трудолюбия» с кустарными мастерскими, начальным училищем, лечебницей, столовой, ночлежным и детским приютами.

В институте исключительное место занимала музыка. Игре на рояле учились почти все. Пение было светское и церковное. Церковное пение преподавал известный в тогдашнем Петербурге дирижер и педагог Архангельский. Светской музыке особо одаренных учил К. К. Бах. На нем же лежала организация и подготовка концертов к торжественным датам.

Танцы преподавал Николай Сергеевич Аистов, балетмейстер Мариинского театра (теперь театр оперы и балета имени Кирова). Танцевали мы древний полонез, менуэт, кадрили и тогдашние бальные танцы. Уроки бывали два раза в месяц по вечерам при ярком освещении в двухсветном колонном зале, где происходили экзамены, выпускной бал и все торжественные события института.

Надо упомянуть, что гимн для выпускных торжеств в свое время сочинил для нашего института Михаил Иванович Глинка. Первые слова гимна были: «Подруги, кто из нас забудет невинных радостей приют?» И последние: «Нам бурный свет чужбиной будет, отчизной — мирный институт».

Публикация и рисунки Б. Надежина

Александр Никитин

«И встретил нас Куницын»

Пушкин и Куницын
по новым уральским находкам

1. ПОДКЛЕТЬ СТРОГАНОВСКОЙ КОНТОРЫ

Началось все, казалось бы, с малозначащей копии письма 1838 года из Петербурга на Урал Василию Волегову, управляющему строгановским имением в селе Ильинском, нынешнем поселке. Копия сохранилась в Государственном архиве Пермской области. В письме шла речь о делах хозяйственных: споре с соседями о заводских лесах. Тут же ссылки на статьи закона. Словом, скучная инструкция.

Но зато подпись заставила призадуматься. Каллиграфическим почерком внизу было выведено: «Действительный статский советник и кавалер А. Куницын»¹. И больше — ни строки.

Первая мысль была такая: «Петербург, Куницын... Не Александр ли, не Петрович ли? Учитель Пушкина в Царскосельском лицее... Кто его не знает!» Но тут же и прогонял от себя эту мысль: «Мало ли было на свете Куницыных, в том числе советников и кавалеров? Наверное, просто какой-нибудь стряпчий по хозяйским делам графа Строганова».

Подошел научный сотрудник архива Леон Сергеевич Кашихин, покачал головой:

- Как знать, как знать!..
- Вам такие документы не встречались?
- Нет, как будто не попадались.
- А попадись они вам?
- Не прошел бы мимо. Обязательно что-нибудь написал. Куницын, конечно, фигура! Помните, как там у Пушкина: «И встретил нас Куницын приветствием средь царственных гостей».

— Да, кажется, так. Но все-таки?

— Ищите!..

Легко лишь говорить. А на деле? О Куницыне до сих пор написано до удивительного мало. И все-таки кое-что нашлось. Но это «кое-что» сразу же насторожило. В статье московского профессора-юриста Н. Я. Куприца, напечатанной в журнале «Советское государство и право»

/1978, № 3/, сообщалось, что пушкинскому учителю пришлось «стать поверенным богача графа Шереметьева»². Ежели так, то Куницын вряд ли имел отношение к Уралу. Владения Шереметьевых не уступали строгановским, но располагались в других благодатных краях России.

Выручил на первых порах очерский краевед Филипп Михайлович Малков. Был он по профессии учителем математики и физики, еще до революции защитил магистерскую диссертацию. Но больше всего на свете, пожалуй, любил историю, стихи Пушкина. Успел он встретиться с бывшими служащими строгановских имений. Встретиться и вволю наговориться. В давней, почти позабытой записи моей беседы с Малковым, состоявшейся лет двадцать назад, сохранилась пометка: не у Шереметьевых, а у Строгановых служил опальный лицейский профессор Куницын.

Уже ниточка! Но кто же все-таки прав: столичный ученый или провинциальный краевед? Надо бы действительно поискать. В Перми лишь остатки архива Волеговых. Письмо Куницына, если оно только его, здесь представлено в копии. Выходит, был где-то и подлинник. Может, даже не одного письма. Но где? Логика подсказывала: скорее всего в Ильинском. Ведь именно туда они адресовались. А вдруг?..

Машина то взлетала на солнечный пригорок, то снова спускалась вниз, разбрызгивая остатки талой воды в старой колее. За окошками проплывали еще пустынные поля, едва тронутые зеленым пухом перелески. Хотя кабина «газика» и не кабинет историографа, но захотелось в длинной дороге еще раз перелистать записную книжку, освежить в памяти события полутравековой давности.

Среди наставников лицей Пушкин и его товарищи непременно выделяли молодого профессора нравственных и политических наук Александра Петровича Куницына. Красноretchивый и образованный, он держался независимо. Необычайно широк был спектр знаний, которыми профессор «питал» юношей. Логика и психология сменялись политической экономией и финансами. А потом специальными курсами: право римское и публичное русское, право естественное и гражданское, право народное и частное. Именно то, что (и как!) преподавал Куницын, превращало беззаботных недорослей в юных граждан.

Будущие государственные мужи России, а для их воспитания и создавался лицей, должны были разбираться во всех тонкостях юриспру-



Титульный лист комедии Я. П. Чаадаева «Дон Педро Прокуранте». Первое издание, 1794 г.

денции, глубоко осознавать такие явления, как общество и формы государственности, отношения между народами и правительствами, роль тех и других в выборе образа правления, установлении законов. Что и говорить, непростые предметы для провозглашения вольнолюбивых идей избрал профессор. Да еще где? В стенах самим царем учрежденного лица.

Но пока было доброе время — «дней Александровых прекрасное начало», когда профессору-вольнодумцу сходились безнаказанно его речи в защиту свободы, а слово «рабство» звучало не только в историческом плане. Пушкин занимался в классе Куницына. Еще в юности у поэта были заложены начала высокой гражданственной нравственности. И глубокая признательность за это учителю звучит в прекрасных пушкинских стихах:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

О воспитании какого «пламени» идет речь? О «пламени» гражданственности, свободомыслия. Декабрист В. И. Штейнгель в послании к Николаю I писал в январе 1826 года: «... Вышнее заведение для образования юношества — Царскосельский лицей дал несколько выпусков. Оказались таланты в словесности, но свободомыслие, внушенное в высочайшей степени, поставило их в совершенную противоположность

со всем тем, что они должны были встретить в отечестве своем при вступлении в свет...» И далее: «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлеклся сочинениями Пушкина, дышавшими свободою...»³.

Что случилось потом с Куницыным? После окончания Пушкиным курса наук профессор попал в опалу и был уволен от должности в лицее, а потом — и в Петербургском университете. Причиной гонения стала изданная им в 1818—1820 годах книга «Право естественное». Передовые люди того времени считали, что отличительная особенность ее — в глубокой убежденности, строгой и сильной логической мысли, выработанной под влиянием Канта и Руссо. Иначе оценивали книгу реакционеры. Они увидели в сочинении средство, ниспровергающее «истины христианства», все государственные связи.

Что же напугало блюстителей законности? Вольнолюбивые суждения Куницына о воспитании юношества и доказательства зла любого тиранства. «Властитель общества, как ограниченный, так и неограниченный, — проповедовал профессор, — обязывается наблюдать: права членов, права самого общества и условия и коренные законы, содержащиеся в договоре соединения и в договоре подданства. Употребление власти общественной без всякого ограничения есть тиранство, и кто оное производит, есть тиран...»⁴.

Но еще до черных дней гонения судьба свела Куницына с самобытным человеком, «молодым другом» Александра I — графом Павлом Строгановым. Да, с тем самым владельцем пермских лесов, земель и заводов. Граф получил в юности прекрасное заграничное образование. Его домашним учителем был французский философ и математик Жильбер Ромм. В дни Великой французской революции Павел оказался в Париже, посещал там якобинский народный клуб.

По словам Пушкина, это было незабываемое время: «Оковы падали. Закон, на вольность опершись, провозгласил равенство...»⁵.

Как ни хмурился на молодого графа старый отец, ничто не могло отвлечь сына от мысли облегчить участь своих подданных. Каким образом? Учреждением собственных законов, более демократичных и справедливых. Павел был настроен романтически, как и Ленский в «Евгении Онегине». Если первый привез «вольнолюбивые мечты» из Франции, то второй — из Германии.

У Куницына и Ленского, заметим, были тоже родственные /«геттингенские»/ души. Куницын по своей воле, а литературный герой Ленский по воле Пушкина учились в одном и том же университете в Геттингене, одолевали их одни и те же идеи. Не зная Куницына, Пушкин вряд ли дополнил бы образы Ленского и Онегина конкретными «экономическими» деталями:

В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной

Оброком легким заменил:
И раб судьбу благословил.

Павел Строганов с помощью Куницына должен был соединить в себе вольнодумство Ленского и практичность Онегина. Но как это сделать? Желание большое, а выбор средств невелик. В арсенале русского помещика, каким бы якобинцем он ни был, какой бы заграничный университет ни кончал, под рукой тогда были лишь два основных способа хозяйствования: барщина и оброк.

Даже молодые лицеисты, восхищаясь вольнолюбием Куницына, изредка подтрунивали над ним, когда речь заходила об экономических рецептах профессора. В свой дневник за декабрь 1815 года юный Пушкин внес куплеты, сочиненные лицеистами на наставников. Последним, одиннадцатым по счету, Пушкин записал куплет «На Куницына»:

Известен третий способ
Через откупщиков;
В сем случае помещик,
Владелец лишь земли⁶.

Что это, как не живой отклик лицеистов на предмет занятий, а отчасти — и на образ мышления Куницына? Так и кажется, что «третий способ», как и два первых, не раз обсуждался в классе профессора. Не исключались их вариации и после, когда Куницын стал «непременным консультантом» у Строгановых.

Пока сам Павел Строганов был занят войнами против императора Наполеона — «узурпатора» республиканской вольности, делами обширного имения на Урале заправляла его жена Софья, урожденная княгиня Голицына, на редкость энергичная и волевая женщина. Она была дочерью знаменитой «пиковой дамы». Современники полагают, что Софья обладала мужским складом ума. Но, пожалуй, следует заметить, что графиня сумела воспользоваться поистине незаурядными мужскими умениями.

После многократных переделок, исправлений и дополнений графиня Строганова прислала в уральскую вотчинную контору в селе Ильинском «Положение об управлении Пермским имением». В нем слышались отзвуки идей профессора Куницына. Первоначальные философские вставки были взяты из французских записей Павла Строганова, оставшихся после его смерти в 1817 году (П. Строганов скончался по дороге в Англию). «Положение...» еще в черновике внимательно читал и вносил поправки знаменитый государственный деятель и реформатор Михаил Сперанский.

Все было сделано, казалось бы, совершенно и логично. Но с какой точки зрения? С точки зрения «барина-якобинца». Хотя и якобинца, но все-таки барина. В строгановских имениях вводились выборные начала в сельских обществах и так называемых словесных судах. В то же время самоуправление, суд и расправа всецело находились в руках графини. Крестьяне и масте-

ровые были устранены от участия в выработке строгановского законодательства.

Да и конечная цель нововведений была ясна: извлекать барыши наиболее совершенными способами. Примечательна в этом отношении статья, касающаяся приказчиков, управляющих и лесничих. Статья поощряла их на постоянное приумножение хозяйских барышей. В случае изобретения нового средства извлечения доходов, удачливым «автором» в течение пяти лет полагалась десятая часть от дополнительной прибыли. Создавалось как бы государство в государстве: довольно замкнутая, отчасти сама себя регулирующая хозяйственная система.

Так вот где всю жизнь пришлось прослужить крепостному Василию Волегову. К счастью, конечно, весьма относительно, его госпожа оказалась просвещенной помещицей, а строгановское вотчинное законодательство в целом имело прогрессивное историческое значение. Оно было гуманнее, чем писаные (да и неписанные) законы большинства российских крепостников. Итак, что же нового найдем мы в Ильинском, что добавим к тому, что знаем о Пушкине и Кунице?е?

Поселок Ильинский открылся издали, еще за рекой Обвой. И сейчас он скорее похож на большое село. Подруливаем к старинному особняку с колоннами. Здесь-то и располагалась некогда вотчинная контора Строгановых. Теперь в этих стенах Ильинский краеведческий музей.

— Самых древних рукописей у нас давно нет, — сказал директор музея Олег Леонидович Кутин. — Их еще в двадцатые годы историк Введенский вывез на двадцати шести саниах в Московский архив древних актов. По отчетным данным бумаг было 273 пуда. Во всяком случае, именно за эти пуды и заплатили ильинским возчикам. А вот рукописи девятнадцатого века никому тогда не приглянулись.

— Это хорошо или плохо?

— Думаю, что очень плохо. Крохи остались теперь от них. Пудов этак шесть.

— Но войны ведь здесь не было?

— А частые реорганизации? Это еще страшнее. То закроют наш музей, то откроют. Сколько раз так было. Вот и теперь под каждый новый год ждешь, если не закрытия, то сокращения штата...

Однако и оставшиеся здесь «шесть пудов истории» — не шутка. Надо съесть не один пуд соли, чтобы в них разобраться.

— Лично меня они меньше волнуют, — признается Олег Кутин. — Мне больше по душе археологические раскопки...

«Хронологической пыли» в подклети строгановского особняка было немало. Но разве назовешь прахом историю, какой она бы ни была? Ведь даже то, что сегодня кажется неважным, завтра вдруг приобретает ценность. Или оказывается навсегда утраченным. В лихие двадцатые годы, а потом и в военные сороковые — местные школьники решали на полях старинных рукописей задачи по арифметике, учи-



Царскоелицейский лицей. Рисунок А. С. Пушкина в рукописи «Евгения Онегина», 1829 г.

лись чистописанию. Таковой была тогда служба этих бумаг Отечеству.

Просмотр остатка рукописей не занял много времени. И вот держу в руках тетрадь в синем переплете: «Предписания главной конторы Строгановых. 1837 год». Разворачиваю первые страницы и замираю от восторга. Это и есть долгожданные письма из Петербурга с подлинными автографами внизу: «Действительный статский советник и кавалер А. Куницын». Все тот же сдержанный почерк, все та же подпись, что и под свидетельством об окончании Пушкиным Царскоелицейского лицея.

— Ну да, Куницын. А что? — остудил меня было Кутин.

— Да ведь учитель Пушкина!

И тут я услышал в ответ свои же собственные слова, еще недавно казавшиеся мне вполне здравыми:

— Мало ли было на свете Куницыных!

— И статских советников? — переспросил я.

— И советников... А что, неужели тот самый?

— Да, тот самый.

Наступила неожиданная пауза.

— Вот бы никогда не подумал, — ответил в рассеянности Олег. — Вот бы знать раньше! А то школьники задачки решали на этих письмах. Как же так, почему об этом не напечатано? Ведь я тоже интересовался, но нигде ничего не нашел...

Я напомнил об очерском краеведе Малкове. В Ильинском его не знали. Да и в самом Очере ему, давно умершему, до сих пор не верят. Опровергатели нашлись, а всерьез проверить выводы краеведа никто не удосужился. Обидно, конечно. Но еще обиднее оттого, что в Ильинском из тетрадей куницынских писем /могло их быть десятка полтора/ сохранились лишь две: за 1837 и 1839 годы. Всего около четырехсот листов в подлинниках. О чем они?

Почти все письма А. П. Куницына адресованы Василию Волегову, управляющему Ильинской вотчинной конторой Строгановых. Они раскрывают как методы, так и практические шаги по управлению обширными владениями. Судя по сохранившимся документам, Куницын в эти годы выступал как единственный посредник между графиней Строгановой и ее уральскими подданными. И потому куницынские письма — это своеобразный клад сведений, поступавших из столицы в пермскую провинцию.

Правда, большинство сведений опять-таки касаются дел по управлению вотчиной. Но они разнообразны, как и жизнь того времени. Куницын сухо сообщает о том, что графиня Софья Владимировна распорядилась утвердить мнение комиссии для рассмотрения разных дел о наказании розгами мастеровых, явившихся в завод пьяными, или повара, совершившего третью кражу. И можно подумать, что эти строки Куницын пишет неохотно, так сказать, лишь по долгу службы, в силу необходимости. И там

же распоряжение о выдаче «пенсии» уволенным на покой камским лоцманам — трем Степанам: Демидову, Мухину и Суболину.

Среди куницинских писем из Петербурга встретились и такое. Ильинскому управляющему Волегову, кстати, выходящу из пермских крепостных крестьян, Александр Петрович писал в январе 1837 года, что комиссия для рассмотрения разных дел уволила Мазовского от должности начальника Билимбаевского завода. Но важно не само увольнение, а причина, по которой это было сделано: «по жалобе крестьян». Проверка жалобы на месте, проведенная без участия Волегова и поддержки Куницина, послужила уроком против жестокости и лихоимства.

Но есть в синих тетрадях и другие письма. Они касаются строгановского законодательства. В марте 1837 года Куницин сообщал: «Ее сиятельство, утвердив положение об увольнении дворовых людей за выслугу лет, приказала препроводить оное в Ильинское правление для присоединения его к Положению об управлении пермским имением. Главная контора исполняет сие приказание». Надо думать, это было одно из желанных известий. У крепостных появилась возможность заслужить волюных без выкупа, а лишь благодаря уму, трудолюбию и старательности. Самое скорое — через пятнадцать лет, самое долгое — через четверть века неустанных трудов. Мало что добивался сей милости, но возможность такая была предоставлена.

Насколько велика роль Куницина в строгановском законодательстве? Трудно во всех деталях судить об этом даже теперь, читая пермские письма Александра Петровича. Но одно вполне очевидно: эксперимент нельзя, говоря языком современным, считать чистым, целиком куницинским. Не последнюю, по-видимому, умеренную роль сыграли Сперанский, ближайший помощник и родственник Софьи — князь В. С. Голицын. Они-то и определили окончательный характер строгановского вотчинного законодательства.

Павлу Строганову и Куницину принадлежали прогрессивные элементы более ранних вариантов вотчинных актов. Следы их сохранились и в поздних редакциях. В «Уставе судебном», не раз перекраиваемом с 1819 по 1831 год, уцелела строка, необычная для русского законодательства той поры. Ставилась задача «охранять нерушимость прав» владеемых графинею людей. Сама по себе злободневная и дерзкая мысль о правах крепостных людей в России высказывалась, однако, в декларативной форме. Практически идея сводилась почти на нет последующими статьями.

В строгановском «Уставе судебном» говорилось: «Винных наказывают розгами с отнятием платья по голому телу, но женщины, по усмотрению начальства, могут быть наказываемы и в сорочке, и избавляться от наказания публичного, смотря по их возрасту и прочему». Не отказалась Софья Строганова и от тогдашних прав любой помещицы отдавать самых непо-

корных в рекруты или сослать в Сибирь. Но и здесь — нововведение. Вопрос о ссылке рассматривался на сельском сходе, что повышало психологическое воздействие на все поселение.

Дореволюционные историки Урала нередко умилялись тому совершенству, с каким были составлены строгановские документы. Еще был Европейски просвещенный профессор Куницин и изощренный государственный практик Сперанский знали толк в новейших достижениях английской и немецкой политической экономии, кодификации российских законов. И впрямь, многое было сделано довольно продуманно. Недаром строгановский образец нашел немало заимствований, особенно на Урале. В первую очередь им воспользовались родственники Голицыны, тоже владевшие уральскими землями и заводами. Но совершенство это, повторяем, было заметно прежде всего с точки зрения самих законодателей.

...Куницин быстро старел. Годы гонений сделали свое дело. Судя по пермским письмам, Куницин в конце тридцатых годов уже не был тем человеком, каким знали его в Царском Селе, когда на кафедре «беспрестанно говорил против рабства и за свободу». Лучше всех понимали его в лицейскую пору друзья, а враги явно преувеличивали таившуюся в нем революционность.

Попечитель Казанского учебного округа, известный мракобес Магницкий, утверждал, что изданная на русском языке в Петербурге, причем маленьким тиражом, книга Куницина якобы вызвала революцию в Неаполе, потрясла Мадрид, Турин, Лиссабон и даже повлияла на политику консервативного кабинета Каннинга в Англии. У страха — глаза велики. Подобного рода преувеличения революционности Куницина безграмотными блюстителями законности Пушкин отразил в своем «Послании к цензору» еще в 1822 году:

Ты черным белое по прихоти зовешь;
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницина Маратом.

На закате своих лет Куницин был реабилитирован правительством. Он получил давно заслуженную степень доктора прав. Петербургский университет избрал его своим почетным членом. Одновременно шло поправление взглядов ученого. Но и в это время, как свидетельствуют уральские послания Куницина, он отличался благородством, радел за униженных и оскорбленных.

По-прежнему с уважением относился к нему и Пушкин. Собираясь писать автобиографию, поэт в набросках ее программы упомянул и имя лицейского профессора. А когда вышла «История Пугачева», то преподнес ему в числе первых дарственный экземпляр: «Александру Петровичу Куницину от Автора в знак глубокого уважения и благодарности. 11 янв. 1835»⁷.

Строгановское майоратное владение; билимбаевские, ильинские, усольские, очерские деревни и заводы не были, да и не могли стать для

профессора Куницына «республиканской лабораторией». Для этого нужны были глубокие политические преобразования во всей жизни России. Попытки же перевести утопическую теорию равных прав, так называемую идею «общественного договора» на практические рельсы, лишь показали гигантский разрыв между мечтой и действительностью. Россия пушкинской поры не созрела даже для восприятия того умеренно нового, что было в экономической жизни Англии и Германии.

Александру Пушкину едва исполнилось тридцать, когда, вспоминая о Царскосельском лицее, он обронил несколько усталых фраз:

В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном вихре суеты,
О, много расточил сокровищ я сердечных
За недоступные мечты...⁸

А разве не мог бы то же самое сказать профессор Куницын? Вольнолюбивые мечты его молодости оказались бесплодными — «недоступными» в реальной жизни. Больной и всеми забытый, он умер рано — в 1840 году. Но все ли забытый? Куницын навсегда остался в памяти почитателей Пушкина, в истории отечественной литературы. Жизнь его была не напрасной. Он разбудил гражданские чувства юноги Пушкина, поэт «божественным глаголом» воспламенял сердца людей.

2. КОРРЕСПОНДЕНТ ПУШКИНСКОЙ ГАЗЕТЫ

Однажды в ответ на свои рассказы по радио Ираклий Андроников получил письмо из города Каменск-Уральского. Написал его Владимир Захарович Разумов. В 1942 году сей уралец был комиссаром эвакогоспиталя, размещенного в Пермской области. В бывшем строгановском селе Ильинском, «в подвале дома, где в свое время жил управляющий», он обнаружил библиотеку и огромный баул, туго набитый старинными, главным образом французскими письмами.

Среди книг в подвале оказались первые издания известного просветителя Н. И. Новикова, журнал «Телескоп», комплект герценовского «Колокола», три экземпляра его «Полярной звезды», «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» 1837 года, в том числе номер с сообщением о гибели Пушкина. А среди писем лежали два листка голубой бумаги с написанным от руки текстом пушкинских «Стансов».

Все книги и рукописи комиссар и раненые командиры привели в порядок с помощью эвакуированной учительницы Анастасии Александровны Бабушкиной. И когда в 1943 году госпиталь отправлялся на фронт, Разумов захватил часть материалов с собой, чтобы отвезти их в Москву. Дорогой стало известно, что эшелон минует столицу, и комиссар сдал баул во Владимире в областной отдел народного образования.



Куницын и Будри. Рисунок лицеиста Илличевского.

К сожалению, Ираклию Андроникову не удалось обнаружить вывезенные комиссаром ильинские бумаги. Может быть, потому, что поиски тогда ограничились запросом и ответами Владимирского областного архива, отдела народного образования облисполкома и редакции газеты «Призыв». Выехать же на Урал, в Ильинское, на место самой находки, писатель так и не собрался.

Письмо уральца Разумова, изложенное Ираклием Андрониковым в 1962 году в книге «Я хочу рассказать вам...»¹, невольно вспомнилось мне в Ильинском. Дешечи «непрерывного консультанта» Куницына, по существу, ставшего управляющим главной конторой Строгановых в Петербурге, раскрывают интересные подробности и в биографии своего адресата. А именно: ильинского управляющего Василия Алексеевича Волегова, выходца из крепостных крестьян, человека незаурядного, богатого разносторонними познаниями, наделенного литературными способностями. Находки ценны еще потому, что позволяють внести ясность в один затянувшийся спор. Кто был уральским корреспондентом «Литературной газеты», издававшейся А. А. Дельвигом и А. С. Пушкиным в 1830—1831 годах?

Чтобы снова перелистать страницы «Литературной газеты», переступить ненадолго порог Исторического музея на Красной площади в Москве. Время сделало печатные страницы ветхими и поистине... вечными. Они стали летописью пушкинской эпохи, в них — частица дней и трудов великого поэта. Пушкин редактировал большинство номеров газеты, печатал в ней свои критические статьи. Страницы первой по времени издания «Литературки» отражают одновременно и литературные вкусы, и политические взгляды поэта, людей из его окружения.

Листая пушкинскую газету, одни исследователи отмечали широту тематики, касавшейся не только литературных проблем; другие — географические масштабы охвата. В газете пе-

чатались статьи и очерки чуть ли не со всех концов страны. Мы отметим прежде всего социальную направленность этих материалов. Чем дальше от столицы побывали авторы, чем загадочнее их подписи, тем острее и смелее статья, очерк. Один из них написан в распространенном тогда жанре путешествия и озаглавлен «Листки из путешествия по Уральским горам 1829 года». Напечатан очерк в одиннадцатом номере за 1831 год.

Автор очерка скрыл свое имя под криптонимом «В. В.». И сделано это, наверное, далеко не случайно. Путешественник выступает как наблюдатель крепостнических порядков, господствовавших на Урале. Особенно бьет в глаза приниженное положение некогда вольных башкир. Земли их оказываются в руках помещиков или отводятся без выкупа под казенные горные заводы. «Тришкин кафтан» бедности аборигенов ковыльных степей и предгорий Урала не может прикрыть никакая экзотика.

Чувствуется, что в основе очерка лежат личные наблюдения и размышления автора, по всей видимости, не новичка на Урале, а знатока этого края или давнего его жителя. Завершая очерк, автор пишет, что в «ближайшие дни он будет проезжать по Горнозаводскому Уралу», значит, у «Листков из путешествия» может быть еще продолжение.

Но продолжения не было. Почему? «В. В.» не исполнил своего обещания или не позволили цензурные рогатки? Вполне могло быть и то и другое. Статьи «Литературной газеты» оставались политическими острыми даже спустя полвека. Когда В. П. Анненков готовил к изданию сочинения А. С. Пушкина, именно по этой причине он не смог включить в них многие газетные статьи поэта. Большинство статей и очерков, за исключением пушкинских, до сих пор ни разу не перепечатывались из «Литературной газеты» 1830—1831 годов.

Все говорит о том, что расшифровка имен под такими материалами первой «Литературки» означает расширение наших знаний о круге пушкинских друзей и почитателей его творчества. И — что не менее важно — единомышленников и сотрудников газеты. Итак, кто же скрылся за криптонимом «В. В.»?

Если развернуть относительно недавно изданный указатель Елизаветы Михайловны Блинновой «Литературная газета А. А. Дельвига и А. С. Пушкина»², то под номером 600 в нем зарегистрированы «Листки из путешествия по Уральским горам» как очерк П. А. Вяземского. Какие для этого есть доказательства? Блинова опирается в данном случае на сведения, почерпнутые из работ другого библиографа, С. И. Пономарева. В сборнике «Памяти князя П. А. Вяземского», вышедшем в Петербурге в 1879 году, «Листки из путешествия по Уральским горам» упомянуты библиографом как сочинение последнего³. Обоснование? Прямых и четких обоснований там тоже не найти.

Верно, что Петр Вяземский написал немало статей для «Литературной газеты», но, наверное, только не эту. По пути доказательств от

обратного и пошел уральский краевед Аркадий Федорович Коровин. Если Вяземский действительно автор этого очерка, то он должен был побывать на Урале, причем именно в тех местах, которые описывает загадочный «В. В.», то есть в Башкирии и Оренбургских степях.

Оказалось, Вяземский бывал на Урале, но намного раньше, когда еще совсем молодым чиновником служил в Московской межевой конторе. Ездил он вместе с сенатором Обрезковым, который проводил ревизию в Казанской и Пермской губерниях. Длилась ревизия шесть месяцев и закончилась 1 марта 1810 года. В Государственном архиве Пермской области Коровин нашел доклад, дающий отчасти представление о предмете ревизии: «Подробные сведения, доставленные сенатору Обрезкову о всех заведениях, находящихся в ведении приказа, как-то: богадельнях, больницах и рабочих домах»⁴.

Можно и впрямь подумать, что поездка была не в меру скучной. Однако это не совсем так. Молодой Вяземский привез с Урала своего рода гимн, посвященный «камской богине» — некой Певцовой.

Кто скажет, что к Перми судьба была
суро́ва?
Кто скажет, что забыт природой этот
край?

Страна, где ты живешь, прекрасная Певцова,
Есть царство красоты и упоений рай!⁵

Впрочем, эта поездка не оставила более заметных литературных следов в творчестве Вяземского. К тому же до Башкирии и Оренбурга он тогда не доехал. Никогда больше, во всяком случае в 1829—1831 годах, Вяземский на Урале уже не бывал.

Значит, «В. В.» — не Вяземский. Кто же тогда? Есть еще одна ниточка поиска — «Словарь псевдонимов»... составленный И. Ф. Масановым. Там под криптонимом «В. В.» упоминается Волегов Василий Алексеевич⁶. По всей видимости, управляющий строгановским имением в селе Ильинском. В любом случае другого литератора В. А. Волегова с подписью «В. В.» в масановском словаре не значится. Зато выяснилось, что в более поздние времена Волегов не раз подписывал этим же криптонимом свои статьи в «Пермских губернских ведомостях», других изданиях.

Почему же тогда не учли этот факт Пономарев и Блинова? Первый не дождался выхода в свет словаря, а вторая эту цель, наверное, перед собой и не ставила.

Между тем фамилия Волеговых достойна того, чтобы вспомнить о ней. Старший Федот и младший брат Василий были, пожалуй, самыми видными в Приуралье экономистами, публицистами и историографами из числа строгановских крепостных крестьян. Чудом сохранившиеся в Ильинском рукописи позволяют восстановить биографию Василия Алексеевича по первоисточникам. Они гласят, что этот Волегов родился в деревне Старый Посад Оханского уезда в

1807 году. Первоначальное образование получил в знаменитой Ильинской школе, созданной Строгановой для своих крепостных.

Потом в числе наиболее одаренных учеников Василий Волегов в 1824 году был отправлен в Петербург для учебы в еще более знаменитой строгановской горнозаводской и лесной школе. Там он стал свидетелем восстания декабристов. «Со времени выпуска до 1830 года состоял практикантом...» Где? На Билимбаевском горном заводе Строгановых. Вот оттуда в 1829 году Волегов «командирован был для обозрения частных и казенных заводов хребта Уральско-го»⁷. В это же самое время он и побывал в Башкирии, добрался до Оренбурга.

Столь обширное путешествие по Уралу давало немало сведений для очерка. В подтверждение этого в послужном списке Волегова находим такие строки: «По многим предметам горного производства представил он практические замечания, заслужившие особенное внимание начальства»⁸. Итак, начальству в Петербург — в Строгановский дворец на Мойке — Волегов мог отправить чисто практические замечания, а в редакцию пушкинской газеты — послать листки о самом путешествии.

Находит подтверждение и строка «В. В.» в пушкинской газете о намерении продолжить свое путешествие по Уральским горам, так как и после написания очерка автор оставался все там же. В послужном списке читаем: «С первого мая 1830 года определен был главным смотрителем по золотым приискам в Билимбаевском округе и отправлял сию должность по первое февраля 1832 года с таким отличием, что начальство признало его достойным занять место помощника приказчика в Добрянском заводе»⁹.

И еще одна деталь в послужном списке Василия Волегова показалась интересной. Где находился уралец в начале 1830 года? Почему возникает такой вопрос? Ведь практикантом он был «до 1830 года», смотрителем стал «с первого мая 1830 года». Не истратили ли Волеговым четыре месяца на поездку в Петербург для личного доклада и представления им практических замечаний? Вариант такой вполне уместен. В таком случае уралец мог и не отсылать листки о путешествии в пушкинскую газету, а сам зайти к ее издателям. Время публикации очерка Волегова не противоречит, как видим, и этому предположению.

Здесь надо заметить, что Василий Волегов был всесторонне развитым человеком. Природный ум, учеба и жизнь в Петербурге, постоянное самообразование сделали свое дело. Он отлично разбирался в горной технике, уральской истории, любил русскую литературу. Особенно зачитывался Пушкиным. Краевед Коровин писал: «Вполне возможно, что Волегов имел личное знакомство с великим поэтом, ибо Пушкин знал и видел столичный музей Строгановых»¹⁰. Волегов доставлял туда с Урала коллекции минералов и древнерусские раритеты, ставшие ныне достоянием Эрмитажа.

Но Коровин совсем еще не видел другого, наиболее реального пути знакомства Волегова

с Пушкиным и его газетой. Ближайшим посредником между уральцем и поэтом мог стать Куницын — «непременный консультант», практически управляющий в то время главной строгановской конторой в Петербурге. Пушкинский учитель Куницын, наверное, и стал первым человеком, принявшим «практиканта» и путешественника во дворце, услышавшим из уст его рассказ о разных сторонах жизни Урала.

Пушкин хорошо знал Куницына, всегда помнил о лицейском профессоре. Как раз в это время, примерно в 1830 году, он снова вспомнил о нем, а может быть, и встретился в доме Строгановых. Набрасывая программу автобиографических записок, поэт включил в нее и имя своего опального учителя. Был Куницын учителем также и Дельвига, всех лицейстов первого выпуска. Многие из них стали тогда сотрудниками «Литературной газеты». Словом, подказка и помощь Волегову со стороны Александра Петровича могли быть вполне уместными и плодотворными.

Внимательное знакомство с неопубликованными письмами Куницына на Урал открывает, пожалуй, и самую главную завесу над тайной криптонима «В. В.». Ведь в 1831 году Василий Волегов еще был крепостным. Лишь в марте 1837 года, когда уж не было в живых Пушкина, его учитель Куницын прислал в Ильинское известие о распоряжении графини Софьи Владимировны Строгановой. За выслугу лет «с отличною нравственностью и беспорочным поведением» уральские крепостные служащие награждались кто хрустальным бокалом, кто серебряной табакеркой. Василию Волегову повелевалось «дать в награждение свободу»¹¹.

На сопроводительном письме хорошо видна подпись: «Действительный статский советник А. Куницын». Человек, страстно мечтавший в молодости о свободе всех крепостных в России, наверное, с особым удовлетворением сообщал об этом редком для того времени факте. И кто знает, какое личное участие в судьбе Василия Волегова принял учитель Пушкина. Переписка Куницына с Волеговым, который и стал вскоре управляющим в Ильинском, носит строгий деловой характер. В ней нет места эмоциям. Но отношение бывшего лицейского профессора к уральскому крепостному всегда было проникнуто глубоким уважением.

Можно предположить, что настоящим автором очерка был крепостной родом из оханской деревни Старый Посад. И тем не менее Пушкин напечатал сочинение крепостного публициста с Урала Василия Волегова в своей газете — рядом со статьями дворян и князей. Можно ли было при такой ситуации полностью называть фамилию автора? Наверное, этого не смел сделать ни сам автор, ни издатели газеты. Иначе мог бы разразиться весьма серьезный скандал. Ведь такого в истории русской публицистики, пожалуй, еще не бывало.

Мы знаем имена крепостных актеров, архитекторов и художников. Но крепостные журналисты, выступавшие в столичной печати с обли-

чительными очерками, — явление исключительное. Так могло быть лишь в пушкинской газете, отличавшейся небывалой по тому времени демократичностью, политической и социальной остротой.

Письма уральца Разумова к Андроникову, ильинские послания Куницына помогают раскрыть тайну криптонима «В. В.», заменить старую атрибуцию авторства на новую, сиятельного князя — на крепостного крестьянина. Но от этой замены пушкинская «Литературная газета» ничего не теряет. Наоборот, она становится еще интереснее и богаче.

3. ПОТАЕННОЕ СОКРОВИЩЕ

В ранний утренний час, когда еще тихо в библиотеке Пермского пединститута, я читал рукописные строки на старинной бумаге. Это было неизвестное прежде собрание вольнолюбивых и сатирических стихов, занесенных в две тетради с красными корешками где-то накануне 1825 года. И, судя по всему, стихи ходили тогда лишь в рукописях. Так что эти тетради можно было считать потаенными рукописями декабристской эпохи.

Откуда тетради взялись на Урале? И почему они выплыли на белый свет только теперь, словно возвратившись из далекого небытия?

Расположенный здесь сначала педагогический факультет Пермского университета в 1918 году получил привезенные из Петрограда книги уже покойного академика А. Н. Веселовского, известного филолога. Было книг без малого четыре тысячи томов. Среди них, может быть и случайно, оказались якобы две тоненькие тетрадки в одинаковых переплетах. Рукописи положили отдельно от книг в дальний темный шкаф. И все потом про них забыли.

Много десятилетий хранили рукописи молчание, пока на них случайно не натолкнулся библиограф В. В. Мерлин.

С тетрадей смахнули пыль и осторожно раскрыли. Девятнадцать страниц у одной, пять у другой — были испещрены стихами. Басни Дениса Давыдова, нозли Петра Вяземского, сатиры Ореста Сомова и Милонова, дотеле нигде не встречавшиеся эпиграммы генерала Ермолова — любимца декабристов. Есть стихи неизвестных авторов, копии разных писем. И наконец, стихи Александра Пушкина:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица? —
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Это стихотворение — двенадцатое от начала первой тетради. В нем нетрудно узнать пушкинскую оду «Вольность». Но здесь озаглавлена она иначе: «Ода свобода». Почему иначе?

Ошибка переписчика? Таким был первый вопрос, поставленный пермской рукописью.

По свидетельству современников, Пушкин написал оду экспромтом осенью 1817 года в петербургской квартире братьев Тургеневых, окна которой выходили на Михайловский замок — «забвенью брошенный дворец». В замке, где был убит Павел I, тогда никто не жил, и темным стоял сей «пустынный памятник тирана». Печатается ода по автографам поэта, сохранившимся в архиве братьев Тургеневых. Причем заглавие «Вольность» и первые 88 строк по первому, наверное, самому раннему автографу, а заключительные восемь строк — по второму.

В Полном собрании сочинений А. С. Пушкина, изданных Академией наук СССР в шестидесяти томах, привлечено 58 списков оды «Вольность», что красноречиво говорит о ее широком распространении. И это неудивительно. Она составляла неотъемлемую часть русской потаенной литературы, став причиной ссылки Пушкина на юг. Впервые ода напечатана Герценом в лондонской «Полярной звезде» на 1856 год. В России того времени печатались лишь отрывки: полностью ода увидела свет в 1906 году.

Каково место пермского списка, что подскажут сравнения? Вместе с доцентом пединститута И. В. Малышевой давайте сопоставим наш текст с наиболее точными списками, которые, по словам комментаторов академического Полного собрания сочинений поэта, восходят к «неизвестному автографу Пушкина, или к записи с его слов, или к выправленной поэтом копии»¹. Естественно, сам Пушкин долго не хранил оригиналов своих «крамольных» стихов. Так вот, сравнение пермского списка оды с уже известными копиями говорит о том, что текст его восходит к наиболее точным текстам и, пожалуй, наиболее совершенным.

Став теперь 59-м по счету, пермский список «Вольности» вряд ли является столь отдаленным на самом деле. И вот тому доказательство. Вместо строки академического текста «Питомцы ветреной судьбы», в пермском — «Любимцы ветреной судьбы». Точно такое же написание встречается в 56 других копиях и публикациях, сохранившихся альбомах. Да еще каких! В архивах П. А. Вяземского, А. М. Горчакова, А. Н. Вульфа, И. И. Пущина, С. Д. Полторацкого, Н. В. Путаты, С. А. Соболевского, М. Л. Яковлева. Все это — ближайшее литературное, по-настоящему дружеское окружение Пушкина.

Строка «Главой развенчанной приник» в пермской копии начинается со слова «Челом...». Точно так, как во многих других копиях и публикациях. И опять — в списках Горчакова, Вульфа, Вяземского, Пущина... Да еще А. В. Шереметова, М. А. Щербинина. Вместо несколько усложненной и отчасти архаической строки «И се — злодейская порфира», в нашей копии — «И самовластная порфира», как и еще в 51 случае².

Есть другие разночтения подобного рода, хотя их и немного. Что еще характерно для

этого списка? В нем нет грубых искажений текста, какой-либо несурзиды. Все говорит о том, что тетради принадлежали образованному человеку, который был очень близок к литераторам пушкинского окружения в Петербурге.

Но каково же подлинное название стихотворения: «Вольность» или «Свобода»? Конечно, особых различий в этих названиях как будто и нет. Тем не менее лишь один из заголовков наиболее правильный. Какой же именно?

В известных копиях и ранних публикациях ода называется по-разному, в том числе «Ода свобода», «Ода на свободу», «Песнь к свободе», «На свободу»... И еще четырежды просто «Свобода». Правда, в сочетании со словом «вольность» называется ода все-таки чаще, чем со словом «свобода». Но вряд ли этот вопрос можно решить с помощью арифметики.

Очень характерна такая деталь. Поэту Вяземскому принадлежала копия оды «Свобода», которую читал и правил сам Пушкин. Заголовок ее автор не исправил...

Не говорит ли все о том, что заголовок «Вольность», принятый в подражание знаменитому стихотворению Радищева, был лишь ранним, первым вариантом названия оды? Ведь Пушкин в ней, судя по содержанию, требует не столько вольности для крепостных крестьян, то есть их личной свободы, а прежде всего свободы политической в ее очень широком общественном, государственном понимании. Ясна была и цель: «На тронах поразить порока».

Может, ответит на спорный вопрос о заголовке оды сам Пушкин? Впервые опубликованный в 1884 году набросок «Воображаемый разговор с Александром I» содержит важные для нас детали. В этом памфлете, написанном еще в Михайловской ссылке в 1824 году, дерзкий Пушкин, поставив себя на место царя, хотел показать, как надо бы императору вести беседу во время воображаемой встречи с поэтом. По мысли Пушкина, Александр I мог бы начать разговор и так:

«Я читал Вашу оду *Свобода*. Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень неблагодарно, [вы однако ж не] старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вы можете иметь мнения неосновательные, [но вижу], что вы уважали правду и личную честь даже в царе»³.

Конечно, ожидать от царя похвалы за эту оду, хотя бы даже за три строфы, мог Пушкин только во... воображаемом разговоре. Ведь ода была посвящена дворцовому перевороту 1801 года, то есть убийству Павла I, свершившемуся не без ведома его сына Александра, будущего царя.

Нас же больше всего в «Воображаемом разговоре...» привлекает то, что ода названа «Свободой», как и в пермской рукописи. Оговорка царя? Нет. Ведь царь на самом деле этих слов не говорил. Их сочинил, оставив навсегда в черновике, сам Пушкин. А он-то должен был знать, как называется ода, доставившая ему

немало горестных минут мести врагов, восторженных откликов друзей-декабристов. Из двух основных заголовков он выбрал один. Нигде больше Пушкин как будто уже не называл своего запрещенного стихотворения. Значит, это последнее по времени, окончательное исправление, утверждение заголовка.

Но тут же напрашивается и другой вопрос: почему эта последняя воля поэта не была учтена редакторами пушкинских сочинений? Более ранними потому, что «Воображаемый разговор...» очень долго оставался в малоразборчивой черновой рукописи. Ведь впервые его напечатали только в 1884 году, когда к оде «Свобода» уже привыкли как к оде под ранним названием «Вольность». Характер самого произведения, условия его распространения в рукописях, поздняя расшифровка пушкинских черновиков — главная причина того, что последняя воля поэта оказалась позабытой.

Как бы там ни было, пермская копия пушкинской оды заслуживает пристального внимания. И текст ее, и название. Возможно, заголовок «Свобода» и надо считать подлинным. Ведь это подтвердил сам поэт. Забытый уральский список оды теперь должен поработать на... Пушкина: помочь литературным следопытам в поиске истины. А может быть, и в обретении одой своего отчего имени!

Кроме пушкинской оды «Свобода», в пермских потаенных тетрадях помещено и политически острое стихотворение «Деревня». Разночтений в нем меньше, подписано полным именем: «Александр Пушкин». В третьем пушкинском стихотворении «Послание к цензору» есть интересное разночтение в строфе:

Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? Их и так иные прочитали.

Сочиняя эти строки, поэт имел в виду не себя, а своего дядю В. Л. Пушкина, автора ходившей в рукописи поэмы «Опасный сосед». Однако многие читатели той поры, уже забывая о поэме Василия Львовича, считали, что Александр Пушкин тут имеет в виду себя, как создателя многих бесцензурных стихов и эпиграмм. И они порою по-своему «выправляли» строку, что нашло отражение в пермском списке: «Что нужды? Нас и так иные прочитали».

Не менее важно отметить другое. Первый владеец тетрадей, а его рукой, по-видимому, и вписаны почти все стихи, потом не раз возвращался к текстам. Исправлял пушкинские стихи по вкусу? Нет, далеко не всегда. За редким исключением, исправления эти приближали текст к подлинному.

Значит, неизвестный нам владеец потаенных тетрадей время от времени читал и другие списки, более авторитетные, делал по ним сверку. Это выдает владельца рукописей не как простого поклонника поэзии, а как вдумчивого текстолога, осознающего роль разночтений, стремившегося к постепенному совершенствованию текста. Иначе говоря, владельцем пермских

потаянных тетрадей мог быть и литератор, и ученый. Кто же именно?

Академик А. Н. Веселовский оставил этот вопрос без ответа. Наверное, руки у него не дошли до изучения тетрадей. Но вот что интересно. В перечне владельцев уже известных списков оды упоминается однофамилец академика — профессор Н. И. Веселовский. У него тоже хранился список пушкинского стихотворения под заголовком «Песнь к свободе». Список был включен совсем в другую тетрадь с надписью: «Разные сочинения в стихах и прозе, собранные в Тобольске и С.-Петербурге. С 1814-го по 1821 год»⁴.

Не были ли пермские и тобольские списки «соседями» на полке одного или другого Веселовского? В тридцатые годы — не были. Когда шла работа над академическим Полным собранием сочинений А. С. Пушкина, тобольская тетрадь уже была в Пушкинском доме. Поэтому она и попала в поле зрения комментаторов издания. А пермские тетради все еще лежали в темном шкафу позабытыми. Но и они не безмолвны, не безымянны. На тетрадях сохранились надписи, которые можно считать владельческими.

Раскроем опять первую из пермских тетрадей, относительно большую. На обратной стороне переплета — размашистая пометка чернилами: «Из собрания рукописей И. (?) С. П. № 415». Так прочла надпись Инна Викторовна Малышева. Прочла и напечатала сообщение об этом⁵. Но такое прочтение нуждается в уточнении. Дело в том, что первую букву криптонима скорее надо читать как «Н», а не «И». Почему? Буквы кажутся схожими потому, что здесь явная стилизация под латинское написание «N». Подобная стилизация этой буквы, особенно заглавной, была в ту пору широко распространена.

Кстати, новое прочтение криптонима — «Н. С. П.» подтверждает повтор этой же надписи, но несколько сокращенной, сделанной той же рукой на второй тетради: «Из собрания Н. П.». Ясным становится, что обе тетради в одинаковых переплетах были зарегистрированы одновременно и под одним номером.

Выходит, надо искать владельца тетрадей, имя которого начиналось бы с буквы «Н», отчество — с «С», а фамилия — с «П». Среди ближайшего литературного окружения Пушкина таковых не нашли. Значит, надо брать круг пошире. И читатели тут, конечно, могли бы помочь...

Так я думал, покидая стены студенческой библиотеки. И потом много раз уже мысленно переворачивал в старинной рукописи страницу за страницей. Вспоминались стихи, криптонимы и еще одна надпись на самой тетради. Поверх темного переплета — маленькая наклейка размером с визитную карточку: «Из Койской библиотеки». Но, увы, и такая библиотека на Урале тоже никому не была известна.

Казалось, дело зашло в тупик. В подобном случае надо на время отложить всякие поиски и забыть про них. Почти забыть. Но инициалы

загадочного имени, как знаки на телеграфной ленте, все еще всплывали в памяти...

Однажды пришла такая мысль. Надписи на переплете и его обратной стороне сделаны, конечно, не первым владельцем списков, не их создателем. Иначе зачем ему для себя писать, из чьих это рукописей, из какой библиотеки? Он бы сам хорошо это знал. Значит, пометки сделаны вторым, а может, и третьим владельцем рукописи, чтобы запечатлеть ее происхождение, так сказать, бывшую прописку. И это тоже штрих, выдающий опытного коллекционера. А раз так, то не могла ли под верхней наклейкой сохраниться более ранняя?

Снова изымается тетрадь из темного шкафа. В лучах яркого солнца едва различим контур другой наклейки, чуть меньшего размера. Инна Викторовна Малышева осторожно отделяет пинцетом край верхней наклейки. На нижней всего одно слово по-французски: «Смесь».

Предположение оказалось верным, хотя и плоды не столь велики. Да, тетрадь побывала в руках не одного человека, в том числе и неизвестного «Н. С. П.». Кто бы это мог быть?

И вскоре «Н. С. П.» как будто нашелся. Причем не в Петербурге или Москве, где его искали, а в самой Перми. Перебирая в памяти уральцев пушкинской поры, имевших литературные интересы и связи со столичными писательскими кругами, мой взгляд остановился на Никите Саввиче Попове. Первый директор Пермской гимназии, он исполнял эту должность с 1808 по 1829 год. Однако имя его больше известно не как педагога, а как литератора и историка, глубокого экономиста.

Перу Н. С. Попова принадлежит знаменитое «Хозяйственное описание Пермской губернии», отмеченное в Петербурге золотой медалью Вольного экономического общества и выдержавшее два издания. Куда меньше известна деятельность Н. С. Попова как коллекционера, собирателя рукописей.

Не внесут ли тут ясность протоколы заседания столичного Вольного общества любителей российской словесности, членами которого также состояли и уральцы? Протоколы хранятся теперь в Пушкинском доме в Ленинграде.

Вот толстая рукописная книга с золотым обрезом — «Журнал распоряжений... 1821 года». Раскроем журнал на 85-й странице и прочтем запись за 28 марта: «В сем заседании производилось баллотирование в члены... капитана французской службы Фаддея Венедиктовича Булгарина, лейтенанта Николая Александровича Бестужева, коллежского советника Никиты Саввича Попова...»⁶.

Булгарин стал врагом Пушкина, Николай Бестужев — декабристом, как и его братья, а Попов — уральским историком. Но тот ли это Н. С. Попов? Да, тот самый! Там же сказано, что диплом № 354 об избрании нового члена-корреспондента общества был направлен в Пермь. Пожалуй, еще интереснее подписи под протоколом: председатель Ф. Н. Глинка, секретарь А. А. Никитин, члены А. А. Бестужев,

П. А. Плетнев, А. А. Дельвиг... Замыкает все подписи — О. М. Сомов.

Это тот самый Орест Сомов, сатирические стихи которого довольно широко представлены в пермских тетрадах: «Певец», «Надпись к портрету Ростопчина, им самим сочиненная», «Магницкий точно чудо...». Дальше в тетрадах шли пародии, копии документов: «Дополнительные статьи в большом проекте цензуры, представленные М. Магницким», «Переписка М. Магницкого с архимандритом Шипулинским. Письмо 1-е 21 июня 1817 года М. к Ш. Два ответа на сие письмо. Письмо 1-е Ш. к М. Письмо 2-е Ш. к М.».

Сатиры Сомова, его пародии, казалось, все теперь объясняют. Через друзей по петербургскому обществу, может быть, именно через Сомова, уралец Попов мог заполучить запрещенные стихи. Но почему так много внимания уделено Магницкому? И копии писем, и эпиграмма Сомова:

Магницкий точно чудо:

Он в аде был бы бес,

На вечера — иуды,

А в революцию Сийес!

Деятель французской буржуазной революции конца XVIII века Э. Ж. Сийес отличался своим непостоянством, неоднократно менял политическую окраску. Подобным непостоянством, ханжеством отличался и почитель Казанского учебного округа М. Л. Магницкий, перешедший с либеральных позиций на крайне реакционные. И тут вроде бы все понятно. Пермская гимназия, которую возглавлял Попов, была подопечна как раз Казанскому учебному округу. Поэтому эпиграмма на своего ненавистного почитателя, в конце концов уволившего Никиту Саввича от директорской должности, была особенно привлекательна.

Итак, казалось бы, можно со значительной долей уверенности считать Н. С. Попова владельцем потаенных тетрадей. Совпадают инициалы, подтверждается его связь с близкими друзьями Пушкина, в том числе с А. А. Веструевым, А. А. Дельвигом, П. А. Плетневым, Ф. Н. Глинкой, О. М. Сомовым... Правда, неизвестно, каким образом тетради из Перми попали снова в Петербург — в библиотеку академика А. Н. Веселовского. А может, они там и не были? Подробной описи привезенных в 1918 году книг не сохранилось. Лежали тетради отдельно, могли попасть в библиотеку института и как дар кого-нибудь из старых пермяков.

Не давала теперь покоя лишь одна-единственная деталь: наклейка на обложке. Куда делась, где была загадочная «Койская библиотека»? Отмахнуться, закрыть на нее глаза — значит оставить в душе капельку сомнений относительно происхождения тетрадей. А в истории поисков бывает так, что какая-нибудь новая «капелька» сведений вдруг выворачивает наизнанку все предыдущие доводы. Как же быть?

Найти ответ на третий вопрос, поставленный пермскими потаенными тетрадами, удалось не сразу. «Койская библиотека» казалась мне далеко запрятанной, глубоко законспирированной. Что, впрочем, было вполне логично. Ведь собранные в тетрадах стихи, попадись они в руки Бенкендорфа или его помощников, не принесли бы славы коллекционеру. Ясно, что такие тетради надо было хранить подальше «и от всевидящего ока и от всеслышащих ушей».

Отброшено было немало новых предположений, доводов, версий. И лишь недавняя поездка в поселок Ильинский на Каме, знакомство с неизвестными письмами Куницына, открывшими тесную связь лицейского учителя Пушкина со Строгановыми и Пермским краем, подсказывали: не мог ли быть использован и этот канал для продвижения запрещенных пушкинских стихов на Урал? Ведь среди бумаг управляющего строгановскими именьями в Ильинском Василия Волегова тоже были списки пушкинских «Стансов». Не стояла ли на этом пути Койская библиотека?

В ильинских бумагах Куницына, заметим, человека очень близкого ко всему пушкинскому окружению, о Койской библиотеке нет упоминаний. Нет в Ильинском, но, может, есть в другом месте? Еще раз изучаю по крохам биографию лицейского учителя Пушкина, и на глаза попадается название тверского села Кой. Да ведь это же родина Куницына!

И по сей день стоит село Кой на маленькой речке Корочечне, впадающей в Волгу близ древнего Углича. Село было когда-то большим, относилось к разряду торговых. На просторной площади сохранилась церковь, в которой служил дьячком отец будущего профессора Куницына. Где-то рядом стоял дом Куницыных. В их небогатой сельской библиотеке, подальше от столиц и посторонних глаз, наверное, и хранились потаенные тетради с красными корешками.

И говорит об этом не только надпись: «Из Койской библиотеки». Подлинные автографы писем Куницына из Петербурга в пермское Ильинское очень близки почерку, каким занесены в тетради большинство запрещенных стихов. Хотя почерки разделяют десятилетия, они мало изменились. Буквы средней величины, почти с равномерным нажимом гусяного пера... Почерк, по понятиям того времени, не очень совершенный, не очень красивый. Но зато разборчивый, читается легко. Сын сельского дьячка сначала добывал грамоту в духовном училище и семинарии, где чистописанием особенно не увлекались.

Еще красноречивее о принадлежности тетрадей Куницыну, по-видимому, их первому составителю и владельцу, говорит характер отобранных политических стихотворений Пушкина. Это именно те стихи, в которых Куницын безошибочно признал всходы, если можно так сказать, посеянных им в лицее идей. Суть их заключалась в издании справедливых и обязательных для всех законов, в соблюдении своего рода общественного договора между властителями и подданными.

И Куницын спешит занести в тетрадь пушкинские строки, звучащие как поэтический конспект его лекций, как грозное обращение к царям:

Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов волюность и покой.

Пушкинский автограф «Вольности», как мы знаем, бережнее всех хранил Александр Иванович Тургенев, на квартире которого ода была написана. Сам он и брат Николай, будущий декабрист — «хромой Тургенев», дружили с Куницыным: они закончили один и тот же Геттингенский университет. На квартире Тургеневых, которую часто посещал перед ссылкой Пушкин, разгорались жаркие споры о государственном «неустройстве» России. Куницын и Александр Тургенев были правоведами. Последний в 1812 году был назначен официальным членом Комиссии составления законов. Из этого дома скорее всего и мог вынести Куницын запрещенные пушкинские стихи.

К оде «Вольность» («Свобода») в куницынских тетрадях органично примыкает пушкинское стихотворение «Деревня», отражающее радикальные взгляды профессора и его гениального ученика на положение крепостных крестьян в России:

Здесь *Барство* дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной силой
И труд, и собственность, и время

земледе́льца.

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя
бичам,

Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать

не смея,

Здесь девы юные цветут

Для прихоти бесчужденной злодея.

Эти стихи Пушкина, как и лицейские лекции Куницына, целиком созвучны с основной программой тайных политических обществ: борьбой против абсолютизма и крепостного права. Время пребывания Пушкина в Петербурге в 1817—1820 годы, до ссылки его на юг, было временем небывалого до того расцвета антиправительственной рукописной литературы. Написав в те же дни политически острое стихотворение «Петербург», П. А. Вяземский признавался А. И. Тургеневу: «Такую взгромоздил штуку, что только держись. Так Сибирью на меня и несет!»⁷ Он допускал возможность ссылки за вольнодумство. Соловки и Сибирь, как мы знаем, угрожали Пушкину.

Обыск, арест и ссылка за вольнодумство угрожали и Куницыну. Через год после отъезда Пушкина в южное изгнание был окончательно отстранен от преподавания в лицее профессор Куницын. Вольнодумство было официально

поставлено ему в вину. Ясно, что возвращаться к своим тетрадям Куницын мог лишь от случая к случаю, а сами тетради хранил у родителей в селе Кой.

Но Куницын нашел возможность занести в тетради и третье стихотворение Пушкина «Послание к цензору», написанное поэтом уже в южной ссылке в 1822 году. Да и как мог обойти его стороной опытный профессор? Ведь губили Куницына в первую очередь цензоры и попечители учебных округов. Бируков, Красовский, Рунич, Магницкий нашли достойное отражение своих дел в куницынских тетрадях.

Прозаическая сатира «Дополнительные статьи...» безвестного автора, возможно, и самого Куницына, пародирует пресловутую инструкцию Магницкого ректору Казанского университета. В ней основанием истинного просвещения почиталась «христианская религия», а главной задачей считалось ограждение юношества от «духа вольнодумства». От имени Магницкого в подпольной сатире предлагалось изъять из всех словарей слово «естественный», ибо оно напоминает о естественном праве. Иначе говоря, как раз о том, чему была посвящена книга Куницына «Право естественное», запрещенная мракобесами и ставшая причиной его гонений.

Но слуги невежества и ханжества «с губительной секирой» не всегда были всемогущи перед писателями, которые шли к народу, минуя цензуру. Таким был Радищев, другие писатели-вольнодумцы. По словам Пушкина, «Их мыслей не теснит цензурная расправа». Переписывая в тетрадь эту строку из «Послания к цензору», Куницын слегка видоизменил ее, придав критике русской цензуры иной оттенок: «Их мыслей не *темнит* цензурная расправа».

Из своего богатого опыта профессор Куницын знал: цензура не только «теснит» передовые идеи, но прежде всего «темнит», искажает их подлинный смысл, что еще опаснее и вреднее. Несколько иначе уже воспринимаются в этой связи и изменения в строке: «*Нас* и так иные прочитали», то есть без искажения цензурой. Куницын заменил пушкинское местоимение «их» на «нас», как бы отнеся и поэта, и себя к числу людей, сумевших пустить по свету неискаженные цензурой мысли и строки. Многие, очень многие кроются за этой поправкой!

Почти все куницынские разночтения пушкинских стихов, как видим, необычайно важны. Куницын, склоняясь над тайно добытыми стихами поэта, и впрямь склонялся над ними не как читатель. А скорее как профессор над листками своего лицейского питомца. Он восторгался окрепшею силою мысли и мужеством духа, заключенными в смелые строки. Он хотел их уточнить, а отдельные слова чуть-чуть подправить. Чуть-чуть! Так поправляет сочинение любимого ученика мудрый учитель.

И тут снова встает вопрос: как же все-таки куницынские тетради оказались в Перми? Точного ответа пока нет. Тетради мог привезти на Урал хорошо знавший Куницына Василий

Волегов, передав их потом, скажем, Н. С. Попову. А может, после разгрома восстания декабристов, боясь, что тетради будут обнаружены и в селе Кой, сам Куницын переслал их на сохранение уральцу Н. С. Попову? Недаром в тетрадях нет уже записей после этой трагической даты. Но самая главная загадка пермских потаенных тетрадей, думается, разгадана: они из личной библиотеки Куницына. Койская библиотека не сохранилась. Тем ценнее ее подлинное сокровище — две тоненькие тетрадки потаенных стихов, собранных пушкинским учителем и, как бы там ни было, сохраненные им от политических бурь и житейских невзгод.

Пермские тетради Куницына с запрещенными стихами Пушкина восполняют недостающее звено для выяснения взаимоотношений

этих людей. Мы хорошо знаем, как чтит память Куницына поэт, плативший ему «данью сердца» за уроки гражданственности, за воспитание «пламени» вольнодумства, озарившего всю его жизнь. Теперь мы знаем и другое: Куницын признавал в Пушкине своего питомца. Сердца их бились в лад, они находили отзвук друг в друге!

А все вместе доказывает, сколь верны и глубоко прочувствованы бессмертные пушкинские слова. Слова признания и любви к подлинному учителю, каким и был Куницын.

Куницыну дань сердца и вина!

Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

ПРИМЕЧАНИЯ

1

¹ Гос. архив Пермской обл. /ГАПО/. Ф. 672, оп. 1, д. 147, л. 1—1 об.

² Советское государство и право. 1978, № 3, с. 106—112.

³ Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981, с. 247, 250.

⁴ См.: Книжные новости. М., 1936, № 18, с. 23.

⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти т. Т. 2, с. 397—398.

⁶ Пушкин А. С. Указ. соч., т. 12, с. 301.

⁷ Цит. по: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 208.

⁸ Пушкин А. С. Указ. соч., т. 3, с. 189.

2

¹ Андроников И. «Я хочу рассказать вам...» М., 1964, с. 230.

² Блинова Е. М. Литературная газета А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. М., 1966.

³ Памяти князя П. А. Вяземского. СПб., 1879, с. 87.

⁴ Знамя: газета, Велоярский р-н Свердлов. обл. 1973, 7 июня.

⁵ Вяземский П. А. Избр. стихотв. «Academia». М.—Л., 1935, с. 69.

⁶ Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов... М., 1956, т. 1, с. 186.

⁷ Ильинский краеведческий музей. Оsn. ф., д. 2014, л. 42.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Знамя: газета, указ. изд., 9 июня.

¹¹ Ильинский краеведческий музей. Оsn. ф., д. 2014, л. 41 об.

3

¹ Пушкин А. С. Указ. соч., т. 2, с. 1007.

² Там же, с. 523—524.

³ Там же, т. 11, с. 23.

⁴ Там же, т. 2, с. 1030.

⁵ Малышева И. В. Потаенные тетради пушкинской поры в Перми.— В сб. Литература и фольклор Урала.— Пермь, 1979, с. 50.

⁶ РО ПД. Ф. 58, д. 27, л. 85.

⁷ Цит. по: А. С. Пушкин. Материалы юбилейных торжеств. М.—Л., 1951, с. 107.

Вадим Вацуро

Александр Крюков и его стихи

Стихи, с которыми познакомится читатель в конце этого этюда, принадлежат человеку пушкинского круга, весьма примечательному и талантливому. Случилось так, что Александр Крюков на десятилетия выпал из поля зрения историков и литераторов, но вот уже тридцать лет имя его вписано в комментарий к «Капитанской дочке», и время от времени к нему обращаются исследователи пушкинской эпохи. Конечно, известность его скромна. И все же к нему стоит присмотреться внимательнее. Эта биография, и личная, и литературная, не вполне обычна; проза и стихи тоже не вполне обычны. Это почувствовали и Пушкин, и Дельвиг. Впрочем, все это должен почувствовать и современный нам любитель литературы, хотя и искушенный знанием блестящего созвездия русских поэтов двух веков, — и он ощутит это, если мы сумеем убедительно рассказать о Крюкове.

Александр Павлович Крюков родился, как значится в его некрологе, в 1803 году. Он происходил из дворян, но, видно, очень небольшого достатка: в формулярном его списке 1825 года значится, что никакого родового или благоприобретенного имущества он не имеет¹. Более о семье его мы не знаем ничего — и жаль, потому что литературные интересы были свойственны — быть может, привиты? — не одному ему, но и его брату Михаилу, семью годами моложе; как и старший брат, он пошел по горной части и вслед за ним писал и печатал стихи.

В 1817 году Александр Крюков вступил в службу в Илецкую соляную контору по части чертежных дел унтер-шихтмейстером третьего класса. В декабре 1819 года Крюков получает чин унтер-шихтмейстера второго класса, а с первого января 1819 года поступает в штат соляного промысла в Илецком соляном правлении, где и получает в 1820 году первый класс, а в следующем — становится шихтмейстером 14-го класса — низший горный чин по табели о рангах. Нечто подобное произошло и с братом его Михаилом, который числился по горному ведомству с 1820 года, то есть девяти или десяти

лет от роду, — и в формулярном его списке сделано соответствующее разъяснение.

Михаил Крюков учился «в бывшем при Илецком соляном правлении Маркшейдерском училище. Оно не имело «определенных границ своего курса, почему воспитанник считался вступившим в действительную службу, в которую определен по горному ведомству в Илецкое соляное правление маркшейдерским учеником»². Итак, нет сомнения, что Александр Крюков также во время обучения считался на службе, — и лишь в 1819 году она стала реальной. Теперь продвижение его по лестнице низших чинов весьма замедлилось: чин шихтмейстера 13-го класса он получил только 30 декабря 1824 года.

Но еще ранее он получил иную, и вовсе не служебную, известность.

Существуют любопытные неизданные письма, написанные из Илецкой защиты и упоминающие имя Крюкова. Они адресованы Ивану Алексеевичу Второву, одному из примечательных культурных деятелей русской провинции, литератору, печатавшемуся в журналах конца XVIII века, автору обширного и богатого сведениями дневника, знакомцу Пушкина, Крылова, Дельвига. Сын его, Н. И. Второв, был близок с И. С. Никитиным. Иван Алексеевич знал илецких горных чиновников; давнишним приятелем его был управляющий Илецкого соляного правления Григорий Никанорович Струков, пятидесятилетний боевой офицер, дослужившийся в статской службе до действительного статского советника³.

М. Де-Пуле, известный историк, написавший обширную биографическую хронику Второвых по материалам дневника Ивана Алексеевича, рассказывал:

«Будучи человеком образованным, Струков любил и окружать себя людьми не только образованными, но и литературными. (...) При нем находился некий Литвинов (Никанор Алексеевич), натуралист, философ и поэт, большой приятель И. А. Второва, очень бойко владевший пером. Он разводил в Илецкой защите виноград, проектировал учредить там экономическое общество для распространения хлебопашества и садоводства, ботанизировал, заводил ланкастерские школы, делал сельскохозяйственные машины, мечтал разбогатеть и в то же самое время рассуждал о происхождении материи и об отношении ее к духу, осуждал философию Канта и писал сентиментальные письма и стихи»⁴.

Эти-то «сентиментальные письма» Литвинова к Второву мы и имеем в виду.

В письме от 8 мая 1822 года — как раз том, в котором идет речь о Канте, поставившем добродетель выше самой религии и тем открывшем пути к нынешней разрушительной философии германцев, — Литвинов рассказывает и о своих илецких знакомцах, и более всего о Крюкове.

«Г. Крюков делит со мною большую часть времени. Я узнал его коротко и радуюсь, что нашел в нем совсем не то, что мне наговорили. Он добр, очень умен, ищет истину, судит даже

об отвлеченных материях здраво, а о литературе прекрасно. Сатирический дух не есть в нем господствующий; он полюбил его чрез похвалы других; но ныне даже сам его не одобряет ни в ком. Он полюбил математику, проходит со мною алгебру, ужасно быстро, думаю через полтора месяца кончить. Его цель: пройти со мною всю чистую математику и помощью ее основательно узнать механику и архитектуру, к которым (он) страстен. Это не мешает нам, как приятным отдыхом, заниматься литературою. Я уговорил его, чтоб он из угождения почтенному нашему генералу и дружбе ко мне посылал со мною сочинения свои в журнал, дабы познать наших соотечественников с словом «Илецкая защита». Но как мы сами себе не доверяем, а совсем худыми быть не хотим, то и посылаем к вам стихи наши. Если они стоят и когда вам не будет в труд, отошлите их в порядочный журнал»⁵.

Второв выполнил просьбу: во всяком случае, с июля в петербургском журнале «Благонамеренный», издававшийся А. Е. Измайловым, стали появляться стихи, подписанные именем Крюкова. Одно стихотворение было посланием «К Н. А. Л.» — к Никанору Алексеевичу Литвинову⁶. Оно написано на разлуку с другом и помечено 22 июня 1822 года, — как мы увидим, Литвинов в ближайшие годы не уехал нигуда, — и вероятно, грозящее расставание было временным. Однако в стихах звучит горесть; молодой поэт жаловался на «грозу и ненастье» и кары судьбы неизвестно за что; в адресате же видел целителя душевных мук, которого готов отнять у него враждебный рок. Все это было очень литературно, однако за эгегическими стереотипами, как мы вскоре убедимся, скрывались и совершенно реальные зловключения. Под стихами стояла полная подпись с пометой «Илецкая защита», — итак, поэт принял во внимание просветительные планы Литвинова. Помета становится как бы частью псевдонима-анagramмы: «К. (Илецкая защита)».

Крюков печатал романсы, мелкие стихотворения эгегического характера, подражания известным поэтам, особенно Жуковскому.

Эти опыты девятнадцатилетнего юноши, скромно названные «подражанием», были вовсе незаурядны, в особенности для тех лет, когда звезда Пушкина только поднималась. Измайлов понимал это и сделал к стихам примечание: «Издатель «Благонамеренного» просит доставлять к нему и впредь такие хорошие стихи. Для них найдет он всегда место в своем журнале»⁷.

Но Крюков писал и другие стихи, на которые Литвинов сделал в письме темный намек. «Сатирический дух не есть в нем господствующий...», «нашел в нем совсем не то, что мне говорили...». Итак, молодому поэту и маленькому чиновнику уже сопутствовала неблагоприятная репутация, которая могла ему сильно повредить в среде провинциальных помещиков и чиновников, где существовали свои законы, помимо законов Российской империи. Даже просвещенный Литвинов мягко, но настойчиво стремился отвратить его от «сатирического ду-

ха», обратив к началам истины и добродетели, — как он их сам понимал. «Сколько раз (...) я с восторгом говорил достойному моему приятелю г. Крюкову, что истинно просвещенный человек есть всегда пламенный панегирист всего доброго, и добро его тем прочнее и непоколебимее, чем более стремится быть основано на опорах чистого разума»⁸.

Когда Литвинов писал эти строки, он не знал еще, что понадобится всего несколько месяцев, чтобы разрушить его прекраснотушные мечтания и укрепить в Крюкове сатирический дух.

13 ноября он уже пишет Второву о переживаемой им «моральной буре». Связи его со Струковым, занятия в ланкастерских и маркшейдерской школах, его сельскохозяйственные проекты, поощряемые Струковым, не встретили сочувствия, — а через полгода недоверие перешло в открытую враждебность. В его письме от 18 июня 1823 года звучит почти отчаяние.

«Боже! мне не дадут догореть спокойно, отнимают последнее утешение быть полезным человечеству слабыми моими силами; всепорушающий дух губительного Пестерева усиливается в своих правах, и кто знает, может быть, я должен буду потогнуть для Защиты! Жаль, вместе со мною сей истребитель гонит и соловья поэта; ему, как ослу, нужны одни петухи, и поэт с нежными песнями своими должен будет отлететь и с горестью оставить страну родную, гнездо родное». Он жалуется, что законы философии столкнулись с низким корыстолюбием и завистью и что «губительный Пестерев» вредит ему из-за благосклонности к нему «генерала», то есть Струкова; он уже обвинил его в злоупотреблениях, разрушил школу, дав право учителям не ходить в классы, разорил его сад и пчельник. «Нет, почтеннейший, чувствительнейший Иван Алексеевич! Чтоб знать всю гнусность, с которою здесь подавляется все изящное, надо выслушать всю историю Тартюфа. Вот она. «Все, что мыслит по законам философии, что пленяется прекрасным души и природы, что отлично и уважено генералом, и из чего я не могу извлечь личной себе пользы, есть истинный враг мой, коего истребить должен я всеми моими усилиями». Вот оправданное самым опытом правило корифея невежества Пестерева».

Гаврило Иванович Пестерев, сорока восьми лет, обер-гиттенфервальдтер 8-го класса — всего-навсего майор или коллежский ассессор, — бергмейстер (смотритель) при выработке илецкой соли⁹. Второй после Струкова человек на илецких заводах. О нем упоминал и Свинин, не упустив заметить, что при отлучках Струкова в Самару, где находилось Главное правление Илецкого промысла, бергмейстер «исполняет его предназначения и бывает полным хозяином»¹⁰. Полному хозяину не нужны были ни преобразования, ни философия и поэзия.

«По приезде генерала хочу просить ехать лечиться в Оренбург, и если вредный яд Пестерева не будет прекращен, то для спасения остального здоровья пойду в отставку или буду стараться переселиться в Самару, где отменно

хочется быть и г. Крюкову. Гений просвещения опускает у нас светильник свой, поэзия оплакивает его порушение, и скоро на руинах здешнего просвещения вы опять ничего не услышите, кроме крика филинов, ничего не увидите, кроме полыни и терния!..»¹¹

Из Илецкой защиты Крюков, однако, не уехал — ни в этом году, ни в следующем. В 1824 году журналист и романист Павел Петрович Свиньин, весьма увлеченный разыскиванием забытых в глуши талантов, побывал в Илецкой защите и обратил внимание на молодого чиновника, обучающегося маркшейдерскому искусству и в часы досуга беседующего с парнасскими девами; «прекрасный талант его в стихотворстве, — замечал путешественник, — известен из многих образчиков, помещенных в «Вестнике Европы»¹². Картина торжества просвещения в провинции, как всегда у Свиньина, была идиллической.

В «Вестнике Европы» Крюков, впрочем, действительно печатался.

Между тем конфликт его с провинциальными чиновниками, раз начавшись, не мог погаснуть: он имел слишком глубокие корни.

Через три года, уже в Петербурге, он будет вспоминать «толпу глупцов» родимого края, где заняты важными разговорами о посовой охоте, толками о снах, о курятнике, о соседках; в иронических стихах он расскажет, как патриархальные «невежды» с самодовольным одобрением слушали его стихи, ругая поэта за глаза, и как сам поэт, нечувствительно для себя самого, становился похожим на своих слушателей. И вдруг...

Вдруг — бог мой! одного из них
Не знаю как, задел мой стих!..
Мгновенно поднялась тревога —
И оглушен был бранью я!

Скорей, скорей — давай бог ноги
Бежать от добрых земляков!¹³

Сейчас мы знаем, что это не вымысел, а автобиография.

Мы можем говорить об этом с уверенностью потому, что в формулярном списке Крюкова за 1825 год (когда года еще не прошло после последней его аттестации) в графе «способен ли и достоин к продолжению службы» сделана неожиданная запись. Вместо обычного «способен и достоин», автоматически поставленного в сотнях и тысячах формуляров совершенно неспособных и недостойных чиновников, — здесь значит:

«По оказавшейся лени и нерадивости к службе не отстуетца (так!) впредь до исправления».

Запись была сделана рукой Струкова.

Литвинов ждал спасения себе и Крюкову от «твердости генерала». Но генерал принял сторону Пестерева. Это было, пожалуй, более удивительно, чем его чудовищная орфография, явление нередкое даже среди тогдашних любителей литературы.

По-видимому, Крюков слишком раздражал «добрых земляков» — и они отомстили ему самым простым и легким способом. Слова «леность» и «нерадивость» относились к человеку, изучавшему маркшейдерское дело, математику, механику и архитектуру по собственной воле и вознамерившемуся за несколько месяцев пройти чуть не полный их курс. Нет, их нельзя было понимать буквально. В переводе с чиновничьего языка они означали «своеволие и непослушание».

Изгнание Крюкова было предрешиено. Но он еще несколько месяцев остается в Илецкой защите, и здесь с ним происходит эпизод, едва не стоивший ему жизни, о чем он рассказал потом в очерке «Киргизский набег». Его маленький «караван», прокладывавший дорогу в степи, подвергся нападению «ордынцев», и его спасло только незаурядное мужество и самообладание¹⁵.

Это происшествие скорее всего относится к концу мая 1826 года. В формулярном списке Крюкова за 1825 год «порушение» Крюкова не показано, в мае же месяце 1827 года его уже не было в Илецкой защите, как не было и его брата, Михаила, унтер-шхтмейстера 1-го класса, юноши, если верить формуляру, пятнадцати или шестнадцати лет, в октябре 1826 года уволившегося вообще из горного ведомства и поступившего на службу в Оренбургскую таможню¹⁶. Таким образом, служба неспособного и ленивого чиновника оканчивалась чем-то вроде подвига, хотя и рассказанного в подчеркнуто будничных тонах.

Крюков уезжает в Оренбург.

В очерке «Оренбургский меновой двор» он вспоминал, что был свидетелем прихода каравана из Бухары и Хивы 15 июня 1826 года. Итак, в конце мая — начале июня совершилось его двойное избавление.

С кем общался Крюков в Оренбурге, нам решительно неизвестно. Город, отстоявший от Илецкой защиты всего на семьдесят верст, он знал хорошо, видимо, бывая в нем неоднократно; во всяком случае, когда Свиньин в июле 1824 года поехал из Илецкой защиты в Оренбург, Крюков снабжал его сведениями, которыми Свиньин воспользовался потом для очерка «Картина Оренбурга и его окрестностей». Вторым источником своей осведомленности издатель «Отечественных записок» назвал Петра Михайловича Кудряшова¹⁷.

Здесь начинается область догадок, ибо о знакомстве Крюкова и Кудряшова, которое, будто оно состоялось, могло бы иметь для нашего героя весьма серьезные последствия, нет никаких свидетельств.

Кудряшов был аудитором в Верхнеуральском гарнизонном батальоне и поэтом, печатавшим стихи в тех же самых изданиях, что и Крюков, — в «Благонамеренном» и «Вестнике Европы». Он писал о быте и истории «киргизцев» и знал хорошо казахский и башкирский языки; он собирал фольклор, обрабатывал башкирские песни и предания и интересовался рассказами

о Пугачеве. То же самое, как мы знаем, делал и Крюков.

В 1822 году Кудряшов был переведен в штат Оренбургского ордонанс-гауза — и дом его стал своего рода центром притяжения для оренбургских любителей словесности¹⁸.

Кудряшов сам разыскал письмом столичного литератора, заинтересовавшегося Уралом. Приехав, Свиньин поспешно к нему. Он нашел его в госпитале, изнеможенного болезнью. Он увидел «стройного молодого мужчину, высокого роста, с томными темно-голубыми глазами и выразительным взглядом, полным кротости, добродушия и откровенности. Величавое чело, омраченное какой-то меланхолией, показывало болезненное состояние души его — и точно: злоба и зависть ввергли его в то плачевное состояние, в котором я нашел его! Действие их ужасного яда — скоро довело его до могилы...»¹⁹.

«Ужасный яд» — «гнев» оренбургского генерал-губернатора П. К. Эссена, возбудившего против Кудряшова судебное дело по обвинению в «уклонении от должности» и ходатайствовавшего об его разжаловании²⁰.

Судьба двух поэтов, столь близких друг другу по социальному положению, местопребыванию, интересам, даже биографии, оказывалась сходной, вплоть до деталей.

В этих условиях знакомство должно было произойти с почти фатальной неизбежностью.

Но у Кудряшова было еще более оснований для душевной депрессии, нежели у Крюкова.

Молодой аудитор Оренбургского ордонанс-гауза был руководителем Оренбургского тайного общества, «составленного с целью политической» «для произведения политического переворота в краю сем» и «изменения монархического правления в России и применения лучшего рода правления к выгодам и свойствам народа для составления истинного его благополучия...».

В 1826 году общество было на грани раскрытия. Уже собирает сведения провокатор Ипполит Завалишин, рядовой Оренбургского артиллерийского гарнизона, сосланный за ложный донос на брата; подпись его стоит под программой общества.

В воздухе стоит страх и тревожное ожидание.

15 апреля 1827 года донос Завалишина вместе с копией устава и подлинниками клятв ложится на стол генерал-губернатора Эссена. Эсен арестует 80 человек, и в их числе Кудряшов, — впрочем, его вскоре освобождают за отсутствием прямых улик.

Кудряшову все уже почти безразлично: он болен смертельно. 9 мая 1827 года он умирает от апоплексического удара²¹.

Вскоре после трагического окончания этих событий Крюков исчезает из Оренбурга.

Конечно, он не был никак причастен к событиям, которые хотели произвести на Сенатской площади гвардейские полки в декабре восемнадцатого года, и скорее всего никак не был замешан в деле об оренбургском обществе. Но

репутация вольнодумца, которую так легко было получить в провинции, в эти месяцы могла стоить — и уже стоила — ему дорого.

Под его стихотворением «Воспоминание о родине» стоит помета: «1 июля 1827. С.-Петербург».

След за ним уезжает и брат Михаил, «по желанию» вызванный «начальством» на службу в Кавказскую область.

Для Крюкова начиналась новая жизнь.

Петербург предстал ему в великолепии дворцов и в сиянии огней на вечернем небе. Он написал стихи, где жаловался на преследующую его злобу «безумцев», и просил приюта у хранительных стен Петрополя.

Как капля в бездне вод кипящих,
Как в море легкая струя,
В сени твердынь твоих гремящих,
В твоих толпах — исчезну я!

(«Приезд», 1827)

В Петербурге Крюков поступает в департамент внешней торговли на должность столоначальника. Он все же оказался «способен и достоин» — это как нельзя лучше показал опыт оренбургской службы. В столице его карьера чиновника оказывалась благополучной.

Его первые петербургские стихи появляются в «Сыне отечества» в 1827 году. Это было совершенно понятно. Н. И. Греч печатал его первые стихи — и конечно же, молодой провинциал отправился к нему, чтобы закрепить личной встречей заочное знакомство.

Сохранилась и записка его к Свиньину, к сожалению, без даты²².

Эта записка — единственный дошедший до нас автограф Крюкова и — если она написана в Петербурге — единственный прямой знак его петербургских литературных связей, — за одним, впрочем, исключением, о котором пойдет речь ниже. Предчувствие поэта, что он исчезнет, поглощенный столицей, сбывалось самым парадоксальным образом. Петербург, как мы видим, принес ему некоторую известность и обеспечил ему скромное, но неотъемлемое место в истории русской словесности, — но он стер почти все следы его биографии. Имя его не упоминается в переписке петербургских литераторов 1820—1830-х годов, и собственных его писем к ним нет, если не считать упомянутую нами записку. Тем временем стихи его и проза появляются в петербургских журналах и альманахах, — и по ним мы можем приблизительно прочертить его литературные связи.

В 1828 году он печатается в «Памятнике отечественных муз» у Бориса Федорова. Это был первый альманах, куда он отдал свои стихи еще в 1827 году; там, в частности, напечатан его «Приезд».

К началу 1828 года у него уже готова книжка стихов. Он отдает в цензуру рукопись «Опыты в стихах Александра Крюкова» и 24 января

получает одобрение. Книгу, однако, он не печатает — может быть, за недостатком средств и за отсутствием издателя²³.

Он отдает стихи в войсковой «Славянин» и в «Карманную книжку для любителей русской старины и словесности на 1829 год».

Все эти издания считались отнюдь не первоклассными; печатались в них чаще всего безвестные молодые литераторы, да разве еще Ф. Н. Глинка, щедро откликавшийся на любые просьбы альманашиков. Но именно в этой среде у Крюкова завязались знакомства.

Он познакомился с издателем «Карманной книжки» Валерианом Николаевичем Олиным²⁴.

В «Карманной книжке» Олина появилось и послание Крюкова, обращенное к А. А. Башилову, молодому поэту, страстному почитателю Пушкина. Башилов тоже напечатал свое послание Крюкову. Они должны были найти общий язык: в самих стихах их обнаруживается некоторая общность поэтических устремлений²⁵.

Башилова упрекали в печати, что он подражает Пушкину. Кюхельбекер так и назвал а л Крюкова, чьи стихи читал в заточении и на поселении: «небесталанный» «подражатель Пушкину»²⁶.

Словно отвечая своим критикам или предвосхищая упреки, Крюков пишет свою поэтическую декларацию «Подражатель», парадоксально оправдываясь тем, что он следует за великими образцами, стало быть, умеет их ценить. Это было смело: обвинения в подражательстве боялись.

Вслед за тем он входит в пушкинский круг.

Каким образом это произошло — неясно. Может быть, его ввел сюда Орест Сомов, в свое время близкий сотрудник «Сына отечества».

В «Северных цветах на 1829 год» была напечатана его «Нечаянная встреча»; в «Литературной газете» — «Охлаждение» и «Два жеребья». Кроме того, и в «Цветах», и в газете появилась его проза: очерк «Киргизский набег» и отрывок «Киргизцы» из оконченной несколькими годами ранее повести «Якуб-батыр»: об уральском казаке Якове Белякове, в детстве попавшем в плен к ордынцам и воспитывавшемся среди них, — фигуре почти легендарной.

Повести нравились; критики писали о выработанном, даже до излишества, «слоге» и о чрезвычайной занимательности экзотических тем. Но для Крюкова экзотика была бытом: он попадал в родную стихию.

Его мучила ностальгия.

В его стихах причудливо сочтались воспоминания о дикости степных помещиков и злобе илецких чиновников с неудержимой тягой к родному пепелищу, к патриархальной простоте бесхитростных человеческих чувств, не скованных столичным этикетом, к бескрайним степям Башкирии и Казахстана, где кочуют батыры на приземистых конях, не запряженных в грохочущие кареты. Его руссоизм окрашивался личным чувством, и темы традиционной элегии преобразались.

И стало жаль мне бед минувших,

И заблуждений юных дней,

И упований обманувших,
И неба родины моей.
Проснулось давнее желанье
В знакомый край направить путь,
Узреть небес родных сиянье,
Родимым воздухом дохнуть!

(«Письмо», 1830)

И столь же сложным оказывалось его отношение к городской цивилизации. Столица оставалась центром и источником просвещения — и традиционным источником урбанистических зол. Это было характерное для романтиков и сентименталистов неприятие города — не конкретного, реального, но города вообще, гнездилища и нищеты и роскоши, чьи контрасты обнажаются яснее всего, когда умолкает дневная суета.

Особенность этих стихов — сочетание элегии и сатиры, «прозы» и «поэзии», лиризма и иронии. Ирония пронизывает все, даже самовосприятие поэта. Она окрашивает и образ одинокого мечтателя, блуждающего по ночному городу; она прокрадывается и в элегические автопризнания, колебля, казалось бы, незыблемые поэтические ценности. Она хотя бы отчасти удерживала поэзию от повторения общих мест и устоявшихся формул.

Именно такие стихи Крюкова выбирали Пушкин и Дельвиг для «Северных цветов» и «Литературной газеты». Что же касается его прозы, то она была представлена, как мы уже видели, очерком и отрывком из повести, рисующими «нравы, обычаи, суеверия и обряды достопримечательного народа», который, как писал Крюков, «живучи с нами в тесной связи, менее, может быть, нам известен, нежели дикие обитатели Африки и Нового Света»²⁷.

Еще в 1824 году он вкладывал в уста Каратая совершенно байронические излияния; сейчас его ностальгия находила выход в идеализации собственного прошлого, и идеализация эта имела двойную природу — и биографическую, индивидуальную, и общую, мировоззренческую, если угодно, эстетическую. «Кому, подобно мне, — писал он в «Киргизском набеге», — случалось странствовать по степям, тот, конечно, не спросит: отчего все номады так сильно привязаны к своей дикой, кочующей жизни. Поверите ли, что сия незавидная и, по-видимому, даже бедственная жизнь имеет свои радости, свои наслаждения, вовсе не известные слабым, изнеженным обитателям городов и столиц?»²⁸

Сохранился один любопытный биографический и эстетический документ, показывающий, что в этом пассаже слиты воедино, как говорил Гёте, — «правда» и «поэзия». Документ этот — письмо к Крюкову, дошедшее до нас не полностью и без имени корреспондента: оно было переписано как общеинтересное моралистическое рассуждение. Оно относится к 1830 году и озаглавлено в копии «Письмо здорового к больному». Неизвестный автор размышлял об образе жизни и хандре, которая поражает равно и петербургского чиновника, и светского человека, и сельского жителя. «...На земле или

совсем нет счастья, или оно не таково, как желает сердце». Он продолжал в письме некогда начатый разговор; очевидно, Крюков признавался ему, что он испытывает нечто подобное. «...Скука, которую чувствуем вы, я и много других, по моему мнению, происходит от того самого счастья, которое так превозносят мудрые. Не утомительно ли видеть около себя одни и те же предметы, слышать одни и те же звуки?»

«Спокойствие и однообразие усыпляют деятельность (...) души; отсюда рождается и скука: итак, чтобы не скучать, нужно, чтоб душа по временам была приводима в сильное потрясение»²⁹.

Не поиски ли этих «потрясений» опять гнали Крюкова — на этот раз уже из Петербурга? Под одним из его стихотворений стоит помета: «1831. Астрахань».

В 1832 году он пишет превосходную вариацию на байроновские темы — «Отъезд». В нем тоже была и «поэзия» и «правда», потому что подлинное мироощущение было заключено в привычные уже литературные формы. Это были уже последние стихи.

В конце февраля 1833 года в «Северной пчеле» появилась маленькая заметка:

«Здесь, в С.-Петербурге, 7 февраля, скончался, после непродолжительной болезни, превратившейся в белую горячку, служивший столоначальником в Департаменте внешней торговли титулярный советник Александр Павлович Крюков, на 31-м году от рождения. Многие из литературных произведений его обличали талант, можно сказать, необыкновенный. Любители отечественной словесности помнят его статью, напечатанную под названием «Киргизского набега» в «Северных цветах на 1830 год», некоторых повременных изданиях; сверх того, как чиновник, он соединял в себе все нужные для сего качества и мог бы при своих способностях принести ощутительную пользу службе, — но ранняя смерть положила конец всему. (Собственно от одного из сослуживцев покойного.)»³⁰

Грустная ирония судьбы! По смерти чиновник Крюков был объявлен «способным и достойным» к продолжению службы. Но теперь действительно все было кончено — и стихи и проза, не собранные и не изданные отдельно, были также погребены в обширной журнальной могиле, как сам их автор, успокоившийся в петербургской земле.

Но историческая и культурная память общества чревата своими неожиданностями, за которыми, впрочем, почти всегда стоят некие общие законы. И скромная фигура безвременно умершего поэта обрисовывается сейчас перед нами и случайно, и закономерно.

В черновых рукописях «Капитанской дочки» Пушкина есть набросок неоконченного предисловия, где сказано: «Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю. (...) [Несколько лет тому назад в одном из наших альманахов напечатан был]»³¹. Далее Пушкин писать не стал и последнюю фразу зачеркнул. Тем не менее именно она

побудила исследователей обратить внимание на возможный сюжетный источник «Капитанской дочки». Им оказался «Рассказ моей бабушки», напечатанный в «Невском альманахе на 1832 год» и подписанный «А. К.»³².

«Рассказ моей бабушки» впервые связал с «Капитанской дочкой» Н. О. Лернер в 1933 году. Уже по его следам шел В. Г. Гуляев, напечатавший статью с детальным сопоставлением текстов, — и он же впервые попытался назвать имя автора. Им был, как он полагал, А. О. Корнилович, ссыльный декабрист, историк и автор исторических повестей.

Имя подлинного автора было названо почти через двадцать лет и почти одновременно двумя исследователями: Н. И. Фокиным и швейцарским славистом д-ром П. Брангом. «Рассказ моей бабушки» принадлежал А. П. Крюкову. Сопоставление его с фактами биографии писателя и текстуальные параллели с его прозой сделали эту атрибуцию несомненной³³.

А еще через двадцать лет обнаружилась и другая, не замеченная ранее, точка соприкосновения прозы Крюкова с «Капитанской дочкой». Она находится в хрестоматийно известной сцене бурана, и как раз в том месте, которое издавна привлекало к себе внимание. В мутном кружении метели Петруша Гринев видит вдали что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я. — Смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Эта деталь — автореминисценция: она попала сюда из «Бесов»:

...Кони стали... «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»

В первоначальных вариантах стихотворения — еще ближе:

Что там черно? пень иль волк?

Здесь нам приходится вспомнить «Киргизский набег»: «...Заметив однажды вдали неподвижную точку, я спросил одного из моих козак, не может ли он рассмотреть, что там чернеется? «Куст или беркут», — отвечал он сухо. «То-то; смотри, не киргизец ли?» — «Ну так что ж, хоть и киргизец». — «Как бы они не напали на нас врасплох?» — «Пускай попробуют!» — сказал прехладнокровно козак. Тем и разговор кончился»³⁴.

Близость здесь не в текстуальном совпадении, а в самом построении диалога, не говоря уже о пространственной организации сцены. За двумя интонациями — тревожно-заинтересованной и равнодушной — вырастают два характера, и Пушкина больше интересует второй. Ямщик, казак не проявляют заинтересованности, потому что куст, беркут, пень, волк в степи привычны. И «киргизец» также привычен и потому не страшен, как страшен он городскому человеку, наслушавшемуся рассказов о его ко-

варстве и жестокости. Это было маленькое психологическое открытие, и Пушкин воспользовался им в третьей главе «Капитанской дочки»:

«Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». (...) «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять уgomою». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она (...)»³⁵.

В этой сцене была еле заметная капля меда и Александра Крюкова. Проза его входила в литературный шедевр на правах художественно-документального источника, подсказывая сюжетные ситуации, обогащая частными наблюдениями, деталями незнакомого быта и даже характерологическими черточками. Она преображалась рукой великого мастера, но питала его создание, как питают ручейки величественную полноводную реку. И как бы в благодарность за это ее собственная литературная жизнь продолжилась на сто пятьдесят лет.

«Рассказ моей бабушки» переиздан в приложениях к «Капитанской дочке». О нем написаны исследования — и даже небольшая книга д-ра Петера Бранга. В антологиях поэтов пушкинской поры печатаются стихи Крюкова.

И то, что мы предлагаем сейчас читателю, есть тоже результат самовоскрешения культурных ценностей.

Среди бумаг архива Майковых, хранящихся в Пушкинском доме, есть три тетради, переписанные каллиграфически и украшенные рисунками. Это — рукописный альманах «Подснежник», который издавало семейство Майковых в 1835—1838 годах. Здесь помещались проза и стихи Евгении Петровны Майковой, матери поэта Аполлона Николаевича и критика Валерия Майкова; обоих ее сыновей и близких к кружку поэтов — И. Бороздины, И. Карелина, П. Ершова (автора «Конька-горбунка») и самого значительного из всех — В. Г. Бенедиктова.

И там же помещал свои стихи «Солик» — Владимир Аполлонович Солоницын, близкий друг семьи, руководивший воспитанием молодых Майковых. Он и был инициатором альманаха. Этот Солоницын был племянником Владимира Андреевича Солоницына (1804—1844), любителя искусств и изящной словесности, в начале 1840-х годов помогавшего О. И. Сенковскому издавать «Библиотеку для чтения»³⁶.

Несколько лет назад профессор И. Г. Ямпольский, занимаясь архивом Майковых и пересматривая «Подснежник», обратил внимание на стихи, подписанные «Крюков» и снабженные заметкой, которую мы приведем целиком:

«Александр Павлович Крюков, молодой человек с весьма сильным талантом, рано похи-

щенный смертью у русской литературы, в которой он мог бы занимать очень видное место. Его сочинения, в стихах и в прозе, рассеяны по разным журналам и альманахам; многие остались ненапечатанными. Редактор «Подснежника», быв с ним очень дружен, наследовал все его бумаги. Жизнь Крюкова может служить редким примером того, до чего страсти могут довести человека пылкого и чувствительного. Мы постараемся сообщить когда-нибудь нашим читателям его биографию и тогда же поместим несколько выписок из его любопытного дневника»³⁷.

Итак, Крюков нашел в Петербурге свой дружеский и даже литературный круг, — и круг этот состоял из литераторов, служивших вместе с ним. Владимир Солоницын, почти его ровесник, был чиновником департамента внешней торговли. Вероятно, он и был тем «сослуживцем», который поместил в «Северной пчеле» полную горя некрологическую заметку. И он же, конечно, познакомил Крюкова со своим племянником, которого воспитывал, — и юноша наследовал бумаги поэта и стал «публиковать» их в рукописных альманахах.

Дядюшка же Солоницын попытался дать стихам покойного более широкую аудиторию. В 1841—1842 годах в «Библиотеке для чтения» печатается несколько стихотворений с подписью «Крюков». Эти стихи были в числе тех, которые мы находим и в «Подснежнике», — и только поэтому мы можем отождествить никому не известного «Крюкова» из журнала Сенковского и Солоницына с автором «Рассказа моей бабушки».

И наконец, мы можем задать вопрос: не сохранились ли неизданные бумаги Крюкова? Ведь они в отличие от многих и многих были замечены и бережены литераторами, знавшими им цену. В «Любопытном дневнике», который читали и Солоницыны, и, конечно, Майковы, могли содержаться ответы на многие вопросы, сейчас для нас неразрешимые; в нем заполнялись белые пятна скудной биографии талантливого писателя, приоткрывалась его духовная жизнь и, быть может, рассыпаны драгоценные сведения о Дельвиге и о Пушкине.

Но у нас нет ни дневника, ни прочих бумаг, которые не успели обнародовать Солоницыны. Нет никаких их следов в хорошо сохранившемся обширном архиве Майковых. От Солоницыных же остались только письма — архив их до нас не дошел.

Пока что у нас нет ничего, кроме копий стихов, предлагаемых ныне читателю, — но и они, повторим, представляют большую ценность, — и не только историческую. Среди этих элегий, романсов, посланий, стоящих в целом на уровне средней поэтической культуры пушкинского времени (а уровень этот был довольно высок), — есть несколько первоклассных, в чем может убедиться современный читатель.

А. П. Крюков

СТИХИ ³⁸

ОТЪЕЗД

Далеко, на скалах, в степи,
Приют сыщу себе;
А ты, о родина, прости!
Ночь добрая тебе!

Б а й р о н; перев. Козлова

Пошел, пошел, ямщик лихой!
Ударь по всем по трем!
Прощай, прощай, мой край родной!
Прощай, мой отчий дом!
Не много благ, не много бед
В тебе покинул я!
Покинул вас, неверных лет
Неверные друзья!
Еще вчера моих проказ
Исполнен был ваш круг,
А завтра — уж никто из вас
Не скажет: «где-то друг?»

Тебя покинул я, тобой
Мечтал я быть любим,
Но думы дэвы молодой
Легки — как легкий дым!
Пройдут печально день и ночь;
Поплакав в тишине,
Ты оторвешь от сердца прочь
И память обо мне.
И скоро явится другой
Со лстивым языком...
Пошел, пошел, ямщик лихой!
Ударь по всем по трем!

Но горько мне, но больно — жаль
Неверных мне терять,
И долго тайная печаль
Мне сердце будет жать.
В высокой доле и в честях
Все думая об них,
В толпе людей, в чужих краях,
Не выберу других.
Чуждаясь всех, для всех чужой,
Засну могильным сном...
Пошел, пошел, ямщик лихой!
Ударь по всем по трем!

1832

* * *

Каратаю,
киргизскому наезднику,
похитителю русской дэвы

Прелесть дэв твоих, Россия,
До чего унижена!..
Злобным племенем Батыя
В тяжкий плен увлечена,—
И киргизец, сын хищенья,
Буйной страстью к ней горит...
Нет защиты! нет спасенья!
Ей грозят и смерть и стыд.
Не видать ей Русь святую,
Ей не ластиться к родной,
Не покоить ей родную
На груди своей младой;
С милым родины героем
Не менять уж ей кольца,
Не стоять перед налоем
В блеске брачного венца!

1831

СВЕТСКАЯ КРАСАВИЦА

Всмотрелся ль ты в игру очей
Сего коварного творенья?
В ней вовсе нет огня страстей —
Огня любви и наслажденья?
В ней только блещет гордый ум,
Самим собой всегда надменный,
Всегда несчастный и блаженный
Одним волненьем тщетных дум.
В сердца глубоко проникая,
Любви он хочет, не любя,
И ставит выше всех себя,
Молвы гремушку обожая.

ЖАЖДА ЛЮБВИ

Я некогда страдал, обиженный людьми,
И глупым случаем, и ненавистным роком;
Я некогда зывал к судьбе моей: «Вонми
Моленую юности в страдании жестоком
Влачащего златые жизни дни!
Спаси его, судьба, от лютого презренья,
От подлой нищеты, родительницы бед,
Или даруй ему терпенье, и умение
Возненавидеть жалкий свет!»
Но гордая судьба молитве не внимала,
И сердце юноши страданью предавала.
Теперь и знатен я, и силен, и богат,
А сердце прежнее мученье переносит!
Оно любви, любви безмерной просит,
И нет ему ни счастья, ни отрад.

МОЙ ДЕНЬ

Желаешь ли узнать, мой друг,
Как твой философ равнодушный
Теперь живет в деревне скушной?
Покамест мне большой досуг,
Я опишу тебе подробно
Мое жите, или мой день.

Живу я, право, бесподобно!
Со мною ласковая лень
Союз на лето заключила:
Ее, как друга, я люблю.
Досадный труд душа забыла:
Полсутки я спокойно сплю
И целый день потом — зеваю!
Но часом, лежа на боку,
Вову и Муромца читаю;
Когда ж пройдет палящий зной
И солнце сядит за горами,—
Иду бродить в глуши лесной,
С душой исполненной мечтами.
И часто там, в сени дерев,
Невольно брежу я стихами;
Там иногда — ужасный рев
Внезапной бури иль сиянье
Зарницы в темных небесах —
Во мне рождает краткий страх,
Или томит меня желанье
Каких-то темных, милых благ.
Но лень с улыбкой водворяет
В душе усталой тишину,
Мечта мгновенно отлетает —
И друг твой предается сну.

Вот весь мой день! и ты, конечно,
Меня не будешь осуждать:
Блажен, кто в жизни скоротечной
Умел лениться и мечтать!

1825

ПЕСЕНКА

Ночи ясное светило
Дол туманный озарило —
Я брожу один с тоской,
Без тебя, мой ангел милый,
Счастье сердцу изменило,
Вянет друг печальный твой.

Игры, радости — толпою
Все умчались за тобою
В неизвестный смертный край.
Я сказал «прости» покою...
Ах, зачем же ты с собою
Унесла мой светлый рай?

Над эфирными полями,
Где небесными огнями
Чистый воздух озарен;
Где нетленными цветами,
Как узорными шелками,
Мир душистый испещрен;

Где, в веселости беспечной,
Блага жизни скоротечной
Разлюбила ты душой;
Где все прочно, где все вечно —
Там надеюсь, друг сердечный,
Неразлучным быть с тобой.

1823

Публикация И. Ямпольского

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ ЦГИА. Ф. 1349, оп. 3 № 1179, лл. 156—167.

² Там же.

³ ЦГИА. Ф. 1349, оп. 4 (1825 г.), № 80, л. 7.

⁴ М. Де-Пуле. Отец и сын. — Русский вестник, 1875. № 7, с. 106—107.

⁵ ЦГАЛИ. Ф. 93, оп. 2, № 3, л. 102 об.

⁶ Благонамеренный. 1822, № 35, с. 337.

⁷ Крюков. (Илецкая защита. 11 марта 1822.) Пловец. (Подражание Жуковскому.) — Благонамеренный, 1823, № 8, с. 110. Перепечатано: Пловец. — Сын отечества, 1823. № 12, с. 229 (подп. К. (Илецкая защита)).

⁸ ЦГАЛИ. Ф. 93, оп. 2, № 3, л. 1 (письмо Второву от 8 мая 1822 г.).

⁹ ЦГИА. Ф. 1349, оп. 4 (1825 г.), № 80, лл. 13 об.— 15 об.

¹⁰ Отечественные записки. 1825, № 64, август, с. 157.

¹¹ ЦГАЛИ. Ф. 93, оп. 2, № 3, л. 109 об.— 110.

¹² Свиньин П. П. Посещение Илецкой защиты в 1824 году. — Отечественные записки, 1825, № 64 (август), с. 152.

¹³ Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 1, с. 542. Далее цитаты, кроме специально оговоренных случаев, — по этому изданию.

¹⁴ Северные цветы на 1830 год. Проза, с. 116.

¹⁵ Там же, с. 123—124.

¹⁶ ЦГИА. Ф. 1349, оп. 3, № 1179, л. 156—167.

¹⁷ Отечественные записки. 1828, № 99, с. 4.

¹⁸ (Свиньин П. П.) Петр Михайлович Кудряшов, певец картинной Башкирии, быстрого Урала и беспредельных степей Киргиз-Кайсацких. — Отечественные записки, 1828, № 100.

¹⁹ Там же, с. 164—165.

²⁰ Рабинович М. Д. Новые данные по истории Оренбургского тайного общества. — Вестник АН СССР, 1958, № 7, с. 107.

²¹ Рабинович М. Д. Новые данные для истории Оренбургского тайного общества, с. 109; ср. Большаков Л. Отыскал я книгу славу... Разыскания и исследования. Изд. 2-е, доп. Челябинск, 1983, с. 226—227. О Кудряшове см. также: Рахимкулов М. Г. Встречи с Башкирией. От Пушкина до Чехова. Башк. кн. изд-во. Уфа, 1982, с. 169—180.

²² ГПБ. Ф. 679 (П. П. Свиньиной), № 74.

²³ Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978, с. 160.

²⁴ См. его прошение о разрешении издавать журнал «Северный вестник» (1828). — ЦГИА. Ф. 777, оп. 1, № 858. Биографию Олина см.: Степанов В. П. В. Н. Олин. — В кн.: Поэты 1820—1830-х гг. Т. 1, с. 116—118; Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 12-ти томах. Под ред. и с прим. С. А. Венгерова. СПб., 1901. Т. IV, с. 513—519.

²⁵ Северная пчела, 1827, № 26.

²⁶ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 290.

²⁷ Литературная газета. 1830, № 7 (31 января), с. 49.

²⁸ Северные цветы на 1830 год. Проза, с. 132—133.

²⁹ ИРЛИ. Ф. 168, № 16494, лл. 59 об. 60, 61.

³⁰ Северная пчела. 1833, № 41, 22 февраля, с. 161.

³¹ Пушкин А. С. Капитанская дочка. Л., 1984, с. 99.

³² Там же, с. 121, 127.

³³ Там же, с. 296. Ср.: Фокин Н. И. К вопросу об авторе «Рассказа моей бабушки». А. К. — Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. 1958. Т.

261, Серия филол. наук. Вып. 49, с. 155—163.

³⁴ Северные цветы на 1830 г. Проза, с. 130—131. Указано в кн.: Гилельсон М. И., Мушина И. Б. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Комментарий. Л., 1977, с. 85.

³⁵ Пушкин А. С. Капитанская дочка, с. 21—22.

³⁶ Кийко Е. И. Об авторе стихотворений, ошибочно приписывавшихся Салтыкову-Щедрину. — В кн.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.—Л., 1958, с. 313—316.

³⁷ ИРЛИ. Ф. 168, № 16493, л. 44 об.—45.

³⁸ Все стихотворения публикуются по копиям в рукописном альманахе «Подснежник» (ИРЛИ. Ф. 168 (Майковых), № 16493—16495, далее указывается только номер дела и листы).

Отъезд. 16493, лл. 44 об.—45. К стихотворению сделано примечание о Крюкове (см. вступ. статью). Впервые — В-ка для чтения, 1841, т. 49, с. 138—139 (без эпиграфа).

Каратаю... 16493, л. 132 об. Светская красавица. 16494, л. 69 об. Жажда любви. Там же, л. 114. Мой день. 16495, л. 193—193 об. Пенска. Там же, л. 194—194 об.

Ирина Чистова

Страница московской биографии М. Ю. Лермонтова

...покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.

Лермонтов прожил в Москве первые 18 лет своей жизни. Переезд летом 1832 года в холодный, чиновный Петербург он переживал чрезвычайно мучительно. «Можете себе представить мой восторг, когда я увидел Наталью Алексеевну (сестру бабушки Елизаветы Алексеевны. — И. Ч.), — писал поэт 2 сентября 1832 года своей московской приятельнице М. А. Лопухиной, — она ведь приехала из наших мест, ибо Москва моя родина и всегда ею останется. Там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив!...»¹

Так с этого времени в сознании Лермонтова Москва устойчиво ассоциируется с счастливым временем юношеских надежд и мечтаний, с ощущением полноты жизни, в которой есть место блаженству и страданию, любви и печали, тревоги и душевному покою.

Лермонтов так и не смог полюбить официальную и парадную николаевскую столицу, хотя именно с Петербургом связан расцвет его творчества, значительнейшие события его литературной, писательской биографии.

Оставив Москву летом 1832 года, Лермонтов неоднократно бывал в ней — проездом: в 1838 году он был там в январе, в 1840 году жил весь май, в 1841-м — несколько дней в январе — феврале, когда возвращался с Кавказа в Петербург, и в апреле — по дороге на Кавказ, к месту службы в Тенгинский пехотный полк.

«Если бы мне было позволено было оставить службу, — говорил Лермонтов, прощаясь с Москвой, — с каким удовольствием поселился бы я здесь навсегда».

Эти слова были не только выражением признательности поэта гостеприимным хозяевам московских салонов, в которых он бывал; говоря о своем желании жить в Москве, Лермонтов, мечтавший оставить военную карьеру ради ли-

тературных занятий, подтверждал свою близость кругу московских литераторов.

Нам известно, что Лермонтов был приглашен 9 мая 1840 года на именинный обед Н. В. Голя в саду дома М. П. Погодина на Девичьем Поле, где собралась вся литературная Москва.

10 мая Лермонтов в широко известном в Москве семействе Свербеевых встречается с Гоголем, поэтессой Каролиной Павловой, графиней Е. А. Зубовой. Удивительная красавица, имевшая по справедливости репутацию умной и высоко образованной женщины, Е. А. Свербеева привлекала в свой салон, расцвет деятельности которого относится к 1840-м годам, самых замечательных представителей современной науки и литературы — образованных людей разных направлений и всех возрастов. Судьба Лермонтова, к 1840 году уже известного поэта, видимо, не была безразличной московской Рекамье — так называл Свербееву А. И. Тургенев; 10 мая 1841 года, после отъезда Лермонтова на Кавказ, Свербеева писала А. И. Тургеневу: «...Лермонтов провел пять дней в Москве, он поспешно уехал на Кавказ, торопясь принять участие в штурме, который ему обещан. Он продолжает писать стихи со свойственным ему бурным вдохновением»².

Бывал Лермонтов и у А. П. Елагиной (о ее салоне еще будет идти речь), и у супругов Павловых в их богатом доме на Рождественском бульваре; есть сведения, что у Павловых оставались рукописи лермонтовских стихов.

Первая половина мая 1840 года — время интенсивного общения поэта с московскими славянофилами — А. С. Хомяковым и Ю. Ф. Самариным.

Встречаясь с Хомяковым в домах их общих светских знакомых и литераторов, Лермонтов мог наблюдать его в пылу горячего спора, в который Хомяков мгновенно превращал любой разговор: «Для Алексея Степановича Хомякова разговаривать значило вести диспут. В этом деле он был неукротимый боец: свои состязания ловко и зазорливо умел тянуть до бесконечности. Когда же противник начинал с ним соглашаться, он придерется к какому-нибудь его словечку или обмолвке, бросится в сторону и является перед ним с новым запасом вооружения, дает другой оборот спору и другую обстановку и повторяет такую атаку до тех пор, пока тот не выбьется из сил»³.

Хомяков хорошо знал лермонтовские стихи: особенно ему нравилась «Песня про царя Ивана Васильевича...». Чрезвычайно высокого мнения был Хомяков и о прозе Лермонтова; к маю 1840 года относится его отзыв о Лермонтове как о человеке «с истинным талантом»⁴.

С Ю. Ф. Самариным Лермонтов познакомился еще в самом начале 1838 года — у живших на Солянке Оболенских: глава дома Александр Петрович Оболенский был женат на тетке Ю. Ф. Самарина.

В 1840—1841 годах, будучи в Москве, Лермонтов часто навещал Самарина; встретившись с Лермонтовым в его последний приезд в Моск-

ву в апреле 1841 года, Самарин записал в дневнике: «...Он (Лермонтов. — И. Ч.) снова приехал в Москву. Я нашел его у Розена. Мы долго разговаривали. Он показывал мне свои рисунки. <...> Вечером он был у нас. На другой день мы были вместе под Новинском. Он каждый день посещал меня. За несколько дней до своего отъезда он провел у нас вечер с Голицыными и Зубовыми. На другой день я виделся с ним у Оболенских»⁵.

Лермонтов виделся с Самариным и в день своего отъезда на Кавказ — около 23 апреля 1841 года. Эта последняя их встреча вошла в летопись литературных событий начала 1840-х гг.: Лермонтов передал Самарину стихотворение «Спор» для его публикации в «Москвитинине».

«Я никогда не забуду нашего последнего свидания, за полчаса до его отъезда, — писал Ю. Ф. Самарин 3 августа 1841 года. — Прощаясь со мной, он оставил мне стихи, его последнее творение. Все это восстает у меня в памяти с поразительной ясностью. <...> Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны. Я был последний, который пожал ему руку в Москве»⁶.

Уже 1 мая 1841 года «Спор» стал известен в московских литературных кругах; он был прочитан в салоне А. П. Елагиной. Стихи привез Грановский, который чрезвычайно высоко ценил поэтический дар Лермонтова. 6 мая у Елагиных же он читал «Последнее новоселье», восторженно встреченное слушателями. Катенька Мойер, будущая жена старшего сына Авдотьи Петровны и Алексея Андреевича Елагиных Василия, записала в своем дневнике: «...он (Грановский. — И. Ч.) нам читал дивное стихотворение Лермонтова о Наполеоне. Грановский вскоре ушел, и все пошла спать, кроме Марии, Василия и меня; мы спорили о Лермонтове. Василий утверждал, что модные молодые люди обожают Лермонтова и видят в нем родоначальника нового поколения, желающего быть героями нашего времени»⁷.

Эта дневниковая запись Е. И. Мойер интересна во многих отношениях. Главное действующее лицо здесь — В. А. Елагин, студент юридического факультета Московского университета, от имени младших современников Лермонтова (Елагин на 4 года моложе поэта) заявляющий о единодушном и восторженном признании лермонтовской поэзии в кругу своих друзей.

Василий Елагин, рассказывая своим домашним об увлечении знакомых ему молодых людей лермонтовскими стихами, не назвал ни одного имени. Конспективную запись его расказы мы попытаемся дополнить конкретным содержанием: ведь это тот драгоценнейший материал, который позволяет нам увидеть Лермонтова глазами ближайшего за ним поколения, той «jeune Russie», которую наблюдал на обеде у Погодина А. И. Тургенев. Такой взгляд



М. Ю. Лермонтов.

многое добавляет к нашему обычному, современному видению, нашему современному прочтению удивительных лермонтовских стихов.

Лермонтов очень рано стал классиком — почти сразу после своей гибели. Мы вполне поймем причину этого, лишь обратившись к истории жизни лермонтовской поэзии, самой личности Лермонтова в сознании русского общества начиная с первых лет 1840-х годов, в частности к истории идейных, творческих взаимоотношений Лермонтова с его младшими современниками.

Вернемся к лермонтовскому сюжету, записанному Мойер со слов Василия Елагина. Что являл собою круг друзей Елагина? Представить себе его весьма нетрудно: это в большинстве своем воспитанники университета, юноши, принятые в число студентов в 1835—1836 годах. С одним из них мы уже знакомы — Ю. Ф. Самарин (1819—1876), студент словесного факультета, одаренный блестящими способностями, даром слова, редкой памятью; он один из самых видных, находчивых и остроумных среди плеяды замечательных молодых людей, своих однокашников. Лермонтов не случайно так часто виделся с Самариным, будучи в Москве в 1838—1841 годах. Видимо, они смогли вполне оценить друг друга, оказавшись удивительно близкими не только интеллектуально, но и по темпераменту: в Самарине уже в юные годы были заметны «страсть к противоречию и спору, увлекавшая его до парадокса и утопий, и врожденная склонность к сарказ-

му и насмешкам, которая с годами постоянно росла и обострялась до крайности ради красного словца. Эта последняя способность немало создала ему врагов»⁸.

Еще ряд имен нам дает обращение к мемуарной литературе, посвященной салону А. П. Елагиной, который в течение по крайней мере двух десятков лет был средоточием русской культуры и научной мысли. Старинный дом около Красных ворот в тупичке за церковью Трех святителей, с обширным тенистым садом и почти сельским простором был хорошо известен всей просвещенной Москве, всему литературному и ученому миру древней русской столицы.

С конца 1820-х, в 1830-е годы основной круг посетителей салона у Красных ворот составляли товарищи и сверстники сыновей Елагиной от первого брака — Ивана Васильевича (1806—1856), впоследствии критика, эстетика, философа, и Петра Васильевича (1808—1856), фольклориста, известного своим собранием русских песен. В. Ф. Одоевский, С. П. Шевырев, Д. В. Веневитинов, К. К. Павлова, Е. А. Баратынский, П. Я. Чаадаев, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, С. А. Соболевский, А. И. Тургенев — все они с удовольствием съезжались по воскресеньям в гостеприимный дом Елагиных, где незаметно летели часы в живой беседе, в обсуждении новостей литературных и научных.

К концу 1830-х — началу 1840-х годов состав посетителей елагиной гостиной несколько меняется. Теперь это наряду с извест-

ными литераторами и учеными однокашники и друзья младших сыновей Елагиной, детей А. А. Елагина — Василия (1818—1879), Николая (1822—1876), Андрея (1823—1844) — К. Д. Кавелин (1818—1885), в будущем известный историк, публицист, общественный деятель, поэт М. А. Стахович (1819—1858), Д. А. Валуев (1820—1845), чрезвычайно даровитый юноша, готовивший себя к широкой просветительской деятельности, распространению исторических знаний, будущий историк и юрист А. Н. Попов (1820—1877), В. А. Панов (1819—1849), студент-словесник, по окончании университета принимавший участие в подготовке к печати славянофильских сборников, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин, князь Б. В. Мещерский, старший сын в образованном и весьма состоятельном семействе Мещерских, князь К. А. Черкасский.

Как вспоминал впоследствии Кавелин, товарищ Василия Елагина по университету, «Елагина всегда относилась к начинающим юношам с бесконечной добротой и неистощимым вниманием и участием <...> Вводимые в замечательно образованные семейства добротой и радушием хозяев, юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно благодаря удивительной простоте и непринужденности, царившей в доме и на вечерах. Здесь они знакомились и встречались со всем, что тогда было выдающегося в русской литературе и



Старая Москва.

науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие и мало-помалу укреплялись в любви к литературным и научным занятиям»⁹.

Василий Елагин, вероятно, мог бы нам сообщить множество ценнейших документальных свидетельств огромной популярности Лермонтова уже в самом начале 1840-х годов, но он лишь указал направление поиска этих свидетельств, представив нам ту среду, которая сразу и безоговорочно признала поэта своим идейным вождем: университетская молодежь, близкая московским литературным кружкам.

Студенты и новоиспеченные кандидаты, магистранты и юноши, только что поступившие на государственную службу, испытывали огромную потребность в непосредственном общении, обмене мнениями. Нередко серьезный разговор прерывался смехом, взрывом безудержного молодого веселья.

Ученая беседа, серьезный диспут соседствовали с остроумной шуткой, часто одетой в незатейливые рифмы; такие забавные импровизации наскоро записывались на клочке бумаги и нередко декламировались хором или даже распевались на мотив популярных арий и студенческих песен.

В этой среде стихи «на случай» писали почти все; Аксаковы и М. А. Стахович стали профессиональными литераторами. Спустя почти два десятилетия Стахович вспомнит о счастливой поре юности:

Бывало, мы, своей семьею,
Беседу за полночь ведем!
И на застольном нашем вече
Те неподслушанные речи
Уже не повторяются вновь,
Как наша младость, как любовь!
Блажен, кто стих невозвратимый,
Стих юный другу передал!

Писал стихи и Василий Елагин. Они не дошли до нас; возможно, автор не считал нужным их публиковать, хотя писать начал уже в раннем детстве. Мы знаем об этом из очерка его биографии, записанного Д. А. Корсаковым со слов А. П. Елагиной; очерк этот небезынтересен и достоин внимания и историка литературы, и историка литературного быта конца 1830—1840-х годов. Приведу текст очерка в той его части, которая непосредственно связана с сюжетом моего рассказа: «...Первоначальным обучением его (Василия Елагина.—И. Ч.) занималась мать его Авдотья Петровна <...>, но больше всех влияя на него брат его Петр Вас (ильевич) Кир (евский). В детстве Вас (или) Алекс (еевич) был необыкновенно нервен и восторжен и, под влиянием чтения рыцарских романов, любил играть в рыцари. У него и у двух его братьев и сестры (все трое моложе его) был громадный картонный замок с подъемными мостами, подземельями и т. д. <...>».

Игрушка эта занимала их очень долго. Дети издавали журнал «Полунощная Дичь», сочиняли комедии и сами играли их. Редактором жур-

нала был Василий Алексеевич, с 10-летнего возраста писавший очень талантливые стихи, так что Ив(ан) Вас(ильевич) Киреевский часто предвещал ему литературную известность. Ив(ан) Вас(ильевич) возил детский журнал в Петербург, показывал его Жук(овскому) и Пушкину, и они оба были в восхищении от него».

Что нам известно (в подтверждение заинтересовавшего нас свидетельства В. Елагина) об отношении к Лермонтову-поэту «молодых» посетителей елагинского салона? Самарина, интересы которого лежали больше в области философии, чем литературы, Лермонтов интересовал в первую очередь как личность, как характер, определенный временем: «он (Лермонтов.—И. Ч.) «присутствовал» в моих мыслях, в моих трудах; его одобрение радовало меня»¹⁰. Мы знаем о том, что высоко ценил лермонтовские стихи Д. А. Валуев. «Лермонтов пишет стихи со дня на день лучше»,— сообщал он Н. М. Языкову¹¹.

Поэзия Лермонтова интересует А. Н. Попова. Восьма вероятно, что в это время лермонтовские стихи и в поле зрения К. Аксакова; с их оценкой в печати он выступит несколько позднее, в 1847 году, в рецензии на сборник «Вчера и сегодня» (1845).

Молодые люди, пробующие свои силы в поэзии, были особенно внимательны к тому, что происходило в современной литературе, и, вероятно, наиболее очевидные доказательства справедливости наблюдения Елагина о влиянии Лермонтова на умы современной молодежи мы могли бы почерпнуть именно в кругу его «пишущих» друзей, всерьез готовящих себя к литературной карьере. И вот здесь мы должны назвать новое имя, имя еще одного университетского товарища Елагина, не зафиксированное ни в мемуарной литературе о Елагиных, ни в воспоминаниях о Лермонтове, хотя и здесь и там оно, как я покажу ниже, могло и должно было бы быть отмечено.

Речь пойдет о Василии Васильевиче Толбине.

Каким образом Толбин, популярный беллетрист «натуральной» школы, в середине 1840-х годов часто печатавшийся в «Финском вестнике», «Пантеоне», «Сыне отечества», «Библиотеке для чтения» и множестве других изданий, автор более двух десятков статей о русских художниках, написанных в 1850-е годы, вошел в круг имен, имеющих отношение к лермонтовской биографии?

Несколько лет тому назад московский врач-психиатр Марианна Константиновна Шохор-Троцкая, разбирая архив своего отца, известного литературного критика, толстовца, К. С. Шохор-Троцкого, обнаружила ряд документов, относящихся к биографии и литературной деятельности Толбина; среди вороха бумаг — черновики, наброски, записей, сделанных наскоро и не всегда поддающихся расшифровке, — внимание Марианны Константиновны привлек

листок с написанными на нем шестью стихотворными строчками. Обнаруженное стихотворение было озаглавлено «Толбину» и подписано «Лермонтов». Неужели это неизвестный лермонтовский автограф? Внимательное изучение рукописи в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, куда М. К. Шохор-Троцкая передала рукописное собрание своего отца, показало, однако, что стихи писал не Лермонтов; запись сделана рукой Толбина — сначала карандашом, затем закреплена чернилами:

Ты помнишь ли былые шашни,
Когда у Сухаревой башни
Ты и дневал и ночевал;
Теперь переменялась дневка,
И от Мещанской на Петровку
Дежурство сердца передал.

Первоначальный карандашный текст свидетельствует о поспешности, с которой Толбин заносил на бумагу, возможно, только что произнесенные вслух строчки. На использованном с одной стороны листке (вероятно, первом, оказавшемся под рукою) видим не слишком ровные ряды слов, написанных размашисто и не очень уверенно — как будто было неудобно писать; может быть, Толбин записывал стихи, скажем, прислонив бумагу к стене или положив ее на колени.

Попытки прокомментировать эту стихотворную шутку привели к результатам интересным и в общем неожиданным: обращение к весьма посредственным стихам, посвященным амурным приключениям молодого повесы, убедило в существовании темы «Лермонтов и Толбин» — темы чрезвычайно любопытной и многообещающей именно в контексте того материала, который был рассмотрен в первой части настоящей статьи.

* * *

«Мая двадцать девятого числа в доме г-на полицмейстера гвардии полковника кавалера Ивана Петровича Бибилова у живущего московского мещанина Василия Онисимова Толбина от законного брака с женою Ксениею Петровою родился сын, нареченный Василием. Молитствовал протоиерей Николай Петров с дьячком Яковом Федоровым. Крещен июня 2 дня. Восприемником был московский купец Матвей Герасимов Красильников, восприемницею была московского купца Мирона Карпова жена Александра Иванова. Оное крещение отправляли протоиерей Николай Петров, диакон Петр Федоров, дьячок Яков Федоров, пономарь Алексей Никифоров» — эта запись сделана под номером 18-м в хранящейся в Центральной государственном историческом архиве Москвы метрической книге Сретенского сорока Трехсвятительской церкви, что у Красных ворот, за 1819 год. (Пятью годами раньше в метрической книге той же церкви Трех святителей сделана подобная запись о рождении М. Ю. Лермонтова. Креще-

ние младенца исправляли те же протоиерей Николай Петров, дьякон Петр Федоров, дьячок Яков Федоров, пономарь Алексей Никифоров.)

Детство Толбина прошло в Москве, в небогатой, многодетной семье титулярного советника, чиновника Департамента правительствующего Сената. Будущий писатель получил достаточное домашнее образование, позволившее ему держать экзамен в Московский университет.

«В Правление Императорского Московского университета сына титулярного советника Василия Васильева Толбина.

ПРОШЕНИЕ

Родом я сын титулярного советника; от рода имею 16 лет, обучался в доме родителей; ныне имею желание поступить для дальнейшего образования в Университет: почему прилагаю при сем: свидетельство о рождении, крещении и летах, с копией формулярного списка родителя моего; покорнейше прошу Правление допустить меня, по надлежащем испытании, к слушанию лекций Политического отделения. Августа 8 дня 1835 года. К сему прошению сын титулярного советника Василий Васильев Толбин руку приложил»¹².

Такое же прошение подавал в августе 1830 года шестнадцатилетний Лермонтов — слушатель Василий Толбин шел вслед за своим старшим современником, не подозревая, по-видимому, еще ни о самом существовании Лермонтова, ни тем более о том, насколько значительным окажется имя поэта в его, Толбина, духовной биографии. А пока были университетские будни, лекции и серьезные занятия; юристы, да и слушатели других факультетов особенно увлечены П. Г. Редкиным: молодой профессор, только что приехавший из Германии, где слушал лекции в Берлинском университете, главную свою цель видел в том, чтобы развить в студентах любовь к науке, чувство долга, высокой ответственности, правды и справедливости. С именем Редкина у Толбина навсегда будут связаны самые светлые воспоминания о студенческой поре:

С ним слита жизнь младая,
Москва, честь, знанье, я¹³.

Юридические науки между тем не слишком интересовали молодого человека: к третьему курсу студент-юрист явно отдает предпочтение литературным занятиям¹⁴.

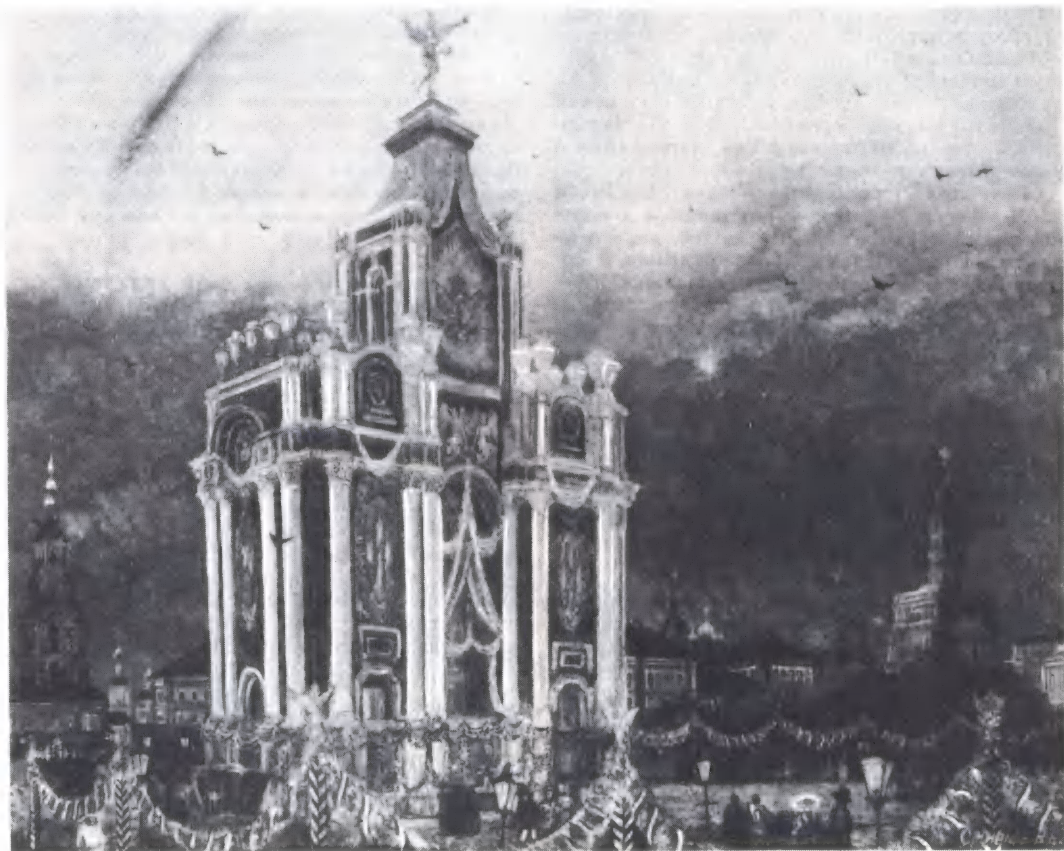
В 1839—1840 годах Толбин печатает стихи в «Галатее» — еженедельном московском журнале литературы, новостей и мод. Опять возникают устойчивые ассоциации с лермонтовским временем, появляется фигура С. Е. Раича, учителя и издателя, равно оказывавшего влияние и на своего гениального пансионского воспитанника, и на юного студента университета, постоянно предлагавшего свои стихотворные опыты его журналу.

Любовь Толбина к литературе, его собственные поэтические опыты всячески поощрялись в доме вдовы попечителя Московского университета, писателя М. Н. Муравьева Е. Ф. Муравьевой, где Толбин постоянно бывал в студенческие годы. В 1867 году, составляя свой литературный формуляр, он писал: «Заниматься литературой начал я с 1837 года, будучи еще студентом Императорского московского университета, в «Телескопе» (Н. И. Надеждина) и в «Галатее» (С. Е. Раича, временным редактором которой в продолжение трех месяцев был я в 1838 г.). Встречаясь в доме Е. Ф. Муравьевой, вдовы известного М. Н. Муравьева, с братьями Киреевскими, А. И. Тургеневым, П. Я. Чаадаевым, Ф. Н. Глинкой, М. Н. Загоскиным, Гоголем и Вельтманом, я постоянно начал заниматься литературой и помещал многие статьи в издаваемых в Москве сборниках и альманахах»¹⁵.

Кроме этого свидетельства Толбина, нам ничего не известно о характере и направлении собраний у Е. Ф. Муравьевой в конце 1830-х годов; о том, что там часто бывали Чаадаев и

А. И. Тургенев, мы знаем из писем Чаадаева и записей в неизданном дневнике Тургенева, к сожалению, крайне лаконичных. Можно предполагать, однако, что гостеприимная и бесконечно добрая Е. Ф. Муравьева бережно хранила традиции былых времен: в начале 1800-х годов, еще при жизни М. Н. Муравьева, их большой дом на Караванной был одним из приятнейших в столице.

Свидетельство Толбина о той поддержке, которую он, начинающий литератор, встретил в кругу друзей Е. Ф. Муравьевой, дает нам право отнести ее дом к тем московским просвещенным семействам, чье благотворное влияние на духовное воспитание молодежи отмечал К. Д. Кавелин. Кавелин имел в виду прежде всего салон А. П. Елагиной; возможно, ему были известны и собрания у Муравьевой — нетрудно заметить, что и у Муравьевой, и у Елагиной бывали одни и те же люди. Толбин, принятый в доме Муравьевой, знакомый с братьями Киреевскими, вероятно, посещал и дом их матери, Елагиной. В написанной Толбиным в середине 1840-х го-



Красные ворота. Рис. В. Смирнова.

дов стихотворной повести «Обыкновенный слу- чай», где отразились какие-то моменты биогра- фии автора, есть любопытная строфа, посвя- щенная хорошо известной в Москве славяно- фильской гостиной:

Бывал он и на тех почетных вечерах,
Не развлекаясь где ни сплетнями, ни
скрипкой,

Вы повстречаете философа в очках,
Иль критика с значительной улыбкой,
Или помещика, в чьих пахотных полях
От чтенья Теэра не зреет колос гибкой,
Где быт варяг и мурмолка в чести,
Где нас хотят от Запада спасти!..¹⁶

Вероятнее всего, это один из вечеров у Ела- гиной, куда студент университета Василий Толбин, однокашник и близкий друг своего тезки, старшего Елагина, приходил вместе с К. Д. Кавелиным, К. А. Черкасским, Б. В. Мещерским.

Толбин напомнит Кавелину о своем с ним знакомстве спустя почти 25 лет — в официа- льном письме к нему как секретарю Литератур- ного фонда: (оно хранится в рукописном отде- ле Государственной публичной библиотеки): «Обращаюсь к Вам <...> как к старому товари- щу и хорошему человеку, каким я Вас знал в мо- лодости...»; свидетели дружеских отношений Толбина с князем Черкасским и Б. В. Мещер- ским — посвященные им стихи, написанные в университетские годы.

Кавелин, Черкасский, братья Б. В. и А. В. Мещерские, Толбин составляли довольно тесный кружок молодых людей, далеко не равных по сословному происхождению и социальному положению (рядом оказались небо- гатый мещанин Толбин и родовитые дворяне Мещерские, имевшие свой собственный шеголь- ской выезд), что, однако, не препятствовало ни их интеллектуальному общению, ни увлечению удовольствиями, которые доставляла им свет- ская жизнь старой Москвы.

В 1840 году Толбин окончил университет и подал прошение о зачислении его на службу в московский Опекунский совет, во главе кото- рого стоял действительный тайный советник князь Сергей Михайлович Голицын:

«Ваше превосходительство,
Милостивый государь!

Окончив образование свое в Императорском московском университете и намереваясь посту- пить на службу государственную, я желал бы начать ее под начальством Вашим, и, следуя благому примеру Вашему ревностными труда- ми и старанием на пользу бесприютных и страждущих, испросить себе благословение бо- жие на путь дальнейший. Не имея в виду ника- кой большой награды, кроме высокого внима- ния Вашего к поощрению усилий моих, я твер- до уверен, что Вы не откажете мне в возмож- ности принести и мою лепту туда, куда неусы- пными попечениями Вашими собираются ото- всюду бескорыстные жертвы».

Просьба Толбина была удовлетворена.

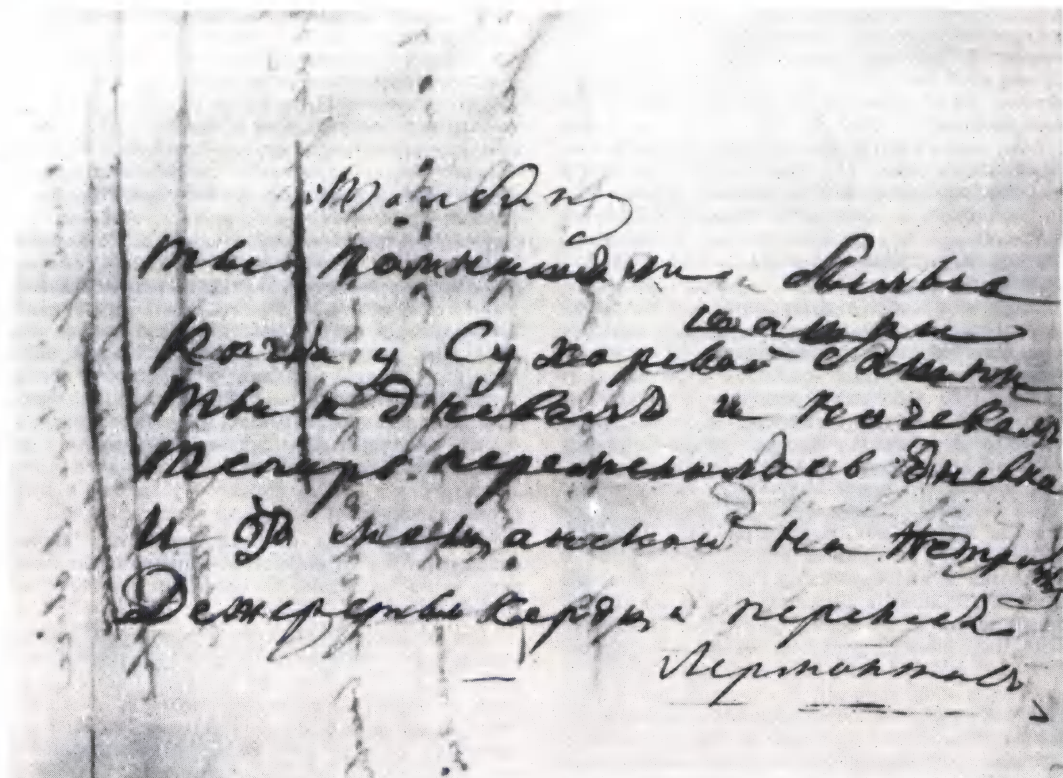
Нам неизвестно, насколько усердным был Толбин в выполнении своих служебных обя- занностей; скорее всего избранный род деятель- ности не слишком занимал его, ведь уже на студенческой скамье Толбин решил посвятить себя литературе. Поэзия, любовь, дружеские встречи, вихрь светских приключений — все это совершенно захватило Толбина на пороге его самостоятельной жизни.

В 1840—1841 годах расширяется круг зна- комств молодого поэта. Много времени он про- водит у Раевских: Самсон, Артемий, Дмитрий, Клеопатра, Зинаида, Софья — дети статского советника Дмитрия Федоровича и Марии Ан- тоновны Раевских. Самсон Дмитриевич — пол- ковник при отставке; Дмитрий Дмитриевич, окончивший в 1828 году Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, — поручик при отставке; Артемий Дмитриевич, младший из братьев, — тоже поручик при от- ставке, в прошлом товарищ Михаила Бакуни- на по военному училищу, а ныне — молодой человек, изучающий философию, почитатель знаменитого в те годы польского математика и философа-мистика Юзефа Вронского. Сестры замужем за офицерами — Зинаида Дмитриевна за поручиком лейб-гвардии Измайловского полка Василием Алексеевичем Кашкаровым; Софья Дмитриевна, в первом браке Камыни- на, — за штабс-капитаном Николаем Ильичом Алексеевым. Толбин дружен с братьями Раев- скими, в приятельских отношениях с мужьями Зинаиды и Софьи; в Клеопатру он влюблен — романтически-благочестиво. Толбин свой чело- век в этой семье; вспоминая о Раевских через много лет, уже в Петербурге, Толбин писал:

Спасибо вам — под чьим приютом
Мне было радостней, теплей,
Где время пил я по минутам
Из чаши жизненной моей,
Где светлым чувством, честным даром
Моя была согрета грудь,
Где музе — странице с гусярлом
Семьею вашей дан был путь.

Еще одна тетрадь Толбина сохранила «сти- хотворные свидетельства» этой чрезвычайной его близости Раевским. В ней около двух де- сятков стихотворений, обращенных к членам этого семейства. Здесь и образцы любовной ли- рики, адресованной Клеопатре Раевской; и шу- тливые стихи на случай, написанные не без влия- ния мятлевских макаронических шуток — Толбин мог вслед за Лермонтовым сказать о себе, что любит «Ишки Мятлева стихи». Мож- но предположить, что любое событие в доме Раевских давало Толбину тему. Поэзии в этих стихах нет никакой, но они интересны как био- графический материал.

21 июня 1841 года — день крестин новорож- денной дочери Софьи Дмитриевны и Николая Ильича Алексеевых — Натальи. В стихах, по- священных этой дате, назван ряд имен, входя- щих в ближайшее окружение Раевских и тем са- мым и в окружение Толбина.



Список стихотворения М. Ю. Лермонтова.

Филипп Филиппович Вигель, директор Департамента иностранных вероисповеданий, тайный советник; Григорий Владимирович Розен, генерал, к 1841 году — опальный сановник; наконец, брат Николая Ильича Алексеева Александр Ильич — отставной штабс-капитан лейб-гвардии Конноегерского полка; принадлежал к числу обвиняемых по делу о нелегальном распространении в 1827 году стихов Пушкина «Андрей Шенье». Толбин, по-видимому, не мог быть лично знаком с Александром Алексеевичем, который умер в 1833 году — но, как оказывается, хорошо знал его по рассказам родных.

Я предлагаю читателю, может быть, слишком обстоятельный рассказ о круге знакомств Толбина — студента и начинающего свою служебную карьеру чиновника, но здесь важны все подробности; они помогут полнее представить себе среду, которой принадлежал молодой Толбин, и убедиться в близости этой среды тому кругу, который мог назвать своим Лермонтов.

Шутливое стихотворное обращение Лермонтова к Толбину, вероятнее всего, относится к 1841 году; к этому заключению нас приводят

содержащиеся в нем реалии. На Петровке (И от Мещанской на Петровку дежурство сердца передал) жила Клеопатра Раевская¹⁷, увлечение которой Толбин пережил в 1841 году — так, по крайней мере, датирован цикл стихов, посвященный Раевской. Из текста лермонтовского шестистишия ясно, что его автор был знаком с адресатом ранее того времени, когда возник этот забавный экспромт: Лермонтов, зная о прежней сердечной привязанности героя, напоминает ему о ней. Так знакомство Лермонтова и Толбина могло произойти в 1838 или 1840 году.

Знакомство и сближение Лермонтова с Толбиным вполне естественно: ведь они связаны общением, по существу, с одними и теми же людьми в одних и тех же литературных кругах и салонах Москвы. Даже семейство Раевских, в котором принят Толбин, скорее всего не фигурирует в лермонтовской биографии лишь за недостатком сведений; во всяком случае, с близким этому семейству, и, конечно же, Толбину, кругом лиц связи Лермонтова обнаруживаются сразу. Ведь Раевские, так же как, скажем, Розены, входили в тот тесный круг барской Москвы, которому принадлежал Лермонтов — по своему происхождению, положению, родственным связям. Константин Булгаков, сын А. Я. Булгакова, однокашник Лермонтова

по Московскому университетскому пансиону и юнкерской школе, — старинный знакомый Раевских. В той же юнкерской школе учился и Дмитрий Раевский, правда, несколько раньше. Братья Николай и Александр Алексеевы. Знакомство с ними Лермонтова относится, по-видимому, к 1830 году, когда юный поэт проводил немало времени в обществе своей кузины Сашеньки Верещагиной и ее близкой подруги Кати Сушковой, за которыми ухаживали братья Алексеевы — молодые люди были неразлучны «на водах, на гулянье, в театре, на вечерах, везде и всегда вместе»¹⁸.

То, что в свое время Николай Алексеев ухаживал за Екатериной Сушковой, было известно и едва ли безразлично Лермонтову. Этот сюжет, вероятно, не был забыт и в 1840—1841 годы.

С Ф. Ф. Вигелем Лермонтов определенно встречался в Москве в апреле 1841 года (познакомился он с ним гораздо раньше, у Карамзиных). «Я видел руссомана Лермонтова в последний проезд его через Москву», — вспоминал о своей встрече с Лермонтовым Вигель, дядя братьев Алексеевых, родной брат их матери¹⁹. И, наконец, Григорий Владимирович Розен. В его доме, в казенной квартире в Петровском дворце, Лермонтов останавливался в свой последний приезд в Москву. Со вторым сыном Розена Дмитрием Лермонтов знаком с середины 1830-х годов — с 1836 года они однополчане — служат в лейб-гвардии Гусарском полку, а в 1837-м Лермонтов, переведенный в Нижегородский драгунский полк, едет на Кавказ; командующим Отдельным Кавказским корпусом и главноуправляющим гражданской частью Грузии в это время состоял Григорий Владимирович Розен. Весной 1838 года Лермонтов вновь лейб-гусар — однополчанин Дмитрия Розена, с которым, по всей вероятности, его связывали если не тесная дружба, то давние приятельские отношения. В мае 1840 года Лермонтов виделся с Розеном в веселой компании молодых офицеров. Об этом сообщал в своих воспоминаниях присутствовавший там кирасир Василий Боборыкин²⁰.

Лермонтовский экспромт, вокруг которого располагается приведенный здесь историко-бытовой, биографический материал, мог возникнуть в среде молодых офицеров (знакомство Толбина с братьями Раевскими и Розеном подтверждает причастность его к этой среде), в момент искрящегося смехом, остроумием дружеского застолья с его шутивными импровизациями, легкой пикировкой, обменом насмешками, рифмованными строчками, переводившими в забавные стихи светские приключения участников веселой вечеринки.

Лермонтов мог обратиться к Толбину со стихами и в компании вчерашних студентов университета, например, в доме Мещерских на Страстном бульваре, против Нарышкинского сквера; верхний этаж флигеля дома был отдан братьям Борису и Александру (напомним, что Александр Мещерский знаком и достаточно близок с Лермонтовым) с тем, чтобы их могли без стеснения навещать друзья, сверстники, од-

нополчане Александра и товарищи Бориса по университету.

Сейчас, вероятно, невозможно вполне прокомментировать историю создания лермонтовского экспромта. Да это и не нужно. Стихи, посвященные Толбину, нам важны не как таковые, хотя, конечно же, обнаружение новых лермонтовских строк — уже само по себе вещь достаточно примечательная. И все-таки главное в этой истории не сам факт, но то, что за ним стоит; не отдельный эпизод биографии Лермонтова, обратившегося однажды со стихами к своему младшему приятелю, но открывающаяся благодаря этому эпизоду, вернее, всему кругу явлений, которые вокруг него выстраиваются, возможность увидеть на живом материале — на примере личной и творческой судьбы поэта, младшего современника Лермонтова, из чего складывалось закреплённое в критических разборах, начиная с лермонтовского времени и до наших дней, представление об огромной роли Лермонтова в жизни русского общества и русской литературы.

Лермонтов был «властителем дум» своих современников. Наверное, это чисто лермонтовская черта, особенность его личности, его таланта.

Когда Василий Елагин говорил об «энтюзиазме» его друзей по отношению к Лермонтову, он имел в виду не только восхищение его поэзией, но подчеркивал увлечение образом самого поэта, именно как «родоначальника нового поколения», со всем свойственным этому поколению комплексом идей и настроений. Вероятно, каждый из увлеченных Лермонтовым молодых людей находил в себе нечто лермонтовское, рассматривал собственную судьбу, собственную биографию сквозь призму идей и мотивов творчества любимого поэта.

В московской жизни Толбина (он переехал в Петербург в 1846 году), по-видимому, было немало событий, обстоятельств, которые давали ему повод к горьким размышлениям и душевной тревоге. Не располагая достаточными биографическими документами, на основании нескольких писем 1841—1844 годов, мы можем очень приблизительно восстановить какие-то отдельные эпизоды, по-видимому, весьма бурной биографии Толбина: разрыв с любимой, разрыв с другом, оклеветавшим его, возможно, дуэльная история, необходимость покинуть Москву.

Толбинские письма («Вы убиваете меня Вашим забвением»; «одна клевета больше, одна меньше ничего не значит в жизни, тем более, если не знаешь, долга ли она будет и где ее пройдешь»; «...брошенный как в могилу, без родных, без знакомых») убеждают в том, что их автор осознает себя и свою судьбу в рамках лермонтовской судьбы и лермонтовского характера. Еще одна характерная в этом отношении деталь: обращаясь к покинувшей его возлюбленной, Толбин переписывает для нее стихотворение «Нищий».

Свои собственные стихи Толбин постоянно

соотносит с Лермонтовым, творчество которого внутренне удивительно близко ему.

Толбин не был талантливым поэтом — литературность и явная ориентация на существующие образцы лишают его стихи индивидуального начала; чужое влияние тем самым становится более заметным. Тетрадь стихов 1841—1848 годов подтверждает силу именно лермонтовского влияния. Общий идейно-эмоциональный строй лирики Лермонтова, ее стилистический рисунок, модели поэтических конструкций были великолепно усвоены Толбиным и воплощены в собственном поэтическом творчестве. Вот один из характерных примеров — стихотворение 1841 года, обращенное к Клеопатре Раевской:

Не плачьте обо мне, когда по воле рока
Я должный мир покину прежде вас.
Не предавайтесь печали одинокой,
Вздохните раз, один лишь только раз.

Когда унылый звон, как вестник
погребальный,
К вам долетит, теряясь в небесах,
Перекреститесь, с молитвой на устах.
Пусть будет мне она привет прощальный,
И если здесь между стихов других
Мои стихи откроете случайно,
Забудьте, чья рука нам написала их,
Чье сердце грустное в них высказалось

тайно.

Забудьте обо мне, я столько Вас люблю,
Что лучше изберу в удел себе забвенье,
Чем память грустную, которой откровенье
Участья Вашего единое мгновенье.
И имя бедное когда прочтете вы,
Не повторяйте в сокрушении.
Пока я жив, молю Вас о любви,
Когда умру, молю Вас о забвенье.

В стихах Лермонтова и Толбина нашел свое выражение один и тот же характер мировосприятия, самочувствие поэта, гонимого людьми и обманутого жизнью.

Не случайно в любовной лирике и Лермонтова и Толбина так очевидно стремление видеть в любимой «защиту перед безучастной толпой» (Лермонтов), «ценительницу зла» (Толбин). Вместе с тем явно и желание защитить любимую от «мира холодного» («Молитва» — одноименные стихотворения Лермонтова и Толбина). И у Лермонтова, и у Толбина чрезвычайно устойчив мотив воспоминания — как попытки уйти от настоящего. Но рок всемогущ, и поэту нет забвенья — ни в любви, ни в прошлом; мотив неумолимой судьбы настойчиво звучит и в творчестве Лермонтова, и в стихах его ученика.

Многие темы, образы, прочитанные у Лермонтова, память Толбина сохранила, и нередко

запомнившиеся лирические формулы воспринимались им как свои, естественно вливаясь, в несколько измененном виде, в собственные поэтические строки. Как поэт-лирик Толбин в общем не состоялся. В 1840-е годы он почти не печатал стихов, за исключением уже упоминавшейся стихотворной повести «Обыкновенный случай», единственного у Толбина опыта реалистической поэмы в октавах, опять-таки созданной не без лермонтовского влияния.

Свою поэму «Обыкновенный случай» Толбин посвятил князю В. Ф. Одоевскому. Одоевский принадлежал к числу тех петербургских литераторов, которые особенно были близки Лермонтову. «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю иписанную. К(нязь) В. Одоевский, 1841. Апреля 13-е. СПбург», — так писал Одоевский в тетради, которую подарил Лермонтову при его отъезде из Петербурга на Кавказ в апреле 1841 года²¹.

Какие-то дружеские отношения, видимо, связывали с Одоевским и Толбина.

Может быть, в сближении Толбина с Одоевским Лермонтов сыграл определенную роль? Не был ли посвящен Толбин в историю тетради, полученной поэтом от В. Ф. Одоевского и частично заполненной, как утверждает современный исследователь, уже в Москве, в апреле 1841 года?²²

Подобных вопросов возникает множество, и ответить на них пока, к сожалению, невозможно. Очевидно одно: история творческих и личных взаимоотношений Лермонтова и Толбина должна занять свое место в лермонтовской биографии.

В заключение замечу, что общение Лермонтова и Толбина было недолгим. В апреле 1841 года Лермонтов шутя обратился к своему брату по перу с веселыми рифмами, а уже через три месяца Толбин должен был посвятить ему совсем иного рода стихи, наполненные горечью невосполнимой утраты:

И нет певца! — в пыли могилы
Цевница сирая молчит.
С ее струны звук, сердцу милый,
К нам больше в грудь не залетит.
За честь какой-то пошлой Мери
Под тяжким знаменем креста
Пред ним открылись гроба двери,
И смолкли вещие уста,
Когда весь мир жилищ узорных —
Гуляний, зрелищ и балов,
Со всей росой их слез притворных
Не стоит звука вещих слов.
Один погиб — мечты святые
Нам чуждый перст от нас отъял;
На этом — пасынок России
На брата руку подымал!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лермонтов. Соч. в 6-ти тт. М.—Л., 1957, т. 6, с. 416—417 (подлинник по-французски).

² Литературное наследство, т. 45—46, с. 700.

³ Любопытно, что эту запись о Хомякове сделал Ф. И. Буслаев, встречавшийся с Хомяковым именно в салоне Свербеевой в том же 1841 году: «У глухой стены против двери на диване с двумя или тремя дамами сидела молодая и красивая хозяйка и курила сигару, — папиросы тогда еще не вошли в общее употребление. Ее муж переходил из одной комнаты в другую, занимая одиноких гостей или прислушиваясь к беседам говорящих между собой. Против хозяйки от двери к заднему углу у стены был тоже диван; на диване сидят рядышком Чаадаев с Хомяковым и горячо о чем-то между собой рассуждают; первый в спокойной позе, а другой вертится из стороны в сторону и дополняет свою скороговорку жестами обеих рук (...). У окна в углу, близ дивана с дамами, в кресле сидел неизвестный мне господин, лет тридцати, среднего роста, плотного сложения, с коротко остриженными волосами... Он был спокоен и медлителен в движениях и неразговорчив, лишь изредка перемолвится с хозяйкой или даст короткий ответ престарелому Александру Ивановичу Тургеневу, который, наклонив голову и сложив руки за спиной, шагал взад и вперед по комнате и, останавливаясь там и сям, прислушивался к говорящим. Легкий гул оживленной беседы время от времени покрывался зычными возгласами Константина Сергеевича Аксакова, который пылко ораторствовал в соседней комнате» (Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. М., 1897, с. 295).

⁴ Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1904, т. 8, с. 91.

⁵ М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972, с. 297—298 (далее — Воспоминания).

⁶ Там же, с. 300.

⁷ Гиллельсон М. И. Поэзия Лермонтова в салоне Елагиных. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1978, с. 259.

⁸ Воспоминания А. В. Мещерского. М., 1901, с. 46.

⁹ Кавелин К. Д. Собр. соч. СПб., 1899, т. III, с. 1121—1122.

¹⁰ Воспоминания, с. 299.

¹¹ См.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч., т. 8, с. 99.

¹² Центральный государственный архив г. Москвы, ф. 418, оп. 105, ед. хр. 138 (далее — ЦГИАМ).

¹³ Это стихи из письма В. Толбина к Н. В. Гербелю (конец января 1858 г.). Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, ф. 179, № 99 (далее — ГПБ).

¹⁴ Поэтические опыты Толбина, в значительной степени неопубликованные, хранятся (вместе с перепиской) в Центральном государственном архиве литературы и искусства (Москва) в личном фонде писателя (ф. 492).

¹⁵ ГПБ, ф. 438, № 16, л. 300. В сообщении Толбина есть одна неточность: в 1838 году «Галатея» не выходила.

¹⁶ Поэты-петрашевцы. Библиотека поэта. Большая серия. Л., 1957, с. 336. Стоит заметить, что Толбин сам в какой-то момент испытывал влияние славянофильских идей. В 1841 году он посвятил престарелому Федору Глинке стихотворение «Заповедная земля» (оно сохранилось в архиве С. П. Шенярева), где есть такие, например, строфы:

В пределах сумрачной России,
От шума Запада вдали,
Сродни роскошной Византии
Есть заповедный край земли.

Чуждаясь блеском и гордыней,
Целебной верою полна,
Одних крестов своих святыней
Она стоит осенена.

¹⁷ Дом на Петровке с 1808 года принадлежал матери Клеопатры Раевской Марии Антоновне Раевской. В 1841 году владение было разделено на три части, между Зинаидой Раевской (по мужу Кашкаровой), Самсоном, Дмитрием, Артемом Раевским и Клеопатрой Раевской.

¹⁸ Воспоминания, с. 82.

¹⁹ Ф. Вигель. Письмо к приятелю в Симбирск. — В кн.: Сущков Н. Московский университетский благородный пансион. М., 1858. Приложения, с. 16.

²⁰ Воспоминания, с. 141—142.

²¹ См.: Литературное наследство. М., 1941, т. 43—44, с. 679.

²² Гиллельсон М. И. Поэзия Лермонтова в салоне Елагиных, с. 266—269.

Анатолий Марков

Хранящие тепло рук

*Книги с дарственными надписями.
Заметки библиофила*

Держать в руках прижизненные издания любимых писателей и поэтов, когда пальцы ощущают как бы живой трепет прошедших эпох, любоваться изящными кожаными переплетами и скромными обложками, вдыхать запах пожелтевшей от времени бумаги и, главное, читать такие книги — для библиофила истинное наслаждение. Кого могут оставить равнодушным такие издания? Мы пристально всматриваемся в выцветшие строки, нам все в них интересно: кем и кому подарена книга, где, когда и при каких обстоятельствах. Как много книг иногда приходится просмотреть из-за одного-двух слов! Не всегда находишь то, что ищешь, но всегда узнаешь что-то новое, и это делает жизнь книголюбца еще интереснее.

Книги, на которых авторы в далекие прошедшие годы сделали дарственные надписи, представляется, хранят до сих пор тепло их рук...

АВТОГРАФ ДЕКАБРИСТА

Если бы альманах «Полярная звезда» на 1825 год был даже без дарственной надписи, то все равно он числился бы в моем собрании среди самых редких изданий. Но на этом экземпляре имеется надпись, сделанная рукой видного декабриста, выдающегося литератора Александра Александровича Бестужева, издававшего «Полярную звезду» вместе со своим другом — декабристом Кондратием Федоровичем Рылеевым. Альманах 1825 года получился еще лучше, чем выпуски, изданные под тем же названием в 1823 и 1824 годах. Удивителен состав авторов и содержание книжки: в поэтическом отделе — отрывки из «Цыган», «Братьев разбойников» и «Послание к Алексееву» Пушкина; семь стихотворений Боратынского, два Вяземского, три Ф. Глинки, одно Грибоедова, одно Козлова, два В. Л. Пушкина, три Языкова, две басни Крылова, отрывок из XIX песни «Илиады» в переводе Гнедича и стихи других авторов. Рылеев поместил три от-

рывка из поэмы «Наливайко» и «Стансы». В прозаическом же отделе — путевые записки Н. Бестужева и Жуковского, «Восточные повести» (три сказки) Сенковского и т. д.

Открывается альманах традиционным литературным обзором А. Бестужева — «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 года и в начале 1825 годов». В этой небольшой статье Бестужев сумел кратко и живо, с присущим ему художественным остроумием проследить итоги русской литературы за последний период. Еще за предыдущий подобный обзор, да и вообще за альманах в целом, А. Бестужев получил высокую оценку своего великого современника... «Ты — все ты: т. е. мил, жив, умен, — писал Пушкин в январе 1824 года из Одессы. — Боратынский — прелесть и чудо, «Признание» — совершенство. После него не стану печатать своих элегий... Рылеева «Войнаровский» несравненно лучше всех его «Дум», слог его возмужал и становится истинно-повествовательным, чего у нас почти еще нет. Дельвиг — молодец»¹.

После разгрома восстания А. А. Бестужев был приговорен царским судом вместе с важнейшими участниками к смертной казни. В последний момент казнь была заменена на 20-летнюю каторгу. Около четырех лет он провел в заключении и ссылке в Сибири. В 1829 году определен рядовым в действующую Кавказскую армию. Несмотря на тяжелейшие условия, Бестужев продолжал свою творческую работу — за эти годы им написан ряд наиболее известных его повестей, стихотворений, этнографических очерков. Подписывать свои произведения писатель был вынужден псевдонимом Марлинский (в местечке Марли, возле Петергофа, он жил, служа в гвардии).

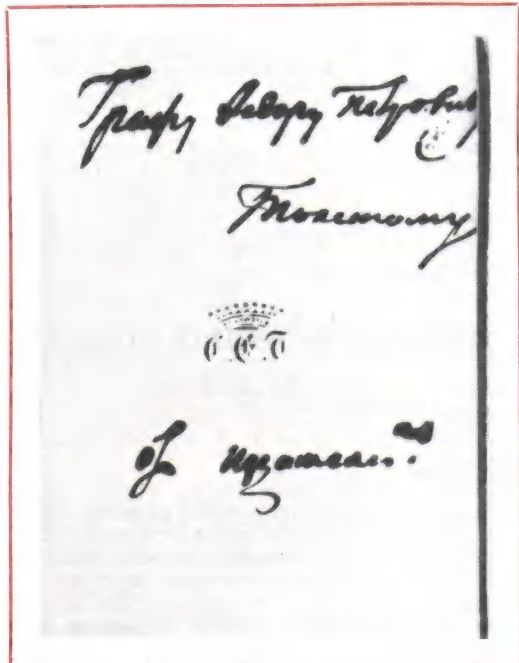
В боях на Кавказе, будучи рядовым, Бестужев проявлял исключительную храбрость и воинское умение, за что командование представило его к офицерскому званию. Но по личному повелению царя приказ не был утвержден. И лишь в 1836 году известному писателю был присвоен первый офицерский чин. А в июне 1837 года А. А. Бестужев погиб в бою за мыс Адлер.

Кому же подарен упомянутый выше экземпляр «Полярной звезды»? На страничке, предшествующей гравированному заглавному листу, А. А. Бестужев написал: «Графу Федору Петровичу Толстому от издателей». Здесь же, в центре странички, первый владелец альманаха поставил свой штамп-эксlibрис — графская корона и инициалы «ТФП», выполненные под готический шрифт. Такие штампы-печатки, изготовленные из агата, часто использовались владельцами библиотек. Пользоваться ими было просто — перед нанесением отгиска печатку следовало подержать над горящей свечой — копоть являлась хорошей краской.

Известный художник и медальер Ф. П. Толстой, «чудотворную кисть» которого обессмертил в «Евгении Онегине» А. С. Пушкин, имел судьбу необычную. Потомок аристократической древней фамилии, имевший чин морско-



Альманах «Полярная звезда».



Дарственная надпись А. А. Бестужева на альманахе «Полярная звезда» за 1825 г.

го офицера, вопреки традициям того времени — делать карьеру на государственной службе по протекциям — становится профессиональным художником. «Все говорили, — вспоминал позже Федор Толстой, — будто бы я унизил себя до такой степени, что нанашу бесечствие не только моей фамилии, но и всему дворянскому сословию». К счастью, жажда творчества оказалась сильной — отвергнутый и презираемый «своим обществом», Федор Толстой считал, что «всякий честный и благородных чувств человек должен добиваться чинов и наград своим собственным трудом, а не получать их протекцией...»². В течение двух лет художнику пришлось жить в подвале и существовать лишь на работы, продаваемые нянькой на базаре. Когда же талант его получил признание, Ф. П. Толстой получил службу в Эрмитаже.

Знакомство с А. А. Бестужевым произошло в 1818 году. Спустя годы в своих воспоминаниях художник упомянет, как в доме крупного государственного деятеля, писателя, художника, археолога, президента Академии художеств А. Н. Оленина он познакомился и хорошо сошелся с Гнедичем, Крыловым, Жуковским, Пушкиным и Плетневым, с отличавшимся тогда своими повестями Александром Бестужевым, умным молодым офицером, и с братом его Николаем Бестужевым, образованным морским лейтенантом балтийского флота.

Александр Бестужев, в свою очередь, также высоко оценил талантливого художника —

в статье, посвященной выставке в Академии художеств и помещенной в октябрьской книжке «Сына отечества» за 1820 год, он пишет об известных творениях Федора Толстого, в которых увековечены героические подвиги русского народа в Отечественной войне 1812 года, называя их «славными для художества, драгоценными для русского».

В годы, предшествующие декабрьскому восстанию, Ф. П. Толстой занимал руководящую роль в вольных обществах, фактически являвшихся филиалами Союза Благоденствия, и после разгрома был подвергнут аресту и допросу в Следственной комиссии. До конца своих дней он сохранял глубокое уважение к участникам восстания и считал их «способными, деятельными и честными гражданами».

Альманах «Полярная звезда» с дарственной надписью от издателей-декабристов А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Графу Федору Петровичу Толстому» — бесценное свидетельство дружбы благородных, мужественных и талантливых людей тех далеких, героических лет...

АВТОГРАФ А. К. ТОЛСТОГО

Первой книгой выдающегося русского поэта, писателя, драматурга Алексея Константиновича Толстого была фантастическая повесть «Упырь», напечатанная крайне ограниченным тиражом в Петербурге в 1841 году под псевдонимом Красногорский (от названия имения —

Красный Рог). Произведение было замечено В. Г. Белинским, написавшим о начинающем писателе пророчески: «Эта небольшая, со вкусом, даже изящно изданная книжка носит на себе все признаки еще слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования...» И далее: «...уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии; а мастерское изложение, умение сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на «слог», словом — во всем отпечаток руки твердой, литературной, — все это заставляет надеяться в будущем многого от автора «Упыря». В ком есть талант, в том жизнь и наука сделают свое дело, а в авторе «Упыря» — повторяем — есть решительное дарование»³!

Уже более века эта книга является мечтой библиофилов, а для собирателей иллюстрированных изданий она особенно желанна еще и из-за очаровательной гравюры-фронтисписа. Уже в 1883 году писатель Б. Маркевич в своей публикации о Толстом пишет об «Упире» как о величайшей редкости, выпущенной в малом количестве экземпляров.

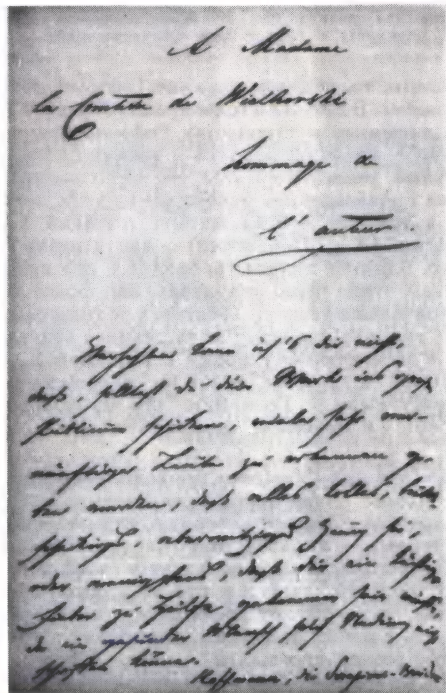


Фронтиспис первой книги А. К. Толстого «Упырь».

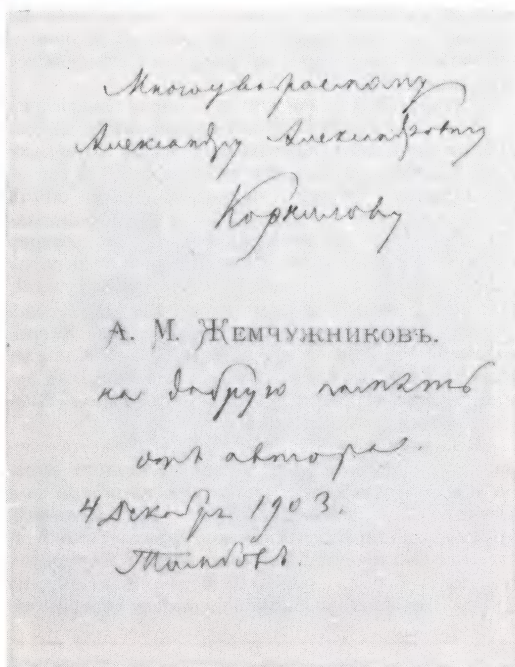
Лишь в 1900 году появилось второе издание с предисловием философа и поэта В. Соловьева, также отметившим занимательность сюжета и редкость издания.

Интересный экземпляр посчастливилось встретить мне: роскошный цельнокожаный переплет с золотым обрезом изготовлен по заказу А. К. Толстого. Фамилия автора отсутствует — на лицевой стороне переплета дано лишь название. Оборот серебряного муарового форзаца украшает большой автограф, что делает книгу особо ценной. Экземпляр отличается еще и тем, что отпечатан на толстой бумаге. Первая часть дарственной надписи сделана на французском языке: «Госпоже графине Виельгорской с почтением от автора». Далее Алексей Константинович написал несколько строк на немецком языке, взятых из произведения Гофмана «Серапионовы братья».

Исследователи творчества А. К. Толстого по-разному отзываются о повести молодого автора — одни утверждают, что она написана под влиянием гофмановских произведений, другие видят в романтической фантастике Толстого гофмановского не более чем в «Портрете» и «Вие» Гоголя или «Штоссе» и «Боярине Орше» Лермонтова. Если вспомнить биографию



Дарственная надпись автора.



Дарственная надпись А. М. Жемчужникова историку А. А. Корнилову на первом томе «Стихотворений».

Толстого, то, видимо, влияние Гофмана все же сказалось. В 20—30-е годы прошлого века в России внимание к творчеству Гофмана было огромно — им зачитывались и восхищались. Отдельные темы и мотивы его использовали в своих произведениях некоторые русские писатели, в том числе брат матери Антоний Погорельский (А. А. Перовский) — воспитатель Толстого. Влияние любимого, близкого человека на раннем этапе было значительным. Более того, обстоятельства жизни Толстого в те годы сложились так, что любящая мать ревниво отнеслась к его намечающему браку с княжной Е. Мещерской и потому всячески способствовала отъезду сына в Германию для прохождения службы в русской дипломатической миссии.

Работа над «Упырем» проходила в основном на родине Гофмана. Переплетение бытовой реальности с фантастическими, таинственными явлениями — характерные черты гофмановских произведений использует в своей повести и Толстой. Конечно же, это не прямое подражание знаменитому немецкому писателю — повесть в целом задумана и написана в традициях русской прозы.

Своей надписью из «Серапионовых братьев» А. К. Толстой как бы подчеркивает, что отправной точкой для его повести послужила книга Гофмана, которая была у него под рукой и в тот момент. Какие же строки взял писатель для цитаты? Напомню, что «Серапионовы

братья» занимают три тома в собрании сочинений Э. Т. А. Гофмана (последнее издание — «Недра», 1929—1930). Произведение построено весьма своеобразно: новеллы с ярко выраженным сюжетом чередуются с диалогами участников повествования — рассказчиков. После окончания сказки «Щелкун и мышиный царь» приводится очередной разговор, из которого и взят небольшой отрывок для автографа:

«Я не могу скрыть от тебя, что, если ты адресуешь свое произведение широкой публике, многие очень разумные люди дадут понять, что все это дикая, пестрая, суеверная, невероятная штука, или по крайней мере, что все это ты написал не без помощи горячечной лихорадки, ибо здоровый человек не может создать такое чудовище. Гофман, Серапионовы Братья».

Приведенные строки переписаны Толстым из книги Гофмана не дословно, некоторые слова он опустил. Текст выбран такой, что автор как бы шутит над самим собой. Если учесть, что автограф сделан какое-то время спустя после создания повести, то авторская самоирония вполне понятна и объяснима... Толстой, увлеченный новыми замыслами, дальнейшей литературной работой (мать и близкие, влиятельные родственники были против этого), естественно, мог уже внутренне отойти от «Упыря». Думаю, исследователям творчества А. К. Толстого будет интересно познакомиться с его надписью и они более толково и тщательно проанализируют ее.

Петербургская квартира, где жил Толстой с матерью, находилась на Михайловской площади (ныне площадь Искусств) в доме графа М. Ю. Виельгорского (1788—1856) — богатого и знатного царедворца. Дом его был центром столичной артистической жизни — известнейшие музыканты и певцы Европы давали здесь концерты и находили самый радужный прием. Виельгорский был хорошим музыкантом и композитором, его романсы пользовались популярностью. Он был близок с выдающимися писателями — Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Одоевским... Опера М. И. Глинки была впервые поставлена в доме М. Ю. Виельгорского.

В дарственной надписи Толстого имя графини Виельгорской не указано, можно только предполагать, что книга «Упырь» была им подарена хозяйке знаменитого дома — графине Луизе Карловне (урожд. принцесса Вирон, 1791—1853), жене Михаила Юрьевича Виельгорского.

СОАВТОР КОЗЬМЫ ПРУТКОВА

Люди старшего поколения, вероятно, помнят звучавшую в первые послевоенные годы грустную песню «Журавли». В ней была тоска по родной земле, и это отзывалось болью. Печаль песни совпадала с тогдашним настроением людей — ведь было великое множество потерь и разлук...

О, как больно душе, как мне хочется
плакать!..
Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..

А стихотворение «Осенние журавли», послужившее к рождению этой, казалось бы, современной песни, было написано в прошлом веке Алексеем Михайловичем Жемчужниковым во время пребывания в Германии. За долгую жизнь им было создано много лирических стихотворений, комедий, но не они принесли ему широкую известность. Сатирические произведения Козьмы Пруткова, созданные совместно с родными братьями Владимиром и Александром и двоюродным братом А. К. Толстым, — самый значительный вклад поэта в русскую литературу. Любопытно отметить, что лично его первое издание стихотворений и пьес вышло в свет лишь в 1892 году, когда поэту шел уже семьдесят второй год.

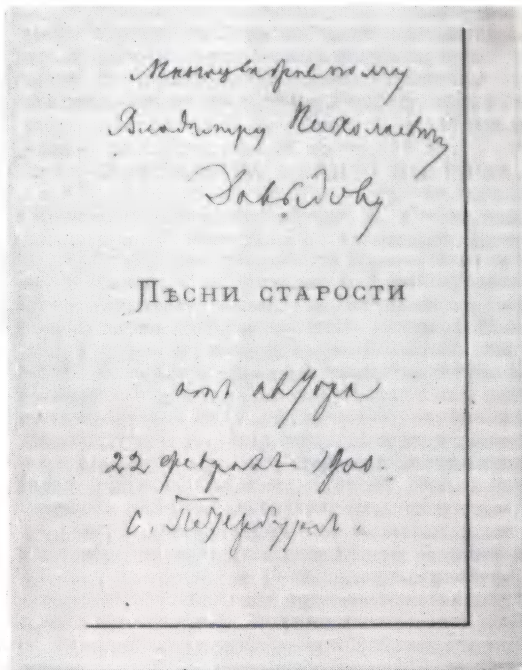
Всю жизнь А. М. Жемчужников тяготел к прогрессивной части русского общества. Его дружба с Некрасовым, Салтыковым-Щедриным, Тургеневым содействовала его выступлениям против социальной несправедливости в защиту простого народа. Выйдя со службы в отставку, он поселяется в Калуге, где губернатором был товарищ по учебе, женатый на его сестре. Либеральный общественный деятель, калужский губернатор В. А. Арцимович (1820—1893) вызывал постоянное недовольство и сопротивление помещиков-крепостников. Посильную помощь в ограничении административного произвола оказывал Арцимовичу Жемчужников.

Много лет спустя историк и публицист А. А. Корнилов (1862—1925), работая над книгой «Крестьянская реформа» (СПб., 1905), особое внимание уделил деятельности В. А. Арцимовича. О своей работе он сообщил А. М. Жемчужникову, послав вместе с письмом одну из своих статей. Старый поэт, живший последние годы в Тамбове, благодарный за внимание, послал в ответ письмо и книгу «Стихотворения А. М. Жемчужникова в двух томах» (СПб., типография М. М. Стасюлевича, 1898), на шмуцтитуле написав:

«Многоуважаемому Александру Александровичу Корнилову на добрую память от автора 4 декабря 1903. Тамбов».

Книга эта ныне хранится в моем собрании. В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится письмо А. А. Корнилова:

«Глубокоуважаемый Алексей Михайлович. Позвольте принести Вам мою признательность за присылку Ваших почтенных трудов. Получив Вашу столь лестную для меня посылку и Ваше любезное письмо, я был глубоко тронут той добротой и вниманием, которое Вы мне оказали, и вместе с тем очень смущен теми хлопотами, которые вызвал присылкой своей статьи. Мне хотелось поднести ее Вам в виду той связи, которую идеи Николая Тургенева имеют с дорогой Вашему сердцу эпохой шестидесятых годов.



Дарственная надпись А. М. Жемчужникова на сборнике стихотворений «Песни старости» артисту Александринского театра В. Н. Давыдову.

Сборник, посвященный памяти Виктора Антоновича Арцимовича, А. М. уже печатается...

Искренно преданный Вам

Ваш покорнейший слуга А. Корнилов.

Саратов. 7/XII 903».

В конце жизни к А. М. Жемчужникову пришла популярность. В 1900 году он был избран почетным академиком одновременно с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым и В. Г. Короленко. В том же году был отпразднован пятидесятилетний юбилей литературной деятельности. Последние годы поэт подолгу жил в семье дочери — в Тамбове или в их деревне Ильиновке. И много писал — пейзажная лирика воспекает красоту русской природы, философские стихи рассказывают о мудрой, доброй старости с жизнеутверждающими началами.

Последний прижитый сборник «Песни старости» (СПб., 1900) мне также посчастливилось найти с дарственной надписью:

«Многоуважаемому Владимиру Николаевичу Давыдову от автора

22 февраля 1900. С. Петербург».

Любимец театральных зрителей, актер В. Н. Давыдов (1849—1925) отличался глубоким проникновением в образ, его великолепное мастерство было проникнуто демократической направленностью. Давыдов был знаком с Островским, Л. Толстым, Салтыковым-Щедриным, Г. Успенским, Чеховым, Григоровичем. Книга с автографом Жемчужникова, подарен-

ная известному актеру, напоминает о их знакомстве и о беззаветной любви поэта к театру. В редкие приезды в Петербург старый поэт посещает любимый Александринский театр. Когда-то давно на сцене этого театра ставилась и его пьеса...

«ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ» С АВТОГРАФОМ

Как поэт А. А. Фет с 1860 года, увлеченный своим помещичьим хозяйством, замолк на долгие годы — многие его современники, да и он сам, считали, что как стихотворец он кончился. Не соглашался с таким мнением лишь Л. Н. Толстой: «Я от вас все жду, как от 20-летнего поэта, и не верю, чтобы вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека. Поток ваш все течет... и ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет...»⁴. И Толстой оказался пророческим. Подобно живительному роднику поэтический дар Фета пробился вновь, да с какой силой! Сборник стихов, вышедший после двадцатилетнего перерыва, получил символическое название «Вечерние огни» — поэту исполнилось уже 63 года. Под этим же названием Афанасий Афанасьевич опубликовал в последующие годы еще три сборника новых стихов. Был подготовлен и пятый, но при жизни автора не успел выйти в свет. Стихи, написанные на седьмом и восьмом десятке лет, оказались удивительно светлыми и жизнеутрачивающими — творческий дар поэта достиг высшего расцвета — явление редчайшее.

Мне посчастливилось собрать все пять выпусков «Вечерних огней», но из них особо мне дорог третий, на титульном листе которого рукою А. А. Фета сделана дарственная надпись: «Графине Александре Андреевне Олсуфьевой на память старику автор».

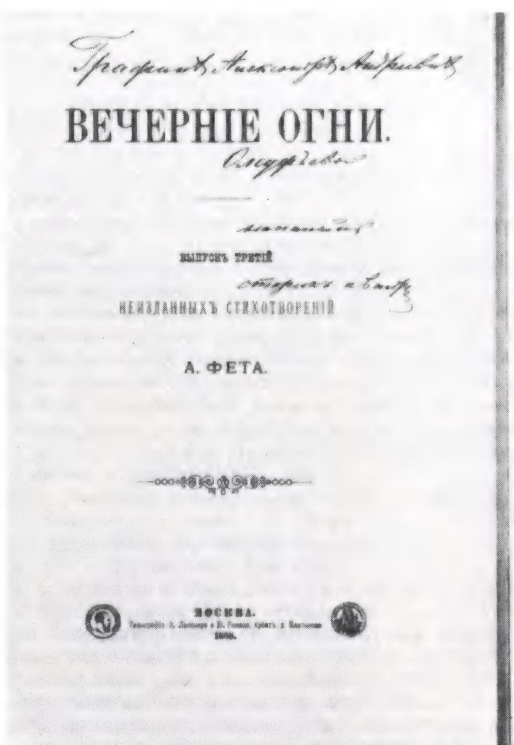
А на одном из разворотов помещены два стихотворения — «Графу Алексею Васильевичу Олсуфьеву» и «Графине Александре Андреевне Олсуфьевой, при получении от нее гиацинтов». Последнее стихотворение небольшое, поэтому приведу его полностью:

В смущеньи ум, не свяжешь взглядом
И нем язык:
Вы с гиацинтами, — и рядом
Большой старик.
Но безразлично, беззаветно
Власть Вам дана:
Где Вы царите так приветно, —
Всегда весна.

2 января 1887.

Владельцы заказали для книги изящный полукожаный переплет, на корешке, помимо фамилии автора и названия, тиснуты золотом инициалы «А. О.» с графской короной. На внутренней стороне переплета наклеен гербовый экслибрис графа Алексея Олсуфьева с девизом «Никто как Бог».

Известно, как много занимался А. А. Фет переводами римских классиков. С большой статьей «Ювенал в переводе г. Фета» (Журн. мини-



Автограф А. А. Фета на сборнике стихотворений «Вечерние огни»: «Графине Александре Андреевне Олсуфьевой на память старику автор».

стерства нар. просвещения, 1886, № 2, 3, 5, 8) выступил генерал, граф А. В. Олсуфьев, прекрасно владевший латинским языком. Это послужило поводом для знакомства, и впоследствии он помогал поэту в переводах. Когда вышло в свет издание Овидия «Превращения» в переводе Фета (М., 1887), то поэт послал экземпляр книги, куда вложил стихотворение под заголовком «Душевно уважаемому и строгому сотруднику графу А. В. Олсуфьеву». Вот окончание этих поэтических строк, написанных в шутиливой манере:

И вот, оправленный, умытый,
Поэт наш римский знаменитый
Стоит, расчесан, как к венцу.
Чего ж кобениться упрямо?
Пусть отправляется он прямо
С поклоном к крестному отцу.

Недавно, увидав на прилавке букинистического магазина отдельный оттиск вышеупомянутой статьи Олсуфьева с его дарственной надписью, я его приобрел и поставил на книжную полку рядом с выпусками «Вечерних огней».

Автограф же Фета написан для супруги графа. Александра Андреевна, (урожд. Миклашев-

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

1848—1889

Дорогой Екаторине Петровне

А. ФЕТА

моя сестра

ЧАСТЬ I.

29 Сентября

Москва. 1890

Томская А. И. Никольская в 12-й Московской стр. № 4

Дарственная надпись А. А. Фета на книге «Мои воспоминания».

ская) — высокообразованная женщина, о чем свидетельствует ее обширная переписка с поэтом П. А. Вяземским, П. И. Бартеневым — историком литературы, библиографом, основателем и редактором журнала «Русский архив», Н. П. Барсуковым — библиографом, директором архива министерства народного просвещения, членом общества любителей российской словесности.

П. А. Вяземский посвятил А. А. Олсуфьевой два стихотворения: «Как сердце, так и ваш мизинчик...» и «Мы в Гамбурге сошлись и здесь же разойдемся...». Интересно заметить, что второе из этих стихотворений автор заканчивает строками:

В дороге встретившись, я любовался
вами,

А дома буду помнить вас.

В этих строках обыгрывается название первого поэтического сборника П. А. Вяземского «В дороге и дома» (1862).

В газете «Московские ведомости», 1903, № 228 была помещена заметка, сообщающая, что граф А. В. Олсуфьев, высоко ценивший литературную деятельность А. А. Фета, после его смерти оригинально выразил свое глубокое

уважение поэту. В своем имении — селе Ершове (в 3 верстах от Звенигорода), на западной стене церкви он прикрепил белую мраморную доску с надписью золотыми буквами: «В память великого поэта Афанасия Афанасьевича Фета, удостоившего своею дружбою владельца села Ершова. Родился 23 ноября 1820 г. Скончался 21 ноября 1892 г.»

К сожалению, церковь, построенная талантливым русским архитектором А. Г. Григорьевым, была взорвана фашистами во время кратковременной оккупации Ершова.

И еще одна дарственная надпись хранится в моем собрании — сделана она поэтом на обложке первой книги «Мои воспоминания» (М., 1890): «Дорогой Екаторине Петровне Щукиной на память признательный автор. 29 сентября».

Екатерина Петровна — сестра жены поэта Марии Петровны, а их братья Боткины в различных областях жизненной деятельности стали известными людьми: Сергей Петрович — профессором медицины, Михаил Петрович — академиком исторической живописи, Василий Петрович — писателем и критиком. А сын Екатерины Петровны — П. И. Щукин, работая в торговой фирме, стал крупным собирателем новой европейской живописи.

В 1857 году Екатерина Петровна ездила лечиться за границу (Германия, Швейцария, Франция) со своей младшей сестрой, невестой Фета. Афанасий Афанасьевич следом за своей избранной приехал в Париж, где и состоялась их свадьба — венчание происходило в русской посольской церкви. У жениха шафером был И. С. Тургенев, а у невесты ее братья: Василий, Николай и Дмитрий. На следующий день после свадьбы в Париж приехал И. А. Гончаров и остановился в той же гостинице, где жил Фет.

Время от времени, приезжая из своего имения по делам в Москву, а позже совсем переедет туда, он бывал в доме сестры жены. В феврале 1874 года присутствовал на юбилейном торжестве, к которому написал стихотворение «На серебряную свадьбу Екатерины Петровны Щукиной», заканчивающееся строками:

Судьба всего послала полной чашей.
Чего желать? Чего искать душой?
Дай бог с четой серебряною нашей
Нам праздновать день свадьбы золотой!

Дочери Екатерины Петровны, юной племяннице Ольге Щукиной в мае 1880 года А. А. Фет также посвятил стихи — девушка не раз гостила в прекрасном поместье поэта Воробьевке Курской губернии.

Спасибо вам! Мы вспоминаем
Ваш резвый смех с умом живым.
Без вас и май бы был не маем,
И старый парк бы был иным.

И не перила лишь пещрили
Вы разноцветной чередой,
А всю весну для нас увиди
Вы лентой нежно-голубой.

ХУДОЖНИЦЕ — С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ

Однажды я приобрел несколько книг из библиотеки Елизаветы Меркурьевны Бём (1843—1914) — художницы, известной своими силуэтными иллюстрациями к «Запискам охотника» И. С. Тургенева и басням И. А. Крылова, а также рисунками для детских изданий. Творчество ее ценили Л. Н. Толстой, В. В. Стасов, И. Е. Репин.

Превосходны акварельные портреты Е. М. Бём, написанные Репиным и Врубелем. Сохранилось письмо выдающегося художника И. Н. Крамского к Е. М. Бём:

«9 марта 1875.

Милостливая государыня Е. М. Правление Товарищества не находит никакого препятствия к тому, чтобы ваше издание (картинки в силуэтах, изд. г-жею Бём) было продаваемо при выставке Товарищества; напротив того, оно поручило написать Вам, что ему очень приятно дать место такому талантливому исполнению (подлинные выражения Ге и Брюллова). Примите уверение в моем к Вам уважении. И. Крамской».

На четырех оказавшихся у меня книгах из библиотеки Елизаветы Меркурьевны имеются дарственные надписи И. А. Гончарова, А. Н. Майкова и В. Г. Короленко. При каких обстоятельствах были подарены книги выдаю-

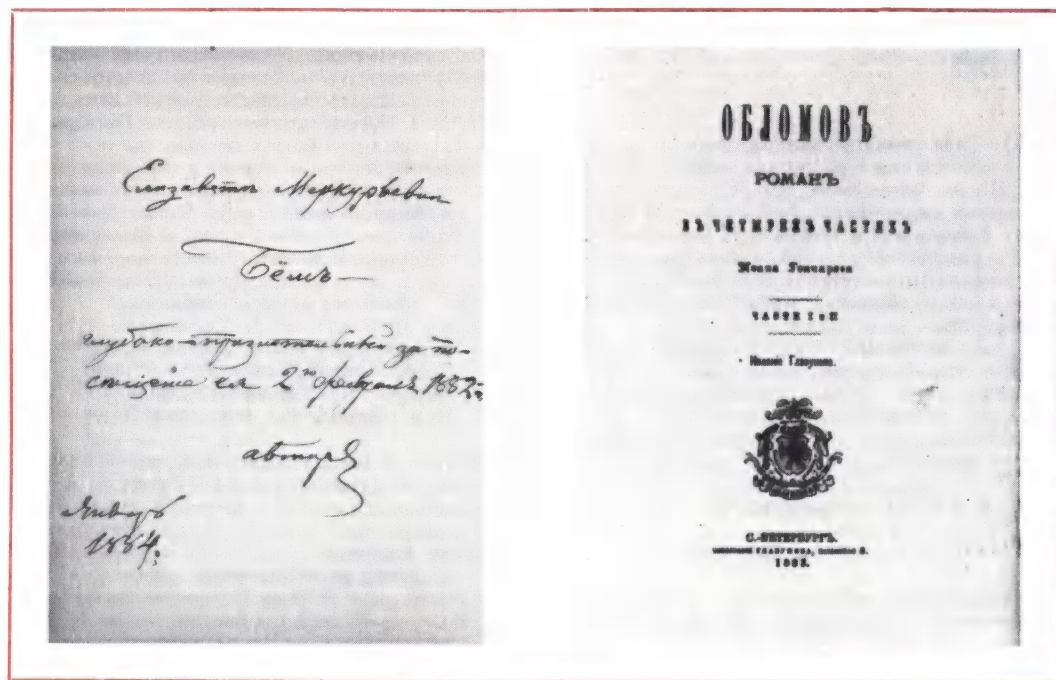
щимися литераторами — частично мне удалось выяснить.

2 февраля 1883 года автора «Обломова» посетила делегация женщин — в их числе была Е. М. Бём — и в связи с 50-летием литературной деятельности писателя вручила юбиляру адрес и две вазы.

В адресе «от ста русских женщин» есть строки: «Читая Вас, не только наслаждаешься, но и учишься: у Бабушки — житейской мудрости, у Ольги — как любить и с достоинством переносить разочарования, у Веры — как «после горьких опытов, ошибок гордости и неведения» не падать духом, не умаляться, «а возрастать на пути разумной, сознательной жизни».

Писатель через три дня в «Вестнике Европы» ответил на это приветствие письмом. В нем, в частности, говорится: «Вы угадали, что автор страдал вместе с Бабушкой и Верой, что он разделял муки Райского, скорбел с Ольгой об Обломове, с Обломовым — о нем самом, одним словом, что он, рисуя эти образы, сам жил их жизнью, плакал их слезами!»⁵.

Почти год спустя, как только издатель Глазунов доставил ему авторские экземпляры, И. А. Гончаров подарил своим почитательницам только что отпечатанные книги. На титульном развороте первого тома романа «Обломов» (издание в двух томах) писатель сделал дарственную надпись:



Дарственная надпись А. И. Гончарова на книге «Обломов».



Е. М. Бём. Бежин луг. Из альбома «Типы из «Записок охотника» И. С. Тургенева в силуэтах Елизаветы Бём. Спб., 1883».



Е. М. Бём рисует крестьянских детей.



Дарственная надпись Н. А. Рубакина.

«Елизавете Меркурьевне Бём глубоко-признательный за посещение ея 2-го февраля 1882 г. — автор. Январь. 1884». В надписи есть неточность — посещение делегации было 2 февраля 1883 года.

Любопытна еще одна деталь. Надпись сделана на издании 1883 года. В списке печатных работ Гончарова (А лексеев в А. Д. Библиография И. А. Гончарова. Л., «Наука», 1968) это издание не упомянуто. По-видимому, был сделан небольшой тираж для автора со специальным тиснением на переплете и титуле с набора, предназначавшегося для полного собрания сочинений в 8-ми томах, которое хоть и вышло в декабре 1883 года, но помечено 1884 годом (издание И. И. Глазунова. Спб., 1884).

В последующие годы Е. М. Бём выполнила портретный силуэт Гончарова и преподнесла писателю. В свою очередь, Иван Александрович подарил художнице свою фотографию и первые три номера журнала «Нива» за 1888 год с очерком «Слуги».

В 1895 году поэт Аполлон Николаевич Майков подарил Е. М. Бём свое полное собрание сочинений в трех томах (издание А. Ф. Маркса. Спб., 1893). Книги небольшого формата, в изящных полукожаных переплетах с золотым тиснением. Перед титулом первого

тома вклеен портрет автора — гравюра на стали, выполненная в Лейпциге. На заглавном листе автограф:

Елизавете Меркурьевне Бём.

Ваш карандаш — моя обида —
Зачем не мне он Богом дан!
Я не показываю вида —
Но в сердце — целый ураган!

А. М. 20 янв. 1895

Сделал эту шуточную надпись Аполлон Николаевич в конце своей жизни. Почему же поэт так «завидует» художнице? В юности он, сын известного художника-академика, мечтал и готовился стать художником. В выборе призвания сыграло решающую роль слабое зрение — близорукость. К счастью, художник навсегда сохранился в его поэзии.

В Полтаве, в музее В. Г. Короленко хранится его книга «Дело мултанских вотяков» (М., 1896), напоминающая о судебном процессе над крестьянами-удмуртами. Благодаря мужественному заступничеству крупного русского писателя дело было выиграно у самодержавного мракобесия. Один экземпляр из небольшого тиража (400 экз.) по просьбе друзей писателя был весьма оригинально оформлен. По рисунку Е. М. Бём на кожаном переплете были сделаны украшения, куда, помимо основного заголовка, включен и такой текст: «Правда кривду стреляет и кривда падает со страхом». На эту же тему создан художницей и рисунок — всадник из лука поражает дракона. Книга в таком прекрасном переплете была преподнесена автору друзьями.

Елизавете Меркурьевне довелось также работать над иллюстрациями к рассказам Короленко «Сон Макара» и «Приемыш». В знак признательности Владимир Галактионович подарил художнице свои книги. Две из них — с одинаковыми названиями «Очерки и рассказы», изданные редакцией журнала «Русское богатство» в 1899 и 1903 годах, находятся в моем собрании. Обе книги переплетены в полукожаные переплеты, на корешке одной из них золотом тиснуто: «От Автора 31 мая 1900 г.». На титульных листах по верхнему полю сделаны автором надписи. На книге 1899 года: «Глубокоуважаемой Елизавете Меркурьевне Бём на память от Вл. Короленко». На второй книге такой автограф: «Елизавете Меркурьевне Бём на добрую память о Короленках».

ПРОСВЕТИТЕЛЬ И БИБЛИОГРАФ

Выдающийся русский просветитель, крупный библиограф Николай Александрович Рубакин написал 280 научно-популярных книг и брошюр о разных областях знания — биологии, астрономии, физике, химии, географии, истории. Книги его принесли в свое время неоценимую пользу народному просвещению. К 1928 году тираж книг Н. А. Рубакина составил более 20 миллионов экземпляров.

Несмотря на такое огромное количество изданных сочинений, встретить книгу Рубакина с автографом чрезвычайно трудно. Человек прогрессивных убеждений, Н. А. Рубакин подвергался преследованиям в царской России, он вынужден был эмигрировать и с тех пор до конца своих дней жил в Швейцарии. Перед отъездом он передал свою библиотеку (около 130 000 томов) Петербургской лиге образования.

В Швейцарии неутомимый просветитель вновь создал замечательную библиотеку, которой пользовались русские политэмигранты-революционеры — со многими из них Николай Александрович в те годы сблизился.

Крупнейшее произведение Н. А. Рубакина «Среди книг» высоко оценил В. И. Ленин. В своей рецензии он писал: «Ни одной солидной библиотеке без сочинения г-на Рубакина нельзя будет обойтись»⁵. Для второго издания по просьбе Рубакина В. И. Ленин написал статью «О большевизме». Поэтому я был очень обрадован, встретив однажды в букинистическом магазине небольшую книжечку Н. А. Рубакина с автографом. Название ее «Вперед и вверх!», издана в Швейцарии издательством «Едип» в 1921 году. Надпись, сделанная вдоль корешка книги, такова:

Книгоиздательство Edip, мною задуманное, — рухнуло, я из него ушел. Н. Р.

Легко себе представить трудное положение Николая Александровича в книгоиздательстве «Едип». Находясь в тяжелых материальных условиях, он зависел от дельцов, финансирующих издательство. Их не устраивало, что Рубакин хотел издавать книги на русском языке для Страны Советов. Это и послужило основой для разрыва.

Для кого же сделана авторская надпись? Догадаться сейчас об этом было бы трудно, если бы не подпись владельца книги — В. Карпинский. Видный деятель Коммунистической партии, журналист, публицист Вячеслав Алексеевич Карпинский хорошо знал Рубакина с 1900-х годов и переписывался с ним до 1923 года, был одним из первых его критиков.

Следует вспомнить, что в первые годы после Великой Октябрьской революции, когда в стране была страшная разруха, советские книгоиздатели считали нужным выпускать многие книги Н. А. Рубакина огромными тиражами.

Свою богатейшую по подбору книг библиотеку количеством около 100 000 экземпляров Н. А. Рубакин завещал Советскому Союзу. Под специальным шифром «Рб» книги эти хранятся в крупнейшем книгохранилище нашей страны — в Библиотеке имени В. И. Ленина.

ПРИМЕЧАНИЯ.

¹ Пушкин А. С. Собр. соч. М., 1977, т. 9, с. 83—84.

² Лит. наследство, т. 60. М., 1956, кн. II, с. 26.

³ Белинский В. Г., Полн. собр. соч. М., 1954, т. 5, с. 473—474.

⁴ Толстой Л. Н., Полн. собр. соч., т. 61, с. 172.

⁵ Вестник Европы, СПб, 1883, № 3, с. 444—446.

⁶ Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 25, с. 111—112.

Герцена и мистического Владимира Соловьева и рассказов которого искали Достоевский и Лев Толстой наравне со всею грамотною и неграмотною Россией вплоть до мужика, ходившего вместе с Горбуновым на медведя.

Поразительно единодушные, с которыми сходились в оценке Горбунова-рассказчика все слышавшие его на протяжении сорока лет, от 50-х до 90-х гг. <...>

Все сходились в том, что перед ними исключительный художник, и то, о чем этот художник рассказывает, есть Россия — подлинная, живая, неумная, неукладная, казенная и народная, городская и деревенская, верующая и неверующая, — та самая, о которой приятель Горбунова — Н. А. Некрасов сказал:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всеильная,
Матушка-Русь!..

В словаре «Наши знакомые», куда внесены все русские знаменитости начала 80-х годов, В. О. Михневич не побоялся назвать Горбунова «положительно самым популярным человеком в среде грамотной России» <...>⁴

Вот что обычно делалось в театральном зале после того, как Горбунов «рассказывал» по программе, повторил и вновь повторил свой рассказ: — «Горбунова! Браво! Горбунов, бис! бис!» — «Все увлекались так, что забывали всякое чувство сострадания и деликатности, доводя артиста до изнеможения. И снова бис, пока у самих не перехватит в горле и станет больно кричать и пока не потухнут люстры и внушительно не посоветуют расходиться» <...>

7 ноября 1879 года Горбунов, по обыкновению коротко, записал в дневнике: «Открытие Малого театра. Громадный успех». А смысл этой записи весьма не короткий: дирекция Императорских театров открывала новый, арендованный ею, театр в Петербурге, и благо разумно решила, что торжество будет не в торжество, если в конце спектакля не выступит Горбунов со своими рассказами.

М. Г. Савина была любимицей публики, она была очень ревнива к чужим успехам, тем более к успехам у нее на бенефисе, — однако ни один ее бенефис не обходился без «Сцены г. Горбунова». В 1884 году, в феврале, Горбунов записал в дневнике: «6. Писал рассказ для бенефиса Савиной» <...>

Выступление Горбунова с рассказом, да еще с новым, было событием — и умная Савина никогда от него не отказывалась. Если так поступала Савина, то что же сказать о других бенефициантах?

Вот записи Горбунова: «1884. Октября 16. Писал рассказ для бенефиса Арди. 17. В бенефис Арди рассказывал. Большой успех. Ноябрь 28. Бенефис Абаринской. Играл в двух пьесах и рассказывал». И т. д. и т. д.

Не только в Петербурге Горбунов служил приманкою всех бенефисов, его выписывали

С. Дурылин

Великий рассказчик

I

Лучшее, полнейшее издание Горбунова, принятое кружком его друзей при Обществе любителей древней письменности, издано всего в 500 экземплярах, почти недоступно, и к тому же не окончено: в нем нет статей Горбунова по истории театра¹. Мало распространена и прекрасная, но редкая книга Павла Шереметева «Отзвуки рассказов Горбунова»². Наиболее распространенное издание — А. Ф. Маркса, изданное под редакцией А. Ф. Кони и приложенное к «Ниве» 1904 года³, не полно, сильно пострадало от цензуры и Горбунова-рассказчика представляет гораздо слабее, чем Горбунова-писателя*.

Но судьба Горбунова — особая судьба: замечательного писателя, автора «Дневника дворского», его никогда не выразит никакое самое полное и образцовое собрание его сочинений. Оно всегда будет несравненно меньше того, чем было его действительное художество, потому что Горбунов был художник не просто слова, как другие писатели, но живого слова, — а то его «слово», которое мы находим даже в лучшем собрании его сочинений, лишь бедные крупинки, доставшиеся нам с того обильного пиришества, за которым присутствовали более счастливые люди прошлых поколений, захвативших «живое слово» Горбунова (его деятельность рассказчика продолжалась несколько более сорока лет)...

Горбунов был рассказчик, чьему художеству дивились величайшие русские актеры Щепкин и Плов Садовский и чье изустное творчество считали равноценными со своим писательством такие художники, как Островский, Тургенев и Писемский. Горбунов был рассказчик, который умел возбуждать смех иронического

* В годы, последующие после смерти С. Н. Дурылина (1954), вышли: Горбунов И. Ф. Избранное. Составление, подгот. текста, вступительная статья и прим. Г. Бердникова. М.-Л., 1965; Горбунов И. Ф. Юмористические рассказы и очерки. Подгот. текста, послед. и прим. Н. А. Сверчкова. М., 1962. *Прим. публикатора.*

на бенефисы в Москву. 26 декабря 1881 года он заносит в дневник: «Юбилей Никулиной. Подносил на сцене адрес и венок. В антракте читал. Успех огромный».

Все это возможно было лишь потому, что публика, что бы ни шло в театре и кто бы ни играл на сцене, с неизменным восторгом встречала живое слово Горбунова, искала и жаждала его.

Просмотрев пять актов и десять картин трагедии «Смерть Иоанна Грозного», весь зрительный зал остаётся, как один человек, ждать «Рассказов г. Горбунова», — и после спектакля Горбунов кратко отмечает в дневнике: «Страшный прием публики» (1879, декабря 25). Это успех — после трагедии, а вот успех после комедии: знаменитый артист, излюбленный всеми комик, справляет бенефис. Казалось бы, довольно смеха, достаточно веселья? Но вот что лаконически записывает Горбунов: «Бенефис Варламова. Вышел на сцену без четверти час, но все-таки имел успех» (1887, февраля 13).

Можно без преувеличения сказать: «Сцена г. Горбунова» была самой постоянной, шедшей с наибольшим успехом, пьесой репертуара Александринского театра в 1870—1890 годах. В весенних (во время великого поста) и летних поездках Горбунов почти ежегодно объезжал со своими рассказами всю Россию от Сибири до Варшавы, от Вологды до Тифлиса. Успех его был шумным, громким, прочным, постоянным. Его буквально носили на руках. Иногда он сам даже как бы пугался этого успеха. В 1870 году, во время гастролей в Харькове, он записал в дневнике (март 9): «Концерт с громким успехом. Безобразие райка». Очевидно, переполненный «раек» просто неистовствовал в своих восторгах перед своим любимцем, в чем-то мешая своим смехом и шумом тонкому мастеру словесных оттенков и полутонов (...)

На Волге Горбунов имел такой же успех, как на юге, в «азиатской» Астрахани, как в «европейской» Одессе, в Нижнем Новгороде, как в Варшаве, в Рязани, как в Казани, — успех был повсюдный, и на всем протяжении деятельности Горбунова, при всех переменах политических настроений и веяний в искусстве.

Если б Горбунов захотел отказаться от этих бесчисленных выступлений в столицах и провинции, он не мог бы этого сделать, так как был человеком исключительной доброты и сердечности: огромное большинство его выступлений, особенно в зимний сезон, было вызвано желанием помочь человеческой нужде.

Благотворительная доблесть Горбунова не знала пределов. Всякое общественное учреждение, ищущее средств к существованию, всякое частное лицо, погибающее в нужде, знало в 1870—1890 годах, что участие Горбунова в концерте обеспечивает полный сбор, — и он нес истинно огромный, совершенно безвозмездный труд по спасению своими рассказами всех погибающих от денежного художества. Он читал в пользу Литературного фонда, Комитета грамотности, Высших женских курсов, Школы

имени Достоевского, клуба Приказчиков и т. д. Он читал в пользу всевозможных благотворительных учреждений, в фонд памятников Гоголю, Островскому и т. д., он «рассказывал» в пользу голодающих мужиков, писателей, актеров, студентов, курсисток, педагогичек, художников, гимназистов, гимназисток, в пользу частных лиц. В высокой степени показательна одна отметка в дневнике за 1883 год (февраля 23). «Читал в благородном собрании в пользу одной девицы. Из участвующих, кроме меня, никто не явился», наконец в пользу «...» неизвестно кого и чего. Так именно и отмечал он сам в дневнике: «1884 (Одесса). Июль 17. Читал в пользу чью-то по просьбе прокурора Маркевича... 1889. Март 31. Читал в Консерватории в пользу... не знаю чего... 1890. Июль 21. Ездил на Сиверскую станцию в д. барона Фредерикса, читал в пользу не знаю чью... 1892. Апрель 19. Читал в пользу...?»⁶.

Это многоточие со знаком вопроса не нуждается в пояснениях. Горбунов безропотно и безотказно откликался своими рассказами на всякую просьбу о помощи и за сорок лет передал учреждениям и лицам большие тысячи, не получив за свои рассказы ни копейки, сам будучи человеком малосостоятельным.

Но публичные выступления в театрах и в концертных залах, с открытой продажей билетов, никогда, особенно в годы его художественной зрелости, не привлекали Горбунова. Он всегда предпочитал рассказывать в другой обстановке, вне официальных рамок спектакля или концерта, без необходимости считаться с требованиями цензуры, с вкусами или безвкусицей публики, — он предпочитал «рассказывать» там, где мог быть свободен в своем рассказе: в выборе темы, в развертывании сюжета, в порыве импровизации, в самом слове своем. Он предпочитал выступать в более тесных кругах общества, в дружеской среде, у частных лиц и т. д.

Подводя итог 35-летней деятельности И. Ф. Горбунова, «Исторический Вестник» писал: «Щедрость на свой талант у него изумительная, чисто русская, свойственная широкой русской натуре. Своим талантом он сорил, не считая: в театре, товарищеском кругу, холостой компании, на вечере у знакомых, при встрече на улице, в ресторане — всюду, где придется и где найдется у него несколько слушателей. В этом отношении он человек — единственный в своем роде, почему и популярность его тоже единственная, очень большая, проникшая во все слои столичного общества. Он действительно любимец публики, в самом точном значении этого слова, ибо кого же и любит публика, как не человека, своим талантом и остроумием заставляющего ее приходить в самое приятное расположение Духа»⁷.

Это заключение обозревателя исторического журнала полностью подтверждается дневником Горбунова. Судя по записям в дневнике, редкий день проходил без того, чтобы Горбунова не звали куда-нибудь рассказывать: в квартиру



И. И. Горбунов.

литератора, в редакцию газеты, в мужскую гимназию, в офицерское собрание, в больницу, во дворец, на юбилейный обед, на актерскую вечеринку, на товарищескую встречу студентов или профессоров, в мастерскую художника, наконец, просто к бесчисленным друзьям, приятелям и знакомым.

Из многочисленных писем Горбунова и из его дневника видно, что ни одно писательское торжество, начиная от простых «именин», кончая пятидесятилетним юбилеем, не обходилось в Петербурге и в Москве без участия Горбунова. Круг его литературных знакомств включал в себя едва ли не весь наличный состав русской литературы 1850—1890 годов <...>

10 августа 1879 года Горбунов записывает в дневнике: «Виделся с И. А. Гончаровым»; известна замкнутость и даже нелюдимость Гончарова в эти годы. Для Горбунова же была всегда открыта дверь в кабинет автора «Обломова».

В том же году Горбунов часто встречался и с И. С. Тургеневым и много ему рассказывал, в ноябре того же 1879-го (19) вписано в дневник: «Беседовал с Глебом Успенским». В 1882 году (марта 24) отмечено: «Вечером у графини Толстой с В. Соловьев». Это встреча с вдовой автора «Царя Федора Иоанновича» и философом-поэтом Вл. С. Соловьевым.

В обществе взыскательных знатоков живого русского слова — С. В. Максимова и Н. С. Лескова Горбунов проводил долгие вечера в течение многих лет. Имя А. Н. Островского

никогда не сходит со страниц дневника Горбунова.

Горбунов печатался мало и в немногих изданиях («Современник», «Отечественные записки», «Русская старина», «Складчина» и др.), но он был «своим» во многих редакциях, даже там, где не поместили ни строки. В «Русских ведомостях» — самой передовой из газет 1880—1890 годов, где сотрудничали Салтыков и Глеб Успенский, Горбунов поместил только одно «Письмо в редакцию». Но редакция этой лучшей газеты своего времени высоко ценила общение с великим рассказчиком.

В марте 1883 года (15) Горбунов отмечает: «С Музилом у Островского. В редакции «Русских ведомостей» рассказывал и имел громадный успех». Этот успех у ученых редакторов и сотрудников профессорской газеты был так велик, что они пожелали повторить встречу с Горбуновым. Под 1 апреля 1884 года у него записано: «Обед в Эрмитаже с сотрудниками «Русских ведомостей». Познакомился с Муромцевым (опальный профессор, будущий председатель Государственной думы.— С. Д.) и др.. В 1887 году вновь повторяется эта редакционная встреча с Горбуновым: «Обедал с редакцией «Русских ведомостей». Были: Лукин, Гольцев, В. П. Безобразов» (июнь 27). В марте 1892-го (20) в дневник внесена подобная же запись: «Беседовал с Соболевским (редактор «Русских ведомостей». — С. Д.), Глебом Успенским и Михайловским (известный критик-публицист.— С. Д.) в «Славянском базаре».

Эти встречи на протяжении десяти лет не случайны: Горбунов был подлинный знаток народной жизни — и общение с ним было поучительно даже для таких знатоков русской деревни и глуши, как Глеб Успенский.

В дневнике Горбунова находим такие примечательные записи: «1881.X.9. Обедал с Ковалевским в Европейской гостинице. Был ректор Бекетов, Сеченов, Спасович и др. <...>

Тут, что ни имя, то страница или целая глава из истории русской науки. Историк и социолог Максим Ковалевский; ректор Петербургского университета академик А. Н. Бекетов; глава и зачинатель русской школы физиологов И. М. Сеченов; юрист-криминалист В. Д. Спасович; историки К. Д. Кавелин, Н. И. Костомаров, академик А. Ф. Бычков; знаменитый терапевт С. П. Боткин — вот те, кто искал встречи с Горбуновым! Можно бы привести еще много подобных же отметок из дневника Горбунова, свидетельствующих о его дружеском и творческом общении с миром ученых.

Еще более прочно было творческое общение Горбунова с миром соседних искусств — музыки и живописи. Знаток и мастер русской народной песни, он общался с лучшими музыкантами своего времени. Записи из дневника свидетельствуют о непрерывном общении Горбунова с К. Ю. Давыдовым — знаменитым виолончелистом и композитором и с А. Г. Рубинштейном.

Знакомство Горбунова с П. И. Чайковским началось еще в 1870-х годах. 13 сентября

1879 года он отметил: «Обедал у Савиной. Были Апухтин, Чайковский с братом». Знакомство продолжалось до кончины автора оперы «Евгений Онегин».

Горбунов водил дружбу — а где дружба, там были и рассказы — и с художниками. В их клубе он был членом. В его дневник нужно прилежно заглянуть биографам русских художников 1870—1890-х годов. В мае 1883 года в Москве он отмечает свои встречи с художниками: «11. Встретился с художником Зичи. 15. Встретил у Тестова художников Боголюбова, Маковского, Богданова, Каразина, потом Бочарова. 16. Обедал с художниками. Были Григорович, братья Маковские, Клевер, Каразин, Крамской и др.». В ноябре 1884 года (4) внесена запись: «В Соляном городке. Там собираются художники. Встретил много старых друзей». В том же ноябре записано в дневнике: «7. У художника Крамского. Хочет он с меня портрет писать... 9-го: на сеансе у Крамского. Вечером читал в пользу гимназистов. 11. С Крамским у фотографа Деннера. Снимали карточку».

У Горбунова всюду была и ждала его аудитория. Друзья его знали случаи, когда Горбунов на людной площади, в вагоне железной дороги, на станции, в пролетке извозчика, на медвежьей охоте, там и сям — всюду и везде метким словом умел извлекать из собеседниковклады народного острословия и сам тут же отдавал в обмен собеседникам самые полновесные куски своего творчества, а собеседниками были извозчики, фабричные, мужики и пр. и пр.

Однажды Горбунову довелось обедать вместе с другими гостями у офицеров в гусарском полку. После обеда пели солдаты-песенники. По заведенному обычаю песенники качали гостей, а гости им давали на водку. Качали и Горбунова, и выше других, а он «вместо того, чтобы дать им на водку, сказал: «Я, братцы, вам что могу» — и тут же в кругу столпившихся солдат рассказал им несколько сцен, вызывавший общий неудержимый их смех»⁸.

Горбунову подобало бы современное почетное звание «народный артист»: он действительно в полноту этого ответственного слова был народный артист. Популярность, или, по-старинному, «народность», Горбунова была так велика и беспримерна, что по России наряду с настоящим Горбуновым разъезжали лже-Горбуновы, самозванцы-рассказчики, выдававшие себя за Горбунова и копировавшие его рассказы.

Однажды Горбунов в городе, куда приехал на гастроли, прочел афишу такого лже-Горбунова и, купив билет, «пошел смотреть себя» — конечно, похожего на себя не увидел. Но каков был конфуз самозванца, когда после рассказа Горбунов к нему подошел, сказав: «Как я рад, что я наконец слышал настоящего Горбунова». Его мнимый Горбунов узнал, конечно, и на его лице изобразился такой испуг, что Ивану Федоровичу его просто жаль стало,

и он его успокоил, сказав, что не выдаст его»⁹. И уехал, не выступив на эстраде.

Горбунов не преследовал и литературных самозванцев, выпускавших под его именем сборники своих сцен и рассказов.

В воспоминаниях А. Витмера читаем:

«Как-то Горбунов и певец Комиссаржевский совершили совместные гастроли по провинции. Горбунов рассказывал об этом: «Стою я у кассы. Подходит элегантная дама:

— Правда, что будет петь в концерте Комиссаржевский? — (При этом Горбунов крайне забавно меняет свой голос на дамский, томный.)

— Правда-с.

— Настоящий?

— Конечно, настоящий, как в афише сказано.

— Дайте нам два билета первого ряда.

Подходят две чуйки.

— Горбунов будет рассказывать?

— Будет.

— Настоящий — Иван Федорович?

— Иван Федорович.

— Давайте десять билетов дешевле чего получить невозможно»¹⁰.

Эти «чуйки», добившиеся «настоящего Ивана Федоровича», вероятно, люди малограмотные или даже неграмотные, были любящими слушателями — ценителями Горбунова: недаром они, с настоящей лаской, величали его за просто: «Иван Федорович».

Это широчайшая, объединившая всю Россию популярность Горбунова объясняется, кроме его замечательного дарования, еще тем, что шумливый и многосложный поток подлинной русской жизни каким-то чудом протекал живою речью и порождаемыми ею образами через его рассказы. Россия знала, что Горбунов ее знает и в смехе своем — любит, и платила ему тем же: знала и любила. «Он действительно мог похвалиться знанием русского народного быта, — вспоминает один его прилежный слушатель, оставивший ряд драгоценных записей его рассказов, — как однажды и выразил:

— Нас, батюшка, больше спрашивайте, все расскажем»¹¹.

Горбунов пристально следил за событиями. У него была большая опытность в людях, и суждения его были всегда метки и своеобразны.

Его рассказы были неразрывно связаны с русской жизнью и бытом в их течении — каком угодно: верхнем, среднем, нижнем. При всяком ярком обнаружении какого-нибудь нового и сложного явления народной жизни мне не раз случалось слышать от людей, которым выпало на долю счастье слушать Горбунова:

— Ах, как бы рассказал об этом Иван Федорович, живи он теперь! Всё бы поняли.

И в словах этих было сожаление, что Ивана Федоровича нет в живых и никто, ни писатель, ни актер, ни исследователь, ни публицист, не сумеет уже так верно представить, так жизненно и правдиво подойти к новому явлению народной жизни, как это сделал бы Горбунов. В своей известной статье А. Ф. Кони выяснил, с

какою правдивостью и полнотою изображена Горбуновым жизнь дореформенной николаевской России. Но Горбунов не менее правдив был и в изображении жизни пореформенной России, давая это изображение с широтою охвата и значительной глубиной. Его творчество было чистым родником живого слова о живой жизни русского народа. В этом заключена разгадка его беспримерного успеха.

II

И. Ф. Горбунов пошел на сцену, как он сам много раз говорил, «по благословению» Прова Михайловича Садовского. 16 ноября 1853 года он вышел впервые на сцену половым в комедии А. Н. Островского «Не в свои сани не садись», исполненной в Москве, в любительском спектакле в доме Пановой. В этом спектакле сам Островский играл роль трактирщика Маломальского.

Дебют Горбунова был так удачен, что через год Пров Садовский пригласил его участвовать в своем бенефисе: 16 ноября 1854 года Горбунов появился на сцене Малого театра в роли молодого купчика Ивана Прохоровича в комедии М. Н. Владыкина «Образованность».

Ровно через год состоялся дебют Горбунова в Петербурге, в Александринском театре; 16 ноября 1855 года он, в бенефис Л. Л. Леонидова, выступил в роли пастуха Вани в народных сценах М. А. Стаховича «Ночное». В этой роли с песнями Горбунов имел большой успех.

21 ноября Горбунов писал отцу про свой первый дебют, что тот прошел великолепно. В первое представление его вызвали два раза, во второе четыре.

И далее в этом же письме Горбунов пишет: «После спектакля я был в одном доме, и Иван Сергеевич Тургенев (писатель) поздравил меня с успехом, предложил тост за мои будущие успехи. «Комедия на станции» сочинена мной»¹².

Бросается в глаза резкое различие в приеме Горбунова публикой при первых и при последнем дебюте: если раньше его принимали сочувственно, то теперь его награждали «громом рукоплесканий».

Дело объясняется просто. В первые спектакли дебютировал Горбунов — даровитый актер, в последнем дебютировал Горбунов — исключительно одаренный рассказчик. Его «Комедия на станции» была не что иное, как три его рассказа, произнесенные им со сцены в costume некоего «проезжего»; проезжий этот требует лошадей, бранит ямщика, а в ожидании, пока тот подает тройку, вспоминает различные сцены из жизни, то есть попросту передает рассказы Горбунова «Мастеровой» и «У квартального надзирателя» (театральная цензура превратила его в «управляющего»). Третий рассказ, включенный в эту «Комедию на станции», был чудесный рассказ о деревенском парне, едущем на возу в темную ночь и изливающим свою душу в песне:

Сторона моя, сторона,
Незнакомая сторона,
На тебе, моей сторонке,
Нету батюшки отца,
Нету милого дружка...

Этот-то рассказ с песнями и вызвал такой восторг публики, что «почти за каждую фразу кричали: «Браво!»

Успех этого спектакля, который был успехом трех рассказов Горбунова, решил его судьбу: 15 марта 1856 года он был принят в труппу Александринского театра — и оставался в ней до конца жизни.

Горбунов всю жизнь был актером и всю жизнь был писателем, но истинное творчество его лежало на грани между тем и другим. В какой-то степени и актерство и писательство были нужны для истинного его творчества — для искусства рассказа.

Бесспорно, однако, что Горбунов не потому был превосходный рассказчик, что был превосходным актером, как это было, по-видимому, со Щепкиным и Провом Садовским. Те, кто сохранил в памяти каждое «слово» из рассказов Горбунова, те слабо помнили, каков он был на сцене, хотя неоднократно видели его при свете рампы. Наиболее единодушно признаются, что Горбунов был очень хорошим Кудряшом в «Грозе»; Тургенев любовался им в этой роли, и сам он считал Кудряша лучшей своей ролью. Горбунов был замечательным знатоком и мастером народной песни, и, быть может, в этом ключ к тому, что ему удавался Кудряш, эта «песенная» роль по преимуществу.

По суду большинства свидетелей, Горбунов был актером только средним, не более. Его товарищ по сцене А. А. Нильский утверждает даже, что Горбунов «никогда не мог достигнуть способности быть хорошим актером на сцене» и что даже роли в репертуаре Островского, «казалось, совершенно подходящие к его способностям, ему никогда и нигде не удавались». Так писал Нильский в посмертных воспоминаниях о Горбунове. В жизни он выражался еще резче.

Н. Я. Соловьев — автор пьесы «На пороге к делу» пишет Островскому: «Горбунов просил у меня роль старшины Буровина; я, со своей стороны, с удовольствием отдал бы ему, но Нильский (бенефициант) просто выходит из себя: «Он, говорит, погубит эту роль, и пьеса не будет иметь успеха; сто человек вам это скажут: он не актер, а только рассказчик».

После представления своей пьесы драматург и сам признал: «Горбунов-Буровин очень слаб и вдобавок выдумывает своего». Сообщая Островскому об успехе его комедии «Сердце не камень», Н. Я. Соловьев спешит порадовать: «даже Горбунов (он исполнял роль бродяги Иннокентия.— С. Д.) превзошел себя,— тон почти верный, движение довольно развязное»¹³.

«На сцене театров,— вспоминает другой свидетель сценической деятельности Горбунова, не актер, не драматург, а внимательный зритель (С. В. Максимов),— он всегда казался вре-

менным и случайным гостем, чрезвычайно приятным, очень всеми желаемым, веселым и развязным, но никогда не мог сделаться хозяином — владельцем ее»¹⁴.

Этот более мягкий отзыв, в сущности, приближается к более суровым оценкам актера и автора. Случалось, что даже в свой бенефис Горбунов не выступал как актер, а ограничивался выходом после пьесы — со своими рассказами. Тот же Н. Я. Соловьев сообщал Островскому: «Пьеса моя <...> «Медовый месяц» скоро пойдет здесь, в бенефис Горбунова; у него собственнo нет роли, и он будет участвовать в своих сценах»¹⁵.

В репертуаре Горбунова и количественно и качественно преобладали роли из репертуара Островского; он сыграл их около двадцати пяти, и в них ему выпал наибольший успех. В списке его ролей значатся такие ответственные, как Подхалюзин («Свои люди — сочтемся»), Гриша («Воспитанница»), Разлюляев («Бедность не порок»), Андриша Брусков («Тяжелые дни»), Непутевый («На бойком месте»), Мало-малышский («Не в свои сани не садись»), Петр («Лес»), Ипполит («Не все коту масленица»).... Понятно, что успех Горбунова-актера связан преимущественно с этими ролями. Островский черпал свои образы из той же среды, из которой Горбунов почерпал материал для своих рассказов.

Горбунов писал и драматические пьесы: («Смотрини», «Сговор», «Просто случай», «На ярмарке», «Самодур» <...>). Некоторые из них с успехом шли на сцене, но почти все они кажутся вариантами комедий Островского из купеческого быта, набросками его недозрелых пьес. Горбунову-драматургу не хватает драматического стержня, твердого сценария, в его пьесах люди не раскрываются в своих действиях, в логике своего поведения, но они живы в своих речах, красочны в своих словах.

Точь-в-точь так Горбунов играл и в пьесах Островского: он был ярок в слове, звонок в песне, выразителен в мимике, но не силен в действии, не отчетлив в логике поведения своих героев. Его обвиняли в том, что он не твердо знает текст ролей и вставляет так называемые отсебятины. Обвинение это, думается, построено на недоразумении. Некоторые пьесы Островского чуть не рождались в присутствии Горбунова и все были у него на слуху. Но Горбунов был врожденный рассказчик, творец слова, полный хозяин своей речи, и немудрено, что к слову Островского он, по привычке, относился как к собственному слову, живому, подвижному, подверженному переменам, а не как к неподвижному тексту, назначенному для актерской передачи со сцены. Как истый художник слова, Горбунов не мог не импровизировать в образах Островского, которые были ему трижды родны, как москвичу, как рассказчику и как драматургу. Неподражаемый рассказчик мешал Горбунову быть хорошим актером.

В чужом сценическом слове Горбунов никогда не чувствовал себя свободным, и неудиви-

тельно, что там, где роли были без слов, Горбунов был отличным актером. Ему превосходно удавался князь Тугоуховский, растерявший всю свою речь, довольствующийся одними междометиями. Горбунов был яркий мимист, и его сцена с графиней-бабушкой возбуждала всеобщий смех. В одном из юбилейных спектаклей «Горе от ума» Горбунов сыграл совсем безмолвного Фильку, распеваемого разгневанным Фамусовым («Ты, Филька, ты прямой чурбан!») и дал одной мимикой характерную фигуру крепостного слуги¹⁶.

Но и слово и мимика — все это находило у Горбунова настоящее место не на сцене, не в роли, а в изустном рассказе.

Горбунов был ярким, одаренным писателем, но и в Горбунове-писателе всегда таился мастер изустного сказа, творческое внимание которого направлено на речь человеческую, на отдельное слово, в котором часто, помимо воли человека, трепещет его подлинное бытие. Даже в его замечательных записках о прошлом, где перед читателем предстают Щепкин, Пров Садовский, Писемский, они прежде всего оживают в своем слове — мягком и добродушном у Щепкина, емком и сочном у Садовского, едком и крутом у Писемского.

«Мы сделались известными чтецами и вошли в моду», — рассказывает Горбунов о себе и о Писемском, — нас приглашали в самое лучшее общество.

— Мы с тобой точно дьячки, — сказал он один раз, — нам бы попросить митрополита, чтобы разрешил стихари надеть»¹⁷. Писемский весь здесь, в его усмешливом и крутом слове.

В превосходном очерке «Белая зала» Горбунов создал яркий образ знаменитого трагика Н. Х. Рыбакова, и этот трагик-пешеход, чье имя с благоговением вспоминает Несчастливцев в комедии Островского «Лес», весь дан Горбуновым в его напутственном завете молодому актеру: «Да, путь наш узкий, милый человек, и много на нем погибло хороших людей. Мельпомена-то бывает бессердечна: выведет тебя на сцену в плаще Гамлета, а сведет с нее четвертым казаком в «Скопине Шуйском». Старайся! Не сквернись! Вышел на сцену — забудь весь мир! Ты служишь великому искусству!»¹⁸.

Так в двух-трех словах умеет Горбунов-писатель запечатлеть жизненное дыхание тех, о ком он пишет, будут ли это большие исторические люди или ничтожные обитатели захолустья.

Приведу один пример. Мужики двух деревень в новгородской глуши ждут не дожидаясь, когда приедут к ним охотники из Петербурга поднимать медведя; чают от господ большой поживы, а в ожидании ведут нескончаемые споры, какой из деревень принадлежит медведь.

— Вольный зверь, не по пачпорту ходит, — где захотел, там и лег, — вмешалась старуха, — запрету ему нигде нет.

Но ей возражает «мужичонко Мирон»:

— Это за нашу-то добродетель — спасибо! Ведмедь наш — песчанский! У нас он лежал;

Кузьма Микитин с нашей земли его пере-
гнал (...)»¹⁹.

В медведя вложено все упование деревни, и в споре о нем раскрывается вся безнадежная нищета этой деревни; Горбунов не описывает ее, не повествует о ней, но она вся до дыр, до наготы сквозит в этом несурзном споре из-за спасительного «ведмеда».

В своем подлинном слове человек сам изобличает и изъясняет себя, и Горбунов-повествователь не любит говорить за человека: он больше верит человеку в его собственном сказе о себе. Вот отчего дневники и записки — любимая форма его рассказов («Записная тетрадь старого москвича», «Записная книжка», «Купеческое житье» и др.). Лучшее произведение Горбунова — «Дневник дворцового». Трагическая история разгула и падения некоего молодого графа — отпрыска древнего исторического рода, передана здесь в обрывках дневника старого верного слуги, которому его преданность беспутному графу и его роду не мешает быть строгим летописцем ниспадения и разложения этого исторического рода. В «Дневнике дворцового» Горбунов далек от всякой стилизации, но крепостной слуга, дворцовый книгочей, любитель церковного чина, сторонник строго жизненного уклада, старый москвич, выросший между Арбатом и Пречистенкой, виден в каждой строчке, в каждом словечке его дневника. Можно было бы подумать, что дневник этот не написан, а только издан Горбуновым, найденный им где-нибудь на чердаке старого барского особняка, если бы не тот превосходный художественный лаконизм, с которым веден этот дневник. В нем слышится голос живого человека, говорящий в тон своей жизни, в лад своей бытовой среде: это живой сказ, насыщенный правдой сердца и горечью действительности.

Весь талант Горбунова-писателя, как и Горбунова-актера, — это дар живого сказа, дар многообразия непосредственно жизненной речи.

Вот почему Горбунов-писатель весь целиком ушел в Горбунова-рассказчика. И это же самое в еще большей степени случилось с Горбуновым-актером.

Слагаемыми для актерства: дикцией, мимикой, прирожденным комизмом, сильнейшей властью над словом — Горбунов обладал превосходными, но эти слагаемые не слагались у него в сумме, которой имя — актер. Очевидно, сочетание этих данных в Горбунове было творчески соединено совсем по другому плану, чем тот, который неизбежен для актера. Горбунов не скрывал, что не любил рассказывать в театре перед публикой, а предпочитал более тесный круг слушателей.

«В любом частном доме, в каждой публичной зале, — вспоминает о Горбунове С. В. Максимов, — стоило ему лишь подхватить, по усвоенной привычке, стул, поставить его перед собой и опереться на ручку, — и его сцена готова без рампы, без декораций, именно та его собственная сцена, на которой он чувствовал себя совершенно дома»²⁰.

Другой наблюдатель пишет: «Он не терпел насилия над своими личными душевными движениями и поднимался до необычайной высоты только в свободной импровизации. Его стесняло даже собственное творчество, как установившаяся форма; написанные им сцены он повторял всегда с какими-нибудь новыми подробностями и, главное, прелесть его рассказов для слушателя заключалась именно в том, что последний внимал не механическому исполнению, а всегда живому проявлению остроумной мысли, тонкому наблюдению и поражающе меткому слову»²¹.

Рассказ был для Горбунова кровно близким ему средством творческого общения с людьми. Такое общение требовало непосредственной близости общающихся. Вот почему совершенства и подлинной меры своего дарования Горбунов достигал в тех своих рассказах, которые рассказывал в тесном кругу лиц, ему близких, сочувственных, а не со сцены и эстрады.

Рассказ — самодовлеющий род живого слова; монолог есть отрывок сценического текста и действия, и как монолог лучше всего передается исполнителем со сцены, так и рассказ лучше всего рассказывается и воспринимается во внесценических условиях непосредственного общения. Горбунов знал это и искал не слушателей-зрителей, а слушателей-собеседников. «Замечательно, как видоизменялись его рассказы в зависимости от слушателей его среды. Чутко схватывая, куда именно направляется известное сочувствие, или наоборот, и в этих оттенках и переходах от одного к другому никогда не переступая через край, он выказывал изумительную находчивость, удивительную выдержку и отменное художество... Он был необыкновенно восприимчив по отношению к слушателям, замечая все оттенки, до самых мельчайших и неуловимых; достаточно было для него одного или двух лиц, ему истинно сочувствующих, чтобы быть в ударе, но бывали и лица, при которых он вовсе не был в состоянии рассказывать»²². Он был свободный художник поистине свободного слова.

«Рассказ» Горбунова был особым родом искусства, которого единственным полноправным представителем он был сам. Эту своеобразную единственность и великолепную законность искусства Горбунова чутко почувствовал Пров Садовский — сам прекрасный рассказчик.

С. В. Максимов, автор «Крылатых слов», отлично знавший и Горбунова и П. М. Садовского, вспоминал: «Садовский с отеческою нежностью отнесся к нему тотчас же, как только прослушал первые рассказы. Артистическою душою, конечно, сразу почувствовал, что в них нет ничего насильно притянутого, искусственно сочиненного, ради усиления смеха неестественною речью, изуродованной учеными или книжными словами, чем достаточно грешат все его (Садовского. — С. Д.) рассказы от имени купцов. С появлением Горбунова он даже стал примолкать... Когда потом обращались к нему с просьбой, чтобы он рассказал что-нибудь из

своего, Садовский брал Горбунова за плечи, ставил его перед собой, говорил:

— Вот, просите его-с. Он лучше может. Рассказывайте, Иван Федорович. Все, что ни скажете, чудесно будет.

И снова заваливался в угол дивана, молча слушал и наслаждался»²³.

В отзывах и действиях Островского, Писемского, А. Потехина и других участников кружка молодого «Москвитянина» сквозит то же отношение к Горбунову, какое было у Садовского: в их глазах изустное искусство Горбунова было полноправной областью художества рядом с их собственным искусством. Когда Островского, замечательного мастера чтения, приглашали куда-нибудь читать, «он неизменно привозил с собою молодого Горбунова. Горбунова просили что-нибудь рассказать, и Островский любовно улыбался на рассказчика, как любящий отец на своего сына. Потом он сам читал свои пьесы»²⁴.

Из собственных воспоминаний Горбунова о Писемском видно, с какой нежностью относился этот крутой и резкий на язык человек, сам мастер художественного чтения и рассказа, к начинающему Горбунову. А. А. Потехин — знаток народной речи, драматург и чтец — называл Горбунова «необыкновенным, феноменальным рассказчиком» и утверждал, что ему присуща «необыкновенная жизненная правдивость и художественность его рассказов, тонкая наблюдательность, способность имитации, гибкость голоса, мимика, остроумие и оригинальность творчества»²⁵.

Сам Горбунов вспоминал, что при первых же его рассказах он «был приветствован литературным ареопагом». В Петербурге к Московскому «ареопагу» присоединились новые судьи, — столь же благоприятные для Горбунова. 14 апреля 1855 года Горбунов писал Островскому из Петербурга: «Был у Краевского. Вся Петербургская литература была у него. Рассказы мои произвели большой восторг. У него я познакомился с Меем». 18 июля он писал отцу: «В субботу был у кн. Одоевского. Прямой дедушка Ириней! Доброты неестественной (...). У него я познакомился с поэтом Тютчевым»²⁶.

Одним из самых горячих ценителей рассказов Горбунова стал поэт, которому особенно близка была народная жизнь, — Н. А. Некрасов. Он не только любил слушать рассказы Горбунова, но и печатал их в своем «Современнике» («Лес», «Утопленник», «На большой дороге»). Как дорожили в «Современнике» сотрудничеством Горбунова, видно из письма к нему М. Е. Салтыкова: «Помня ваше обещание, многоуважаемый Иван Федорович, доставить для «Современника» рассказ, я обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой: не найдете ли возможным прислать нам этот рассказ для ноябрьской книжки, которая скоро начнет уже печататься. Если бы вы доставили к 1-му числу ноября, то весьма бы обязали преданного вам М. Салтыкова»²⁷. Суровый сатирик-редактор редко писал подобные письма.

Некрасов был связан дружбой с Горбуно-

вым. Автор «Медвежьей охоты» любил ездить с Горбуновым на охоту, в свою ярославскую глушь, откуда вынес своих «Коробейников», а Горбунов — ряд народных рассказов.

«Одно лето я жил на Волге, в деревне у покойного Н. А. Некрасова, верстах в двадцати от Ярославля. Большую часть времени мы проводили на охоте. Места в этой стороне живописные и для охоты необыкновенные» — так начинается один из рассказов Горбунова «Дьявольское наваждение», изображающий Некрасова на охоте, где, обычно «хмурый и задумчивый», «он был неузнаваем: живой, веселый, разговорчивый, с мужиками ласковый и добродушный».

В 1881 году (июля 30) в горбуновском дневнике есть запись: «Анна Алексеевна подарила мне стихотворение Некрасова». Сестра Некрасова хорошо знала дружбу, связывающую ее брата с Горбуновым.

Высоким ценителем рассказов Горбунова был Ф. М. Достоевский. В одной записке, подписанной Достоевским вместе с Орестом Миллером, читаем: «Выручайте, добрейший Иван Федорович, из беды: И. С. Тургенев заболел, если и вы не будете — скандал, выручайте». Дело идет о «благотворительном литературном чтении»: в глазах Достоевского участие Горбунова может восполнить отсутствие Тургенева. Прося Горбунова принять участие в поминальном литературном вечере в память Достоевского (Горбунов должен был читать отрывок из «Идиота»), Орест Миллер писал ему: «Покойный Федор Михайлович так любил вас»²⁸.

Не менее любил Горбунова Тургенев. Знакомство Тургенева с Горбуновым было очень давнее — с первого дебюта в Александринском театре. В заграничном дневнике Горбунова находим такую запись, сделанную в 1862 году, 14 мая, в Париже: «Обедали с Тургеневым и Кавелиным в Пале-Рояле. Изображал генерала. Кавелин был очень доволен».

Это первое известие о знаменитом «генерале Дитятине», который семнадцатью годами позже произнесет свою прославленную речь о Тургеневе.

Под 19 мая вторая запись: «Вечером был с Кавелиным у Тургенева-декабриста» — у Н. И. Тургенева. Три записи о встречах с Тургеневым находим в дневнике Горбунова 1879 года: «Февраль 10. Спектакль в клубе, «Гроза», был И. С. Тургенев». Знаменитый писатель смотрел Горбунова в его лучшей роли Кудряша. «Март 13. Обед Тургенева у Бореля, говорил речь». В 1880 году, 31 января, в дневник внесена запись: «У Савиной. У ней был Тургенев».

Отношения Горбунова с Тургеневым были так благожелательными, что только ими объясняется запись в его дневнике от 19 сентября 1881 года: «Обедал у Савиной... Показывала она мне свою переписку с Тургеневым». Известно, что Савина никому ее не показывала.

Не менее давним было знакомство И. Ф. Горбунова с Л. Н. Толстым. 11 декабря 1855 года Толстой давал приятелям вечер с цыганами, и в числе гостей были Тургенев, Дружинин,

И. Ф. Горбунов. В 1858 году Горбунов (вместе с Островским) посетил Толстого в Москве²⁹. Через тридцать лет, в 1886 году, Горбунов трижды отметил свои встречи с Л. Н. Толстым в Москве, в Хамовниках. 13 марта он записал: «С Стаховичем у гр. Л. Н. Толстого. Много я у него рассказывал».

Рассказы эти так увлекли Толстого — сурового ригористичного Толстого 80-х годов, — что встречи с Горбуновым, очевидно, по прямому желанию Толстого, повторились в скором времени. 28 марта Горбунов записал: «Обедал и вечер провел у Льва Николаевича Толстого. Великий он человек». 30-го. «Обедал у Л. Н. Толстого».

На протяжении тридцати лет Лев Толстой, так много в эпоху 1880-х годов отвергнувший в искусстве, оставался неизменным ценителем изустного художества Горбунова, как истинного, прямого и честного искусства жизненной правды. Льва Толстого, как некогда Писемского, в горбуновском художестве поражал живой и верный охват ручьев и ручейков народной речи, — верный признак глубокого, сочувственного понимания народной жизни.

Во время заграничного путешествия Горбунов посетил Лондон «и виделся там с Герценом», поразившим его силою своего таланта и тем «дьявольским остроумием», которым он, по словам Горбунова, отличался. В свою очередь, и Горбунов, после двух-трех рассказов, среди которых, кажется, был «Квартальный», завоевал все симпатии Герцена. Последний пришел в неописуемый восторг, горячо обнял Горбунова и расцеловал его. И Горбунов говорил: «Он помянул меня в своих сочинениях».

Герцен, расставаясь, подарил Горбунову свою фотографическую карточку³⁰, на которой он снялся вместе с Огаревым. Герцен действительно «помянул» Горбунова «в своих сочинениях».

Герцен писал в «Былом и думах», рассказывая об остроумии своего знакомого Энгельсона: «Комический талант Энгельсона был, несомненно, огромен; до такой *едкости* (курсив Герцена. — С. Д.) никогда не доходил Левассер, разве Грассо в лучших своих созданиях да Горбунов в некоторых рассказах»³¹. Этот отзыв тем более лестен для Горбунова, что исходит от великого остроумца, а Левассер и Грассо — европейски знаменитые комики-рассказчики. Встречу с первым в Москве, у гр. Закревского, и соревнование в рассказах Горбунов передал в своих «Воспоминаниях».

«Едкость» Горбунова, отмеченная Герценом, выражалась прежде всего в его сатирических зарисовках больших и малых «властей» царской России, от «квартального» до «генерала Дитятина».

Горбунов в своих рассказах воскресил перед великим эмигрантом и образы русского крестьянина, не утратившего за века крепостничества сокровища ума, бодрости, юмора. Герцен горячо отзывался на картины русской жизни, воскрященные перед ним Горбуновым.

«Во время беседы разговор вращался вокруг

темы о готовившемся освобождении крестьян. Носились слухи о будто бы безземельном освобождении, которые не могли не волновать Герцена. Горбунов передавал сцену: Герцен посреди разговора вдруг с размаху ударил кулаком по столу и воскликнул:

— Нет! Крестьяне будут освобождены с землей!»³².

Рассказы Горбунова оказались для Герцена внезапно распахнувшимся окном на родину, откуда повеяло подлинной русской жизнью.

Сердечной дружбой, тесным взаимопониманием был связан Горбунов с автором «Бориса Годунова». Горбунов, еще в начале 1870-х годов, в числе немногих, умел высоко оценить творчество Мусоргского. Он участливо следил за работой Мусоргского над «Хованщиной» — он сочувствовал в этой работе. 23 июля 1873 года Мусоргский, повещая В. В. Стасова о своих успешных усилиях постичь «характер напевов раскольничьих», делился своей радостью: «Вот что делает Мусорянин, дорогой вы мой, а от Горбунова имею капитальных две старинных русских песни; обещал и побольше, да жена хворая — подождать надо. Обычаем таким собираю отовсюду мед, чтобы соты вышли вкусные и посдобнее, ведь опять-таки народная драма»³³.

Шестью годами позже, в 1880 году, в одну из самых тяжелых своих годин, весь в труде над неоконченными «Хованщиной» и «Сорочинской ярмаркой», изнемогая от нищеты, почти разошедший с друзьями из «Могучей кучки», Мусоргский именно с Горбуновым делился своей неугаемой верой в правоту своего творческого пути. В ночь с 4 на 5 января он пишет Горбунову: «Дальше, вперед, тем же творческим путем; дальше, вперед, с тою же силой правды, любви и непосредственности!» Эти слова могучего художника обращены к другу, художнику, идущему тем же творческим путем.

В том же 1880 году Мусоргский посылает Горбунову записку: «В память 16 ноября 1880 года — день 25-летнего юбилея народного русского художника Ивана Федоровича Горбунова, писал душевно преданный дорогому русским людям юбиляру, Модест Мусоргский»³⁴.

Славное имя народного художника здесь Горбунову дал тот гениальный художник, который сам по справедливости носил его. Это имя заслужено Горбуновым.

Нередко, вслушиваясь в горбуновский рассказ, в живой слав «простонародной» речи, каких-то, по-видимому, случайных и необыкновенно смешных осколков народной молвы, слушатель Горбунова, только что смеявшийся до упаду, восклицал: «Какая трагедия!»

Живое слово Горбунова текло так, как течет жизнь: широко, неумно, пестро, — и вдруг за ним вскрывалась целая глубина народного страдания, бездонная тоска, непомерная тягота исторического жребия. Искусство Горбунова, такое непритязательное «по титулу», — «искусство рассказчика» — оказывалось нужным и близким Тургеневу и Л. Толстому, Некрасову

и Салтыкову, Герцену и Мусоргскому: оно давало им нечто существенно новое и важное, даже сравнительно с их собственным высоким искусством: в живом слове оно поднимало целую народную жизнь, обогащало знанием о родном народе, усиливало любовь к нему: поднимало чувство ответственности перед ним.

III

Корни искусства Горбунова весьма глубоки и ветвисты.

И. Ф. Горбунов родился в 1831 году под Москвой, в Вантеевке, около старинного села Пушкина, в семье вольноотпущенного дворового человека помещицы Баташовой Федора Тимофеевича Горбунова; он долгое время служил сначала конторщиком, потом управляющим крепостной фабрики, существовавшей с XVIII столетия.

Горбунов знал отлично быт фабричных рабочих в такую раннюю эпоху в истории русской фабрики, как 30—50-е годы XIX столетия. Первые рассказы его изображают этот именно быт. Это едва ли не первое в русской литературе изображение рабочих. Рассказы из этого быта Горбунов не переставал рассказывать до конца жизни. Большинство таких рассказов до нас не дошло, а многие из них Горбунов мог рассказывать только в тесном кругу, так как цензура не допускала их публичного рассказывания.

«Однажды,— вспоминает один из его близких слушателей 1880—1890-х годов,— Горбунов изобразил стачку рабочих одной из фабрик. Подробиностей не упомяну. Была здесь и толпа рабочих, вчера слушавших новые речи, а сегодня... смирившихся перед властью, и люди, предполагавшие, что их народ легко поймет и за ними последует, и, наконец, власть, явившаяся в сопровождении вооруженного отряда»³⁵.

Тем, кто знает речевое богатство и тонкую правдивость горбуновского сказа, этот уклончиво-беглый пересказ сюжетной основы рассказа дает возможность догадываться, какая правдивая и трагическая картина была развернута тут Горбуновым! Рассказ относится к эпохе 1880-х годов, ко времени первых больших забастовок на фабриках московского промышленного района. Он может служить примером, во-первых, отзывчивости Горбунова на текущие события народной жизни, во-вторых, его склонности к передаче массовых сцен со множеством действующих лиц из разных социальных слоев. По контрасту тут уместно вспомнить рассказ Горбунова о заседании «Общества прикосновения к чужой собственности». Это едкая сатира на заседание одного из бесчисленных акционерных обществ, возникших в эпоху буржуазного финансового ажиотажа 1870-х годов.

Связанный с крепостной фабрикой, Горбунов рос в прямом соприкосновении с деревней, и потому он с детства знал крестьянский быт и речь. В дальнейшем он умножил это знание, и в таких своих рассказах, как «Лес», «Безответный», «Медведь», поража даже знатоков кре-

стьянской жизни чистотой и простотой, яркостью языка и глубоким пониманием деревенской повадки, свечаев и обычаев.

Не менее хорошо был известен Горбунову город с отдельными углами его быта: барским, купеческим, духовным, мещанским, мелкоремесленным,— с их особыми словесными окрасками и речевыми укланами.

Горбунов был прирожденный и убежденный москвич. Всю жизнь играя на театре в Петербурге (с 1885 года), он не только не потерял, но хранил на себе «московский отпечаток» и ежегодно великим постом приезжал в Москву, чтобы с московскими приятелями встретить здесь пасху. Речь Горбунова-писателя и рассказчика — образцовая московская речь, классическая по своей чистоте, образности и выпуклой емкости. Он учился этой речи у множества учителей: не только у пресловутых «московских просфирен», но и у московских протопопов, купцов, генералов, «мастеровых», половых, странниц, птицеловов и т. д. и т. д. Всех этих людей Горбунов знал и постигал через их слова и изображал их в их слове.

Любопытно проследить, как Горбунов, чутко и прилежно вслушиваясь в живую речь, попадал на какой-нибудь характернейший оборот, употребляющийся в народной речи с постоянством, граничащим со степенью лексического закона. Приведем один пример.

Однажды Горбунов разговорился с гробовщиком. На вопрос, как идут дела, гробовщик отвечал: «Теперь хуже, а вот весной, когда младенец шел, тогда было лучше»³⁶. Купцы, озабоченные отысканием голосистого дьякона, устанавливают некий закон успешного дьякононахождения: «лучший дьякон всегда идет из Сибири»³⁷.

Собирательное значение единственного числа в народной речи тонко подмечено Горбуновым, и он сам пользуется им не только в рассказах, но и в обычной речи. В его дневнике (1888, июня 21) читаем: «На станции давка: мужик тронулся по домам». Сообщая о своей артистической поездке с баритоном Мельниковым, он пишет: «Баба шла на Мельникова, а купец на Горбунова».

Горбунов в совершенстве входил в пошиб, в социальную окраску, в бытовую расцветку всякого речья или речейки живой речи, но он не допускал искусственного наклона речи, нарочитого изображения наивыпуклых для данной среды слов и речений, чем грешили иногда такие читатели народного живого слова, как Даль и Лесков. В творчестве Горбунова были живые роднички народной речи, а не искусственные фонтаны народнического сказа.

Сочинения Горбунова свидетельствуют, что он писал превосходным, чистейшим русским языком — строгим, точным, ясным и вместе с тем — звучным, сочным, ярким. Но «писал» — это не более одной пятой настоящего Горбунова; четыре пятых падают на долю «говорил» и, быть может, все пять пятых на долю «рассказывал».

В юности Горбунов был причастен к кружку

молодой редакции «Москвитянина», в состав которой входили Аполлон Григорьев, Островский, Писемский, Мей, А. Потехин, Б. Алмазов и др. Три члена этого кружка были замечательными художниками живого слова; Островский и Потехин славятся как отличные чтецы своих произведений, а Писемский в мастерстве живого слова соперничал с Щепкиным и Садовским. Произведения этих писателей были для Горбунова не книгами для чтения, а созданиями живого слова, услышанными из уст их творцов. Такою же школою явился для него Московский Малый театр, где П. Садовский, С. Васильев и другие в совершенстве разработали московский говор тонически и ритмически. В работе на сцене классических художественных форм московского говора много содействовали первые пьесы Островского, оставившие на Горбунова неизгладимое впечатление.

Т. Филиппов замечает про Горбунова: «Язык русской песни и ее напевы были ему знакомы, как редко кому»³⁸. Это признание полновесно в устах такого знатока, собирателя и исполнителя русской песни, каким был сам Филиппов. Многие рассказы Горбунова построены на песне и без ее живой основы теряют свой смысл. Такова знаменитая «Канареечка», воспевавшая Григорьев. Горбунов пел чувствительную мешанскую песенку и на фоне этого пения набрасывал легкими чертами свой сказ.

Такова поэтичная сцена на большой дороге, которую, в другом варианте, Горбунов включил в «Комедию на станции». Ночь. Тянется обоз с сеном. На одном возу лежит парень и поет: «Ах ты, воля, моя воля» (...). Он весь ушел в песню: его душа, его молодая удаль, его мечтательная надежда — все вложено без остатка в песню. Горбунов пел ее, также вкладывая в песню все свое сердце. Песня тянется вольная и зовущая к воле.

— Петрунька, с Москвы, что ли? — спрашивает вдруг кто-то со встречного воза и едет мимо. Парень снова продолжает свою песню, но когда он особенно распеся при словах: «Я тогда буду доволен (...)» следующий встречный, также с возу, неожиданно, молча, с размаху стегает его кнутом. Первую минуту ошеломленный и пристыженный парень только чешет спину, а потом снова продолжает песню. И только уже после окончания песни он начинает злобно грозить кулаком назад и кричит вдогонку озорнику: «Ч-е-ерт, л-е-ешай, сквозь полушу-у-бок прохвяти!».

Конечно, сцена эта без звуков песни непередаваема³⁹.

В своих воспоминаниях Ф. И. Шаляпин пишет:

«Образцом великого художника, который движением лица и глаз умел рисовать великолепные картины, может служить наш известный рассказчик И. Ф. Горбунов. В чтении рассказы его бедноваты. Но стоило только послушать, как он их рассказывает сам, и посмотреть, как при этом живет, жестикулируя, каждая черта его лица, каждый волосок его бровей, чтобы почувствовать, какие это перлы актер-

ского искусства. Если бы вы видели, как Горбунов представляет певчего, регента, мужика, лежащего в телеге и мурлыкающего песню; если бы вы видели, как этот мужик реагирует на неожиданный удар кнута, которым его пожаловал кучер, везущий барина, то вы поняли бы, что такое художественный жест, независимо от слова возникающий. Без таких жестов жить нельзя и творить нельзя. Потому что никакими словами и никакими буквами их не заметить.

Если двери, которые открываются при посредстве кирпичика, подвешенного на веревке, — примитивный блок. Вы эти двери знаете, видали их. Но как скрипит такая дверь, как хлопает, как через нее валят клубы пара на улицу — это может быть рассказано только теми почувствованными и рисующими жестами, на которые был великий мастер И. Ф. Горбунов. Нельзя жестом иллюстрировать слова. Это будут те жесты, про которые Гамлет сказал актерам: «Вы будете размахивать руками, как ветряная мельница...» Но жестом при слове можно рисовать целые картины»⁴⁰.

«Язык народной песни» помогал Горбунову создавать и такие важнейшие его создания, как «Лес» и «Безответный».

Все, знавшие Горбунова, свидетельствуют о нем, как о любителе и знатоке древнерусской письменности. Изумительные подражания его языку и слову XVII и XVIII веков вводили в заблуждение археографов.

Член Общества древнерусской письменности Горбунов ввел в полное заблуждение другого его члена, ученого археографа П. И. Савваитова, предъявив ему «статейный список» середины XVII века, содержавший донесение некоего «сироты государева», посланного в чужие края и описывающего игру в рулетку в «городе Емус» (Эмс). Язык донесения был до того доподлинный, что ученый археограф не усомнился было признать донесение памятником XVII века, смущаясь лишь тем, что речь в нем шла о рулетке.

Но и в этой области умершего слова и отбывавших речей Горбунов прежде всего искал и находил язык не книжника и витиеватого книжечника, а пестрый, живой язык вседневности. Он больше всего интересовался памятниками быта, вслушивался в шумливо-суетный говор и меткую речь приказов, судебных дел, частных писем и бытовых дневников людей XVII и XVIII веков.

Посылая приглашение на свой бенефис Т. И. Филиппову, некогда товарищу по кружку молодого «Москвитянина», приятно и собрату по увлечению народной песней, а теперь — государственному контролеру, Горбунов не без иронии облекает это приглашение в форму чествования от скомороха, «гудошника Ивашки» — «близнему боярину», вхожему на «Верх», то есть ко двору.

В этой «челобитне» Горбунов рассказывает свою собственную историю: «хоть «гудошник Ивашка» и «взят в Верх, в верховые Его царского Величества скоморохи», то бишь в арти-

сты Императорских театров, но жалование тому гудошнику Ивашке идет «против других верховых скоморохов вполо», то есть вполовину, и оттого гудошник «обносился и оборвался». Бенефис должен помочь ему сбросить с себя эти обноски и сменить «рвань» на пристойную одежду. Горбунов, под личиной скомороха, указывает и на цензурные стеснения, которым подвергается он со своими сценами: «а что он, гудошник, действовать будет и какие слова говорить — (Великий Государь.— С. Д.) указал взять в приказе список за рукою, что он чего, своею дуростью, не своровал».

Старые русские архивы были для Горбунова хранилищами живой речи русского народа, свидетельствующей о славных его «днях» и неизмеримых его «трудах». Старая русская речь, книжная и письменная, была, на слух Горбунова, истоком многих речевых и бытовых явлений жизни современной.

По свидетельству Т. И. Филиппова, В. К. Истомина, Горбунов был знатоком церковного богослужения и обряда. Он сам читывал и певал на клиросе. В этом была у него потреба, как у художника народного быта дореформенной России, а в иных созданиях и допетровской Руси. В народной речи и быту встарь церковно-славянское слово приобретало особую окраску и звуковой оттенок; в бытовом употреблении у этого слова был иной вес, чем у обычного расхожого слова.

У Горбунова было немало рассказов из народной жизни, построенных именно на таком значении церковнославянского слова в устах народа. Сохранилась запись-припоминание одного из них. Действуют в рассказе две старухи богомолки. «Одна из них, подперши руками подбородок, всхлипывая и вздыхая, передает другой впечатления, вынесенные из церкви, где происходил обряд анафематствования с участием митрополита Филарета.

— Впякнули меня в церковь божию. Что

народу... что людей... что всего прочего... всякого, разного... И свечи все возженные!

— Возженные? — перебивает первую старуху другая.

— Возженные, матушка, возженные, — отвечает та, — и болдухание такое... И вывели его, батюшку. Шапка у его камням горит. И поставили на месте уготованное. И как начали его проклонять. Уж проклонили его, проклонили. Уж я плакала, плакала. А у его, у батюшки, только бородка седенькая трясется»⁴¹.

Даже в краткой передаче слушателя ясно, что рассказ построен на контрасте между бытовыми, певучими «впякну́ли», «камням» — и благоговейно повторяемыми рассказчицей, непонятными ей, славянскими: «возженные» и «уготованное», в которых ей чудится особая, таинственная значительность.

Медлительный строй и торжественный склад иных ответвлений народной речи, опирающиеся на какие-то славянские и древнерусские словесные первоосновы, без усилий давались Горбунову при его глубоком поэтическом внимании к древнерусской письменности. Горбунов владел ее формами, как живыми, а не стилизованными. В 1886 году, при вести о военном столкновении генерала Комарова с афганцами при Кушке, он написал остроумное и превосходное по языку (слогом XVII века) донесение московского воеводы о битве с афганцами. Оно далось ему ценой большого труда, лексических справок и словесных раскопок, а написано сразу, в один присест.

Творческое знакомство Горбунова с народной песнью и древнерусской письменностью чрезвычайно важно: он и прошлое того народа, о настоящем которого рассказывал, знал по живому слову. В этом отзвучавшем живом слове находил он корни еще звучащего слова, которому служил всю жизнь.

Публикация А. Виноградовой

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сочинения Горбунова И. Ф. Издано под наблюдением Комиссии при Комитете Императорского Общества любителей древней письменности. Петербург. 1904—1907 гг. Вышли тома: том I, Петербург, 1904; том II, Петербург, 1904; том III, части 1—4, Петербург, 1907. В этот том вошли: «Личные воспоминания И. Ф. Горбунова», сбереженные им «Письма от милых друзей и разных особ» (в их числе — письма Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Апол. А. Григорьева, А. Н. Островского, гр. А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, А. Ф. Писемского, Прова М. Садовского, М. Г. Савиной, Н. А. Никулиной, А. А. Потехина, Н. Я. Соловьева, С. В. Максимова, И. Н. Краского и др.), «Воспоминания и статьи об И. Ф. Горбунове» (С. В. Максимова, А. Ф. Кони, М. П. Садовского, М. И. Писарева, А. А. Потехина и др.), «Дневник» И. Ф. Горбунова за 1862 и 1895 гг. и другие библиографические докумен-

ты. Эти 1—4-я части III тома являются драгоценным собранием материалов для биографии И. Ф. Горбунова. В последнюю, пятую часть III тома должны были войти статьи Горбунова по истории русского театра, но эта часть не вышла в свет. Собрание сочинений Горбунова богато иллюстрировано его портретами и рисунками, специально исполненными для этого издания И. Е. Репиным, А. П. Рябушкиным, Н. П. Богдановым-Бельским, П. П. Соколовым, В. И. Навозовым, А. Афанасьевым и др.; в тексте воспроизведены и рисунки самого Горбунова.

Из предисловия к III тому узнаем печальную судьбу этого ценного издания, выполненного с большой любовью к Горбунову. В то время, когда кружком почитателей Горбунова было уже приступлено к изданию его сочинений, «в августе 1899 года право на издание сочинений И. Ф. Горбунова было уступлено наследниками его издателю «Нивы» А. Ф. Марксу, который при этом требовал, чтобы рисунки издания, на-

чатого при Обществе любителей древней письменности, по окончании издания поступили в его распоряжение; но так как на это согласия изданию не было, то осталось в силе другое условие, чтобы это последнее издание было напечатано и количестве не более 500 экземпляров и цена каждого была бы не дешевле 18 рублей. С этими условиями пришлось считать руководителям настоящего издания». Издание вышло в числе 500 пронумерованных экземпляров и является редкостью.

Далее ссылки на это издание делаются: Горбунов; римская цифра указывает том, арабская — страницу.

² Шереметев П. Отзвуки рассказов И. Ф. Горбунова 1883—1895. 1901.

Эта книга, напечатанная в самом ограниченном количестве экземпляров, содержит тщательные записи рассказов, остротелов и «крылатых слов» Горбунова, по преимуществу из числа тех, которые не выносились им на эстраду и не получили лите-

ратурной обработки для печати. Книга цитируется далее: «Отзвуки рассказов».

³ А. Ф. Маркс, добившись того, чтоб наиболее полное и более свободное от цензурных тисков издание Горбунова было ограничено небольшим кругом читателей, издал «Сочинения И. Ф. Горбунова» под редакцией и с предисловием А. Ф. Кони в двух томах. В это издание не вошло очень многое из того, что вошло в издание друзей Горбунова: из всего цикла «Генерал Дитятин», состоящего в этом издании из восьми произведений, в издание Маркса вошло лишь два произведения; отсутствует в издании Маркса остро сатирическое «Дело по поводу рождения Михаила Варсукова»; не напечатаны два рассказа о Сарре Бернар, «Переписка Дюма — Фиса»; не помещен «Дневник Горбунова» и т. д. Но зато в издании Маркса помещены, правда в далеко не полном виде, статьи Горбунова по истории театра. «Сочинения И. Ф. Горбунова» выдержали три издания: два (без обозначения года) продавались по 4 руб. за том; третье, в четырех книжках, составляющих два тома, было приложено к «Ниве» в 1904 году под названием «Полное собрание сочинений И. Ф. Горбунова. 3-е издание». Это сочинение цитируется: Издание «Нивы».

⁴ Михневич В. О. Наши знакомые, фельетонный словарь современников. 1000 характеристик русских государственных и общественных деятелей, ученых, писателей, художников, коммерсантов, промышленников и пр. СПб., 1884, с. 63—64.

⁵ Максимов С. В. Из давних воспоминаний (По поводу первой годовщины смерти И. Ф. Горбунова). «Ежегодник императорских театров». Сезон 1895—1896, с. 476.

⁶ Дневник И. Ф. Горбунова. Горбунов. III, 413.— Дневник охватывает период 1862—1895 годов (с. 405—508). Для сбережения места указаний на страницы дневника не делается, но в самом тексте всегда

указываются даты записей в дневнике (год, месяц, число).

⁷ Тридцатипятилетний юбилей артистической и литературной деятельности И. Ф. Горбунова.— «Исторический Вестник». 1891, т. XIII, № 1, с. 293.

⁸ Горбунов. III, 349.

⁹ Со слов П. С. Шереметева; см. также: Плещеев А. А. Что вспоминалось. Актеры и писатели. СПб., 1914, т. III, с. 120—121.

¹⁰ «Театр и искусство». 1915, № 25, с. 449.

¹¹ Горбунов. III, 529—530; пьеса Горбунова «Комедия на станции» обнародована А. Поляковым в его статье «Из горбуновского наследия».— «Еженедельник государственных академических театров». Петроград, 1922, № 1—2, с. 8—10.

¹² Там же.

¹³ Нильский А. А. Воспоминания.— Горбунов. III, с. 275.— Литературный сборник. I. Письма Лермонтова, Гоголя, Жуковского, А. Потехина, Островского, Н. Соловьева, Короленко и Л. Толстого. Кострома, 1928, с. 49, 70.

¹⁴ Максимов С. В. Неподражаемый рассказчик.— Горбунов. III, с. 174.

¹⁵ Литературный сборник. I. Кострома, 1928, с. 98.

¹⁶ Кн. Урусов А. И. Статьи. Письма. Воспоминания о нем. М., 1907, т. I, с. 270.

¹⁷ Горбунов. III, с. 51.

¹⁸ Горбунов. III, с. 42.

¹⁹ Горбунов. II, с. 171—172.

²⁰ Максимов С. В. Неподражаемый рассказчик.— Горбунов. III, с. 174.

²¹ Истомин В. К., Горбунов И. Ф. Личные воспоминания.— Горбунов. III, с. 389.

²² Истомин В. К. Горбунов И. Ф. Личные воспоминания.— Горбунов. III, с. 389.

²³ Г. С. III. Воспоминания об И. Ф. Горбунове.— Горбунов. III, с. 278—280.

²⁴ Горбунов. III, с. 177.

²⁵ Долгов Н. А. Н. Островский. 1823—1923 гг. М.— Л., ГИЗ, 1923, с. 68.

²⁶ Из письма А. А. Потехина.— Горбунов. III, с. 185.

²⁷ Горбунов. III, с. 518, 527.

²⁸ Горбунов. III, с. 75.

²⁹ Горбунов. III, с. 76.

³⁰ Гусев Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М.— Л., 1936, с. 59, 107.

³¹ Горбунов. III, с. 345.

³² Герцен А. И. Былое и думы. М.— Л., «Academia», 1932, т. II, с. 26.

³³ Горбунов. III, с. 345.

³⁴ Мусоргский М. П. Письма к В. В. Стасову. СПб., 1911, с. 51.

³⁵ Мусоргский М. П. Письма и документы. Редакция А. Н. Римского-Корсакова. М.— Л., 1932, с. 407.

³⁶ Отзвуки рассказов, с. 107.

³⁷ Там же, с. 104.

³⁸ Там же, с. 87.

³⁹ Филиппов Т. Сборник. СПб., 1896, с. 294 (Памяти И. Ф. Горбунова).

⁴⁰ Отзвуки рассказов, с. 56—57.

⁴¹ Шаляпин Ф. И. Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. 1932, с. 112—113.

⁴² Отзвуки рассказов, с. 86; см. также: Горбунов. III, с. 324.

Мурад Аджиев

Пионер Арктики Борис Вилькицкий

Еще Михаил Васильевич Ломоносов прозорливо писал: «Северный океан есть пространное поле, где... усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною пользою через изобретение восточно-северного мореплавания».

Начало дороге через студеное море положила экспедиция шведа Норденшельда, которая в 1878—1879 годах на судне «Вега» впервые прошла Северным морским путем. После удачного плавания «Веги» научный и практический интерес к Арктике возрос: отправились в северные странствия «Жаннетта», «Димфна», «Фрам». В 1900 году шхуна «Заря» под командованием Эдуарда Васильевича Толля пробилась сквозь льды на восток до Новосибирских островов.

Однако всех этих успехов было, конечно, недостаточно, чтобы строить хоть какие-то планы регулярного плавания вдоль северных берегов Азии.

Толчком к новому освоению Арктики, безусловно, послужили грустные итоги русско-японской войны, когда потребовалось срочно перебросить эскадру военных кораблей из Балтики на Дальний Восток. Предлагалось два варианта — «северный» и «южный». По первому предполагалось провести суда через льды Арктики с помощью «Ермака» — первенца ледокольного флота. Однако опыта подобных проводок не было, и предпочтение получил «южный» вариант. Путь военной эскадры вокруг берегов Африки оказался в три раза длиннее, чем если бы она шла арктическими водами.

Трагические уроки русско-японской войны заставили российское правительство по-иному оценить Северный морской путь. В 1908—1909 годах на судовых поверхностях Балтики в короткие сроки были построены два одинаковых ледокольных транспорта — «Таймыр» и «Вайгач». Они, правда, отличались весьма скромными размерами. Но зато особая — обтекаемая — форма корпуса, напоминавшая гигантскую скорлупу, позволяла преодолевать льды.

«Таймыр» и «Вайгач» снарядили для гидрографической экспедиции Северного Ледовитого



Б. А. Вилькицкий — начальник гидрографической экспедиции. 1913 г.

океана, которой предписывалось изыскать и проложить надежный транспортный путь от Владивостока к высоким северным широтам вдоль побережья Чукотки до устья реки Колымы.

По замыслу начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта Андрея Ипполитовича Вилькицкого, цель экспедиции сводилась «не к плаванию через льды, а к пользованию свободной водой в определенный период времени. В силу этого главным вопросом в плавании Ледовитым океаном является знание физико-географических условий в этом районе, а также знание фронтов и глубин, без чего нельзя ни разумно бороться со льдом, ни уклоняться от него в надлежащую сторону». Очевидно, речь шла о широком, географическом мероприятии — исследовании, подобного которому еще никогда в Арктике не проводилось. От экспедиции не ждали рекордных проходов, феноменальных открытий — наука главенствовала во всем!

В холодный и дождливый октябрьский день 1909 года корабли под командованием капитана 3-го ранга И. С. Сергеева отошли от пристаней Кронштадта и через Суэцкий канал направились к Владивостоку — городу, ставшему базой экспедиции. Более восьми месяцев шли тихходные ледоколы в жарких южных морях, чтобы встретиться со льдами Арктики. И только

в июле 1910 года в туманной дымке горизонта показались очертания российского форпоста на Тихом океане. Здесь еще раз проверили надежность снаряжения, пополнили запасы угля, продовольствия, пресной воды: ведь предстояли нелегкие испытания.

Месяц шли приготовления. И вот наконец остался за кормой приветливый город-крепость Владивосток — начался путь к холодным водам Северного Ледовитого океана. Однако плавание длилось недолго. Случайная серьезная поломка на «Таймыре» уже у самых берегов Чукотки, около мыса Инцова, вынудила повернуть обратно. Встречу с Арктикой пришлось отложить...

Ремонт «Таймыра» затянулся, и лишь в 1911 году ледокольные транспорты вновь вышли в арктический маршрут. Чукотское море встретило суда спокойно, ледовая обстановка сложилась благоприятно, и без особых трудностей участники экспедиции изучали подходы к малоисследованному чукотскому побережью: «Таймыр» подошел к устью реки Колымы, а «Вайгач» крейсировал в районе острова Врангеля, «белым пятном» помеченного на карте Арктики. Проводили глубинные промеры, зарисовки береговой линии, исследования климата — словом, собирали всю необходимую информацию для безопасности будущих плаваний.

Результаты первого года полярных изысканий позволили заключить, что полученных данных достаточно для прокладки более или менее устойчивой морской дороги от Владивостока до северного побережья Чукотки.

Но технические возможности русской экспедиции оказались намного больше. И именно эта уверенность «арктическая проба пера» позволила строить более смелые планы. Вот каким, судя по запискам, видел будущее участник экспедиции Н. Арбенов: «Собрать материал по астрономии, гидрографии, логии, гидрологии, геодезии и зоологии, и все это увенчать сквозным проходом в Петербург».

Уверенность, радужные надежды и просто хорошее настроение чувствовались в отчетах о первом годе удачного плавания. Руководитель экспедиции Сергеев, как, впрочем, и все другие участники, не скупился на обещания. Все это не могло не сказаться на позиции официального Петербурга. Полученные отсюда на следующий год инструкции были точны и оптимистичны: продолжить работы и, если позволит состояние льдов, идти «далее на запад, вокруг северного берега Таймырского полуострова, с расчетом пополнить запасы угля в Александровске на Мурманском берегу». Иными словами, пройти Северный морской путь за одну навигацию!

Если позволит состояние льдов... Однако в тот год ситуация сложилась иной. Тяжелые паковые льды то и дело белели на пути кораблей, море часто штормило, ураганные ветры обрушивали на палубу огромные валы. В тяжелейших условиях суда все же пробились к Новосибирским островам.

А временами погода вдруг резко менялась,

и тогда всем казалось, что удастся наконец-то пройти Северным морским путем. Но у мыса Челюскин эти надежды исчезли. Н. Арбенов вспоминал: «На мысе Челюскин мы решили выпить по бокалу шампанского, так как достижение этого пункта является нашим самым сокровенным желанием, ибо им определяются 70 процентов удачи сквозного прохода в Петербург в одну кампанию, чего никто в мире еще не сделал».

Но здесь, у самой северной точки Азии, сплошная полоса мощного льда преградила путь. Пришлось повернуть. На обратном пути во Владивосток, насколько позволяло время, обследовали Новосибирские острова. Конечно, нельзя сказать, что вторая попытка экспедиции закончилась полной неудачей. Но тем не менее осуществление многообещающих планов откладывалось еще на год.

Очередное плавание началось не очень успешно. Когда корабли миновали Камчатку, вдруг опасно заболел начальник экспедиции Сергеев. Судовой врач был бессилен чем-либо помочь. Пришлось по радио из Петропавловска-Камчатского вызвать судно, на котором Сергеева доставили на берег, в Ново-Мариинск. Но болезнь быстро прогрессировала, и вскоре Сергеев скончался. Руководство экспедицией принял на себя Борис Вилькицкий.

Надо сказать, что Вилькицкий только в 1913 году стал участником экспедиции — такова была воля отца, Андрея Ипполитовича Вилькицкого, начальника Главного гидрографического управления, который по соображениям этики запретил сыну плыть на Север, чтобы избежать нареканий и злословия. А молодой Вилькицкий очень стремился в экспедицию, опыт жизни у него уже был, и притом весьма богатый.

В двадцатилетнем возрасте он дрался с японцами на подступах к Порт-Артуру, был ранен, заслужил боевые ордена. Потом война, учеба. Вилькицкий получил хорошее образование в Морском корпусе, а потом в Морской академии, причем на самом трудном ее отделении — на гидрографическом.

Однако почему-то молодой блестящий лейтенант не пользовался уважением среди морских офицеров, на него смотрели как на баловня судьбы, как на «малосерьезного и довольно легкомысленного» человека, который «не отличался глубоким умом и имел склонность слишком рассчитывать на удачу, на свою счастливую звезду». Злые языки явно связывали успехи молодого Вилькицкого с высоким положением его отца.

Вот почему — чтобы развеять злую молву — Борис Андреевич искал самую трудную, самую опасную службу. Таковая была в Арктике! Только после смерти отца, в 1913 году, лейтенант Вилькицкий принял командование ледокольным транспортом «Таймыр» Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, чтобы составить достойное имя.

Но в экспедиции молва уже сделала свое, Вилькицкого явно недолюбливали, его встрети-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИСТОКЪ.

Четвергъ, 23-го Января 1914 года.



Обложка «Петербургского листка». На рисунке изображено поднятие русского флага на новооткрытой земле; военные моряки «переодеты» под охотничьих приказчиков.

ли прохладно, по-прежнему офицеры относились к нему как к выскочке. Только разговоры разговорами, а дело делом. Новый командир «Таймыра» сразу же проявил и смелость и дальновидность. Буквально с первых дней плавания он вошел в ритм экспедиции — и легкомысленным новичка никак нельзя было назвать.

Когда заболел начальник экспедиции Сергеев, то встал вопрос, кто бы мог заменить его на столь трудном и ответственном посту? Приказ морского министра почти всех участников экспедиции привел в растерянность — исполняющим должность начальника экспедиции назначался командир «Таймыра», двадцативосьмилетний капитан 2-го ранга Б. А. Вилькицкий, ему теперь надлежало руководить.

...Вскоре суда добрались до Берингова пролива и уже 6 августа прошли через восточные ворота Арктики. Снова ледяное безмолвие окружило путешественников, словно большие белые чайки, кругом плавали одинокие льдины. На этот раз их было намного меньше, чем в предыдущем году.

Первые же дни похода показали, что Вилькицкий по духу был прямой противоположностью старому начальнику, Сергею, которого отличали нерешительность, чрезмерная осторожность, порой граничившая с трусостью. Даже поговорка ходила по флоту: «Где Сергеев прошел, там всякий пройдет». Видимо, рассчитывая на взрывной характер Вилькицкого, на его склонность к риску, к решительным действиям, молодого офицера и назначили начальником.

Расчет морского министра оказался верным. Уже при «входе» в Арктику, миновав Берингов пролив, Вилькицкий, не имеющий совершенно никакого опыта в полярном плавании, принимает смелое решение — он предлагает найти проход севернее Новосибирских островов, заявив тем самым о своем намерении искать новых, неизведанных путей в Арктике. В этом весь Вилькицкий: смелый и пытливый исследователь, решительный и волевой командир, который одинаково внимателен к советам как более опытных офицеров, так и более сведущих нижних чинов, но при всем том имеющий свое мнение и принимающий свое решение.

Чтобы сократить путь и выиграть время, корабли взяли курс на север, в обход Новосибирских островов. Здесь ледовая обстановка благоприятствовала быстрому продвижению.

Вот на пути показался неизвестный скалистый остров. Его нанесли на карту, на берегу соорудили гурей — наскоро сложенную из камней пирамиду. Остров впоследствии назвали в честь отца Бориса Вилькицкого — Андрея Ипполитовича, известного полярника.

Около Новосибирских островов ледовая обстановка резко ухудшилась, появились ледяные поля. Суда повернули на юг, ближе к прибрежным водам, где льда пока не было. Унылый пейзаж тундровой пустыни завиднелся вдаль; ни дерева, ни кустика — лишь длинная, будто утюгом разглаженная лента берега тянулась до

горизонта. Изредка в это однообразие вторгались возвышенности, нарушая пустышность берегов. Чтобы ускорить, а главное, расширить изучение Северного Ледовитого океана, Вилькицкий решился на еще один рискованный, но исключительно плодотворный шаг: разрешил судам автономные плавания, порой даже за пределы стопятидесятимильной зоны судовой радиосвязи. Последствия не заставили себя долго ждать — расширение поля деятельности экспедиции привело к новым географическим открытиям, к развитию творческой инициативы всех участников похода.

Однажды среди сглаженных арктических гор у восточных берегов Таймыра мореплаватели случайно обнаружили большую и глубокую бухту. Здесь, правда, их чуть было не подстерегла серьезная опасность. Члены экипажа «Вайгача» слишком увлеклись, осматривая обрывистые берега, проводя промеры глубин, охотясь на непуганых птиц. И корабль вдруг напоролся на подводную скалу. Лишь вовремя подоспевшая помощь «Таймыра», вызванного по радио, предотвратила катастрофу.

При обследовании бухты мореплаватели видели большую лежку моржей. А в одном из заливов нашли заброшенную хижину. По оставшимся предметам и обнаруженным записям установили, что здесь еще в 1735 или 1736 году провела последнюю зимовку русская экспедиция Василия Прончищева, окончившаяся трагически. В честь жены начальника экспедиции, одной из первых женщин-полярниц, бухту назвали именем Марии Прончищевой.

Тщательно обследовать найденную бухту не позволяло время: арктическое лето коротко — нужно было плыть на запад. Однако, как и в прошлом году, дойти удалось только до мыса Челюскин. И снова тяжелый паковый лед блестящей стеной преградил дорогу.

«Оба транспорта стали на ледовый якорь, — писал принимавший участие в походе доктор Л. Старокадомский. — Настроение участников экспедиции было подавленным: так мало льда было встречено на пути к Таймырскому полуострову, что надежда на свободный путь в Карское море успела превратиться в уверенность, как вдруг натолкнулись на серьезную преграду». Вилькицкий принял решение: плыть на север в надежде обогнуть огромный плавающий ледяной остров.

Каково же было удивление членов экспедиции на следующее утро. На горизонте, контрастируя с белой льда, стали медленно подниматься темные силуэты гор с мохнатыми белыми шапками ледников. Земля! Все выскочили на палубу, все разом заговорили, заспорили.

«3 сентября рано утром, — вспоминает доктор Л. Старокадомский, — справа были замечены очертания берега, на этот раз высокого. Вскоре туман начал подниматься, и шедшие к новым, неизвестным берегам ледоколы увидели широко раскинувшуюся, покрытую изрядно высокими горами землю».

Сперва загадочную землю приняли за небольшой остров, и, лишь пройдя более ста миль

вдоль берега, Вилькицкий 4 сентября принял решение высадиться. Взобравшись на гору, поняли: открыта новая, неизвестная доселе суша! Низменность в ее южной части постепенно переходила в гористую возвышенность и дальше, насколько хватал глаз, большими грядками горные цепи уходили далеко на север. Ледники искрились, как гигантские куски сахара. Самые крупные из них доходили до берега и мощными языками сползали в воду. Иногда глыбы льда с грохотом отрывались и падали, поднимая брызги и пену, и становились айсбергами.

И опять недостаток времени, которого так мало отпускает для плаваний Арктика, не позволил как следует обследовать открытую землю. На самом видном месте воздвигли традиционный гурий, подняли флаг, общие контуры береговой линии нанесли на карту. Землю объявили собственностью России.

Более поздние исследования показали, что это архипелаг крупных островов, о чем в то время, естественно, никто не знал. Так была открыта Северная Земля, последний значительный участок суши на планете! Вилькицкий в приказе по экспедиции отмечал: «...нам удалось достигнуть мест, где еще не бывал человек, и открыть земли, о которых никто и не думал».

Однако здесь следует сделать небольшое уточнение. В конце XIX века в одной из работ естествоиспытатель П. А. Кропоткин писал: «...архипелаг, который должен находиться на северо-восток от Новой Земли... так еще и не найден». О Северной Земле думали, ее координаты теоретически вычислили по характеру движения океанического льда. Только, конечно, никто не знал, правильны ли расчеты. Где она, неизвестная земля, впервые открытая на кончике пера?

...Плыть дальше на север было слишком рискованно: линию горизонта затащила сплошная полоса надвигающегося пакового льда, и Вилькицкий приказал повернуть на юг. У таймырского побережья ледовая обстановка не изменилась — по-прежнему огромное ледяное поле преградой лежало у берега.

До заветного, самого северного мыса Азии, к которому стремились многие полярные исследователи, оставалось всего двенадцать миль. К мысу решили послать пешую экспедицию в составе лейтенанта А. М. Лаврова (впоследствии крупного советского ученого-североведа, руководителя многих высокоширотных экспедиций), доктора Л. Старокадомского и пяти матросов.

Безжизненный мыс, вдающийся каменной грядой в ледяное тело Арктики, крайняя точка России. Чем привлекал он исследователей? Почему достичь его мечтали поколения полярных мореходов? К нему стремились многие, но лейтенант Лавров нашел здесь лишь знак, установленный в 1901 году экспедицией Эдуарда Толля на «Заре», а следов «Веги» не обнаружили. Очередная арктическая загадка, разгаданная только в 1919 году полярником Х. Свердрупом. Оказывается, тот мыс, которого достиг лейтенант Лавров со спутниками, не... самая северная точка континента. Край азиатской земли

лежал двенадцатью километрами западнее.

Знак Норденшельда не исчез. В 1935 году высадившаяся с легендарного «Ермака» на Таймыре экспедиция нашла ветхий деревянный столб, на тесаном боку которого с трудом можно было различить: «Вега». Чтобы навечно сохранить память о стоянке знаменитого мореплавателя, советские моряки на месте обетшавшего знака установили металлическую стелу с мемориальной табличкой.

Но все это произошло много позже. Тогда у лейтенанта Лаврова цель была совсем иная. Визуальная ледовая разведка — пожалуй, так можно сформулировать ее. А с возвышенности открывалась неутешительная картина: лед, лед, лед. Повсюду сплошной лед. Такие нераспространенные известия экспедиция и принесла на судно.

Однако лед был молодой, не очень прочный — всего метр-полтора толщиной. И тогда впервые за годы полярных плаваний Вилькицкий решил по-серьезному проверить ледокольные способности судов. Первые же шаги оказались успешными, особая форма корпуса действительно позволяла колоть лед. Корабль медленно наползал на льдину и крушил ее. Но когда прошли несколько миль, задумались: стоит ли продвигаться дальше? Резко увеличился расход угля, а как далеко простирались ледяные поля, было неизвестно. Вероятно, тогда у Вилькицкого и зародилась смелая мысль о ледовой разведке с помощью гидросамолета.

Вновь победила Арктика, вновь пришлось повернуть.

Неудача скорее распалила, чем огорчила Вилькицкого. Еще лучше готовиться, еще быстрее плыть — с этими мыслями возвращался командир. А где-то в сокровенном уголке души теплилась еще надежда и на благоприятную погоду...

* * *

Наконец настало долгожданное 7 июля 1914 года, суда отошли от причалов Владивостокского порта и опять — в который раз! — взяли курс на север.

Экспедиция основательно подготовилась к штурму Арктики. Вилькицкий решил пройти Северным морским путем, чего бы это ни стоило. Учили и возможную зимовку, взяв запасы угля, продовольствия и пресной воды на полтора года плавания. На борт «Таймыра» погрузили ящики с разобраннным гидропланом «фарман». По пути «Таймыр» и «Вайгач» зашли в Петропавловск-Камчатский. Там случайно Вилькицкий узнал, что около острова Врангеля терпит аварию судно «Карлук» канадской полярной экспедиции. Правительство Канады обращалось с просьбой помочь пострадавшим.

Вилькицкий изменил курс, зашел в порт Ном на Аляске за дополнительными данными о канадцах. Но здесь он узнал ошеломляющую новость — началась война. Первая мировая.

Как поступить в этой обстановке? Каковы будут новые инструкции? Да и вообще какова

судьба самой экспедиции? На эти вопросы в Арктике никто не мог ответить. После короткого совещания решили: «Вайгач» пойдет к острову Врангеля выручать из беды канадцев, а Вилькицкий на «Таймыре» повернет в сторону Анадыря, где есть мощная радиостанция, позволявшая связаться даже с Петербургом.

Ответ из столицы успокоил Вилькицкого: по-прежнему продолжать полярные исследования. Сразу же после переговоров со столицей Вилькицкий по радио получил тревожный сигнал бедствия: помощи просил «Вайгач». Около острова Врангеля он потерпел аварию. Огромная льдина заклинила винт, корабль потерял маневренность и вмерз во льды. «Таймыр», пуская черные облака дыма, поспешил на помощь.

Много пришлось потрудиться, прежде чем освободили «Вайгач». Сперва пробовали серий взрывов расколоть злосчастную льдину — не удалось: заряды были слишком слабы. Увеличить массу взрывного вещества тоже было нельзя. Сильная взрывная волна могла повредить винт или обшивку судна.

В конце концов ломали, легкими взрывами экипажу все же удалось вырвать «Вайгач» из ледяного плена. Однако пробиться к острову Врангеля так и не смогли. Вилькицкий решил отказаться от бесполезных и рискованных попыток и приказал взять курс на запад. К острову уже приближалось канадское спасательное судно, и судьба попавших в беду полярников не вызвала опасений.

Медленно двигались «Таймыр» и «Вайгач». Вилькицкий опасался, что участвовавшие штурмы могут пригнать лед и забить проливы между материком и Новосибирскими островами. Тогда исход всей экспедиции был бы предрешен — опять пришлось бы ждать следующего года. Стараясь держаться подальше от побережья, корабли следовали на запад. У островов Де-Лонга их пути разошлись. «Таймыр» пошел прямо к мысу Челюскин, а «Вайгач», занявшись научными исследованиями, задержался около Новосибирских островов.

Погода благоприятствовала плаванию. Невысокие волны колыхали морскую гладь, льда почти не было видно, лишь около островов Генриетты и Жаннетты, которые обследовал «Вайгач», виднелись бескрайние поля тяжелого пака.

27 августа у острова Жохова, названного в честь одного из участников экспедиции Вилькицкого, суда встретились. Встречи всегда радуют, особенно в Арктике, где каждое, пусть небольшое, расставание может оказаться последним. Наскоро обменявшись впечатлениями, путешественники двинулись дальше, к роковой точке, которой был для них мыс Челюскин.

Между северным мысом и открытой экспедицией землей растянулся пролив, свободный ото льда. Просто не верилось этому. Спокойные волны бежали по морской глади. 1 сентября «Вайгач» первым рассек воды безымянного пролива, двигаясь к южной оконечности Северной Земли:

требовалось наметить на карте береговую линию.

Вилькицкий на «Таймыре» решил задержаться у мыса Челюскин, чтобы соорудить основательный каменный знак: все-таки самая северная точка России. Пока на берегу воздвигали гурий, тяжелые серые тучи, цепляясь за мачту корабля, как-то сразу заволокли небо. Волны заиграли все живее и живее. Неизвестно откуда взявшиеся валы обрушились на судно. Вскоре пролив был белым от пригнанного льда, мощное ледяное поле едва не вытолкнуло «Таймыр» на берег. Неожиданное суровое испытание не сломило воли экипажа. Вилькицкий на ледокольном судне, несмотря на сильное встречное течение, упорно шел и шел на запад...

Они выстояли. Им все-таки удалось провести корабль через пролив, позднее названный именем Бориса Вилькицкого — русского полярного первопроходца. Но льды сделали свое дело: на судне прогнулись перегородки, помялся корпус, началась течь. Продолжать плавание стало опасно. Пришлось искать спокойную бухту у одного из прибрежных островов.

Вскоре началось сильное сжатие льда. Огромные льдины громоздились одна на другую. Кругом стоял грохот, треск ломающихся ледяных полей. «Таймыр» уже не мог бороться с разбушевавшейся стихией. Он валился на бок, на лед.

«Вайгачу» с меньшими потерями также удалось пройти проливом. Но потом судно вмерзло в лед, а мощное течение и ветер медленно погнали льдину вместе с кораблем обратно на восток. Положение стало критическим. Преодолев самый тяжелый участок Северного морского пути, оба обессиливших и израненных ледокола сделали игрушками стихии.

Но вот неожиданно появилась надежда на спасение. Совершенно случайно установили радиосвязь со шхуной «Эклипс», плававшей поблизости, в Карском море, в поисках пропавших экспедиций Брусилова и Русанова. На шхуне знали о кораблях Вилькицкого. Капитан «Эклипса» Отто Свердруп советовал отказаться от дальнейшего продвижения, найти удобную бухту и зимовать.

Совет был правильным. Но как ему следовать? Корабли Вилькицкого потеряли ход: у «Таймыра» поврежден корпус, срезаны льдом две лопасти винта, у «Вайгача» тоже вышел из строя винт. И поиски удобной бухты пришлось отложить до лучших времен.

Зима застала «Таймыр» неподалеку от побережья. «Вайгач» зимовал в пятнадцати милях от него. Экипажи переговаривались по радио: связь была устойчивой. Изредка, при хорошей погоде, связывались с «Эклипсом», зимовавшим в ста пятидесяти милях западнее.

Связь с «Эклипсом», на котором была мощная антенна, позволяла Вилькицкому передавать сообщения в Петербург. «Считаю положение транспортов безопасным до весенних льдов», — радиовал он морскому министру. — Пройдя Челюскин, встретили непроходимые льды. Оба транспорта застряли у северного

полуострова Оскара и медленно дрейфуют со льдами... Провизии хватает на год».

Трудно было сказать, что принесет следующая навигация. Возможность второй зимовки не исключалась: «Таймыр» мог плыть, но как он перенесет подвижку льдов — никто не знал. На всякий случай Вилькицкий приказал построить на берегу избу и склад, куда перенесли часть продовольствия.

Полярная ночь надолго окутала корабли. В трудах и заботах прошла долгая арктическая зима со жгучими морозами, с ветрами и метелями.

Но путешественники, несмотря на критическое положение, не сдавались: кое-как подмонтировали суда, поправили винты. Все очень надеялись, что ледокольные транспорты все-таки обретут хоть какую-то маневренность. Спасательные меры приняли как нельзя вовремя. Поздней арктической весной начался ощутимый дрейф ледяного поля. «Таймыр» все дальше и дальше удалялся от берега.

Работа, работа и работа... Каждый день тяжелая экспедиционная работа. И так во время всей труднейшей зимовки. На льдине, около кораблей, создали метеорологические площадки и постоянно, в любую погоду, вели наблюдения. Больше того, Николай Иванович Евгенов поставил оригинальные опыты по изучению верхних слоев атмосферы, он наладился запускать воздушные змеи с приборами-метеорографами. К слову сказать, это исследование Евгенова не утратило значимости по сей день.

Самого начальника гидрографической экспедиции Бориса Андреевича Вилькицкого, безусловно, можно причислить к естествоиспытателям. Это он поставил на зимовке интересы науки во главу угла. Например, установил незыблемый порядок: вся убитая дичь, прежде чем отправиться в котел, сначала изучалась судовыми докторами Э. Е. Арнольдом и Л. М. Старокадомским, отвечавшими за зоологические коллекции, которыми до сих пор гордится Зоологический музей в Ленинграде.

Здесь, на зимовке, проявились и незаурядные организаторские качества Вилькицкого. Для оздоровления морального климата на судах устраивались для команды футбольные матчи, ставились спектакли, с матросами велись занятия по русскому языку, математике, физике, географии, истории. Спаянность, негибимый дух товарищества помогли экспедиции выстоять в труднейшую зимовку.

Конечно, спокойной и небезмятежной была зимовка. В это полное тревог время к ослабленным людям пришли болезни. Умер лейтенант Жохов, помощник Вилькицкого. Все чаще и чаще слышался ропот. Люди устали. Годы, проведенные в Арктике, не прошли бесследно. Вилькицкий после долгих раздумий решил сплывать на берег в рыбацких поселках Гольчиху, что приютился в устье Енисея, часть экипажа — ослабевших и больных. Своими силами выполнить эту сложную задачу было нельзя, и Вилькицкий попросил помочь матросов с «Эклипса», которые на саних перевозили больных.

В мае и июне солнце уже не пряталось на ночь за горизонтом, оно ласкало и обогревало истосковавшуюся по теплу Арктику. Но лед на море по-прежнему лежал толстой броней. Чтобы не терять времени даром, Вилькицкий приказал заняться изучением побережья. Во время геодезических съемок фюрора Гафнера впервые применили аэросани. Для их постройки, вероятно, использовали мотор от гидроплана «фарман».

Так, по-прежнему за работой, коротали полярный день. В июле сильный шум нарушил безмолвие Арктики — началась подвижка льда. Бескрайние ледяные поля, испещренные трещинами, крошились на крупные и мелкие льдины, которые течение подхватывало, образуя гигантскую карусель.

Первым освободился ото льда «Вайгач», в стремительном водовороте он быстро удалялся в открытое море. Но через некоторое время водной поток ослабел, и судно снова вмерзло в лед, продолжая общий с «Таймыром» дрейф на юго-запад.

В тревожном ожидании прошло еще несколько дней, пока низкие тяжелые тучи не заволокли чистое северное небо. Опять шторм. Свиристые валы мощными ударами окончательно разбили белое плато, и корабли освободились из ледяного плена. Раскаты грома — очень редкого в Арктике — как бы салютовали чистой воде. Радостное чувство овладело мореплавателями. После бесконечной зимовки по-настоящему, в полную силу задыхались большие трубы — корабли снова медленно поплыли на запад.

Но далеко продвинуться не удалось. Досадные неудачи продолжали преследовать путешественников: и без того израненный «Таймыр» наскочил на подводную скалу и угрожающе завалился на бок. Нельзя было терять ни минуты, любая высокая волна могла решить судьбу корабля. И тут сказались выдержка и хладнокровие Бориса Вилькицкого. Чтобы облегчить судно, за борт потащили запасы угля, пресной воды. Продовольствие шлюпкой перевезли на ближайший остров. Ничего не помогало. Лишь срочно вызванный по радио «Вайгач» во время прилива стащил «Таймыр» со скалы.

Но дальше плыть было нельзя, большая рана чернела в пробитом корпусе «Таймыра». На скорую руку устранили течь, и корабли пошли к архипелагу Норденшельда. Там находился «Эклипс».

16 августа на горизонте показалось облачко дыма, которое росло, превращаясь в черные клубы. Скоро появились и контуры судна — это был «Эклипс». Продолжительные гудки известили полярный мир о долгожданной встрече. А потом, закончив необходимую перевалку грузов, три судна поплыли в сторону порта Диксон, где находились склады и радиостанция.

После недолгого ремонта корабли Вилькицкого взяли курс на Архангельск.

3 сентября 1915 года у причалов Архангельского порта закончилось плавание отважных исследователей Арктики — Бориса Вилькицкого.

го и его спутников, которые впервые в истории прошли тяжелейшую трассу Северного морского пути с востока на запад. Это было выдающееся достижение! В знак признания особых заслуг Русской гидрографической экспедиции был учрежден особый нагрудный знак в честь знаменательного события. Все участники экспедиции получили ордена и медали. А Шведская академия наук наградила Бориса Андреевича Вилькицкого медалью «Вега», Русское географическое общество — своей высшей наградой, Константиновской медалью.

Когда тяжелый поход окончился, началась пора отчетов, споров и выводов. Почти два месяца отняли деловые бумаги, обсуждения, совещания. Лишь в конце ноября закончилась «сухопутная» часть морской экспедиции. И — Борис Андреевич Вилькицкий получил назначение командиром строящегося эскадренного миноносца «Летун».

Снова дела, снова хлопоты, снова заботы... И в начале следующего, 1916 года «Летун» уже бороздил воды Балтики. Успешные операции по минированию, «запирающие» в портах вражеские корабли, неожиданные атаки, опасные рейды. Но на войне счастье переменчиво... В Ревельском створе подорвался на mine «Летун». Пробойна оказалась небольшой, однако пришлось встать на ремонт, который по разным причинам затянулся.

Вскоре Вилькицкий служил уже на другом миноносце. За храбрость его произвели в капитаны 1-го ранга, что давало ему право командовать дивизионом — такова морская традиция. Но Борис Андреевич, ссылаясь на молодость, на отсутствие боевого опыта, попросил оставить его в прежней должности. Он стал единственным в российском флоте капитаном

1-го ранга, который командовал миноносцем.

Великую Октябрьскую социалистическую революцию Вилькицкий встретил, как и большинство офицеров, настороженно. Многие до конца не понимая, он тем не менее не пошел в стан врагов революции. Пытался разобраться в бурных событиях.

Его властно манила Арктика, ее бескрайние и заснеженные просторы. И Вилькицкий в 1918 году стал руководителем первой советской полярной экспедиции. Снова низкий деревянный Архангельск, где на рейде стояли до боли в сердце знакомые «Таймыр», «Вайгач» и другие суда Северного флота.

Долго бродил Борис Андреевич по берегу, любуясь судами. Мечты, как волны, сменяли одна другую. Хотелось как следует организовать новую полярную экспедицию.

Однако начать исследовательские работы не смогли. Началась гражданская война, и город захватили интервенты. Случилось так, что Вилькицкий, избирая пути своей дальнейшей жизни, эмигрировал в Англию, потом в Бельгию, но связи с Родиной не порвал.

В 1923 и 1924 годах по инициативе Владимира Ильича Ленина были организованы знаменитые Карские товарообменные экспедиции. Ими руководил приглашенный из-за границы крупнейший специалист по проводке судов в Арктике — Борис Андреевич Вилькицкий, настолько был высок авторитет этого мореплавателя, настолько велика была степень доверия к нему со стороны Советского правительства.

...Без преувеличения можно сказать, что именно с Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана — с 1910 до 1915 года — началось современное освоение Великого Северного морского пути.

Михаил ЗОЩЕНКО

Конец рыцаря Печального Образа

От автора публикации

Сначала несколько слов о теме Блока в творчестве Зощенко.

«Умер Блок. Изменился неузнаваемо. В гробу похож на Гоголя. Провожу странное сравнение со смертью Пушкина». Это дневниковая запись Зощенко, помеченная августом 1921 года. Самые дорогие для Зощенко имена: Гоголь, Пушкин. И вот рядом с ними — Блок.

«Блок — как в фокусе — соединил в себе все чувства своего времени (...) Он облагородил своим гением все, о чем думал, писал». А это уже 1943 год. «Перед восходом солнца», последняя работа Зощенко, в которой упоминается Блок.

Имя Блока в записных книжках, дневниках, произведениях Зощенко встречается, пожалуй, чаще, чем имена других современников. Более чем шестидесятилетней давности пожелавшие листки бумаги, странички альбомов, письма хранят рукой Зощенко переписанные стихотворения Блока. В рассказах, фельетонах, повестях — блоковские строфы, строчки, слова. Не будь Блока, не было бы «Мишеля Синягина». Не напиши Блок «Возмездия», повесть Зощенко, написанная со слов А. Л. Касьяновой, не только не имела бы того же названия — сама тема гибели старой России, не одухотворенная философией Блока, вполне возможно, вообще не стала бы одной из важнейших тем в творчестве Зощенко.

Словом, для Зощенко Блок, его образ, воззрения, миропонимание, созданное его гением искусство были той питательной средой, «зажигательной смесью», что ли, без которой не раскрылся бы в известной нам мере зощенковский талант мыслителя и критика социально-общественной и культурной жизни России предреволюционных и первых послереволюционных лет.

Предреволюционную «интеллигентскую литературу» Зощенко считал «неспособной к продолжению жизни», «умирающей» литературой, а ее героев — «неживыми людьми». Блок, в его понимании, был здесь как высшее проявление идей, мыслей и чувств этой литературы, вобрав-



Командир взвода Мингальского гренадерского полка подпоручик М. Зощенко. 1915 г.

шей в себя безнадежную суть времени, которое, как и его литература, закончило свое существование. Закончилось время — остался за порогом нового времени и Блок.

Но неожиданно для всех Блок написал «Двенадцать»!..

В статье «Конец Рыцаря Печального Образа» влюбленный в Блока молодой Зощенко попытался осмыслить этот по с т у п о к великого поэта.

История написания этой статьи такова. Летом 1919 года демобилизовавшийся по состоянию здоровья из Красной Армии Зощенко служит старшим милиционером железнодорожной милиции на станции Лигово и свободными вечерами, приезжая в Петроград, посещает студию переводчиков, открытую при издательстве «Всемирная литература». Он еще не знает, что будет делать в литературе, и потому записан не на отделение прозы, которое ведет Е. И. Замятин, а у К. И. Чуковского, занимающегося с критиками. На одной из очередных встреч со студийцами Чуковский предлагает Зощенко и Е. Г. Полонской совместно написать «основательную» статью о трехтомнике стихотворений Блока. От совместной работы Зощенко отказывается. Полонская берет на себя разбор первого тома, Зощенко — второго и третьего и не вошедших в трехтомник стихотворения «Скифы» и поэмы «Двенадцать».

«Недели через три, — вспоминает Полонская, — я огласила свою статью на одном из очередных занятий. Выслушав ее, Чуковский



М. Зощенко на русско-германском фронте. 1916 г.

похвалил некоторые мысли, хотя кое в чем со мной не согласился. Потом Зощенко начал читать свою статью, но вдруг оборвал чтение. «Другой стиль», — заявил он. Чуковский взял у него тетрадку: «Давайте я прочту».

Корней Иванович стал читать вслух «с листа», с выражением, привычно подчеркивая интонацией отдельные слова. Так он читал детям «Крокодила» или «Тараканище». Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота. Не помню, что именно было написано у Зощенко, но в чтении Чуковского это было действительно смешно по стилю.

Корней Иванович, утирая слезы на глазах, так он смеялся, сказал: «Это невозможно! Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения...»

Зощенко взял свою тетрадь, свернул ее трубочкой и небрежно сунул в карман...» *

Чем же так насмешила студийцев и их руководителя статья Зощенко, ставшегося объяснить происшедшее с Блоком и тем самым обосновать закономерность появления поэмы «Двенадцать» с ее «большой идеей мировой социальной революции»?

Много позже К. И. Чуковский писал: статья была «своевольной, дерзкой», «идущей напере-

кор студийным установкам и требованиям» *. Вот где причина смеха. Зощенковская статья-эссе (при всей серьезности содержания) формой своей, стилистикой как бы смеялась над всеми этими «установками и требованиями», над устоявшимися представлениями о том, как надо писать о литературе. В чтении ее вслух Чуковским, не раз читавшим студийцам собственные статьи, вызов Зощенко привычному языку критики прозвучал с удвоенной силой. «Другой стиль», — сказал Зощенко. Это-то и было смешно.

По свидетельству М. О. Чудаковой, предпринявшей обстоятельное исследование историко-литературной связки Зощенко — Блок, через некоторое время после публикации мемуаров Е. Г. Полонская в беседе с ней говорила: «Слушайте, Вера Владимировна (жена Зощенко) дала мне недавно эту статью о Блоке — это ужасно: там ничего нет смешного! Но ведь я помню — мы страшно хохотали!» **

А что, если Зощенко тем летом 1919 года принес в студию не эту, а какую-то другую статью? Такое мнение высказывалось исследователями. И основания к тому вроде бы были: находящийся в Пушкинском Доме архив Зощенко хранит следы не одной, а трех работ о поэзии Блока. Однако при ближайшем рассмотрении и черновики статьи «Печальный рыцарь», и наброски другой, не получившей названия статьи, — суть варианты третьей: «Конец Рыцаря Печального Образа». Именно эта статья — единственная! — имеет беловой автограф. Именно ее упоминают, цитируют, разбирают практически все, кто занимается творчеством Зощенко. Именно она по всем — как прямым, так и косвенным признакам — та самая, о которой вспоминал и К. Чуковский и Е. Полонская. Эта статья у нас до сих пор не печаталась.

Это ее первая публикация.

Предисловие и публикация
Ю. Томашевского

* * *

Много раз был поэт в «розовых цепях» у женщин: и у Прекрасной Дамы, и у Незнакомки... А в блеклые весенние ночи, когда так все таинственно, казалось поэту, что он влюблен не в простую обычную женщину, а в принцессу, да и эта принцесса не принцесса, а мечта, греза, видение бесплотное...

Да и сам он какой-то удивительный рыцарь, и крылатка на его плечах — так, нарочно, а на самом-то деле он закован в чудесные латы.

Но это было в блеклые весенние ночи, и это было в юные годы поэта.

Тогда он многих встречал женщин, и «что

* Чуковский Корней. Из воспоминаний. — Кн.: Михаил Зощенко в воспоминаниях современников. М., «Советский писатель», 1981, с. 19.

** Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., «Наука», 1979, с. 27.

* Полонская Е. Г. Начало двадцатых годов. — «Простор», 1964, № 6, с. 111.

быть должно», то «быть должно»: любовь, и стихи, и тоска.

Об этом уныло и каждый день ему пела шарманка в низкое его окно. И тогда казалось, что улица покрывалась «серой постылой пеленой», и «в пыльной серой мгле» проходили «серые прохожие». Тогда было скучно поэту.

Но так бы и прожил он, не ссорясь с судьбой, «как быть должно», и ездил бы каждое лето в Шувалово, если бы не случилось удивительное.

Впрочем, я еще не знаю, что случилось, но нынче не поехал поэт в Шувалово, нынче переехал поэт на Большую Рыбацкую улицу.

И какое смятие у парнасцев, и какое отчаяние у парнасцев: поэт ничего не взял с собой из старого! Даже Прекрасную свою Даму, даже таинственную свою Незнакомку оставил «без Спутника»...

Все было новое, странное и удивительное.

* * *

Но что же могло случиться у поэта, который знает, что в жизни

Что быть должно, то быть должно...

Так ему пела шарманка с детских лет, и вот он стал поэт... Он даже поэтом стал как-то помимо своей воли. Судьба, Рок, Кисмет распорядились его жизнью, и ему даже было часто

...все равно, какие
Лобзает уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...

Какая же удивительная покорность и какое смиреннейшее сердце у поэта!

Будто тянется какая-то длинная серая лента в пятьсот метров — его жизнь — и на ней все ясно, и на ней все, «что быть должно», на ней придуманные неживые люди, как маленькие марионетки, танцующие до безумия одинаковый простенький свой танец — Раз, два, три... Раз, два, три...

Ведь «все в мире кружащийся танец», печально говорит поэт.

Все повторяется через положенный промежуток, все возвращается к старой своей точке, как искусной рукой брошенный вверх бумеранг.

Какой-то новый закон повторности тяготеет над поэтом. Круги и круги...

Замкнутые, маленькие и огромные. Все непременно повторится, все непременно совершится по указанной кем-то линии, и только дело во времени.

Оттого-то так скучно поэту. Оттого-то у него вечное какое-то стесненное ощущение холода и тоски:

— Звезды, звезды,
— Расскажите причину грусти!
Звезды, звезды.
— Откуда такая тоска?

Всюду скучно поэту, всюду — тоскливо:

и скука каких-то обедов чинных,
и скука каких-то пригородных дач,
и скука и ненужность каких-то свечей.

И казалось мне часто, что отними у поэта его скуку, не позволяй говорить ему о печали — и ничего не останется.

Ведь даже слова-то у него самые прекрасные для печали:

Я вся усталая. Я вся больная.
Цветы меня не радуют...

И такую печаль, такую мертвящую тоску в чувстве и даже печаль каждой вещи поэт передает какой-то особенной совершенной музыкой:

Вон — тощей вербы голый куст —
Унылый призрак долгих буден.

Так скучно, что кажется, нет и жизни, что все умирает и на самом деле покрывается «постылым серым налетом». И непременно серым, иначе поэт и не мыслит о скучном:

серая улица,
серые прохожие,
пыльно-серая мгла
и даже серый сон у поэта.

И вот все, что повторяется, все, что замыкается уже в постылый круг, — все то серое, тоскливое и ненужное. «Унылый призрак долгих буден», — и этот «ужасный красный комод в комнате», и «диван с полинялым штофом» — все эта постылая едешность.

Но вот, когда поэту в особенности немила пошлость, тогда он примечает в ней какую-то тайну:

Средь этой пошлости таинственной
Скажи, что делать мне с тобой...

И кажется ему тайна —

в смехе,
в глазах
и даже в пивных кружках.

Тогда легче, тогда не так-то унижат будни.

Но вот я примечаю, что иногда серое таинственным образом превращается в голубое, в белое, в блестящее:

В ту ночь был белый ледоход
Разлив весенних вод...

Та незнакомая пришла
И встала на мосту.
Она была — живой костер
Из снега и вина...

И какая радость.

...Она придет. Забелеет сиянье,
Без вины прижмет к устам уста...

Или поэт смотрит на незнакомых женщин
на улице — и какая надежда:

Ждал я светлого ангела к нам,
Чтобы здесь, в ликованьи тротуара,
Он одну приобщил к небесам.

Это все незнакомки. И это все для них. Даже
имена их неизвестны поэту. Да и не все ли рав-
но, он придумает: Мария, Аделина или просто
Прекрасная Дама, которая к нему «никогда не
придет», а если и придет, но как виденье, как
тень:

Всегда без спутников, одна.

Итак, все покрыто постылой серой пеленой,
все серое, и не серое лишь одно — л ю б о в ь.

Ведь это даже не Прекрасная мистическая
Дама Влад. Соловьева. Это просто Незнакомка,
виденье, тень, которая может воплотиться в лю-
бой женщине...

Я мысленно и в памяти ищу такую любовь.
Нет. Ее не было еще ни у кого. Вот Данте, рыцари,
трубадуры — первые певцы любви — нет,
ни у кого нет!

Но тут-то я нахожу изумительное явление —
совершеннейшую диаграмму любви.

И какая характерная кривая любви! Как
изменялся постоянно поэтический культ жен-
щины и культ любви от трубадуров и до нас.

Вот первые трубадуры воспевают неведо-
мую доселе любовь к женщине — к исчадию
ада...

Вот женщина становится предметом покло-
нения.

Вот в чувственность вплетается духовная
любовь и нежность.

Рыцарское отношение почитается идеаль-
ным.

Любовь становится сильнее смерти.

Данте называет любовь вечной.

И превозносится любовь все выше и прини-
мает тайну.

Вот арабы слагают таинственные песни о
любви.

И вот уже Рыцарь Печального Образа видит
в каждой крестьянке прекрасную свою Дуль-
цинею...

И вот тут-то уже кризис.

И вот опошленная любовь в период Санти-
мента.

А вот и знаменательная фраза:

Любить, но кого же? На время не стоит
труда,

А вечно любить невозможно!

Но дальше, дальше...

(Вот с «грязнотцей» и ярчайшие по времени

Арцыбашев и Вербицкая с идеей любви несом-
неннойшей.)

А вот уже в наши дни печальный Виктор
Гофман * с печальными песнями к далекой,
когда-то знакомой и ушедшей:

Быть близ тебя казалось так желанно.
Быть близ тебя казалось мне грехом.

И вот последний — любовь даже не к дале-
кой, а к Неизвестной, к Призраку, к Прекрасной
Даме, которая никогда

Никогда не придет!

И вот «грядущий»:

Фабрики без дыма и без труб
миллионами выделявали поцелуи —
всякие,
большие,
маленькие,
мясистыми рычагами шлепающих губ.
(Вл. Маяковский)

* Гофман Виктор. Любовь к далекой. Кн. 1 и 2.
(Прим. авт.)



М. Зощенко. Рисунок Ю. Анненкова. 1921 г.

Витеръ веселый
И золь, и радъ.
Крутить подошъ,
Прохожихъ косить,
Рветъ, нисеть и носить
Большой плакатъ:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносить:

...И у насъ было собраніе...

...Вотъ въ этомъ зданіи...

...Обсудили —

Постановили:

На время — десять, на ночь — двадцать пять...

... И меньше — ни съ кого не брать...

... Пойдемъ спать...

*Нарисован
Макс Виноградовъ
У Гюго Искупитель
для души.*

Маргиналии М. Зощенко к поэме А. Блока «Двенадцать».

Но довольно. Точка. Я буду говорить о неизвестной.

Поэт — несомненный рыцарь. Идея любви, идея о божественной Прекрасной Даме — это основа первых его произведений.

Однако эта Прекрасная — не реальная женщина —

Она не придет никогда.

Она не ездит на пароходе...

Была она сначала, как и у Гофмана, далекая, но только совершенно Незнакомая — миф, мечта, иллюзия. И уже потом эта мечта, бред стали воплощаться в случайной и встречной

женщине — Незнакомке. И если на секундочку поэту и покажется, что вот пришла Прекрасная незнакомая, то он, счастливейший, уже мыслит приобщить ее небесам. Но это на секундочку. Небожительница непременно превратится в простенькую мещаночку. И тогда трагедия, и тогда бешенство, тогда постылость.

Но вот стихотворение «Над озером».

Вечером поэт на кладбище. Он видит — как какая-то незнакомая в девичьем платье задумчиво проходит мимо него и садится на ступеньки могилы.

И оттого, что он примечает в печальном ее взоре какую-то необычайную тоску и «далекость» и оттого, что поэту кажется, что если и

подойдет к девушке, ну, скажем, вот тот офицер, то она наверняка прогонит его... «Ах, как прогонит!»

Поэт уже влюблен в нее:

О, нежная! О, тонкая! — И быстро
Ей мысленно приискиваю имя:
Будь Аделиной, будь Марией, Теклой!
Да, Теклой!..

А офицер уже близко. Вот он подходит к ней, целует и — «ведет ее на дачу».

И поэт уже как бы вне себя:

Я хохочу! Вбегаю вверх. Бросаю
В них шишками, песком, визжу, пляшу
Среди могил — незримый и высокий...
Кричу: Эй, Фекла, Фекла!..

И вот тут-то и трагедия: небожительница Текла превращается в Феклу! Прекрасная мечта, чудесная Незнакомка с придуманным именем — да ведь это же грязная Альдонса! А поэт — несомненный Дон Кихот, увидевший в Альдонсе Дульцинею.

И какая насмешка — прозревший Дон Кихот!

Печальный Рыцарь Печального Образа!

Но был Дон Кихот счастлив, ибо не было у него сомнений...

Блок, несчастнейший Блок, — сомнения отвергнули его от реальной женщины к Незнакомке. Но и Незнакомка чудесно превратилась в реальнейшую Феклу-Альдонсу, в буднюю ежедневность.

Прозревший Дон Кихот, это ли не трагический конец Печального рыцаря?

И как характерно, еще раньше, до трагического своего прозрения, поэт гнетет какой-то страх в предчувствии любви.

И вот еще новый круг замыкает поэт.

Прекрасную кривую очерчивает в воздухе бумеранг и падает в старую свою точку. И если бы хоть один этот круг не замкнулся бы — ничего бы и не было. Так и прожил бы поэт — «как быть должно». Но теперь все изжито. Скорей уйти от прекрасной придуманной улицы, она покрывается серым постылым налетом...

Скорей уйти от серой ленты с придуманными танцующими марионетками —

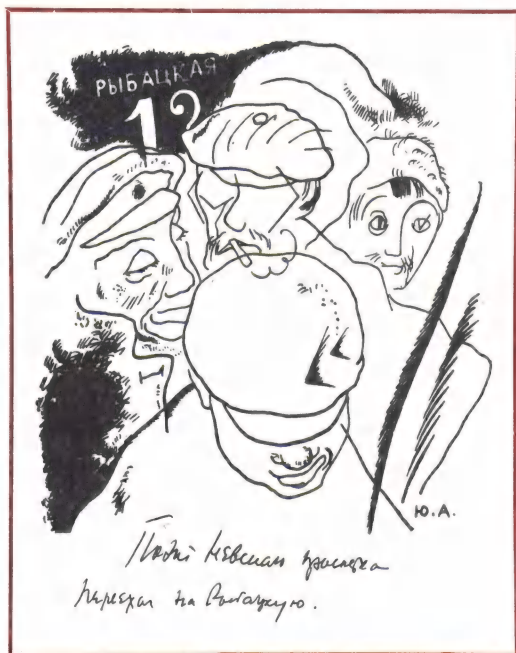
Раз, два, три... Раз, два, три...

* * *

И вот поэт на Рыбацкой...

Но тут-то я должен оговориться: я совершенно не настаиваю, что А. Блок, изверившись в идее своей любви, написал поэму «Двенадцать». Я совершенно не отрицаю иную идею у поэта, которая так ясна и о которой расскажу после. Но еще один замкнувшийся круг выбросил поэта на Рыбацкую. И это несомненно.

А. Блок написал поэму «Двенадцать» о новом Петербурге, о Петербурге после октября 17-го года.



Маргиналии М. Зощенко.

И в этой героической поэме казалось все новым от идеи до слов.

Тогда был большой переполох и смятение у одних, а другие немедленно предъявили претензию:

Он наш.

Тогда возник вопрос о признании пролетарской поэзии, искусства. Вопрос, который ничего не разрешил. И по сие время носятся с ним иные, как с писаной торбой, иные заявляют такое:

Не признаю. Заказано в Пролеткульте.

Но тут я должен рассказать вот что.

Однажды Куприна спросили — признает ли он правительство. Да, конечно, он признает правительство. Дождь идет, и вымокло его платье — признает ли он это? Да, признает. Лопнул городской коллектор, и город затопило нечистотами. Может ли он это признать? Да, он совершенно признает это. Он признает правительство.

И всякий раз, когда меня спрашивают, признаю ли я новое искусство, я вспоминаю фельетонные эти строчки и со смирением в сердце говорю: признаю. Да и как я могу не признать, когда я читаю книги и слышу песни — и они новые, несомненно новые, и в них часто неиспытанные еще в поэзии слова и мысли.

Я признаю, что существует такая ли беззастыдливая им поэзия и отнюдь не психологические трюки, а непременно героический эпос с примитивом во всем, с элементарнейшими чувствами (наслаждение и опасность, восхищение и сожаление), с высокой волей к жизни и со здоро-

вым звериным инстинктом — это и есть новая поэзия «варваров», любезная им поэзия.

Впрочем, раньше, до поэмы «Двенадцать», читая последнюю патентованную бездарь, я ужасно как сомневался и думал, что всегда найдутся такие придворные поэты, воспевающие королевские прелести. И тогда очень думал, что поэты спешно исполняют подряд на знатного клиента.

Но Александр Блок...

Какой уж тут подряд!.. Тут уже новые слова, новое творчество, и не оттого, что устарели совершенно слова, и мысли, и идеи наши, нет, оттого, что параллельно с нами, побочно, живет что-то иное, может быть и есть — пролетарское.

И живет не шумно и часто бездарно, но живет.

Я слышу биение сердца:

...Идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль.

Но героический эпос с элементарнейшей основой во всем — явление ничуть не удивительное.

Я совершенно был уверен, что такое «умирание» и всякие изысканные изломы в искусстве, в частности в литературе, какие были в последние годы, вообще не способны к продолжительной жизни. Рецептов оздоровления я не знаю, но зато я очень знаю и помню, что однажды от такого умирания, от литературной анемии мы уходили и уходили — к порнографии и пинкертоновщине.

А вот нынче мы уходим к поэзии варваров.

Я не занимаюсь предсказаниями... Я никогда не был провидцем, но предчувствую, что судьба двух литературных отступлений — одинакова, несмотря на органическое их различие и по глубокости и новизне.

Итак, поэма «Двенадцать» — героическая поэма. Но какое чудо! Если б на книге не было имени Блока, если бы даже было начертано, ну, скажем, Илья Фиоктиносов, — я бы тотчас сказал:

Это Блок.

И в самом деле: тут и метели, и вьюги, и реальнейшая Фекла — Катя, и бывший офицер с вихляющим задом — Ванька. И снова последняя стадия идеи любви.

И что из того, что поэт говорит об евангелистах новой жизни, о мировом пожаре, о рево-

люции... Что из того? Идея-то любви и тут выплывает и кричит, как афиша.

В поэме, как бы параллельно с чадом революции, и кровью, и «державным» шагом двенадцати, вырисовывается картина интимной жизни.

Кутят в кабаке Катька с Ванькой, а потом на лихаче мчатся по снежным улицам. И на улице происходит трагедия. Красноармеец Петруха с друзьями-приятелями убивает изменницу Катю. Все очень просто. Он бы и Ваньку убил — зачем тот с «чужой девочкой» гуляет, но Ванька скрылся. Правда, Петруха очень пожалел убитую:

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки темные, хмельные
С этой девкой проводил,
И даже сознался, что сгоряча загубил:

— Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча.
Но, услышав насмешки своих товарищей,

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...

Итак, все очень просто.

В сущности, и трагедии-то никакой не было. Убил изменницу, погоревал и опять повеселел.

Но, напившись пьяным, он снова вспоминает Катю, и тогда приходит к нему

Скука скучная
Смертная!
Упокой, господи, душу рабы твоя...
Скучно!

Да, конечно, скучно Петрухе, а еще скучнее самому поэту. Ведь тут-то и замыкается огромный круг — от Прекрасной Дамы, от чудесного призрака до сомнительной Теклы, до «развенчанной тени» и реальнейшей Кати...

Но я повторяю, что ничуть не отнимаю у поэта большую идею мировой социальной революции — это так ясно. И старый мир — «голодный пес», и Иисус Христос, ведущий евангелистов к новой жизни, — все это

огромно и величественно...

Но я остановился на идее любви, характернейшей для всей поэзии Блока.

7 августа 19 г.
Петербург

Станислав Куняев,
Сергей Куняев

Товарищи по чувствам, по перу...

В 1917 году Сергей Есенин писал о своих единомышленниках — поэтах «новокрестьянской» плеяды:

О, Русь, взмахни крылами!
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь¹.

«Иные имена» — это прежде всего Николай Клюев, Сергей Клычков, Пимен Карпов, Алексей Ганин — все крестьянские сыновья, интеллигенты в первом поколении. Кроме общности происхождения, их объединяла верность революции и традициям русской культуры, следовать которым, кстати, в те времена буйно цветущего и весьма агрессивного авангардизма всех оттенков было непросто.

Авангардизм в каких бы то ни было формах был чужд и враждебен новому поколению «крестьянских» поэтов. Единственная попытка Сергея Есенина создать собственную литературную школу, в которую вошли бы представители «авангарда» — имажинисты-«образоносцы», — закончилась неудачей. Этот исход был совершенно закономерен, тем более что сам Есенин недвусмысленно обмолвился о временных соратниках-имажинистах в одной из своих статей: «У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния»². Естественно, что Есенина объединяло с «крестьянскими» поэтами острое чувство родины, «жгучая, кровная связь» с родной землей.

С конца 20-х годов поэты есенинского круга, несмотря на то, что они много и талантливо работали, печатались мало, и критики того времени не ценили по достоинству их редкие публикации. Очевидна в этом свете необходимость восстановления объективной картины личных и



Юный С. Есенин.

творческих связей Есенина со своими подлинными собратями по духу.

Не безоблачны были творческие судьбы поэтов есенинского круга. Из-за этого многое в их наследии пока остается достоянием архива, изучено и оценено лишь в незначительной степени.

1. НИКОЛАЙ КЛЮЕВ И РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

В 1911 году московские и петербургские литераторы стали свидетелями необычного явления, о котором многие из них оставили противоречивые и подчас недостоверные воспоминания.

В литературных салонах стал появляться невысокого роста человек лет тридцати, длиннотелый, густобровый, с пронзительными умными глазами. Одет он был в малиновую косоворотку и поддевку, обут в смазные сапоги. Вкрадчивой походкой входил он в «благородное собрание», истово крестился, закатывая глаза, и начинал говорить, не сбиваясь, сохраняя оленецкий говор, всем своим видом демонстрируя смирение и невежество.

Именно таким многие современники запомнили большого и самобытного русского поэта Николая Клюева. Маска хитроватого, кряжистого, манерного мужичка «себе на уме», «поэта от сохи» — эта маска, которую он старательно культивировал на протяжении всей своей жизни, надежно заслоняла его от посторонних



Д-р А. Никольский Крюков
 Записки в библиотеке
 моя мать и сын Носовский
 Вечер и др. Записки и другие
 Случайные вещи к ф.
 1927

Н. Ключев. Фото с автографом.



Алексей Ганин и Сергей Есенин.

глаз и порой вводила в заблуждение некоторых исследователей его поэзии.

А между тем этот «мужичок» в совершенстве владел тремя европейскими языками, великолепно, по воспоминаниям немногих людей, видевших Клюева в узком кругу, исполнял на рояле пьесы Эдварда Грига. Глубоки были его познания в философии — в беседах со специалистами он поправлял цитаты из Баадера, Фихте-младшего, Якоба Беме.

Как вспоминал в беседе с одним из авторов этих строк Сергей Марков, близко знавший поэ-

та в начале 30-х годов, Николай Клюев был своим человеком среди востоковедов, причем поражал их глубокими познаниями в области истории, культуры и религии Востока.

И немногие из современников могли сравниться с ним по эрудиции в области древнерусской живописи, литературы и старой архитектуры.

«Житие протопопа Аввакума», «Поморские ответы» Андрея Денисова, «Виноград Росший» Ивана Филиппова, чьи имена поминаются в клюевских стихах и поэмах, стали своеобразными «университетами» большого русского поэта, воротами, ведущими к познанию мировой культуры, которую Николай Клюев осваивал фундаментально и настойчиво на протяжении многих лет. Не меньшую роль в приобщении его к прекрасному сыграли шедевры строгановского письма, фрески Дионисия и иконы Андрея Рублева. Эти образы были для него, помимо своего религиозного смысла, воплощением высочайшего проявления человеческого духа, «красоты, спасающей мир».

«...Родовое древо мое замглено корнем во временах царя Алексея, закурдрвлено ветвием в предивных строгановских письмах, в сусальном полыме пещных действ и потешных теремов...»³

Не случайна характеристика, которую дал Ключеву Есенин, назвав своего старшего собрата «изографом». В устах Есенина это слово имело несколько «умалительное» значение (понятие «изограф» как бы противопоставлялось поня-



Н. Клюев и А. Яр-Кравченко. Конец 1920-х гг.

тию «открыватель», то есть «изобразитель, но не творец»). Тем не менее эта характеристика верна по существу. Живописный, изобразительский элемент очень силен в творчестве Ключева — и не случайно: он глубоко изучил историю русской иконописи, был прекрасно осведомлен в истории русской и западноевропейской светской живописи. На протяжении всей своей жизни Ключев поддерживал тесные личные связи с художниками — Николаем Рерихом, Сергеем Коненковым, Борисом Григорьевым, Кузьмой Петровым-Водкиным. Известно также, что его любимейшими масте-

домик был и первым слушателем многих поэтических произведений Н. А. Ключева этого периода. Яр-Кравченко посвящен превосходный стихотворный цикл «О чем шумят седые кедры», а также послание «Художнику Анатолию Яру», написанное 19 ноября 1932 года, ранее не публиковавшееся.

У риторической строки
Я поверну ишачью шею
И росной резедой повею
Воспоминаний, встреч, разлуки!
По-пушкински созвучьем «руки»



С. Есенин. Кинокадр.

рами-живописцами XX столетия были М. Нестеров и М. Врубель.

Сохранились живописные портреты Николая Ключева, выполненные художниками разных поколений, среди которых можно назвать Б. Григорьева, К. Петрова-Водкина, И. Грабаря, Л. Бруни. Среди них особенное внимание обращают на себя работы народного художника РСФСР А. Н. Яр-Кравченко, с которым Ключев поддерживал тесные дружеские связи в 1928—1933 годах, в начальный период творческого пути молодого живописца. Знакомство А. Яр-Кравченко с таким знатоком и ценителем, как Ключев, безусловно, сыграло положительную роль в развитии таланта начинающего художника.

Яр-Кравченко написал с натуры несколько портретов поэта, среди которых выделяются акварельные и масляные работы 1932 года. Ху-

Чиня бывшие корабли,
Чтоб потянулись журавли
С моих болот в твое нагорье.
Там облако купает в море
Розовоногих облачат,
И скалы забрели назад
В расплавы меди, окры, зели...
Ты помнишь ли на Вятке ели,
Избу над пихтовым обрывом?
Тебе под двадцать, я же сивым
Был поцелован голубком,
Слегка запорошен снежком,
Как первопутук на... погост.
Смолистый, хвойный Алконост
Нам вести приносил из рая,
В уху ершовую ныряя,
В твою палитру, где лазори,
Чтоб молодость на косогоре
Не повстречала сорок пугал —

Мои года, что гонит вьюга
На полюс ледяным кнутом...⁴

Эти строки были написаны в то время, когда Н. А. Клюев работал по приглашению в «Торгсине» оценщиком старинных русских икон.

Иконы мастеров Строгановской школы конца XVI — начала XVII века — Прокопия Чирина, Истома, Никифора и Назария Савиных, — отличавшиеся миниатюрным письмом и изысканным цветовым строем, пользовались особенной любовью Николая Ключева. Виденные еще в раннем детстве, они позднее неоднократно воплощались в творчестве поэта как символы «чистотетвергового огонька красоты», «незримой для гордых взоров индийской культуры»⁵.

Строгановские иконы —
Самоцветный мужицкий рай;
Не зовите нас в Вашингтоны,
В смертоносный железный край.

Нарядясь в пламя и розы,
В Строгановское письмо,
Мы глухие смерчи и грозы
Запряжем в земное ярмо⁶.

В поэме «Погорельщина» образы Чирина, Парамшина, Андрея Рублева служат своеобразным оплотом изысканного космоса северной деревни Сивовец, которую грозит опустошить змей. Исчезновение с иконы образа Георгия Победоносца — свидетельство неминуемой катастрофы. «На божнице змей да сине море...» Жители Сивовца станут жертвами чудовища, морские волны поглотят последний островок родного поэту крестьянского мира, живущего по своим древним тысячелетним законам, подобно Китежу, навечно скрытому водами озера Светлояра.

Последняя молитва жителей этого сказочного мира — мольба о возвращении Егория, обращенная к святому Николаю, к Богоматери Приснодеве, перед иконами гениальных русских мастеров, воплотивших разные лики Богородицы («Сладкое лобзание», «Споручница грешных» и др.), — исполнена силы поистине трагической.

Обрадованное Небо —
К Тебе озера с потребой,
Сладкое Лобзание —
До Тебя их рыдание!
Неопалимая Купина —
В чем народная вина?
Утоли Моя Печали —
Стань березкой на протале!
Умязчение Злых Сердец —
Сядь за теплый коробец!
Споручница Грешных —
Спаси от мук кромешных!

По моленным нашим
Чирин да Парамшин,
И персты Рублева
Словно цвет вербовый!
По зеленым веснам

Прилетает к соснам
На отцов могилы
Сирия, песнокрылый.
Он, что юный розан,
По Сивовцу прозван
Братцем виноградным
В горестях усадным!⁷

Приблизительно в тот же год, когда были написаны первые строки этой поэмы, Николай Ключев обронил в автобиографической заметке: «Труды мои на русских путях, жизнь на земле, тюрьма, встречи с городом, с его бумажными и каменными людьми, революция — выражены мною в моих книгах, где каждое слово оправдано опытом, где все пронизано Рублевским певчим заветом, смысловой графией, просквозило ассисом любви и усыновления»⁸.

Герои «Погорельщины» — мужики-богомазы под руководством лучшего из них — иконописца Павла — пишут образы красками, ни одна из которых не названа своим именем. Как некогда в стихах Ключева совершалось «Рождество избы», рождение изысканного космоса под рукой «Красного Древодела», так и теперь совершается «рождество иконы», оставляя при этом ощущение нерукотворности. «Доличное письмо» — жанровое обрамление «Видения Лица» — не пишется собственно кистью, а «смирненному Павлу в персты и зрачки слетят с павлинами радуг полки», что выводит «голубых лебедей»... На этом фоне пишется «Видение Лица», которое

...богомазы берут
То с хвойных потемок, где теплится трут,
То с глуби озер, где ткачиха-луна
За кросом янтарным грустит у окна.
Егорию с селезня пишется конь,
Миколу — с крещатого клена фелонь,
Успение — с перышек горлиц в дупле,
Когда молодотба и покой на селе.
Распятие — с редьки: как гвозди креста,
Так редечный сок опалает уста...

Сама природа помогает мастерам в их работе, отдавая свои лучшие краски образу, который перестает восприниматься как собственное искусство художника. Творение их рук вбирает в себя все богатство и разнообразие мира внешнего, природного, зримого. «Соком земным» напоен образ Спаса или Богородицы на древних иконах, отличающихся прозрачностью цвета и красочностью палитры. Иконы дониконовского письма Николай Ключев ценил очень высоко. В самые тяжелые времена он не желал продать хотя бы часть своей богатейшей, уникальной коллекции, и только крайняя нужда могла заставить его решиться на то, чтобы расстаться с любимыми предметами своего обихода.

«Извините за беспокойство, — писал поэт искусствоведу Э. Голлербаху 12 января 1928 года, — но Вы в Камерной музыке говорили мне, что любите древние вещи. У меня есть кое-что весьма недорогое по цене и прекрасное по су-



С. А. Есенин и А. Б. Мариенгоф. Фото 1919—1920 гг. с дарственной надписью на обороте актрисе Райсе Шмериной.



Н. Клюев. Фото, 1932 г.

ществу. Я крайне нуждаюсь и продаю свои заветные китежские вещи. Книгу рукописную в две тысячи листов со множеством клеем и заставок изумительной тонкости, труд поморских древних писателей. Книга, глаголемая «Цветник», рукописная, лето 1632 года с редкими переводами арабских и сирских сказаний в 750 листов, где каждая буква выведена от руки прекрасного и редкого мастерства. Ковер персидский столетний, очень мелкого шитья, крашен растительной краской 6 аршин на 4 аршина. Древние иконы 15-го, 16-го и 17-го веков дивной сохранности; медное литье, убрус, шитый шелком, золотом и бурмытскими зернами, многолистный, редкий. Все очень недорого и никогда своей цены не потеряет. И даже за большие деньги может быть приобретено только раз в жизни...»⁹

Известный итальянский профессор-славист Этторе Ло Гатто оставил интереснейшие воспоминания о встречах с Клюевым в начале 30-х годов. Он вспоминал о том, с какой радостью, как приветливо встретил его поэт в своей ленинградской комнате, больше похожей изнутри на крестьянскую избу, чем на местожительство поэта в центре Ленинграда. Клюев всегда был рад гостю, который приходил не из праздного любопытства, не из желания поглазеть на «мужиковствующего стихотворца», а с открытой душой и чистой совестью. Да и сама Италия была не чужой олонечком страннику. Сергей Марков вспоминал рассказы Клюева о путешествии его в Италию с Сергеем Ключко-

вым в 1907—1908 годах. Стихи, написанные 20 лет спустя после памятного путешествия, — поэтическое воплощение искусства великих итальянцев, навсегда запечатлевшегося в душе поэта.

И мужал я, и вырос в келии
Под бородою отца Макария.
Но испить Тицианова зелия
Нудит моя Татария.
Себастьяна, пронзенного стрелами,
Я баюкаю в удах и в памяти.
Упоительно крыльями белыми
Ран касаться, как инейной замяти¹⁰.

«...Встретившись со мной, итальянцем, — писал Ло Гатто, — и услышав их моих уст выражение южной тоски по Северной России, он, не колеблясь, назвал меня «светлым братом», задумал послать привет Риму, выраженный в посвящении новому знакомцу, он будет передан собору св. Петра и Колизею... Как сейчас вижу его склонившимся над ящиком, полным икон, чтобы выбрать одну мне в подарок. И он действительно подарил мне вместе со своими песнями икону, чтобы моя память и печаль о нем были еще более пронизаны музыкой...»

II. «Я ЕДУ В ДЕРЕВНЮ...»

Летом 1916 года Сергей Есенин, будучи проездом из Царского Села, где он служил в армии, на родину, встретился в Москве с литератором Пименом Карповым, побывал у него в гостях и подарил ему свою фотографию с надписью: «Друг ты мой, товарищ... Пимен. Кинем мы с тобою камень, в небо кинем. Исцарапанные хотя, но доберемся до своего берега и водрузим свой стяг, а всем прочим осиновый кол поставим. Сергей Есенин, 1916. 16 июня»¹¹.

С той поры и до самой смерти Есенина Пимен Карпов оставался в числе его товарищей-единомышленников.

Курский крестьянин, Пимен Карпов был любопытной фигурой в литературной жизни 10—20-х годов. Его первые книги «Говор зорь» и «Пламень» обратили на себя внимание Андрея Белого и В. Бонч-Бруевича, А. Луначарского и Александра Блока. На «Пламень» Александр Блок в 1913 году откликнулся рецензией, в которой писал о том, что «из «Пламени» нам придется, рады мы или не рады, запомнить кое-что о России», а ее автора назвал представителем «от начала Руси и до конца ее тянувшегося рода «хлеборобов»¹². Блок подчеркнул, что книга Карпова посвящена трагической расправе между дворянской интеллигенцией и народом, расправе, неминуемо стремящейся к революции и возмездию. В сущности, тема «Возмездия», столь волновавшая Блока, главная в творчестве Пимена Карпова. В этом смысле он разделял взгляды Есенина, писавшего в письме к Ширяевцу о разнице между дворянскими и крестьянскими интеллигентами: «Об отношении их к нам судить нечего, они совсем разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы... Они

все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина»¹³.

В фонде П. Карпова в ЦГАЛИ имеется несколько его писем деятелям культуры 10—20-х годов (Александру Блоку, философу и публицисту Василию Розанову и др.). Как правило, они посвящены распре между «черной и белой костью». Вот одно из них — В. Розанову, прежде не публиковавшееся (печатается в сокращении).

«7 апреля. Важно. Прочтите до конца. От крестьянина Пимена Карпова, автора книги «Игра зорь».

Василий Васильевич!

Вы мне враг. Вы этого, вероятно, и сами не станете отрицать; да и вообще, все, кого я знаю из интеллигентов, — враги мне... Интеллигенты не щадят нас, сынов народа, не будет им пощады и от народа; придет время, когда он потребует отчет от господ, подобных Петру Столыпину (...), разорившему народ уничтожением общины... Но в Вас я, мы, народ, видим два бытия: интеллигентское и народное. Интеллигентное в Вас то, что Вы пишете в «Новом времени», сознательно замалчивает великую трагедию русского земледельца — его за униженность интеллигентами-барами, его беспомощность, и сознательно зло клеветает на русский народ... Вы говорите, что народ, рассвирепев, может стать хуже зверя. Ведь это же чудовищная клевета.

Припомните крепостное право: кого засекали розгами до смерти, кого травили насмерть собаками, кого сжигали на горячих плитах (я знаю такой случай: мой прадед крепостной был сожжен помещиком на раскаленной плите). (...) Наше время — карательные экспедиции, виселицы, розги...

По милости родионовых, меньшевиков, отчасти Вашей, по милости правительства, народу смерть глядит в глаза: мы не в силах переносить больше той клеветы, которую возводят на нас интеллигенты, мы не в силах переносить того гнета — правового, физического и духовного, которым давит нас правительство, мы не в силах бороться с еврейством, забравшим все торговые рынки и скупающим мужицкий хлеб за бесценок, а потом продающим мужику же втридорога (...).

А потому никому нет пощады! Не утешайте себя тем, что, мол, все утихомирится, ничего не будет... Час приближается. Я еду в деревню, где все уже готово. Да что я — я ничтожный человек: без меня давно все сделано. Будущей осенью ждите гостей. Достанется всем вам на орехи...

Ну, я сказал все то, что касалось Вашего интеллигентского бытия, теперь скажу касательно Вашего бытия народного, человеческого. Вот что, Василий Васильевич: бросьте Вы эту дрянь «Новое время» и «Русское слово». Я случайно прочитал Вашу маленькую статью «Гоголь» и узнал, что так может писать только гениальный человек. Потому прошу Вас бросить газетную работу и написать какую-нибудь ка-

питальную книгу, могущую прославить Россию и русский народ. По рождению Вы не барин, а мужик. Сталось, вы — кровь от крови и кость от костей русского народа. Потому серьезно говорю Вам, подумайте над моим письмом. Я истратил последние 3 копейки, чтобы написать это Вам. Поступайте, как говорит Вам совесть, но Вы не имеете права губить в себе народный гений. Если будете писать по заказу для «Нового времени» и «Русского слова» — не избежите общей участи интеллигентов. Я предупредил Вас.

Крестьянин Пимен Карпов»¹⁴.



А. Ширяевец и С. Городецкий.



П. И. Карпов. 1950-е гг.

В свете этого письма становится ясной есенинская фраза из дарственной надписи Пимену Карпову: «А всем прочим осиновый кол поставим».

После смерти друзей из «крестьянской купницы» — Сергея Есенина, Александра Ширяева, Алексея Ганина — в феврале 1926 года Пимен Карпов написал стихотворение, посвященное их памяти, автограф которого хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.

ТРИ ПОЭТА

Угасли слова и оборваны струны,
Глухую не выполнить тишину.
И други — в земле Жизнерадостно юны,
И не с кем встречать голубую весну.

Придите ж, поэты, откликнитесь, други!
Весна... Разорвите могильный свой сон!
Запутались в вишенье звездные дуги,
Запел их весенний серебряный звон...

Вернися же, молодость, и цветоугрозы
Над опустошенную степью пролей!
И грозы как песни, и песни как грозы —
Бросайте, поэты, под клич журавлей!

Но глухи поэты. И двое — в могиле.
А третий на петле. Сожгла их гроза.
И все они встать уже больше не в силе,
У всех же у трех — голубые глаза.

Февр. 1926 г.¹⁵

В 30-е годы Пимен Карпов часто жил в родной деревне, где, в частности, переводил книгу стихотворений Мусы Джалиля. В архиве ЦГАЛИ сохранилось письмо татарского поэта Пимену Карпову.

«Шлю Вам горячий привет. В эти дни ждал от Вас письма вместе с переводом I и II главы поэмы... Мне очень хотелось бы познакомиться с переводом этих двух глав до того, как Вы сделаете поэму целиком...»¹⁶

III. «ПИШУ ТЕБЕ С ПАРОХОДА...»

7 февраля 1923 года Сергей Есенин возвращался на рейсовом пароходе «Джордж Вашингтон» из Америки в Европу.

Позади было длительное путешествие по Соединенным Штатам Америки, длившееся полгода. Еще четыре месяца прошли в поездках по Германии, Бельгии, Франции, Италии...

С тяжелым сердцем возвращался поэт на Родину. В. Шершеневич вспоминал, как незадолго до вылета в Берлин Есенин при встрече сказал ему: «Я еду на Запад для того, чтобы показать Западу, что такое русский поэт»¹⁷.

Запад не увидел русского поэта. Не захотел увидеть. Гораздо интереснее было воспринимать Есенина как некое экзотическое существо, «крестьянина из коммунистической России», пишущего стихи, мужа знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан (так аттестовывали его

корреспонденты эмигрантских газет и «желтая» буржуазная пресса). Скандал в берлинском Доме искусств, где Есенин в присутствии белоэмигрантов пел «Интернационал», стычка с бывшими русскими офицерами, служившими официантами в ресторане, унизительная проверка документов на Эллис-Айленде перед приездом в Нью-Йорк, срывы доведенного до отчаяния поэта — все это становилось материалом для пошлых печатных сплетен и пересудов. До стихов Сергея Есенина никому не было никакого дела. Горькое прозрение наступило уже в Европе — письма Есенина друзьям из Берлина и Остенде проникнуты отчаянием и злостью на полное равнодушие местной «элиты» к искусству.

Читая их, слышишь усталый голос человека, печально оглядывающегося по сторонам и не находящего рядом ни единой близкой души. Спокойно, но с внутренней горечью пишет Есенин о публике, погруженной в бизнес, лишенной каких бы то ни было признаков внутренней культуры: «Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют и опять фокстрот. Человека я еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин Доллар, а на искусство начхать, самое высшее — мюзикхолл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов».

«Здесь такая тоска, такая бездарнейшая серая жизнь».

«Никакой революции здесь быть не может...»¹⁸

Неудивительно, что ни о Европе, ни об Америке мы не найдем в есенинских письмах ни одного теплого слова. В творчестве его пребывание за границей также почти не отразилось: несколько зарисовок, несколько впечатлений, очерк «Железный Миргород» — не больше.

А стихи, написанные им за границей, вошедшие позже в цикл «Москва кабацкая» — «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...», «Да! Теперь решено без возврата...», «Пой же, пой. На проклятой гитаре...» одновременно с первым вариантом поэмы «Черный человек», — может быть, самые мрачные и драматические в есенинском наследии.

Дело еще заключалось в том, что к тяжелым впечатлениям от бездуховности Запада у Есенина в то время прибавилось чувство горечи от воспоминаний о литературной атмосфере, которая окружала его на Родине перед отъездом за границу. Именно это чувство продиктовало поэту многие строки письма Александру Куликову, которое он написал на борту «Джорджа Вашингтона» 7 февраля 1923 года и о существовании которого стало известно лишь в 1968 году (печатается в сокращении)⁹.

Далеко не все в этом письме следует воспринимать буквально — боль, душевные терзания человека, ощутившего в тяжелые минуты ненужность своего творчества, сообщили его строчкам ту обостренно-драматическую интонацию и резкость, которую необходимо учитывать,



С. Есенин и П. Чагин.



С. Есенин.

читая письмо. Тем более что во многом эта резкость была оправдана, ибо, как мы увидим, сомнения и колебания Есенина имели под собой реальную почву: «Тошно мне, *законному* сыну российскому, в своем государстве пасынком быть» — вот одна из самых горьких нот этого письма.

Слишком хорошо понимал Есенин, что «пасынком» он окажется вновь в атмосфере, которую создали в то время в российской культурной жизни разного рода «деятели», нигилистически настроенные по отношению к историческому прошлому России, ее великому культурному наследию и писателям, сохранившим в своем творчестве связь с животворными традициями русской классической литературы. Достаточно вспомнить статьи известного в те годы О. Бескина, утверждавшего, что если поэт «недвусмысленно называет нас «Советской Русью»²⁰, то это одно уже свидетельствует о его контрреволюционных и шовинистических настроениях. В таком же тоне писались статьи о русской классической литературе, русских советских писателях и о творчестве С. Есенина, в частности, О. Бриком, Л. Авербахом, Л. Сосновским и другими «неистовыми ревнителями» рапповского и троцкистского толка.

Нелишне вспомнить, что «мелкие интриганы

и репортерские карьеристы» (по характеристике Есенина) организовали подлинную травлю многих талантливых русских писателей, чье творчество находилось в русле классических традиций русской литературы. Критические проработки поэзии А. Ахматовой, Н. Клюева, прозы М. Шолохова, М. Булгакова, А. Платонова, творческих исканий Ф. Шалапина и С. Рахманинова сейчас воспринимаются как курьез, но слишком непосредственно они повлияли на судьбы людей русского искусства.

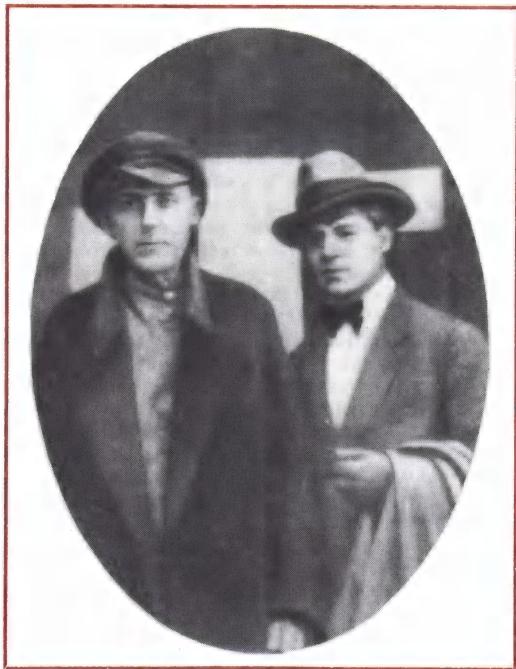
Словно предчувствуя всю эту обстановку, Есенин в письме к Кусикову пишет о «снисходительном» отношении литературных чиновников. В состоянии «злого уныния» из-под его пера выходили резкие строки, однако в свете всего происшедшего они звучат достаточно убедительно. Действительно, в 20—30-е годы в культурной жизни страны весьма активно проявляли себя деятели, стремившиеся противопоставить революцию и традиции русской культуры.

«Милый Сандро!

Пишу тебе с парохода, на котором возвращаюсь в Париж. Едем вдвоем с Изадорой (так Есенин называл Дункан. — *Авторы*), Ветлугин остался в Америке... Об Америке расскажу по-



С. Есенин среди имажинистов.



С. Есенин и С. Городецкий.

сле. Дрянь ужаснейшая, внешне типом сплошное Баку...

Сандро, Сандро. Тоска смертная, невыносимая. Чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию и вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется(...).

Точно мне, *законному* сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это (...) снисходительное отношение власть имущих, а еще тошнее переносить подхалимство своей же братии к ним. Не могу, ей-богу не могу! Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу (...).

Ну да ладно, оставим этот разговор про тету (...). Напиши мне что-нибудь хорошее, веселое и теплое, как друг. Сам видишь — матерюсь. Значит, больно и тошно.

Твой Сергей.

Атлантический океан, 7 февраля 1923 г.».

К сожалению, за время долгого отсутствия на Родине Есенин не мог знать, что деятельность «неистовых ревнителей» встречает активное сопротивление честных коммунистов и всех, кто принял как руководство к действию ленинский завет необходимости сохранить для народа все самое ценное, что выработано лучшими умами человечества за всю его историю.

Ф. Э. Дзержинский, М. В. Фрунзе, С. М. Киров высоко ценили поэтический талант Сергея Есенина, встречи с ними благотворно влияли на поэта. Однако чаще Есенину приходилось встречаться с грубыми, клеветническими инсинуа-

циями в печати, с разносными кампаниями, вроде кампании, учиненной Л. Сосновским почти сразу после возвращения поэта из-за границы, когда С. Есенин, С. Клычков, П. Орешин и А. Ганин стали жертвами подлой клеветы, поскольку откровенно высказали все, что думали по поводу нездоровой обстановки, сложившейся в культурной жизни Отечества.

Недобрые предчувствия, тяжелые воспоминания о прежних «критических статьях», ощущение одиночества и своей ненужности за границей — вот что породило это письмо, исполненное гнева, желчи, сарказма, резких, подчас до несправедливости, формулировок. Поэт словно предчувствовал длительную и жестокую борьбу на культурном фронте с «шигалевиной» 20-х годов, завершившейся ликвидацией РАППа, объединившего в своих рядах нигилистов и разрушителей, которым в конце концов было воздано по заслугам.

Всей душой принял Сергей Есенин Великую Октябрьскую революцию. Если его и одолевала временами мучительные сомнения, то он открыто и честно высказывал их, по высочайшей мере оплачивая каждое свое слово и отвечая за него. «Я сердцем никогда не лгу...» Он не лгал сердцем и тогда, когда сомневался в целесообразности происходящего на его глазах, и тогда, когда, окончательно осознав историческую правду свершившегося грандиозного переворота всей жизни в России, писал в 1924 году:

Но и тогда,
Когда на всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названием кратким «Русь»²¹.

IV. РОМАНТИК НАЧАЛА XX ВЕКА

В начале 1916 года в редакции петроградского журнала «Северные записки» состоялось знакомство двух поэтов — Сергея Есенина, автора только что вышедшей в свет книги стихов «Радунница», и Алексея Ганина, напечатавшего к этому времени лишь несколько стихотворений в вологодских газетах и журналах столицы.

Алексей Алексеевич Ганин родился 28 июля 1893 года в деревне Коншино бывшего Кадниковского уезда Вологодской губернии. Впервые свои стихотворения он опубликовал, еще будучи студентом Вологодского медицинского училища. Однако известность пришла к поэту позднее, когда после демобилизации он работал на волостном фельдшерском пункте, время от времени приезжая в Петроград и публикуя свои стихи в столичной прессе.

Дружба Алексея Ганина и Сергея Есенина длилась около восьми лет, почти до самой смерти Ганина. Молодой поэт принимал деятельное участие в поэтических вечерах «крестьянских поэтов», последний из которых с его участием состоялся осенью 1923 года («Вечер русского



С. Есенин и А. Дункан. 1922 г.

стиля») в Доме ученых, где Есенин читал «Москву кабацкую», Клюев — «Песни на крови», а Ганин — замечательную поэму «Памяти деда», позднее опубликованную в его последнем прижизненном сборнике «Былинное поле» (1924 г.).

В июле 1916 года Алексей Ганин и Сергей Есенин совершили поездку в Вологду, где были предприняты попытки напечатать есенинскую поэму «Галки», запрещенную цензурой. Публикация не состоялась, и сама поэма до сего дня считается утраченной.

Вторично Есенин посетил Вологду в августе 1917 года в сопровождении А. Ганина, Зинаиды Райх и Мины Свирской, с которой поэт познакомился в 1915 году. Путешественники побывали также в Мурманске и на Соловецких островах. В вологодской церкви Кирика и Иулитты состоялось венчание Сергея Есенина и Зинаиды Райх, на котором Алексей Ганин присутствовал в качестве одного из поручителей со стороны невесты.

21 сентября 1917 года, в день рождения Есенина, молодожены в сопровождении друзей прибыли в Петергоф, где поэты экспромтом на-



С. Есенин и В. Казин.



Мне гребень нацепила,
что волосы редеют,
что скоро завлестят, как нить
седины, —
и туже за окном, на старых
сухих рдеях,
тоскует солнышек о радостях
Всены

В холодной синеве природы
инюмеля,
поднялся белый сон над
стынувшим ручьем —
и где то далеко за рекою
прозвенеет
осенняя печаль отпеченным
журавлем.

писали стихотворные посвящения: Алексей Ганин — Зинаиде Райх, а Сергей Есенин — Мине Свирской.

В 1920—1921 годах в Вологде вышли в свет несколько литографических сборников А. Ганина — «Красный час», «Мешок алмазов», «Золотое безлюдье», «Сарай» и др. Выходили они тиражом в несколько десятков экземпляров и в настоящее время практически почти все утрачены. Сборник «Красный час» вышел с посвящением «Другу, что в сердце мед, а на губах золотые пчелы-песни — Сергею Есенину».

В 1918 году Ганин вступил добровольцем в Красную Армию, в которой служил военным фельдшером в военно-санитарном управлении Котласского района. В стихах, написанных им в этот период, отчетливо ощущается влияние Александра Блока. Революция изображается как вселенская мистерия, как «громовой вихрь», вносящий смятение в души и судьбы людей, и в то же время вихрь очищающий. Поэт ощущает себя свидетелем тех «минут роковых», о которых потомки будут складывать легенды.

Неотвратимо роковое
В тебе гнетет твоих сынов, —
Но чует сердце огневое —
Ты станешь сказкой для веков²².

Алексею Ганину не однажды пришлось выслушать «критические» упреки в «мистицизме», в «идеализме», в «религиозности». Он не-

двусмысленно ответил на все подобные обвинения в предисловии к сборнику «Былинное поле», своего рода манифесте, где ясно и отчетливо высказал свое творческое кредо.

«К слову сказать.

Многие при встрече называют меня: «мистик». Это неверно. Это желание от серьезных вещей отделиться недомыслием.

Я родился в стране, где пашут еще косулями и боронят суковатками, но где задолго до Эйнштейна вся теория относительности высказана в коротком слове: «Авось».

Это не шутка. Потому если люди все еще не умеют уважать одиноких и от каждого требуют стадной клички, я был бы более прав, если бы рекомендовал себя: «А. Ганин — роман-тик начала XX века»²³.

Писем А. Ганина почти не сохранилось. Однако в ЦГАЛИ, в фонде журналиста и издателя Витязева (Седенкова) Ферапонта Ивановича (ф. 106, оп. 1, ед. хр. 32), нам удалось разыскать письмо поэта, адресованное издателю:

«До того досидел у Вас, что голова превратилась в кружащуюся карусель.

Сегодня у меня целый день свободен. Зашел, думал поболтать, да увы.

Кажется, Вы совсем высохнете от Вашей работы.

Вчера ездил в Озерки и

Снова увидел зеленое поле, зеленые дали
безбрежную ширь и леса молодые...
Снова душа загрустила о Волге, о тихой
печали,
о детских молитвах, поверила в сны
золотые...

Снова хотелось
играть и резвиться,
Свободным, могучим и гордым идти по
земле...

Снова хотелось
В душистую травку к далекой, родимой
земле преклониться,
Поплакать о солнце, угасшем во мгле.
Раздольное поле, зеленые шири, безбрежная
синяя даль.

Надежды о счастье в душе воскресили,
Мечты всколыхнули,
И снова о воле, о солнце, о песне родили
печаль...
Что у Вас нового?
Ваш Ганин.

Дай Вам, господи, всего доброго!

1915 год.
Петроград»²⁴.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Есенин С. А. Собр. соч. в 6-ти тт. М., «Художественная литература», 1977—1980, т. 1, с. 138.

² Есенин С. А. Указ. соч., т. 5, с. 203.

³ И. Ершов, Е. Шумурин. Русская поэзия XX века. М., 1925, с. 575.

⁴ ИМЛИ, ф. 178, оп. 1, ед. хр. 3,6.

⁵ Ключев Н. А. Самоцветная кровь. — «Записки Передвижного Общедоступного театра». Ж-л, Пг., 1919, № 22—23, с. 4.

⁶ Ключев Н. А. Львиный хлеб. М., «Наш путь», 1922, с. 14.

⁷ ЦГАЛИ, ф. 273, оп. 2, ед. хр. 20.

⁸ «Красная Панорама». Ж-л, Л., 1926, № 30 (124), с. 13.

⁹ ГВЛ, ф. 453, оп. 1, ед. хр. 32.

¹⁰ ГЛМ, ф. 99, ед. хр. 99.

¹¹ Есенин С. А. Указ. соч., т. 6, с. 273.

¹² Блок А. А. Собр. соч. в 6-ти тт. Л., «Художественная литература», 1982, т. 4, с. 192.

¹³ Есенин С. А. Указ. соч., т. 6, с. 82.

¹⁴ ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 481. Письмо П. Карпова было вызвано публицистическими статьями В. Розанова в реакционных газетах «Новое время» и «Русское слово», в которых автор солидаризировался с ренегатской философией авторов сборника «Веки», призывавших правительство «оградить интеллигенцию штыками от ярости народной».

¹⁵ ГВЛ, ф. Кузько, оп. IV, ед. хр. 2.

¹⁶ ЦГАЛИ, ф. 1368, оп. I, ед. хр. 30.

¹⁷ Шершеневич В. В. О друге. — В сб.: Есенин. Жизнь. Личность. Творчество. Л., 1926, с. 58—59.

¹⁸ Есенин С. А. Указ. соч., т. 6, с. 121, 123, 125.

¹⁹ Письмо публикуется по копии из архива М. А. Чагиной. Куликов А. А. (1893—1977) — стихотворец, член группы имажинистов. Встречался с Есениным в Берлине в 1922 году. Ветлугин (Рындзюк) Владимир Ильич — писатель, журналист, сопровождавший Есенина в поездке по США.

²⁰ Бескин О. М. Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика. М., «Коммуна-академия», 1930, с. 10.

²¹ Есенин С. А. Указ. соч., т. 2, с. 84.

²² Ганин А. А. Красный Час. Вологда, «Глина», 1920, с. 10.

²³ Ганин А. А. Былинное поле. М., с. 3.

²⁴ ЦГАЛИ, ф. 106, оп. I, ед. хр. 32.

(Публикуется впервые)

Николай Шахмагонов

Павший на поле чести

Если не одержан полный успех, на какой, по своим соображениям, мог я надеяться, тому причиной была смерть Кутайсова.

М. И. Кутузов



Генерал-майор граф Александр Иванович Кутайсов.

В полдень 27 января 1807 года, в разгар сражений под Прейсиш-Эйлау, над русской армией нависла смертельная опасность. Проведя на рассвете отвлекающие атаки против ее правого фланга, успешно отбитые генерал-лейтенантом Н. А. Тучковым, сделав неудачные попытки в центре, отраженные с большими для французов потерями, Наполеон нанес удар против левого фланга, который возглавлял генерал-лейтенант А. И. Остерман-Толстой, и добился успеха, сильно потеснив русских.

Вот как описывает этот критический момент военный историк генерал-лейтенант А. И. Михайловский-Данилевский: «В то время русская армия образовала почти прямой угол, стоя под перекрестным огнем батарей Наполеона и Даву. Тем затруднительнее явилось положение ее, что посылаемые к Беннигсену адъютанты не могли найти его. Желая ускорить движение Лестока¹, он сам поехал ему навстречу, заблудился, и более часа армия была без главного предводителя...»²

Кому не известно, сколь опасно для войск потерять управление, да еще в те минуты, когда противник владеет инициативой! Можно представить себе, чем могло кончиться сражение, но, как пишет далее историк: «...вдруг неожиданно вид дел принял выгодный нам оборот появлением тридцати шести конных орудий»³.

Что же помешало французам добиться победы?

В сражении под Прейсиш-Эйлау двадцатидвухлетнему генерал-майору графу Александру Ивановичу Кутайсову была доверена вся артиллерия правого фланга. Он рвался в бой, жаждал настоящего дела, но с каждой минутой все более убеждался, что основные события развертываются на другом участке. И тогда, вскочив на коня, молодой генерал помчался в центр, чтобы осмотреться и выяснить

обстановку. Застоявшийся без дела конь резво взял с места, рысью пронес седока по дороге и, с трудом преодолев сугробы, поднялся на невысокий холм. Адъютант Арнольди подал подзорную трубу. Кутайсов вскинул ее, провел с юга на восток и ужаснулся: там, где еще недавно был тыл расположенного в центре русской позиции корпуса генерал-лейтенанта Ф. В. Сакена, действовали французы. Их передовые колонны уже заняли мызу Ауклаппен, березовую рощу и своим правым флангом овладели селением Кушиттен.

«Коммуникации нарушены, — понял Кутайсов, — путь на Фридланд, а через него и в Россию отрезан. Еще немного и случится непоправимое...»

Действительно, главная цель, которую преследовал Наполеон в кампании 1807 года, — отрезать русскую армию от сообщения с Россией, окружить и уничтожить ее — оказалась близка для него, как никогда. Неприятелю уже удалось захватить господствующие над окружающей местностью Креговские высоты. Там он установил орудия. Батареи конной артиллерии приближались к ручью, рассекающему лес юго-западнее Ауклаппена.

Оценить обстановку было делом минуты, но что предпринять? Указаний никаких не поступало, а между тем решение напрашивалось одно: срочно провести маневр артиллерией и ударить по прорвавшемуся неприятелю массированно. Было еще не поздно спасти положение. И Кутайсов решился. Обернувшись к Арнольди,

он распорядился о переброске с правого крыла на левое трех конно-артиллерийских рот князя Л. М. Яшвиля, А. П. Ермолова и Богданова. Всего тридцать шесть орудий. Больше он взять не мог, не рискуя слишком ослабить правый фланг, где все еще можно было ждать атак французов. Они вполне могли нанести удар с целью завершения окружения, угроза которого уже нависла в результате действий Даву.

Арнольди умчался на позиции батарей, и вскоре артиллерийские роты вытянулись на полевой дороге, ведущей в тыл. Кутайсов возглавил колонну, скомадовав:

— За мной, рысью, марш! — и поскакал в сторону Ауклапена.

Порывистый, горячий и беззаветно храбрый, он с раннего утра безуспешно ждал момента, когда представится случай «исполнить обет, ко- ему он посвятил жизнь, — прославить имя Кутайсова». Но до сей минуты не было такой возможности. Рассвет в тот день занимался медленно, низкие серые тучи гасили его, налета-вший ветер поднимал метель, и в ее серой круго-верти ничего нельзя было разобрать и в полусот-не шагов.

Едва стали проступать в предутренней мгле очертания строений на окраине Прейсиш-Эйлау и появилась возможность производить наводку, молодой генерал приказал пушкарям открыть огонь по неприятельской артиллерии, стояв-шей на ночлеге на окраине города. Французы

тут же выдвинули часть орудий и ответили огнем.

Гул канонады, свист ядер, грохот разрывов пробудили к действиям многотысячные армии, замершие перед кровопролитной схваткой. Ку-тайсов находился на позициях, с волнением ожидая натиска врага. Он предполагал, что французы пойдут именно здесь, чтобы сбить русскую армию с дороги на Фридланд и отес-нить ее южнее, недаром же генерал Л. Л. Бен-нигсен послал распоряжение прусскому кор-пусу Лестока, спешившему на соединение от Альтгофа, прибыть именно сюда, дабы подкре-пить правый фланг.

И враг начал атаку. Три дивизии корпуса Сульта двинулись колоннами на позиции, за-нимаемые войсками генерал-лейтенанта Н. А. Тучкова.

По приказу Кутайсова орудия были заря-жены картечью. Губительным оказался пер-вый залп, опустошивший первые ряды неприя-теля и лишивший многие подразделения их командиров.

— Заряжай! Залп! — звучали команды, и шестьдесят орудий посылали по неприятелю смертоносный ливень.

Кутайсов ожидал, что вот сейчас французы бросятся на приступ, однако они неожиданно повернули назад. Это удивило.

«Не отвлекающий ли маневр? — мелькну-



М. И. Кутузов в день Бородинского сражения.
Художник А. Шепеев.



Русские артиллеристы на Бородинском поле.
Художник В. Правдин.

ла мысль. — А может, просто прощупывают наши силы и натиск повторится?»

Однако Сулът явно не спешил возобновить атаки, ограничиваясь бесконечной артиллерийской дуэлью.

Артиллерийская канонада вспыхнула по всему фронту. Часа три орудия грохотали почти непрерывно, посылая ядра с дистанции в полверсты. Огонь был столь сильным, что пешая гвардия Наполеона, не участвовавшая в деле и расположенная в укрытии, потеряла до 12 процентов своего состава от огня русских орудий⁴. Значительные потери несли обе стороны, ибо простреливались на всю глубину боевого порядка.

Главный удар Наполеон решил нанести по левому флангу русской армии. Кутайсов не знал об этом, но по развитию событий догадывался, что правый фланг оставлен в покое, потому и следил с особым вниманием за тем, что делалось в центре.

Так прошло почти полдня, и вот наконец, найдя себе достойное дело, Кутайсов вел конно-артиллерийские роты на выручку попавшим в беду своим войскам. Две из них он развернул на пологой высоте перед Ауклаппеном, приказав ударить картечью по пехоте противника и бардаскугелями — по Ауклаппенской мызе. Третью сам повел к ручью, рассекавшему лес,

где еще раньше заметил позиции французской артиллерии...

А спустя два месяца после сражения Александр I побывал под Прейсиш-Эйлау, выслушал подробный доклад о том, как все произошло, и на следующий день сказал Кутайсову:

«Я осматривал вчера то поле, где вы с такою предусмотрительностью и с таким искусством помогли нам выпутаться из беды и сохранить за нами славу боя. Мое дело будет никогда не забыть вашей услуги»⁵.

Именно под Прейсиш-Эйлау молодой генерал впервые был озарен лучами воинской славы, именно там доказал, что высокую должность, полученную благодаря положению отца, он занимает по заслугам. А шел ему тогда всего лишь двадцать третий год.

Александр Кутайсов родился 30 августа 1784 года. Его отец был мальчишкой взят в плен во время русско-турецкой войны и подарен Екатериной II своему наследнику цесаревичу Павлу, который играл с ним, проводил много времени и постепенно привязался к нему.

Десяти лет Александр был записан в лейб-гвардии конный полк, и уже в 1796 году пожалован сержантом Преображенского полка. В двенадцать лет получил назначение капитаном в Великолуцкий полк с причислением к штабу М. И. Кутузова.

После восхождения на престол Павла отец Александра, И. П. Кутайсов, в короткий срок превратился из парикмахера в кавалера высших орденов, получил графский титул. Естественно, это отразилось и на судьбе будущего генерала.

О предках Александра Кутайсова по материнской линии сохранились данные значительно более подробные. Его мать, Анна Петровна, родилась в Петербурге в семье подрядчика дворцового ведомства Петра Терентьевича Резвого, который был известен Екатерине II, часто звавшей его «мой подрядчик».

Петр Терентьевич продолжал дело, начатое его отцом, Терентием Резвым, родоначальником фамилии, название которой происходило от старинного правописания прилагательного «резвой», то есть резвый. А нарекла так Терентия императрица Елизавета Петровна за то, что тот однажды очень быстро исполнил какое-то ее важное поручение. Она же своим указом освободила Терентия Резвого «от всякой службы», а дом «от всякого постоя», чтобы он мог все свое внимание уделять основной своей задаче — поставкам для царского двора живых стерлядей. Занимался же этим делом он еще при Петре Великом, являясь, кроме того, поставщиком ряда петербургских учреждений и Сухопутного шляхетского кадетского корпуса.

В Петербург Терентий приехал из Осташкова, где и сам он прежде, а впоследствии и его родственники пользовались почетным положением, а один из них, Кузьма Резвой, был депутатом от города Осташкова в «Екатерининской комиссии о сочинении нового Уложения».

Торговое дело у прадеда Александра Кутайсова было поставлено неплохо. Продолжил семейную традицию и дед его, Петр Терентьевич Резвой, открывший в Петербурге торговлю гастрономическими товарами и фруктами. Сохранились свидетельства о том, что это был человек широкой души, отличный семьянин, давший своим детям хорошее по тем временам домашнее образование. И не случайно они написали на его памятнике: «Жизнью своею украшал гражданство и с пользою тому служил, а смертию причинил неутешную горесть многочисленной семье своей».

Одну из своих дочерей он выдал замуж за И. П. Кутайсова.

Как видим, Александру Кутайсову, талантливому генералу и разносторонне одаренному человеку, дала жизнь русская женщина, происходившая из чисто русской семьи, корни которой уходят в исконно российские земли, в город Осташков, туда, где берет начало великая наша река Волга. Именно из этой семьи, давшей потом России многих замечательных сыновей, вынес Александр все лучшее, что в нем было. Безусловно, не от отца, титулованного туркабрадобрея, он мог получить широту русской души, безудержную храбрость, замечательный военный талант.

Образ графа Ивана Павловича Кутайсова нам знаком по кинокартине «Крепостная актри-

са». Возможно, показывая императорского фаворита, авторы ее не ушли далеко от истины, но вот графиня Анна Петровна Кутайсова, в девичестве Резвая, представленная там в шутовском стиле, явно не заслужила того, что ей приписано. Думается, эта женщина достойна другого к ней отношения, ведь она дала России талантливого генерала, героя Бородинской битвы, сложившего голову за Отечество и оставившего неизгладимый след в русской военной истории. Кстати, род Резвых, богатый славными именами, тянется до наших дней.

Конечно, военная судьба Александра Кутайсова складывалась значительно легче, нежели у его дяди Д. П. Резвого, участника штурма Очакова и Праги, Швейцарского похода Суворова и многих других славных походов, но получившего генеральский чин уже в зрелые годы.

Кутайсов был безусловно одаренным человеком. Современники отмечают, что он знал несколько иностранных языков, причем по-французски, например, мог не только говорить, но и писать стихи. Он хорошо рисовал, разбирался во многих вопросах архитектуры, но с особым пристрастием изучал военное дело, и прежде всего артиллерию и фортификацию. Все это имело значение и способствовало успехам, но главную роль на первых порах, конечно, сыграло высокое положение отца. Особенно быстро пошло продвижение по службе после того, как Павел вступил на престол. В 1799 году, пятнадцати лет от роду, Кутайсов был уже полковником лейб-гвардии артиллерийского полка. Артиллерию он избрал не случайно. Прежде всего, конечно, повлиял Дмитрий Петрович Резвой, который, кстати, стал генерал-майором в том же 1799 году, пройдя большой и славный путь боевого артиллерийского офицера.

Все племянники, в том числе и Александр, души не чаили в добром, остроумном дядюшке, влюбленном в артиллерию и знавшем ее досконально. И вот результат — сын младшего брата Дмитрия Петровича Орест Павлович Резвой стал артиллеристом и дослужился до чина генерала от артиллерии. Все три сына старшего брата Николая Петровича — Петр, Дмитрий и Николай — тоже стали офицерами-артиллеристами. И вот в артиллерию пришел сын сестры Анны Александр Кутайсов. Любознательный, способный к наукам, он легко постигал все, чему учили, много занимался сам.

Главную роль в службе Кутайсова сыграла работа в «Воинской комиссии для рассмотрения положения войск и устройства оных», в которой ему довелось участвовать вместе с Дмитрием Петровичем Резвым. Комиссия была образована 24 июня 1801 года и имела задачу определить численность и устройство войск, порядок пополнения, вооружения и обмундирования.

Генерал Резвой и полковник Кутайсов занимались преобразованиями артиллерии. Необходимость таких преобразований назрела давно. Дело в том, что уже во второй половине XVIII века линейная тактика стала постепенно заменяться новой — тактикой колонн и рассып-



Бородинский бой. Художник Ф. Рубо.



Бой за Молоховы ворота в Смоленске.
Художник П. Жигимонт.

ного строя. А как известно, развитие нового способа военных действий предопределяет в первую очередь совершенствование новой техники. Появление ударно-кремниевых ружей, стального штыка и гладкоствольной артиллерии сыграло свою роль. Линейная тактика сковывала теперь войска и артиллерию, которая оказывалась привязанной к строю и не могла выполнять задачи, не имея возможности совершать маневры, сосредоточивать огонь по наиболее важной цели или рассредоточивать его по различным целям. Одним словом, потребовалось разрабатывать новую тактику и новую стратегию генерального сражения.

Артиллерия стала приобретать маневренность, а маневр огнем и колесами повысил ее эффективность. Изменения в тактике, в свою очередь, потребовали реконструкции артиллерийских систем и совершенствования организации артиллерийских подразделений.

Задачи решались самые разнообразные: рассматривался вопрос о необходимости ликвидации фушштата и введения нового положения о содержании артиллерийских лошадей, а также введения вместо зарядных фур зарядных ящиков, одинаковых для всех орудий, принятия

на вооружение единообразных орудий и лафетов и диоптра Маркевича, удобного для стрельбы. Значительная реорганизация проводилась в строевом обучении: устанавливались единые команды, поскольку артиллерийского устава еще не было. Комиссия дала необходимые установки о проведении занятий и практических учений. Решались и многие другие вопросы.

До начала войны с Францией, то есть до 1805 года, комиссией была проделана важная работа, в результате которой русская артиллерия с успехом выдержала испытания в 1805—1807 годах и впоследствии в Отечественной войне 1812 года.

Все эти годы Кутайсов усиленно изучал военные науки, в совершенстве освоил новую тактику действия артиллерии и к своему боевому крещению подошел хорошо подготовленным артиллерийским командиром.

Не только и не столько работа комиссии оказалась в то время влияние на реорганизацию русской армии. Значительную роль в этом сыграла и кампания 1805—1807 годов. К примеру, учреждением постоянных дивизий было раз и навсегда покончено с импровизированными

высшими войсковыми соединениями, присущими организации войск в XVIII веке и страдавшими отсутствием достаточной внутренней спайки между отдельными частями. Дивизии имели разнообразную силу — среднюю 10 600 штыков, 2700 сабель, 54 полевых орудий, — но заключали в себе все роды войск, примерно 6—7 пехотных полков, 4—5 кавалерийских с казаками, 4—6 рот батарейной или тяжелой, легкой и конной артиллерии, пионерную роту. Полевая артиллерия взамен батальонов и полков была переформирована в бригады, причем к каждой дивизии приписывалась своя артиллерийская бригада, чем достигалась более тесная связь между пехотой и артиллерией⁶.

В те годы русская артиллерия не раз показывала образцы блестящего ведения боя. Артиллерийские роты искусной стрельбой, смелым маневром, своевременным массированием сил нередко серьезно влияли на ход и исход сражений. Этой тактикой овладели в совершенстве русские артиллерийские командиры.

В июле 1803 года Кутайсов был определен во 2-й артиллерийский полк, находясь в котором 11 сентября 1806 года получил генеральское звание. 14 декабря того же года под Голымином он принял боевое крещение.

В тот день Наполеон, ошибочно посчитав, что главные силы русской армии находятся не под Пултуском, где они были на самом деле, а под Голымином, атаковал небольшой сборный отряд князя Голицына, численностью в 10—12 тысяч человек. Этот отряд образовался случайно из полков различных дивизий, частью блуждавших со времени отступления от реки Вкры вследствие противоречивых указаний графа Каменского, частью отрезанных от своих соединений при наступлении французов в северном направлении.

Проявив твердость духа, мужество, молодой генерал заслужил высокую оценку командования: «Впервые участвуя в бою, выказал храбрость и распорядительность».

Возглавив артиллерию в корпусе генерал-лейтенанта Н. А. Тучкова, он успешно руководил ею и в сражении при Прейсши-Эйлау, и под Ломитеном, где получил орден Владимира 3-й степени, и при Гейльсберге, где русская артиллерия оказалась в критическом положении и была спасена лишь благодаря его распорядительности и мужеству.

В послевоенные годы, обобщая полученный опыт, Кутайсов написал «Общие правила для артиллерии в полевом снаряжении». Это был труд, отражавший передовые взгляды на роль артиллерии и принципы ее боевого применения. Молодой генерал, иллюстрируя свои рассуждения примерами из опыта войны, доказывал необходимость своевременного сосредоточения сил артиллерии на главных направлениях, расположения батарей на высотах для стрельбы через головы своих войск, маневра силами в бою. В 1812 году инструкция была принята для всей русской армии. Она сыграла важную роль в установлении единых взглядов на боевое при-

менение артиллерии и восполнила отсутствие боевого устава.

В эти годы Кутайсов остро почувствовал недостаток своего образования. Он часто повторял: «Надобно спешить учиться» — и, взяв в 1810 году годовой отпуск, отправился за границу. В Вене он изучил арабский и турецкий языки настолько, что мог свободно разговаривать, в Париже занимался математикой и баллистикой.

По утрам, переодеваясь в штатское платье, слушал лекции известных ученых или работал в библиотеках, а вечерами беседовал на военные темы с французскими генералами — участниками недавних кампаний.

Привлекательный внешне, веселый и приветливый, он был принят в любом обществе, где нередко читал свои стихи, музицировал.

В начале Отечественной войны 1812 года генерал-майор Кутайсов был назначен начальником артиллерии 1-й Западной армии. В трудные месяцы отступления под давлением превосходящих численно войск Наполеона он отличился в кровопролитном и упорном сражении за Витебск, в героической обороне Смоленска. В «Описании Отечественной войны 1812 года», сделанном Михайловским-Данилевским, есть такие строки: «Неустранимость Неверовского, подкрепленного гвардейскими егерями, и искусные распоряжения начальника артиллерии 1-й армии графа Кутайсова, лично управляющего действиями орудий, восторжествовали над усилиями Понятовского и поляков его. Неоднократно кидались поляки к самым стенам, даже врывались в ворота небольшими толпами, от 15 до 20 человек... Ни один из ляхов не возвращался...»⁷

Другой автор, Ушаков, в своем труде «Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах» посвящает ему такие строки: «Где только было сражение и он полагал, что распоряжения его и личная деятельность могут быть полезны для успеха российского оружия, он удивлял и восхищал всех своею неустранимостью и присутствием духа в самом пылу губительного огня и, служа личным примером подчиненным своим, оказывал великое содействие к приобретению победы»⁸.

Зная безудержную храбрость молодого талантливое генерала, Михаил Илларионович Кутузов во время представления генералов по случаю назначения его главнокомандующим сказал Кутайсову, что просит его не подвигать себя излишней опасности, помнить об ответственности, возлагаемой на него званием начальника артиллерии.

А ответственность оказалась необычайно велика.

В Бородинском сражении Кутайсов был поставлен начальником артиллерии всей русской армии.

Накануне Бородинской битвы он лично осматривал расстановку батарей, организовывал доставку снарядов. Артиллерийские бата-



Бородинское сражение. Французы атакуют батарею Раевского.

реи он поставил на всех пяти основных опорных пунктах русской позиции: на высотах между рекой Колочей и ручьем Стонец, у деревни Горки; на Курганной высоте в одном километре к югу от Бородина (Центральная); между нижним течением реки Семеновки и ручьем Огник, впадающим в Стонец; на высоте в 200 метрах юго-западнее деревни Семеновское, на кургане восточнее деревни Утицы.

Все точно, по разработанной им же инструкции. Такое расположение батарей позволяло вести огонь через головы своих войск, а следовательно, поддерживать их не только в оборонительном бою, но и при проведении ими контратак.

Позаботился он и об обеспечении флангов. Правый прикрыв 26 орудиями, поставив их у села Маслова, чтобы воспрепятствовать глубокому обходу неприятеля.

Ближе к левому флангу, где местность не благоприятствовала ведению оборонительного боя, юго-западнее деревни Псареве разместил артиллерийский резерв, который мог в любое время выдвинуться на помощь обороняющимся корпусам.

Памятуя об указаниях Кутузова, который говорил, что «резервы должны быть оберегаемы, сколько можно долее, ибо тот генерал, который сохранит резерв, не побежден», он запретил без его ведома трогать резервные батареи. Примерно в том же духе распорядились Барклай де Толли и Багратион.

Барклай требовал: «Командирам без особой надобности не вводить в дело резервы свои, разумея о второй линии корпусов, но и по надобности распорядиться ими по рассмотрению».

— Резервы иметь сильные, — указывал Багратион, — и сколько можно ближе к укреплениям как батарейным, так и полевым.

Понимая, сколь важна роль, возлагаемая на артиллерию, Кутайсов отдал приказ, который стал широко известен впоследствии: «Подтвердить от меня во всех ротах, чтоб они с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что, отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий»⁹.

Этот приказ был особенно важен потому, что внушение артиллерийским начальникам чрезмерного опасения за потерю орудий приводило к тому, что артиллеристы раньше времени снимались с позиций и не использовали возможностей своего оружия для поражения противника.

К сожалению, это опасение не только внуша-



Храм Христа Спасителя на Волхонке, сооруженный в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 г.

лось им свыше, но и спускалось в приказном порядке. Вот строчки из рескрипта Александра I, данного Кутузову: «...тех командиров артиллерийских рот, у которых в сражении потеряны будут орудия, ни к каким награждениям не представлять»¹⁰.

Отдавая свой приказ, Кутайсов исходил из того, что артиллерийские командиры, не опасаящиеся возмездия за потерю орудий, будут держаться до последнего и картечные выстрелы, выпущенные в упор, в подавляющем большинстве случаев не позволят неприятелю взять орудия, ворвавшись на позиции батареи.

Ночь перед сражением Кутайсов провел вместе с начальником штаба 1-й армии генералом Ермоловым и дежурным генералом Кикиным. Говорили о грядущем дне, о том, что теперь при прославленном главнокомандующем, ученике Суворова, можно рассчитывать на победу, — это не Беннигсен, который действовал с преступной осторожностью и нерешительностью, — о том, что русскую армию возглавляют многие ученики Суворова — и Багратион, и Дохтуров, и Раевский, и Коновницын, и Милорадович. В этом залог успеха...

В русском лагере наступила тишина, а у французов было шумно, оттуда доносились крики: «Да здравствует император!» Очевидно, Наполеон объезжал войска, воодушевляя их перед решающей битвой.

А между тем уже можно было подвести первые итоги. В минувший день хорошо поработали артиллеристы, выдвинутые на Шевар-

динский редут. Их точные залпы картечью в упор долго не давали французам подойти к укреплениям. Он знал, насколько выросла качественно русская артиллерия, знал, что она превосходит французскую, и накануне великой битвы был уверен, что она еще раз докажет это.

В день сражения, как пишет о нем Михайловский-Данилевский, «граф присутствовал повсюду, где было нужно, и с неустрашимостью, свойственной одним только великим душам, распоряжался орудиями, наносившими неприятелю величайший вред...».

Русская артиллерия по его распоряжениям маневрировала по полю боя. Заметив, что противник усиливает натиск на одном из участков, он направил подпоручика 24-й роты 24-й артиллерийской бригады Криштафоровича 2-го с двумя орудиями в линию стрелков, и артиллеристы картечными выстрелами заставили французов отойти. В другом месте он направил два орудия 46-й легкой роты к Бородинскому мосту. Огнем этих орудий удалось отогнать противника, а затем расчеты подожгли мост и отошли на высоту первой линии, откуда продолжали губительный огонь по врагу.

Обладея великолепной памятью и талантом полководца, Кутайсов держал в голове всю организацию и систему огня артиллерии, своевременно отдавал распоряжения на пополнение боеприпасами, на замену материальной части, на введение некоторых подразделений в бой из резерва.

В разгар Бородинского сражения прискакал гонец с левого фланга. Он доложил о том, что неприятель подтянул новые батареи и усилил артиллерийский огонь, уже ранен генерал Сен-При и убит генерал Тучков 4-й. Войска отходят...

— Алексей Петрович, — спокойно, словно ничего серьезного не произошло, обратился Кутузов к Ермолову. — Поезжай туда, голубчик, погляди, что случилось, чем помочь надобно...

Едва Ермолов отошел от светлейшего, к нему подбежал генерал Кутайсов.

— Я поеду с тобой, — заявил он.

— Тебе надо находиться возле светлейшего. И так уж выговор получил за то, что он не мог тебя найти, — попытался отговорить Ермолов, но куда там. Кутайсов, возглавлявший в сражении артиллерию всей русской армии, ему не подчинился. Доводы же он привел убедительные:

— Надо усилить действия артиллерии, кто ж, как не я, может это?!

— Хорошо, только возьми с собой три роты, — сказал Ермолов, садясь на коня. — Не сам же ты ее усилишь.

Они поскакали на левый фланг. За ними, едва поспевая, мчались галопом три конно-артиллерийские роты.

Вот впереди, на холме, открылись бастионы Центральной батареи. Ермолов натянул поводья, приказал остановиться артиллерии.

— Что это? Ты погляди! — обратился он к Кутайсову.

— Французы! — воскликнул тот. — Надо отбить батарею!

Действительно, на Курганной высоте уже хозяйничал неприятель. Ему удалось подтянуть часть орудий, которые осыпали теперь картечью отходившие подразделения дивизии Паскевича.

— Сняться с передков! В картечи! — скомандовал Кутайсов своим артиллеристам и дал целеуказание. А Ермолов уже помчался вперед, к резервам 6-го корпуса, самого ближнего к высоте. Он взял оттуда один батальон Уфимского пехотного полка, развернул его широким фронтом, чтобы охватить как можно больше пространства, по которому отступали разрозненные подразделения от батареи Раевского.

— Ребята! Назад! Вернете батарею — вернете честь, которую уронили...

Устроив артиллерию, которая тут же открыла огонь, Кутайсов выхватил саблю и помчался на батарею. Он возглавил какое-то отступавшее подразделение и повел его в контратаку.

Завязался жестокий бой. Французы отчаянно сопротивлялись, к тому же курган, на котором была батарея, имел пологие скаты в сторону противника и крутые — в наш тыл. Эти крутые скаты и пришлось штурмовать.

Через двадцать минут батарея была отбита. Ермолов отправил донесение главнокомандующему: «...Батарея во власти нашей, вся высота и поле оной покрыты телями, и бригадный



Генерал-майор Д. П. Резвой, дядя Кутайсова по материнской линии.

генерал Бонами был одним из неприятелей, снискавший пощадку».

После схватки Ермолов увидел коня с седлом и чепраком, забрызганными кровью... Конь принадлежал Кутайсову. А на другой день к Ермолову явился офицер, который принес ордена и саблю Кутайсова и рассказал о гибели генерала.

Смерть Кутайсова отразилась на ходе боя, так как он один знал все распоряжения, отданные по артиллерии, и многие батареи, расстреляв заряды, не ведали, каким образом их пополнить. Не полностью был использован и мощный резерв, находившийся у деревни Псарево. Недаром Кутузов впоследствии, когда речь заходила о Бородинском сражении, не раз говаривал, что, если не одержан полный успех, на какой, по своим соображениям, мог он надеяться, тому причиной смерть Кутайсова, которая «лишила армию начальника артиллерии в такой битве, где преимущественно действовали орудия».

Генерал Ермолов писал: «В лета цветущей молодости, среди блистательного служения, занимая важное место, пресеклась жизнь Кутайсова. Не одним ближним горестна потеря его; одаренный полезными способностями, мог он впоследствии оказать Отечеству великие услуги»¹¹.

И действительно, уже в ходе Бородинского сражения были проверены и с честью выдержали испытания положения составленной

Кутайсовым инструкции «Общие правила для артиллерии в полевом сражении». Проводились в жизнь его указания: «Огонь артиллерии при атаке должен преимущественно направляться на неприятельскую артиллерию, а при обороне — на кавалерию и пехоту»¹². Так действовали артиллеристы в Бородинском сражении, поражая картечью пехоту и кавалерию французов, так действовали они, уничтожая батареи противника, когда русская армия перешла в наступление.

Отдавая дань памяти генерала Кутайсова, Михаил Илларионович Кутузов писал его отцу, что вся армия принимает общее и самое живейшее участие в значительной потере достойного его сына, павшего на поле чести!

Замечательный русский поэт Василий Андреевич Жуковский в своем стихотворении «Певец во стане русских воинов» посвятил Александру Кутайсову такие пламенные строки:

А ты, Кутайсов, вождь молодой...
Где прелести? Где младость?
Увы! Он видом и душой
Прекрасен был, как радость;

В броне ли, грозный, выступал —
Бросали смерть перуны;
Во струны ль арфы ударял —
Одушевлялись струны...
О горе! верный конь бежит
Окровавлен из боя;
На нем его разбитый щит...
И нет на нем героя.
И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?..

Да, тело Кутайсова найти не удалось, не удалось и воздать ему заслуженных почестей. Но имя его не предано забвению. Его портрет занимает почетное место в «Военной галерее Зимнего дворца», во Вводном зале музея-панорамы «Бородинская битва». Строки из приказа, отданного им накануне Бородинской битвы, можно найти во многих исторических произведениях и учебниках по артиллерии, подвиги, совершенные в сражении при Прейсиш-Эйлау, во время Бородинской битвы, упоминаются в книгах.

Мужество и отвага генерала Кутайсова, павшего на поле чести, служат примером беззаветного служения Отечеству.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лесток Антон Вильгельм /1738—1815/, прусский генерал.

² Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806—1807 годах. СПб., 1846, с. 201.

³ Там же, с. 202.

⁴ История русской армии и флота. М., 1911, т. 3, с. 51.

⁵ Цит. по: Михайловский-Данилевский А. И. Указ. соч., с. 203.

⁶ История русской армии и флота. М., 1911, т. 3, с. 58.

⁷ Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны в 1812 году. СПб., 1839, ч. 2, с. 118, 119.

⁸ Ушаков С. И. Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамят-

ную войну с Францией в 1812, 1813, 1814, 1815 годах. СПб., 1822, ч. 4, с. 167.

⁹ Кутузов М. И. Сборник документов. М., 1954, т. 4, с. 139.

¹⁰ Там же.

¹¹ Цит. по: Глинка В. М., Помазанский А. В. Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1981, с. 131.

¹² Цит. по: Жилин П. А. Кутузов. М., 1983, с. 317.

Евгений Симонов

Эльбрус начинается...

Кибитка дернулась раз-другой, что-то крикнул по-своему кучер-калмык, едущих резко откатнуло к спинке сиденья: путь пошел вверх. Генерал Эмануэль* откинул кожаный полог, в нагретый за день степной воздух, хоть щупай его рукой, вливалась упругая волна холодного воздуха. Он дышал на тебя свежестью и высотой.

Генерал приказал придержать коней, разминая затекшие ноги, вышел. По горизонту наплывали хребты: скальные глыбы, провалы и взлеты.

— Бештовые горы, — показал рукой на ближний норд адъютант, — обращают на себя внимание пирамидной вершиной с распростертыми крылами скал. По-черкесски «Бештау» — «Пять гор». Они словно выскакивают из ровной поверхности земной отдельными великими буграми.

— Атанде-с! — прервал его Эмануэль. — Обратимся, господа, по другую сторону. Там главный интерес.

...Пелена тумана, и дрожавшая по всему горизонту дымка исчезала, словно распахнутый занавес... Упираясь в небо, соперничая законченностью форм с его бесконечностью, вставала из облаков вершина. Сменяла на глазах одежды: угольных тонов, индиговой густоты, драгоценного пурпура, отливавших золотом, розовых, слепяще белых. Казалось, что нет вокруг вершин, она одна во всем этом море вершин.

«Минги-Тау», — бесстрастно ткнул в ее сторону кнутовищем калмык. «По-черкесски «Тысяча гор», — докладывал денщик. «Эльбрус», — сообщал адъютант.

Достав одну из припасенных в долгую дорогу книг, Эмануэль прочитает у Семена Броневского, правителя дел тифлисского главноначальствующего: «Первое возвышение, представляющееся глазам путешественника, едущего в Георгиевск из Черкесска или из Царицы-



Герой Отечественной войны 1812 г. генерал от кавалерии Г. А. Эмануэль (1775—1837). В 1829 г. организовал первую экспедицию на Эльбрус.

на на Маджары, есть гора Эльбрус или Шат-гора.

Двумя остриями встает из облак, которые объемлют средние части сей горы. Из нее истекают Терек, Малка, Кума, Кубань, Арагва, Рион, Схени-Цхала, Енгури. (Только первые четыре. — Е. С.)

На восток от Эльбруса снежный хребет пресекается на четыре отрасли... Именование Эльбрус, каковое ныне в употреблении, чайтельно произошло от персиян или турок¹.

Георгий Арсеньевич Эмануэль, генерал от кавалерии, ехал принимать новые для него области. 25 июня 1825 года был он всемилостивейше назначен областным начальником Кавказского края и командующим всеми войсками на Кавказской военной линии в Черномории и Астрахани. Ни в одной из стран Европы не знали подобной линии, где, что ни городок вроде Ессентуцкого редута, то более крепость, нежели город. На протяжении 760 верст, от Анапы до Каспийского моря, под командованием Эмануэля 16 231 штык пехоты, 8042 казака, 43 орудия. Надо еще держать под присмотром реку Терек да Военно-Грузинскую дорогу, остерегаться проникавших под прикрытием корана агентов турецкой Порты. Центр Линии в Пятигорске, фланги ее как бы исчезают в морской пучине.

Оживились, вдохнув близкий дымок строевний Кавказских Минеральных Вод, кони. Вот они — приходящие ныне в значительную славу

* Поначалу именовал себя «Эмануэль», со временем закрепились «Эмануэль».

Воды. Подымая жирную пыль, тарактели дормезы, коляски, тащились за волами татарские арбы на высоких — в рост человека — колесах; скрип от никогда не мазанных колес заглушал остальные звуки. «Скрипят — значит, не таятся, едут с честными намерениями».

Остановились, миновав две пушки казачьего полка у подножия Машука, близ галереи с колоннадой. Отправляясь в реставрацию, Эмануэль отметил приметные следы стока воды по отлогости известковой горы, пестро окрашенные желтыми, красноватыми, даже зелеными полосами. Сероватый камень обозначил окаменелую накипь той же воды.

Одев партикулярный шюртук, генерал пошел по источникам. Инавалид в кожаном фартуке подал ему кружку: кисловатая, с запахом порченных яиц.

— Меня пользовали схожей после ранений, когда две недели и пилюли и пищу вкладывали мне в рот, — вспоминал генерал, — но говорят, наши Кавказские в степени минеральности несравненно всех превосходят.

— Главное в них, — расправил бакенбарды местный лекарь Штумпе, — очищение поврежденных соков и крови. Минеральные испарения, проникши во внутренности тела, разбивают любые затвердения, завалы, обструкции. — Лекарь пояснил наличествующие в воде семь частей, воздушную кислоту. — Сухая пучина или пропасть в горе образует провал. Вода из сей хляби содержит много меди. Другая же, кислая, богатырская вода в приятности превосходит зельтерскую, немногого недостает ей, чтобы уподобиться лучшему шампанскому.

Эмануэль видывал Балканы с их мягкими очертаниями, бродил по Гарцу, в походах зрел на горизонте белую линию снежных гор Тироля. Кавказ был бы среди них словно флигельман лейб-гвардии в толпе недомерков. Как перед отъездом пояснил ему один из ученых мужей петровской кунсткамеры:

— На Кавказе вы сможете воочию рассмотреть геологический разрез северной покатости Кавказского края, от Эльбруса до Бештау. Неразрывная связь соединяет внешние формы земной поверхности с внутренней природой минеральных масс. Наука еще не достигла совершенного знания порядка в расположении подземного разделения пород. Три типические сопкообразные выпуклости откроются вам на северо-восток от Кисловодска.

Его резиденции в Ставрополе. Днем спуская зал наполняется сдержанным гулом. Адъютант распахивает двери, звякнув шпорами, генерал выходит к ожидающим. На нем темно-зеленый мундир драгунского полка: густо-красного сукна воротник, обшлага, отвороты укороченных фалд. По тугому вороту шитые золотом дубовые листья. Из всех регалий — только белизна Георгиевского креста. За кампанию 1812—1814 годов киевским драгуном, которыми командовал полковник Эмануэль, пожалован был Георгиевский штандарт, под его развевающимися черно-

оранжевыми лентами вступал полк первым в Париж.

Генерал медленно обходит собравшихся: командование Линии, отцы города, негоцианты, кабардинские да карачаевские князья в черкесах с газырями, заломленных папах. «Будем знакомы, господа. Салам и вам, достойные представители мирных горских народов!»

Долго и многотруден был его путь от отчего дома в Ванате до Кавказа. С портрета глядя на нас пристально всматривающиеся глаза. Крупный прямой нос, взвихренные, не подчиняющиеся куаферу волосы. Сослуживцы отмечали его прямодушные, которое нелегко было сохранить, соприкасаясь с Дибичем, Аракчеевым, Чернышевым. «Но наш генерал, — говорили про него, — поднимался без всякого покровительства, кроме мужества своего».

Дед его Мануил пришел из Сербии, а прадед Баго был родом из Черногории. Мальчонке, сыну обер-князя, не минуло и тринадцати, когда под зелеными знаменами ислама ворвались в Ванат рвущиеся к Белграду турецкие орды. Схватив ружье, княжал, Георгий встал в ряды корпуса волонтеров отважного Миелевича. Сильно орда Тимура, обрушивается кровавый поток османов на славян. С годами проведает Георгий, как французские комиссары переправляли тогда турецким комендантам целые транспорты огнестрельного и холодного оружия. Иезуиты отечески советуют сербским князьям: «Усмирить возмущенных, оставить обычные свои наглости». И Георгий в чине капран-юнкера вступает в ряды австрийской армии, поднимает теперь оружие против двинувшегося на восток Бонапарта.

Кто даст ему отпор?.. Только старший брат сербов, черногорцев, всех славян — Россия. Эмануэля неохотно отпускают с австрийской службы, должен дать слово императору Францу — никогда не обнажать оружия против австро-венгерской армии. Сулят всяческие милости.

Путь в Россию...

С жадностью вглядывается он в мелькающие по сторонам деревни, на стоянках пьет полной грудью певучий говорок, в котором то и дело мелькнут знакомые славянскому слуху корни. Москва извещает о себе заставой с полосатым шлагбаумом, стражником с алебардой. Над городом плывет праздничный благовест колоколов, день восшествия на престол императора Павла.

В морозном воздухе до вытянувшегося в струнку Эмануэля доносится на притихшем вахтпараде протяжный гнусаво-сипловатый голос: «Распущенность! Под арест!» Эмануэль улавливает приглушенный, без поворота головы шепоток: «Замри! Император гневается». На пути в казарму ему расскажут, предупреждают: главное для императора Павла — делать все супротив того, как было при его матушке, пусть даже цели не соотносены со средствами. Пуще всего император шарахается всего французского, чудится дух революции. Запрещены фраки, жилеты, бакенбарды. Боже упаси тан-

цевать вальс. Войска поглощены плац-парадами, скачут фельдъегери, шагая на Марсово поле, полк не ведает, что тебя ожидает: орден либо разжалование, а то и «Кру-гом! В Сибирь ша-гом арш!»

Но стройный, не знающий протекции офицер обратил на себя внимание командиров суворовской складки. На девятый год службы в Северной Пальмире приказом по гвардии назначен шефом Киевского драгунского полка по тяжелой кавалерии. Еще в кампанию 1807 года с тремя эскадронами своего полка да тысячей штыков пехоты, полутора сотней казаков крепко удерживает позицию при Гунштате, прикрывая отход целого корпуса. Тогда же отметит лихость, воинскую стойкость молодого полковника Петр Иванович Багратион.

Эмануэль на виду атакующих французов приказывает спешиться своим драгунам.

— Казакам допрежь всего обить все передовые посты по лесу, — отдает команду сотнику Волкодаву, глядя на истово крестившихся бородастых станичников.

— Доведение до сведения принял, — подтверждает сотник.

Сбиты по лесу посты. Эмануэль врывается в город, казаки уже ведут пленного французского капитана. Багратион успевает сказать на ходу доброе слово начальнику своего авангарда Эмануэлю. И так дойдет Эмануэль от немецких городов до поля Бородинского, где золотыми буквами будет вписана в историю каждая пядь земли, но особенно Шевардинский редут, на котором встанут стеной драгуны Эмануэля, равно в конном и пешем строю.

Он начнет войну полковником, вступит в 1814 году в Париж генерал-лейтенантом. Его адъютант князь Голицын заметит: «На всем пути моего генерала ходатаями за него были только собственные подвиги и заслуги».

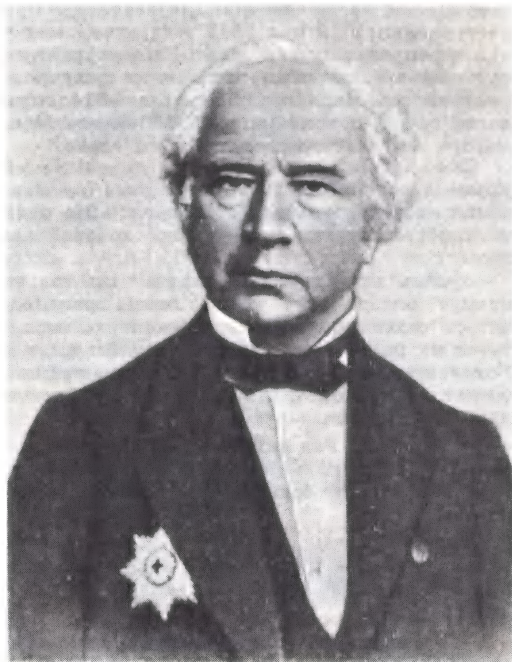
Воспетое баталистами, самой историей Лейпцигское сражение. Немецкий фельдмаршал Блюхер с нескрываемой завистью выслушивает донесения о действиях Эмануэля, которого тщились представить выучеником прусско-австрийской военной доктрины. Позвольте, почему же тогда не достигнут того же в баталии цесарцы? Блюхер топчется на виду городских застав, когда мимо занятого им домика, обдав облаком пыли часового, пронесится кавалькада. С Эмануэлем только его конвой: три офицера, три унтер-офицера, шесть драгун. Звонкий топот копыт будит городской плац.

— Теперь, ребята, за мной, по ту сторону города, к Люценским воротам. Надо представить себе собственными глазами, куда движется неприятель.

— Пыль занялась, вашбродь, за той киркой. Дозвольте на колокольню слазить.

— Тоже нашелся мне звонарь. На-конь и марш-марш.

Мимо наглухо закрытых ставен обывательских домов мчат драгуны, в конце узкой улицы мелькнули хвосты касок кирасиров наполеоновской гвардии, на глаз человек с тридцать. Догнать! Полонить! В азарте боя, отправив в



Академик А. Я. Купфер, участник восхождения на Эльбрус.

штаб обезоруженного генерала Дювена, только осадив тяжело похрапывающего коня, поймет Эмануэль положение. Залитый потом склонился Голицын, на ухо, задыхаясь: «Вам понятно, что мы отрезаны от своих и кругом французы?» — «Справедливо».

На решения нет и минуты. Только действовать.

Надвинуть поглубже каску. Дать шпоры коню. Придержать коня перед разломанным мостом. По одному бревну, на ту сторону реки, ведя под уздечку нервничающего коня, мелкими шажками перебирается бочком-бочком французский офицер. «Атанде, мсье!» Выстрел в воздух из пистолета. «Сдавайтесь немедленно, иначе пристрелим». Подоспевший казак разматывает кушак, подает французу, выводит на берег. Руки пленного дрожат, по лицу потоки пота и грязи. Вынимает из заднего кармана кружевной платочек: «Я — граф Лористон». Ого, когда-то граф представлялся русскому императору как посол новой империи, теперь предстанет пленным.

А с той стороны уже мчал на низеньком вихрастом коньке кто-то в халате, прижимая к седлу тчетно призывавшего на помощь французского офицера. Волкодав докладывал: «Башкирец выдернул его прямо из седла, доставил живьем».

— А вот и наши остальные. Можно наступать.

Он вспомнит, прощаясь перед отъездом на Кавказ с драгунами, что был в арьергарде рус-

ской армии, когда отступали, в авангарде при наступлении; с 13 мая 1812 года, когда встречал переправлявшуюся через Неман французскую кавалерию и до последнего пушечного выстрела за Парижем, 25 марта 1814 года, когда сошел с коня на главной высоте Монмартра и оглядел лежавший у ног город.

Сам знавший толк в военном деле Алексей Ермолов обронит об Эмануэле при его назначении начальником штаба корпуса: «Это один из храбрейших генералов нашей храброй армии»².

В день вступления в Париж еще только начнут открываться двери лавок, распахиваться ставни домов, когда Эмануэль столкнется на парижской улице с великим князем Константином Павловичем. Августейший братец императора на этот раз не бурбонист, даже благодушен:

— Вольно!.. Рад видеть тебя в добром здравии. И драгуны твои с казаками не оплошали.

— Благодарю бога за свое доселе хладнокровие.

Великий князь своими навывкате глазами вился в еще не приведенный в порядок мундир Эмануэля, но обычных цуканий не последовало.

— Позволь, братец, почему же не дают тебе «георгия»?

— Удостоен уже «георгием» третьей степени, да не поспел получить. Да и сам я как-никак Георгий.

В Питере презентовали перед убитием на Кавказ поучительный меморий о горах.

Должен публично собранию Императорской Академии наук Иоганном Готлибом Леманом, нашей академии членом, королевским, прусским горных дел советником, германского, майнцского, лондонского ученых собраний сочленом.

Представший перед генералом Кавказ самой натурой подкрепляет сказанное герром Иоганном: «В согласии с Бюффоном горы производят начало из отделения жидких частей от твердых при сотворении мира, когда земные отделения осели на низ и тем пременяли плоский вид земли на горбатый. Создались препинающие путь по всему земноводному нашему шару горы, натуральная же история дает довольно нам свидетельств о неодинаковом виде шара земли»³.

«Но какие же они горбы? — вопрошал адъютанта Голицына наш генерал. — Это — воплощенный в гранитах и льдах порыв к свободе от земного притяжения. Зовущий к взлету, высоте. Не прав ученый шваб, куда вернее слышанное мною от князя Петр Ивановича * из столь любезных ему эпических поэм времен царицы Тамары «Барсова кожа» некоего сочинителя Руставеля. Он видел в горах призыв свободы».

Совершать каждодневный променады, да токмо поглядывать на тебя, Эльбрус, не то же

ли это, что прогуливать под уздечку коня и так и не пустить его вскачь?

Воинские артикулы сами собой, но он хочет знать — какова же ты, Эльбрусская волость?.. Сказано же великим Эсхилом: «Горы Кавказа — соседки звезд»⁴, и еще сказано Аристотелем, воспитателем Александра Македонского, в одном своем лице объединившим все отрасли тогдашнего знания, от силлогистики до учения о погоде:

«Кавказ и по величине и по высоте самый большой из горных хребтов с северо-восточной стороны. Доказательством его высоты служит то, что он виден с так называемых Пучин и при входе в Мэотийское озеро, кроме того, его вершины ночью освещаются солнцем до третьей части как перед зарей, так и с вечера»⁵.

Великий Плутарх полагал, что вся эта страна обязана названием пастуху «Кавказу», до этого же погубившему виноградники, топившему корабли северному ветру, звали ее «Ложе Борея»⁶. Иродот (Геродот) же, поведав о пути скифов на Мидию, прямо указывает: шли они, «имея по правую руку Кавказскую гору»⁷.

Белое пылание Эльбруса отвлекало генеральский ум от дел дня... По-отечески принять решивших присягнуть нам балкарских властителей — таубиев, от обществ — Урусбиевского, Хуламского, Безенгиевского, содержать под присмотром гребенских казаков разбитого, взятого в плен трехбунчужного Гаджи-пашу. Наместо того чтоб продолжать барабанную дипломатию прежде начальствующих, Эмануэль спрашивает по начальству дозволения открыты меновые дворы, ввести беспощинную торговлю для горцев. Возка к ним соли, сахара, бязи. «Ответству на представление ваше, — отозвался фельдмаршал Паскевич, — с покорными нам народами обходиться совершенно мирно, покупая у них все жизненные потребности»⁸.

Гораздо после дойдут до генерала столь знакомые нам строки современных ему поэтов.

«С вершин заоблачных бесснежного Бешту видел я только в отдалении ледяные главы Казбека и Эльбруса...

Четыре горы, отрасль последняя Кавказа». (А. С. Пушкин Н. И. Гнедичу 24 марта 1821 г.)⁹

Стихами изливал душу разжалованный до нижнего чина, с лишением прав дворянства Александр Полежаев. Ему ли, зависевшему от любого бурбона, любоваться окружающим. Но оно оказалось сильнее всей гарнизонной аракеевщины:

«Кругом, от моря и до моря,
Хребты гранита и снегов,
Как Эльбрус, с природой спора,
Стоят от бытности веков»¹⁰.

Он был здесь всегда и всюду. Словно бы изваянное из белейшего мрамора (хотя это — вулканические породы) воплощение всего Кавказа. То в нахлобученной папахе облаков, то

* Вагратиона.

под вуалеткой туманов. Напоминая: «Ай, валлаги-бигаги, сколько крепостей заставил ты бить ретираду, мой генерал? У меня ни пушек, ни фортификатора Вобана, даже огонь, если и есть, не выходит на волю. Приказывай гренадерский бой барабанщикам и марш-марш до главной высоты цитадели».

Предшествовавший тебе Ермолов, перекаивая географию Кавказа, в приказе по войскам, в ночь сражения при селении Лаваш, сказал же: «Еще наказуя противных, надлежало вознести знамена наши на вершины Кавказа». Не куда-либо — на вершины.

И Эмануэль приметлет смелость просить начальника главного штаба его императорского величества господина генерала от инфантерии барона Дибича. «Барон вояжировал по Кавказу, лично лицезрел Эльбрус («Как же-с! Весьма»!). Пошел сорок тому третий год, как лекарь Паккар с мужиком из савояров* Бальмой совершили восход на главную альпу Европы Монблан.

А мы?.. Вся академия не в силах по немогуществу подать хотя бы сведения о точной высоте нашего Эльбруса (в XVII веке «Космография» определяла ее в 75 верст.— Е. С.). Снаряжаем ученые экспедиции в столь дальний Бразиль, славные шлюпы под русским флагом и гюйсом открывают Антарктиду, а Эльбрус как был непознаваем под бусурманским игом, так и по сей день».

* * *

Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльбрус двуглавой.
Ужасно и величавой
Там все блистает красотой.

Василий Жуковский

Не так давно слышали мы: экологи Запада повели поиск барометров, телескопов, даже брошей, в которых может оказаться западным, законсервированным воздух XVIII—XIX столетий. Назрела потребность сопоставить с нынешним, с тем, что от него осталось.

...Воздух минувших времен. Их неповторимые аромат, цвет, голос... Явственно различаешь их, когда берешь эту синюю папку.

«Академия наук СССР

Архив. Фонд № 4, 1829 г. Архивное дело № 4 Дело по Кавказской Экспедиции проф. Купфера, адъюнкта Ленца, хранителя Зоологического музея Менегрие и Мейера»¹¹.

«Ответ на отношение Дибича об открывающемся случае для обозрения окрестностей Эльбруса и Канжал-горы».

«С отличным почтением и совершенной преданностью имею честь быть Ваш всеподданнейший слуга исправляющий должность Президента Академии наук. А. Шторх».

* Так назывались крестьяне горных селений в Альпах.

«Восшествие на гору Эльбрус купно с двумя товарищами».

«Вертикальные тяготения горы».

И даже явно свидетельствующее о том, что господа ученые мужи хотя и пишут по-русски, но с явным латинским акцентом:

«Неизлишне будет заявить».

«На неопределенные расходы»¹².

Итак, на Эльбрус, на Эльбрус!

В примыкающих к нему с севера аулах карачаев потаенно, в личине купца побывал лихой майор Потемкин, но сведения зело скудные, больше того, разноречивы. Уже цитированный нами Семен Броневский поведал:

«...Мы не имеем физического описания сей горы (Эльбруса.— Е. С.), которая представляет для испытателей природы, как говорят, непреодолимые препятствия, кроме свирепств диких народов, вокруг нее обитавших. Известно, что подножие Эльбруса состоит из *трасин* и болот, поросших колючими кустарниками и верст на 50 расстоянием в окрестности источников (исток.— Е. С.) Малки и Кумы»¹³.

«Голицын, в приказ вторую и седьмую роты Егерского полка, мушкетерскую роту Крымского полка. По части кавалерии — линейское казачество: две сотни моздокских, по полусотне хоперцев да волгцев. От артиллерии два трехфунтовых единорога».

В последние дни приутожений к походу подали визитную карточку на бумаге верже с золоченым волнистым обрезом, дворянской короной.

«Жан Шарль де Бессе, Париж»*. Гость сбрасывает на руки денщику широкий плащальмавиву, подает кастановый полуцилиндр, с удивлением, нескрываемым удовлетворением узнает: генерал не только свободно владеет венгерским, он даже по отцу — венгерский дворянин. Гость же эмигрировал из империи ненавистных ему Габсбургов, нашед приют на берегах Сены, но он прирожденный мадьяр.

— Экселенц так любезен, что даже удостоивает меня приглашения в свою экспедицию, в страну карачаев.

Еще Гомер вменял в похвалу Одиссею: многих людей и города посетил и обычаи видел. А ведомо ли генералу, что есть свой князь Карачай и у венгров?

Вы упомянули часто невидимый и неизменно отвращающий Эльбрус. Но угодно ли будет подступиться к нему и вашему высокопревосходительству?

— Моему высокопревосходительству будет угодно.

Проживающий в Париже мадьяр тоже вошел в экспедицию.

Июля двадцать седьмого дня года 1829-го у шлагбаума укрепления Каменный мост на Малке бухнула пушка. Не касаясь стремени, взлетел в седло Эмануэль. С легкой усмешкой покосился на с трудом влезавшего на конягу

* Так переименовали на галльский манер Яноша Кароя Вешша, крупнейшего венгерского тюрколога.

взятого для поисков угля, руды обер-гиттенфервалтера Вансовича.

В путь!

Сквозь туманы неведомого!..

Перед тем как представить затеянное на высокое мнение в верхах, Дибич соберет в штабе совет.

— Сколько голов (он произносит «колоф»), столько и умов.

— Гм-гм, умов-то заметно меньше, — окинув взглядом присутствующих, шепчет на ухо Эмануэлю не скрывающий усмешку Ленц.

— Кстати, кто стоит во главе нашей академии?

— Во главе ее лежит князь Ливен. Мы ведь по ведомству министра просвещения.

Ученую команду поручили академику Купферу. О познании просторов российских имел он беседу не с кем-нибудь, с самим Гумбольдтом. Когда тот задумывал экспедицию в Сибирь, от Екатеринбурга * до Южного моря (Тихого океана), то писал:

«Мне хотелось бы, чтобы большинство ученых было русскими. Они способны более мужественно переносить невзгоды и не так сильно будут стремиться вернуться домой.

Я не знаю ни слова по-русски, но я стану русским...»¹⁴.

Гумбольдт изъявлял готовность достичь северной оконечности Азии, даже если б знал, что «из девяти человек туда доберется один»¹⁵.

Насупленный, глядящий из-под нависших бровей, вечно озабоченный Купфер оказался человеком огромных знаний и немалой предусмотрительности, без чего не обойтись равно и в батальи, также и в научном восходе на Эльбрус. Ленц еще только через четыре года обнаружит свое правило направления индукционного тока — «Закон Джоуля — Ленца», свою же готовность переносить путевые тяготы доказал в первом русском кругосветном плаваньи под флагом будущего адмирала Крузенштерна. Готов он и ко встречам с вечными льдами, навиделся их в открытой русскими Антарктиде.

Отряд втягивается в горы. Словно наступающая цепь, теснят они землю, встают все выше, их все больше. Хребты. Водопады, коим позавидуют Петергофские фонтаны, даже Версали. Да, в проеме хребтов над башкой всего лишь кусочек неба. Голубой лоскуток.

Будь же милостив к путникам!

Даже сидя на коне, Бешш с опаской косится на открывшуюся глубокую расщелину. На коротком привале генерал похлопал по взмыленной шее коня, скинув бурку, поднялся на холм. Наводит отличную трубу Доллонда (увеличение от 8 до 24 раз) в сторону поднимающихся гор. Подкручивает. Водит... Ни черта! Там, где должен объявиться царящий над всем Эльбрус. Бешш недоверчиво ощупывает кинутую на траву бурку. Жесткая. Склонился. Пахнуло бараном, травами, чем-то диким. Бешш уже пометил в подневных записях: не токмо казаки из линей-

ных уставные мундир, кивер, пику давно заменили на более практичные в горах черкеску, папаху, кинжал. «Заинтриговавшую вас бурку, — поясняет генерал, — не променяю ни на какой макинтош, тем паче николаевскую шинель с пелериной. Бурка тебе и постель, и пальто, и палатка: греет, не промокает, не вползет ни змея, ни скорпион».

Все выше хмурые стены хребтов, теснее ущелья, круче тропа. Но где же хозяин этих мест — Эльбрус, чем могли мы дать ему повод для обид, что не явился на randevu?

Но июля восьмого дня раздался гортанный вскрик шагающего передовым черкеса Килара: «Ошхомахо *. За тем заворотом будет весь».

Так! Сначала волна, напоенная какой-то охватившей тебя всего — всего тебя свежести, и это вовсе не мороз, это — могучее дыхание вершины, протянутая тебе рука позвала, допускает в чертоги свои.

— Примите поздравления, экселенц, — интимно берет под руку генерала Бешш, — это вам выпала великая честь первым вступить во владения горного короля. Ни Парроту, ни Палласу, ни...

— Пардон! Помолчим-с! — Эмануэль жестом трагика императорских театров не просто поднял — воздел, и не руку, но длань к норду.

Такого он не видывал... Великан тихо, словно отходя от сна, сбрасывал покровы облаков. Чтобы предстать во всей своей необузданной наготы. В лепке гранитных мускулов. Усмешке глянувших на тебя белозубых отблесков.

Сила, творимая самой Землей. Вызов тому, кто дерзнет.

Шли минуты. Обращались в часы. Встал, дожидаясь приказа, весь караван. Дуэль пока что шла без звуков, без жестов. Кто кого?.. Эльбрус привык удоставлять лишь мимолетного взгляда всех этих пришельцев: в мундирах и бешметях, с приказом ли белого царя, фирманом визири Блистательной Порты. Теперь еще один. Чем-то несхожий с остальными. Схожий немигающим, прищурившимся на тебя зраком разве что с орлом.

— М-да! — произносит Эмануэль. И привычно, уже по-строеному: — Здесь у реки Малки бивакировать. Живо: кибитки, кухню, дрова.

Недвижность враз обернулась движением.

— Я бодрствовал против врагов России, — повертывается к Ленцу генерал. — Теперь против противостоящих нам сил природы.

— Позволю себе не согласиться, мой генерал. Противостоят, пока их не познали, не ввяргли, как бывший бесцельным водопад, что крутит сегодня мельничные колеса на благо поселения.

— Быть по-вашему, господа наука.

Интендант уже раскладывал потребное для штурма. «А, право, хорошо это, — подумалось генералу, — когда, идучи на штурм, ко всему

* Ныне Свердловск.

* «Гора счастья» — кабардинское. Под «черкесами» разумели тогда большинство народов Северного Кавказа.



Эльбрус с севера. Вид на лагерь. Зарисовка архитектора Кавказских Минеральных Вод Джузеппе Бернардацци.

еще бог ведает какой фортеции, не надо ни пороку, ни мушкетов, ни крови». Ученые протирают, укутывают трубы, барометры, казаки заправляют чем-то приятно булькающим фляги. Килар растирает в деревянной пиале что-то черное, остро пахнущее.

— Новый, еще не отмеченный наукой вид суеверий, — достает тетрадь склонный к открытиям Бешш. — Выросшие в воинственности номады гадают, но не на кофейной гуще, знаете на чем: на разведенном порохе.

Эмануэль уже привык к сенсациям мадьяра, то он выводит «Арабат» от венгерского «Ар-

вид» — «Потоп окончился», то — «Эльбрус» из своего «Леборус» — «Ты падаешь ниц».

— Сходство, мон жeneral, неопровержимое, кто не падет ниц в трепете созерцания сего восьмого чуда света!

— А если моя экспедиция не столь призвана «падать ниц», сколь брать верх над горой?

Отходя ко сну, Килар показал каждому, кто пойдет штурмовать Эльбрус, на плоску с разведенным порохом. Переводчик Ваграм объяснял: «Густо чернить вокруг глаз, иначе солнце может сжечь, вернешься слеп. Не любит Ошхомахо,

когда глядят на него в упор. И еще: не умываться, грязь, пот берегут кожу лица» *.

— Народ знает, что советует, — поддержал генерал. — А наш Килар бывалый ходок в горах.

Мерному стуку барабана, сигналу трубы «Марш — марш!» — вторили каменный гул реки, эхо ближних ущелий.

Килар остановил споро зашагавших Ленца, архитектора Минеральных Вод итальянца Джузеппе Бернардацци. Дал понять, что подъем пойдет чем дальше, тем круче, показал на белешую над туманами вершину: «Шибко далеко. День ходи, два ходи. Ходи тихо — дойдешь. Ходи шибко — сдохнешь».

* * *

Досягнешь ли? — Вон над тучей —
Двувершинный и могучий **
Режется из облаков
Над главой твоих полков.

Александр Грибоедов

Накинув халат верблюжьей шерсти, генерал выходит из кибитки... Взял на караул по-ефрейторски, оставив ружье штыком в сторону, часовой. «Вольно, братец. Получи от меня». Всматривается. Наводит трубу... Вот и они. Черное, движущееся на недвижном, теперь уже на белом, на снегу, поначалу топали цепочкой, теперь разбились звеньями, по два-три человека. Ходчее других шагают этот черкес Килар да терский казак Лысенков, из ученых — Ленц. Теперь поблескивающая под солнцем медными сочленениями труба станет на эти сутки органической частью бытия. Твоей пятой конечностью. Приблизит тебя к восходителям, их к тебе. Но черт побрал бы эти штыковые раны с пулевыми. Они в штурме, ты как бы в ложе театра.

На восхождение выступили от ученых Купфер, Ленц, Мейер, Менетрие, Бернардацци да два десятка добровольно вызвавшихся казаков, с пятаком проводников-кабардинцев.

День грядет в горах с вершин. На фоне вступившей в пояс вечных снегов экспедиции генерал различал бешметы горцев, кафтаны казаков. Вел точный счет увиденным... Поначалу все — тридцать. К взымшему вверх, заигравшему под солнцем снежному полю менее двух десятков. Как и при штурме любой крепости, с той, правда, поправкой, что Эльбрус не собирается никого ни убивать, ни даже ранить. Штурм тяжелый. Но бескровный.

Выпил, не отрываясь от трубы, кофию, протер рукавом стекла... К первому ярусу выпадающих из нутра горы красноватых скал и вовсе то ли восемь, то ли того меньше. Но идут же. Упорствуют. Но было заметно в просветлевшем воз-

* Подтверждено в экспедиции 1956 года на пик Победы; автор этих строк свидетель того, как сторонники ежедневного бритья, умывания поплавились ожогами второй степени.

** Эльбрус (прим. А. С. Грибоедова).

ВЪ
ЦАРСТВОВАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКАГО ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ I.

СТОЯЛЪ ЗДЕСЬ ЛАГЕРЕМЪ
СЪ 8 ПО 11 ИЮЛЯ 1859 ГОДА

КОМАНДУЮЩИЙ

НА КАВКАЗСКОЙ ЛИНИИ

ГЕНЕРАЛЪ ОТЪ КАВАЛЕРІИ

ГЕОРГІИ ЕМАНУЭЛЬ

ПРИ НЕМЪ НАХОДИЛАСЯ:

СЫНЪ ЕГО ГЕОРГІИ 14 ЛѢТЪ:

ПОСЛАННЫЕ РОССИЙСКИМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ
АКАДЕМИКЪ:

КУНФЕРЪ, АБНЦЪ, МЕНЕТРИЕ, И МЕНЕРЪ,

ТАКЖЕ

ЧИНОВНИКЪ ГОРНАГО КОРПУСА ВАНСОВИЧЪ.

МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ АРХИТЕКТОРЪ ЮС. БЕРНАРДАЦЦИ,

И
ВЕНГЕРСКІЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКЪ НВ. БЕССЕ.

АКАДЕМИКЪ И БЕРНАРДАЦЦИ, ОСТАВИВЪ ЛАГЕРЬ, РОСПОЛОЖЕННИЙ
ВЪ 6000 ФУТОВЪ [761143 САНТИМЕТРЪ] ВЫШЕ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ,
ВХОДЯЩАЯ ЧИСТАЯ НА ЭЛЬБРУСЪ ДО 12700 ФУТОВЪ [3963 САНТИМЕТРЪ]
ВЕРШИНЫ НЕ ОЦЕНЯ ШЕГО ФУТОВЪ [3230 САНТИМЕТРЪ] ДОСТИГЪ ТОЛЬКО

КАВАРАНИЦЪ ХИЛАРЪ

ВЪСЪ СВОИ СЕРДЦЫМЪ КАМЕНЬ ПЕРЕДАЕТЪ ПОТОМСТВУ ИМЕНА
ТЕБѢ, КОГДА ПЕРВЫЕ ПРОЛОЖИЛИ ПУТЬ СЪДВОИТІЮ ДУ ВЪНЪ
ПОЧТИВАЮЩАГОСЯ НЕИЗВѢСТНЫМЪ

ЭЛЬБРУСА!

Памятная доска, отлитая на Луганском заводе. Копия висит на фасаде Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института в Нальчике.

духе, что трое на предпоследнем взлете впали в полнейшую недвижимость, лежа на снегу, и лишь один, в темном бешмете, с укутанной в башлык башкой, идет и идет, почему-то словно гаер в кукольном театре, поминутно вертя из стороны в сторону башкой. Кто-то из черкесов? На него одного — видать — не действует ни редкий воздух, ни вредоносный вулканический миазм.

Тем временем шустрый Бешш то воздевал очи горе, то склонялся к письму-корреспонденции:

«Генеральному консулу Австрии в Одессе для Его Светлости князя Клементя Меттерниха.

Я пишу это письмо держа его на коленях у подножия Эльборуса. Под утренней зарей виды божественно посеребрены. Покушение взойти на Эльбрус восходит к кульминации. Мы с генералом становимся свидетелями апофеоза чело- века над натурой.

По временам я отрывался от письма, чтобы следить за бесстрашным человеком, борющимся со льдами и тающим под его ногами снегом, продвигавшимся вперед, в то время как трое из храбрейших людей лежали на снегу, будучи не в состоянии следовать за первым. Главнотачальствующий, не отрывая глаз от телескопа, ждал минуты когда смельчак, который один стоял твердо среди льдов, достигнет вершины горы»¹⁶. (Перевод Е. И. Дубровской.)

И все, кто были в лагере, от генерала до кашевара, слышали возглас Эмануэля — хрип-

лый, срывающийся, ликующий: «Виктория! Победа! Он на самой верхотуре. Виват! Наша взяла, я — самовидец».

Выстроилась очередь к трубе... Да!.. Никаких сомнений... Вписанная в небе грань вершины. Очерченный голубым, в нибме самого неба человек. Воздел посох. Снова склонился. Исчез из поля видимости, чтобы возникнуть на спуске.

Килар из крепостных князя Хатакшокова, сам того не ведая, вписал свое имя в мировую летопись великих географических свершений. Бешш не преминет заметить, что имя простого мужика из черкес отныне в одном ряду с Колумбом, Васко да Гамой, Куком.

Тишавшийся тож достиг вершины Адольф Яковлевич Купфер, допрежь того бывавший в горах Урала, Гарца, не представлял себе, что Эльбрус — это не арифметически добавленные к тем высотам новые сотни метров; это иное качество, другой мир.

В своем рапорте академии правдиво и честно передаст он пережитое *:

«Вся долина открылась нашим ослепленным глазам, и перед нами развернулась панорама гор, образующих первую цепь Кавказа. Самые высокие вершины этой цепи — Инал, Кинжал, Бермамут — расположились почти полукругом, центр которого занимал Эльбрус. Видно было, как эти горы терялись к северу в равнине, образуя в стороне, обращенной к Эльбрусу, крутизны.

Было видно, как беспорядок гор увеличивался в направлении к центру. Их вид представляет часть огромного кратера, посреди которого возвышается в виде конуса громада вулканических масс, превосходящая своею высотой края кратера.

Разреженность воздуха такова, что дыхание не в состоянии восстановить потерянные силы. Кровь сильно волнуется и вызывает воспалительные процессы даже в самых слабых частях тела. Мои губы горели, мои глаза страдали от ослепительного блеска солнца, хотя я по совету горцев зачернил порохом лицо около глаз. Все мои чувства были притуплены. Голова кружилась, от времени до времени я чувствовал непонятный упадок сил, которого я не мог преодолеть.

Ближе к вершине Эльбрус представляет ряд голых скал, образующих как бы лестницу, которая очень облегчает подъем, однако Мейер, Менетрие, Бернардацци и я — мы чувствовали себя утомленными до такой степени, что решили отдохнуть час или два, чтобы с новыми силами отправиться в путь. Несколько казаков и черкесов, сопровождавших нас, последовали нашему примеру. Солнце, которое почти перпендикулярно бросало свои лучи на наклонную поверхность, размягчило снег до такой степени, что он не мог больше нас поддерживать, откладывая же наше возвращение, мы рисковали попасть в те пропасти, которые были прикрыты снегом.

Удался ли этот первый опыт свыше наших ожиданий? Выступая на Кавказские горы, мы считали еще Эльбрус недоступным, — через две недели мы находились уже на его вершине *. Разве не было достаточно того, что вершину Эльбруса мы отнесли к той же самой горной породе, из которой создана Пичинча в Кордильерах; что наблюдали геологические явления, самые важные на Кавказе; что, поднявшись до высоты Монблана **, я мог надеяться, что Ленц, который опередил нас, достигнет вершины и определит ее высоту при помощи барометра, который он взял с собою.

Сопровождаемый двумя черкесами и одним казаком, он подвигался все вперед. Добравшись до последнего уступа, он увидал, что от вершины его отделяет еще снежное поле, которое нужно было перейти, но снег сделался до того мягок, что на каждом шагу проваливались до колен, рисковали провалиться совсем. Ленц решил вернуться, не достигнув вершины, которая, однако, как мы увидели после, возвышалась, пожалуй, футов на 600 над местом его последней остановки ***.

Спуск был очень труден и очень опасен. Казаки и черкесы, следовавшие за нами, связали себя попарно веревками, чтобы оказывать друг другу помощь. Я чувствовал себя столь слабым от усталости, что для большей быстроты движения опирался на двух человек, обхвативших меня своими руками; а когда спуск стал менее крут, то я растянулся на бурке, которую тащил черкес. Каждый думал только о себе, как бы поскорее миновать опасностей, грозивших нам. Желание пораньше достигнуть лагеря заставило нас забыть, что мы окружены черкесами, на которых нельзя было положиться и которые захватили бы прекрасную добычу, овладев нами. Мы, сами не замечая того, были увлечены ими по дороге более короткой, которая, однако, удалила нас от наших спутников, мы были совершенно в их власти. Однако нам не пришлось раскаиваться в своей доверчивости. Перейдя снеговую линию и перерезав узенькую долину, дно которой было покрыто обломками соседних скал, покрытыми оледеневшей водой, мы спустились к берегам небольшого ручья, который впадал в Малку и привел нас по хорошей тропинке к нашему лагерю.

Следующий день был посвящен отдыху. Наши глаза были воспалены, губы растрескались, кожа на ушах и лице ссекалась и стала отделяться кусками. Многие из нас восстановили совершенно свои силы лишь по возвращении на Минеральные Воды ¹⁷.

Того, кто окажется быстрее других, достигнув высшей точки, встречали гренадерский бой барабанов, серебряные тенора труб, развернутые знамена. Генерал при всех регалиях взял под козырек. Килар с трудом прижал к сердцу

* На подступах к ней. — Е. С.

** 4807 метров.

*** Ленц, по-видимому, достиг подступов к седловине, от вершины его отделяло не менее 500—600 метров.

* Печатается с сокращениями.

обе вздрагивающих руки, склонил опухшее, опаленное лицо в потеках пороха, подал дикой камень.

— Енералу,— голос его дрожал,— с самая верх.

— Спасибо великое тебе, мужественный человек.

Эмануэль махнул рукой в белой замшевой перчатке, два чубатых казака подхватили под руки Килара.

— Отбой. Играть относ знамен. Ра-зой-дись! Килару полное отдохновение.

Бешш лихорадочно дописывал: «Эльбрус побежден... 11 часов утра... 10 июля 1829 года... Зрели сие сыны десяти наций... что лично свидетельствует с полным почтением и ваш покорный слуга» *.

* * *

Стандартным в наши дни станет путь к Эльбрусу с противоположной, южной, стороны по Баксанской долине. Автору этих строк довелось подходить, и не раз, к Эльбрусу и с севера, от застывших лавовых плато Куба-Таба, Мушта, Бермамыт, камни которых в полном смысле слова хранят свидетельства экспедиции Эмануэля.

Пропилившей себе ход в сжатии скал реке Малке удастся вырваться на свободу играющим на солнце всеми переливами спектра водопадом Султан-Су. Он рушится с отвеса, грохоча на всю долину. А вот и выбитое в скале свидетельство: «С 8 по 11 июля 1829 г. Здесь стоял лагерь под командованием генерала от кавалерии Эмануэля».

Назавтра при полном парадном построении Эмануэль вручит оробевшему Килару четыре сотни деньгами, от себя самолучшего аглицкого сукна на замену его порывавшегося да прохрудившегося бешмета. Камень с вершины коваль по приказу генерала рассек пополам: «Половину в разряд натуральной Петровской кунсткамеры (доверили поддержать и мне),— вторую ему — в сторону Бешша — для родного города Пешт».

Килар понимающе кивал.

— Бери, латин, бери и говори у себя: есть такой народ — Кабарда и гора у него — сам великий Ошхамахо.

— Постращали его нас,— подтвердил Эмануэль,— да не токмо господа академики, даже штабные у фельдмаршала. Отговаривали. Пу-жали. Так разве ж после Наполеона, всех двенадцати его язык повергнуть нас в смятение Эльбрусу со всей его свитой,— повел он кривой, плохо сгибавшейся после дела при Плацене рукой в сторону внимавших ему, вставших полукругом вершин.

Даже в современных изданиях фигурирует высшаяся над тем альпийскими лугами, по которым шел и путь экспедиции Эмануэля, гора Кижжал (Канжал). Название, основанное на недоразумении, записи не очень чуткого на слух

топографа, никакого отношения к холодному оружию горцев не имеет.

Большой знаток кабардино-черкесской, балкарско-карачаевской лексики, доктор филологических наук Джамалдин Нахович Коков при нашей встрече в Нальчике указал на действительные корни топонима: къан — кровь, жол — дорога (тюркское), «Кровавая дорога». Ученый напомнил нам об очередной попытке крымских ханов закабалить в XVII веке кабардинцев (мужчин на работоторговые рынки, девушек в гаремы). Но кабардинцы разбили наголову орды хана Гирея там, где река Кичмалка впадает в Малку. Гнали до этой горы, почти всех перебили¹⁸.

Первые же посланцы Руси шли в Кабарду да Балкарию по линии, сказали бы мы, внешторговской, пройдя по пути «Земли нечестивых агарян», достигли селений горных мужиков соанов (Сванетии), через нее единоверной с Русью Мингрелии. «Статейным списком лета 4147-го (1639 года.— *Ред.*) в 29-й день указано быти в дидьянской * земли Федору Елчину да с ним попу Павлу да подъячему Федьке Баженову».

На сегодня, погрузив такой негабаритный груз, как слаломные лыжи, в авиалайнер, можем мы к вечеру войти в номер отеля «Азау» у лавовых конгрессов Эльбруса. Утром, предвкушая радость катания, занять черед в хвосте на один из подъемников горы Чегет, какие-то час-полтора стояния: зато на спуск не с каким-нибудь, с самым эльбрусским ветерком, порядка пятнадцати минут.

Не ворчите!

Берегите нервные клетки!

Успокаивайте себя тем, что, отбив земные поклоны кремлевским куполам, Елчин со товарищи прибудет в Балкарию спустя пять месяцев. «Путь тесен, горы непроходимые, а конной дороги отнюдь нет, а пешие ходят горами. А промеж гор лежит снег от зачатия свету, а которые снега старые от прежних лет и лежат позеленев, аки турской купюрос»¹⁹.

Горы не стали ниже. Доросли, поднялись до них, встали над ними вы, мои дорогие соотечественники!

До научной команды Купфера нацеливали на Эльбрус свои приборы больших имен ученые: И. А. Гюльденштедт, Г. Ю. Клапрот, П. С. Паллас. Но оставалась предметом сомнений даже материя, коей выполнен Эльбрус. Втершийся в доверие к светлейшему Потемкину его комиссионер в Грузии Яков Рейнгесс тоже скажет свое слово о главной высоте Кавказа. Будучи при дворе карталино-кахетинского царя Ираклия Второго, имеретинского Соломона Первого, герр Яков устроит на европейский манер пороховую мельницу, склоняет царей к захвату Азиатской Турции. Он и определит в 5426 футов ** высоту Эльбруса (менее трети истинного значения).

Разобраться, так не было же никакого Рейнгесса; талант придворного актера графа Кого-

* Владениях грузинских князей Дадияни.—Е. С.

** 1682 метра.

ри помог сыну цирюльника Христиану — Рудольфу Элиху, розенкрейцеру и алхимику, возникать на Кавказе то в личине инженера Рейнегса, то ученого-геогностика, то дипломата по делам Востока и лазутчика Якуб-хана.

Вчитаемся в «Предположения Академии наук касательно ученого путешествия к странам Эльбруса», параграф — «Наблюдения минералогические на расположенных горно-каменных породах, дабы получить геогностический обзор сей страны». Посланный к «этим штафиркам» (ученым) офицер особых поручений самого Дибича мог доложить: «Лицеизрел самолично содеянное, ко всему не токмо в записях, но в натуралиях».

Экспедиция не была «продолговатой», как выражался ее участник, систематик флоры Карл Андреевич Мейер, даже ограниченной во времени, условия оказались непривычными, но честь и хвала ученым: с возов и кибиток сгружали на Васильевском острове увесистые баулы, ящики с упакованными в кошку рудами. Обер-гиттенфервалтер Вансович раскладывал отсвечивавшие чернотой земных глубин сколы каменного угля, подвязанные к ним этикетки указывали адреса рек Унгешли, Харбис, Эманука. Из других ящиков исправный рудознавец выкладывал свинцовую руду, свинец самородный, слюду да яшму, приговаривая: «То с горы Кинжал, а то с Хассаута да Мушты». Хлебную в пути бьющего из-под земли, словно бы кипящего наизусть, Вансович помечал на ландкарте места его выхода у Каменного моста, водопада Тузлук-Шавал, Бермамыта.

Предписывались и «Ботанические изыскания произрастаний до той высоты, где прозябание прекращается». Не один год будут изучать флористы первый гербарий Высокого Кавказа. Купфер с Ленцем осмотрели невысокие покато-сти явно непутической формации, многими наблюдениями подтвердили позиции маститого Вильгельма Германа Абиha в рассуждении геологической одинаковости Эльбруса с Казбеком, Араратом, Алагезом. «Горы сии более или менее суть единственные произведения сильных вулканических извержений и поднявшегося темно-цветного гранита».

Свое получали от экспедиционеров зоология, геогностика, метеорология, тюркология, этнография, иные ветви науки; здесь были и образцы почв, и замеры погоды, заметы о нравах народов, определения высот над уровнем моря, все, что придавало путешествию к вершине энциклопедическое.

Думал ли лихой кавалерист Эмануэль, что его акция увенчается такими трофеями? Что сам он не далее как сентября 22-го дня 1829 года будет избран почетным членом Академии наук. Не с той ли поры стало обычным для идущих к вершинам наших альпинистов: совершая спортивный рекорд, сочетать спорт с наукой, достигая новой высоты, оглядывать с нее шире открывшийся мир, познавать до тебя непознанное.

Так, врач М. Т. Погребецкий, первым в истории штурмующий вершину «Повелителя неба», «Го-

ру крови» — Хан-Тенгри, переписывает заново карту ледников и перевалов Тянь-Шаня. Так, академик в сфере гигиены труда А. А. Летавет * открывает неведомую вершину, и она окажется самым северным семитысячником планеты, второй по высоте в СССР **.

В экспедиции «Спартак» и Казахского альпклуба довелось наблюдать мне из щелочки пухового спального мешка, в лагере на леднике Инильчек, как, ежась от ночной стужи, два друга-альпиниста Саша Боровиков (вскоре заслуженный мастер спорта, доктор наук) да Миша Грудзинский (вскоре заслуженный тренер СССР) топают к сколоченной из ящиков от галет метеобудке: замерять, наблюдать, сведенными морозом пальцами записывать. Вы не задумывались тогда, дорогие мои друзья, о паблизити, известности, тем паче международной. Она сама находит вас, к горю нашему, ушедших уже из жизни, и профессор Колорадского университета США в фундаментальном томе подкрепит выведенные им теории горной климатологии ссылкой: «Согласно Боровикову и сот.» (Грудзинскому. — Е. С.)²⁰.

* * *

Каждому открытию почти что в обязательном порядке положено занять и недоброжелателей, завистников, опровергателей; нашлись таковые и у первовосходителя Килара. Восхोдивший на вершину в 1868 году (через 39 лет после Килара) англичанин Дуглас Фрешфильд высказывал сомнения подвигу кабардинца²¹. Торговец коврами и совсем неплохой альпинист баварец Готфрид Мерцбахер уверял: «Так называемое восхождение на гору черкеса по имени Килар из экспедиции генерала Эмануэля в 1829 году можно отнести к области басен»²². В наши дни отнесет это же бесспорное восхождение «к мифам» американский «Спортс иллюстриейт».

Выше уже сказано о том, что было подтверждено визуально с помощью Доллондовой трубы большой разрешающей способности. Да и честь боевого офицера не позволила бы Эмануэлю, испившему и горькую чашу поражений, и блистательных побед, кривить душой. Увидели же человека на вершине и господа академики, и гости из Парижа, и люди многих национальностей и разных положений.

В год 120-летия подвига Килара его путь повторил с командой Константин Дмитриевич Толстов, доктор физико-математических наук Объединенного института ядерных исследований в Дубне, ко всему еще и мастер спорта по альпинизму. Вернувшись с гор, не стерев еще с лица бронзы эльбурского загара, кладет он мне на стол нечто напоминающее гигантскую вилку. Такими могли пользоваться для трапе-

* Лауреат Ленинской и Государственной премий, единственный среди ученых такого ранга заслуженный мастер спорта.

** Пик Победы, 7439,3 метра.

зы разве что богатыри — нарты горского эпоса*.

Толстов нашел ее, повторяя путь подъема экспедиции Эмануэля. Встретил он и другие свидетельства, о чем поведает в печати:

«...река Малка, вырываясь из каменного ущелья, образует красивый водопад Султан-Су. Он низвергается с высоты отвесной скалы, наполняя долину шумом. На скале высечена надпись в честь экспедиции Российской (Петербургской. — Е. С.). Академии наук, впервые проложившей путь к вершине Эльбруса: четкая надпись «1829», высечен крест. Сомнений нет, мы на месте остановки экспедиции»²³.

Читали мы и о том, что в честь восхода на Эльбрус должны были отлить памятную доску, о чем упоминал старый путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею:

«№ 183, 184. Чугунная доска с надписью о восхождении ученой экспедиции на Эльбрус. Каменная доска с той же надписью на арабском языке».

Изрядно ползав по колючим зарослям заброшенной Академической галереи в Пятигорске, натыкаясь на темные, в рост человека чугунные доски, те самые, отлитые в металле Луганского завода. Еще одно подтверждение подвига Килара, который по летней аттестации генерала был зачислен в прославленный своей лихостью горский конный дивизион.

Прощай, притулившийся под сенью тополей аул Кучмазукино.

Салам тебе, блистательная Варшава!

Думал ли ты, старина Эльбрус, что войдешь строкой в отчет правительства верховному органу власти? Но так и было на сессии ЦИК СССР 1936 года, когда в докладе Советского правительства, во всеуслышание сообщалось:

«В нашей стране растет число героев воздуха, героев-подводников, героев борьбы с природой...

По данным Общества пролетарского туризма, с 1929 года по 1934 г. на гору Эльбрус было всего 59 восхождений, из них 47 иностранцев. За последние годы положение и здесь совершенно изменилось. Оказывается, за один 1935 год на Эльбрус было 2016 восхождений советских людей**.

Вот один из примеров того, как изменилась жизнь»²⁴.

Первый его день в столице Российского государства; Эмануэль сквозь серую пелену тумана различает подобную острову громаду Зимнего дворца. Вглядывается. С почтением. Отсюда правят всей огромнейшей империей.

И не думалось ему тогда, что двадцать девять годов спустя под сводами этого же дворца

узрит он среди картин по «первому горизонту, по нижнему ряду» меж портретами Александра Первого и Кутузова самого себя... Парадный мундир при эполетах, баки (как признак неуставного вольномыслия запрещались императором Павлом). Гладко выбрит, без усов. Сжатый рот над туго подпирающим воротом.

Двадцать пятого января года одна тысяча восемьсот двадцать шестого, в день изгнания Наполеона из России, в тишину Белого да Большого Тронного залов дворца вторглись строевые команды, печатая шаг, держа равнение на портреты, прошли церемониальным маршем в строю лейб-гвардейских полков участники кампании 1812 года.

Световые фонари озаряли скуповатым питерским солнцем пять рядов 332 нагрудных портретов героев Отечественной войны, дюжину лепных венков с названиями сражений, от Клястриц до Парижа. Ветераны тихо переговаривались, одними глазами казали на глядевших без признаков смущения из золоченых рам Аракчеева, Бенкендорфа, Чернышева.

«Сдается, пороку-то эти господа и не нюживали-с».

Под рисованным с натуры в Шепелевском дворце, что на Зимней канавке, портретом и наш генерал (см. репродукцию).

«Эмануэль Георгий Арсеньевич (1775—1837), генерал-лейтенант.

Серб, на русской службе с 1797 г., участник кампании 1806—1807 гг. В 1812 г. командовал Киевским драгунским полком в армии Баграциона. В генерал-лейтенанты произведен за отличия при взятии Парижа. Был трижды ранен»²⁵.

Ни в Виндзорском замке, ни в Версале, да ни в одном из дворцовых ансамблей Европы не было чего-либо близкого к нашему живописному параду героев! (Вспомним к месту пушкинские стихи.) Путеводители на все лады расписали и впрямь достойный «Зал памяти Ватерлоо»: но там двадцать восемь портретов, у нас, как сказано выше, более трехсот.

* * *

С первых дней спорт Советской страны повели не только органы государственного руководства, — немного найдется сфер деятельности, где бы столь была ощутима сила общественности. Особенно в альпинизме, где, к примеру, Федерацию РСФСР возглавил тот, кто поднимался не на тысячи метров, на сотни километров. Космонавт В. В. Рюмин.

От Карпат и до Камчатки тысячи и тысячи вершин, но признаны де-юре альпинистскими только те, что сдали экзамен на право именоваться «зачетными»; к примеру, Машук, Большой Ахун, Бештау в это число не входят.

Каждая из зачетных гор оценена категорией трудности, основы их аттестации заложил Борис Николаевич Делоне, не только алгебраист, член-корреспондент Академии наук СССР, но и мастер советского альпинизма. Наш Эльбрус всего-навсего «пятитысячник» (5642 метра, ка-

* Позже в зарубежной книге видим рисунок: вилка имела деревянную рукоятку (в нашем случае истлевшую), была при подъеме в горах предком современного ледоруба.

** Одним из «2016» был и автор этих строк (прим. ред.).

тегория трудности 2-б, одна из низших) *. Казалось бы, куда ему до снисходительно посматривающих на него восьмидесяти «шеститысячников», четырех «семитысячников» территории СССР²⁶.

Минет более полутора столетий после перво-восхождения Килара, канут в Лету, потускнеет ореол многих, некогда гремевших имен, примечательных мест. Но даже престижность высотного полюса планеты Эвереста не затмит нашего Эльбруса: только за последние годы встретим мы идущих к его вершине, покорявшими до этого Эверест шерпу Тенсинга Норгя, польку Ванду Рудкевич, японца Нозэми Уэмуру, итальянца австрийского происхождения Рейнгольда Месснера. На одном из самых выразительных по графике знаков спортивной доблести — значке «Альпинист СССР» контуры Эльбруса, они же на боевой медали «За оборону Кавказа».

Словно бы желая идти в ногу со временем, подчинился он закону акселерации; невзирая на более чем почтенный возраст, недавно «подросли» на тридцать-сорок метров каждая его вершина (более точные, освобожденные от помех, измерения).

Не чужд он оказался и тому, что называем мы «взрывом туризма», тяге к путешествиям. Сидел-сидел себе на месте Эльбрус, а тут взял да как бы перебрался из Европы («крыша Европы», «высшая точка Европы») в Азию. Так, во всяком случае, порешили физгеографы, подтвердил это в беседе с автором этих строк и доктор географических наук Н. А. Гвоздецкий²⁷.

В Нальчике пользуюсь каждой возможностью потянуть за ту человеколюбивую ниточку, что может (а вдруг!) вывести к Килару, его потомкам. В Государственном архиве Кабардино-Балкарии любезные сотрудницы извлекают датированный 1870 годом документ:

«Начальнику Кабардинского округа жителей аула Кучмазукино Герандуко и Тамбия Киларовых.

Покойный отец наш Килар во время стоянки на Кавказе лагерем с 8 по 11 июля 1829 года под командованием начальника Кавказской линии генерала от кавалерии Георгия Емануэля 10 июля восходил на Эльбрус вместе с посланными русским правительством академиками: Купфером, Ленцем и Мейером, чиновником Горного корпуса Вансовичем, архитектором Минеральных Вод Бернардацци и венгерским путешественником Иваном Бессе; но из них вершины Эльбруса достиг только отец наш Килар. Имена как отца нашего Килара, так и бывших с ним академиком отлиты на чугунной плите как первых, проложивших путь к достижению до этого времени, почитавшегося недоступным Эльбруса.

За эту услугу отца нашего русскому правительству он награжден 100 рублями. Кроме

того, по предложению начальства отец наш Килар поступил на службу в Кавказский горный дивизион в Варшаве и прослужил в нем более 9 лет. А поэтому покорнейше просим ходатайствовать Ваше высокоблагородие о наделении нас земель в частную собственность по усмотрению начальства, не по происхождению нашему, а за услуги, оказанные покойным отцом нашим русскому правительству»²⁸.

Их высокоблагородие хотя бы простой благодарности проявить к Киларовым потомкам не пожелали, отец которых первым из людей увидел, сколь необъятна земля, как ее много, они ее не получили. По-прежнему, входя в саклю, горец не просто соскребывал у порога налипшую грязь, но бережно собирал, относил в поле, таким была она, выражаясь по-современному, дефицитом.

На пути в Приэльбрусье не раз проезжал я город Баксан, нимало не задумываясь над тем, что звался-то именно он в прошлом «Кучмазукино», «Старая крепость», пока в газетном сообщении не промелькнуло: «Выступил на сессии тов. Г. К. Киларов». Прочитал... Отложил... Не остановился... Только какие-то сутки спустя будто вынул из памяти засевшую занозу... Киларов?.. Килар?.. Да, не имеет ли он отношения к славному мужу эпопеи 1829 года?

А вдруг?

«Пожалуйста, соедините с Баксаном, 22.00 или 401. Да-да, кто подойдет». — «Киларов на сессии». — «Киларов на кукурузе». И — «Киларов слушает».

Ожидал, что войдет в номер гостиницы дюжий дядя в брезентовом плаще, запыленных кирзовых сапогах, но председатель Баксанского совета в элегантном костюме цвета сирени, «протокольной» белоснежной рубашке. Рост «175», курчавые волосы с проседью, в темных глазах в ответ на вопрос о предке из 1829 года теплая веселая искорка.

Они — прямые потомки того самого Килара. Аул носил тогда название Кучмазукино от фамилии владетельных князей. На сегодня в Баксане десятки семей Киларовых, есть они и в Первом Чегеме, Шалухке. Они — коренные адыги *, о дедушке Киларе всегда помнили, много рассказывали старшие.

Ему, Гузеру Карабатовичу, помнится низенькая сакля, глинобитный пол, на цепи над очагом котел. С детства им внушали — цепь хранительница очага, всего дома, нельзя ее ни продавать, ни менять, ни оскорбить. Цепь переходит от поколения к поколению, от самого Килара.

— Помнит ли народ его восхождение? — Очень даже помнят, дорогой! Приезжал на побывку во всей форме Горского ** дивизиона. Съехались со всех аулов, даже князь сам делал вид, что едет мимо, а сам придерживал своего карабаира, и слушает мужика, и все головой качает.

Но и на этом следы 1829 года не исчерпаны... В Приэльбрусье в ожидании начальника дирек-

* В «Классификации» шесть (фактически одиннадцать, принимая во внимание подкатегории «А» и «Б») категорий трудности, но ни одной категории легкости.

* Самоназвание кабардинцев, черкесов, адыгейцев.

** В заявлении сыновей ошибка.

ции международных альпинистских лагерей Михаила Владимировича Монастырского (22 июня 1941 года был в рядах гарнизона Брестской крепости) машинально листаю список гостей. «Мюллер... Ковальчик... Эмануэль...» Что за черт?.. Кто он и откуда?.. Этот затерявшийся в толпе шестьдесят первой тысячи восходивших на Эльбрус?

Помогут секретарь президиума Федерации альпинизма СССР обязательнейшая Галина Моисеевна Поликсенова, мастер спорта Аслан Аскербиевич Шортанов из Спорткомитета Кабардино-Балкарии.

«Да, приезжал такой и только что убыл». У генерала Эмануэля оставался в Австро-Венгрии брат. Его правнук, гальванизатор будапештского «Красного Метеора», и побывал на Эльбрусе сто сорок восемь лет спустя. Шел на восхождение в отряде Шортанова, Аслан хорошо его помнит: лет — 29, рост — 176, сложения крепкого. О внешности и складе?.. Быстрый, взрывной, нетерпеливый. Как говорится, реактивный. Стрижка под бобрик. Серо-зеленые глаза. До вершины все-таки не дотопал: подвела спешка.

А Эльбрус понравился, да разве мог не понравиться?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Броневский С. Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе. М., 1823, с. 11—12.

² Кавказский сборник. Тифлис, 1892, т. XVI, с. 120.

³ Леман Иоганн Готлиб. Опыт генеральной орографии (рукопись перевода).

⁴ Синие горы Кавказа. Сборник. Составитель Мухамед Хафица. Нальчик, 1982, с. 15.

⁵ Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Спб., 1890, т. I, с. 384.

⁶ Там же, с. 501.

⁷ Там же.

⁸ Кавказский сборник. Тифлис, 1898, т. XIX, с. 19.

⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — В 16-ти т. М., 1937, т. XIII, с. 27—28.

¹⁰ Полежаев А. И. Соч. М., 1955, с. 247.

¹¹ Архив Академии наук СССР, см. по тексту.

¹² Там же.

¹³ Броневский С. Указ. соч., с. 11—12.

¹⁴ Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. М., 1962, с. 31.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Де Бессе Жан Шарль (Янош Карой Бешш). Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению, Малую Азию и Константинополь в 1829 и 1830 гг. Париж, 1838 (на фр.).

¹⁷ Купфер А. Я. Рапорт о путешествии на гору Эльбрус. Акты Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, 1830, с. 76—82 (на фр.).

¹⁸ Коков Дж. Н. и Шахмурзаев Е. О. Балкарский топонимический словарь. Нальчик, 1970, с. 83.

¹⁹ Полиевктов М. А. Европейские путешественники по Кавказу XIII—XVIII вв. Тифлис, 1935, с. 120.

²⁰ Барри Роджер. Погода и климат в горах. М., 1984, с. 136.

²¹ Фрешфильд Дуглас. Путешествие на Центральный Кавказ и Ваксан. Лондон, 1869, с. 498—499 (на англ.).

²² Там же.

²³ Толстов К. Восхождение на Эльбрус. — «Огонек», 1950, № 3, с. 30.

²⁴ Победенные вершины. — Ежегодник советского альпинизма. М., 1948, с. 7.

²⁵ Глянка В. М., Помарнацкий А. В. Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1963, с. 112.

²⁶ Федерация альпинизма СССР. Классификационная таблица маршрутов на горные вершины СССР. Волгоград, 1981.

²⁷ Гвоздецкий Н. А. Так где же Эльбрус? Победенные вершины. — Ежегодник советского альпинизма. М., 1966, с. 184.

См. также: Географический энциклопедический словарь. М., 1983, с. 15, 144.

²⁸ Государственный архив КБАССР, ф. 40, ед. хр. 58, д. № 279, ч. 1, л. 217.

А. Иванов

Оком благодарного наследника

Закономерная черта духовной зрелости человека — чувство благодарного наследника вековых сокровищ знания и культуры, прежде всего своих, национальных. Не потому ли столь часто обращается в своем зените творческая личность к образам тех, кто прежде нее раздвигал горизонты постижения мира? Примеров тому можно привести великое множество, причем чаще всего помыслы выдающегося человека устремляются к его прямым предшественникам на избранном им поприще. Стремление соотнести с их свершениями достигнутое, а с другой стороны, как бы увидеть в зеркале своего времени, в масштабе его повседневных задач и забот нестареющее наследие минувших времен рождает произведения, напрямую или косвенно призванные служить выражением признательной памяти. Чаще всего, разумеется, литературные, в самых различных жанрах, обусловленных характером и способностями их авторов и непосредственным поводом своего появления на свет.

Эта характерная особенность духовного развития яркой творческой индивидуальности наглядно проявилась в наследии одного из крупнейших советских ученых, физика и оптика, академика Сергея Ивановича Вавилова (1891—1951), деятельности которого на историко-биографической почве посвящены предлагаемые вниманию читателя заметки. Здесь едва ли уместно пересказывать события его жизни и характеризовать его непосредственно научные достижения, тем более что этому посвящено немало специальных статей и книг, в том числе выпущенное в серии «ЖЗЛ» жизнеописание ученого (Келер Вл. Сергей Вавилов. М., «Мол. гвардия», 1975). Существеннее заметить, что с годами в творчестве С. И. Вавилова все чаще соседствовали с чисто научными публикациями произведения научно-популярного характера, в которых физик мог заглянуть за пределы непосредственных задач своих экспериментов и даже теории. А затем в заголовках печатных работ ученого — чем дальше, тем ча-

ще — начинают встречаться имена. Имена деятелей науки — и далеких предшественников, и непосредственных наставников, и учителей, и старших современников-коллег. Биографический жанр представлен в наследии С. И. Вавилова десятками имен.

Впрочем, точнее было бы сказать — «биографическая тематика». Ибо как раз жанры, которыми пользовался Сергей Иванович, весьма различны — от развернутого на целую книгу биографического очерка до краткой информационной заметки. Таковы, в частности, принадлежащие его перу биографии ряда ученых на страницах первого и второго изданий Большой Советской Энциклопедии. Но, бесспорно, самая ценная часть биографического наследия Вавилова принадлежит к достаточно редкому жанру биографии научно-публицистической, которую от научно-художественной, представленной в нашей литературе прежде всего изданиями серии «Жизнь замечательных людей», отличают и характер отбора и освещения фактов, и используемые при этом литературные приемы, и сама конечная цель обращения к историческому персонажу. Именно такие биографии дают основания считать Вавилова подлинным мастером в искусстве жизнеописания людей науки. Причем характерно, что все без исключения произведения такого рода посвящены его соотечественникам. Дальше речь пойдет исключительно об этой части творчества ученого.

Для такого на первый взгляд сужения темы есть и другие основания. Прежде всего то, что, как ни странно, эта сторона деятельности Вавилова — литератора и публициста — менее всего привлекала внимание тех, кто занимался изучением его творчества. И если Вавилов-ученый достаточно подробно освещен в трудах историков науки, если его искусство популяризатора в тех же научных областях не раз становилось предметом рассмотрения (например, книга Э. А. Лазаревич «Искусство популяризации», вышедшая в издательстве АН СССР в 1960 году и ее же кандидатская диссертация в МГУ тремя годами раньше), если, наконец, вавиловские биографии зарубежных ученых были не раз отмечены в пространных рецензиях (достаточно сказать, что на книгу С. И. Вавилова «Исаак Ньютон» откликнулись М. Гуковский и Н. Идельсон, М. Радовский и А. Юшкевич и целый ряд других историков науки и литераторов), то обращения С. И. Вавилова к прошлому отечественной науки и ее выдающимся представителям печатного отклика, по существу, не имели.

Между тем при кажущейся скромности масштабов историко-биографической публицистики ученого она, несомненно, заслуживает пристального внимания. Прежде всего потому, что, как уже говорилось, такой жанр редок и труден, но зато он дает немало возможностей для освещения жизни и деятельности людей науки, малая событийность которых ставит почти непреодолимые преграды для описания в научно-художественной форме. А во-вторых, эти работы Вавилова ценны как отражение его



С. И. Вавилов.

собственной незаурядной личности, его душевного склада, характера и мировоззрения, определяющей чертой которого был горячий и искренний патриотизм. Страстная любовь к своему Отечеству, стремление найти в его славном прошлом ключ к пониманию гигантских успехов на новом его пути, символом которых стала только что одержанная победа в Великой Отечественной войне, а также настоятельная потребность оградить историю своего народа от злонамеренных фальсификаций истины, порою выступавших в откровенном обличье искажения фактов, а порой — в завуалированной форме умолчания о них, — вот тот нравственный и психологический фундамент, на котором построены Вавиловым жизнеописания ученых-соотечественников. И прежде всего — Михайлы Васильевича Ломоносова.

К фигуре титана российского просвещения Вавилов обращался неоднократно, а если говорить точнее — девять раз. Ломоносову он посвятил и пространные биографические очерки, и проблемные статьи, и отдельные заметки, посвященные различным сторонам его научной деятельности. В своей совокупности они состав-

ляют заметный вклад в литературу о гениальном основателе российской науки и словесности. К этой теме мы еще вернемся, пока же попытаемся бросить беглый взгляд на другие работы С. И. Вавилова в биографическом жанре.

Они не столь обширны по объему, но по своему достаточно весомы. В их ряду прежде всего должны быть отмечены два очерка о замечательном физике П. Н. Лебедеве, в лаборатории которого сделал свои первые шаги в науке сам Сергей Иванович. Подробно рассказывает ученый о другом своем наставнике, академике П. П. Лазареве. Сравнительно небольшие, но удивительные по емкости и точности в освещении самого главного заметки посвятил он памяти своего старшего современника, математика, механика и кораблестроителя академика А. Н. Крылова и юбилею первой русской женщины-математика С. В. Ковалевской. И остались своего рода эскизами к биографиям ученых статьи С. И. Вавилова, посвященные выдающемуся исследователю электричества, петербургскому академику В. В. Петрову, и доклад о вкладе Д. И. Менделеева в физику, сделанный на юбилейном Менделеевском съезде в

1937 году. К этому можно добавить еще изданный в виде небольшой брошюры очерк «Физический кабинет, Физическая лаборатория, Физический институт Академии наук СССР за 220 лет», написанный в 1945 году, где, хотя и едва намеченным пунктиром, прослежены, но зато сведены воедино биографии всех российских академиков-физиков за два с лишним века.

Последние три работы принято обыкновенно относить к числу историко-научных популярных работ. И уж просто историко-научными исследованиями считают две статьи Вавилова о так называемой «ночезрительной трубе», изобретенной Ломоносовым. С таким суждением отчасти можно согласиться, тем более что и вообще всякая достаточно строго следующая фактам статья об ученом или его открытии есть достояние истории науки. Но, с другой стороны, весьма важно разобратся — каково соотношение между разбором непосредственно научной проблемы в очерке или статье и тем «личным» началом, которое связано с обращением к этой проблеме ученого (ведь для обычного историко-научного исследования мотивы такого обращения более или менее безразличны, равно как его внутренняя психологическая значимость, характер и накал возникающих при этом дискуссий и еще многое другое, столь важное для биографа-литератора). Если же, напротив, все эти моменты присутствуют в работе, ее следует отнести к биографическому жанру. Ее можно считать тогда своего рода наброском, этюдом к будущему портрету, пусть даже — как в случае со статьями об исследованиях В. В. Петрова по люминесценции — сам портрет так и остался ненаписанным. Статьи же о «ночезрительной трубе» Ломоносова — это ярко выраженный пример «заготовки» к развернутому биографическому описанию. Не выводят их за рамки литературного произведения даже используемые в них формулы и чертежи, ибо, во-первых, для их понимания вовсе не обязательны специальные знания — все они доступны читателю, знакомому со школьным курсом физики. А во-вторых, без формул и графических построений было бы нелегко подтвердить долгое время отрицавшуюся оптиками правоту Ломоносова.

Таков круг биографических работ Вавилова о русских ученых. Они достаточно разномастны. Иные можно уподобить портретам, другие — беглым зарисовкам, некоторые — словно пробные мазки кистью, приготовленной для замышляемого портрета. Что же общего между ними?

Таким общим началом, пожалуй, следует назвать единый, четко выявленный подход к отражению личности его персонажей в зеркале главного их дела — науки при сравнительно скупом обращении к обыденно-событийным моментам личной жизни. Такой подход выглядел бы менее оправданным, если бы речь шла, допустим, о художниках, творчество которых по природе более субъективно.

Но Вавилону удавалось избежать и той неминуемой опасности, которая таится в подобном подходе к биографии, — опасности придать сво-

ему герою черты некоего одушевленного манекена, или, точнее, бездушного робота. Его изображения ни в коем случае не превращаются в плоскостные, хотя их выпуклость скорее сродни горельефу, нежели объемной статуе. А достигается такой эффект своеобразным преломлением в собственном сознании биографа всего процесса научного творчества его героя в целом и нахождения тех или иных конкретных выводов и открытий в частности. Хотя, и едва ли осознанно, Вавилов следует здесь тем путем историка, о котором некогда говорил Гегель в своей «Эстетике»: «Как бы ни старался историк передать действительно происходившее, он вынужден включать это пестрое содержание событий и характеров в свои представления, духовно воссоздавать его и изображать для представления».

Проследить основы творческого метода Вавилова-биографа удобнее всего на примере его работ, посвященных Ломоносову. Выше уже говорилось, что к образу и трудам гениального помора Вавилов обращался девять раз. Впервые же это произошло в 1937 году. Тогда в январском номере журнала «Известия АН СССР. Отделение общественных наук» им была помещена статья «Оптические воззрения и работы М. В. Ломоносова». Заголовок может ввести в заблуждение — разве можно считать если не биографией, то хотя бы наброском к ней то, что напрямую должно быть отнесено к жанру чисто историко-научного исследования? Но уже самые первые строчки убеждают, что перед читателем именно первый шаг к осмыслению творчества и жизни гениального помора. Вот эти строчки: «В истории русской науки М. В. Ломоносов — явление глубоко радостное, но и трагическое. Радостное потому, что этот крестьянин с Белого моря, преодолевший умом, волей и силой неисчислимые барьеры строя, быта, традиций, предрассудков старой Руси, ставший великим творцом науки, доказывал на собственном примере огромные скрытые возможности великого народа. Трагическое потому, что это доказательство осталось в течение многих лет непримененным, неиспользованным».

Здесь следует попутно заметить, что мысль об одиночестве фигуры М. В. Ломоносова в истории русской науки XVIII века Вавилов высказывал не раз. С нею едва ли можно согласиться. Впрочем, впоследствии сам ученый пересмотрел свое отношение к этому периоду ее истории. Так, в 1949 году, говоря в статье «Академия наук в развитии отечественной науки» о выдающихся ученых России, он назвал в их числе академиков Я. Д. Захарова, В. М. Севергина и В. В. Петрова, которых по справедливости можно назвать ближайшими наследниками Ломоносова.

Дальнейшее знакомство с первой статьей Вавилова о Ломоносове показывает, что ее автор интересует отнюдь не только непосредственный вклад великого сына России в сравнительно узкую сферу оптики. Да и вклад этот проанализирован так, что за строчками на первый взгляд бесстрастного, изысканного в акаде-

мической манере специалиста проступает борец за подлинную правду о русском народе и его замечательном сыне. И тут уместно, вероятно, напомнить о времени появления статьи. Обращение к исторической правде о стране и ее людях в ту пору было остро злободневной проблемой. Ведь в течение ряда лет сумевшая захватить руководящее положение в исторической науке «школа» историка М. Н. Покровского и склонные разделять ее «выводы» литераторы и журналисты бойко пытались разделиться со всем героическим и светлым в истории русского народа, сводили прошлое к абстрактным схемам. Подмена реальной истории надуманными построениями, словесная эквилибристика ложно толкуемыми понятиями и терминами марксизма, наконец, сознательная попытка очернить все и вся в глазах подрастающего поколения — все это нашло должную оценку в решениях партии и правительства, принятых в 1934—1936 годах. Они открыли путь к преодолению вредных для дела социализма исторических взглядов. И можно с уверенностью сказать, что первое обращение одного из ведущих физиков — Сергея Ивановича Вавилова — к образу славного первопроходца научных путей нашего Отечества было связано именно с назревшей необходимостью осознания и утверждения подлинной правды, тем более что как раз Ломоносов был одной из любимых мишеней для нападок фальсификаторов. Для его очернения использовались все возможности — от басен о склонности его к разгульным дебошам до прямых обвинений в национальной нетерпимости. Причем авторов подобных высказываний не смущали факты, убедительно свидетельствовавшие об обратном, факты общеизвестные, лежащие прямо на поверхности: Ломоносов, этот будто бы ненавистник всего иностранного, прежде всего немецкого, женат был на немке. А среди его ближайших друзей находились и Георг Вильгельм Рихман, и Леонард Эйлер, и еще многие другие ученые, служившие приютившей их России искренне и честно.

И самая первая статья Вавилова о Ломоносове, и все последующие его работы в биографическом жанре отчетливо демонстрируют главный творческий прием Вавилова в показе личности героя, его трудов и окружающей обстановки. Прием этот — безошибочный выбор подлинного документа, вернее, его фрагмента, а порой — всего лишь одной цитаты. Так, в обстоятельном, содержащем развернутое жизнеописание очерке о Ломоносове (его первый вариант был опубликован в июньском номере журнала «Большевик» в 1945 году и в том же году в несколько измененном варианте напечатан отдельной книжкой в издательстве «Молодая гвардия») Вавилов не тратит много слов, чтобы показать новаторский характер научного метода Ломоносова. Он просто помещает всего одну, но зато ключевую фразу из ломоносовского сочинения «Элементы математической химии»: «Кто хочет глубже проникнуть в исследование химических истин, тот должен необходимо изучать механику». Тем самым сразу же определяется

новый по тому времени количественный подход к химическому эксперименту, введенный Ломоносовым в практику исследований свойств вещества.

При всей значимости документа в вавиловских очерках и набросках было бы ошибочно считать, что они перегружены выдержками из сочинений, высказываний или переписки его героев. Просто особенная, можно сказать, «снайперская» меткость цитаты позволяет Вавилову и воссоздать ход мысли, и продемонстрировать полученный результат в авторской оценке или оценке его современников, и — что тоже весьма важно — передать колорит эпохи, не прибегая к беллетризации описаний. Так, вместо того чтобы живописать собственными красками повседневность ломоносовской лаборатории, Вавилов приводит небольшую выдержку из лабораторного дневника — ту, где говорится о заданиях помощникам великого ученого. И ее вполне достаточно, чтобы представить себе, как прилагивает «Кирюшка» токарную и шлифовальную машину, как шлифует зеркала «Гришка», как ладит безмянный столляр лабораторный подъемный стул, а лаборант Колотошин с помощниками занят ответственной задачей «разделения градусов». Тут и ясное свидетельство доверия Ломоносова к своим, современным языком говоря, сотрудникам, и отчетливое определение их социального статуса, особенно контрастно воспринимаемого на фоне таких формулировок, как «господин профессор», «господин советник» и т. п., каких немало в других, рядом приведенных выдержках.

Биография Ломоносова, как известно, изобилует разного рода красочными подробностями, хотя, в общем, второстепенными по значению, такими, например, как сопряженный с немалым риском побег из крепости Вазель, куда русский студент был обманом увлечен прусскими вербовщиками рекрутов. Биографы из числа недоброжелателей обожают смаковать те случаи, когда выведенный из себя богатырь творил собственноручную расправу с обнаглевшими недругами наук российских. Такого рода подробностей Вавилов обычно избегает. И не по незнанию, конечно: их ведение лишь отвлекло бы его от главной задачи — показать в движении натуру Ломоносова именно как ученого. Зато для деталей и частностей, порой даже и не первостепенных, в этом русле, Вавилов находит место, несмотря на весьма сжатый объем своего очерка (сорок с немногим страниц небольшого формата).

Уделяя главное внимание Ломоносову — химику и физiku, Вавилов наглядно демонстрирует его решающую роль в становлении прикладных дисциплин, таких, как металлургия, горное дело и т. п. И отнюдь не проходит мимо той части жизни своего героя, которая была отведена поэзии. В этой части очерка Вавилов подчеркнута скромность в своих оценках. Причины тому несколько. Одна из них — давняя академическая традиция избегать всего, что могло бы показаться дилетантизмом. Но еще важнее другое, явно ощущаемое при внимательном знакомстве

с очерком желание автора как бы уравновесить в фигуре Ломоносова ученого и поэта. Это вызвано тем, что как поэт Ломоносов раскрылся перед потомками намного раньше, а главное — полней. Уже Карамзин высказывал восторженную хвалу его поэтическому дарованию. А в последующем не одно из обращений к прошлому российской словесности не обходилось без подробной характеристики ломоносовского творчества. Говорилось, конечно, и о науке. Но истинное место в ее истории, которое по праву принадлежит Ломоносову, стало осознаваться намного позднее, причем больше в специальной, нежели в общедоступной литературе.

Очерк о Ломоносове (как уже говорилось, существующий в двух основных, близких друг к другу вариантах — последующие переиздания разнятся с «молодогвардейским» лишь несущественными деталями) наиболее полно и всесторонне характеризует особенности биографических произведений С. И. Вавилова. Но и другие его обращения к фигурам деятелей российской науки столь же явственно выявляют его позицию как биографа. В них он так же последовательно и неизменно ставит на первое место поприще своего героя, его главное дело, подчиняя, но отнюдь не вытесняя им все остальное. Он стремится всюду, где только возможно, дать слово документу, порой воспроизводя его факсимильно, причем чаще всего такому документу, где автор приведенных фрагментов — сам герой. Показательно в этом смысле статья «В. В. Петров — исследователь люминесценции», помещенная в изданном в 1940 году сборнике «Академик В. В. Петров». Не выходя за рамки темы, очерченной в заголовке, Вавилов тем не менее дает читателю возможность как бы войти в лабораторию первого в России электротехника и вместе с ним присутствовать при зарождении истолкования столь важного для последующего развития науки явления. А немногословный, но глубокий комментарий помогает соотнести увиденное с проблемами уже не той, давней, а современной физики.

Нечто подобное можно найти и в очерке о П. Н. Лебедеве (он был впервые напечатан в 1948 году в первом томе сборника «Люди русской науки»). Сравнительно краткие выдержки из статей и писем Лебедева и обстоятельно описанная — уже как очевидцем — обстановка, в которой ученый провел свои, до сих пор поражающие тонкостью и поистине ювелирной техникой опыты, позволившие обнаружить едва уловимое давление светового луча, дают как бы крупный план личности ученого, сосредоточенного всецело на науке. А приводимые Вавиловым внешние по отношению к ней жизненные обстоятельства, мимо которых Лебедев, однако, отнюдь не проходил — достаточно вспомнить хотя бы его активное участие в общественном протесте 1911 года против реакционных действий министра просвещения Кассо, — создают достоверный, хотя и бегло очерченный портрет живого человека. Человека науки — в этом главное для автора очерка, как, впрочем, и для его героя.

Основу основ жизни ученого Вавилов умел порой показать буквально на одной-двух страницах. Именно таковы его заметки об академике А. Н. Крылове в декабрьском номере журнала «Вестник АН СССР» за 1945 год и о С. В. Ковалевской в газете «Правда» за 15 января 1950 года. Крылов показан и как математик, и как механик, и как выдающийся кораблестроитель. Он прямой наследник и продолжатель научных традиций великих корифеев русской математики и механики — Остроградского, Чебышева, Ляпунова — и вместе с тем неутомимый практик, не только создавший в свое время боевую мощь русского и советского флота, но отнюдь не пренебрегавший сиюминутными проблемами строительной техники и множеством других чисто инженерных задач. Для любого биографа Крылова заметка Вавилова — это своего рода конспект, или, лучше сказать, программа исследований и разысканий. То же самое можно сказать и о газетной заметке про Ковалевскую, написанной к столетнему юбилею со дня ее рождения.

Выше уже были сказаны слова: научно-публицистическая биография. Почему именно такое определение кажется уместным для биографических произведений Вавилова об отечественных ученых? Можно, разумеется, не настаивать на нем и, поскольку к числу научно-художественных их заведомо нельзя отнести, оставить их в привычной рубрике научно-популярных. Но, с другой стороны, и до Вавилова, и в особенности в последние десятилетия привычной стала выходящая под такой рубрикой биографическая литература, куда более близкая по языку, стилю и характеру изложения к научно-монографической. Пресловутая «академическая» безэмоциональность, намеренная сухость авторских интонаций, развитый справочно-информационный аппарат — все это стало как бы само собой подразумевающимися признаками жанра научно-популярной биографии. И уже потому стоит подчеркнуть — в том числе и жанровым определением — отличие вавиловских биографий русских ученых от тех, которые в большом количестве появились в недавние годы. Бесспорно, что познавательная ценность им присуща, нередко в высокой степени. Доступность же для массового, прежде всего молодого, читателя существенно снизилась.

Публицистика же по самой сути своей всегда дышит взволнованностью и страстностью, она стремится в чем-то убедить читателя, она подчеркивает неравнодушна к своим героям. Именно таковы вавиловские биографии. В то же время публицистика может обойтись без той внутренней выстроенности образа, которая требуется от любого произведения художественной литературы, в том числе и от научно-художественной. И опять-таки: вавиловские жизнеописания отнюдь не ставят целью воссоздать художественными средствами ни образ своего героя, ни окружающую его обстановку. Но зато в них заложено стремление целостно — как в материалах ломоносовского цикла — или фрагментарно (как в других биографиях) раскрыть жизнь

и творчество деятелей науки, точнее же говоря, раскрыть их жизнь через творчество, причем так, чтобы знакомство с героем непременно оставило бы след в душе читателя и пробудило в нем чувство гордости за свой народ и его выдающихся сынов. Кстати сказать, очерк о Ломоносове, впервые выпущенный в год Победы, вплотную смыкается с изданиями, выходившими в «Молодой гвардии» взамен временно прерванной серии «ЖЗЛ» — сериями «Великие русские люди» и «Великие люди русского народа». Вавиловская книжка, формально не входя в этот ряд, фактически ничем не отличается от тех, что вошли в него. Их объединяет и тон повествования, и ярко выраженный патриотический дух, и даже во многом внешний облик.

Биографии отечественных ученых, принадлежащих перу академика С. И. Вавилова, и в первую очередь биография Ломоносова, сохраняют свою ценность и по прошествии десятилетий. Бесспорна их польза для литераторов, которые поставят своей задачей вновь обратиться к тем же фигурам титанов науки, о которых рассказывал Вавилов. Его очерки могут явить блестящий пример обстоятельности и точности в изложении проблем, занимавших героев этих очерков. Они наглядно демонстрируют талантливый образец глубины постижения творческого мира ученого и соотнесения полученных им

результатов с последующими достижениями науки.

Невзирая на конечный характер собственно литературного замысла, любой серьезный биограф не может не извлечь пользы из знакомства с творческими приемами Вавилова — прежде всего из умелого использования им выразительности подлинного текста, способного подчас заменить и уж, во всяком случае, существенно дополнить эффект присутствия читателя в далекой эпохе. И нужды нет, что в обширной библиотеке литературы, посвященной Ломоносову, включающей сотни, если не тысячи трудов ученых и литераторов, вавиловские статьи и очерки внешне не выглядят фундаментально: без них теперь уже не обойдется ни один будущий биограф и исследователь творчества гениального просветителя. Тем более много почерпнет в вавиловских обращениях к образам В. В. Петрова, П. Н. Лебедева и П. П. Лазарева тот, кого привлекут эти замечательные ученые, перед которыми наша биографическая литература явно в долгу. Оком благодарного наследника увидел своих героев Сергей Иванович Вавилов. И дал немеркнущий пример согретого чувством горячей любви к своему Отечеству и народу раскрытия исторической правды и нерасторжимости связей сменяющих друг друга поколений.

№ 19

II год издания

18 октября 1914

ГЕРКУЛЕСЬ



Рис. и г. Мисслер

Цена 10 коп. на станинх 12 к.

Обложка журнала «Геркулес».

Юрий Шапошников

Богатыри России

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЗАЛА

В городок Слободской, что в Вятской губернии, приехал знаменитый Федор Бесов. Он демонстрировал умопомрачительные силовые трюки: жонглировал двухпудовыми гириями с завязанными глазами, рвал цепи, разрывал колоду карт, гнул пальцами медные пятаки, на его плечах сгибали металлическую балку. И вообще, поверг в неописуемый восторг местных жителей.

— Ну, — с улыбкой обратился к зрителям атлет, — может, кто желает со мной побороться на поясах?

Зал замолк. Желающих не находилось.

И вдруг откуда-то с галерки чей-то бас прокотал:

— Давай попробую!

К восторгу публики, на арену вышел бордатый мужик в лаптях и холщовой рубаше. Роста он оказался саженого — более двух метров, плечи — в дверь с трудом пролезут. Это был известный всей губернии силач крестьянин из деревни Салтыки Григорий Кашеев. О нем ходили легенды.

Гриша мог, например, связав двенадцать двухпудовых гирь, взвалить их себе на плечи и прохаживаться с этим колоссальным грузом. Рассказывают, что однажды он положил в сани, в которых ездил подрядчик, обсчитывающий рабочих, сорокапудовую бабу для забивки свай...

Началась борьба. Публика задохнулась от восторга, когда бордатый храбрец припечатал к арене заезжего атлета.

Бесов понял, что встретил самородка. После выступления он увел Гришу за кулисы и долго уговаривал поехать с ним — «показывать силу». Увлеченно рассказывал Бесов о будущей карьере Гриши, о том, какая его ждет слава.

Тот наконец согласился.

Началась новая жизнь, но, конечно, не такая сладкая, какую рисовал ему Бесов. Выступления проходили в провинции, иногда под пролив-

ным дождем или палящим солнцем, с большими физическими нагрузками.

Были и курьезные случаи в этих гастрольных скитаниях. Вот что рассказывал Бесов об одном из случаев, который произошел с ними: «Приезжаем с Гришей в глухой-преглухой городишко. Там таких людей, как мы, и не видели... Кашеев — косматый, как зверь, а моя фамилия — Бесов... Облика человеческого у нас нет. Решили, что мы — оборотни... Не говоря дурного слова, заарканили нас, вывели за город и говорят: «Ежели не уйдете из нашего города добром, так пеняйте на себя». Так мы с Гришей — давай бог ноги...»¹

Выступления Кашеева пользовались огромным успехом, но все чаще и чаще он говорил: «Нет, уйду из цирка. Вернусь домой, землю пахать буду».

В 1906 году он впервые встретился с борцами мирового класса. Подружился с Заикиным, который помог ему выйти на большую арену.

Вскоре Кашеев кладет на лопатки многих именитых силачей, а в 1908 году вместе с Поддубным и Заикиным едет на всемирный чемпионат в Париж. С победой возвратились наши богатыри на родину. Казалось бы, что теперь и



Борец-великан Г. Кашчев и И. В. Лебедев (дядя Ваня).

началась настоящая борцовская карьера Кашчева, но он все-таки бросил все и уехал к себе в деревню пахать землю.

Лучшей характеристикой русского богатыря-великана Григория Кашчева служат слова известного организатора чемпионатов французской борьбы, главного редактора спортивного журнала «Геркулес» Ивана Владимировича Лебедева: «Мне много приходилось видеть оригинальных людей в мою бытность директора борьбы, но все же самым интересным по складу характера я должен считать великана Григория Кашчева. На самом деле трудно себе представить, чтобы человек, в течение 3—4 лет делавший себе европейское имя, добровольно ушел с арены обратно в свою деревню, опять взялся за соху и борону. Громадной силы был этот человек. Почти в сажень ростом, Кашчев, будь он иностранец, зарабатывал бы большие деньги, потому что силой он превосходил всех иностранных великанов»².

Умер Кашчев в 1914 году. Много легенд ходило о его смерти, но вот что сообщается в некрологе, помещенном в июньском номере журнала «Геркулес» за 1914 год: «25 мая скончался

от разрыва сердца знаменитый борец великан Григорий Кашчев, бросивший цирковую арену и занимавшийся земледелием в своей родной деревне Салтыки. Имя Кашчева не так еще давно гремело не только в России, но и за границей. Если бы на его месте был другой, более жадный до денег и славы человек, то он мог бы сделать себе мировую карьеру. Но Гриша был русский крестьянин-землепашец в душе, и его неудержимо тянуло от самых выгодных ангажементов — домой, к земле...»

Великий был атлет. Но многие ли нынче знают о нем?

ЛОШАДЬ — ПОСИЛЬНАЯ НОША!

Читая книги, листая старые газеты и журналы, знакомясь с архивными материалами, нередко сталкиваешься с теперь уже полузабытыми, а порой и вовсе не известными именами атлетов и борцов, потрясавших воображение современников своими силовыми трюками. Множество легенд ходит о знаменитых силачах прошлого и в первую очередь о русских богатырях.

В детские годы воображение волнуют былинные богатыри: Илья Муромец, Святогор-богатырь, Микула Селянинович, Никита Кожемяка и другие сильные и справедливые герои. В юношеские годы восхищают богатыри-современники, прославившие нашу Родину на международных помостах, такие, как Г. Новак, А. Воробьев, Д. Ригерт, Л. Жаботинский, А. Медведев, Ю. Власов и многие другие.

Сбылись слова «отца русской атлетики» доктора В. Ф. Краевского, который на празднике десятилетия своего кружка говорил: «Я уверен, что за тяжелой атлетикой в России большое будущее. Такой массы исключительно сильных людей, мне кажется, нет ни в одной другой стране»³.

Ведущих силачей знали все, от мала до велика. Фотографиями борцов и атлетов пестрели страницы спортивных журналов, их портреты выставлялись в витринах магазинов, их именами рекламировались товары. Многие выдающиеся деятели русской культуры и искусства — А. Куприн, Ф. Шаляпин, В. Гиляровский, М. Горький — были страстными поклонниками цирковых атлетов и борцов, более того, многие из них сами с увлечением занимались спортом. Куприн часто судил соревнования по борьбе, сам занимался спортом и был своим человеком в цирке. Писатель Гиляровский в кругу своих друзей любил сгибать пальцами монеты, завязывать в узел кочергу и демонстрировать другие силовые номера.

Как богатыри мерились силой? Кто как мог! Придумывались разнообразные силовые трюки. Силачи рвали цепи, ломали подковы, отрывали от земли огромные камни. Даже носили на плечах лошадей! Не знаю, как чувствовали в этой роли себя четвероногие, но такие богатырские забавы приносили зрителям громадное удовольствие.

Обычно такие номера показывались в цир-



Самсон демонстрирует свою силу.



Самсон несет на плечах лошадь.

ках, на ярмарках. Работа профессиональных атлетов была очень тяжелой: приходилось делать несколько выступлений в день, нередко состязаясь со зрителями, которым предлагалась премия за повторение того или иного силового трюка. Конкурс со зрителями был серьезной проверкой силы атлета. Если зритель повторял какой-то номер, атлет выплачивал ему вознаграждение.

Вот, например, текст афиши русского силача Самсона во время выступлений в Англии: «Самсон предлагает двадцать пять фунтов стерлингов тому, кто собьет его с ног ударом кулака в живот. Разрешается принимать участие боксерам-профессионалам... Приз пять фунтов стерлингов дается тому, кто согнет в подкову железный стержень». Кстати, известный английский боксер Том Вернс, испробовавший свою силу во время выступления Самсона, повредил о его брюшной пресс кисть руки. А стержень, о котором шла речь, представлял собой внушительный прут квадратного сечения толщиной один с третью сантиметра и длиной четверть метра. Как пишет в своих воспоминаниях Самсон, никому не удавалось даже немного согнуть прут.

В дальнейшем по мере проникновения в силовые конкурсы классического троеборья, где спортсмен выступал с одним снарядом — штангой стандартной конструкции, все разнообразные силовые трюки утратили свой спортивно-соревновательный дух и переключались в цирк, превратившись в зрелище. Достижения пере-

стали фиксироваться как рекорды. Но это не говорит о том, что интерес к силовым трюкам и вообще к физической силе сегодня пропал. До сего времени в цирках можно увидеть замечательных цирковых атлетов Б. Вяткина, А. Осипова, феноменального силача Валентина Дикуля и других.

Итак, перенесемся в прошлое! В то время, когда атлеты и борцы были кумирами публики. И хотя современного любителя спорта трудно удивить рекордами, все же некоторые достижения силачей прошлого вызовут у него изумление.

«КОРОЛЬ ГИРЬ»

Начало XX столетия. Уездный город Барнаул был взбудоражен словно растревоженный муравейник. На заборах, афишных тумбах, на стенах казенных зданий и трактиров красовались громадные афиши: «Единственный раз! Проездом из Рио-де-Жанейро в Мелитополь, игра природы, феноменальный силач «Король гирь», он же Петр Крылов, покажет чудеса силы: поднимет лошадь со всадником, кулаком разобьет булыжник, на платформе поднимет 20 человек и много удивительных номеров. Спешите видеть!»

У цирка собралась огромная толпа. Все хотели видеть «игру природы». Билеты были давно распроданы. Аншлаги!

Ждали градоначальника. И вот, блестя золотыми погонами, под руку с пышной женой и



Петр Крылов — «Король гирь».

пятью детьми он важно прошел через толпу, раздвигаемую городскими.

Когда градоначальник уселся в ложу, то к нему вбежал потный, уставший от бесконечных просьб «устроить билетик» директор Джунтини.

— Послушай, любезный! — обратился к нему градоначальник. — Если ваши афиши врут, я ваш балаган и ваше «чудо природы» вышлю по этапу — нечего голову морочить честным людям!

— Ваше превосходительство! Обижать изволите. В нашем заведении людей не дурят!

— То-то!

...И вот долгожданный миг. Под марш «Гладиаторов» на арену вышел человек — странное дело! — совсем невысокого роста. Но поражаел рельеф и объем его мускулатуры. Администратор, представив Крылова публике и указав на его бицепсы, провозгласил:

— Сорок шесть сантиметров! Шея (зал вдохнул) — пятьдесят пять сантиметров!

А дальше началось обещанное.

Крылов, выполняя трюки, весело переговаривался со зрителями. Вот он поднял на специальной платформе лошадь со всадником. Затем на платформе разместились два десятка человек, Крылов, надев на плечи лямки, поднял и этот колоссальный груз. Потом ударом кулака разбил несколько довольно крупных булыжников. Сломал две подковы.

Цирк был доволен.

После представления градоначальник с чувством пожал руку Крылову.

— Благодарю сердечно! Получил несказанное удовольствие!

Это было одно из многочисленных выступлений замечательного русского атлета и борца Петра Федотовича Крылова, известного под именем «Король гирь».

* * *

Родился Крылов в Москве в 1871 году в семье служащего. Отец его был большим поклонником спорта и всячески поощрял увлечение сына физическими упражнениями.

Как и все его сверстники, Петр любил играть в подвижные игры, лазал по деревьям, боролся, запоем читал Фенимора Купера, Майн Рида, Жюль Верна. Мечтал стать путешественником.

Учась в гимназии, все вечера проводил в цирке, где с восторгом следил за выступлением силачей и борцов. А дома он усиленно тренировался с утюгами, которые привязывал к половой щетке. Затем стал заходить в лавки к мясникам и пробовал поднимать настоящие гири. Вскоре этот мальчик, к удивлению взрослых, начал толкать и выжимать двухпудовые гири.

Вскоре Петр едет в Петербург. Здесь он заканчивает мореходное училище. В качестве штурмана совершает путешествия в Индию, Китай, Японию, Англию.

Все это время он упорно тренировался с гириями, которые возил с собой. Во всех портах, куда заходил корабль, Крылов посещал атлетические клубы, где поднимал гири и боролся с местными борцами. Часто на палубе устраивали представления, выполняя атлетические номера с гириями.

После трехлетнего плавания он едет в Москву за новым назначением. Но любовь к цирку взяла верх, и Крылов решает стать профессиональным атлетом. Первое время тренируется в «атлетическом кабинете» Сергея Ивановича Дмитриева-Морро. Художник-ювелир фирмы «Лурье» Сергей Иванович был страстно увлечен атлетикой, и вот с разрешения хозяев он оборудовал в подвале спортивный зал, и эта атлетическая арена стала центром любительского спорта в Москве. Много первоклассных атлетов воспитал Дмитриев и в том числе такого заме-



Н. Вахтуров.

чательного атлета, как заслуженный мастер спорта СССР А. Бухаров.

Вскоре Крылов соорудил спортзал у себя в подвале. Купил штангу, гири и продолжал тренироваться уже самостоятельно. Почувствовав себя подготовленным, Петр отправился устраиваться в цирк.

Вот как он пишет об этом периоде: «Колесил я недолго и 25 апреля 1895 года уже стоял в балагане Лихачева на Девичьем поле и показывал директору мои бицепсы объемом в сорок один сантиметр. Пощупал меня со всех сторон Лихачев и произнес, почесывая в затылке: «Шестьдесят пять целковых в месяц, мусью, и чтобы ежедневно несколько раз работать». Пожал я руку этому моему Барнуму — в сером пиджаке, лакированных сапогах и красном галстуке-бабочке, — и наше соглашение состоялось. Поехали мы с ним в провинцию — по мелким ярмаркам и по садам. Чуть ли не каждый час приходилось мне работать, то ворочая гири, то борясь на поясах с любителями. Бывало, еле успеешь отдохнуть и напиться чайку, как опять заливается колокольчик перед дверью балагана, и осипший голос начинает выкрикивать: «Пожалуйте в театр живых чудес... Между прочими чудесами сказочный богатырь Петр Федотович Крылов, уроженец города Москвы, покажет необычайные чудеса своей силы». Ну и опять ворочаешь штангу на сцене, которая ходуном ходит, ибо сколочена из барочного теса»⁴.

Тяжело было работать артистом в балаганах. Брезент плохо защищал от дождя, ветра и холода, и выступать приходилось по нескольку раз в день. Крылов всегда работал с тяжестями предельного веса, он не терпел никакого обмана. Следует сказать, что зрители балаганов любили «потрогать» гири или цепи, с которыми выступал силач, чтобы убедиться, что они натуральные. Иногда из публики выходили такие силачи, что победить их в атлетических трюках было не очень легко.

Вскоре имя Крылова становится известным. Его начинают приглашать многие владельцы балаганов. Два года проработал в балаганах Петр Крылов. За это время он освоил много трюков, которые пользовались большой популярностью у зрителей: рвал цепи, из полосового железа завязывал «галстуки» и «браслеты», ложился под автомобиль.

Особенно эффектным был номер «растяжка». Руками Крылов удерживал вожжи двух лошадей, подхлестываемых фрейторами, которые рвались в разные стороны.

Очень хорошо Крылов работал с гириями. Ни один атлет того времени не мог сравниться с ним в демонстрации трюков с этим классическим спортивным инвентарем русских силачей.

Свою силу и ловкость Крылов позже продемонстрировал в цирке Камчатского, а затем в цирке Боровского, с которым в течение трех лет объездил всю Сибирь.

Выступая с атлетическими номерами, Крылов их весело комментировал.

«По отзывам публики, мои реплики всегда отличались убедительностью, — вспоминает Крылов. — Например, когда я разбивал камни кулаком, то неизменно обращался к публике с такими словами: «Господа, если вы думаете, что в этом номере есть фальшь, то могу разбить этот камень кулаком на голове любого желающего из публики... Милости прошу желающих на арену!»⁵

И еще об одном случае рассказывал Крылов. Однажды вышел он на арену, публика, как всегда, принимает его тепло, «с азартом». Вдруг слышит, что в первом ряду господин какой-то в чиновничьей фуражке говорит своей соседке:

— Не понимаю, как можно приветствовать в наш просвещенный век грубую силу. Это просто бык какой-то!

Посмотрел на него Крылов, остановил оркестр рукой и говорит публике:

— Я действительно работаю на арене. Наш народ любит сильных людей. Лучше быть могучим человеком, нежели дохляком, хотя и в чиновничьей фуражке!

Поднялся гвалт, аплодисменты, аплодисменты!

В старом цирке атлеты часто предлагали желающим из публики повторить тот или иной трюк. Победителю обещалась денежная премия. И вот на один из таких вызовов Крылова в Лодзи откликнулся знаменитый польский силач, чемпион мира по французской борьбе Станислав Збышко-Цыганевич. Этот атлет отличался мощной фигурой и колоссальной силой. При росте 175 см он весил 112 кг, окружность грудной клетки — 130 см, окружность бицепсов — 50 см, окружность бедра — 72 см.

Первым выступил в состязании Крылов. Он выжал две гири по сорок килограммов. Затем сделал «крест» — развел прямые руки с гирями в стороны, продержал этот вес несколько секунд, а затем снова поднял руки вверх. После этого проделал этот трюк одной рукой с гирей весом в 52 килограмма. Затем пять раз выжал 120 килограммов и толкнул штангу весом в 137,6 килограмма.

Последним номером было так называемое «доношение». Крылов выжал левой рукой две гири по сорок килограммов каждая. Затем правой рукой поднял с пола гирю весом в сорок восемь килограммов и, взяв ее на бицепс, то есть согнув руку в локте, поднял гирю к плечу и выжал вверх.

На арену вышел Збышко-Цыганевич, но смог повторить только номера со штангой.

Крылов принимал участие и в чемпионатах французской борьбы, которая была очень популярна в начале века. В этих чемпионатах часто завоевывал призовые места. Участвовал в конкурсах на лучшую «атлетическую фигуру» и неизменно получал первые призы.

Наряду с силовыми выступлениями и схватками на ковре Крылов читал лекции о физическом развитии, делился опытом с молодежью,



Петр Крылов.

был страстным пропагандистом атлетического спорта.

Он установил несколько мировых рекордов по тяжелой атлетике.

Впечатляют личные рекорды Крылова: жим на борцовском мосту — 134 кг; жим левой рукой — 114,6 кг; жим левой рукой двухпудовой гири — 86 раз; разведение прямых рук в стороны, держа в каждой гирю весом 41 кг.

Крылов закончил выступать в цирке, когда ему было шестьдесят лет.

Удивительный был богатырь!

ЛЮБИЛ ОН КНИГИ СТРАСТНО

Петербург, начало века. На улице Коломенской, 27, в обширной комнате собралось почтенное собрание: ученые, писатели, цирковые артисты.

Хозяин, мужчина импозантной внешности, достает из шкафа — а их много в этом кабинете! — том с золотым обрезаем.

— Это, — говорит хозяин, — необычайная редкость — первая книга Александра Сергее-



Георг Гаккеншмидт.

вича Пушкина. Вы догадались, это «Руслан и Людмила» с гравюрой Иванова.

Вышло издание в 1820 году.

Автор увидел ее только в марте следующего года. В это время 21-летний поэт находился в Молдавии...

Такие библиофильские заседания в доме по Коломенской были нередки. Хозяин редкостей был известный петербургский собиратель Якуба Чеховской.

О его книжной страсти знали немногие. Тысячам других любителей тяжелой атлетики он был известен как феноменальный силач.

И еще одно увлечение было у Чеховского: в свободное от тренировок и выступлений время он любил заниматься автомобилем — в то время у него был полуспортивный автомобиль с названием «фафнир», а гаражом служил бывший каретник во дворе дома.

При замене колеса Чеховской не пользовался домкратом: поднимал машину руками спереди или сзади и просил окружающих его мальчишек поставить чурбан...

В 1913 году на тяжелоатлетических соревнованиях в Петрограде в бывшем Михайловском манеже атлет Якуба Чеховской продемонстрировал сенсационный силовой трюк — он пронес по кругу на одной руке шесть солдат гвардейского полка, за что был награжден почетным золотым поясом. Этот рекордный номер до сих пор не удавалось повторить ни одному атлету в мире. Сам же Чеховской демонстрировал его постоянно в своих выступлениях. Не менее удивительны и другие номера атлета. Делая «мост», Чеховской держал на себе 10 человек. На его груди устанавливали специальный помост, на котором размещался духовой оркестр из тридцати музыкантов. На его плечи клали двутавровую металлическую балку, и сорок человек, надавливая на нее, сгибали концы балки до земли. Через его грудь проезжали три грузовика с публикой. Поражают воображение антропометрические данные Чеховского: рост — 180 см, вес — 125 кг, окружность грудной клетки — 138 см, окружность бицепсов — полметра! Окружность шеи — еще больше!

Якуба Чеховской пользовался большим уважением среди собратьев по профессии. Вскоре после Октябрьской революции, в феврале 1918 года, его избрали вице-председателем Всероссийского союза борцов-атлетов. В мае 1918 года Я. Чеховской, Г. Лурих, М. Яковлев, Н. Башкиров и другие известные атлеты создали первый советский спортивный журнал «Борец-атлет». Позже Чеховского назначают начальником спортклуба Всевобуча в Петрограде. С именем Чеховского связано создание первых советских спортивных коллективов. Свою 40-летнюю спортивную деятельность Я. Чеховской закончил летом 1937 года на минском стадионе «Динамо» в шэфском представлении в пользу осиротевших детей испанских патриотов. Шел ему тогда 58-й год.

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫИ

Огромной популярностью среди любителей спорта во всем мире пользовалось имя Георга Гаккеншмидта. Подтверждением этому служат и слова олимпийского чемпиона Юрия Власова: «Да, я зачитывался в юности Куприным, который дружил с Заикиным. Но мою судьбу определил Гаккеншмидт! И это не преувеличение. Тогда в лондонском «Скала театре» мне посчастливилось встретиться с человеком, который помог мне понять себя и свою силу».

Георг Гаккеншмидт (1878—1968) — цирковой атлет, борец, неоднократный рекордсмен мира по тяжелой атлетике и чемпион мира по французской борьбе.

Родился Гаккеншмидт в Тарту (Эстония). Еще в реальном училище он увлекся физическими упражнениями. Выполнял упражнения на гимнастических снарядах, хорошо бегал, плавал, прекрасно прыгал, занимался с гантелями.

В 1895 году переезжает в Таллин, где работает на машиностроительном заводе. В это время увлекается велосипедным спортом, выигрывает несколько призов. Затем увлекся тяжелой атлетикой, и это увлечение осталось на всю жизнь. Посещает атлетический клуб. Много тренируется самостоятельно.

Работая на заводе, он изготовил себе специальный пудовый молот, который также использовал для своих тренировок. Много уделял внимания тренировке со штангой и гириями. Особое внимание уделял развитию мышц ног, используя для этого не только специальные упражнения со штангой, но и прыжки через скалку и различные препятствия (стол, стулья). Часто, тренируя ноги, он забирался по внутренней лестнице на шпиль церкви Оливеста, держа в руках по двухпудовой гире, а иногда сажал на плечи какого-нибудь мальчишку. Особенно любил прыжки. В особом комбинированном прыжке (в высоту и длину одновременно) он имел результат 132 см в высоту и 360 см в длину. Кстати, прыжками он занимался до глубокой старости. Даже в возрасте 82 лет Гаккеншмидт мог перепрыгнуть через веревку, натянутую на спинках двух стульев, отталкиваясь от пола двумя ногами одновременно.

Упорные тренировки приносят свои результаты. В 1896 году он выжимает одной рукой

97 кг, а правой рукой на бицепс поднимал 56,5 кг. Начинает выступать перед публикой с атлетическими номерами под псевдонимом Ленц. Знакомится с известным профессиональным борцом Георгом Лурихом, который повлиял на его увлечение борьбой. В 1898 году переезжает в Петербург, где тренируется у знаменитого доктора В. Ф. Краевского.

Вот как описывает прибытие в клуб Краевского молодого Гаккеншмидта редактор журнала «Геркулес» И. В. Лебедев: «...Отворяется дверь из гостиной, и «старик доктор» вводит за руку какого-то широкоплечего юношу в сером поношенном пиджаке со словами: «Господа, рекомендую: Гаккеншмидт из Юрьева... Так сказать, звезда Эстляндии!» Надо признаться, что встретили мы гостя не особенно дружелюбно: уж очень ревниво тогда относились к иногородним атлетам. Мы слышали, что Гаккеншмидт одной рукой выжимает шесть пудов, но в других движениях слаб. Когда он стал раздеваться, мы тайне рассчитывали, что вот-вот «всыплет» юрьевскому атлету. Но лишь только Гаккеншмидт снял пиджак и рубашку, мы так и ахнули: такой мускулатуры ни у кого из атлетов нам не приходилось видеть. Совершенно без жира, весь рельефный, с бицепсами в 44—45 см, с феноменально широкой спиной, покрытой комками мышц, — «новичок», еще не под-



Афиша с изображением Чеховского.

ходя к штанге, одной своей фигурой побил нас в пух и прах. Он начал выжимание одной рукой с 80 кг, затем 104 — это был всероссийский рекорд. Гаккеншмидту кричали «браво», «ура». Мы уже не завидовали, прямо сознав, что «новичок» — головой выше всех нас»⁶.

Доктор поселил Гаккеншмидта у себя, начался упорный тренировочный процесс. Результаты резко повысились. Гаккеншмидт побивает рекорд известного атлета Евгения Сандова в жиме одной рукой. Результат Гаккеншмидта — 116 кг. Затем устанавливает рекорд мира в рывке одной рукой — 85,5 кг.

Занятия тяжелой атлетикой совмещает с борьбой. Первым из русских борцов становится чемпионом Европы (1898 г.), а в 1901 году на международном чемпионате в Париже завоевывает звание чемпиона мира по французской борьбе. С этого момента начинается триумфальное шествие Гаккеншмидта как атлета и борца по разным странам. После одного из борцовских турниров, проходившего в Париже в 1899 году, публика стала называть Гаккеншмидта «русским львом». Во время одного из своих турне Гаккеншмидт побывал в Мюнхене, где зашел к знаменитому в прошлом атлету Гансу Штейнеру, державшему в своем кабаке в качестве реликвий огромные камни, бочки и прочие тяжести, которые он раньше поднимал. Гаккеншмидт попробовал свои силы и приподнял одной рукой с земли камень весом в 300 кг.

В 1911 году Гаккеншмидт опубликовал систему физического развития «Путь к силе и здоровью», которая сразу же завоевала большую популярность среди любителей атлетики. В предисловии Гаккеншмидт говорит: «Здоровье от силы неотделимо, одно вытекает из другого, и всякий создаст в себе верный оплот, если он укрепит свой организм». «Нет того солидного возраста, который не допускал бы возможности и права заниматься гимнастикой».

Антропометрические данные Гаккеншмидта: рост — 176 см, вес — 94 кг, окружность груди при вдохе — 125 см, окружность бицепсов — 47 см, окружность бедра — 68 см.

Гаккеншмидт до преклонного возраста не прекращал заниматься физическими упражнениями и обладал большой силой. Последние годы жизни увлекся философией и опубликовал несколько работ.

...Очевидцы утверждают: когда ему было за восемьдесят, он с места перепрыгивал через большой обеденный стол.

ПАРАД-АЛЛЕ!

С профессиональной борьбой в цирке и популяризацией атлетического спорта в России связано имя Ивана Владимировича Лебедева, которого друзья и любители спорта ласково называли дядя Ваня. Лебедев был первоклассным атлетом, но широкую известность получил как организатор чемпионатов французской борьбы

и главный редактор спортивного журнала «Геркулес». Лебедев по-новому стал организовывать чемпионаты борьбы. Он превратил их в театрализованное зрелище: ввел общий выход участников борьбы перед началом выступления (парад-алле), арбитр представлял публике каждого из борцов; ввел музыкальное сопровождение, включал в жюри представителей из публики. Он автор популярных книг по атлетике: «Сила и здоровье», «Тяжелая атлетика», «История профессиональной французской борьбы» и ряда рассказов на спортивные темы. Дядя Ваня внес большой вклад в популяризацию атлетического спорта в России.

О журнале, который издавал Лебедев, следует рассказать особо. В 1912 году любители тяжелой атлетики и борьбы получили замечательный подарок — под девизом «Каждый человек может и должен быть сильным» стал выходить двухнедельный иллюстрированный спортивный журнал «Геркулес». Тираж журнала для того времени был солидный — 27 тысяч экземпляров. Не без его влияния во многих городах России открывались атлетические арены и кружки, занятия проходили под руководством энтузиастов спорта, иногда это были известные атлеты.

Методических пособий для занятий тяжелой атлетикой почти не было, и поэтому выход журнала «Геркулес» был с радостью встречен всеми любителями атлетики. На страницах журнала, наряду с многочисленными портретами борцов, атлетов, боксеров, печатались очерки по истории физической культуры, статьи по анатомии и физиологии человека, отчеты о соревнованиях по борьбе и тяжелой атлетике и некоторым другим видам спорта. Авторами статей были известные спортсмены: доктор А. К. Анохин, Л. А. Чаплинский, И. В. Лебедев и другие. В рубрике «Сила и здоровье» Лебедев вел тяжелоатлетический раздел, в котором давались комплексы упражнений с гантелями, гириями и штангой. Давались гигиенические и методические советы для начинающих атлетов. Эти публикации были прекрасным руководством по тяжелой атлетике и физическому развитию человека.

Печатались в журнале и рассказы на спортивные темы. Их авторами были известные писатели А. С. Грин, А. И. Куприн, А. Т. Аверченко, Артур Конан Дойл, Джек Лондон. Дружил с журналом и его издателем писатель В. А. Гиляровский. Оформляли журнал художник, атлет и борец И. Г. Мясоедов, борющийся под псевдонимом Де Красац, и художник В. С. Сваарог. Сам Лебедев много писал в журнал по вопросам атлетики, рассказывал о знаменитых атлетах и борцах, печатал рассказы из жизни борцов. В хронике спорта освещалась спортивная жизнь не только крупных городов России, но и провинции, а также за рубежом.

В журнале помещались биографические очерки и спортивные характеристики многих выдающихся атлетов и борцов. Например, вот какая характеристика дана русскому богатырю Николаю Вахтурову.



Мост Самсона.

«Николай Вахтуров!» — И из парада, ласково улыбаясь, грузно выступает колоссальная фигура нижегородского богатыря. Стихийный борец. По размаху натуры и по темпераменту — перенесшийся к нам в XX век былинный Васья Буслаев. Это воплощенная в мускулистое тело «идея натиска». Бесшабашный русский борец, ломающий всех, кто попадает в его объятия. Даже очень сдержанный партер раздражается аплодисментами, которые на галерке переходят в настоящую бурю»⁷.

Таким вошел в историю спорта чемпион мира, ученик Ивана Михайловича Поддубного Николай Вахтуров.

В 1914 году в журнале была проведена анкета «Русские выдающиеся люди о спорте», в которой приняли участие писатели, артисты, ученые. Интересны высказывания некоторых из них.

Максим Горький: «Девиз вашего журнала я считаю весьма важным: да, каждый человек может и должен быть сильным, и было бы чрезвычайно хорошо, если бы мы, русские, усвоили этот девиз».

Писатель Куприн: «Люблю ли я спорт и каков мой взгляд на него? Да, я люблю очень и занимался им когда-то много и усиленно. Надо в спорте выбирать тот вид, где с наибольшей вы-

годой и пользой могут участвовать как мускульная сила, так и дыхание, где органы тела находятся в равномерном и более всего продуктивном положении для занимающегося... Повторяю, спорт — большая и великая сила, и занятия им под опытным руководством дают громадную сумму наслаждений и несомненную пользу в деле физического развития».

Артист Александринского театра Г. Г. Ге: «За последние годы сознание о необходимости поднять в себе здоровую природу охватило все слои общества. И вот на помощь пришел спорт. Вряд ли кто из современной молодежи хорошо знает, «что такое» был доктор Краевский. А между тем этот скромный человек с седыми кудрями заложил твердую основу нашего физического возрождения. Вряд ли вполне сознает, по своей природной скромности, и преемник Краевского И. В. Лебедев, какое большое дело он делал и делает. Ему кажется, что он просто фанатично любит спорт и делает свое любимое дело: организует атлетические кабинеты, собирает чемпионаты борьбы и выступает на цирковых аренах со своим парадом. Пожалуй, в таких выступлениях в глазах интеллигентов может проглядывать и нечто предосудительное... Пристало ли человеку с университетским образованием заниматься таким низменным делом?

На это можно возразить: пристало ли Мечникову потрошить кроликов и обезьян? Основная задача и у Мечникова и у Лебедева одна — освободить человечество от всех болезней. Каждый из них работает в своей сфере, и каждому из них приходится делать самую черную работу. Лебедев — один из первых пионеров нашего физического возрождения».

«НЕСРАВНЕННЫЙ ЛУРИХ»

Георг Лурих принадлежит к числу наиболее выдающихся атлетов мира.

Родился Лурих в 1876 году в Эстонии. Природа не наделила его от рождения богатырским телосложением, но сила воли у юноши была исключительная. Стать сильным он решил, учась в реальном училище. Упорно занимается с гириями и добивается хороших результатов. По окончании реального училища Лурих выбирает профессию атлета и борца.

С этой мыслью он едет к В. Ф. Краевскому, в Петербург. У Краевского занимались многие

выдающиеся атлеты того времени: Г. Гаккеншмидт, А. Аберг, В. Пытлясинский и многие другие.

Лурих в течение года добивается превосходных результатов. Некоторые результаты Луриха в тяжелоатлетических упражнениях превышали мировые рекорды.

Вскоре он становится профессиональным атлетом и борцом. Выигрывает звание чемпиона мира по французской борьбе, устанавливает несколько мировых рекордов по тяжелой атлетике.

Во многих странах демонстрировал свое мастерство Георг Лурих и везде пользовался огромной популярностью. В некоторых городах Европы были основаны атлетические клубы имени Луриха. Он был незаурядным человеком не только в области спорта. Лурих владел несколькими языками, прекрасно играл на фортепьяно, мастерски играл в шахматы, писал рассказы на спортивные темы, читал лекции по физической культуре.

В Лондоне в 1904 году был заснят на киноленту показательный матч Луриха с немцем Зигфридом. Фильм демонстрировался во многих странах Европы. В 1908 году в Петербурге был заснят матч Луриха с турком Кара Мустафой.

Скульптор Адамсон увековечил фигуру Луриха в своей работе «Чемпион», за которую получил первый приз на всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году, во время Олимпийских игр.

Вот каким был этот богатырь: рост — 176 см, вес — 90 кг, окружность грудной клетки — 120 см, шея — 45 см, бицепсы — по 40 см, предплечье — 32 см, бедро — 59 см.

В Таллине проводится мемориал Георга Луриха по классической борьбе. Возле бывшего реального училища, которое окончил Лурих, поставлен памятник силачу.

ВОЛЖСКИЙ БОГАТЫРЬ

Цирк переполнен зрителями. Несколько человек выкатывают на тележке громадный морской якорь. Он весит ни мало ни много двадцать пять пудов! Публика, предвкушая необычное зрелище, затаила дыхание: что-то сейчас будет!

Сделав интригующую паузу, на арене появляется шпехштаймстер. Хорошо поставленным баритоном он произносит — и слова его гулко отдаются под куполом онемевшего от восторга цирка:

— Рекордный трюк! Единственный исполнитель в мире! Русский богатырь Иван Заикин.

Оркестр, громко и слегка фальшивя, играет туш. Под вопли восторженной публики, любящей все необычное, богатырское, уважающей силу и гордящейся, что этот силач — свой, родной, русский парень, появляется Заикин. Его мышцы рельефно играют под кожей. Он статен и красив.



Самсон выступает в цирке.



Рекордный трюк Самсона.

Сделав круг почета, поймав букеты цветов и раскланявшись, он останавливается перед этой грудой металла — якорем.

— Неужели подымет? — спрашивает сосед молодой купчик в шелковой косоворотке. — Да что невозможно! И бык не свернет такую железяку...

Его толкают в бок, он замолкает.

Заикин с гипнотизирующим вниманием рассматривает якорь. В цирке уже никто давно не дышит. Господи, неужели?..

И вдруг, зацепив руками-клещами громаду якоря, рванул вверх. Мгновение — и якорь на широченной спине атлета.

Вновь вздыхают трубы, гремит бравурный марш, затем оркестр переходит на знаменитую «Дубинушку». Заикин не спеша, с достоинством вышагивая, обходит арену с якорем на спине.

...Восторгу публики нет предела!

Что еще умел делать Иван Михайлович?

На длинной штанге, лежащей на плечах атлета, висли десять человек. Медленно, затем все ускоряясь, Заикин начинал вращать этот колоссальный груз. На афишах это называлось просто — «Живая карусель». На плечах Заикина (а иногда и на одном плече!) сгибали металлическую двутавровую балку. Он ложился на

арену, и по нему проезжал автомобиль с пассажирами. Из толстого полосового железа завязывал «браслеты» и «галстуки», рвал цепи.

Журнал «Геркулес» писал о Заикине: «Вкрадчивой, кошачьей поступью выходит на поклон Заикин. Мускулатура Геркулеса Фарнезского. Горько ошибается тот, кто, глядя на его застенчивое лицо, думает, что его борьба мягка, как его улыбка. Это один из умнейших борцов мира, беспощадный в борьбе и пользующийся своей колоссальной силой в такие моменты, когда противник менее всего ожидает его нападения. Долго приходится раскланиваться на все стороны бывшему авиатору, бросившему свои полеты под облаками для цирковой арены».

Сила и артистизм сочетались у Заикина с личным обаянием. Недаром с ним дружили и Куприн и Горький. В Кишиневе, где последнее время жил русский силач, открыт музей и разыгрывается приз памяти И. М. Заикина по борьбе.

Антропометрические данные Заикина: рост — 186 см, вес — 120 кг, окружность грудной клетки — 128 см, шея — 49 см, бицепс — 43 см, предплечье — 35,5 см, бедро — 67 см. Вот каким был этот легендарный богатырь!



Самсон под грузовиком.

«ЧЕЛОВЕК ПОД ГРУЗОВИКОМ!»

Это произошло в 1938 году в английском городе Шеффилде. На глазах собравшей толпы груженный углем грузовик переехал через человека, распластавшегося на булыжной мостовой. Люди вскрикнули от ужаса, когда передние, а затем задние колеса переехали через тело. Но в следующую секунду из толпы раздался возглас восторга: «Ура Самсону!», «Слава русскому Самсону!» А человек, к которому относилась эта буря ликования, встав из-под колес, как ни в чем не бывало, улыбаясь, раскланивался перед зрителями. Настоящее его имя Александр Иванович Засс.

Несколько десятилетий с цирковых афиш многих стран не сходило имя русского атлета Александра Засса, выступавшего под псевдонимом Самсон. Репертуар его силовых номеров был разнообразен: он носил по арене лошадь или пианино с пианисткой и танцовщицей, располагавшейся на крышке; ловил руками 90-килограммовое ядро, которое выстреливалось из цирковой пушки с расстояния восемь метров; отрывал от пола и удерживал в зубах металлическую балку с сиденьями на ее концах ассистентами; продев одну ногу в петлю, держал в зубах платформу с пианино и пианисткой; на платформе поднимал два десятка человек; лежа голый спиной на доске, утыканной гвоздями, держал на груди камень весом в пятьсот килограммов. В знаменитом аттракционе «Че-

ловек-снаряд» он ловил в руки ассистентку, которая, подобно артиллерийскому снаряду, вылетала из жерла цирковой пушки и описывала над ареной 12-метровую траекторию.

Выступления Александра Засса пользовались большой популярностью. Это объясняется не только оригинальными атлетическими номерами, но и тем, что он не походил на многих силачей тех времен, обладавших массивными фигурами и большим весом. Александр Засс имел рост 167 см, вес не превышал восьмидесяти килограммов, окружность грудной клетки в вдохе — 119 см, бицепсы — 41 см.

Он любил говорить, что большие бицепсы не всегда являются показателем силы, так же как и большой живот не говорит о хорошем пищеварении. Главное — это сила воли, крепкие сухожилия и умение управлять своими мышцами. Очень часто Самсону приходилось отвечать на вопрос, как он достиг такой силы. Обычно он отвечал, что это результат вдумчивой и целеустремленной работы. Если проследить весь жизненный путь Засса, то можно увидеть, что состоял он из непрерывного, целенаправленного труда и строгого режима, позволявшего ему постоянно сохранять высокую работоспособность в условиях колоссальных физических нагрузок.

Засс родился в 1888 году. Детские и юношеские годы прошли в Саранске. Рос он в большой трудовой семье, где дети с ранних лет работали в саду, в поле и по дому. Времени хватало

ло и на игры. Маленький Александр хорошо плавал, отлично ездил на лошади, катался на коньках. В 12 лет, побывав с отцом на представлении в цирке (где, кстати, его отец Иван Петрович Засс после вызова желающих повторить номер силача вышел на арену и повторил все, кроме разрывания цепи), «заболел» им.

Александр убедил отца выписать книги из Москвы о силачах. Вскоре он получил руководство по физическому развитию.

Это была книга знаменитого в то время атлета Евгения Сандова «Сила и как сделаться сильным». Автор в ней рассказывал о своей атлетической карьере, о своих победах над знаменитыми атлетами Циклопом и Самсоном, о своих рекордах и даже о борьбе с огромным львом. Затем шли восемнадцать упражнений с гантелями.

Это было как раз то, о чем мечтал Александр. Он делает гантели из камней и палок. Из тех же материалов мастерил себе подобные штанги. Во дворе, с помощью старших, построил два турника и трапецию. Упорно тренировался, устраивал самодельные цирковые представления перед своими близкими.

Вскоре Александр почувствовал, что одни упражнения Сандова не могут развить такую силу, которая необходима профессиональному атлету. Он постоянно искал новые пути совершенствования физических возможностей. Обращается с вопросами и получает в ответ письма с методическими советами от Дмитриева-Морро и Петра Крылова.

Упорные занятия принесли удивительные результаты. Александр при собственном весе в 66 кг — напоминал, он был в это время совсем юным — поднимал одной рукой 80 кг, несколько раз подтягивался на одной руке, делал сальто на лошади, выполнял всевозможные перелеты с одного турника на другой и ряд других трюков, которые видел в цирке.

Попав в цирк, Александр приобретает профессиональные навыки во многих жанрах: воздушной гимнастике, джигитовке, борьбе. Одно время работал ассистентом у знаменитого Анатолия Дурова, затем был ассистентом у атлета Михаила Кучкина. У этого силача он получил первую практику, и тот часто говорил молодому атлету: «Когда-нибудь, малыш, ты будешь очень знаменитым силачом, я еще никогда не видел никого, кто был бы так силен, как ты, имея такой небольшой рост и вес».

Эти слова сбылись. Шестнадцать лет проработал Засс в цирке и почти сорок лет из них выступал с атлетическими номерами.

...Итак, Александру дают первый самостоятельный атлетический номер: он поднимает одной рукой трех человек; продев ступню в петлю, держит в зубах платформу, на которой располагаются два самых тяжелых борца; ломает подковы, рвет цепи, забирает незащищенной рукой гвозди в доску; делает «растяжку» с лошадьми; опираясь пятками на один стул, а затылком на другой, держит на груди трех че-

ловек. Все эти номера пользовались исключительным успехом у зрителей.

Но вот в 1914 году грянула мировая война. Александра призвали в армию в 180-й Виндавский кавалерийский полк. Возвращаясь из очередной разведки, он попал, уже вблизи русских позиций, под обстрел противника. Пуля прострелила ногу лошади. Австрийские солдаты, увидев, что лошадь вместе с всадником упала, не стали преследовать разведчика. А Александр, убедившись, что опасность миновала, не пожелал оставлять раненого друга на «ничейной» территории. Он взвалил лошадь на плечи и понес ее в свой лагерь, до которого оставалось еще полкилометра.

Провоевал Александр недолго: тяжело раненный шрапнелью в обе ноги, он попал в плен. Врачи собирались ампутировать ноги. Большого труда стоило их уговорить не делать этого. Александр надеялся, что встанет на ноги: он верил в чудотворную силу лечебной гимнастики, которую разработал для себя. И он выздоровел.

Вскоре его отправили вместе с другими пленными на тяжелые дорожные работы. Один за другим совершает он несколько неудачных побегов. Примечателен был третий побег.

Сбежав из лагеря, Александр очутился в городе Капошваре, где в это время гастролировал известный в Европе цирк Шмидта. Представ перед хозяином цирка, Александр откровенно рассказал ему о побеге.

Рассказ незнакомца заинтересовал директора, и он попросил русского продемонстрировать свои способности, разорвать цепь и согнуть толстый металлический прут. Александр был не в форме, но справился с заданием легко. Взяв пальцами звенья цепи, он стал их, как всегда это делал, скручивать. На разрыв цепи ушло около минуты. Затем Александр согнул прут и подал Шмидту. На отдых и репетиции Шмидт отвел две недели, после чего состоялось первое выступление Александра. За это время были заказаны афиши и расклеены по всему городу. На них Александр был назван Самсоном.

Соскучившись по манежу, Александр с большим подъемом демонстрировал свои любимые трюки. Весть об удивительном атлете разнеслась по городу. И однажды на представление пришел военный комендант. Посмотрев выступление, он заинтересовался, почему такой прекрасный молодой атлет не служит в австрийской армии. Естественно, выяснилось, что Самсон — русский военнопленный.

Засса подвергают жестокому наказанию. Но железная воля силача не была сломлена.

Его водворили в крепость и заковали в цепи, однако Александр совершает новый побег. Богатырская сила выручила и на сей раз. Александр разорвал цепь, соединяющую наручники, выломал решетку и вырвался на волю.

Вскоре он попал в Будапешт, где устроился работать грузчиком в порту. Но мысль о родине не оставляла Александра.

И вот он снова в цирке!

С этого момента начинаются многочисленные гастрольные поездки по многим городам и странам. Антрепренеры стараются перехватить друг у друга замечательного атлета.

Александр постоянно обновляет свой репертуар, внимательно изучает манеру работы других атлетов, стараясь всегда усложнять какой-либо из увиденных трюков.

Александр Иванович опубликовал несколько «систем» физического развития, изобрел кистевой динамометр, знал несколько европейских языков.

Последние годы он выступал с дрессированными животными, но иногда включал в программу и силовые трюки. Так, на своих плечах Самсон на специальном коромысле носил по арене двух львов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лебедев И. В. Тяжелая атлетика. Пг., 1916, с. 160.

² «Геркулес». Ж-л. 1915. № 2, с. 20.

³ Богатыри России, М., 1983, с. 10.

⁴ Лебедев И. В. Тяжелая атлетика. Пг., 1916, с. 194.

⁵ Там же, с. 197.

⁶ «Геркулес». Ж-л. 1914, № 14, с. 13.

⁷ «Геркулес». Ж-л. 1913, № 6, с. 21.

Александр Лонгинов

Земля великана

Осень 1941 года. Зловещим курсом на нашу столицу легли фашистские самолеты. Им наперехват поднялись советские истребители.

Дело для войны обычное. Но далее события развивались по непривычному сценарию. Один из вражеских бомбардировщиков, незаметно оторвавшись от общего каравана, стал набирать высоту. Вот под ним уже 2000 метров. Советские истребители остались где-то в стороне. Незамеченный, он продолжил путь со смертоносным грузом к Москве...

Но нет! Такое могло случиться лишь прежде, но не в этот день, которому суждено было стать знаменательным для нашей науки.

На радиолокационной станции (РЛС) штатный расчет при участии научного консультанта Я. Н. Немченко сумел — впервые столь четко на практике! — перехватить маневры вражеского стервятника. Тут же по телефону на КП соседнего истребительного авиационного полка сообщили координаты неприятеля. В воздух взмыл дежурный истребитель, ведомый опытным асом. Еще несколько минут — и черный шлейф окутал неприятельский самолет. Он с оглушительным взрывом грохнулся на землю. Это было словно салют военному инженеру радиобатальона Николаю Кабанову и его помощникам. У них на это право было особое.

ИСТОРИЯ УДИВИТЕЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

Когда раздалась первая залпа Великой Отечественной войны и молодой радиоконструктор Николай Кабанов надел офицерскую форму, он принялся за ответственное задание — разработку более совершенных, нежели зарубежные, радиолокационных станций. События на фронте подгоняли ученого. Новую аппаратуру он тут же испытывал на вражеских самолетах. Была сконструирована новая антенная система, электронно-лучевая трубка с длительным послесвечением и другое нужное фронту радиотехниче-



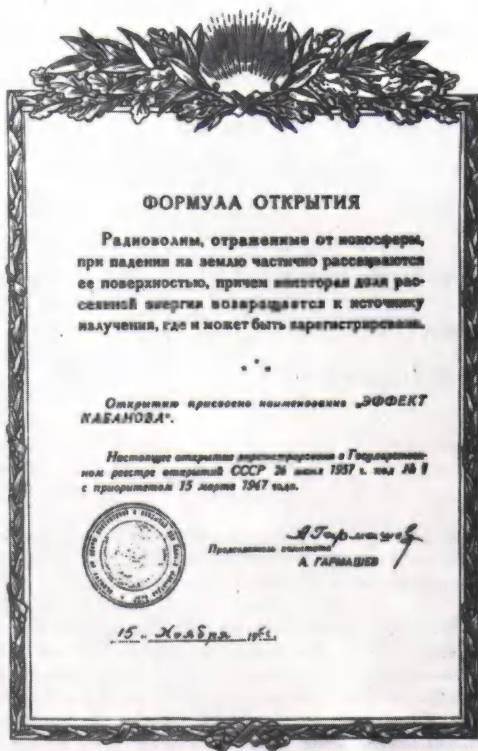
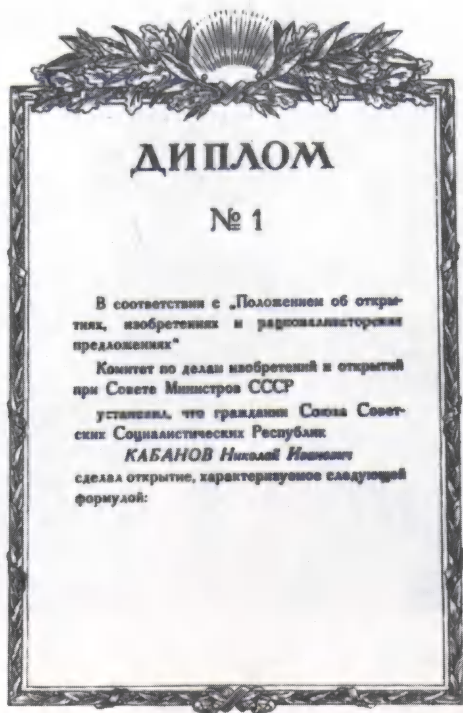
Изобретатель Н. И. Кабанов.

ское оборудование. Работы — непочатый край, а события не ждали...

...В былые времена человечество не подозревало, что в окружающем его мире «обитает» единый спектр электромагнитных колебаний, состоящий из мириад не видимых глазом «гонцов» — радиоволн, инфракрасного излучения, ультрафиолетового и рентгеновского излучений и еще, правда, видимого света. Этот спектр некоторые специалисты сравнивают с клавиатурой рояля, где басы — радиоволны, чрезвычайно высокие ноты — рентгеновское излучение.

Беспрерывна пытливая мысль человека, неукротима энергия поиска. Незаметно, гибко и неразрывно звено за звеном они сплели бесконечную цепь открытий. И нет конца поискам и свершениям. Генрих Герц, немецкий физик, опытным путем впервые обнаружил электромагнитные волны. Было это в 1888 году. Герц сумел доказать это, опираясь на общую теорию распространения электромагнитных волн, созданную Д. Максвеллом в 1863 году. Сам Максвелл развивал идеи предшественников.

И только русский ученый Александр Степанович Попов в 1889 году экспериментально доказал возможность беспроволочной связи с помощью электромагнитных волн. Современники Попова вспоминали его положения о необходимости создания прибора, который восполнил бы неспособность человека реагировать на электромагнитные волны и о возможности применения такого прибора для передачи сигналов на рас-



Самый первый диплом на изобретение.

стояние. 7 мая 1895 года Попов сделал доклад на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге о своем изобретении. Он продемонстрировал собранному созданный им аппарат для приема радиосигналов. Он же изобрел и антенну, без которой в наше время не обходится ни одно радиотехническое устройство связи. Дальнейшие работы А. С. Попова и его сотрудников были посвящены усовершенствованию созданных им приборов и практическому осуществлению радиосвязи между кораблями.

Последующие годы ознаменовались быстрым развитием радиотехники как у нас, так и за рубежом. Однако применение ее не выходило за рамки радиосвязи. И хотя еще в 1897 году Попов наблюдал влияние на радиоволны проходящих судов, однако до умения определять по отраженному радиоволнам положение, скорость перемещения и другие характеристики какого-то предмета науке и технике предстояло проделать большой путь. Сложность тут в том, что лишь небольшая часть излучаемых волн падает на объект локации. К тому же они частично поглощаются им, а частично рассеиваются. В результате на приемник поступает меньше одной миллиардной части от излучаемой энергии.

Как показывают архивные документы, в Советском Союзе мысль о возможности практического применения радиолокации была высказана ученым П. К. Ощепковым в 1932 году. Организатором первых опытов по радиолокации стал представитель Главного артиллерийского управления, замечательный военный инженер и энтузиаст М. М. Лобанов. Специалисты Советского Союза в 1934 году разработали не только основополагающие идеи в области радиобнаружения самолетов, но и создали аппаратуру, которая прошла испытания по реальным воздушным объектам. Вот почему этот год можно считать временем рождения отечественной радиолокации. Никаких сведений о подобных работах из-за рубежа в то время не поступало.

Начиная со времени второй мировой войны радиолокация находит все более широкое применение в военном деле. Это новое средство боевой техники долго и настойчиво разрабатывалось в предвоенные годы в десятках научных лабораторий разных стран под покровом глубокой секретности. Почему? Да потому, что радиолокация сулила большие преимущества той воюющей стороне, которая могла бы применять ее втайне от врага. Когда войска Гитлера вторглись в пределы нашей Родины, в боях против

захватчиков самое широкое применение нашла советская радиолокационная техника, прошедшая боевую проверку еще в советско-финской войне 1939—1940 годов.

Не секрет, что многие и сегодня думают, что радиолокаторам столько же лет, сколько и авиации. Нынче просто немислимо представить себе самолет отдельно без РЛС. Однако было время, когда летчик, который, казалось бы, видел весь мир как на ладони, был беспомощен один на один с небом. Он мог полагаться только на свое зрение, на острую реакцию, на внимательность. Тем более если идет война.

...Шли первые месяцы войны, самые жаркие и беспощадные схватки со злейшим и жестоким врагом. Фашистские летчики чувствовали себя хозяевами неба, хотя им здорово доставалось от советских истребителей. Тем не менее авиация неприятеля оставалась грозным оружием для нашего тыла. Как обезопасить города от неожиданных налетов фашистских самолетов? Как уберечь людей? Посты наблюдений могли определить только дальность до воздушной цели и ее азимут. Но определить, чья это цель и каковы ее координаты, специалисты были пока бессильны. Конечно, и из этого положения был найден выход: данные передавали с главного поста в соответствующие роты, которые визуально определяли и уточняли недостающие характеристики полета и принадлежность цели. Если видимость была плохой, высота цели

определялась по звуку приблизительно. Но на это все уходило много драгоценного времени, что было на руку врагу.

Повысить возможность РЛС значило повысить надежность защиты не только тыла, но и передовых позиций советских войск. Над этой задачей напряженно работали советские ученые и инженеры. В их числе был и Николай Кабанов, которому в ту пору не было и тридцати лет.

Немало было бессонных ночей, споров, немало было и вариантов инженерных решений проблемы. Был опыт научно-исследовательской работы, и совершенно не было времени — шла война. Каждый день уносил новые человеческие жизни. Бессмысленные потери могла предотвратить только работа. И важнейшая мысль, что твою работу, ежедневно связанную с риском для жизни, очень ждут на фронте.

И решение было найдено фактически в боевых условиях. Оно было еще несовершенным, но сыграло большую роль в борьбе с коварным противником. Теперь операторы РЛС выдавали на командные пункты полные данные, по которым советские истребители четко наводились на противника. Задача — уничтожить его в самые сжатые сроки. При этом на координаты целей не сказывалось ни время суток, ни погода, ни облачность.

Ошибки порой бывали, но не было ни одного случая, чтобы на радиолокационной станции перепутали свои самолеты с чужими. В этом



На линии связи.

немалая заслуга старшего техника-лейтенанта Николая Кабанова, который учил своих подчиненных умению отличать за каждым всплеском на экране хитрого и коварного врага от своего самолета. При этом большую помощь советским воинам оказывали приборы, созданные Н. Кабановым в содружестве с боевыми товарищами. Приставка, разработанная ими, существенно повысившая тактико-технические возможности РЛС, новые эффективные методы обработки и передачи радиолокационной информации, сыграли важную роль в годы войны. Родина высоко оценила самоотверженный труд Николая Ивановича Кабанова.

Как начинался путь ученого Н. И. Кабанова? Ему было 17 лет, когда после окончания специальных электротехнических курсов имени Л. В. Красина он стал работать электромонтером на фабрике шелкотреста «Пролетарский труд». Затем — техником и инженером на Московском трансформаторном заводе. За пять лет до войны Николай Кабанов закончил радиофакультет Московского электротехнического института связи.

1938 год — первый год учебы в аспирантуре. Затем несколько лет аспирант Кабанов преподавал на кафедре радиоприемных устройств своего института.

1941 год — аспирант Николай Кабанов добровольно вступил в ряды Красной Армии. Его назначили инженером в радиобатальон. Нет, он не сталкивался лицом к лицу с фашистами,



«Внимание! Воздушная тревога!»



Изобретение в действии.

но враги, сами того не ведая, познали силу Николая Кабанова.

...В 1944 году нашему командованию стало известно, что фашисты планируют запустить баллистическую ракету «Фау-2». Инженеры-локаторщики получили боевое задание — найти способ обнаружения самолетов и ракет типа «Фау-2» на предельно больших расстояниях. Это задание явилось первым практическим шагом Н. Кабанова в исследовании проблем сверхдальнего обнаружения объектов. И вновь — поиски. И снова — борьба с противником. Невидимая борьба. Решение задачи было близко, когда наступило 9 мая 1945 года. Мир праздновал Победу. Ученые продолжали работать.

Вот одно из первых признаний боевых его заслуг — часы с монограммой: «Кабанову Н. И. за образцовое выполнение боевого задания. Командование корпуса ПВО». Еще памятная вещь — массивный серебряный портсигар с надписью: «Старшему лейтенанту Кабанову от Военного совета особой московской армии ПВО»...

Красноармейская газета «Тревога» 17 февраля 1942 года сообщила: «Замечательный по-

дарок приготовили к XXIV годовщине Красной Армии и Военно-Морского Флота бойцы и командиры подразделений т. Кабанова». Корреспондент с гордостью сообщал, что военный техник I ранга и его люди своими силами построили радиолокационную станцию. В трудное и суровое время, когда изготовление каждой единицы военной техники требовало немало мужества, твердости характера, серьезных знаний и больших затрат, дело, сделанное кабановцами, имело неоценимое значение.

...Это произошло весной 1942 года в Можайске. День и ночь вглядывались настороженные антенны в военное небо Подмоскovie. Под облаками не спеша плавали аэростаты воздушного заграждения, пронеслись юркие истребители... И все-таки прорвался вражеский бомбардировщик, сбросил несколько бомб в район расположения радиолокационной установки кругового обзора. Сложилась критическая ситуация на важном оборонном объекте. Однако усилиями старшего техника-лейтенанта Кабанова неисправность удалось ликвидировать в рекордный двухдневный срок. Так молодой военный радист Николай Кабанов заслужил первый в жизни орден Отечественной войны I степени. Отличное выполнение воинского долга офицером Кабановым во время войны засвидетельствовано многими боевыми наградами, редкими документами и памятными вещами.

11 февраля 1944-го в той же газете «Тревога»

появился очерк, который назывался «Ученый в шинели». Добрые слова о человеке, заслуженные добрыми ратными делами!

Действительно велики боевые заслуги боевого военного инженера и безупречного, требовательного командира. При его помощи и под его руководством обрабатывалось взаимодействие специальных радиостанций во время налета фашистской авиации на Москву. По данным лишь одной его станции, было сбито 75 самолетов противника. За время войны эти станции обнаружили 51 тысячу целей. Под руководством Николая Ивановича Кабанова в полку, где он служил, была изготовлена новая станция «Пегматит». Эта станция сразу же подсказала цель, и в результате 8 фашистских стервятников прекратили свой кровавый путь на подступах к столице.

Военный инженер Кабанов внес немало рационализаторских предложений. Это он сконструировал и построил высотную приставку для станции «Пегматит», благодаря чему улучшилось наведение на самолеты противника. И его рук дело — высотная приставка на станцию «Редут», которая значительно увеличила зону видимости станций и дала возможность осуществлять строгую фиксацию далеких и низколетящих целей. Кроме того, эта же приставка «раскрыла» высоко-близкие цели. Это он, Кабанов, реконструировал двухмашинный «Редут» на одномашинный. А это позволило со-



Штурмовики в воздухе.

кратить рабочую команду, время на ее развертывание и облегчило маскировку станции. Когда же станции угрожала остановка (и даже не одной, а многим!) из-за отсутствия дефицитных ламп В-4-200, то это именно он, офицер связи инженер Кабанов, перевел установки на лампы М-41, а генераторные лампы Г-499 заменил лампами ГУ-500. На всех станциях внедрен его (и это все в годы войны!) безэлектродный индикатор УВЧ, позволивший легко контролировать правильность работы радиотехнического оборудования станций и быстро определять характер неисправности...

Вот чем были насыщены у Кабанова годы беспощадной войны с фашистами.

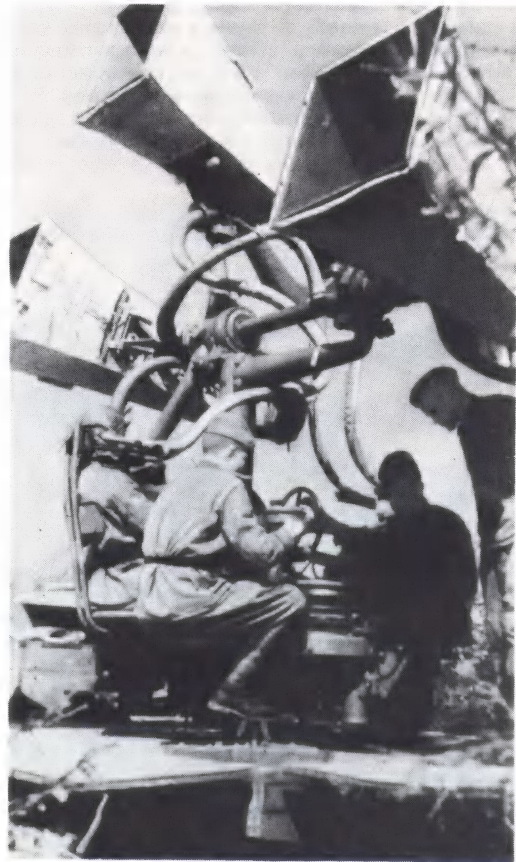
ПУТЬ К ОТКРЫТИЮ № 1

В конце сороковых годов подполковник Кабанов, еще не успевший снять шинель, делает открытие, принесшее ему мировую известность, увековечившее его имя. Но обо всем по порядку.

Долгое время, после того как было изобре-



Обстановка требует уточнения.



Задание будет выполнено!

но радио, считалось, что для целей связи наиболее приемлемы длинные волны, так как они позволяют улавливать связь на значительно больших расстояниях, чем короткие. Казалось, что короткие волны в отличие от длинных не в состоянии распространяться на значительные расстояния за горизонт. Теперь весь мир пронизывает радиосвязь на коротких волнах, хотя до 1947 года никто не мог представить себе, чтобы радиосигнал, посланный «накоротке», можно было снова принять в этом же месте, откуда он послан.

Профессор, доктор технических наук Н. И. Кабанов открыл ранее неизвестное явление дальнего коротковолнового рассеяния радиоволн отдельными элементами поверхности Земли. Радиоволны, излучаемые радиопередающим устройством под некоторым углом к горизонту, отражаются ионосферой и идут обратно, к Земле. Часть их энергии рассеивается неоднородностями земной поверхности и распространяется в разные стороны. Рассеянные радиоволны вновь отражаются от ионосферы и возвращаются на Землю, причем какая-то их доля попадает и в то место, где находится радиопередающее устройство.

В 1950 году Государственная комиссия под председательством академика А. И. Берга рассмотрела полученные Н. И. Кабановым данные и дала следующее заключение: «Настоящей работой впервые экспериментально установлено существование регулярных рассеянных отражений от Земли на коротких волнах, что имеет принципиальное значение для исследований условий распространения коротких волн, в частности применительно к эксплуатации магистральных линий и средств дальней радионавигации». Так родилось радиофизическое понятие, которое известно теперь всему миру, — «эффект Кабанова».

Американский физик Т.-Л. Эккерслей, долгое время исследовавший коротковолновое рассеяние, отрицал возможность приема рассеянных отражений от Земли. Однако через два года после открытия Кабанова коротковолновое рассеяние было подтверждено американским физиком А. Беннером.

Оригинальные эксперименты, поставленные Н. И. Кабановым, позволили обнаружить, что рассеивание радиоволн гористыми участками Земли происходит более интенсивно, чем морями, подтвердили, что по границам дальности отражений можно судить о состоянии ионосферы.

Использование «эффекта Кабанова» для исследования ионосферы (метод возвратно-наклонного зондирования) дает возможность определять условия распространения радиоволн в радиусе до 9—12 тысяч километров, то есть почти над четвертью поверхности земного шара. Метод возвратно-наклонного зондирования позволяет значительно повысить надежность радиосвязи. Он особенно ценен тем, что используется в весьма загруженном диапазоне коротких волн, обеспечивающих дальнюю радиосвязь. В нашей стране метод был разработан и вошел в практику на два года раньше, чем за границей.

«Эффект Кабанова» находит применение также в ионосферной радиолокации и в других областях радиосвязи. На основе «эффекта Кабанова» (авторы С. Г. Евсюков и Н. И. Кабанов) был разработан способ радиолокационного загоризонтного обзора поверхности Земли через ионизированные следы метеоров.

За рубежом «эффект Кабанова» получил всеобщее признание. Например, в Великобритании на ионосферной станции в Слоу ведутся наблюдения за прохождением радиоволн с использованием коротковолнового рассеянного отражения от Земли в радиусе 6 тысяч километров. В США разработаны сверхдальние загоризонтные радиолокаторы, основанные на кабановском эффекте. Дальнейшее исследование этого эффекта сулит практике новые успехи.

Высоко оценивая открытие, профессор П. К. Ощепков пишет: «Теперь радиотехника и радиолокация обогатились еще одним мощным средством «просматривания» местности далеко за пределами горизонта Земли. «Эффект Кабанова» дает возможность не только обнаруживать те или иные изменения на обследуемых участках земной поверхности, но и быстро определять наиболее выгодную волну, необходимую для установления связи с любым пунктом Земли. Направляя в заранее рассчитанное место

радиосигнал на той или иной волне и регистрируя интенсивность прошедшего радиоэха, нетрудно установить, какая из посылаемых волн дает лучший результат».

Открытие Кабанова внесено в Государственный реестр открытий СССР под № 1 с приоритетом от 15 марта 1947 года. Автору шел тридцать пятый год. В Москве ему выдали диплом под номером один: «Радиоволны, отраженные от ионосферы, при падении на Землю частично рассеиваются ее поверхностью, причем некоторая доля рассеянной энергии возвращается к источнику излучения, где и может быть зарегистрирована».

Итак, Кабанов убедительно доказал, что короткие волны не только доставляют сообщения далекому корреспонденту, но и, частично рассеиваясь земной поверхностью и отражаясь от ионосферы, способны проделать обратный путь к своему передатчику, принеся важную информацию о месте рассеивания радиоволн. Его давняя мечта «заглянуть» за горизонт сбылась. Сам он шутил: «Сидя в Мытищах, теперь могу наблюдать за побережьем Персидского залива.— И добавлял с серьезным видом: — В каждой шутке есть доля шутки, а остальное — правда».

26 июня 1957 года Комитет по делам изобретений, открытий и рационализаций при Совете Министров СССР зарегистрировал открытие, получившее название «эффект Кабанова».

Открытие не было бы сделано без помощи и поддержки академиков В. А. Введенского, А. И. Берга, А. Н. Щукина, Ю. Б. Кобзарева, генерал-лейтенанта М. М. Лобанова, профессора П. К. Ощепкова и многих других советских специалистов.

Первое открытие, как это и должно было быть, а порой и часто бывает в жизни, нашло достойного человека. О его феноменальной работоспособности вспоминают все, кто находился с ним рядом в военную пору и дни мирной жизни. Николай Иванович мог работать по целым суткам, умел переходить от одной работы к другой, не уставая, не теряя главной цели и сути в каждом деле. Работал до последнего дня (умер Н. И. Кабанов 2 мая 1984 года на 73-м году жизни). Чем бы ни занимался Кабанов, какую бы работу ни выполнял, он никогда не злоупотреблял своим авторитетом. И умел признавать свою неправоту.

* * *

Чем дальше течет река времени, тем яснее делается для нас значимость открытий профессора Николая Ивановича Кабанова.

Валерий Родиков

В последнем был полете

Есть в музее Звездного городка витрина с ранившими сердце свидетельствами: пробитый осколками самолета бумажник и извлеченные из него удостоверение личности, водительские права, талон предупреждений к водительскому удостоверению, фотография Сергея Павловича Королева. Бумажник принадлежал Юрию Алексеевичу Гагарину и был найден на месте его гибели, в лесах под городом Киржачом Владимирской области, в трех километрах от деревни Новоселово и всего в ста километрах от Москвы...

Катастрофа произошла 27 марта 1968 года. В 10 часов 30 минут 10 секунд с самолетом прекратилась связь. словно гигантская коса, срезая верхушки деревьев, самолет с Гагариным и Серегиным несся к земле под углом 60—70 градусов. В отчете Государственной комиссии, проводившей тщательное расследование, записано: отказ техники. А что же именно отказало?..

В момент касания скорость самолета была около 800 километров в час. При ударе он разрушился на мелкие обломки. Двигатель и передняя кабина ушли в землю более чем на пять метров. Крылья, хвостовое оперение, баки разрушились на части и были разбросаны в окружности диаметром метров двести. Многие детали самолета и парашютов находились высоко на сучьях деревьев...

Красноватым гранитом выложили образовавшуюся от взрыва воронку, а над нею устремилось ввысь гранитное крыло. В небе над обелиском летают самолеты, оставляя росчерки инверсионных следов, как бы продолжая трассу...

Невольно вспомнилось о пробитом бумажнике, когда в газете «Советская Россия» от 4 марта 1984 года были опубликованы дневниковые записи Николая Петровича Каманина: «День и ночь работает аварийная комиссия. Пришло сообщение: «Удалось извлечь двигатель самолета, основную часть передней кабины и много деталей. Установлено, что при па-



С. П. Королев.

дении и ударе его о землю он был в основном цел (фюзеляж, двигатель, крылья, хвостовое оперение, подвесные баки, управление), потом разрушился на мельчайшие обломки. Обнаружен бумажник Гагарина. В нем удостоверение личности, права шофера, 74 рубля денег, фронтовое фото Сергея Павловича Королева...»

Действительно, на фотографии Королев выглядит по-фронтовому — в шинели, подпоясанный офицерским ремнем, фуражке.

Фотографией мы заинтересовались сразу же, как впервые попали в музей. Спустя некоторое время попросили фотокорреспондента ТАСС А. Пушкарева перенести ее. Когда фотографию увеличили, стало ясно, что публиковать ее в



Перед последним вылетом. 27 марта 1968 г.

таким виде нельзя. Слишком уж она повреждена, особенно лицо.

Пути поиска другого экземпляра привели к научному сотруднику Мемориального музея космонавтики Тамаре Владимировне Апенченко. В 1960—1961 годах она работала в Центре подготовки космонавтов и написала книгу «Труден путь до тебя, небо» (подзаголовок «Репортаж о подготовке космонавтов»), которая увидела свет осенью 1961 года. Это одна из первых книг о Гагарине.

Тамара Владимировна охотно занялась исследованием. Правильное направление поиска задал Алексей Архипович Леонов. Он сказал, что как-то Сергей Павлович подарил Гагарину групповое фото, а Юрий вырезал из него фрагмент с Королевым и носил его всегда с собой. «Мы еще завидовали Юре», — добавил космонавт. Но вот в какой период было сделано фото, ни Алексей Архипович, ни сотрудники музея не знали.

И все-таки настойчивость Апенченко была вознаграждена: она нашла групповое фото. Оказалось, что снимок сделан в октябре 1947 года на полигоне после первых удачных пусков баллистических ракет. Участники событий сфотографировались на память. Трудное было вре-

мя. Обстановка действительно напоминала фронттовую. Королев решил строить полигон и испытывать ракеты одновременно.

— Теперешнему поколению, — вспоминают участники тех событий, — привыкшему к современному космодрому с монтажно-испытательным корпусом, лабораторными стендами, бетонными дорогами, трудно представить себе условия работы в 1947 году. Мы жили в вагончиках. От железнодорожной станции были проложены две тупиковые линии. В тупики были загнаны два состава пассажирских вагонов, в которых жили специалисты. Кругом была унылая солончаковая степь. Временные стартовые площадки и технические позиции находились километрах в двадцати, и добираться до них приходилось по бездорожью в густых клубах степной пыли. Надолго запомнились эти дороги на полигоне. И не случайно одной из любимых песен у нас была «Эх, дороги, пыль да туман...». Даже на одной из фотографий, присланных с первых испытаний, есть такой автограф Королева: «Не удивляйтесь моему виду — мы утопаем в пыли».

Такова история фотографии Сергея Павловича Королева, которую Юрий Гагарин всегда носил с собой.

**Прометей: Ист.-биогр. альманах сер. «Жизнь
П 81 замечательных людей». Т. 14 / Сост. В. Лавров.—
М.: Мол. гвардия, 1987. 383 [1] с., ил.**

3 р. 200 000 экз.

В историко-биографическом альманахе «Прометей», т. 14, рассказывается о редких изданиях В. И. Ленина, о большевике-ленинце П. Н. Лепешинском, неизвестных фактах из жизни замечательных деятелей русской культуры и искусства: Д. С. Бортнянском, М. Ю. Лермонтове, Ф. И. Шаляпине, И. А. Бунине, С. А. Есенине и других.

П 4702010000—046 КБ—042—020—86
078(02)—87

ББК 63.3(2)

Рукописи объемом до 1 авт. листа не возвращаются
и не рецензируются.

ИБ № 4336

ПРОМЕТЕИ. Т. 14

Редактор В. Левченко

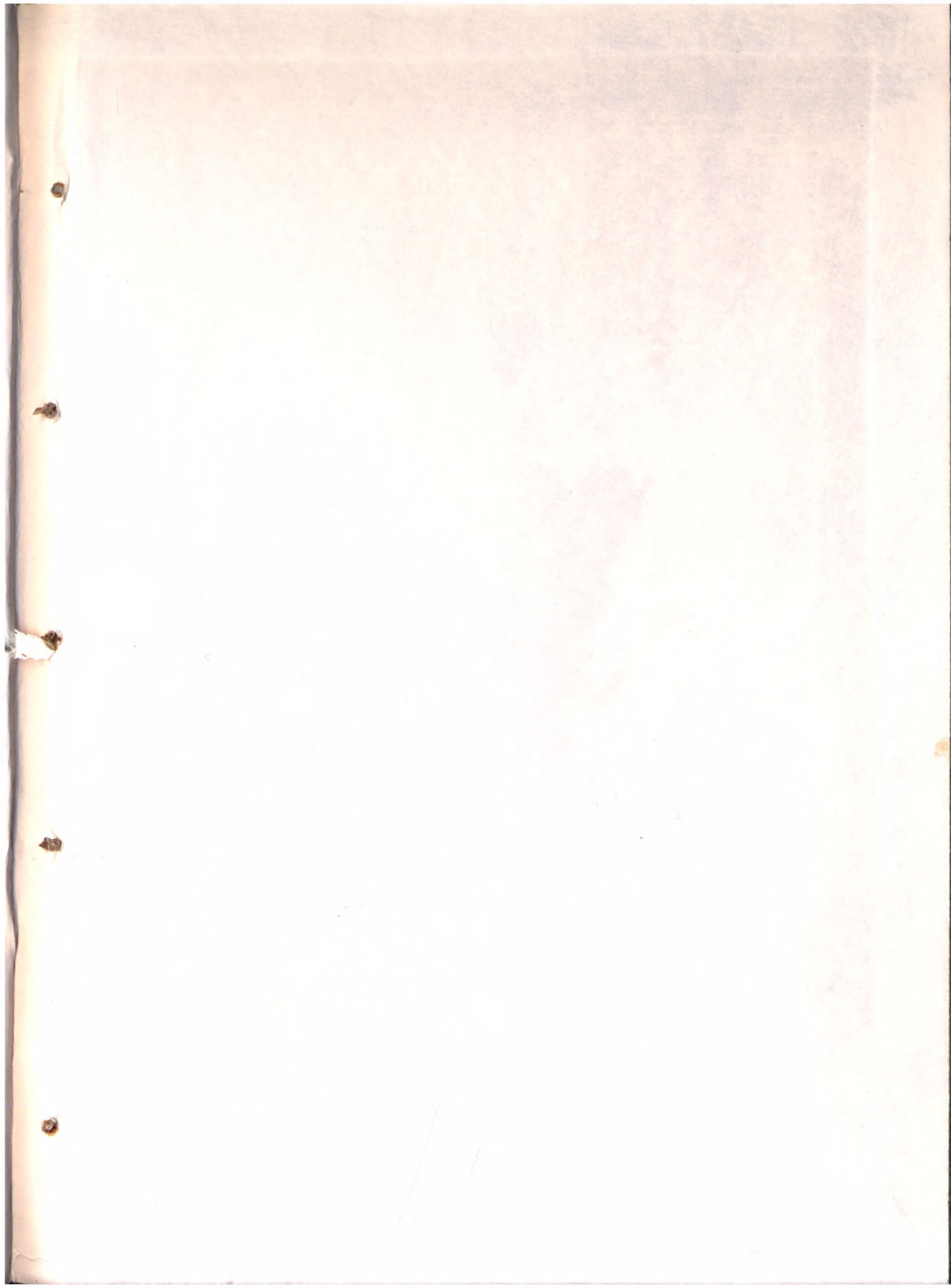
Оформление и макет Р. Тагировой

Художественный редактор А. Степанова

Технический редактор Т. Кулагина

Сдано в набор 21.03.86. Подписано в печать 26.11.86. А08320. Формат 70×100^{1/16}. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,2. Усл. кр.-отт. 62,61. Уч.-изд. л. 43,2. Тираж 200 000 экз. (100 001—200 000 экз.). Цена 3 руб. Заказ 2593.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.





PROFESSIONAL
SERVICES
CORPORATION